

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

КОТИК ЛЕТАЕВ. КРЕЩЕННЫЙ КИТАЕЦ. ЗАПИСКИ ЧУДАКА

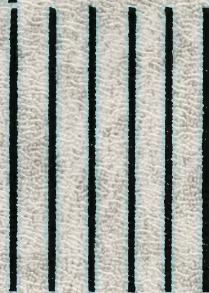


АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

КОТИК ЛЕТАЕВ. КРЕЩЕННЫЙ КИТАЕЦ.
ЗАПИСКИ ЧУДАКА

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ



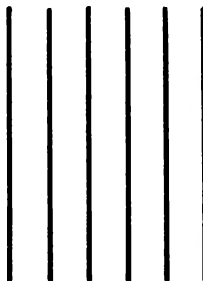
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

КОТИК ЛЕТАЕВ . КРЕЩЕННЫЙ КИТАЕЦ. ЗАПИСКИ ЧУДАКА



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Собрание сочинений



КОТИК ЛЕТАЕВ. КРЕЩЕННЫЙ КИТАЕЦ. ЗАПИСКИ ЧУДАКА

Москва
Издательство «Республика»
1997

Собрание сочинений
под общей редакцией
проф. *В. М. Пискунова*

Составление тома
В. М. Пискунова

Предисловие и комментарии:
В. М. Пискунова ("Котик Летаев")
Н. Д. Александрова ("Крещеный китаец")
Г. Ф. Пархоменко ("Записки чудака",
комментарии совместно с *В. М. Пискуновым*)

Оформление художника
Андрея Платонова

Белый А.

Б43 Собрание сочинений. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака / Общ. ред. и сост. *В. М. Пискунова*. — М.: Республика, 1997. — 543 с.
ISBN 5—250—02640—0

В том вошли автобиографические романы писателя-символиста Андрея Белого (1880—1934) — "Котик Летаев" (1915—1916), "Крещеный китаец" (1920—1921), "Записки чудака" (1918—1921), которые были написаны в годы его увлечения учением немецкого философа Р. Штейнера — антропософией. Биографическая основа романов, художественный анализ самосознания, духовной жизни героя, мира его переживаний, раздвоенности используются автором для поисков пути совершенствования человека и понимания его связи с Космосом.

Книга снабжена обширными комментариями.

ББК 84Р7

СТАНОВЛЕНИЕ САМОСОЗНАЮЩЕЙ ДУШИ

1

“Человек — чело Века” — этот счастливо найденный образ был необычайно значим для Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева, 1880—1934), одержимого мечтой установить “ритм сложения индивидуальностей в индивидуум коммуны”, способствовать “равноправному свободному раскрытию всех свойств каждой из индивидуальностей” на путях “развития связей от каждого к каждому”*. Юношеская “аргонавтическая” коммуна, братство в символизме, “скифство” — звенья единой гуманистической утопии, рубежи общего поиска, в котором совершенно особое место принадлежит антропософским увлечениям писателя. Именно мечты об “индивидууме коммуны”, о духовном братстве людей, прообразом которого Белому кажется антропософская община, приводят его в 1914 г. в Дорнах — швейцарскую деревню, призванную стать всемирным антропософским центром. Участие в строительстве храма-театра Гетеанум было периодом наибольшего сближения с основателем антропософии доктором Р. Штейнером, под буквально гипнотическим влиянием которого Белый находился вплоть до 1922 г. Лишним доказательством правильности предлагаемого Штейнером пути — пути совершенствования Человека, его духовной и даже физической природы — стала первая мировая война, подтвердившая для Белого бесплодность поисков “посюстороннего” выхода из тотального мирового кризиса, тупиковое развитие “прямой линии” исторического процесса. Одновременно антропософские штудии все больше и больше уводили Белого в область художественного анализа *самосознания*, объектом для которого в первую очередь является для человека он сам, духовная жизнь “я”. Это вносит существенные коррективы в творческие планы Белого. Роман “Невидимый Град”, который, согласно первоначальному замыслу, должен был составить — вместе с “Серебряным голубем” и “Петербургом” — трилогию “Восток и Запад”, в процессе работы над ним начинает разрастаться в трехтомный цикл “Моя жизнь”, а этот последний, в свою очередь, сжимается в “симфоническую повесть” “Котик Летаев” (написана в 1915—1916 гг., опубликована в 1917—1918 гг.), которая явно не может заменить “Невидимый Град” (на что поначалу Белый рассчитывал) просто потому, что проблема “Восток и Запад” в ней начисто отсутствует. Однако написание “Котика Летаева” стало толчком для позднейшего создания

* Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития в кн.: *Белый Андрей*. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 441.

цикла автобиографических произведений. В первых книгах этого цикла — "Записки чудака" и "Крещеный китаец", — написанных соответственно в 1918—1921 и в 1920—1921 гг., равно как и в "Котике...", — автобиографическая основа слегка камуфлирована (в основном за счет изменения имен собственных), тогда как в следом написанных произведениях, таких, как знаменитая мемуарная трилогия, она вполне обнажена.

Вместе с тем "Котик Летаев", как мы попытаемся доказать, является заключительным аккордом "симфонического" развития в с е й прозы Андрея Белого дореволюционного периода, равно как поэма "Первое свидание" завершила линию органического развития Андрея Белого-поэта.

"Котик Летаев" — одно из самых трудных для восприятия произведений Белого. Во многом это обусловлено тем, что, по признанию самого автора, он "писался как итог, результирующий опыт антропософа"* . Причем "опыт" — в двойном значении слова: и как результат концептуального усвоения мифо-философии Штейнера, и как практическое осуществление штейнеровских "духовных упражнений", раскрывающих человеку его подсознание, в котором хранится память о пребывании его души в Вечности, в области Мирового Духа, и как память о детстве, когда человек, согласно учению Штейнера, более всего ощущает свою связь с Космосом. Поэтому опыты самопознания для Белого — это, по сути, опыты воспоминания, воскрешения памяти о памяти, а процесс познания себя в мире — это процесс узнавания забытого во взрослой, ограниченной тремя измерениями и установками разума жизни. Впрочем, состояние типа: "Я это узнаю, хотя никогда этого не видел", знакомо из опыта каждому. Оно запечатлено в эпизоде из ничуть не антропософского, вполне реалистического романа "Война и мир". Именно отсюда Белый взял эпитафию к "Котику Летаеву". Так что было бы неправомерным превращать роман Белого в художественную иллюстрацию антропософского учения.

В "Котике Летаеве" автору удалось удивительно точно и поэтично воссоздать мир детских переживаний, реконструировать детский образ мира, который для взрослых является поистине миром инопланетным, особенно когда речь идет о мире ребенка до пятилетнего возраста (не случайно Лев Толстой начинал свое "Детство" именно с этого порога!). Но Белый идет на еще больший риск: он дерзает запечатлеть утробные, или, как именует их современная наука, "пренатальные", ощущения будущего земного жителя, как бы опережая достижения науки второй половины XX в., всерьез изучающей и феномен "пренатальной памяти", и феномен "пренатального получения информации".

Антропософия предлагала Белому собранный из осколков различных философий и мифологий древности, натурфилософии Гёте и отдельных научных гипотез второй половины XIX в. язык описания этих и чуть более поздних ощущений и впечатлений. Так, автору "Котика Летаева" очень пригодилось заимствованное Штейнером у Г. Геккеля учение о тождественности онтогенеза и филогенеза, то есть о сходстве стадий развития отдельного индивидуума и всего человеческого рода. В свою очередь, Штейнер

* *Белый Андрей*. Символизм как миропонимание. С. 469.

дополнил Геккеля собственным учением о тождестве этапов становления самопознающего "я" и этапов целенаправленного становления космоса. Приняв в расчет все эти источники, можно судить и о том, почему "Котик Летаев" — самая космологическая из книг Белого*.

Мир маленького Котика очень схож с мифопоэтическим космосом древнего человека, сознание ребенка совпадает во многих своих чертах с мифологическим космогоническим сознанием, по преимуществу довременным, пространственным. Образы этого пространства Белый воссоздает с поразительной пластичностью, идя от изначального разделения его на открытое, широкое, беспредельно-безмерное и на узкое, закрытое, тесное, прилипающее к телу младенца, как змеиная кожа. Безмерен астральный космос, в котором рассеяна, растворена душа до вхождения в "хилое тело", и путь этой души (путь младенца на свет) — проползание через "узкую трубу, странствие по переходикам, коридорам, переулкам", образ, родственный "с образом шествия по храмовым коридорам в сопровождении быкоголового мужчины с жезлом". Так из первых ощущений младенца Белый выводит одну из древнейших мифологем, один из ключевых образов-архетипов нашего подсознания — образ лабиринта (главка "Лабиринт черных комнат")... Первозданное "я" неотделимо от пространства, его окружающего ("ощущение строит мне окружение"): ребенок творит внешний мир из самого себя — как продолжение своего "я": "Квартирой отчетливо просунулся внешний мир, то есть то, что от меня отвалилось и на чем легучились сны..." И это отвалившееся от "я" пространство населяется мифическими существами: Гефестом-Папой, кухаркой Афро-синьей, борющейся "с гадом, приползающим к черному отверстию печки", Львом, Паяцем-Петрушкой, приобретающим в глазах ребенка облик хтонического чудовища... В конце второй главы Белый — уже с высот своего тридцатипятилетнего возраста — итожит первые "миги" своего существования, первые проблески сознания: "В эту давнюю пору разыграна и разучена мною: вся история греческой философии до Сократа <...> "Нечего ее изучать: надо вспомнить — в себе".

* В этой связи следовало бы оспорить Л. Долгополова, так много сделавшего для изучения творчества писателя. В монографии исследователя о Белом высказано предположение, что в "Котике..." "от широких картин жизни целой исторической эпохи <...> сужая диапазон творческих исканий, Белый постепенно переходит к изображению самосознающего "я", изолированного от внешнего мира" (Долгополов Л. Андрей Белый и его роман "Петербург". Л., 1988. С. 346).

Самому Белому замысел "Котика..." (и вообще эпопеи "Моя жизнь") виделся совсем иначе. "Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир — лестница расширений моих; по ступеням ее я всхожу..." — пишет он в эпилоге к повести.

В "Петербурге" писатель стоял как бы на верхних ступенях этой лестницы и с нее уже время от времени, в таких главах, как "Журавли", в "Эпилоге" стремился ниже. В "Котике..." он решил пройти эту же лестницу снизу, с первых ступеней, однако постоянно имея в виду верхние, причем чаще самые верхние ("мир", космос!), нежели средние ("Россия", "история"). Однако о сужении художественных горизонтов писателя это никак не свидетельствует.

Вторжение обобщающих рассуждений тридцатипятилетнего Бориса Николаевича Бугаева в финал первой главы — ничуть не случайность. Как и любая автобиография, "Котик Летаев" совмещает в себе по меньшей мере две точки зрения, два взгляда на мир: мировидение того, кто является героем, действующим лицом воспоминаний ("я" маленького Котика), и оценку описываемого, исходящую от *того, кто вспоминает*. В "Котике..." это, как уже говорилось, Борис Николаевич Бугаев, достигший вершин жизни, ее середины. Потому-то в Прологе смешаны реминисценции из "Так говорил Заратустра" ("Я стою здесь в горах...") и "Божественной комедии" с ее знаменитым зачином "Земную жизнь пройдя до половины..." и темой страшного нисхождения ("путь нисхождения страшен"). И с первых же строк первой главы тридцатипятилетний, умудренный человеческим и литературным опытом, прошедший школу антропософских медитаций Б. Бугаев постоянно дополняет и проясняет "опыт" младенца. Так, вспоминающее "я" расставляет отсутствующие в довременном мире ребенка временные ориентиры ("Мне впоследствии говорили, что я непрерывно болел <...> в то именно время"). "Я впоследствии, четырех-пяти лет, проходил по кружку..." и т. д.). Эти пояснения становятся более органичной частью повествования, начиная со второй главы, где рождающееся "я" переступает порог сознания, за которым остается безобразно-бездременное, переходит из мира "становления" в "ставшее" (становление — ставшее — любимая символистами и Штейнером — тут они совпали — оппозиция Gêre!), переступает из гераклитианских вихрей и роёв в мир "строя", мир оформленных или начинающих оформляться предметов... И начало третьей главы стилистически отмечает этот переход: традиционный мемуарный стиль ("родился я вечером; около девяти...") с опорой на твердые, ясные воспоминания... Эта традиционно мемуарная линия теперь пойдет до конца книги, радуя привычного к реалистическому бытописанию читателя островками твердой суши, на которых ему дана возможность время от времени отдохнуть после скитаний по волнам символики подсознательно-космического. Но и после того как "порог сознания" преступлен, мифологические образы и космогонические мотивы продолжают играть важнейшую роль в существовании Котика. И вот, возвращаясь (в "симфонической повести" "Котик Летаев" на "возвращения" строится очень многое!) в начале четвертой главы к описанию "ставшего" мира, мира, противопоставленного гераклитианскому, сторающему в огне и вновь возрождающемуся, к описанию мира, перешедшего, подобно мифическому существу Дорионову, "из раскаленного состояния в состояние каменное", Белый вновь воскрешает фигурирующую в первой главе тему гигантомахии. Но теперь (на новом витке спирали) таящий в себе угрозу для "я" космос персонифицирован не в обличьях бесформенных, змееногих, сторуких гигантов, а в образах *титанов*. Таким титаном видится Котику громогласный сосед толстяк Христофор Христофорович Помпул, приходящий в гости к отцу Лев Толстой, профессора Московского университета, титаны-кариатиды, подпирающие казенное здание Российской Империи... Так вот откуда проходящий через весь "Петербург" образ карнизов-кариатид, подпирающих Империю, подумает читатель "Котика Летаева". И не отсюда ли, из детских фантазий Бори

Бугаева, связанных с "тетей Дотей", Евдокией Егоровной, "худой, немой, высокой, бледной, зыбкой", возникающей "между чехлов и зеркал", образ-символ Вечности во 2-й симфонии? И не из детских титанических ли бредов "ощупывающего" каменный космос ребенка родился "петербургский" миф о Медном Всаднике? — "Титан бежит сзади. (Нагонит и сдавит.) В детстве он проливался в меня; и я ширился от моих младенческих вьятий — титана".

Но можно предположить и другое: не выстраивает ли Белый в "Котике" рядом с ритмами эволюции своего "я", эволюции человечества, эволюции космоса тождественную им систему: стадийную картину эволюции творчества Андрея Белого, картину, полную отголосков его важнейших творений?

"Порог сознания" разделяет мир, в котором живет Котик, на мир функций и дифференциалов, расползающихся, как мурашки, по всему дому из кабинета папы Котика, и "страну жизни ритмов", "страну танца ритмов", где Котик жил до рождения. Именно воспоминания об этой стране дают возможность ребенку оформлять свои, находящиеся "за порогом сознания" впечатления, приобщаться к "гармонии бесподобного космоса".

Так рядом с мифом возникает ритуал, более эффективное, нежели миф, средство разделения хаоса и космоса, эффективное на том этапе развития самосознания, когда оно еще не нуждается в слове: "...самосознание: пульс, мыслью пульсом без слова; слова бьются в пульсы; и каждое слово я должен расплавить — в текучесть движений; в жестикуляцию, в мимику; понимание — мимика мне; и трепет мысли моей: — есть ритмический танец; неизвестное слово осмысленно в воспоминании его жеста; жест — во мне; и к словам подбираю я жесты; из жестов построен мне мир..." Это метафорическое действо тут же — на соседних страницах — подкреплено ритуальным сожжением "сгорающего от пьянства" Валериана Валериановича Блещенского (идя от словесного иносказания-метафоры "сгорает от пьянства", Белый движется по цепочке, уводящей в глубь эпох, прослеживает все главнейшие моменты рождения слова: ритуал — миф — метафора).

Из ритуала рождается музыка, открывающая, как и "танцы ритма", свободный проход в иной мир; из музыки — новые "мифы", мифы-сказки ("музыка научила, играя, выращивать сказки..."). Так растет "я", поднимаясь к вершинам *интуитивного* слияния с миром в акте "самосознания" (этому учили еще древние гностики, поэтому 6-я, заключительная глава "Котика" называется "Гностик"). Однако восхождение на вершины самопознания — это и отождествление себя с Иисусом Христом, это постижение своей жертвенной участи. В который раз Белый по-новому и трудно приходит к этой истине, в который раз завершает свою книгу сценой распятия!

Только на первый взгляд "Котик Летаев" — самая светлая и безоблачная из книг Белого (подобное суждение высказывают многие серьезные исследователи). И впрямь, здесь нет ни Зловещей Угрозы с Востока, ни Всемирной Провокации, ни террористов, ни сектантов... Но чего стоят *детские* страхи? И почему же тогда в каждой главе "Котика..." — обычно ближе к концу — мир снова и снова сгорает в огне? Видимо, уже завелись в нем, действуют, не дремлют некие разрушительные силы? Действительно, в 6-й главе читатель встречает прежнего, хорошо знакомого персонажа

Белого — желто-красного клоуна "в масочке" (его появление предварено строками из лермонтовского "Демона": "Я тот"...!), Клёси-"искусника", "худесника", "худесника", "колдуна". Клёси, окруженного Драгуном-драконом, Поликсеной Борисовной в боа-змее, тенором оперетки Огневым, цыганками и двусмысленностями.

Твердое основание жизни расплавлено Клёсею. Но спасительным для Котика оказывается явление в его мир "ослепительно блистающей личности" Владимира Соловьева и девочки Сонечки (Софии!) Дадарченко. Потому-то столь счастлив взрослый Борис Николаевич Бугаев, узнав в Асе Тургеневой лебединую королеву своих детских снов... Потому-то и вспыхивает Солнце на последних страницах повести, а Котика ожидают "шумы Времени", "ожидает Россия меня, ожидает история... история заострилась вершиной; на ней... будет крест". В который раз книга Белого оказывается "мистерией"! В который раз Белый оказывается пророком!

2

Несмотря на то что Андрей Белый предостерегал читателя от прямых связей "Крещеного китайца" с фактами реальной биографии Бориса Бугаева, биографическая основа романа (или первой главы романа "Преступление Котика Летаева", который, в свою очередь, является первым томом задуманной Белым эпопеи "Моя жизнь") не подлежит сомнению. В основе его — события осени — весны 1885—1886 г., жизнь в арбатской квартире профессора Московского университета Н. В. Бугаева, да и сама эта квартира, описанная с удивительной точностью и дотошной детальностью.

Конечно, исходный "материал", реальные факты, вплетенные в художественное целое, подчиняются уже законам художественного мира, неудивительно, что при сравнении с биографией обнаруживаются противоречия или несоответствия. Так, Белый может выводить персонажи под их собственными именами, давать имена вымышленные, но явно указывающие на прототип (причем и те и другие могут фигурировать в тексте одновременно, как Янжул и Помпупл, например), изменять места, названия, хронологию событий и т. д. И тем не менее.

Стержень повествования "Крещеного китайца" задан четкой хронологией, последовательным рассказом о жизни Котика Летаева и его родителей в течение одного года, и даже более конкретно: с октября по май. Белый четко обозначает начало действия: "Я помню события года и строй мерных месяцев именно с этого времени: да, с октября (в октябре я родился); октябрь этот был очень снежный".

Динамика повествования в романе определяется движением времени, звучащим постоянно рефреном: "Вращается веретень дней — тень теней!"; временным веретеном, годовым круговоротом — переходом от зимы к весне. Фактически от осени, но Белый намеренно подчеркивает, что "октябрь был очень снежный", и осенних примет в романе нет. Оговорен и шаг, "скорость вращения" временного веретена — "строй мерных месяцев", и смена одного месяца другим строго фиксируется в романе.

В качестве особых примет годового цикла выступают праздники: Михайлов день, Рождество, день 40 мучеников (9 марта). Причем в тексте

нетрудно разглядеть и приметы биографического характера. Белый действительно родился в октябре. В описание же Михайлова дня, именин Михаила Васильевича Летаева, 8 (21) ноября не случайно вкрадывается фраза: "И за окном рассыпают песок, чтоб не падали; нет, не ноябрь, а — декабрь", которая лишний раз дает знать, насколько зыбка граница между профессором Летаевым и Николаем Васильевичем Бугаевым: именины Николы Зимнего отмечаются 6 (19) декабря.

Если попытаться представить событийный ряд романа, то выглядит он примерно так: описание жизни дома Летаевых, учашение ссор между отцом и матерью Котика (октябрь — ноябрь), именины Михаила Васильевича Летаева, кульминационная ссора родителей (глава "Папа дошел до гвоздя", февраль), болезнь Котика Летаева (февраль — март), чтение вместе с отцом Ветхого и Нового Заветов (апрель), новая ссора родителей, профессор Летаев увозит Котика к своему брату, дяде Ершу, возвращение в арбатский дом, финал романа — май, отъезд в Касьяново (Демьяново, имение В. И. Танеева, где Бугаевы проводили лето, — глава "Красный анис"). Однако соотносимость событий с конкретным временем, "мерным течением месяцев" весьма условна; они как будто составляют параллельный ряд хронологии "Крещеного китайца" (т. е. движению от октября к маю), относятся ко времени вообще, времени детства, а не только к 1885—1886 гг. Белый и обозначает это "время вообще", неопределенное прошлое, имперфект, словами "помню", "бывало", отделяя отточием эпизоды с неопределенным временем от сцен, где время вполне конкретно.

В начале романа даются главы, в которых имперфект доминирует: "Кабинетик", "Папочка", "Бабушка, тетечка, дядечка" (описание одного дня пребывания в гостях у бабушки), "Рулада", "Мамочка". В них даются общие характеристики героев, рисуются обобщенные портреты отца, матери и др., намечаются темы и мотивы, развивающиеся в дальнейшем.

Господство временной неопределенности в романе дает возможность Белому включать биографические факты, к 1885—1886 гг. вовсе не относящиеся. В воспоминаниях Белый перечисляет ряд важных для него событий зимы 1883/84 г.: "...Отъезд матери в Петербург к разведшейся с мужем Е. И. Гамалей; и — долгий период жизни без мамы, с отцом <...> Мать жила в Петербурге около двух месяцев; но, казалось, прошли года; она приехала к масленице <...> И это опять новый мир: мир впервые усвоения рассказов матери о Петербурге; из них я узнаю о Невском, о царе, об отношении Москвы и Петербурга <...> но отец называет эту жизнь пустой; и тут начинается полоса ссор между отцом и матерью; темы их — различные взгляды на жизнь, разность отношения к Москве и Петербургу; и — главное — уже их борьба из-за меня; я себя чувствую схваченным отцом и матерью за разные руки: меня раздергивают на части"*.

Все это в "Крещеном китайце" есть, иногда в почти дословном совпадении: "Да, в Петербурге проспекты; по Невскому катит в коляске царица..." Петербургская тема окрашивает образ матери. Она начинает звучать в гла-

* Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 185.

ве "Рулада", где изображены и "разность отношения к Москве и Петербургу", споры матери и отца, и проходит лейтмотивом через всю главу. В главе "Мамочка" задается с первых фраз: "Знаю: мамочка наша больна! Это часто у ней за спиной выговаривал папа. Я знаю, что ей занеможилось плечем, когда она села из Питера в спальный вагон, чтобы плакать о питерской жизни; изнемогала в профессорском круге она..." Наконец, "раздергивание" ребенка на части из мемуарной метафоры становится реальным эпизодом в "Крещеном китайце": "Вот, ухвативши за плечико, дернет за плечико: вывернет плечико; тускло лицом припадет мне под носик и пальчиком водит, присевши у носика, полной рукой прижимая рубашку к ногам и голая плечом; задевает меня бирюзью по носику:

"— Мать я тебе?"

Я — решаю, что — нет: мне иного нет выбора; <...> потому что захваченный папиной пятипалой рукою за юбку, — бежать не могу я отсюда: ай, ай, ай, ай — эдак вывернуть можно мне плечико: будут опять синячки — безобразия!

Тах-тарарах: громко падает стул; завязалась борьба за меня (оборвали тесемочку мне)..."

В воспоминаниях Белый не случайно отмечает, что детское "летосчисление" другое, здесь месяцы могут быть равны годам, тем самым возможность смещения во времени событий получает дополнительное обоснование.

Так же без особого преувеличения можно сказать, что арбатская квартира во многом "моделировала" художественный мир прозы Белого, более того, структура квартиры и изменения, в ней происходившие, несут весомую смысловую нагрузку, организуют сюжет и композицию. От читателя требуется хорошо представлять себе место действия, свободно ориентироваться в причудливых и зачастую нарочито запутанных описаниях, не теряться в лабиринте комнат, несмотря на то что сам писатель намеренно превращает не слишком обширные профессорские апартаменты в лабиринт.

В "Котике Летаеве" Андрей Белый изображает становление сознания человека, его выход из "детского", досознательного мира во взрослый. Становление сознания связано с освоением квартиры. Пространство квартиры поначалу существует как еще не структурированное целое: переходы, комнаты, коридоры, "в которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими...". Внешний мир пока еще насыщен знаками памяти об ином существовании, он мифологичен и метафоричен, как метафорично и само восприятие квартиры: "Переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше тело, преобразуют нам наше тело; показывают нам наше тело; это — органы тела... вселенной, которой труп — нами видимый мир; мы с себя его сбросили: и вне нас он застыл; это — кости прежних форм жизни, по которым мы ходим; нами видимый мир — труп далекого прошлого..." Квартира — это и образ древнейших эпох ("переживаю пещерный период <...> продолби стену я... мне не будет Арбата <...> может быть... я увижу просторы ливийской пустыни..."), и образ материнской утробы, и образ внутреннего мира самого Котика Летаева, и многое другое, что вполне заслуживает специального исследования.

Постепенно элементы квартирного пространства приобретают ясность: столовая, гостиная, кабинет, детская — они выделяются из аморфного, общего, синтетического восприятия квартиры, но существуют отдельно, без взаимосвязи, черный коридор — как провал непознанного между ними. Поэтому и структура квартиры в целом (как взаимосвязанных элементов) еще не несет смысловой нагрузки.

Это происходит в "Крещеном китайце". Казавшиеся неподвижными элементы оживают, поскольку сам мир — и предметный прежде всего — подвержен изменчивости.

В начале романа пространство квартиры выглядит следующим образом. "Передняя <...> три двери: в столовую, в кухню, в немой коридор" (что совпадает с воспоминаниями Белого)*.

Из столовой, где стояло фортепиано, дверь ведет в гостиную. Это парадные комнаты.

Вдоль коридора: детская (однооконная), спальня родителей, кабинет отца замыкает квартиру.

Изменения в структуре квартиры ("перемещение" ее элементов — например, превращение кабинета в гостиную) организуют сюжет. С этой точки зрения "Крещеный китаец" повествует о том, как в результате ссоры с отцом мать Котика Летаева переезжает из комнаты, находившейся рядом с кабинетом отца (спальни), в гостиную и как в связи с этим гостиная изменяется (красный цвет, данный еще в "Котике Летаеве", меняется на оливковый). Смена цвета — обозначение двух периодов в жизни квартиры (имея в виду время "Крещеного китайца"): рационального, прошедшего под знаком отца — красный: "Вот тут помогает весьма рациональная ясность французских мыслителей" — снова пытается вспыхнуть он *красною ясностью*; — вспыхивает не он, а опять-таки вспыхнули серьги" (уже в приведенной цитате видно, что строго рациональное мужское начало уступает место началу женскому) — и периода беспорядка и смуты, прошедшего под знаком матери — оливковый. Элементы квартирного пространства по воле матери причудливо и хаотически тасуются: "Помню: — проснешься: столовая — здесь, а гостиная — там; это — мамочка: все-то она суежилась, перетирала, меняла, покрикивала, перегоняла меня, Генриэтту Мартыновну, папу из комнаты в комнату и заставляла надеяться, что наступает теперь, после всех изменений — прекрасная жизнь; оставалось по-прежнему... — Напрасно старается мамочка все украшать очень сложным составом предметов, обильно срезанных с Кузнецкого Моста: составы предметов — неставы: распались!"

Гостиная становится ареной борьбы между отцом и матерью и в конечном счете определяет, кто формирует жизненный порядок семьи. Личность отца связывается с кабинетом, доминантой которого являются книжные шкафы, книги (аналогия рационального начала), и книгами он пытается подчинить себе квартиру, распространяясь в другие комнаты, превращая квартиру в один сплошной кабинет и, естественно, натывается на сопротивление матери: "Раз в год <...> он сносил, что не нужно, в кофейного цвета

* *Белый А.* На рубеже двух столетий. С. 176.

шкафы, наполнявшие и расширение коридора (меж детской), пытаясь шкафами ввалиться к нам в детскую и запрудить вовсе выход...”; “Папа выдумал выставить книжную полочку: прямо в гостиную <...> Несчастная книжная полка влетала стремительно в кабинетик обратно: боялись движения томиков с северо-западного угла, где хладел кабинетик, — на юго-восток, где пышители парадные комнаты в чванном бескнижии...”

В свою очередь, посягательство на книги выражает агрессию со стороны матери, “урезание” мира отца. В спальне поначалу стоял умывальник. (Это период, описанный еще в “Котике Летаеве”, период относительного благополучия в отношениях между отцом и матерью. В воспоминаниях Андрей Белый комментирует начало своей болезни, изображенной в повести, и говорит, что из детской успел добраться до умывальника в спальне родителей и потерял сознание.)*

Затем умывальник перемещается в кабинет отца, что означает начало расхождения родителей: “...умывальник поставила мама туда: выходила плескаться и брызгать на книги водою и мылом...”

Кульминационная сцена в романе — “укрощение строптивой” (глава “Папа дошел до гвоздя”): ссора между отцом и матерью. В результате ссоры мать переезжает в гостиную: “Из столовой — открытая дверь: там — гостиная дверь открывает таинственную мамину спальню, за ширмочкой с лаковым полем небесного цвета...” Такой застал квартиру Бугаевых Сергей Соловьев, судя по его воспоминаниям**.

Белый нарушает хронологию в повествовании, точнее, увязывает хронологию с изменениями пространства и цвета. Последствия ссоры между отцом и матерью даны уже в начале “Крещеного китайца”, когда читатель, собственно говоря, о ссоре и причинах ее еще толком ничего не знает. Белый сразу же разграничивает два периода в жизни квартиры, подчеркивая момент, их разделяющий, введением нового персонажа: “В хмурый октябрь перебили нам кресла в оливковый цвет; да: и в хмурый октябрь появилась у нас — Малиновская...”, “появилась в зеленой гостиной (при красной гостиной не помню ее!)”. Разговор между маменькой и Малиновской также заранее намекает на пространственные последствия ссоры родителей: “А почему, дорогая, у вас появилась отдельная спальня?”, “А почему вы <...> переместили гостиную?” — смысл этих вопросов Малиновской прояснится значительно позже, однако Белый считает нужным таким образом “предупредить” читателя, обращая его внимание на важность обстановки действия.

* Белый А. На рубеже двух столетий. С. 180.

** “Квартира Бугаевых была значительно меньше нашей. Боря жил в ней с рождения. За столовой, где помещалось пианино, была гостиная, и в той же комнате, за ширмой, спала Александра Дмитриевна Бугаева. Из передней через темный коридорчик мы прошли в маленькую комнату Бори. За ней находился довольно просторный кабинет профессора математики” (Соловьев С. М. Детство: Главы из воспоминаний // Новый мир. 1993. № 8. С. 200). Забавно, что у Соловьева в бугаевской квартире получается на одну комнату меньше: пропадает спальня родителей, что понятно, поскольку маменька живет в гостиной и бывшая спальня сливается с кабинетом.

Пространственные изменения оттеняют не только взаимоотношения матери и отца, они важны для понимания эволюции самого главного героя

Котика Летаева. Его выход в мир был связан с освоением квартиры, которая постепенно приобретала устойчивые черты. Оформлялось сознание, оформлялся окружающий мир. Он казался данным раз и навсегда, последней правдой действительности. Но это восприятие оборачивается очередным мифом, как мифом оказывается гармония отношений между родителями. Не только люди, но и вещи изменчивы. За сказочной внешностью обнаруживается скрытая и прозаичная их суть: "Приезд Малиновской связан с зеленой гостиной, с узнаванием, что сказка предметов есть волосы, войлок и пыль, с учащением ссор в нашем доме", "верю я сказке предметов; и — знаю, что за картиной Маршана не дали, а пыль на стене; за узором обой — безобойные стены; и то, что приставлено к ним, отлетит и иначе расставится, как кабинетик, который явился в том месте, где были постели: две рядом; перелетели предметы; и мамочка спит в комнатухе при нашей гостиной, распространяясь в гостиную и выгоняя оттуда захожего папу..."

Таким образом, "Крещеный китаец" рисует процесс демифологизации действительности, освобождения сознания от мифологии детского восприятия мира — "красная сказка предметов померкла в зеленую прозу", что в структуре повествования увязано с изменениями облика квартиры, пространства в том числе.

Однако роман этим далеко не исчерпывается. Андрей Белый не случайно кладет в основу повествования события 1885—1886 гг. Для него это было время сильнейших религиозных переживаний. "...Пяти лет: композиция, стиль образов заветов, особенно нового, переполнили мое существо; дело в том, что в страданиях Иисуса мне была брошена тема страданий безвинных; и я осознал в Иисусе тему моих безвинных страданий у нас в доме; и все, что и ни узнавал, я тотчас же вводил в игру; и в игре, в вариациях темы узнанного так или иначе я упражнял диалектику своего воображения; в ней же силы крепнущего познания; и — опыта познания <...> я стал забираться в темные уголки и там тихо плакать, жалея себя, маленького, несправедливо преследуемого матерью за "второго математика"; я здесь хожу и таю свои муки; "они" не понимают меня, как законники не понимали Иисуса; но я теперь имею смысл: даже если распнут меня, я, маленький, воскресну; и для этого надо прощать им "грехи"; совершилось перемещение страдания: "преступник" во мне, "лобан" и "математик", оказывается, такой же преступник, как Иисус"*.

В "Крещеном китаец" эта ситуация предстает в несколько ином виде. С самого начала Михаил Васильевич Летаев — демиург, управляющий мирами, устроитель космоса, — он не случайно "небом освещенный, духом просвеченный", — дающий миру меру и гармонию, рациональную ясность законов. В этом отец Котика противостоит стихийной душевности, эмоциональности матери. Она — музыка, не признающая стесняющих законов радио. Бытовая ссора в финале романа наполняется метафизическим смыслом, что подчеркивается насыщенной религиозной

* *Белый А.* На рубеже двух столетий. С. 191—192.

образностью, именами библейских пророков, постоянными намеками на эпизоды Ветхого и Нового Заветов. Котик оказывается между силами душевной стихии (мать) и духовного познания (отец, который становится почти Богом-Отцом), между Землей и Небом. И путь его становится путем посвящения, жертвенным приятием духовной миссии.

3

В январе 1919 г., одновременно с появлением в печати заключительной части "Котика Летаева", Белый приступает к работе над "странным дневником в виде повести" — "Записками чудака", который он объявил составной частью задуманной им многотомной эпопеи "Я", а критика поторопилась назвать самой загадочной, безумной, сумбурной, бредовой и патологической книгой писателя.

...Младенчество Котика Летаева, гимназические годы Николая Летаева остались далеко позади. Герой новой книги вырос, повзрослел, прошел "земной путь почти до половины" и стал настоящим "чудаком" Леонидом Ледяным, который рассказывает нам о своих полетах в "духовном космосе", о самом "полетном" периоде жизни. В подлинном дневнике Белого "Материале к биографии (интимном)" этот антропософский период 1912—1916 гг., проведенный в Дорнахе (Швейцария) на "волшебной горе" основоположника "духовной науки" доктора Р. Штейнера, назван "удивительным парадоксом, богатейшей пищей для общества психических исследований"*.

Но конечно же никакое "общество психических исследований" не в состоянии ответить на мучавший Белого вопрос: "Принадлежала ли эта жизнь моей жизни?", сопережить становление самосознающей души, осмыслить порою драматический, чаще трагический опыт посвящения. Для этого нужна была книга-исповедь, книга-откровение, одним словом, эпопея "Я", и Белый берется за такую книгу. Но она оказалась слишком необычной, если не безумной, почитателям прежнего Белого, ценителям "Петербурга", даже и самым проницательным. Характерна реакция О. Мандельштама, который мало что понял в духовной драме Белого и отделался остроумным злоязычием: "Получается приблизительно такая картина: человек, переходя улицу, расшибся о фонарь и написал целую книгу о том, как у него искры посыпались из глаз. Книжка Белого — в полном согласии с немецкими учебниками теософии, и бунтарство ее пахнет ячменным кофе и здоровым вегетарианством. Теософия — вязаная фуфайка вырождающейся религии, издали разит от нее духом псевдонаучного шарлатанства (...) Если у человека три раза в день происходят колоссальные душевные катастрофы, мы перестаем ему верить, мы вправе ему не верить — он для нас смешон. А над Белым смеяться не хочется и грех: он написал "Петербург"***.

* См.: Минувшее. Исторический альманах. Т. 6. М., 1992. С. 341.

** Мандельштам Осип. Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 292—293. Позднее в стихах на смерть поэта О. Мандельштам скажет о Белом: "Выпрямитель сознания еще не рожденных веков", а в "Стихах о неизвестном солдате" Белый станет камертоном переживаний и источником образности (см.: Кацис Л. Г. И. В. Гёте и Р. Штейнер в поэтическом диалоге Андрей Белый — Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1995. № 4—5).

Под этими поверхностно-ироническими строками подписаться готовы были многие: сам принцип посвящения, нового посвятельного знания ("духовной науки") как принцип культуры XX в. был глубоко чужд и враждебен признанным властителям дум. Но тогда разразилась катастрофа, никого не обойдя стороной.

Сегодня, когда мы переживаем сложное время, нам следовало бы спросить себя: а так ли странен этот "странный" дневник нашего "безумного" гения? Его "темный" язык — не косноязычие ли пророка, а "все невнятицы, туманности и путаницы не явления ли высоты"?* И сам Белый, названный М. Цветаевой "пленным духом", не выпрямитель ли "сознания еще не рожденных веков"? Во всяком случае, о "Записках чудака" можно говорить как об "откровении Духовного мира внутри "Я".

Р. Штейнеру принадлежит заслуга прочтения "Одиссеи" как эзотерического текста, в котором повествование ведется иначе, чем требует внешнее течение событий, а чувственно-реальный план служит лишь иллюстрацией пути духовной инициации героя**. Белому близко подобное толкование Гомера, и он строит собственную книгу как одиссею нашего "малого" беспмятного "я" (М. Волошин), движущегося по направлению к высшему "Я". В этой одиссее неизбежны встречи со Сциллой и Харибдой, Полифемом и Цирцеей, сиренами, амазонками, кентаврами, циклопами, многими сверхчувственными существами или, выражаясь языком науки посвящения, со своими двойниками, Иерархическими сущностями, Малым и Великим Стражами Порога духовного мира. Ибо нет другого пути в сверхчувственный мир.

На чисто внешнем, фабульном плане "Записки чудака" — рассказ о возвращении писателя Леонида Ледяного, призванного во время войны в армию, из Швейцарии на родину, в Россию. На этом пути, лежащем через Францию, Норвегию, Швецию, Финляндию, герой встречает ряд препятствий, которые видит и переживает в особом свете, связанном с его душевным состоянием того времени: разлука с любимой, расставание с учителем, утрата привычного антропософского "обстояния". Физические события воспринимаются как некие знаки судьбы, ее шифры на пути посвящения. Шифры, которые нужно научиться правильно читать: "Описание путешествия — описание не того, что случилось; оно описание — как я читал; и как я птался".

Герой потрясен увиденным и узанным, как бы опален огнем некоего взрыва, разорвавшего его, прежнего, на части (мышление, чувство, воля — все в разладе!). Теперь нужно сложить все по-другому, научиться самому управлять своей судьбой, принимать собственные решения, искать и находить мотивы поведения в себе самом, а не на стороне. В оккультной литературе эти этапы посвящения (испытания) ученика называются соответственно испытанием "огнем", "водой", "воздухом", и Белый твердо

* См.: *Степун Федор*. Памяти Андрея Белого // Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. С. 175.

** Подробнее см.: *Штейнер Рудольф*. Христианство как мистический факт и мистерии древности. Ереван, 1991. С. 73—75.

держит их в памяти, формулируя творческий замысел книги: "Назначение этого дневника — сорвать маску с себя, как с писателя; и рассказать о себе, человеке, однажды навеки потрясенном; подготовлялось всю жизнь потрясение. И — разразилось однажды ужасающим вулканическим взрывом <...>

Устой обычной действительности для меня — ерунда <...> ряд парадоксов, нелепиц, невероятнейших совпадений и — удивительных случаев, которыми осыпает судьба; та судьба теперь — я; да, мне отданы в руки поводья коней, увлекающих колесницу действительности: нет возницы в ней; я образу действительность в месте, разрушенном взрывами".

Лейтмотив взрыва, организующий всю книгу (кстати, структура "Записок чудака" целиком лейтмотивна), связан с центральным событием XX в., которое осталось незамеченным многими современниками. Белый был одним из тех, кто его увидел и провозгласил: "Второе пришествие началось <...> во взрывах, в катастрофах и пожарах развалится старая жизнь; эти взрывы уже совершаются в тех, кто себя начинает готовить к событиям Новой Эпохи, которой, как солнцем, освящены наши души".

В главе "Восходы зари невосшедшего солнца" Белый конкретизирует это общее положение и рассказывает о том, как на могиле Ф. Ницше на него сошел свет и он пережил "свой Дамаск": "...конус истории от меня отвалился; я стал Ессе Ното; но тут же почувствовал: невероятное Солнце в меня опускалось; я мог бы сказать в этот миг, что я — свет в сему миру; я знал, что не "Я" в себе — Свет, но Христос во мне — Свет всему миру".

Как это понять? Неужели Андрей Белый все это просто нафантазировал, и прав Мандельштам, что у него всего лишь "посыпались искры из глаз" от столкновения с фонарным столбом? Впрочем, XX в. знает немало случаев переживания "своего Дамаска" и встречи с "эфирным Христом". Сущность же этого явления Христа в XX в. пытается мистически раскрыть Р. Штейнер. В своей лекции "События пришествия Христа в эфирном теле" (1910) он отмечает, что та Сущность, которую мы называем Христом и которая однажды воплотилась в человека Иисуса, в физическом теле больше не повторится. Христос явится в XX в. уже в эфирном теле, и нужно научиться воспринять его в духовном мире. "Эта величайшая тайна нашего времени: тайна Второго Пришествия Христа, и таков облик этой тайны".

Материалистический разум, продолжает Штейнер (его мысль многое разъясняет в "Записках чудака"), не может себе представить, что человеческие души способны дорасти до созерцания духовно-эфирного мира, а вместе с тем и Христа в эфирном теле. Они признают лишь Христа, который низойдет, воплотившись в физическое тело, что является одним из ужаснейших заблуждений, когда-либо посещавших человечество. Вывести людей из этого заблуждения будет задачей посвященных...

Оговоримся: лейтмотивы этого "странного дневника в виде повести" доступны лишь читателю, хотя бы элементарно ориентирующемуся в ос-

повных идеях и понятиях антропософии, знатоком которой стал писатель. В особенности, быть может, лейтмотив зарождения и переживания Высшего "Я" в малом "я", с которым связаны таинственные темы раздвоенности и духовных терзаний героя.

Белый следующим образом диагностирует состояние своего духа в период описываемых событий: "...физическая моя оболочка притянута к земле, а дух мой, как бы выйдя из нее, все время парит в сфере, где его обступают огромные, космические, апокалиптические образы (в этот период во мне подымается тема большого "Я", о котором я впоследствии говорю в "Записках чудака")*.

Высшее самопознание для Белого начинается там и тогда, где и когда мы говорим себе: наше Высшее "Я" заключено не в нашем "малом" повседневном "Я", но во всем окружающем нас мире — солнце и звездах, в Луне, в камнях, травах и животных; повсюду пребывает та же сущность, что и в нас самих, всех объединяет единая Сущность, и если обычное "я", бытие которого ограничено рождением и смертью, даже ничего и не знает о своем Другом "Я", предопределяющем судьбы человека, характер и рисунок жизни, то ясновидческое сознание умеет его прозреть. В этом Другом, Высшем "Я" и содержится судьба человека. Здесь очень уместно восточное слово "карма", столь частое у Белого: жизнь человека инспирирована его собственным вечным существом, последующее существование — рядом предшествующих.

Случай с Леонидом Ледяным не оставляет сомнений, сколь мучителен процесс зарождения Высшего "Я" в обычном "я". Особенно если человек не сумел в достаточной мере выработать самого себя и его новорожденное "Я" оказывается слабым. Тогда беспорядочное низшее "я" приобретает чрезмерную власть, вместо того чтобы Высшее "Я" направляло и вело его. Поставить себя в правильное отношение к низшему "я", которое предстает Высшему в образе двойника (вот откуда двойник Белого Леонид Ледяной!), не допустить его ни до какого действия, которое не стояло бы под контролем Высшего "Я", — вот цель инициации.

У нас нет, к сожалению, возможности раскрывать такой, скажем, лейтмотив, как "мания преследования", основная причина которой связана с прохождением Малого Стража Порога духовного мира, хотя этот лейтмотив — один из центральных как в "Записках чудака", так и в "Материале к биографии (интимном)". Мы же попытаемся осветить тему Генерально-Астрального Штаба сил тьмы и действия этого штаба в плане астральном и физическом, тем более что тема эта в "Записках чудака" вызывает, как правило, наибольшее количество вопросов и недоумений. Между тем рассказ о Генерально-Астральном Штабе, каким бы фантастическим он ни казался, принадлежит к самым важным эзотерическим откровениям Белого.

Автор следующим образом характеризует деяния "братства" черных оккультистов, которые научились пользоваться государством как экраном,

* Минувшее. Исторический альманах. Т. 6. С. 360.

прикрывающим их "ужасную тайну": Клигзор*, который с нижнего астрального плана руководит "таинственным братством", держит нас в плену государства; и "облекает лакеев своих в ритуальный мундир государственных деятелей; марионетки они: кто-то дергает их, и они начинают тогда выступать в заседаниях, парламентах с официальными нотами или с проектами несуществующей, невозможной действительности".

В связи с этим пассажем Белый замечает: "Во мне есть подозрение: происшествия, бывшие со мной и с Нэлли, не поддаются обычному толкованию; жизнь наша — сказка, и приоткрылась за светлою тайною вслед нам и черная тайна". Сегодня, когда зрелые плоды "братства Клигзора" на каждом шагу перед нами, в полной мере можно оценить проницательность писателя. А вот и завершающий, так сказать "удар кисти": "Понял я, что в России изолгано все: эти "сэры" достаточно тут нашутили; и прошутили; прошученный здесь воздух прессы; прошучены души; прошучено "я": им стреляют из пушек; "им" нужны тела, лишь говядина красная, туши; и в регистрацию т у ш был я призван в Россию.

В грядущее проходим строй за строем...

Рабы: без чувств, без душ...

Грядущее, как прошлое, покроем

Лишь грудой "туш"..."

Позже этот лейтмотив Генерально-Астрального Штаба черных шпиров-окультистов, их "братства" и всяких "сэров" метаморфизуется в романе "Москва" в тему "черного папы", "мирового негодяя", иезуита доктора Доннора как прообраза тех реальных черно-магических, оккультных сил, которые готовили первую мировую войну и приход фашизма, приложили руку ко всем великим и малым войнам XX в. "Всемирная провокация прорикалась нашим "безумным гением" еще в романе "Петербург" (1914), между тем мы до сих пор слишком мало знаем о "них" — этих "сэрах" — и не очень торопимся узнать.

В заключение скажем, как импульс самосознающей души Андрея Белого работает в его "Послесловии" к "Запискам чудака".

Для автора эта "странная", "исключительная", "единственная" книга написана не им самим, Андреем Белым, но "чудаком", "идиотом", сидящим в нем и перепутавшим "планы глубиннейшей внутренней жизни". Герой болен "болезнью века — *mania grandiosa*", которой "больны очень многие, не подозревающие болезни своей". Она подстерегает всякое "я" на пути ко осознанию в себе надындивидуального "Я" в том случае, когда недостаточно проработана бессознательная сфера. Писатель убежден, что победил эту болезнь, "изобразив объективно ее", сбросив шкуру с себя там, где "упали в безумии Фридрих Ницше, великолепнейший Шуман и Гёльдерлин". Отсюда — особое отношение к "Запискам чудака" как к истории

* Инспирируемый самим Сатаной черный маг, злой волшебник, который в средние века вел упорную борьбу с рыцарями Граала.

пережитой болезни и свидетельству ее преодоления. Причем речь идет о "высокой болезни", которая связана с переживанием особого состояния Бытия и обусловлена его духовным познанием.

Наконец — о поэзии этой повести Белого: ведь и в прозе он оставался поэтом, а его "Записки чудака" насквозь пронизаны мелодией гекзаметра, который успокаивает, уравнивает дионисийский импульс, присущий душе поэта.

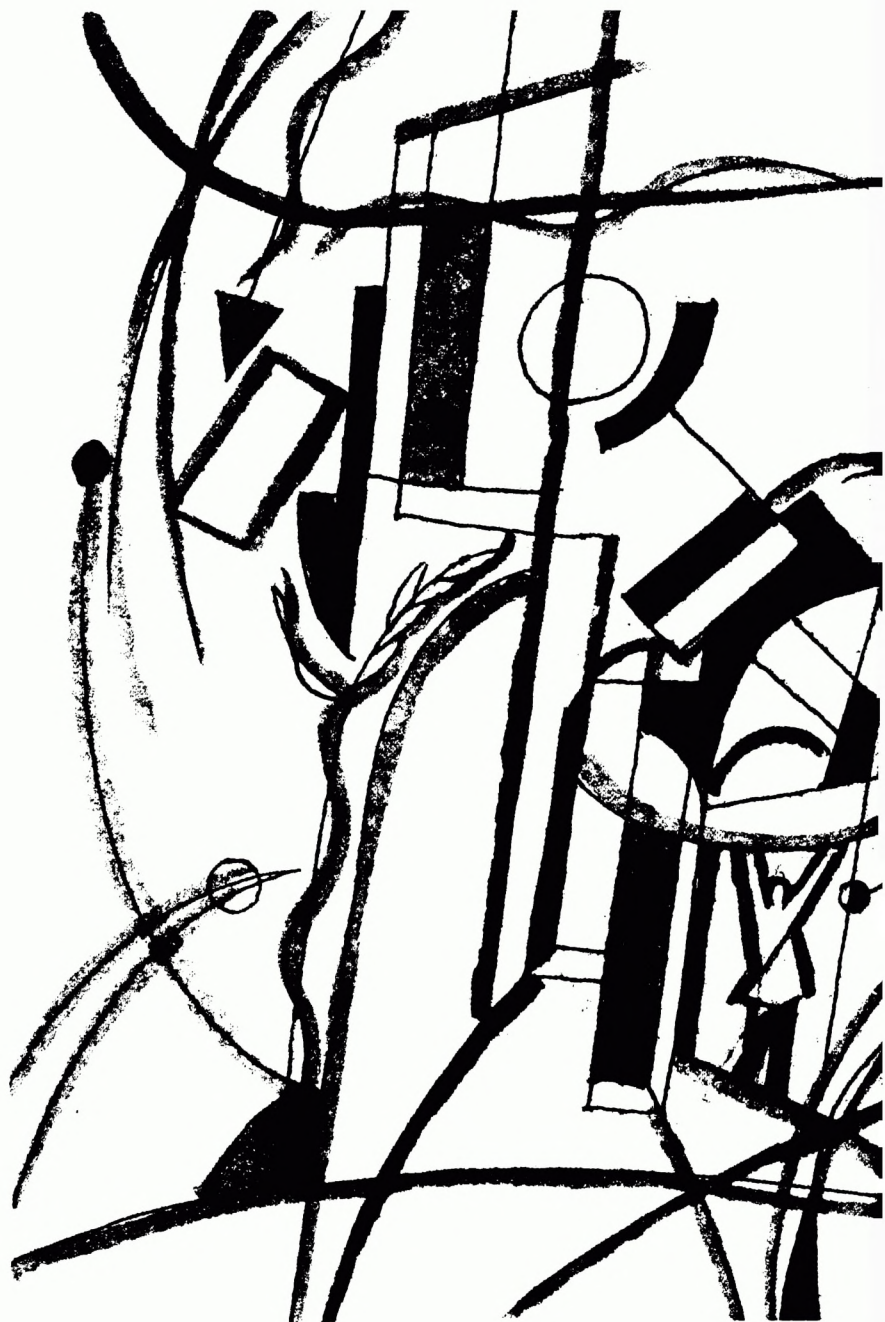
Есть у Белого одно из самых любимых стихотворений во всей русской поэзии (оно часто цитируется, упоминается) — "Последняя смерть" (1827) Е. Баратынского. Пережив его, читатель, возможно, приблизится к тайне Андрея Белого. Вот отрывок из него:

Есть бытие, но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разумье.
Он в полноте понятия своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других своенравней,
Видения бегут со всех сторон,
Как будто бы своей отчизне давней
Стихийному волненью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

И если мы попытаемся осознать духовную глубину дионисийской самосознающей души нашего "безумного" гения, то нам не покажутся слишком странными, таинственными и пугающими слова Белого, оброненные им в романе "Крещеный китаец": "Добро" или "зло" только пена пучины того своего, что есть в каждом".

* * *

Только что прочитанное предисловие необычно. Мало того что у него три автора, авторы эти никак не "рифмуются" между собой, одни других своенравней, придерживаются разных, а то и противоположных взглядов на творчество Андрея Белого, на литературу как таковую. И все же мы рискнули пойти на эту разногласицу, лучше сказать, скрытую дискуссию в пределах одного текста. Она, во-первых, лишней раз напоминает о многомерности творчества Белого, предполагающего множественность интерпретаций, дающего широкий простор для гипотез и прозрений. И во-вторых, избавляет читателя от монологичности предисловий в традиционном смысле слова, предполагает его соразмышление и активное включение в разгадку феномена Андрея Белого. А личная причастность к писателю и его творчеству, в конце концов, самое главное.



КОТИК ЛЕТАЕВ



*Посвящаю повесть мою той,
кто работала над нею вместе
со мною, —*

— посвящаю Асе ее.

— Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шепотом... — что когда вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того до-вспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете...

*(Л. Толстой. Война и мир.
Том II-й)¹.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь, на крутосекущей черте, — в прошлое я бросаю немые и долгие взоры...

Мне — тридцать пять лет: самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы событий, как бегут они вспять...

Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы — друг с другом беседуем; мы — понимаем друг друга.

Прошлый путь протянулся отчетливо: от ущелий первых младенческих лет до крутизн этого самосознающего мига; и от крутизн его до предсмертных ущелий — сбегает Грядущее; в них ледник изольется опять: водопадами чувств.

Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном крутне померкнет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу я над пропастью; путь нисхождения страшен...

Я стою здесь, в горах²: так же я стоял, среди гор, убежав от людей; от далеких, от близких; и оставил в долине — себя самого, протянувшего руки... к далеким вершинам, где: —

— каменистые пики грозились; вставали под небо; перекликались друг с другом; образовали огромную полифонию: творимого космоса; и тяжковесно, отвесно — громоздились громадины; в оскалы провалов вставали туманы; мертвенно реяли облака; и — проливались дожди; бегали издали быстрые линии пиков; пальцы пиков протягивались, лазурные многозубия истекали бледными ледниками и нервные, бледные линии гребнились повсюду; жестикулировал и расставлялся рельеф; пенились, проливались потоки с огромных престолов; и говор громо-

ного голоса сопровождал меня всюду: по часам плясали в глазах на бегу: стены, сосны, потоки и пропасти, камни, кладбища, деревеньки, мосты; пурпур трепаных мхов кровенил все ландшафты; крутни мокрого пара стремительно выбегали в расколах громадин; и — падали: между водою и солнцем; обдавал танцующий пар; начинал хлестать мне в лицо; облако падало под ноги: в космы потока; пряталась бурно бившая пена под молоком; но по ним все: — дрожало, рыдало, гремело, стеноло и пробивалось в редующем молоке теми же водными космами...

Я стою здесь, в горах: и потоки все те же —

— с на краю их обсевшими

старыми, деревянно резными домами подножной деревни и с церковною колоколенкой; "клянчат" звонкие колокольца коров неугомонно и весело в серо-черном, в обвистанном, ветром облизанном мире, где бросаются сосны приступом на чистейшие ледники, чтоб... разбиться о стену; вот подбросилась последняя сосенка; и — повисла; вон бегущие ветры в ветвах разрешаются в свисты под черным ревом утесов; вон — гортанный фагот... меж утесами... углубляет ущелье под четкими, чистыми гранями серых громад; вдруг почудятся звуки отсюда: серебристых арфистов, цитристов; там — алмазится снег; там, отсюда — посмотрит тот самый (а кто — ты не знаешь); и — тем самым в взглядом (каким — ты не знаешь) посмотрит, прорезав покровы природы; и — отдаваясь в душе: исконно знакомым, заветнейшим, незабываемым никогда...

Я стою здесь, в горах: меня ждет — нисхождение; путь нисхождения страшен...³

Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном крутне потускнеет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу я над пропастью.

Через тридцать пять лет уже вырвется у меня мое тело...

Восхождение — благодатно: в нем укрыт счет стремнинам; в воспоминании, как не бывшие, — они стоят: вот и вот.

Здесь и здесь ты бывал: здесь и здесь.

Как же ты не сорвался?

В воспоминании сам с собой говорю: — здесь, на крутосекущей черте: —

— "Под ногами все то, что когда-то болезненно из тебя выросло и что было тобою;

— что мертвым камнем отваливалось и твердилось утесами...

— Природа, тебя обстающая, — ты; среди ее угрюмых ущелий ты мне виден, младенец...

— Ты, как я: ты — еси; мы друг в друге — узнали друг друга: все, что было, что есть и что будет, оно — между нами: самосознание — в объятиях наших..."

Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза и сломало все — до первой вспышки сознания; сломан лед: слов, понятий и смыслов; многообразие рассудочных истин проросло и охвачено ритмами; архитектоника ритмов осмыслилась и отряхнула былые мне смыслы, как мертвые листья; смысл есть жизнь: моя жизнь; она — в ритме годин: в жестикуляции, в мимике мимо летящих событий; слово — мимика, танец, улыбка.

Понятия — водометные капли: в непрерывном кипении, в преломлении смыслов они, поднимающем радугу из них встающего мира; объяснение — радуга; в танце смыслов — она: в танце слов; в смысле, в слове, как в капле, — нет радуги...

.....

Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза.

Вижу там: пережитое — пережито мной; только мной; сознание детства, — сместись оно, осиль оно тридцатидвухлетие это, — в точке этого мига детство узнало б себя: с самосознанием оно слито; падает все между ними; листопадами носятся смыслы слов: они отвалились от древа: и невнятица слов вокруг меня — шелестит и порхает; смыслы их я отверг; передо мной — первое сознание детства; и мы — обнимаемся:

— "Здравствуй ты, странное!"

1915 г. Октябрь.

Гошенев — Амстег — Глион — С. Морис.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БРЕДОВЫЙ ЛАБИРИНТ

Час тоски невыразимой!
Все во мне, и я во всем¹.

Ф. Тютчев

"Ты — еси"

Первое "ты — еси" схватывает меня безобразными бредами:
и —

— какими-то

стародавними, знакомыми искони: невыразимости, небывало-
сти лежания сознания в теле, ощущение математически точ-
ное, что ты — и ты, и не ты, а... какое-то набухание в ни-
куда и ничто, которое все равно не осилить, и —

—"Что это?.."

Так бы я сгустил словом неизреченность восстания моей младенческой
жизни: —

— боль сидения в органах;

ощущения были ужасны; и — беспредметны; тем не менее — стародавни:
исконно знакомы: —

— не было разделения на "Я" и "не-Я", не было ни
пространства, ни времени...

И вместо этого было: —

— состояние

натяжения ощущений; будто все-все-все ширилось: расширялось, душило;
и начинало носиться в себе крылорогими тучами.

Позднее возникло подобие: переживающий себя шар; многоочу-
тый и обращенный в себя, переживающий себя шар ощущал лишь — "вну-
три"; ощущались неодолимые дали: с периферии и к... центру.

И сознание было: сознаванием необъятного, обниманием необъятного;
неодолимые дали пространств ощущались ужасно; ощущение выбегало
с окружности шарового подобия — щупать: внутри себя... дальше;
ощущением сознание лезло: внутри себя... внутрь себя — достигалось
смутное знание: переносилось сознание; с периферии какими-то кры-
лорогими тучами несло оно к центру; и — мучилось.

- "Так нельзя".
- "Без конца..."
- "Перетягиваюсь..."
- "Помогите..."

Центр — вспыхивал: —

- "Я — один в необъятном".
- "Ничего внутри: все — вовне..."

И опять угасал. Сознание, расширяясь, бежало обратно.

— "Так нельзя, так нельзя: Помогите..."

"Я — ширюсь..." —

— так сказал бы младенец, если бы мог он сказать, если б мог он понять; и — сказать он не мог; и — понять он не мог; и — младенец кричал: отчего, — не понимали, не поняли.

.....

Образование сознания

В то далекое время "Я" — не был... —

— Было

хилое тело; и сознание, обнимая его, переживало себя в непроницаемой необъятности; тем не менее, проникаясь сознанием, тело пучилось ростом, будто грецкая губка, вобравшая в себя воду; сознание было вне тела, в месте тела же ощущался громадный провал: сознания в нашем смысле, где еще мысли не было, где еще не возникали... —

— (если бы

ощущения эти остались мне в моих будущих днях и если бы в это темное место вошло полноумие их и осветило б мне тело; если бы повернуться мне взором в себя и осветить мне себя; — то увидел бы я: наше небо; облака там бегут на громах в моем небе духовно-душевности белоходным изливом; а изливывы — ветрятся, ветвятся; и — листятся; раскидается мыслями все; и это все отражается: в небе над нами; оттого-то оно говорит; и оттого оно — ведомо...) —

— где

еще мысли не было, где еще возникали во мне: первые кипения бреда.

.....

Образовались во мне накипи: накипала во мне теплота²; и я мучился красным изжаром; перекипало сознанием облитое тело (закипают пузырьчатой пеною кости в кислотках); и накипел... первый образ: закипела в образах моя жизнь; и возникали на накипях накипи мне: —

предметы и мысли...

.....

Мир и мысль — только накипи: грозных космических образов; их полетом пульсирует кровь; их огнями засвечены мысли; и эти образы — мифы.

Мифы — древнее бытие: материками, морями вставали когда-то мне мифы; в них ребенок бродил; и в них и бредил, как все: все сперва в них бродили; и когда провалились они, то забредили ими... впервые; сначала — в них жили.

Ныне древние мифы морями упали под ноги; и океанами бредов бушуют и лижут нам тверди: земель и сознаний; видимость возникала в них; возникало "Я" и "не-Я"; возникали отдельности. Но моря выступали: роковое наследие, космос, врывается в действительность; тщетно прятались в ее ключья; в беспокровности таяло все: все-все ширилось; пропадали земли в морях; изрывалось сознание в мифах ужасной праматери; и пото-пы кипели.

Строилась — мысль-ковчег; по ней плыли сознания от ушедшего под ноги мира до... нового мира.

Роковые потоки бушуют в нас (порог сознания — шаток): берегись, — они хлынут.

Мы возникли в морях

В нас миры — морей: "Матерей"³; и бушуют они красно-ярыми сворами бредов...

Мое детское тело есть бред "матерей"; вне его — только глаз; он — пузырь на летящей пучине; возникнет и... нет его; я одной головой еще в мире: ногами — в утробе; утроба связала мне ноги: и ощущаю себя — змееногим; и мысли мои — змееногие мифы: переживаю титанист⁴.

Пучинны все мысли: океан бьется в каждой; и проливается в тело — космической бурею; восстающая детская мысль напоминает комету; вот она в теле падает; и — кровавится ее хвост; и — дождями кровавых карбункулов изливается: в океан ощущений; и между телом и мыслью, пучиной воды и огня, кто-то бросил с размаху ребенка; и — страшно ребенку.

.....
— "Помогите..."

— "Нет мочи..."

— "Спасите..."

.....
— "Это, барыня, рост".

.....
— "Помогите..."

— "Нет мочи..."

— "Спасите..."

.....
Так кричать не умеет младенец (так кричать будет после он); змеи ползают — в нем, вокруг него; наполняют его колыбель; и — шипят ему в уши.

Этот шип слышал ты — в тихий час полудневный, когда все замирает,
а солнце стреляет лучами...

Ты этот свист уже слышал: свист сосен.

.....

Продолжаю обкладывать словом первейшие события жизни: —

— ощущение мне —

змея: в нем — желание, чувство и мысль убегают в одно
змееногое, громадное тело: Титана; Титан — душит меня; и со-
знание мое вырывается: вырвалось — нет его... —

— за исключе-

нием какого-то пункта, низверженного —

— в нуллионы Эонов! —

— осилишь безмерное...

Он — не осиливал.

.....

Вот — первое событие бытия; воспоминание его держит прочно;
и — точно описывает; если оно таково (а оно таково), —

— до-телесная

жизнь одним краем своим обнажена... в факте памяти.

Старуха

Первое подобие образаросло на безобразии моих состояний.

Не сон оно: сон есть то, от чего просыпаются; я же... — еще не
проснулся; действительность, сон не чередовались друг с другом в мне
данном мире. Самая данность стояла тяжелым вопросом...

Непробудности мне родились до яви —

— в

кипаниях я и жил и боролся! —

— непробудности, неподобные снам...

Нет, не сны они, а — сказал бы я —

— подсматривания себе за спину;

и — желание тронуться с места; не носимости в вихрях
бессмыслицы, развиваемой тысячекрыло, мгновенно и распа-
дающейся в тысячи тысячекрыло летящих смерчей, — не
такие носимости в "Я" (с внутри его лежащим пространством),
а... — движение в чем-то: меня самого (мне пространство
сложилось уж)... —

— Тронься я —

начиналось, слагалось — более всего за спиной: что-то такое; оно
— не было мною, а было — такое огнёвое, красное: шаровое и жаровое;
словом — старухинское: почему? Этого сказать я не мог.

Безобразии строилось в образ: и — строился образ.

Невыразимости, небывалости лежания сознания в теле, ощущение, что ты — и ты, и не ты, а какое-то набухание, переживалось теперь приблизительно так: —

— ты — не ты, потому что рядом с тобою старуха — в тебя полувлипла: шаровая и жаровая; это она набухает; а ты — нет: ты — так себе, ничего себе, ни при чем себе...
— Но все начинало старухиться.

Я опять наливался старухой: наливается так дряблый зоб индюка в ярко-красные пучности; протяжение, натяжение в окружающем, в глотном, в лезущем — в суетном, в водоворотном пустом — оказывалось: незримоллежащим, припавшим, сосущим; стоило тебе тронуться, как оно, лежащее рядом и откровенно старушечьё, —

— опрومتью кидалось прочь;
на мгновение становилось мне зримо: —

— будто таяла сама тьма огневыми прорезями: молнийный многоног огнерогими стаями распространялся и бегал в исколотой, черной тверди... —

— и тогда вспыхивал
ярый шар и... —

— в красный мир колосающих карбункулов
распадались темноты...

.....

Я не знаю, когда это было, но я... подсмотрел ее: у себя за спиной, —

— когда она, описывая в пространстве дугу, рушилась мне прямо в спину: из ураганов красного мира, стреляя дождями карбункулов; выгнулась ее бело-каленная голова с жующим ртом и очень злыми глазами; я несся в пропасть; и надо мною утесами света и жара она ниспадала — мне в спину; и, ухвативши за спину, описывала со мною в пространствах... — колеса... —

— Сам я был колесом.

.....

Думаю, что "старуха" — какое-либо из вне-телесных моих состояний, не желающих принять "Я" и живущих: глухую, особую, стародавнюю жизнью; эта жизнь прорастает порою: у впадающих в детство старух, сумасшедших; и — носится по июльским ночам грозвыми зарницами; плевелы ее шелестят в пыли жизни:

Парки бабье лепетанье...
Жизни мышья беготня...⁵

Сплетница мне и теперь напоминает "старуху": в ней есть что-то "мистическое"...

Первый сознательный миг мой есть — точка; пронизает бессмыслицу он; и — расширися, он становится шаром, а шар — разлетается: бессмыслица, пронизая его, разрывает его...

Стаи мыльных шаров вылетают из легкой соломинки... Шар — вылетит, подрожит, проиграет блеском; и — лопнет; капелька вязкой жижи, раздутая воздухом, заиграет светом мира... Ничто, что-то и опять ничто; снова что-то; все — во мне, я — во всем... Таковы мои первые миги... Потом —

— вспыхнули едва приметные светочи; стал слезать с меня мрак (как со змееныша кожа змееныша); ощущения отделялись от кожи: ушли мне под кожу: выпали чернородные земли —

— Кожа мне стала, как... свод: таково нам пространство; мое первое представление о нем, что оно — коридор...—

— Мне впоследствии наш коридор представляется воспоминанием о времени, когда он был мне кожей; передвигался со мною он; повернись назад — он сжимается сзади дырой; впереди открывается просветом; переходики, коридоры и переулки мне впоследствии ведомы; слишком ведомы даже: а вот — "я"; а вот — "я"...

Комнаты — части тела; они сброшены мною; и — висят надо мной, чтоб распасться мне после и стать: чернородом земли; тысячелетия строю я внутри тела; и бросаю из тела: мои странные здания; —

— (и ныне: — в голове я слагаю: храм мысли, его уплотняя, как... череп; я сниму с себя череп; он будет мне — куполом храма; будет время: пойду по огромному храму; и я выйду из храма: с той же легкостью мы выходим из комнаты).

.....
Ощущения отделялись от кожи: она стала — навислостью; в ней я полз, как в трубе; и за мною — ползли: из дыры; таково вхождение в жизнь... —

— Сперва образов не было, а было им место в навислости спереди; очень скоро открылась мне: детская комната; сзади дыра зарастала, переходя — в печной рот (печной рот — воспоминание о давно погибшем, о старом: воет ветер в трубе о довременном сознании); между дыр (моим прошлым и будущим) пошел ток перегоняющих образов: съезжались, распространялись, переменялись, метались и, обливая меня кипятком, в меня влипали они (их остатки — стенные обои: и по ночам они гонятся мне, как прогоняется звездное небо)... Предлиннейший гад, дядя Вася, мне выпалзывает сзади: змееногий, усатый, он потом перерезался; он одним куском к нам захаживал отобедать, а другой — позже встретился: на обертке полезнейшей книжки "В ы м е р ш и е ч у д о в и щ а"; называется он "ди н о з а в р"; говорят, — они вымерли; еще я их встречал: в первых мигах сознания.

Вот мой образ вхождения в жизнь: коридор, свод и мрак; за мной гонятся г а д ы... —

— этот образ родственен с образом странствия по храмовым коридорам в сопровождении быкоголового мужчины с жезлом...⁶ —

Врезал мне это все голос матери:

— "Он горит, как в огне!"

Мне впоследствии говорили, что я непрерывно болел: дизентерию, скарлатиной и корью: в то именно время...

Доктор Дорионов⁷

Помню комнатку: в ней предметов не помню; но — беспорядок во всем; все — раскидано, разворочено, взрыто, как... в душе моей — затрепетавшей, встревоженной, испугнутой, потому что... —

— бабушка там, потрясаемая испугами, но испуги тая от меня и меня заражая испугами — посиживает и набивает себе папиросы: без чепчика, лысая; морщится ее лоб, когда она, приподымая глаза над очками, поглядывает на меня исподлобья — в коричневатом капоте, выделяющемся на стене — из табачного дыма; и капот, и лысина в слабых мерцаниях свечи мне не кажутся добрыми. Знаю я, — скверновато: даже совсем скверновато; а почему, — этого не могу я понять; потому ли, что открыто мне неприличие бабушки (вместо чепчика с лиловыми лентами вовсе голая голова), потому ли, что целая половина стены отсутствует вовсе: не четыре стены — три стены; четвертая — распахнулась своим темнодонным оскалом со множеством комнат —

— все комнаты, комнаты, комнаты! —

— в которые, если вступишь, то — не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте: суть же не в креслах, а, так сказать, в протяжениях материи воздуха и в открытой возможности ощутить холодноватый бег сквознячка из комнаты в комнату, увидеть прыжок в зеркало... кресло. Словом — скверные комнаты!

Между тем: сознавая немислимость там водиться, кто-то все же наперекор всему там завелся; и — безалаберно возится среди кресел — посиживает, похаживает, погромыхивает и правит — пустопорожний свой шаг, едва уловимый отсюда, по дальним пустотам...

Если быть вовсе тихим, то шаг не захочет приблизиться, потому что привольней ему там стучать одному, чем томить нас в ужасных возможностях переживать наступление шага; и — главное: чувствовать — неотделенность стеною от шага; можно в таком положении жить; двигаться тоже

можно, пожалуй; но — без единого стука; стукни; и — примется он: пристукивать, притоптывать, крепнуть, перерождаясь в грохоты.

Чувствую невозможность дальнейшего пребывания без единого звука: хочу издать звук; бабушка, задрожав, как осиновый лист, мне грозитя рукою:

— "Этого нельзя: ни-ни-ни!"

Я — громко щелкаю: и — ай! — что я сделал!

Он — совершается; оно уже совершилось, потому что он, кто там жил, вызываемый стуком, он — прёт уже; и он уже крепнет; издаё-ка-далека он мне отвечает на вызов; и — ти-те-та-то-ту! — вытопатывает он мне: т о т с а м ы й (а кто, я не знаю)... Это было многое множество раз: из темноты перли грохоты бестолкового, сурового шага; если бы добежать до постельки и если бы, завернувшись, уснуть, то ничего и не будет: все кончится; засыпая уже, буду слышать я разрушение грохота в тихий свист и похрапывание кого-то, успокоительно спящего...

Поздно... —

— выбежал из чернот-
ного грохота мне
навстречу —

— весьма

прозаичный толстяк, с короткой шеей блондин, здоровяк: поворачивал он брюшком; на меня он поблескивал золотыми своими очками; и — золотую бородкою; он впоследствии появился и в яви: это был Дорионов, Артем Досифеевич, доктор мой; мне впоследствии говорили, что я непрерывно болел; и в то самое время. У доктора Дорионова, помню я, — были огромных размеров калоши, подбитые чем-то твердым: и, попадая в переднюю, производил ими грохот он; я всегда его узнавал по громоносному топоту, по огромной енотовой шубе, висящей в передней, и по резкому звонку во входную дверь; перед его появлением у меня поднималась ноющая ломота в ногах; он прописывал рыбий жир; и при этом он шлепал — себя по коленям, надсаживаясь от добродушного хохота; кажется, разводил на дому канареек; и когда слышал пение —

вьется ласточка сизокрылая
под окном моим, под косячатым, —
— то

заливался слезами он: с отцом игрывал в шашки, а над бабушкой он подшучивал и утверждал, что мы живем не на шаре, а в — шаре.

.....

Думаю, что погоня и грохоты: пульсация тела; сознание, входя в тело, переживает его громыхающим великаном; события этого сна объяснимы мне так.

И — думаю... —

— И думаю...

— Переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше тело, преобразуют нам наше тело; показывают нам наше тело; это — органы тела... вселенной, которой труп — нами видимый мир; мы с себя его сбросили: и вне нас он застыл; это — кости прежних форм жизни, по которым мы ходим; нами видимый мир — труп далекого прошлого; мы к нему опускаемся из нашего настоящего бытия — перерабатывать его формы; так входим в ворота рождения; переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше прошлое; преобразуют нам наше прошлое; это — органы... прошлой жизни... —

— переходы, комнаты, коридоры, мне встающие в первых мигах сознания, переселяют меня в древнейшую эру жизни: в пещерный период; переживаю жизнь выдолбленных в горах чернотных пустот с бегающими и черноте и страхом объятными существами, огнями; существа забираются в глубь дыр, потому что у входа дыр стерегут крылатые гадины; переживаю пещерный период; переживаю жизнь катакомб; переживаю... под-пирамидный Египет: мы живем в теле Сфинкса; продолби стену я... мне не будет Арбата: и — мне не будет Москвы; может быть... я увижу просторы ливийской пустыни; среди них стоит... Л е в: поджидает меня...

.....
Вообразите себе человеческий череп: —

— огромный, огромный, огромный, превышающий все размеры, все храмы; вообразите себе... Он встает перед вами: ноздреватая его белизна поднялась выточенным в горе храмом; мощный храм с белым куполом выясняется перед вами из мрака; неповторяемые кривизны его стен; неповторяемы его точеные плоскости; неповторяемы архитравы⁸ колонн его входа: колоссального, точеного рта; многозубоколонный рот — вход открывает безмерности сумраком овеванных зал: черепных отделений; каменистые пики встают в сумрак свода; перекликаются гулким шумом костяные своды его; и — опускают объятия; и — образуют огромную полифонию творимого космоса; и тяжковесно, отвесно нисходят уступы; падают взоры в оскалы провалов — многовидных дыр, уводящих быстрою линией переходов в лабиринт полукружных каналов; вы выходите в алтарное место — над *ossis sphenodei**... Сюда придет иерей; и — ожидаете вы: перед вами — внутренность лобной кости: вдруг она разбивается; и в пробитую брешь в серо-черном, в обсвистанном, в ветром облизанном мире несутся: стены света, потоки; и крутнями вопиющих, поющих лучей они падают: начинают хлестать вам в лицо:

— "Идет, идет: вот — идет" —

— и уносятся под ноги космы алмазных потоков: в пещерные излучины ч е р е п а... И вы видите, что Он входит... Он стоит между светлого рева лучей, между чистыми гранями стен; все

* Одна из частей черепа (лат.).

— бело и алмазно; и — смотрит... Тот Самый... И — тем самым взгля-
дом... который вы узнаете, как... то, что отдавалось в душе: исконно
знакомым, заветнейшим, не забываемым никогда...

Голос: —

— "Я"...

Пришло, пришло, пришло: пришло — "Я"...

.....

Вы представьте скелет: крестообразно раскинул он руки — кости;
и — неподвижно простерт, чтоб... восстать в третий день... Вы
представьте: —

— вы —

маленький-маленький-маленький, беззащитно низвергнутый в нулли-
оны зонов — преодолевать их, осилить — схвачены черным свистом
пустот и стремительным пунктом несется (это первая прорезь сознания:
воспоминание его держит прочно и точно описывает); дотелесная жизнь
обнажена ужасно и мрачно; за вами несется ст а р у х а; и ураганом крас-
ного мира она протянула свои гигантские руки; а вы — беспокровны; вдруг
— толчок: вы — малюсенький-маленький вдруг ударились о скелетное
тело храма; вы спасаетесь во внутренность храма; и слышите, как разбива-
ются о него океаны красного мира: там склонилась ст а р у х а; она не
может войти —

— вы представьте: вы входите; и — поднимаете голову: справа
и слева симметрично бегущие своды ребер; изогнуты прихотливо их плоско-
сти; встают перед вами, как память... о памяти; чудесные дуги
скелетного храма; впереди — проход... к белому алтарю; и там — череп; из
огромности гулких зал, среди белого великолепия выступов вы повертываете
назад — к выходу; миры бреда горят там; изумление, смятение, страх
овладевает: действительность, откуда вы выпали, — и не мир.

И нахождение себя в храме подобно вопросу:

— "Как?..."

— "Зачем?"

— "Почему?"

— "Как сюда ты попал?"

Из алтаря проливается свет: это "Я", иерей, совершает там службы;
и — воздевает он руки:

— "Я, Я".

Вы узнали Е го.

Как он, "Я" там стоит: и простирает навстречу — пречистые руки...
Этот жест — жест захожего иерея — жест воздетых рук отпечатлели,
конечно, надбровные дуги: по окончании светлой утрени иерей уйдет; вы
его года не увидите... Он вернется на родину...

.....

Созерцание черепа странно: и он — память о памяти великолеп-
ного скелетного храма, вдолбленного нашим "Я" в скалах черного мрака;

и храме тела — лежат планы храмов; и восстанет, я верую, из храмовых обломков: храм тела.

Так гласит нам Писание...

.....

Созерцание черепа утешает, папоминает; и — смутно учит чему-то; жест надбровных дуг в е д о м нам; это жест окрыленного "Я", вставшего из гробовой покрывки, пещеры, чтобы некогда вознестись; чтоб... вернуться на родину...

Лабиринт черных комнат

После первого мига сознания предстают: коридоры и комнаты —

— все

комнаты, комнаты, комнаты! —

в которые, если вступишь, то — не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, в суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; множество немых кресел: под любым можно жить; все — мне ведомо; где-то я проходил тут —

— может быть... внутри тела, ощущеньями перебегая от органа к органу и охваченный прорастающей жизнью, еще не ясно какую, но кажется... в ы р а с т а ю щ е й; ее глухие наросты вытарчивали мне суровыми образами в глухонемой темноте; перебежал я от органа к органу и уходил в огромное материнское тело утробного мира... —

— странно ведомы стены, уводящие в неизмеримые глубины: уводящие к "м а т е р я м", где все образы тают в безобразном... —

— Коридоры и комнаты, в которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но... кажется... креслами...; сознавая немислимость здесь водиться, я завелся, однако, наперекор всему, вздрагивая в глухонемой темноте; и действительность комнат восставала мне — отложением расширения ощущений, отбежавших в "Я" и оставивших во все стороны следы свои: стены; из морей безобразия поднялись континенты; моря убежали под ноги; под полом бушевали они; угрожали разбить все паркет, затопить меня.

Казалось: — в отдалении, среди комнатной анфилады, сидит моя бабушка; бегают нити на спицах (она вяжет чулок); и — бабушка мне грозит среди скверненьких сквознячков, перебегающих из комнаты в комнату; далее — в глубине переходов еще бегают бестолочь; и гремит кто-то древний; все-то ломится он; все-то ищет меня; в торопливых поисках правит он пусторожний свой шаг: по дальним пустотам; он — чужой:

Артем Досифеевич Дорионов, быкообразный, брюхатый, — бегаёт в бесконечности лабиринтов; то подбегает он близко; а то отбегает — в неизмеримые дали ходов, где еще не обсохла действительность, и гад, дядя Вася, купается в грязи там. По ближайшим комнатам кто-то водит меня; молчаливо, сурово; кто-то светочем освещает мне путь, впоследствии становится ясным: это мама или няня проводят меня из коридора... в мою детскую комнатку... вспоминаю я это шествие: мне казалось оно бесконечным; напоминало оно: шествие по храмовым коридорам в сопровождении быкоголового мужчины с жезлом —

— (я впоследствии видел изображения таких шествий; изображениями этими пестрят подземные гробницы Египта; и я видел ведущих: песьеголовых, быкоголовых мужчин с длинными жезлами в руках...).

Мне казалось: —

— переходы квартиры ведут к бездне мрака; и все там обрываются: далее — чернотные грохоты, по которым несется старуха, стреляя дождями корбункулов (переживание это меня охватило однажды: при прохождении земли через комнату); я когда-то там пронесился; она мчалась за мною; меня вытащили из громов космических бурь; и — повели коридором; так тянулись века: все-то гнались за нами; странно было это суровое шествие по коридору квартиры — в сопровождении человекоподобного существа — со свечою в руке.

.....

Еще долго за мною протянута память туда — в лабиринт черных комнат, к ч у ж о м у: все чужие — оттуда; еще долго спустя подозрительно я встречаю... гостей; а когда узнаю про Тезея⁹ и про быка Минотавра, то становится ясно мне: Артем Досифеевич — Минотавр; я же, шелкнувший в мрак пустых комнат, — Тезей.

Лев

Среди странных обманов, туманно мелькающих мне, передо мной возникает страннейший: передо мною маячит косматая львиная морда; уж горластый час пробил; все какие-то желтороды песков; на меня из них смотрят спокойно шершавые шерсти; и — морда: крик стоит:

— "Лев идет..."

.....

В этом странном событии все угрюмо-текучие образы уплотнились впервые; и разрезаны светом обмана маячивших мраков; осветили лучи лабиринты; посреди желтых, солнечных суш узнаю я себя: вот он — круг; по краям его — лавочки; на них темные образы женщин, как — образы

почи; это — няни, а около, в свете — дети, прижатые к темным подолом их; в воздухе — многоносное любопытство; и среди всего — Л е в —

— (Я впоследствии видывал желтый песочный кружок — между Арбатом и Собачьей Площадкой¹⁰, и доселе увидите вы, проходя от Собачьей Площадки, обсаженный зеленью круг; там сидят молчаливые няни; и — бегают дети)...
.....

Образ этот — мой первый отчетливый образ; до него — неотчетливо все; неотчетливо — после; мутные, мощные, мрачные, переменные миги мои мне рисуют события, со мною не бывшие вовсе; мне действительность города возникает впервые гораздо позднее; но осколок ее мне — тот желтый кружок, перекинутый от... Собачьей Площадки... в мой мир марева: посередине желтого круга мы встретились: я и Л е в .
.....

Мне отчетливо: —

— Лев есть Л е в: не собака, не кошка, не утка; смутно помнится: Льва я где-то уж видел; и видел — огромную желтую морду.

Да я знал ее прежде: я ждал ее...

Это событие встречи упреждает отчетливо мне встречу с близкими ликами: мамы, папы и няни... Среди образов снов еще нет этих образов; есть их запахи, голоса, ощущение; есть движение с ними в пространстве: вот несут меня, переносят, укладывают, гасят свет, защищают от тьмы; переносящих не вижу я вовсе; и я знаю объятия; папа, мама и няня мне спрятали свои лики; сквозь объятия их мне просунуты все какие-то полулюди: вот ужасный толстяк Дорионов, старуха и гад дядя Вася; правда, помнятся: тетя Дотя и бабушка: тетя Дотя протянута в зеркалах с выбивалкой в руке; бабушка — и грозна, и лыса. Больше образов нет...

Почему же Л е в мне знаком?
.....

Я отчетливо помню, что —

— линии блещущих лавочек, солнце и желтая суша — куда-то отъехали перед Львом; Лев растет; и — заслоняет мне все; ужасаюсь я: рухнули все преграды меж нами; все, что пряталось, появилось — под солнцем. Покров солнца на мраке не защищает от мрака; солнце бросило в мрак желтый круг; и из мрака ночей повывлезали на желтую сушу все дети и няни; отдохнуть от опасностей; и тогда-то вот из желтеющей кучи песку, из-под круга на круг вылезать стал на нас головастый зверь, Л е в: и все снова — пропало; солнце спряталось; снялось желтое пятно круга; и няни, и дети снялись; все снялось: и продолжилась тьма.
.....

Я впоследствии, четырех-пяти лет, проходил по кружку; и тогда вспомнил уже я, что мне снилось когда-то (когда — я не помню) —

— вот здесь встретил Льва я...

Через двадцать лет: —

— мне отчетливо кинута снова: событие с "Львом"; углублено мне отчетливо; косматая морда опять предо мною; невероятности бреда мне врезаны в вероятное; сон стал фактом; понял я до конца: бреды — факты; и сны суть действительность; через двадцать лет сызнава Лев стоит предо мною.

.....

Я любил рассказывать сны: пояснять свои миги сознания; и первые миги я вспомнил в то время; я любил погружаться в их темное, грозное лоно; научился я плавать в забытом; извлекать темнодонное; изучать его; в это время я много читал: о дне океанов и гадах; палеонтология открывает мне свои тайны; я — естественник; мои товарищи — тоже; собираемся мы дружным, тесным кружком; и забавляемся небылицами.

Помню я: уж весна; на носу экзамены; жарко; лаборатория опустела; темнеет; уж весенний вечер в окне; угасает жужжание электрической печи; бросаем реторты; в прожженных тужурках идем к подоконнику; начинаются разговоры о снах; яркими красками рисую жизнь детства: старуху и гадов; говорю о кружке и о Льве: о его желтой морде...

Товарищ смеется:

— "Позвольте же... Ваша львиная морда — фантазия".

— "Ну да: сон..."

— "Да не сон, а фантазия: рассказы..."

— "Уверю вас: этот сон видел я".

— "В том-то и дело, что сна вы не видели..."

— "?"

— "Просто видели вы сенбернара..."

— "Льва..."

— "Ну да: "Льва..."

— "?"

— "То есть "Льва" сенбернара..."

— "Как так?"

— "Этого "Льва" помню я..."

— "?"

— "Помню желтую морду... не льва, а — собаки..."

— "??"

— "Ваша львиная морда — фантазия: принадлежит она сенбернару, по имени "Лев".

— "А откуда вы знаете?"

— "В детстве и я проживал около Собачьей Площадки... Меня водили гулять — на кружок; там и я видел "Льва"... Это был добрый пес; иногда забегал на кружок он; в зубах носил хлыстик; мы боялись его: разбегались с криком..."

— "И вы помните крик "Лев — идет"?"

— "Разумеется, помню..."

.....

Мой кусок странных снов через двадцать лет стал мне явью...

— (может быть, лабиринт наших комнат есть явь; и — явь змееногая гадина: гад дядя Вася; может быть: происшествия со старухою — пререкания с Афросиньей-кухаркой; ураганы красного мира — печь в кухне; колесящие светочи — искры; не знаю: быть может...).

Товарищ смеялся:

— "Около Собачьей Площадки есть дом: сенбернары не переводятся в этом доме; около Собачьей Площадки и теперь они бегают; их же праотец — "Лев".

.....

Очень скоро впоследствии, проходя по Толстовскому переулку, выходящему на "кружок", встретил я: желтогого сенбернара с шершавой, слюнявою мордою...

"Лев" продолжился — в нем...

Но душа глухо дрогнула:

— "Лев — идет: близко знаменье"¹¹.

В это время я читывал "Заратустру".

.....

И — прошло лет двенадцать: тридцатидвухлетие отделило меня от первого появления Льва, и тогда в третий раз появился он: встал воочию и — угрожал мне погибелью...

Все-таки

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько раз я повертывался к странному явлению "Льва": в дальнем детстве, теперь и во время студенчества.

И — глаза мои расширились; невидящим взором глядел я в пространство; толкали прохожие; качал головой собеседник: я отвечал невпопад; изумление, смятение, страх овладевали мной.

Я себе говорил: —

— "Действительность эта — не сон: но она — не действительность..."

— "Что все это: и — где оно было?"

— "Приходил детский лев: и опять, и опять".

— "Ты с ним встретился..."

Явственно: никакой собаки и не было. Были возгласы:

— "Лев — идет!"

И — Лев шел.

.....

В это детское время сознание изобразимо мне так: провалился я; и — повис в черной древности: блистать в черной древности; иногда вокруг сны — дымят; и бегут лабиринты из комнат; и припадают к лицу; и узором обой останвятся передо мною; и узором обой прямо смотрят мне в душу; отступят: опять провалился; повис в черной древности; все отряхнуто — стены, кресла, предметы; все — грозно; все — пусто; действительность — дыра в древнем мире; миг, — и снова они: лабиринты из комнат; и изо всех лабиринтов глядится: тот самый; а кто — ты не знаешь: и тянет к нам руки; до ужаса узанной бурей несется без слов:

— "Вспомни же: это я — старая старина..."

Страшное роковое решение уже принято: не избежать, не осилить: за ним! —

— все! —

туда!.. —

А куда, я — не знаю.

.....

Ярче всего мне четыре образа: эти образы — роковые: бабушка и лыса, и грозна; но она — человек, мне исконно знакомый и старый; Дорионов — толстяк; и он — бык; третий образ есть хищная птица: старуха; и четвертый — Лев: настоящий лев; роковое решение принято: мне зажечь в черной древности, мне глядеть в то самое (вот во что, я не знаю)... И оно надвигается; восстает: и окружает меня лабиринтами комнат; среди этого лабиринта — я; более — ничего.

Странно было мне это стояние посредине; или, вернее: мое висенье ни в чем; и кругом — они, образы: человека, быка, льва и... птицы. Думаю, что они — мое тело; черная мировая дыра — мое темя; "я" в него опускаюсь: не сошел еще — мучаюсь; распространенный по космосу, я ужасно сжимаюсь; переживаю я погружение себя в тело, как... опускание в мировую дыру; но решение принято: час жизни пробил; и, выпуская меня из родительских рук, кто-то давний стоит там за "Я"; и — все тянет мне руки: из-за багровых расколов; эти руки, желтея, мрачнеют; и — переходят во тьму.

.....

— "Я — приду".

Образованье действительности

Как в пространствах грохнувший метеор, —

— издалека, неотчетливо, говорливо, рассыплется, как горох по паркету:

— "Да воскреснет Бог!"

- "Ха-ха-ха..."
- "Барин..."
- "Право..."
- "Чудак..."
- "Михаил Васильич, оставьте!"
- "И расточатся врази его..."
- "Ха-ха-ха..."
- "Чтой-то, право..."
- "Математики, ученые, головы: там себе — шутят..."
- "Ха-ха..." —

— разорвется — все: стены, комнаты, полы, потолки; или: вгонится в темное отверстие безобразно-безвременного, как вгоняется мыльный пузырь в отверстие узкой соломинки; лопнет все: лопну я...

.....

Мне открылось впоследствии (я — подрост уже в эту пору): Афросинья, кухарка, с Дуняшей, горничной, — побранятся; и подымеется в кухне крик; папа выскочит из кабинета в гостиную, пробежит по столовой, передней; и — в кухню; там он примется:

"Отче наш... Иже еси на небесех..."

Или — примется он: "Да воскреснет Бог" —

— угомонять крикунью-кухарку, грызущую все, бывало, Дуняшу: и, потрясенная текстом, молчит Афросинья; Дуняша смеется сквозь слезы: папа, мама и няня хохочут; Серафима Гавриловна с бабушкой угощаются табачком и разводят руками:

— "Математик, ученый, чудак..."

— "Что прикажете делать".

Я же — падаю в обморок, потому что —

— "Я" и "в с е к р у г о м" — связаны: ощущение строит мне окружение: — распадаются стены в чернотные бездны: папа, мама и няня вываливаются; а "Я" — без действительности; сотрясение ощущений мне обдувает все, точно пух одуванчика, уносимый от брезжущей свечки в пустотные ночи.

Я — нервный мальчик: и громкие звуки меня убивают; я сжимаюсь в точку, чтобы в тихом молчанье из центра сознания вытянуть: линии, пункты, грани; их коснуться своим ощущеньем; и оставить меж них зыбкий след: перепонку; перепонка эта — обой; меж ними — пространства; в пространствах заводятся: папа, мама и... няня. Помню: —

— я выращивал комнаты; я налево, направо откладывал их от себя; в них — откладывал и себя: средь времен; времена — повторения обойных узоров: миг за мигом — узор за узором; и вот линия их упиралась мне в угол; под линией линия; и под днем — новый день; я копил времена; отлагал их пространством; здесь — в огромных обойных букетах — время мчалось галопом; а у той стены — разрывался мне пульс его; я пульсировал временем; я пульсировал коридором, столовой, гостиной: коридорные, столовые времена!

Действительность —

— выгонялась из... труб, как выгоняется мыльный пузырь из тончайшей соломинки: действительность не текла, а надувалась и лопалась; комнаты возникали мне; комнаты лопались; в комнатах — топали, хлопали, лопались все предметы; и — таяла теть Дотя, —

— все еще она не сложилась: не оплотнела, не стала действительной, а каким-то туманом она возникала безмолвно: между чехлов и зеркал мне зависала теть Дотя: от чехлов и зеркал, между которыми —

— и слагалась она в величавой суровости и в спокойнейшей пустоте, протягиваясь с воздетой в руке выбивалкой, с родственным отражением в зеркалах, с родственно задумчивым взором: худая, немая, высокая, бледная, зыбкая — родственница, теть Дотя; или же: Евдокия Егоровна... Вечность...¹²

Родственность — отражение моих состояний сознаний (в данном случае: чехлов пустой комнаты); отражение было так хрупко, что приближение шага отряхивало тетю Дотю тенями: по четырем углам комнаты...

Мне Вечность — родственна; иначе — переживания моей жизни приняли бы другую окраску; голос премирного не подымался бы в них; не спадали бы узы крови; меня не считали б отступником; и я не стоял бы пред миром с растерянным взглядом.

Комнаты

Квартирой отчетливо просунулся внешний мир, —
то есть то —

— что от меня отвалилось и на чем летучились сны, прилипла обоями к укрываемым комнатам; а сквозь них, из углов, пошел ток мрачной жизни, слагая мне будущих спутников: теть Дотя в то именно время слагалась — в углу, на обоях, из теней; она еще не сложилась; и —

— ти-те-та-та-то-ту —

— погромыхивал откуда-то издали папа "Непа"; старые ямбы открыты, как... старые язвы; и этот папа Непапа — язвительный, клочковатый, нечесаный; изнутри он горит; а извне — осыпается пеплом халата; под запахнутой полрой халата язвит багрецом он; и он — огнедышащий: папа Непапа, как... Этна: остывает он; громыхая, он обнимает... нас: ураганом текущего.

Воспоминание об огнедышащем папе у меня сливается с воспоминанием о позднейших рассказах —

— папа свечкою поджжет штору; штора вспыхнула: но, никого не позвав, папа бросился из постели в пламенные клоки — рвать и босыми ногами растаптывать; затоптав пламена, лег он спать; утром входит прислуга и видит: часть стены обгорела; папа же — спит себе —

— настоящий по-

жарный!

Линии, светочи, жары отвердевали поверхностями предметов, и где не было никакого порога, — порог появлялся; верилось в иные, таимые комнаты среди не таимых, вот этих; потом обнаружились окна к ним зеркала: тетя Дотя связана с зеркалами; все, бывало, выглядывает она на меня из зеркал — лицевым, бледноватым пятном.

С нянюшкой Александром жили мы в правилах; была правилом комната; и жили мы в комнатах: в правильных комнатах, преодолимых и измеряемых, о четырех стенах; словом, жили не в трубах.

И заключили мы договор: —

— мне жить по закону: около угла, сундучка, — при часах; и слушать мне тиканье; здесь, на коврике, одолевались пространства; и за ковром, там —

— охва-

тывал Анаксимандр¹³: беспредельностью; —

— это я кричал про

него, по ночам, — всего одно только слово:

— "Афросим!" —

просто я перепутал: "афросюнэ" по-гречески ведь безумие: а Афросинья служила в кухарках: в то именно время; старообразная, все бранилась она.

Папа ей говорил:

— "Афросинья молода —

Не бранится никогда". —

Или скажет наш папа: —

— "Земля —

шар..."

Это — я понимал, как понимал вообще я круглоты, и их я боялся: ведь сам же я шарился; и папа — охватывал страхом, становясь папой Непапой, каким-то Вулканом, посыпанным лишь для вида черной золой сюртука; под ней все кипит: огнедышащий папа!

Все-то он налезает на нянюшку (все сказали бы с шутками: а какие там шутки!) и грозитя извергнуться лавою меня сотрясающих слов:

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили¹⁴.

Еще можно держаться мне в строе, когда скажет, бывало, он:

— "Вот сидит он на рогоже
Бледный и немой" —

— это мне и понятно, и просто;

даже — на пользу мне: сам я на коврике; сам я бледен и нем, как бледна и нема моя нянюшка; немота сидящего на рогоже понятна; он сидит, как и я; и пребывает, как я, — он; на рогоже — одолевается и пространство, и время; за рогожею — рдяный мир.

Папа же тут за не па п и т с я; и — пригрозит старой яростью:

Краски огненного цвета
Брошу на ладонь,
Чтоб предстал он в бездне света,
Красный, как огонь!..

— А я — я взреву, весь охваченный ярой рдяностью багрец излившего, рассвирепевшего — косматого и очкастого Папы, способного меня затащить в те миры, откуда, с опасностью жизни, был я вытасчен трубочистом.

Нянюшка меня накрывает от папы, а я — я предчувствую: будет, будет нам с нянюшкой гибель от папы; и потом, когда папы уже нет, я пугливо оглядываюсь; вот он там на нас набезит; нянюшка в ужасе на меня принавалится, меня спасать: папа же — сорвет с меня нянюшку: затащит мне нянюшку, может быть... с ней описывать там в пространствах... колеса!

.....

Переживание звука телесного голоса, как грохота бестолочи, переживание тела, как бездны, в которую рухнул ты —

— безобразно пухнуть и пучиться —

— вот посвятельный образ: в произрастание жизни; вспомните, что говорят наши няни:

— "Это, барыня, рост".

Из сумятицы жизни

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько раз я повертывался назад, к первому мигу сознания; и — глаза мои расширялись; изумление, смятение, страх овладевали мной; я — хватался за голову; я — говорил себе:

— "Действительность, где ты был, — и не мир".

Мне был мир — ощущением... даже не органов тела, а —

— бьющих, рвущих и странно секущих биений, в меня впаянных, меня тянущих за собой, развивающих во все стороны от меня крылорукие молнии пульсов: образом и подобием моего состояния может служить разве лишь изображение чудища, тысячерукого существа (сиамские статуетки — вы помните?).

Таковы мои первые ощущения; а нахождение себя в ощущении было подобно вопросу:

— "Как?"

— "Зачем?"

— "Почему?"

— "Как сюда ты попал?" —

— То есть: —

— было сознание контраста, но

— с чем? Была память... О чем была память? Что "Я" — "Я", — этому и дивился позднее. Наконец, было знание, которое я не мыслю без опыта: у бесконечности есть предел; и стало быть: законечное; "законечного" не было мне: детской комнаты, няни, мамы и папы — не возникало еще.

Законечное переживалось, как... прошедшая в ощущение память: о дотелесном...

.....

Мои детские, первые трепеты: трепеты ощущаемых мыслечувствий и сознания; трепеты образования текучих миров, пламенных объятий вселенной (огонь Гераклита)¹⁵; трепеты развивались, как... крылья: думаю и, что "крылья" — подобия пульсов; окрыленный, трепещущий рост существо человека; ангелоподобно оно; и мы все — крылоноги; и мы крылоруки. Конечности — отложения крыльев. Мои первые детские трепеты удивляют меня; удивляет все: что оно таково, каково оно есть; почему оно не текуче? Взмахни трепетом, как крылом, — перестроится все: будет тем, да не тем; а оно — не меняется (и впоследствии, уж привыкнув к действительности, все боялся я, что она утечет от меня и что буду я — без действительности: вне действительности разовью миры бреда...). Ощущение уж меня не терзает: не кажется мерзостью; если ж все утечет, ощущение разовьет — во все стороны свои крылья; и я стану вращаться, терзаясь пустотами, тысячекрылый, напоминающий изображения сиамских богов, колесящих в неправде.

Про меня говорили:

— "Какой нервный мальчик..."

.....

С трепетов, думаю, открывались мистерии: мистерией началась моя жизнь; и эта мистерия — рост; круги нарастанья — наросты — есть жизнь моя; первый нарост роста — образ.

Жизнь моя началась в безобразии: и продолжилась — в образы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЯНЮШКА АЛЕКСАНДРА

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда!

Гр. А. Толстой'

Папа

Я стал жить в пребывании, в ставшем (как я ранее жил в становлении); в нем держу нить событий; не все еще стало мне; многое установится на мгновение; и потом — утечет.

Так становится мне тетя Дотя; становится папа; установится; и уже — протечет: станет паром. Папа водится редко; он в отсутствии представляется мне огнеротым каким-то —

— краснокудрые пламена, огнерод, вылетают из уст; бородатый крылатый летает на ясных размахах; иногда приколотится он красным миром своим к Косьяковскому дому², в котором мы жили; и смотрит с Арбата в оконные стекла багровым закатом; разразится огромным звонком к нам во входную дверь: из Университета влетает в квартиру —

— (Университет — универс!) —

— громорогие самороды грохочут нам в комнаты; воспламятся все печи; а папа гремит за стеною (я впоследствии познакомился с греческой мифологией; и свое понимание папы определил: он — Гефест³; в кабинете своем, надев на нос очки, он кует там огни — сереброструйные молнии из стали, которые наподобье складного аршина он сложит и спрячет в портфель, чтобы их утащить в Универс — и отдать их Зевесу: университетскому ректору, Пудостопову)⁴.

Он уже вот в огромных калошах, в огромной енотовой шубе, по коридору бежит прямо во входную дверь, чтоб оттуда, раскрыв свою шубу, низвергнуться в космос (там за входной дверью — обрыв: над головой, под ногами и прямо, где после возникла стена, дверь и входная карточка с надписью "Христофор Христофорович Помпул"⁵ — темнеет звездистое небо); и папа несется по небу — громадной кометой, по направ-

лению к той дальней звезде, которую называют "Университет", уносится на пространствах: газообразно раскинутым, повисающим, над грозящим хвостом; там — летают видения; там встречается папа с моею старухой: ее называют Натальей Ивановной Малиновскою⁶, крестной мамой; там в двери остается папина шуба, большая, пустая; папа мчится в иные вселенные: —

- в Университет;
- в Совет,
- в Клуб...

Их названья — "планеты"; говорит он и дышит он — там.

.....

Так летят серебристые облака на громах и на молниях.

Рой — строй

Первые мои миги — рой; и "рой, рой, — все роится" — первая моя философия; в роях я роился; колёса описывал — после; уже со старухой; колесо и шар — первые формы: слоенности в рое.

Они — повторяются; они — проходят сквозь жизнь: блещет колесами фейерверк; пролетки летят на колесах; колесо фортуны с двумя крылышками перекачивается в облаках; и — колесит карусель. И то же — с шарами: они торчат из аптеки; на Каланче взлетел шар; деревянный шар с грохотом разбивает отряд желтых кегель; наконец, приносят и мне — красный газовый шарик — с Арбата, как вечную память о том, что и я — шары сраивал.

Сроенное стало мне строем: колёса, в роях выкопал я дыру, с ее границей, —

- трубою, —
- по которой я бегал.

Трубы, печи, отдушины, то есть дыры, есть мир.

Вспыхивал печной рот раскаленным оскалом; или — жевал он золу; черные дыры отдушин душили угарами; в трубу — вылетали.

Мама моя с ударением твердила:

— "Ежешехинский..."

— "Что такое?"

— "В трубу вылетел".

Это и подтвердил чей-то голос:

— "Ежешехинский идет сквозь огонь и медные трубы".

Размышления о несчастьях Ежешехинского, забродившего в трубах и бродящего там доселе, — были первым размышлением о превратности судеб.

В размышлениях этих одолевала память о старом: и я ходил в трубах, пока оттуда не выполз я — в строй наших комнат через отверстие печи

из-за золы, из-за черного перехода трубы; туда уползают и оттуда выпалзывают: в строй стен и в строй пережитий.

Правилом пережитий мне встала тут — нянюшка Александра непосредственно у дыры, у трубы; и — строй наших комнат.

Трубочист

Невыразимое чувство меня охватило, когда —

— из-за

угла коридора просунулась жироватая голова трубочиста и добродушно осклабилась белыми своими зубами; глаза мне сказали: —

— "Да, да, да — вот.

— Мы знаем, что знаем...

— Но об этом — молчок...

— Ни-ни-ни..."

И трубочист наклонился к отверстию печки: что-то свое там таить, вспоминать...

.....

Думалось: может быть, это он, перегибаясь по трубам, меня выхватил из дыры; и — пронес над огнем... —

— Как он бродит над трубами и опускает в отверстие длинную веревку на гире: согнутый, озоленный, — посиживает: в горях, в копотях, — у перегиба трубы, в темном ходе, спасая оттуда младенцев, и после выпалзывая из печей, где ему, как ужу, ставят на блюдечке молоко; и — трубочист представляется мне змееногим: извивается в комнатах; тихо пестует мальчиков.

.....

Поражался я отвагою трубочиста: любил трубочиста. И зная, что, —

— Ежешехинский впал в трубу, там заползал, как червь, и из трубы по ночам подвывает, я думал: —

— "Как его там найти?"

Послать трубочиста.

.....

Видывал трубочиста я после: в окошке... Как он там, — на трубе, далекó-далекó, выдается изогнутым контуром; солнце блещет слепительно; снег на крыше — глазастый алмазник; присвистнет метелица; и — взлетят снегометы: снегометы бело и неяро летят переносными стаями; легколистая снегопись сербреет на окнах.

Тетя Дотя

Тетя Дотя становится — тоже, появляясь сперва в зеркалах дальней комнаты; и в величавом спокойствии медленно оплотневает; оплотневшая ходит среди нас: с выбивалкой в руке.

Оплотневшая тетя Дотя становится: Евдокией Егоровной; она — как бы Вечность.

Евдокия Егоровна, Вечность, сочувственно посещает меня, обнимает меня своим бледным лицом — без единой кровинки; тетя Дотя — растроена: растроена в зеркалах; в том и этом; обнимая меня, указывает на зеркало; там — она; и еще кто-то там: зеленоватый, далекий и маленький, в бледно-каштановых локонах; а тетя Дотя мне шепчет:

— "Чужие..."

Становится все очень странно, а тетя Дотя садится к огромному черному ящику; открывает в нем крышку; и одним пальцем стучит мелодию по белому звонкому ряду холодноватеньких палочек —

— "То-то" —

— что-то те-

ти-до-ти-но...

.....

Мне впоследствии тетя Дотя является: преломлением звукохода; тетя Дотя мне: мелодический звукоход; а все прочие ходы суть грохоты; и особенно папин ход: г р о х о х о д - п а п а х о д...

Тетя Дотя — минорная гамма; или — строй торчащих чехлов; и кресло в чехле — называю "Е г о р о в н о й" я; и мне каждое кресло — "Е г о р о в н а"; строй "Егоровен" — Вечность... Он ряд повторений: э - м о л ь; и тетя Дотя — э - м о л ь: повторение одного и того же. Тетя Дотя — как гамма, как тиканье, как падение капелек в ракумоунике, как за окнами стр о й солдат без офицера и знамени; ее назвал "д у р н о й б е с к о н е ч н о с т ь ю" знаменитейший Гегель.

Нянюшка Александра

Непротканное звездами бледное небо, дневное — за окнами смотрит; непроглядная тень на полу: это нянюшка Александра со мной.

Точней — воздух нянюшки: вселенная, протыпанная многим; и — прогнанная; ее прогнали: я плакал.

Все было в нянюшке правильно нам: и внедырно, и комнатно (она дозировала за дырами: трубочист — ее кум); я, бывало, ее теребил; я просил ее: мне позвать трубочиста; нянюшка мне молчала: ни слова. И голоса я не помню ее; да и нрава не помню, но —

— дозирующий облик

из теней, углов и простенков, в тускловатой мгле серых стен передо мною встает, как реликвия древности...

.....

Смутно помнится: —

— что букетиками васильковых обой — передо мной встали стены и что тарелочка с манной кашкой откушана мною; и — перемазан я весь (нянюшка на меня заворчала: меня подтирает). Мне немного грустно и пусто; вот он — кованный жестяной сундучок; около него, под часами, в пунцово-сером платье сидит она —

— с изможденным, пожелклым, изборожденным лицом; и — с желтыми скулами; я валяюсь на подушки, потому что я —

— недоволен; мне говорили потом, что в это время был болен я, что меня мучил жар; жара нет; и — события нет; то есть нет ничего уже; а... кашка... откушана... мною; я кушал — в будни; откушал: и — те же все будни; мне хочется плакать; в тканях перемогается время: уж сумерки.

Нянюшка на меня посмотрела; и забегали над чулком вязальные, ясные спицы. —

— Манная кашка меня обманула; тяготится желудочек и падают сонливости; я простираюсь за помощью; нянюшка склонилась ко мне; вместо ее головы —

— над воротом пунцового платья, без колпака, торча, меня лижет, мне блещет и синеньким огонечком моргает мне, дышит отверстием, ламповое стекло! —

— А нянюшка с ясными вязальными спицами — только смотрит!

Прогулка

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору — из детской: в коридорной печи — залетали огни; краснопалое пламя показало нам палец; мы проходим в столовую: на летящих спиралях с обой онемели давно лепестки белых лилий легкотенным извивом: проходим в гостиную: она — в красных креслах; на стенах из огромных гирлянд багрянеют, грозясь: кисти красные роз заревыми роями; мы — на кухню: шепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари; там на кухне стоит, там на кухне бурлит — дымношипный котел; и огонь бьет в котел, прободая железную вейку⁷; ломти мягкого мяса малиновеют на столике; кровоусая кошечка с красным куском в зубах — уж косится; и — морковина сочно трется о терку... —

— Афросинья, замахиваясь рукой над огнем, описывает кочергою дугу, вся в отсветах кудрявого пламени, вылезавшего на нее из печи легкой гривой; в печке — красная ярая морда оскалилась углями; —

— и мне кажется: —

— Афросинья там борет-

ся с гадом, приползающим к черному отверстию печки; будет — будет нам гибель: кричу; и выводят меня в коридор.

.....

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору — из кухни; я — прижался к подолу; за нами бродят по стенам огромные великаны; то — тени; съеживаясь, переменяясь, метаются; а коридор — бесконечен; странно мне это шествие — нянюшки Александры, меня — по коридору и комнатам опустевшей квартиры в сопровождении двух спутников, теней, немых и бесшумных; настроение это мне переживалось впоследствии, при созерцании рисунка, изображавшего шествие по храмовым коридорам ведомого пленника в сопровождении птицеголового мужчины с железом.

Я впоследствии мальчиком ждал: вот откроется дверь; и — войдет: птицеголовый мужчина; и родимый клекот его огласит мою детскую⁸.

Обморок

Наши комнаты: коридор, кабинет, кухня; и — далее, далее; но — еще есть комнаты; их убрали; и их расставляют, как ширмы; только выйдем мы с няней из коридора на кухню, как уже в столовую быстро ворвутся губастые черные рожи — а р а п ы: и — раздвигают все кресла; на опростанном месте они учреждают "вертеп": и — обставляют вертеп: кумачами; и папа в парчовом халате, в короне и с шаром в руке, появляется сам восседать в золоченом там кресле; и — м а м а становится д а м о й; и — ходит за папой; подают пузатую чашу и открывают паркет; и опускают туда: под паркет; под паркетом — синеродные воды играют струей; под паркетом плывет водовоз, попирая ногами бубновую бочку; и быстроливым ведром наливает в пузатую чашу: сестренки; мама с папой танцуют кадрили, а сестренки их просят: "Отдайте нас Котику!"

По ночам иногда я не сплю: и в столовой мне слышатся стук: танцуют кадрили — в "вертепе"; утром встает с золоченого кресла мой папа; и запирает сестренки моих в крепкий шкаф; и д а м а становится м а м о й; приходит за папой; "вертеп" разбирают а р а п ы; я ишу его...

Где он, где?..

.....

Тоже вот: —

— будет, будет нам гибель: попадают плитки паркетов — в миры новых комнат!..

В ожидании катастрофы я жил; она и случилась однажды: —

— мы, паркетные плитки, и я — мы попадали в обморок (это было во сне); падать в обморок с той поры означало: падать в чужую квартиру, под нами, где доктор Пфедфер проказникам дергает зубы и откуда грозит нам чернобровая девка, Адраша: "Проказничать больше нельзя..."

Помню я этот сон: —

— выбегаю в столовую я, а за мной моя нянюшка с криками: "Обморок"... И этот обморок вижу я: он — дыра в лакированном нашем паркете; и я вижу в дыре: там — гостиная; она — в красных креслах, как наша; на стенах из огромных гирлянд багрянеют, грозясь: кисти красные роз заревыми роями; я туда падаю; шепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари влетают в открытую дверь; и появляется сам доктор Пфеффер в короне; и чернобровая девка Ардаша становится дамою; и доктор Пфеффер кричит из отверстия усатого-бородатого рта:

— "Я твой папа". А чернобровая девка, Ардаша, стреляет глазами:
— "Я — мама".

.....

Метафоры понимаю я точно: упал в обморок — значит: упал, куда падают; а ведь падают — вниз; внизу — пол; под полом доктор Пфеффер проказником дергает зубы; и — попадают к нему.

.....

Ощущение зыбкости стен и таимого мира под ними объяснимо, по-моему, крепнувшим порогом сознания, беспрепятственно простертого прежде в бессознательный мир, где я, за порожец, сшибался со всяким татаринном, — в сублиминальное поле⁹, усеянное костями:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?¹⁰

Эти кости — порог, а блуждание сознания по костям прежде павших существ — стены комнат: сознания в нашем смысле; но раздвигаемы кости; мне порог сознания стоит передвигаемым, проницаемым, открываемым, как половицы паркета, где самый обморок, то есть мир открытой квартиры, в опытах младенческой памяти наделяет наследством, не применяемым ни к чему, а потому и забытым впоследствии (оживающим как память о памяти!) в упражнении новых опытов, где древние опыты в новых условиях жизни начинают старушиться вне меня и меня — тысячелетнего старика — превращают в младенца: то, что я — маленький, случайное несчастье, что ли: не истина, а — социальное положение среди более, чем я, позабывших и именуемых — взрослыми, мне, младенцу (старика не нашего мира), они объясняют игрушки; и объяснение их игрушек перетягивает внимание от во мне живущего мира — к играм, затеянными вне меня; и — создается порог. —

— Я его помню открытым.

Древняя тайна

На лакированной поверхности шкафчика линии деревянных волокон сбежались: —

— темнородным пятном перепиленных суков —

— как

бы в две фигуры, склоненные смутными ликами из разлетевшихся складок — друг к другу: что-то поведать друг другу —

— таить, молчать, вспоминать:

какую-то древнюю правду, которой касаться нельзя:

— "Ни-ни-ни!" —

— ко-
торую вспоминаешь ты так же вот, поклоняясь без шепота: образы посвященных переживались мной впоследствии так, как полное тайны склонение покровенных фигурок на шкапчике... из разлетевшихся складок; и — образы склоненных волхвов в великолепных коронах над ясным Дитятей: в киоте; и моргает киот самоцветным рубином; и от рубина потянутся красные, ясные лучики; один волхв — трубочист: черен ликом и красен губами; и красные губы раскрылись, как будто поет он; и мне говорят про волхва, что он — Мавр —

— на лакированном шкапчике линии деревянных волокон сбежались к двум пятнам: перепиленных суков; и эти пятна — не пятна, а мавры, то есть темные богомольные лица: волхвов.

.....
Невыразимое чувство: —

— я его впоследствии узнавал, неоткрытым в своей остроте, но мне глухо звучащим под образами и событиями жизни — в произведенных искусства, в грохоте городов, между двух подъездных дверей; более всего — на ребре хеопсовой пирамиды, в час тихий вечера, когда солнце Египта зловеще отускиневало в подпирамидной пыли; и — плавали золото-карие сумерки; плавали главы пальм, занесенных песчаную пылью; и — будто бесствольных; чернея с громадных ступеней, феллах подымал на меня одиноко гортанный свой голос... —

— Много раз приходило ко мне мое странное чувство...

.....
По утрам из кровати, бывало, смотрю: на узоры стоящего шкапчика; я умею скашивать глазки (смотреть себе в носик); узоры, бывало, снимаются с мест: прилипают мне к носику линии деревянных волокон двумя темнородными пятнами перепиленных суков; и мне кажется: две фигуры склонились своими неясными ликами, как два Мавра, — из разлетевшихся складок: над маленьким мальчиком; пальчиком трогаю их; но легко и воздушно сквозь лики проходит мой пальчик; моргну —

— и темнородные пятна перелетают на шкапчик...

.....
Среди дня я на них посмотрю — тысячелетием древнего мира мне немо склонились фигурки; и мне кажется, что у меня за спиною — не стены, а такие же точно миры, как на маленьком лакированном шкапчике:

волокнисто-темнеющие, золото-карие, где все плавают сумерки меж бесствольными кущами; и, чернея оттуда, зовет он (а кто — я не знаю); и — одиноко подымет гортанный свой голос

— повертываюсь: —

— вместо золото-карего мира — стена: этажерочка (та же!) стоит себе; и на ней — строй солдат; оловянные гренадеры мои серебрятся мне лицами... Сидит моя нянюшка.

.....

Среди ночи, бывало, лежу; и повешено мне на стенке окошко; там — стылая ясность вечернего неба; и стылая ясность вечернего неба дрожит; и —

— самоцветная звездочка —

— мне летит на постель; и — уколется усиком; я потру кулачком свои глазки: и возникнет в закрытых глазах моих центр; и — исходят из центра мне трепеты молний; а центр раздвигается: строятся светлые комнаты; из центра несутся: центр ширится — раздвигается в синий глаз: синий глаз — добрый глаз; но... я глазки открою: —

— и вижу: —

— нянюшка моя под киотом; кладет там поклоны; и красным рубином моргает протканная риза; и — Мавр протянул свои руки: над ясным дитятей разводит ладонями — из разлетевшихся складок.

.....

Я впоследствии взрослым смотрел с ожиданием на лакированный шкафчик: две фигуры, склоненные смутными ликами, там слагались по-прежнему; и — ничего не могли мне поведать; пересчитывал я деревянные волоконца под лаком; и рассматривал темнородные пятна перепеленных суков.

Церковь

Спины, склоны, поклоны —

— как полное тайны сложение деревянных фигурок на шкафчике... — И за спинами — голоса: —

— поднимают какую-то огромную, но позабытую истину: древнюю; мне когда-то открытую, в храме (когда это было?). Громкий зов я забыл: забыл солнцевый голос! И — вот он раздался: —

— дергаю бабушку за края ватерпруфа и собираюсь расплакаться...

Но меня приподняли (и — мне узреть!): —

— блистающее, как золотое

светило небесное, чернобородое божество там стояло перед распахнутой дверью — в таимую комнату блесков; и, подымая высоко десницу, с блистательной лентою, провозгласило: голосом, от которого чуть не лопнули стены... —

— блеско-громное, огромное Солнце, на котором я жил, опустилось на нас: провозглашенным глаголом — провозглашенным единственным раз, потому что мир не способен вторично услышать гласимого: он, наверно, провалится... там — в сияющей синеватости дымов вставали светящие: блага и ценности... неопикуемых, непонятнейших форм; там, оттуда, — на миг показалась та самая Древность в седицах; и пышные руки свои развела: из Золотого Горба; и казалось мне, что стоял перед нами: Золотой Треугольник; две руки, как лучи, протянулись направо-налево от белого лика: белый лик, точно око, глядел в золотом треугольнике; и — миры миров там чинились: бед багряной завесою; человекоглавое серебро из руки затепляло звезду; золотую планетою доринусила¹¹ Книга... к престолу, сквозь разрывы завесы; но таинница строгих дел там закрылась; и —

— красные, кудлатые люди в огне, по бокам, как загаркали в ужасе!.. —

— Тут меня опустили под спины; но еще долго мне слышались какие-то багровые ревы; серебрились и синились дишканы: точно четыре животных подхватили провозглашенные вопли; и катали их... по мирам; из подкинутой чашечки на серебряной цепи вылетали душистые клубы... над спинами; как крылами, громами бил храм; и в глаголы облекся, как в светы...

.....

Очень скоро за узренным раздаются глаголы и мне: об ангелах, рае и... Боженьке; окончательно выясняется мне, что таимая комната — Церковь, где староста Светославский обходит с тарелочкой; в Золотом Горбе, у престола подъемлющий руки, есть "б а т ю ш к а", или — священник; когда он без парчи, то он — "поп"...

Поп, попы, попадья, просфора, просвирня¹² — слова, которые меня просветили; главным образом — бабушка; тут она знала толк; я ее считал — подпросвирнею; бывало — она перекрестит; бывало — подсунет мне в ручку пузатенький хлебик: "просвирку"; поминаньце —

— лиловая книжечка —

— все, бывало, с ней рядом; и даже она понесет поминаньце, лиловую книжечку, с просфорой на поднос; и ее унесут: в миры блеска; и даже, бывало, пошутит она с попадьею; и — даже! — пройдет с крестным ходом: за ним, за самим, — за Иоанником, Митрополитом Коломенским и Московским.

.....

Мне дорога жизни протянута: чрез печную трубу, коридор, через строй наших комнат — в Троице-Арбатскую Церковь¹³, где наш староста, Светославский, обходит с тарелочкой...

Строгие строи

Все, возникающее из-за коврика, было мне не на пользу; там, оттуда — шли поступи; и галопада времен приближалась; она разбивалась о правило: о мой завет с нянюшкой —

— мне жить по закону; и — в правиле: около угла, сундучка, при часах; слушать тихое тиканье; то есть: жить в строгих строях; не перетягивать цепочки за гирию; не останавливать тиканье; не искать новых комнат; галопируя, не забегать в коридор; и не щелкать под креслами; не залезать под подол; и пушистую кисиньку не таскать за приподнятый хвостик; главное — чтобы бабушка не сломалась, как сломалась однажды она, как недавно мной сломанный слоник: —

— как она к нам подседа; и подзывала меня: ее тиснуть; ну, — я ее тиснул; она же сказала: "Сломаюсь". Я тиснул еще ее; и — сломал; хохотали все: папа, мама и няня; но я... сломал бабушку!.. —

— словом, мне быть: не шалить; проживать формалистом; и даже... буддистом.

Что-то и доселе живет во мне в фуге Баха и в белой дорической колоннаде от моего мира с нянюшкой; и от вечного тети-дотина мира.

В более позднем младенчестве этот мир строгих строев (строевая служба моя) представляется мне миром зданий, гамм, руляд, кramerовских этюдов¹⁴ и Черни (экзерсисы Черни¹⁵ вы помните?); особенно: государственных учреждений, массивных и каменных, без орнаментной лепки, но с колоннадою: николаевских серых и бело-желтых казарм, александровских и мариинских институтов, гуляющих парами, в перелинках, больницы, богаделен; и даже — пожалуй — мне розовый Вдовий Дом¹⁶ напоминал этот мир (неподалеку от Пресненской части, где выскакивал бородастый-рогатый козел, и бодаясь-брыкаясь летел впереди вестового, предшествуя "Части"; и где бродил он степенно от Пресни и до... Горбатого Моста); все богаделенки — няни; вдовы же, то есть старые девы (что то же), представляются мне до сих пор... и н т е р е с а м и Веры Сергеевны Лавровой: —

— Вера Сергеевна Лаврова — знакомая тети Доти, пахла прелыми яблоками; и загадывала на... Бабашкина; выходило всегда, что Бабашкину предстоят интересы; и исполнение интересов — четыре десятки — ложилось не редко...

.....

Этот строй мне знаком; противопоставлен он рою; строй оковывал рой; строй — твердыня в бесстроице; все остальное — течет, как, например... дети Ветвиковы: притекают откуда-то к нам — колесить и дразнить.

Все это на меня налетит, обестолковит и схлынет. И останется тихий мой мир; и в нем — я, надо всем —

— стрекотание спиц из простенка и темные орбиты нянюшки Александры: из-под белого чепчика.

Фундаменталиков-Чемодаников

Фундаменталиков-Чемодаников, ученик ремесленной школы, — этот был безобразник; на металлический сундучок приходил он посиживать из угла коридора; и разговаривал с нянюшкой о ремесленной школе; о воспитанниках этой школы; и о том, — сколько их...

Мне казалось, что они грохотали у нас по ночам; в лабиринте из комнат с толпами — вот таких же точно, как и они, безобразников; это были дикие племена, населявшие миры дальних комнат; я с волпением взирал на сидящего безобразника, учиняющего в ночных переходах ужасные нападения на детей (с Фундаменталиковыми-Чемоданиковыми грозно бьются в огнях трубочисты; отражая их черные полчища, нам грозящие и угаром и сажами).

Папа его отчитал:

— "Знаете: вы — молодой человек..."

— "Ученик ремесленной школы..."

— "И — ай, ай — что вы сделали!"

— "За такие поступки вам, сударь мой, в нос проденут кольцо: и — пощипать по улицам с городовыми"...

Мне все думалось после: Фундаменталиков-Чемодаников —

ай! —

— поступил, то есть позволил себе своевольно т я ж е л у ю поступь: и а р о ч н о гремел по паркету; мне открылось тогда: кто и а р о ч н о гремит по паркету, тот свершает поступок; за поступок же — всякий! — огромных размеров кольцо продевается в нос; и тут вспомнилось мне, что поступил еще хуже я; щелкнул во мрак пустых комнат; оттого-то и прибежал Дорионов: мне продеть в нос кольцо; и — утащить за собою...

.....

И уже значительно позже: —

— видя черные рожи индейцев с продетыми в носу кольцами, понимал я отчетливо: все они — безобразники: с тяжелою поступью: Фундаменталиковы-Чемоданиковы.

Паяц-Петрушка

Курий крик —

— Крр-кр! —

— каверзник: растрещался

трещоткой; он —

— грудогорбая, злая, пестрая, полосатая финтифлюшка-петрушка: в редкостях, в едкостях, в шустростях, в юростях, востреньким, мертвеньким, дохленьким носиком, колпачишкой и щеткою в руке-раскоряке колотится, что есть мочи без толку и проку на балаганном углу —

— Крр-крр-кр! —

высоко!

Я —

— подтянутый,

— схваченный,

— вскинутый —

— с изумлением, строгостью и безо всякого наслаждения рассматриваю вредоносное, острое, пестрое и очень злое созданище, как дозируют тарантулов в опрокинутой банке: как бы не выскочил укусить; и —

— Кррр-крр-кр! —

— разрезает картавенький голосок как точеными ножницами: подчирикнул, подпрыгнул, подпрыгнул и нет его — на балаганном углу; падают лишь снежинки на носик.

Тут ударили в бубны!

Меня же, дрожащего, покрытого смертной испариной, продолжают —

— подтягивать,

схватывать,

вскидывать! —

— тащат за руки, без всякого милосердия: под полотно балагана, где кипят и пучатся бубны — под полотном балагана! Мы спешим в кровавые кумачи, в мимотекущие ураганы и старые-старые ярости, где нас всех прищемят, раскрошат, завертят, закрутят, зажарят и... сбросят —

— в

пропасти колесящих карбункулов! —

— Вот уже кровавые кумачи с курьим криком Петрушек, из которого вдруг выхватывается на нас, обдавая нас пламенами, мелочицый колпачник и что есть мочи замахивается своей медной тарелочкой. Мне говорят:

— Вот — паяц! —

— но на бывалое безобразие отвечаю я — криком!

Философ

В это время себя вспоминаю философом я: —

— ползая под столом, под подолом, под стулом — при нянюшке! — я не просто ползал, и — так сказать — с ударением, как подобает ползать дельцу, побывавшему во всех передрыгах; и — колесившему по пустотам; ползал и — в настоящем: без всяких видов на будущее — без проектов, без планов; и — конечно же! — без надежд (обманула манная кашка!)... с достоинством отдаюсь я огромным рукам; и меня, как царя, уж сажают в высокое креслице, откудазираю я на текущие события мира с философским спокойствием: —

— стародавний орфист¹⁷; я проник в мир мистерий; и о мирах изначальной змеи, вспоминая свою коридорную бытность, кое-что рассказать бы я мог: мне в младенческих ужасах открывались миры древних гадов, и гад, дядя Вася, стоял во главе их...

— Я — боролся со Львом... — Старый Гераклитианец — я видывал метаморфозы вселенной в пламенных ураганах текущего; и я знал очень твердо; что сегодня — нянина голова, то когда-нибудь — отверстие лампы (няни нет уже — утекла: я не помню, когда это было; но знаю — прогнали мою молчаливую нянюшку). — Папа бьет нас вулканом; и — наполняет все комнаты керосиновой копотью, в копоти бросается трубочист меня выхватить из пожара; передает меня нянюшке; нянюшка строит дорических стен отражает огонь; и — отражает нам полчища "корибантов"¹⁸: Фундаменталиков-Чемодаников; доктор Пфедфер, пацц — нападают на нас; мир х т о п и ч е с к и х культов пронизан струей аполлонова света; и возникает т р а г е д и я: воспоминаний о нянюшке...

.....

Анаксимандр, Фалес¹⁹, Гераклит, Эмпедокл²⁰ пробегают по нашей квартире на чувственных знаках.

Говорю:

— "Рой, рой — все роится".

Фалес меня учит:

— "Все полно богов, демонов, душ..."

Передо мною — огни: в страшный мир колесящих карбункулов распадается мне темнота; метаморфозы охватывают; а — Гераклит мне твердит:

— "Все — течет".

С Анаксимандром мы ведаем беспредельности; Эмпедокл бросается в Этно; я — падаю в обморок.

В эту давнюю пору разыграна и разучена мною: вся история греческой философии до Сократа; и я ее отвергаю.

Перечитывая "Историю греческой философии":

— "Нечего ее изучать: надо вспомнить — в себе".

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БЛЕСКИ НАД БЛЕСКАМИ

И этих грёз в мировом дуновенье
Как дым несусь я и таю невольно,
И в этом прозреньи, и в этом забвеньи,
Легко мне жить и дышать мне не больно.

А. Фем'

Котик Летаев

Мне четыре года; родился я вечером: около девяти; вскричал — ровно в девять; над моим появлением на свет постарался — лейб-медик: профессор Макеев; и тут же я его обидел: —

— он, взявши на руки, меня хотел приласкать, а я... я... я...: словом — он побежал к ручкойнику...

Я его выдвигал после, на улице; маленький старичок, положивши на плед свои руки, пролетит в коляске, бывало; и седую головкой — направо — налево — направо; наушники шапки болтаются; и — удивляется улицам; детские голубые глаза на меня уставятся — нет их; думаю: вот — профессор Макеев, лейб-медик, когда-то старался, чтоб мне его видеть; кабы не он, мне бы его не увидеть; я его узнаю; а он — нет.

Говорили мне: при моем появлении на свет свой огромный том мне прислал академик Грот² с своей надписью; не видал этой книги я, но всегда ей гордился.

Очень я любил повторять со слов мамы, что, когда меня подносили к окну, я увидел вспыхнувший газ в колониальном магазине Выгодчикова, — разволновался, затрясся и торжественно произнес — свое первое слово: — "Огонь"...

Это — помнил я твердо.

Я ходил — тихий мальчик, — обвисший кудрями: в пунсовеньком платьице; капризничал очень мало; а разговаривать не умел; слушал речи других, склоняясь над сломанным слоником; и, отвечая на ласки, я терся головкой о плечи; прогнанный, отходил в уголок, чтобы оттуда мне медленно подбираться к коленям: поспать на коленях.

Или я смирно садился на креслице: мне подумать на креслице; свои руки сложив в ручках креслица, — думал на креслице:

— "Почему это так: вот я — я; и вот — Котик Летаев... Кто же я? Котик Летаев?.. А — я? Как же так? И почему это так, что —
— я — я?.."

Из-под бледно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи, и из сумерек поглядывал: в зеркала.

И становилось так странно...

.....

День Котика Летаева

Из кровати смотрю: на букетцы обой; я умею скашивать глазки; и стены, бывало, снимаются: перелетают на носик; легко и воздушно сквозь стены проходит мой пальчик; ах, туда бы головку; но — непроглядные стены! — моргну: перелетают на место.

Раиса Ивановна, бонна, встает из постели; одеяло откинет; и голыми ножками — в пол; подбежит босиком в белой теплой рубашке: вынимать меня из постельки, одевать чулочки и лифчик, и мне — улыбнется.

Девять часов; а не то — половина десятого; и Раиса Ивановна в ясеневой красненькой кофточке разливает чай (мама спит: она встанет к двенадцати); самовар трещит: и самосытные искры летят нам на скатерть; носик мой упирается в край стола; и захрустел на зубах край поджаренной булочки; папа — в форменном фраке: кудролобий, очкастый; захлебнул чай усами; светло-лиловая капелька капнула с его мокрых усов в синий бархатный отворот его синего чистого фрака; фалды фрака качаются; двуглавые золотые орлы золотых его пуговиц — строжайше расставили крылья.

Папа едет на лекции: лекции — линии листиков; многолетие прожеле тело их; листики шпиганы в тетрадку; по линиям листиков — лекций!

летает взгляд папочки; линия лекций — значки: круглорогий, прочерченный икс хорошо мне известен; он — с зетиком, с игреком.

Папа водит по ним большим носом; и, шелкая крепким крахмалом, бормочет:

— "Так-с, так-с!"

И получается: "Такс".

Иксиксы напоминают мне таксиков: напоминают собачек: таксиксы (думал и) вырастают из этих крючочков; их встречал на бульваре я уже значительно позже, весной; продувные, нелестные деревья желтоглазились почками; бульвар лился людям; и на пологие лобики песиков я укладывал ручки.

Самовара нет. Папы — нет.

.....

За окнами все-то крыши: и удивленные горизонты — раздвинуты, пусты.

Наша гостиная —

— уставлена красными креслами; с подоконников поднимают печальные пальмы свои линии листьев; злые, зеленые зеркала

— в ясном золоте рам: и Раиса Ивановна передается из зеркала в зеркало; и все — валится, не падая, набок; а пол — скачет вверх. И Раиса Ивановна принимается меня обнимать; и — зеркалами пугать; и — все валится, не падая, набок, а пол — скачет вверх...

.....
Наша столовая, как денница, вся белая: —

— на летящих спиралях с обой онемели давно: лепестки белых лилий легкотенным изливом; у обой гнули стулья ломкие полукруги сидений; из обой просунулась круглота: деревянная голова; стрекотала строгими стрелками на циферблатном оскале; кружевные гардины, как веки, тишайше белели под окнами; дубостопный желтый буфет — он один будоражился; и, бряцая посудой, кидался — на прохожих у двери.

После ночи, бывало, войду, посмотрю; и окнами, как глазами, посмотрят одни бледноглазые стены; и бледноглазая ясность покроет покоем.

Наша столовая — утреница; а —

— темно в коридоре: в коридорной печи залетали огни; чернорогая женщина меня ждет в коридоре.

Тонкую нитью прояснилось многокружие паутины; и —

Раиса Ивановна, —

милая! —

— глядя искоса на меня, наклонилась кудрявой головкой к своим красным тряпкам, перекусивши зубками нитку; протягивается иголка; и —

— "Was ist das?"

— "Das ist ..."* —

— мне не помнится слово.

Мои кубики порассыпались; и — головкой — в колени; ручка в ручку; и — ничего; мы — пройдем... коридором...

Чернорогая женщина, может быть, забодает нам — маму...

.....
Мама проснулась! — зовет нас: —

— меня берет на постель; треплет кудри; и я — перед ней кувыркаюсь.

— "Котик, маленький"...

Альмочка кувыркается тоже; и уже бьет двенадцать часов; пора маме вставать: уж на кухне стоит дымношипный котел; и огонь бьет в котел, прободая железную вейку; там — в железной печи, окаляет поленья: краснорогий огонь из трескучих печей поедает поленья. Побегу в кухню я — шепоты, шумы, шипы, огни, пары, чады.

.....
* — Что это?

— Это... (нем.)

После завтрака —

Наш веселый кузен Веревитинов с дымящей сигарой в руках все-то щелкает пальцем на Альмочку, которая поедает щенятка, и Раисе Ивановне нежно посмотрит он в глазки: в агаты; из кудрокрылого личика мамочка бирюзеет глазами на нас и капризно качается на качалке в своей красной косыночке, поджидая к себе Поликсену Борисовну Блещенскую в великолепной карете: кататься; и бледная ленточка с ясным бубенчиком гремит в ее пальцах: это — лиловая ленточка; бубенчик — серебряный; Миловзорики перевязал ею мамину руку.

Миловзорики — светлогрудый гусар; и это все — "котильон".

Поликсена Борисовна позвонила: мамочка привскочила с качалки и протянула мне ручки; я зарылся головкой в колени: пеньюар разлетается от нее самокрылыми змеями.

Кучер — с лазурной подушкой на голове: прирос толстым задом; вороные кони хрипят, жуют мыльные удила — с угла Арбата: ждут мамочку; это вижу я из окна: из серебряных листьев мороза; мамочка, в коричневом казакине и в брошке надела ротонду; она — к Блещенским на весь день; и вечером — в бенеуар.

Нам пора на прогулку.

.....

Тут с меня снимут туфельки; и проденут ножку чулочком — в меховой сапожок; и принимается кто-нибудь, сапожок уперши в колени, крючком щипать мою ножку.

Каждый день мы идем: на Пречистенский бульвар погулять (на Смоленский бульвар мы не ходим: там дурно воспитаны дети); кто-нибудь ходит там; и вдруг сядет на лавочку; на меня поглядит; и — значительно посылает улыбки; все они улыбаются мне; все они уже знают, что Котик Летаев гуляет; хлопает крыльями чернокрылый каркун и вислоухая шуба сутулится в снеге; снегосыпное дерево вздрогнуло; а уж кто-нибудь, вставши —

— медленно уходит туда: в крылоногие ветерки; обернется, кивает...

А уже набежали на нас: крылоногие ветерки; веют белые веи на разгасившихся щечках; дымит куча снега; песик к ней подбежал и над нею он поднял мохнатую ногу; я бросаюсь к лимонному пятнышку, но Раиса Ивановна — "пфуй"!

Ах, как жалко!

Безрукая шуба щетинится комом древнего меха в снега; и хлопает в воздухе крыльями; я бросаюсь на шубу: обхватить ее ручками; она нагибается низко и из шершавого меха, под шапкой, уставятся: два очка; и белая борода прожелтится усами; шуба — гуляет, как я; и она называется: Федор Иваныч Буслаев³; и Федор Иваныч зашамкает —

— птичка ему рассказала, что Котик Летаев сегодня гуляет; и он Котику принес на

бульвар кое-что: и дрожащей рукой меня треплет по разгасившимся щечкам; и кусочек рябиновой пастилы осторожно просунет мне в ротик, кивая очкастою головой; Федор Иваныч Буслаев гуляет не на ногах, а... на шубе (живет в своей шубе), а шуба проходит: чернокрылые каркуны сквозь суки пропорхнули ей вслед.

Рассыпаются снеговые вьюны; рассыпаются неосыпные свисты; пахнет трубами в воздухе; золотою ниточкой фонарей многоочитое время уже побежало по улицам: предвечерним дозором; все на небе расколото; кто-то блистает оттуда, из-за багровых расколов; желтеет, мрачнеет; и — переходит во тьму.

Мы — домой.

.....

Вечером: —

— на летящих спиралях, с обой, кружевеют, горя, косяки красных зорь: бледно-розовым роєм, а —

— Раиса Ива-

новна мягким, агатовым взглядом таинственно переводит мой взгляд: переводит

туда, где —

— багровая голова, со стены
хохоча, огрызнулась
оскалом.

Не успею я вскрикнуть: Раиса Ивановна —

— милая! —

— шаловливо уж клонит свой локон в мой локон; и — начинает смеяться.

Кружевные дни — на ночи: повторяют себя — на ночи; тени свесились из углов; тени свесились с потолков; и, возникая из воздуха, — чернорогие женщины проходили по воздуху.

.....

По вечерам мне Раиса Ивановна все читает —

— о королях,
лебедях;

ничего не пойму: хорошо!

Мы — под лампою; лампа — лебедь; и ширятся лучики — в белоснежные блески развернутых солнечных крылий, пересекаясь в ресницах; застревая в волосиках, пощекочут ушко они; полудремотно ласкаюсь я к лучикам; голова на коленях: ласкаюсь к коленям; все отхлынуло — в тeneвое, темное море; спинка кресла — скала; она — набегает, растет: хорошо!

Со скалы: —

— (явь ушла в полусон: в полусон вошла сказка)
— стародавний король просит верного лебедя по волнам, по

морям плыть за дочкой в страну незабудок (когда это было?) —

— лампа — лебедь; с лебедем улетаю и я: —

— мы — ки-

даемся в волны; несемся по воздуху в голос: забытый
и древний: —

—

Я плакал во сне...
Мне снилось: меня ты забыла.
Проснулся... И долго, и горько
Я плакал потом...

(Это — кто-то: поет из гостиной...)

Полусон мешается мне со сказкой, а в сказку вливается голос: —

— мы

— в воздухе: на лебединых, распластанных крыльях, где на
протянутых струнах воздуха разыгрались арфисты и где лебе-
диные перья, как пальцы, сиянием проходят по ним; лебеди
переливаются по лазурям, а из лазурей —

— (беззвучно,

как прежде, уже киваешь мне ты: тебя не было;
плакал я без тебя; все забывши я плакал; ты вернулась ко мне
— лебединая королева моя)⁴ —

—

Я плакал во сне.
Мне снилось: ты любишь, как
прежде.
Проснулся, а слезы все льются...
И я не могу их унять...⁵ —

Несемся: все вместе.

Несется и красный Наставник за нами: тысячелетием, пламе-
нами и пурпуром: —

— открываю глаза: лебедь — лампа.

Лебедя вырежет мне Раиса Ивановна завтра...

.

Воспоминание детских лет — мои танцы: под лампою; все во
всем: насыпают в чайницу чай; и над куском кабинетной стены под
самоваром бормочет быстроглазый мой папа; в кабинете стен нет: вместо
стен — корешки, за которые папа ухватится: вытащить переплетенный
и странно пахнувший томик: вместо томика в стене — щель; и уже
оттуда нам есть: —

— проход в иной мир: в страну жизни ритмов, где я был до
рождения, и оттуда теперь вынимаю я пальчиком... паути-
ник; папа же томик раскроет; и —

— и бросятся —

— крючковатые

знаки: дифференциала и... функций; эти функции ползают на

крючочках; и, вероятно, кусаются, как... мурашки, которые позаводились в буфете и которые... —

— раз принесли мне кусочек черствого хлебика... из него делать грешника, то есть обмакивать в чай; разломил кусочек, а там-то —

— в

кусочке-то! —

— мурашки: —

— красные! —

— ползают! —

— папа придвинул свой нос, и, подпирая очки двумя пальцами, он заерзал лицом и воскликнул:

— "Ай! Какая гадость: мурашки!"

Сам же он поразвел на дому всяких функций на листиках (до функций Лагранжа⁶ включительно) и существа иных жизней во всем: и в буфетных щелях, и в паутине под шторой —

— видел я там брюхоногую

функцию: —

— папа пестрит своей функцией белые листики; функции с листиков расплозаются по дому; листики бросит в корзиночку; я же листики вытащу; и — Раиса Ивановна мне из них нарежет ворон; все вороны мои не простые, а — пестрые; и — на себе они носят: многое множество растанцевавшихся иксиков; мне надоели вороны; и я — гляжу в иксики: —

— в иксиках — не бывшее никогда!

В них — предметность отсутствует; и — угоняются смыслом...

Вечер: мне — пора спать. Мамы нет (она на "Маскотт" — в бенуаре); мы с Раисой Ивановной за вечерним столом вместе с бабушкой и Серафимой Гавриловной, старушонкой; папа там, под самоваром, бормочет: у чайницы, черной, лаковой и китайской; на этой китайнице — вижу я: золотые сады, многокрышие домики, золотые птицы и люди — китайцы.

Все одно: золотой Китай или... чай.

Папа выставится на Серафиму Гавриловну из-за книги и таинственно подмигнет ясноглазым лицом:

— "Серафима Гавриловна: Страшного Суда-то не будет".

— "Ах, как так не будет?"

— "Судную-то трубу украл, видно, черт: переполохи на небе... Об этом писали в газетах".

И Серафима Гавриловна нам обиженно пожует блеклым ртом.

— "Переполохи и неприятности: у Николая Угодника с Михаилом Архангелом..."

И тут примется утапатывать в коридор повеселевший вдруг папа: и уже —

— "почистите сюртучок!" —

— раздается оттуда; мне — не весело: что-то будет!

Папы нет; папа в клубе: один; и все — в бесподобиях; переполохи в углах; и неприятности — под полом; и лишь один потолок в световых кружевах; комнаты, как ковши, зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши, — полны мраку; Серафима Гавриловна спряталась в листьях лапчатой пальмы: озираться, топтаться и, содрогаясь, бояться — темного топота; тихонравная бабушка — ушла на кухню; переливается звездами неосыпное небо.

И — ползает функция.

Раиса Ивановна меня уложит в постельку.

.....

Мне не спится... Повешено мне на стенке окошко: там — стылая ясность вечернего неба; и стылая ясность вечернего неба дрожит; и —

— са-

моцветная звездочка —

— мне летит на постель; глазиком поморгает; усядется в локонах; усом уколется в носик: чихну.

А звездоглазое небо моргает в окошке.

Вот откроют форточку, и, как безгорбое облако, тихо-плавно войдет синий холод; остужать синеродом: —

— и певчая стаечка звезд — к нам ворвется; кружить по углам и наполнить все щебетом: —

— две

от стаечки отделятся и начнут порхать друг над другом, затеяв веселую драку, а какая-нибудь сядет к Боженьке в уголок; трогает крылышком огонек и пробует маслица из лампадки: —

— все же другие блистающим одеяльцем опустятся на меня: распевать небесные песни... —

Сплю... —

.....

А за окнами все подтянуто, втянуто: в синеродную вышину, а она-то носится звездами, то — под собою их гонит; катится наливная звезда за перекладину рамы; и быстротечное небо несется, чтобы прогнаться под утро: уйти восвоися.

Впечатления

Впечатления первых мигов мне — записи: блещущих, трепещущих пульсов; и записи — образуют; в образованиях встает — что бы ни было; оно — образовано.

Образование меняет мне все: —

— и точки моих впечатлений дробят-

ся —

— душою моею! —

— и риза мира колеблется; по ней катятся звездочки

законами пучинного пульса; и безболезненно гонится смысл любого душевного взятия метаморфозами красноречивого блеска, где точка —

— понятие!

—

множится многим смыслом; и вертит, и чертит мне звенья летящей спирали: объяснение — возжжение блесков; понимание — блески в блесках, где ритм пульса блесков мой собственный, бьющий в стране танца ритмов и отражаемый образом, как —

— память о памяти!

Преображение памятью прежнего есть собственное чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной; впечатление детских лет — пролеты в небывшее никогда; и — тем не менее сущее; существа иных жизней теперь вмешались в события моей жизни; подобия бывшего мне — сосуды; ими черпаю я — гармонию бесподобного космоса.

Память о памяти — такова; она — ритм; она — музыка сферы, страны —

— где я был до рождения!

Воспоминания меня обложили; воспоминание — музыка сферы; и эта сфера — вселенная. Впечатления — воспоминания мне моей мимики в стране жизни ритмов, где я был до рождения.

Синий глаз — добрый глаз

— "Сколько надежд дорогих" — поет мама, бывало...

— "Сколько счастья" — подхватит, бывало, двоюродный мой дядя.

— "Благих" — сливаются голоса...

Светослужение — начинается: —

— свои глазки закрою я; их потру кулачками; и возникнет в закрытых глазах моих центр —

— желто-лиловый, бьющийся, светлый! —

— и трепеты молний, из центра летящих спиралями и исходящих мне точками блесков, дробимых метаморфозами красноречивейших светочей.

Желто-лиловый центр — счастье; а светопись молний — мои дорогие надежды; образуют мне — светлую ризу под веками; я потру кулачками глаза; и светлая риза колеблется; по ней катятся звездочки и развивают хвосты светлых блесков — вокруг лилового центра; и из светочей вылагаются: образы и подобия комнат; это — комнаты космоса; это — таимые комнаты; это — церковь, перенесенная мне под веки; папа там на мгновение возникает; перебегает мне комнаты: кивает, как память о чем-то; их образует проход — в иной мир: желто-лиловый центр мчится навстречу мне, раздвигается в синий глаз; синий глаз — добрый глаз; он моргает рес-

ницами блесков; он — ширится; и громаднейшим синим кругом несется навстречу; мгновение: —

— я бросаюсь туда, в эти звенья летящих спиралей и в ритм пульса блесков (мой собственный), где я —

— был до рождения!..

Мгновение — я забылся: и с открытыми глазками протянул свои ручки навстречу —

— из-под моргающих век улетел космос света; и — васильковая комната передо мною: все та же.

”Сколько надежд дорогих,

Сколько счастья!..”

Блески — счастье: они — дорогие надежды; и синий глаз — добрый глаз! — небо; и небо люблю я; люблю лучики; миллионами светлых пылинок клочкуют они; я тянусь к ним: их взять моей ручкой; и — свободно проходит рука в ясном блеске пылинок; огоньки свечей и главным образом мамины алмазные серьги вызывают воспоминанье во мне: моих замкнутых глаз и под веками светлого желто-лилового центра, бьющего блеском молний и открывающего мне проход —

— в иной мир.

.....

Синий глаз узнаю я и после: он — глаз в треугольнике; этот глаз — в церкви Тихона на Тупичках — видел я.

Самосознание

Самосознание этих мигов — отчетливо: —

— самосознание:

пульс; мыслью пульсом без слова; слова бьются в пульсы; и каждое слово я должен расплавить — в текучесть движений; в жестикуляцию, в мимику; понимание — мимика мне; и трепет мысли моей: —

— есть ритмический танец; неизвестное слово осмысленно в воспоминании его жеста; жест — во мне; и к словам подбираю я жесты; из жестов построен мне мир; передо мной пробегают слова: папы, мамы, Дуняши, профессора, которого я запомнил в то время (он — в желтом); и слова напечатаны на душе мне неведомым иероглифом: —

— и смысл звуков слова дробится —

— душою мою, —

— и понимание мира не слито со словом о мире; и безболезненно гонится смысл любого словесного взятия; и понятие прорастает мне многообразно передо мною гонимых значений, как... жезл Аарона⁷; гонит, катит значенья; переменяет значенья...

Объяснение — воспоминанье созвучий; пониманье — их танец: образование — умение летать на словах; созвучие слова — сирена: —

— поражает звук слова "Кре-мль": "Кремль" — что такое? Уж "крем-брюле" мной откушан; он — сладкий; подали его в виде формочки — выступами; в булочной Савостьянова показали мне "Кремль": это — выступцы леденцовых, розовых башен; и мне ясно, что —

— "к р е" — крепость выступцев (к р е-мля, к р е-ма, к р е-пости), а: м, мль — мягкость, сладость: и потом уже из окошка черного хода (ведущего в кухню), где по утрам водовоз быстроливым ведром наполняет нам бочку, — показали мне: на голубой дали неба — кремлевские башенки: розоватые, крепкие, сладкие: —

— эти башенки — животечные звуки слов, восстающие подкидной линией красок; и — самоглавным собором; линии — беги ритмов, цветущих мне сонно-знакомую мимикой, —

— свои глазки закрой; и — потри кулачки: животечная светопись молний из лилово-желтого центра — летает, блистает; центр — пульсирует молниями: —

— животечная светопись молний — слова; а пульсация — смыслы; животечная светопись слов гонит в сон; гонит в комнаты смысла: —

— понятие (душевное взятие слова) есть светопись дробимого ритма; она ветвится, как древо; и возжигается блеском образов, точно свечек на елочке; но ритм пульса блесков — мой собственный, бьющий в стране танца ритма и отражаемый образом, как память о п а м я т и.

И впечатления слов — воспоминания мне.

*Валериан Валерианович Блещенский
сгорает от пьянства⁸*

— "Валериан Валерианович Блещенский..."

— "Что такое?"

— "Сгорает от пьянства".

И Валериан Валерианович Блещенский встает предо мною: черноусый, в мундире со шпагою, и — в треуголке с плюмажем — в огнях; звенья ярких спиралей трескучего пламени возжигают в нем блески; Валериан Валерианович Блещенский дробится огнем светлых дымов и уж гонится он —

— метаморфозами дымных пеплов на небе; или он прогоняется мне под веки (кулачком потру я глаза) и там крутится он на фонтанных огнистых хвостах, в пьянстве светов, в метаморфозах красноре-

чивого блеска: его — нет; он — сгорел; мир сгорит от огня; светопреставление — гибель вселенной в пламенных ураганах на нас летящего ока; Валериан Валерианович — мне уже преставился в свете: сгорел в беге блесков.

От него остался лишь пепел.

И вот снова звонится к нам Валериан Валерианович Блещенский, как ни в чем не бывало.

Валериан Валерианович все равно что полено: деревянная кукла он; деревянная кукла в окне парикмахера Пашкова мне известна: она похожа на Блещенского; Блещенских продают саженьями; и потом их сжигают; Поликсена Борисовна Блещенская покупает себе Валериан Валериановичей саженьями; и постепенно сжигает их: одного за другим.

И пока один из них к нам заходит с визитом, другой уже —
— растрещался в камине в спиральных летящего пламени и выгоняется метаморфозами дымов под небо: сгорает от пьянства.

Объяснение — возжжение блесков; понимание — свет под веками; и Валериан Валерианович Блещенский возникает в глазах из желто-лилового центра спиральями молний.

Мамочка едет на бал

Моя милая мамочка — молодая; и — ходит себе именинницей; а бледноустая тетя Дотя разводит... грустины и праздноглазо уставится в мамочку: мамочка скажет ей:

— "И в кого ты такая".

Щечки мамины — полнокровный, розовый мрамор; и твердые руки — в трещащих браслетах: с Поликсеной Борисовной Блещенской, в великолепной карете, поедет — на предводительский бал: веера, сюра, тюли! В мочках ушек алмазные, мелкогранные серьги слезятся перебегающим пламенем: мамочка — в бальном бархатном платье, в опопонаксовом воздухе, из нежно-кремовых кружев склонила свою завитую головку и веющим веером: на меня гонит холод...

Тетя Дотя разводит кислятину; старая бабушка курит опопонаксом; из пульверизатора вылетает струя; из пульверизатора прытко прыщутся шипры; и этими смесями душитесь мамочка; завитые валиком волоса —

— пуф-пуф-пуф! —

— покрывает пудрой пуховка: двенадцатисвечие — в зеркалах (по четыре свечи — в трех углах: по четыре свечи в зеркалах!). Зажмешь глазки; текучая светопись самородного блеска уже закачалась в закрытых ресницах: —

— и мне кажется —

— мамочка в великолепной

карете, от нас проедет под аркою: в иной мир и в светлые сферы мазурок, где Миловзориков в малиновом ментике гремит ясной шпорой, а красногрудый гвардеец, Гринев, гордо выпятил грудь, где, раскинувши в воздухе фалды фрака, двубакий Азаринов завивает вальс в белом блеске колонн; и неслышно несутся за ним — на легчайших спиралях...

И Поликсена Борисовна Блещенская позвонилась... за мамочкой; мамочка в ротонде проходит; карета несется по улицам; за каретой ряды огней: ряды убегающих дней — в рой теней; —

— людоедное время хоронится там, в туманных роях; людоедное время погонится на черно-ярких конях...

.....

Мамины впечатления бала во мне вызывают: трепетания тающих танцев; и мне во сне ведомых; это — та страна, где на веющих вальсах носился я в белом блеске колонн; и память о блещущем бале — одолевает меня: светлая сфера не нашей, за нами стоящей вселенной, где... —

— раскинувши в воздухе фалды фрака, вьет вальсы Азаринов, где красногрудый гвардеец Гринев гордо выпятил грудь в белом блеске колонн, где Владимир Андреевич Долгорукий... —

— блещущие существа посещают нас и смещают мне представления: драгун, дракон — то же; появился однажды он: в розово-рдяных рейтузах; я все трепетно ждал: вот он будет из уст нам выкидывать пламень; но этого не случилось... И был — Глянценродэ (огромная шапка с султаном!); носолобый, запутанный в серебро; впечатление блещущих эполет было мне впечатлением: трепещущих танцев; и потянулся я весь к колесикам шпор; воспоминание это мне — музыка сферы, страны —

— где я жил до рождения!

Папа

Быстроглазый мой папа: приземистый, головастый, очкастый; множит нам толчею; и — угоняет нам смыслы.

Распахивает столовую дверь; и оттуда он смотрит, как... память о памяти; память о памяти такова: она — проход в иной мир; и папа вторгается из проходов поговорить, пожить с нами; и образуется — что бы ни было; образования — строи; папа — строит нам строи мыслей, приподымая при этом очки и вперяясь добродушно на нас; это он — учит мамочку:

— "Математика — гармония сферы... Риза мира колеблется строем строгих законов: по ней катятся звезды... От ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к нам, знаешь, три года..."

В очках дрожит солнышко; я — закрываю глаза, и — умножаются блески; и — светлая риза колеблется; пролетели все смыслы, а папа стоит, открыв дверь в кабинетик, оттуда он смотрит.

И поплачу я за окно — в ясноглавое облачко.

Вот, бывало, заря; вот — оконная рама; вот — я: бабушка, мама и я — мы живем своей жизнью; а папа врывается... из-за книжного шкафа; и — убегает обратно: к корешкам толстых томов, таящих в себе все какие-то глиероглифы: —

— диф-ференциал, интеграл! —

— я их знал: до

рождения!

— "Математика — гармония сфер..."

А мы папу не слушаем; и нос уткнет в книгу он: вертит — чертит на листики звенья какой-то спирали; а войди к нему в комнату: он в распахнутом пыльном халате делится в толстый томик: в него бьет пыльной тряпкой; моргает в закаты...

Вижу я мамочкин взгляд, переведенный на папу.

Бабушка оправляет косынку; мамочка оправляет наряд; мамочка моя, как... картинка; папин опущенный взгляд: папа у нас как бы... "так". Я — не рад, видя мамочкин взгляд, переведенный на папу: —

— воспомина-
ния облагают меня; это — не бывшее никогда; и точно — бывшее прежде; папа мне — существо иной жизни; ходит с согнутым томиком и, махая рукой, ею черпает гармонию бесподобного космоса: —

— папа мой — математик Летаев; и папа — мой папа: только мой, ничей иной; математик Летаев не может быть папою никому на земле; он — папа мне; и почему это так, что папа мой — математик Летаев.

Разве я виноват?

И поплачу я — за окно: в ясноглавое облако.

.....

Знаю я: —

— математику чистится сюртучок; и он, быстротечный, несется посиживать: —

— в Университет,

— в Совет! —

— если же математику не сидится на месте, то математик забродит: без толку и проку по кабинету — от книжной полки до полки; барабанит пальцами: по углу, по столу, по стене; прибормочет, прищепчет — приземистый, многоглазый, очкастый:

— "Эн-эм два на це три!"

Тарах-тах-тах-тах!

— "И по модулю шесть..."

Тарах-тах-тах-тах!

И тонко очиненным карандашиком чертит-чертит на листиках.
И что он набормочет, нашепчет, то — расскажет им всем: Василисимо-
ву, Притатаенке и Брабаго⁹.

Василисимов — "к о н г р у и р у е т"¹⁰.

Серафима Гавриловна, с бабушкой и старой девою Верой Сергеевной
Лавровой, на математиков собираются посмотреть: из гостиной; и разводят
руками на них — из-за листьев лапчатой пальмы.

— "Математики... Ученые... Головы..."

— "Все у них там — свое..."

— "Дифференцируют там они!"

.....

А бывало, папа, прояснясь, наклонится великаньим лицом; и — ясно-
зорным, и — добрым, с растормошенными космами и устало раскосыми
глазками; и уставится ими в душу; на заморщиненный выпуклый лоб
приподнявши блеск очков, осторожно положит мне ручку на свои большие
ладони и из усатого-бородатого рта надувает тепло под рукавчик; и легко-
дышащим ртом что-то шепчет про небо:

— "Оно — сфера: гармония бесподобного космоса — в нем: по нем
катятся звезды законами небесной механики..."

И чертит и вертит под носом моим карандашиком звенья спирали;
и впечатлет мне в душу; и точки моих впечатлений — дробятся; и риза
мира колеблется.

Наливное, безглазое облако — посмотрю — там проходит за окнами;
своим пламенным ободом ополчинится в небо.

Пассаж

Изредка берет меня мама.

И на саночках, мимо саночек, пролетаем мы — в саночки:
в белом шипе метелицы; из метелицы — в вьюгу; из переулков и улиц
— переулками, улицами: в переулки и улицы.

Переулки и улицы пролетают домами.

И уже таинственно пахнет Поповский пассаж¹¹; и надо мною, пустой,
раздается он гулками переходами сводов; зажигают лапчатый газ; в окнах
лоснятся ленты; малиновеют материи; от окна — к окну: веера, сюра, тюли.

Мы бежим прямо в дверь, и —

— приказчики принимаются —

— из стены

выхватывать валики и кидаться ими в прилавок, и, вертясь на руках, по
прилавку

забьют —

— вам —

— вам-вам —

— волосистые валики, разливая бордового

ц в е т а материю; и — на мамины руки! Мама щупает добротность материи, а галантерейный приказчик над нею разводит руками; и говорит ей:

— "Шан-жан!"*

И уже накидаются желтые, плотно сжатые плитки; развернутся, раскроются; и — ах! — все малина; развернутся, раскроются; и — ах! — все в шелках.

Мамочка залюбуется желто-красным атласом; из руки приказчика остервенело лязгнули ножницы; закусались и прытко запрыгали по желто-красным атласам: отхватить атласца и нам.

Мы выходим; мы — вышли; и — видим уже, что взлетел подкидной огонек; что на улицах поредел людоеход; тихий месяц прорезался; чешется многогрудая психа о трубу водостока: спиною; и — звездное небо выносятся — от зари до зари, чтоб другое, беззвездное выпнать; от зари до зари.

Уже мы — к носорогой портнихе; черная, она выскочит каркнуть нам:

— "Ну и атлас: ну и вкус же у вас!"

Забодается длинным носом на маму... Мама все ей отдаст; и она убежит за альков: раскромсать нам атлас.

Вновь на саночках, мимо саночек, пролетаем мы в саночки; приморозило, а — тепло мне под полостью; вздернешь голову вверх: иззвездилось все — донельзя; неосыпное небо кипит, дрожит, дышит: переливается звездами:

— "Нет, нет, нет: ты — не папин, не — мамин... Ты — мой!.."

А Млечный Путь — приседает.

Четырехлетие

Четырехлетие перечертило жизнь надвое: я как бы пересыпался из эпохи в эпоху —

— понимаю я пересыпь поколений — из эпохи в эпоху: за сквозным людолетом времен проясняется явственно — ангел эпохи —

— иная эпоха мне светит: —

— будто ночь, мрачный бык, бодал стены столовой; блескородные диски кидались спасительно в окна; жизнь освещалась моя; будто: —

— на вновь образованной суше приподнялся я со дна океанов, где виделись гады; но суша сознания простиралась: моря отступали; самовольные воздушы наполняли мне легкие; иногда начинало душить: это — трогались зараставшие жабры во мне древним ужасом; и подымались — гадливости; в миголетах времени начинал я дрожать, потопляемый миголетами времени; да, я плакал в пучинах: и —

— впоследствии, будучи уже гимназистом, прочел, что

* Отливающий разными цветами (от фр. changeant).

к Калигуле¹² приходил... Океан¹³; приход Океана был ведом мне в детстве: Океан и Титан — это прощупи прежних бездн —

— (мне впоследствии представлялся Титаном, огромным и грохотным — Помпул) —

— эти прощупи гонятся: стародавним Титаном.

Титан бежит сзади.

.....

Между тем все менялось: сухо веяла в окна метельная пересыпь; а потом: рыхло стала носиться она, — омягчая дома в навеваемой снежини; тепленело: вставали туманы; закапало бисерным дождичком; после дождичков — гололедица-леденица блистает; и — хруст ледорогих сосулук; и — ломко, и — скользко.

Уже нет снегопада; в сырых, в обливных деревьях — ветроплясы стоят; кудревато дымы выпрыгают из труб и расчесанно низятся склоны их; уже моют нам стекла окон: и — запах замазки; стаканчики яда стоят; убирается вата; открыто окошко.

И грохотно.

Я внимательно изучаю дома: по Косяковскому дому я знаю, что все это — тайны; может быть, в тех домах нет печей; может быть, — там не водятся папы и мамы, но дяди и тети.

Перевивы орнаментов, надоконные арабески и полные каменных виноградин гирлянды — глядятся нам в окна; то — розовый дом Старикова¹⁴; но вот столб желтой пыли взлетит с мостовой, и окно — закрывают.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОЩУПИ КОСМОСОВ

О, страшных песен сих не пой!..

Ф. Тютчев¹

Вселенная

Все смотрю я из окон: —

— примечательно мне говорят: жесты каменных, стенных, длинных линий, — подающие кучами крыш оконченные трубы — под облако, которое вылагается в небо; на трубе сидит кот; к ней идет трубочист; с малой лесенкой, с гирями; грохотом скалится мостовая — внизу: крепким белым булыжником; многогрохотно бредит она —

— rrr... rrr... rrr... —

— с колесом ломового, с пролеткой, — внизу из ущелий: в безмерностях переулков и улиц, ведущих в тупик — к мировой беззаконной стене с водосточной трубою, в которой зияет жерло в никуда, и откуда в дождливые дни изольются небесные хляби; жерло ведет в бездну, около которой сидит рваный нищий и указывает на страшную свою язву; песик тоже почешет о край водосточной трубы, о дыру, безволосую спину свою; и — скулит там: над бездной.

Тротуары, асфальты, паркеты, брандмауэры², тупики — образуют огромную кучу; эта куча есть мир; и его называют "М о с к в а"; на асфальтах, паркетах, брандмауэрах повисает "М о с к в а" посредине пустого огромного шара; в этом шаре живем мы; он — небо; открываются форточки в нем; и — пропускается воздух; этим делом заведует: пристав Пречистенской части, проживающий в каланче и оттуда нас извещающий приподнятым шаром, что он бодрствует и что "м и р" беспрепятственно повисает. Окончание нашей квартиры — глухая стена; если в ней пробить брешь, то небесные хляби — хлынут; и будут потопы; по булыжникам будут пениться белогривые волны; и "М о с к в а" переполнится, как... водовозная бочка.

Между тем за глухою стеною, вне мира, давно проживает — сосед: Христофор Христофорович Помпул; непосредственно за стеной тяжело повисает во мрак — его письменный стол; и четыре колесика кресла блистают — в ничто; в нем-то вот воссел Помпул, с огромнейшей книжи-

щей; и колотится ею — нам в стену; полосатый живот из-за кресельных ручек урчит и громами и бредами; в животе — блеск огней; будут дни — разорвется он, в стену ударит осколками; образуется черная брешь: в нее хлынет потоп.

Помпул

Христофор Христофорович Помпул — был совсем как... буфет, хоть и жил он вне мира, за нашей глухой стеною, он все же в "м и р" хаживал.

Если бы хорошенько приплюснуть наш столовый желтый буфет, то середина буфета бы вспучилась; было бы — набухание; было бы — круглотное брюхо буфета: в никуда и ничто; были бы уши рвущие гроты посудных осколков в буфете; и был бы он — Помпулом.

Говорилось у нас: собирает все какие-то данные Помпул; за статистическим данным бросается в Лондон; и Лондон, я знал, есть ландó (ландо видели мы на Арбате). И Христофор Христофорович Помпул в моем представлении целый день гнался в Лондоне за статистическим данным; то есть: целый он день, проезжая в ландо (его все-то обыскивал он) — с двумя желтыми баками; и — во всем полосатом; полосатое — думал я — и есть образ жизни: по статистическим данным.

По ночам же он, наперекор всему, — заводился у нас за стеною: в нем и ра... —

— я впоследствии знал его комнату; я впоследствии понимал: заводился он среди очень громких предметов, безалаберно там возился; и вытаскивал переплетенные томы — крупнейшей библиотеки; погромыхивал, колотясь ими в полки, в столе книжной пыли; мне казалось: кто-то там заживал; слышалось наступление дубостопного шага; из-за стены — в коридоре; чуялась: неотделенность стеною от шага; и стало быть: появление Помпула у постельки; и — с толстым томом в руке; думал я: вот идет теперь Помпул: —

— и глухо бубукали звуки — из мировой пустоты: выбивал Помпул пыль; и от этого дубостопный буфет начинал будоражиться.

Ломает пролетки

Мы однажды весной шли гулять: было страшно. Над нами слезал тихолазный толстяк —

— "Беда: это — Помпул".

Христофор Христофорович переламаывал оси пролеток: подстережет он извозчика и бросается на него — прямо в Лондон: ось — лопнет;

извозчик — ругается; я, увидевши Помпула, сзади стучащего желтой палкой, все-то думаю о извозчике Прохоре — о лихаче; мне хочется выбежать: перед Помпулом хлопнуть дверь; и — раскричаться на улице:

— "Беда..."

— Помпул сходит...

— Спасайтесь, извозчики!.."

Извозчики от него — врасыпную, бывало; где проходит по улице Христофор Христофорович, стуча желтой палкой о тумбы, — там пусто: ни одной пролетки уж нет; а за углами их — кучи; они ожидают; желтокосмый там Помпул пройдет; с грохотом после этого они вкатятся снова на белые крепкие камни.

— "С нами, барин!"

— "Пожалуйте"...

Выкинется, бывало, пролетка из-за угла, невзначай; и уже несется она в глубину Арбата — от Помпула.

Христофор Христофорович это знал; и, притаившись на корточках за стеной переулка, — пыхтел он ужасно; и отирал себе пот с крепкокостого лба полосатым платком; и вот — едет пролеточка: Помпул, уже увидев ее, задрожит; и подкрадется на карачках к углу перекрестка, чтоб прыгнуть в нее невероятно огромным прыжком: полосатым своим животом; и тогда-то вот, на переломленной оси, катается в "Лондоне" Помпул; и собирает в нем "д а н н ы е".

.....

— "Да — вот, знаете: Христофор Христофорович-то — ломает пролетки..." —

— доканчивал папа свою небылицу (смутно помнится это), лукаво смеясь и блистая очками; я — верю; а мама — рассердится: небылицы не любит она.

Папа скажет ей:

— "Врать ты мне не мешай: а не люблю — не слушай..."

Лев Толстой

Смутно помнится: папины небылицы выслушивал — Лев Толстой их любил.

Лев Толстой — кто такой?

Я не знал, что такое — толсто е (или что ли — толсто в ст в о): ну, там, — звание, как звание архиерея, попа, математика; и где водятся архиереи, там есть и тол ст ы е; так бы я ответил тогда на неуместнейший вопрос о Толстом; если бы в это время я знал, что университетские города существуют повсюду, то я бы ответил, что на город приходится: по математику, губернатору, архиерею и... Льву Толстому; впрочем, я знал один город (о нем говорилось, что мы туда едем); и этот город есть "Клин".

Всякий город есть "К л и н"...

.....

Видывал в это время и я — одного Льва Толстого: он пришел к папе в гости; сидел в красном кресле; ввели меня и сказали:

— "Вот — Лев Николаевич..."

Я его запомнил. Он брал меня на руки: но запомнились очень ярко: пылинки на серых толстовских коленях; и огромная борода, щекотавшая лобик мне.

Эти бороды, думал я, верно, львиные гривы "Толстых"; и я думал: о небылицах, об оси пролетов, о Помпуре, о костромском мужике и о пророке Магди³; про "мужика" и "Магди" — это папа рассказывал: всем московским извозчикам; и гремело папино имя в городских ночных чайных; извозчики, собираясь туда, передавали рассказы: о "мужике" и "Магди"...

.....

Помню после уже: из метели выносятся саночки; в саночках папа несетя — в огромной енотовой шубе; и из нее торчит — меховой колпак шапки, очки, два уса; прижимая к груди свой портфель полуразорванным меховым рукавом, заливается смехом мой папа — грохочет извозчик:

— "А костромской-то мужик?.."

— "Хе-хе-хе-с..."

И — уносятся саночки.

.....

Я однажды встретил извозчика (тому назад — шесть-семь лет); это был сутуленький старикашка, который узнал меня:

— "Как не помнить вас: были вы Котенькой-с..."

— Как же-с: барина-батюшку помню... Хе-хе-с... Михаил Васильевич-с... Шутники-с... Ему скажешь, бывало: на Моховую на улицу... А они-то, бывало, расскажут: о мужике да о черте.

— Не гнушались простым человеком... Бывало: стараются...

— Вечная память им".

Профессора

Позднительно я встречаю гостей — профессоров и директоров казенных гимназий, потому что я знаю про них: —

— все они — украше-

ния; и потом еще: все они — изваяния; они украшают Империю: это слышал я от тети Доти и бабушки; а о том, что они крепколобы, я слышал от дяди Ерша⁴: бьются лбами о стены они; и все прочие мне говорят, что "профессор" — маститость, —

— то есть то, чем мостят; и у меня слагается образ —

— "Империю", то есть какого-то учреждения вроде Казенного дома: колоннады, или — ну, там, карниза, подпертого теменем, очень

крепким; становится ясным; профессор —

— приходит с карниза. —

— И меня уже грызут мысли: о ненормальности телесного состава "профессора"; невыразимости, небывалости лежания сознания в теле профессора ведь должны быть ужасны; ведь он весь какое-то — то, да не то; я со страхом, бывало, все вглядываюсь в их бескровные, мрачные лица: да, их лбы — тяжелы, бледнокаменны; их стопы — тяжкокаменны; голоса — скрип кирки о булыжник...

Профессора и "доценты" —

— бывало, сойдется к нам славная стая их (со всех московских карнизов); и рассядется: в красных креслах гостиной: горластые дымогоры взлетают, —

— ударяя пальцем по креслу, бывало, плетет Грохотунко — изветы: и — ветви изветов, —

— а я не пойму; и — дрожу —

— от бессмыслицы громких слов и таимого ужаса "профессорской жизни"; и старинные бреды подымутся: —

— сам "профессор" есть прощупь в иную вселенную, где еще все расплавлено и куда профессор несет свои бреды; в них носится, как, бывало, носилась старуха; старуха — жена его; моя крестная мать, Малиновская, есть старуха — профессорша. Очень часто профессор — старик.

.....

Стариков и старух я боюсь.

Брабаго

И когда к нам звонится, кряхтя, головастый Брабаго, то боюсь я Брабаго; Брабаго ощупывал взглядом; щипался глазами; свинцовая боль подымалась в виске...

Голос Брабаго ужасен: грохотом головастых булыжников разбивался нам громкий брабажинский голос; и всякие "абры", "кадабры", бывало, как камни, слетали из кривогубого рта; разбивали толк в толоки; и толкли толчею.

Папа мой, бывало, не выдержит, задрожит и подскочит:

— "Как же вы это, мой батюшка: ведь это все только громкие фразы".

А Брабаго каменно принависнет над креслом, да на меня, притихшего в ужасе, он устает красным ртом; и — очень злыми глазами; и лицо его наливается кровью, точно зоб индюка; и я — тихий мальчик — бегу: прямо к Раисе Ивановне, на колени: —

— и плачу, и прячу — головку:

в колени; все — душит; все — давит; кудри мои беспокойными змеями покрывают мне плечики; все-то кажется мне, что Брабаго там лезет: подпалзывает; припадает ко мне; и мне рушится в спину: —

— в красный

мир колесящих карбункулов распадается мрак.

Посылают за доктором.

.....

Раз я его подсмотрел: —

— как он, описывая спиною дугу, прилобился под тяжкогрудным карнизом кирпично-красного дома — в Криво-Борисовском тупичке: неподалеку от домика Серафимы Гавриловны, куда мы ходили с Раисой Ивановной; он, Брабаго, одною рукою поддерживал грузы; другой он рукою сжимал — опрокинутый каменный светоч, и, описывая спиною дугу, собирался обрушиться на меня кирпично-красным карнизом; протянулась его белая голова с будто жующим ртом и с пустыми глазами; и — смотрела мне вслед глухую, особою, стародавнюю жизнью.

Дом Косякова

Впечатления — записи Вечности.

Если б я мог связать воедино в то время мои представленья о мире, то получилась бы космогония.

Вот она: —

— Дом Косякова, мой папа и все, что ни есть, Львы Толстые

— мне кажутся вечными: —

— все, крутятся, пролетает во мгле,

но не дом Косякова —

— до Арарата

он встал из трепещущих хлябей⁵; кусочек Арбата — за ним.

Папа мой переезжает немедленно: в номер одиннадцать; что-то там образует и пишет; между тем: образуются облака, образуются тротуары; мостят мостовую; с дальней крыши пожарные Пречистенской части поднимают огромное солнце; и законами пучинного пульса с Дорогомиллова пристаёт к нам Ковчег; и из него, из Ковчеха, —

— с грохотом выгружается:

Помпул; и — что бы ни было; Помпула тащит дворник, Антон, в номер десять, в квартиру, соседнюю с нами; и она же есть — мировое ничто; и бубукает Помпул; и мировое ничто обставляет бубуками он; в него с лестницы ведет дверь: золотая дощечка на ней: "Христофор Христофорович Помпул"; дощечка глядит, точно память о времени допотопного бытия, откуда втащили к нам Помпула... —

— папа мгновенно

по этому поводу покупает: дубостопный буфет; Помпул бьется к нам в стену: буфет громыхает посудой...

.....

А по Арбату уже: —

— в серой войлочной шляпе и в валенках пробегает в Хамовники... Лев Толстой; и там раздробляется он в "толстовство" законами пучинного пульса; и о толстовцах мы слышим; "толстовцы" бывают у нас; а смысл — колобродит: метаморфозами образов; метаморфоза проносится пылью по улицам; и возжигается: блеск объяснений над ней, потому что —

— в то самое время с чердака выпускается на зеленую крышу луна: струит блеск над блеском; и над фонарными огоньками несутся сияния; — и умножаются блески катимой луною; луна, описав дугу, падает —

— под тротуары: за парфюмерным магазином "Безбардис"⁶.

.....

Папа все это создал, бац-бац — быстро хлопает дверь допотопного дома; и —

— папа мой с мировой историей многомысленно утекает из косяковского дома: —

— в Университет,

— в Совет,

— в Клуб! —

— Наполеоны, Людовики, Киро-Ксерксы⁷ и гунны пролетками громыхают за ним:

— "Со мной, барин".

И — угоняется смысл: на нем Помпул сидит, оповещая Арбат дребезжащей рессорой, что он видит данное: видит данное мне представленье о мире.

Оно — несколько фантастично: что делать.

Так я видел действительность.

.....

Нет уж Льва Толстого. И нет академика Помпула; Третий Филиппович Поваляхинский⁸ заседает в Верхней Палате, благополучно избавившись от тевтонского плена (по последним известиям он скончался: мир праху его!); над могильным крестом двенадцатилетие падают снежинки на надпись: —

— Михаил Васильевич Летаев —

— мировая брань не окончена; рушатся в громе пушек соборы; и утонул Китченер⁹; риза мира колеблется: скоро попадают звезды... —

— Не падает дом Косякова; он все так же стоит; и — кусочек Арбата пред ним.

Рухни он, — все исчезнет.

”Я”

Описанное — не сознание, а — ошупи: космосов; за мною гонятся прошупи по веренице из лет: стародавним титаном: титан бежит сзади.

Нагонит и сдавит.

В детстве он проливался в меня; и я ширился от моих младенческих вьятий — титана¹⁰.

Но ошупи космоса медленно преодолевались мною; и ряды моих ”в ъ я т и й” мне стали: рядами понятий; понятие — щит от титана; оно — в бредах остров: в бестолочь разбиваются бреды; и из толока — толчеи — мне слагается: толк.

Толкования — толки — ямою мне вдавили под землю мои стародавние бреды; над раскаленной бездною их оплотневала мне суша: долго еще среди нее натыкался я иногда: на старинную яму; и из нее выгребали какую-то нечисть; и ужас вил гнезда в ней; с годами она зарастала; глухонемою бессонницей тяготила мне память она. Тяготит и теперь.

Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир — лестница моих расширений; по ступеням ее восхожу: это — рост; я — расту; и иногда себя вижу повернутым и склонившимся в ошупи, шелестящие, как дрожащее древо — о прошлом.

Об утрате старых громад повествует мне ветер — в сумерки, из трубы; и прощаюсь со старою былью: о рухнувшем космосе... Громыкает, а папа склоняется; и, склоняясь, шепчет мне:

— ”Гром — скопление электричества”.

А над крышами в окна восходит огромная черная туча; тучею набегает — т и т а н; тихий мальчик, я — плачу: мне страшно.

.....

Я внимательно изучаю дома; и московская улица — передо мной возникает стенами; и — орнаментной лепкою.

Перевивы орнаментов, арабески, вазы, полные каменных виноградин; гирляндой опутанный бородач на меня вперяет свои две пустые дыры; я его узнаю: это он, Дорионов; из раскаленного состояния он перешел в состояние каменное: он томится теперь, прислоняясь к углу дома, поддержкой карниза; как бы он не соскочил и, потрясая лепною плодовой гирляндой, как бы не принялся он оттопатывать по крепкозвучным булыжникам, поспешая к портному Лентяеву; себе шить сюртучок.

Гибель

С вечера громычал Христофор Христофорович Помпул за нашей стеною: так еще он никогда не гремел; да, все — рушилось; сверкания начинали подбрасывать ночь: грохотали пожары; казалось: в страшных тресках разрушились тротуары и крыши; и — осыпались дома; хляби

хлынули в окна: думал я — за стеною, как бомба, разорвется тресками Помпул, — пробивая в стене нам огромные дыры.

Вселенная кончилась: тьма. Ничего я не помню.

.....

Вскоре помню опять: гроыхало и рушилось; сверкания начинали подбрасывать ночь и освещались не стены, а — обступившие толпы Мавров, взирающих очень строго из разлетевшихся складок одежд.

.....

Утром вижу я: —

— толпы Мавров — очень многие темнородные пятна перепиленных суков на деревянных стенах неизвестной мне комнаты; мне к постельке склонилось молоденькое лицо с завитыми кудрями; и говорит, с ясным смехом, что уже мы в деревне, в Касьянове¹¹.

Молодое лицо с завитыми кудрями — Раиса Ивановна. Помолодела она.

.....

”Мир”, Москва, переулки распались; и чернородные, жирные земли простерты повсюду; рухнула мировая, глухая стена; и показались за прудом, куда все провалилось, — проглядные дали.

.....

Воспоминание об утрате громад меня давит: повествует ветер в полях мне о рухнувшем космосе: ”Городе”; в облачной стае башен плывет этот ”город”; тени поля — прошлым: о Москве, о стене, что-то такое пытаюсь припомнить; не помню; и — мучаюсь.

Грусть

Небывалая грусть охватила меня.

Отступило мне все и ушло в кущу листьев: предметы, события, люди; даже — папа и мама.

В прежде бывшей вселенной, в ”Москве”, —

— вспоминаю я, —

— мое ”я”

было связано с лабиринтами комнат; и комнаты мне менялись мгновенно: от моих о них мнений; все обставшее связано с ”я”; все предметы меняются; нянина голова мне появится; я подумаю, что мне страшно; и — вот: —

— вместо няниной головы блещет лампа; обои дымятся на стенах: пестреют мне образом; —

— весело, и — уже: за стеною во тьме папа с мамою веселятся кадрилями; грустно мне, и — уже: чернородная девка, Ардаша, выходит из подполу...

Это все — отвалилось: все события и предметы от мысли моей отвалились; действия мысли в предметах, метаморфоза предметов при моей о них мысли — все теперь это кончилось: весело — за стеною уже папа с мамою не веселятся кадрилими; грустно — и девка Ардаша не вылезает из подполу.

Все лежит вне меня: копошится, живет, — вне меня; и оно — непонятно.

"Курица"... это... это... какое-то: гребенчато-пернатое, клохчет, клюется, топорщится; не меняется от моих состояний сознаний; непроницаемая "курица"; вместе с тем мне она совершенно отчетлива; и — блистательно мне ясна в непонятностях своей р а с т о п о р щ е н н о й, к л ю в н о й жизни.

А вот он "я"... А вот — "муха".

И она меня мучает.

Все, что ширилось, распирало меня, вне меня вылипаясь С т е н о ю: ужасно распалось, разъялось на части; омертвенело землей, испаряющей вечером пар над душистыми травами; и — побежало по небу; обелоглавило небо: —

— и облака бегут на громах и на молниях, а дни — на ночи: повторяют себя на — ночи; —

— светлорогий пастух зовет рогом меня;

черный бык — ночь — мычит на меня...

.....

По вечерам, над столом, под открытым окном: мы сидим; и — молчим: краснотелый комарик с размаху ударится в лампу из мрачного парка; вдруг омолодится все; посребреют глазастые окна; посмотрят, закроются; проговорят пережатые грома; и это все непонятно.

Пролетка проехала?

.....

Где Москва?

Развалилась она: никогда не увижу ее.

В Касьянове

Я смотрю: и я думаю.

Передо мною на столике молочко: в круглой глиняной крынке; и — два яйца всмятку: а я, тихий мальчик, прислушиваюсь: —

— об утрате

старых громад повествует мне ветер: о рухнувшем космосе (грозами рушатся космосы; и, восставая над липами, набегают Титаны на нас — бородами тучами) —

— передо мною на столике молочко: и оно — белотечно; и повествует мне ветер о рухнувшем —

— где-то близко за окнами... —

— Все-то воздуха веяли; где-то близко за

окнами: самозвучные кущи кипели: то липы; и — лето ходило по липам; и рушились космосы: липовых листьев; и чащи кипели листьями; и сочность лесок кипел тоже...

С террасы ведут на дорожку: четыре ступеньки; направо, налево — трава; ты сойди — потеряешь себя; и открыта глубокая яма; она — зарастает; глухонемой тоской тяготит; в яме — страшно; там курица... —

— Миг, комната, происшествие, город — четыре ступеньки, мной пройденных; я взошел на них; и расширился мир мне деревней; и вместо стен мне открыты: проглядные дали...

Курица

Вспоминаю себя я, сходящим с террасы: над шелестящими травами; колкие ошупи трав припадают к лицу; самоводный лужок ходит травами; а перелеты их лоснятся: прохожу я — в старинную яму; цветок одуванчика, сорванный, огорчает мне ротик; тяжелые знои напали; порхает невнятица листьев; бессмысленно — все; я уставился —

— в

куру:

— "Здравствуй..."

— Ты...

— Курица..."

А белоглазая курица клювом уставилась в стену; и — клюнула: мухи нет; желторотые шарики побежали...

Цыплята...

И я —

— вылезая из ямы: глухонемая тоска тяготит; я — себе на уме: да, я знаю что знаю: и — никому не скажу —

— как там —

— бегают... шарики.

И мне пусто, мне грустно... —

— склоняюсь головой к кому-то — в колени, вперяясь в пространства; невнятные пространства —

— (озерцо изморщилось и издали синилось)... —

— личико поднимаю

(а оно все горит)

и протянутой ручкою тереблю я Дуняшу.

— "Как там курица..."

— "В яме: ж и в е т..."

Не понимают меня.

Вдруг горячим приливом, как матовым жемчугом, я согрет: меня поняли; и — бархатисто тепло льется в грудь; Раису Ивановну, милую, которая меня поняла, я люблю; и склонилась ко мне своим матовым личиком; и агатовым взглядом зажгла: в моей груди тепло; поцеловала она: ничего —

— мы над ямой пройдем: еще раз — с ней вдвоем; мы идем уже; курица клохчет, бежит; уморительно убегают за нею все желтые шарики на тоненьких лапочках — в травы; и приседаю я в травы; и — вот: белоглазый грибок: сыроежка; и — вот: мне сухая лепешка (проходит здесь стадо); над ней вьется муха; смеется Раиса Ивановна:

— "Нет, не надо..."

Сухую лепешку я трону.

А Раиса Ивановна:

— "Пфуй..."

Подсыхали вокруг очень многие "пфуи"...

.....

Тихо движемся в спящие чащи, в листья: за листья; там — жердисто, нелисто; схватились колючие поросли — рогорогоими чащами; двигаюсь — в сонные сумерки, в немо нецветные воды болота.

Вода

Там стучат жернова: —

— и вода, зеленея, летит стекленеющим током; а воду дробящие камни прояснились лбами под нею: —

— Так же вот: —

— из меня, от меня улетит все-все-все, что когда-то мне было; за улетающим током душа улетаает; а душу дробящие дали окрепли мне берегом; безобразное образовано: это — земли; а сонные образы — дымно кипящие воды: вода, зеленая, летит стекленеющим током; а воду дробящие камни прояснились лбами.

.....

У грустного прудадохнуть я не смею:
грустнею, немею... —

— Сребрится изливами пруд; а из него на меня смотрит малюсенький мальчик; он — в платьице, с кружевом; беспокойные кудри упали на плечики: —

— я таков на портрете, еще сохранившемся где-то; я — в платьице, в кружеве; кружево это помню: оно — бледно-кремовое; помню платьице я — из пунцового шелка... —

— малюсенький мальчик, как я; все, что было, что есть и что будет — теперь между нами: изливы; изольется все.

— "Эй ты, маленький мальчик..."

А маленький мальчик запрыгал на рыби: пропал; уткло — все, что было.

Ничего и нет: ряби...

Что же это такое, что есть?

.....

Я, бывало, без мысли смотрю — в эту мутную глубину; и, бывало, без мысли смотрю, —

— как из мутных глубин подтечет живородная рыбка; и — пустит пузырьки; передернулась; нет ее: ряби... Дробится и прыгает маленький мальчик на рыби: —

— Ах, рыбка его погубила: "Я" — маленький мальчик; меня, ах, меня, — погубила она.

То, над чем я сижу, глубина: и она мне темна, и она мне мутна.

.....

Дерево изветвится, излистится...

Мне ветвятся, мне листятся мысли...

Что-то такое я думаю: но кишит бестолковица... Какая такая — не знаю... —

— Вот он "я"; вот он — пруд; пруд кишит головастиком, а сребреет

— изливами... —

— изливается дума моя; и сребреет она предо мною; а не знаешь, что в ней.

Может быть... — головастики?

Грозы

Вставали огромные орды под небо; и безбородые головы там торчали над липами; среброглазыми молньями заморгали; обелоглавили небо; кричали громами; катали-кидали корявые клады с огромного кома: нам на голову.

Это, спрятавшись в облако, облако рушили в липы — титаны; и подымали над дачами первозданные космосы: —

— рухнувших городов и миров: улицы, дома, башни — кремнели над ними; и грохотали пролетки... —

— Каменистые кучи облак сшибая трескучими куполами над каменистыми кучами, восставал там Титан, весь опутанный молньями: да, там пучился мир; да, и в бестолочь разбивались там бреды; и — толоклась толчая: —

— складывался толковый и облачный ком в мигах молний, с туманными улицами, происшествиями, деревнями, Россией, историей мира; и мировая история разгребелась над

парками; и Титан, поднимая ее, точно старую ббль, на нас гнался, врезался грудью в кипящие кущи; уже проходил он по парку сквозь листья; под тяжелой стопою Титана дрожала земля... —

— И я, тихий мальчик,
увидев носимое — там, над нами, — бежал в темный угол,
а папа бежал вслед за мною.

И — принимался нашептывать:

— "Это, видишь ли, Котенька, — гром...

— То есть, это...

— Скопление электричества..."

Прощупи прежних лет шевелились во мне; бестолочь прежних лет громыхала...

.....

Помню раз: —

— обезвоздушилось все; и — душило меня; все притихло;

вдруг: —

— заскрипели стволы; бурно хлынули главы; рванулись рои живолистных ветвей прямо в окна, треща и кидаясь суками; и — откачнулись назад; увидал там в окошке, что Мрктич Аветович¹² пробегает из чащи с распушенным зонтиком; утка хлопала крыльями; и крикливо сухой треснул звук: опустилась в кусты многолетняя ветвь; и — повисла на белом расщепе: —

— белолобое облако подошло; белолобое облако хлопнуло частым градом: нам в стекла.

.....

В этот вечер гуляли; блистали нам слякоти; все проглядные дали иссинились тучами; некудрые тучи замазались в небе; и — шлепало стадо на нас.

Громкорогий пастух мне понятен: зовет за собою.

Снова молнилась ночь.

Сверкания начинали подбрасывать ночь; глухонемая бессонница падала, я просился к Раисе Ивановне: из постельки в постельку; и Раиса Ивановна поднялась: и босыми ногами она полусонно прошлепала — меня взять; я испуганно обнял ее; между белыми блесками падали темени; как рубашки, срывались с дерев, зелена их в бесстыдную ясность; то пурпуровым, то фиолетовым летом бросались от края до края летучие лопасти: каменистое тело Титана восстало; и над всем, там стояло...

.....

С той поры начались неизливные дни.

Купанье

Побежали купаться: —

— Раиса Ивановна, барышни, Нина Васильевна: с полотенцами, в сарафанах, по полю.

Бегу и я с ними; а кругозорное небо над полем глядится; работники в белотканых вспотевших рубашках тут ходят по грядам душистого сена с огромными вилами; в воздухе сыплется сено сухое, шершавое; быстрый рог длинной вилы мелькает по воздуху; мы бежим, а мужик — обругался...

Мы дальше: —

— тропинкою — в ольхи: под гору; тихохолмные берега зашершавились мохом; сереют нам издали крышей недымной деревни; песком прожелтился откос; и цветы, молочай, на нем... вот — и засыпалось издали, в ольхи — все ближе; и вот — хлынуло холодом; над головой все рванулось; и — ясновзорные просветы бросились на летучих листьях; и — рогатая веточка ходит единственным листиком над живою рекою: купальня; — туда —

— я, Раиса Ивановна, барышни, Нина Васильевна Вербова! —

— и говорят, что наружу они выплывать не хотят; восьмиклассник Щербинин с подозрительной трубой залег прямо в ольхи; качается лодка; и переходные мостики — гнутся; и — рыбка пускает пузырик; тут в сухие дни — плесенеют круги; в водоливные дни — пузыри...

.....

Купаются все. А меня посадили на лавочку. Поснимали свои сарафаны; и снимали рубашки; и — длинноногие, белые, ходят: полощутся, мочатся; мне отчего-то их стыдно; меня — им не стыдно...

И, скрывая свой стыд, я кричу:

— "Ах, какие вы все..."

Воспоминания о Касьянове

Воспоминания о Касьянове растворяют в себе воспоминания о людях, там живших в то время; изумрудные кущи кипят: и туда, в эти кущи, уходят — мне люди; бегаю к пруду я, где уходят стальные отливы под липы и ивы; и трескает в лобик сухое крыло коромысла; а однорукая статуя встала из зелени — стародавним лицом и щитом: на нас смотрит...

Под ней проповедует папе на лавочке, где ярко-красные розы, — Касьянов. Папа с ним не согласен, кричит:

— "Я бы все эти речи..."

И на него замахнулся он в споре своим дурандалом (корнистой дубиной, с которой он ходит) —

— впоследствии мама сожгла дурандал — потихоньку от папы; он в споре махал им; свою палку

назвал папа мой дур андалом, производя это слово от "дюрандаля" — меча (им сражался Роланд)¹³ —

— папа целыми днями, бывало, летает в огромных аллеях, махая своим дур андалом; это он возмущается: это все — различия убеждений; и натывается на Мрктича Аветовича; Мрктич Аветович есть горбун в ярко-красной рубахе; Мрктич Аветович с папою не согласен; припирая к стволу его, папа мой раскритикуется:

— "Позвольте же..."

— "Нет-с..."

— "Что такое вы говорите?.."

— "Да вас бы я..." —

— Мрктич Аветович —

— много лет уже спустя я чи-

тал толстый том его: "Эра" —

— язвительно тыкает папу, блистая зубами

под папой, огромной рукою — в живот:

— "Нет, а все-таки..."

— "Все-таки..."

.....

Мрктич Аветович часто, увидевши папу, стремительно убегает под липы; приседая в кустах, он оттуда краснеет горбами; это разности убеждений; "они" убегают от папы — в лесные убежища, и, убеждая "их всех", потрясая своим дур андалом, вспотевший мой папа за ними гоняется в куцах Касьянова.

Раиса Ивановна

Затрясется матрасик под ней; и босыми ногами — к окошку; дырявая ставня скрипит под напорами ветра и света; покрывая волною волос, вся какая-то мягкая, — тащит меня за подмышки; над одеяльцем нагнется своим мыльным личиком; бегаем в одних рубашонках.

Как весело!

Завиваются легкие локоны легкими кольцами над ее легким личиком; и со мною отпив молочка, выбегает со мною она — в росянистые колокольчики, к лавочке: мне оттуда кивает; и собираем букет колокольчиков; Мрктич Аветович к нам подходит: себе попросить колокольчиков; колокольчик протянет она; Мрктич Аветович рад.

Мы все трое — на лавочке: шутим; Раиса Ивановна, не отвечая на шуточки, в зонтик уставится глазками, а — кончик зонтика ходит; закушена пухлая губка, дрожащая от улыбок, когда снимает с меня, жарящего им из песочка котлету, — мурашика: эта бледная ясность лица — мне мила; и Мрктичу Аветовичу — мила тоже; и он напевает тогда, что —

Из-под лодки плывут рыбки, —
Это милого улыбки —

— а пёсинька, с холмика, изогнет

свою спину и сядет на четырёх своих лапах, что-то силясь нам сделать:
Мрктич Аветович опускает глаза; и краснеет Раиса Ивановна: мне это все
— любопытно.

Такой смешной пёска...

.....

Бывало, передвигая тазы, мы сидим у жаровни; блистающий таз
в пузырях; и Раиса Ивановна с ложечки мне дает желто-розовых пенек;
и вот восьмиклассник Щербинин пристанет:

— "И мне пеночек".

А, бывало: на липовый листик положит она землянички; и черною
шпилькой уколется в ясные ягоды: кушает ягоды:

— "Мне бы..."

.....

— "И мне..."

Пристает восьмиклассник Щербинин.

— "Нет вам..."

.....

Мы любили, обнявшись, сидеть, протянув свои личики в зорьку.

Любили купаться (я еще не купался); она снимет кофточку, юбку,
чулочки; и, остывая, болтает ногами; дает понять взглядом: ай, ай, будет — Бог
знает что, когда с досок она прямо бросится в воду; и белоносная пена покроеет.

Любили ходить по грибы; под кустами увидим, бывало, мы тугопуч-
ный березовик.

— "Мой..."

— "Нет — мой".

Отбиваем его друг от друга.

Я ее обирал. Даже раз она плакала; кузовок тяжелеет: подосинники,
яркие, на черных ножках, жемчужовые сыроежечки, желтяки, белоглавики
в нем пестрели и пахли листьями.

.....

Мрктич Аветович

Мрктич Аветович, знаю, — добряк; Мрктич Аветович — весельчак;
поднимает огромную руку к луне над горбом; и поет из аллей, встав на лавочку:

Ты, всесильный Бог любви,
Ты услышь мои мольбы...¹⁴

И всем это нравится; и встает над Мрктичем Аветовичем красный
месяц; чернеют горбы на дорожке; то — тени.

Таинственно...

.....

Мрктич Аветович возит нас всех — на пикник, он садится на козлы — высоко, высоко над нами; качает горбами; лошадь встанет, бывало: но Мрктич Аветович ни за что не прибегнет к кнуту; а обращается к лошади: — "Милостивая государыня лошадь". —

— И всем это нравится.

Нас везет на пикник: нам зажарить шашлык; и прочесть под луною молитву: армянскому богу; приехали: выгружают посуду, бутылки, пироги с грибами, паштеты; расстилают скатерть на травы; накидают, бывало, сухой и трескучий валежник; зачиркают спичками; куча покроется дымом; и — подкидными огнями; желтокрылое пламя заширится; и ясными лапами пляшет: мама снимет шелковый фартучек, полосато-пятнистый (и желтый, и красный) и Мрктичу Аветовичу перевяжет горбы она; Мрктич Аветович выставит черную бороду и над огромным, теперь полосатым горбом — простирает свои волосатые руки в огни и распевае молитвы армянскому богу: над вертелом; дымы вздымаются; падают в поле хвостами; шар солнца блистает из них самоварною медью; уже любопытно зарница забегала в туче.

Мрктич Аветович в пламени там стоит; и чадит: шашлыками.

.....

Смутно помнится мне: —

— уж колотится колотушка;

Края тихорогого месяца ясно прорезались в ветви; на ясные дали разрезались мраки; взошла колоколенка; знаю я —

— завывают собаки под дачами: у потайной ямы, в бурьяне, толкается кучер Федор с Дуняшею нашею, а колючие ежики бегают по аллеям; их тронь: станут шариками; над могильным крестом возникает полковник Пупонин; фосфорически светится он; и несется в кустах... на касьяновский парк... —

— Мрктич Аветович, обнимая меня, убеждает меня, что нисколько не страшно; и говорит: — "Вот Иванов-жучок".

Приседаю на корточки я.

Убеждения наши сошлись: мы — друзья.

Осень

Дни летели в дожди, в желтолистые.

Залетали синицы; красногрудая птишка, тиликая, перестала метаться за мошкой на стене белой дачи; трещали сороки; пироги с грибами пошли; у камина гляделись в огни — в смолянистые трески ветвей; отсырели углы нашей дачи; пооткрывались болезни желудка; пооткрывались болезни седалищных нервов; и любовались осенним осинником: он — красноглавый.

Порасставились дощатые ящики — с сеном: огромные банки и склянки туда опускались; из поредевших ветвей выкруглылся откуда-то — клин-ский вокзал: красным куполом.

.....

Как случилось это — не помню, но помню последствия "случая": мы стояли растерянно перед множеством полинялых синих пролетов, перед множеством рваных синих халатов, отчаянно подпоясанных красным и на нас громко лаявших из-под лаковых рваных шапок:

— "Со мной, барыня..."

— "Со мной..."

— "Вот извозчик..."

И — мостовая гремела.

"С л у ч а й" этот мне помнится: и мы вернулись в Москву.

.....

Удивляемся мы с Раисой Ивановной тесноте наших комнат; передо мной на ладони квартира: очень тесненький коридорчик и ползающий по стене таракан: очень тесная детская.

Та ли это Москва?

Не отсюда уехали мы: мы уехали из огромного мира комнат: он рухнул.

Вспоминаем Касьянова мы. И мы слушаем музыку.

ГЛАВА ПЯТАЯ

РЕНЕССАНС¹

Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно...

А. Пушкин²

Из кровати

По утрам из кровати смотрю на букетцы обой.

Я умею скашивать глазки (смотреть себе в носик): и уж стены, бывало, снимаются — прилипают мне к носику; пальчиком протыкаю я их: легко и воздушно сквозь стены проходит мой пальчик; туда бы просунуть головку: стена непроглядна.

Моргну: —

— перелетают все стены на место; и там они — тверды. Действительность, обстающая мне меня, — такова: отвердевает она; изошряюся в опытах; передвигаю действительность; пятилетие обстает меня опытом; мне в трехлетии опытов не было; были строгие строи. Я — художник действительности: в трехлетии я художник "треченто": копирую строи; четырехлетие — "к в а т р о ч е н т о"³; и новые опыты жизни встают; и вопрос перспективы (смещение зренья) мне жив; вспоминаю картины за нами стоящей вселенной; все кто-то там меня ждет; все оттуда моргает: синееющим оком —

— из желто-лилового центра: под веками.

"Он" — придет и возьмет: уведет; времена на исходе. Я каждое утро жду встречи. В окне —

— снегометы бело и неярко летят переносными ста-ями: легколистая снегопись серебрет на окнах.

Тысячелетия древнего мира у меня за спиной

И — подкрадутся: тысячелетия древнего мира — в т и х и й ч а с, за спиной; как хотелось бы мне обернуться — подсматривать: тысячелетия древнего мира; у меня за спиной — все, бывало, дрожит; и как будто грохочет: провал в иной мир; и миры меня ждут, — у меня за спиной; тысячелетия древнего мира подкрались; —

— повертываюсь:
— вместо пролома в стене — этажерочка (та же!) стоит себе;
и на ней — строй солдат: оловянные гренадеры мои серебрятся
мне лицами... васильковые стены — за ними: —

— тысячелетия
древнего мира гремят за стеной; все предметы смещаются;
и — удивляюсь я, что я — "Я": все вывернуто наизнанку;
и — я сместился с себя; все развилось преждевременно: раз-
вилось — ненормально... —

— и ненормально я развит...

.....
Пятилетний, я знал уже: —

— земля — шар; гром — скопление элек-
тричества; американец гуляет под нами; и — кверху нога-
ми... —

— Мамочка, бывало, целует; вдруг заплачет она; и — от-
кинет меня:

— "Он не в меня: он — в отца..."

Начинается про меня разговор; и — разгорается спор: говорят о летаев-
ских — лбах, носах, подбородках, раскосо поставленных глазках; мне
позор: у меня — летаевский лоб; —

— все Летаевы светлонравные, благород-
ные люди: —

— позор: у меня раскосо поставлены глазки.

Плачу я под окном — в горизонт, а горизонт — ясно-взорен: на
стекле, вот на той стороне, поуехали точки алмазиков: а вот на этой
— плаксиво расплющился носик (разве я виноват?); за алмазиками
красноречиво перелетают снежинки; и — каждая — множится: вертит,
чертит спирали; и — новый алмазик: у самого носика: разве я виноват,
что —

— умею показывать я цепкохвостую обезьяну в зоологическом атласе:
и — двутробку с ленивцем? Разве я виноват, что я слышу
от папы:

— "Дифференциал, интеграл"?

Из снежинок мне розовеет уж дом Старикова; саночки — пронеслись;
и знакомой фигуркой стоит — городской Горловасов.

Разве я виноват, что я — знаю: —

— папа мой в переписке с Дарбу⁴;
Пуанкаре⁵ его любит; а Вейерштрассе⁶ не очень; Идеалов был в Лейпциге:
с... эллиптической функцией; очень ею доволен; живет с ней; и ходит: о ней
разговаривать.

Удивляется ясноглазое небо (днем оно — ясноглазо); оно — строит мне
тучи; и — образуются строи; образование — меняет мне все...

Знаю я: —

— придет Притатаенко: Притатаенко-Головаенко, — кругло-
усый, курносый: маловласый, обглоданный; придет Василисимов:

благодарить нас за что-то; и — пальцами повертеть на животике: мамочка зазевает; они — уморивши ей мух, остужают нам воду...

Папа маме на это:

— "Оставь!"

— "Василисимов, знаешь ли, умница... Василисимов, знаешь ли, он — написал диссертацию: о сходимости несходящихся рядов"...

— "А что он скучноват, так ведь он и не Блещенский: это Блещенский стораёт от пьянства; Василисимов — вычисляет"...

И — уж крадутся — у меня за спиной, из пролома в стене (меня ждут!); и повертываюсь — головастый Брабаго с великолепным Нелеповым склепным голосом спорит, и... ковыряет в носу; папа с ними уже и н т е г р и р у е т; и — пошли: к о н г р у э н т ы; —

— все сместилось; все — пошло наизнанку; преждевременно развилось; и — ненормально ужасно; громяхают булыжники слов; а — Брабаго сидит, а — Брабаго молчит; это-то и есть — математика; папа мой — математик.

— "Он не в меня: он — в отца"!

Это кажется мне ненормальным: и — странный мир поднимается во мне — из меня: набегаёт во мне — на меня самого. —

— Как же так?

Кто тут "Я"? Я — не я: я — не Котик Летаев! —

— это-то вот и есть преждевременно развиваемый математик: второй математик...

Гуще снежные хлопья; и — гуще: повалили, посыпали; настоящие, кипящие белояры; ничего не видно за стеклами; а уже — редеет, редеет; и — чисто; оборвались все снега; пооткрывались над улицей синие шири; пооткрывались за крышами светлокрылые блески; в синей шири проносятся облака-белоцветы; и уходят в стеклянной прозрачности красноперыми гребнями.

Там — возжжение блесков; там — блески над блесками; я — ничего не пойму: —

— и утекаю на кухню: к Дуняше; она — молодая, красивая; жарко она принимается: обнимать, целовать — в лобик, в глазки и в губки; мне стыдно.

Разве я виноват, что мне весело в кухне? Городовой Горловасов был у нас недавно на кухне⁷, в тулупе; и с — двусмысленной рожницей па носу; он проделал нам бестолочь: пол толок сапогами; толоки раздавались мне после: пол толок Горловасов: —

— расторговался он красными кумачами⁸; паяцы его покупатели: —

— вон-вон-вон: —

— он, он, он! —

— городовой Горловасов поставляет там знакомой фигуркою: из башлыка торчит его нос — на перекрестке Арбата.

.....

”Молодой человек”

Утро: девять часов; а не то — половина десятого; самосыпную искрой трещит самовар.

Я — и папа.

Он едет на лекции.

Лекции — линии листиков; и по линиям листиков — лекций — летает взгляд папы; папа водит по ним большим пальцем; защелкав крахмалом сорочки, свирепо он рявкает:

— ”Да... Так-с!”

— ”Так-с...”

Это — и к с и к и, и г р е к и, з е т и к и... т а к с и к и; таксиков я встречал на бульваре.

Думал я: —

— из лекционных тетрадошек ”иксикки” прорастают ростком: зеленеющим, лепечущим листиком — из набухающей почки; деревенеют жердями; и торчат себе после... оставленным молодым человеком: при Университете, для папы: —

— папа сеет их сеточкой, при помощи карандашика, на бумаге; и — согревает дыханием; сеточка начинает расти, зеленеть... —

— и выпоняется ”молодой человек”, развиваемый папою: так выводятся в парниках: огурцы!..

.....

”Молодой человек” — просто выросший иксик: ”молодой человек” ходит к нам; и молодой человек соглашается с папою.

— ”Вы, молодой человек, вот еще почитайте”, — старается папа.

И ”молодой человек” соглашается тотчас же:

— ”Я, Михаил Васильевич, уж давно собираюсь...”

Папа же его перебьет:

— ”Почитайте вы о сходимости несходимого ряда...”

— ”Вот-вот именно, о сходимости ряда...”

— ”И о прочих рядах...”

— ”И о прочих рядах...”

.....

И не то наша мамочка.

— ”Вот бы, Лизочек ты мой, почитал: о сходимости несходимого ряда...”

— ”Ну, нет: ни за что!”

.....

Университет мне известен; известен оставленный там ”молодой человек”; университет — папин дом; молодой человек — папин

служащий, как и "педель" с медалью, Скворцов; он, бывало, все ходит с бумагой; и у него — бакенбарды; "молодой человек" — чином ниже; —

— папа с ним очень вежлив и добр: говорит ему "вы" и не "тыкает", как меня и как мамочку; папа вежлив с прислугой, а мамочка говорит ей все "ты"; и поэтому мамочка, —

— проходя чрез столовую, видит: "молодой человек" там сидит, перебирает неловко руками и ими, краснея, мнет шляпу, привстанет, отвесит поклон, станет вовсе малиновым; мы бросаемся с папой спасать его: тащу ему — сломанный слоник; а папа ему поднесет стакан крепкого чая; "молодой человек" все, бывало, дрожащею, потной рукою мешает в нем сахар; другою рукой держит слоника; я хочу его звать с собою — под стол: расставлять со мной кубики.

Юмор

Меня поражает рисунок: —

— широкая черная ваза подъята с подставки овалом; она — полуэллипсис; полукруг, купол храма, — я знаю; а полуэллипсис поражает меня; и мне хочется плакать, смеяся, —

— на овале вазы гирлянда из скачущих дяденек, клинобороденьких, желто-карих; выразительно приподняв факелы, из них двое откинулись, меча диски; все — с хвостиками... —

— Это — было.

Нет — было ли? —

и не могу оторваться от вазы; дяденьки в черном: они — в темноте; темнота — коридор; желто-карие дяденьки — все! — побегут в коридор с факелами, — из стран, где я был до рождения; коридор, начинаясь оттуда, кончается в компаты; желто-карие дяденьки не гнали меня (это было... когда-то); мой дяденька (все зовут его Ерш) с клинообразной бородкой к нам ходит с портфелем под мышкой: у него там припрятан и диск: он живет — в полуэллипсисе...

.....

Косяк пурпура — на стене; и — косяк на полу; папа что-то там чертит на листиках: пробормочет, почертит, привстанет; и — разогнувшись, ревнет:

"Глядя на луч пурпурного заката".

Краснокрылые косяки — на стенах, краснокрылое облако — в окнах; там — закат, на который глядят; и с которым уходят в никогда не бывшее образом; о б р а з , п а м я т ь о п а м я т и, встанет, и вот —

— Афанасий Васильевич Летаев присяжный поверенный (дядя Ерш) к нам покажется из темного перехода, выдвинув ястребиный отто-

ченный нос, — клинобородый, язвительный, желто-карий, — в золотых очках; из Окружного суда отобедать, и на столовых тарелочках возникают ломтики пеклеванного хлеба; я думаю: —

— Окружной суд — окружность; окружность и шар суть гармонии; полуэллипсис — ваза...

И — падают в комнаты легкотенные темени. Дядя Ерш будет с папою долго гоняться в пурпуровых заревых косяках: от угла до угла; папа — кряжистый, невысокий, темнобородый, курносый, — очки подопрет двумя пальцами и живоглядно уставится снизу вверх на Ерша, полуприсядет; вызовет память о прошлом; и — точно хочет подпрыгнуть:

— "Ты бы, Ершик, да знаешь ли, Ершик: ты бы им, братец мой, показал..."

Думаю: дядя Ерш из портфеля повывает теперь свои диски (гармоний сферы)...

А каренький дяденька, закусивши кусок бороды, как привскочит на цыпочках на черном фоне пьянино; зафыркает носом на папу:

— Ух, ух, ух!

— Я, я, я...

— Ух, да он!

— Да она!

— Ух, да я!

.....

Преображение памятью — чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной: —

— я жду: —

— из-под желтого дядина пиджака вытиснется быстро бьющий, мохнатенький хвостик; думаю — будет пляска; и жду — вот уж схватят подсвечники, расставивши уморительно руки, все припустятся друг за другом: подпрыгивать, как... — фигурки мной виданных желто-коричневых дяденек; из подсвечников вылетят пламенки —

— и в блещущих ритмах забьет страна ритма, где пульс ритма блесков — мой собственный, бьющий в стране танцев ритма и образующий мне проход в иной мир; существа иной жизни свободно пройдут к нам в квартиру: дяденька появился уже; и он, знаю, — юмор: все его поведение таково, как будто бы он старался из воздуха сделать "Ю", или его изваять: горельефной гирляндой; "ю-юю" — ю к а е т он, бывало, очками; если б все начертания поседали б из воздуха — на кусочек бумаги, то был бы рисуночек —

— черной вазы, которую бы размашисто окаймили гирляндой — клинобородые дяденьки с факелами, мечами и дисками.

.....

Я впоследствии узнаю хорошо: здание Окружного суда... с полуэллипсисом на крыше.

Музыка

Музыка — растворение раковин памяти и свободный проход в иной мир: и — открылось мне: —

— все, везде: ничего! —

— мне и грустно, и весело; я ищу под подушкой, под диваном, под креслом; но подобия — пусты: —

— все, везде: ничего! —

— без глаз моргало мне в душу; и комнаты — как аквариум; окна — выходы в небывшее никогда; можно из них выплывать; и — черпать гармонию бесподобного космоса; п а м я т ь о п а м я т и — такова; она — сладкий ритм; она — садилась в пьянино; водилась в пьянино: и раздавалась — нам в комнаты.

.....

Я однажды увидел, как старый настройщик снял черную крышку пьянино; открылись — миры молоточков; бежали; и наступали мелодию: —

— "Да-да-да!"

— "Да-да!"

— "Все — я-я!" —

— Так этот старый настройщик — н а с т р о и л: на бытии — бытие; "все течет" Гераклита соединилось с Парменидовским постоянством⁹: в Пифагорову гармонию сферы¹⁰; и открылся мне путь —

— к идеальному миру Платона! —

— Под руладой сажу: немой мальчик; и — плачу; и пытаюсь все ручкой поймать мою свободу в "д а д а"; несутся багровые окна; и из багровых расколов блистает мне золотом:

— "Ты — был сир... Пришел — "Я"!"

Впечатления

Впечатления первых мигов мне — записи: блещущих, трепещущих пульсов; и записи — образуют; в образованиях встает — что бы ни было; оно — о б р а з о в а н о; образования — строи. Образование меняет мне все: —

— молниеносность сечется и образуется ткань сечений, которая отдается обратно, напечатляясь на душе вырезаемым гиероглифом, и —

— я теперь — запись!

Но точки моих впечатлений дробятся —

— душою моею! —

— и риза мира колеблется (я потом ее не колеблю); по ней катятся звездочки законами пучинного пульса, и безболезненно гонится смысл —

— любого душевного взятия, то есть понятие —

— метаморфозами красноречивого блеска, где точка, понятие, множится многим смыслом и вертит, чертит мне звездья —

— кипящей, горячей, летящей, сверлящей спирали: объяснения — возжжение блесков; понимание — блески над блесками, образование блеска блесками, где ритм пульса блесков — мой собственный, бьющий в стране танцев ритма и отражаемый образом, как п а м я т ь о п а м я т и.

Впечатление — воспоминание мне; воспоминание — музыка сферы; воспоминание меня обложили; воспоминания — ракушки; вспоминая, я ракушки разбиваю; и прохожу через них в никогда не бывшее образом; вызывание образов прежде бывшего — припоминание той страны, по образу и подобию коей прежде бывшее было; припоминание — творческая способность, мне слагающая проход в иной мир; преобразование памятью прежнего есть собственно чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной; впечатления детских лет, то есть память, есть чтение ритмов сферы, припоминание гармонии сферы; она — музыка сферы: страны, где —

— я

жил до рождения! Вспоминаю: возникают во мне соответствия —

— и в мимическом жесте (не в слове, не в образе) встает п а м я т ь о п а м я т и, пересекая орнаменты мне в собственный жест мой в стране жизни ритмов: там был до рождения я.

Память о памяти такова; она — ритм, где предметность отсутствует; танцы, мимика, жесты — растворение раковин памяти и свободный проход в иной мир.

Воспоминания детских лет — мои танцы; эти танцы — пролеты в не бывшее никогда и тем не менее сущее; существа иных жизней теперь вмещались в события моей жизни; и подобия бывшего мне пустые сосуды; ими черпаю я гармонию бесподобного космоса.

Папины именины

Помпул захаживал редко, являясь в папины именины: в Михайлов день, в ноябре.

Я впоследствии вспоминал этот день: многоголая вешалка наполнилась шубами: грохотала столовая, туго набитая профессорами и членами всевозможнейших обществ; поминутно звонили — входили: седые и молодые

сюртучники; то, бывало, войдет полногрудая дама; с ней плоская девочка (делая низкие книксены), то — неславный пиджачник, то — "Лев", молодой человек, перекрахмаленный: щелкает грудью; и папа усадит: полногрудую даму, пиджачника, "перекрахмаленного щелкача" за уставленный закусками стол; то появится модница: серое тонкое платье с огромным турнюром, в боа, в меховой шляпчонке, с наперсточек; и — с огромнейшим током; приходил даже раз многобитый нахал с поздравлением папе; и был нами не принят; приходил попечитель учебного округа: граф Капнист; приходили тогда и иные к нам — именитые гости; кудрокрылый, седой Николай Алексеевич Умов¹¹, присылающий торт: преогромный калач; Алексей Николаевич Веселовский¹², блистающий голубыми глазами и важно текущий меж стульями; Матвей Михайлович Троицкий¹³, написавший "Науку о духе": в синем форменном фраке, с огромной звездой: улыбчивый, белоусый и потирающий руки; садился за стул; и нежно плакался голосом и замыкался в свое самодушие над куском пирога. Очень грузный и пьшущий дымом Сергей Алексеевич Усов¹⁴, хрипя и махая рукой, подымал бурю смеха: он подмигивал мне: я глядел все на родинки: и — однажды воскликнул:

— "А скажи-ка мне, мамочка: почему это выросла земляничка у "крестного" на лице?.."

На меня замахали руками: Сергей Алексеевич не растерялся; и — прохрипел на весь стол:

— "Это — что... Вот однажды к лицу поднесли мне младенца... А он, знаете, рот открыл да и тянется, тянется... Чуть не схватил меня губками..."

— "Это — что..."

И Сергей Алексеевич Усов, намазав французской горчицей кусок, перевернется на стуле: проявит свое быстродушие перекидным разговором; и бросает им всем неизмятое мнение; он — возжаривал мнения; и пускал их волчками; и мнение начинало кружиться: и — возвращалось обратно; он его убирал; многоносое любопытство стояло, когда из дверей появлялся, круглея чистейшим жилетом, — к нам Третий Филиппович Повалихинский, которого называли они "парижанином" и который был "мамин шафер": он, бывало, меня приподнимет и мягко посадит себе на живот (я его надавлю); в это время мне почему-то казалось, что прячется он, что его укрывает Москва (вся Москва!); и я думал: хорошо ли стирают там пыль под диваном, где прячется Повалихинский (прячутся — под диваном: и все это знают!); должно быть, стирали, потому что Третий Филиппович Повалихинский непосредственно из-под дивана являлся к нам завтракать таким надушенным и чистым; похохатывал, брал меня на живот и, разжевывая своими, как сливы, губами кусок именинного пирога, увлекательно передавал впечатленья о завтраке с профессорами Сорбонны и сказанной "пикуле" (путал я: спич и пик у ли)¹⁵.

Вот тогда-то к нам появлялся и Помпул, в наушнике, и с какими-то трубными звуками —

— "Бу-бу-бу: по штатиштическим данным... бу..." —

— он входил: в полосатом и желтом, с двумя желтыми баками, как подобает

расхаживать "англичанину", побывавшему в Лондоне и словавшему ось пролетки (я напрасно боялся его: он был нежной души человек); появлялся он под-данным, то есть: с Анной Петровною Помпул¹⁶; Христофор Христофорович был верноподанным Анны Петровны, которую называл как-то д а н н ы м: то есть Помпулу д а н н ы м; он садился за стол, пережевывал свой кусок пирога (с рисом, с рыбой, с вязигой) и рассказывал: —

— как ему вырвал врач: вместо дуплистого зуба — здоровый и крепкий: —

— а во мне начинается: —

— вращение набухавшего смысла: в н и к у д а и в н и ч т о, которое все равно не осилить мне в водоворотном грохоте слов, темнодонных, бездонных, среди плясок ножей на тарелках, в тарарыканье передвигаемых стульев —

— набухание смысла, гонимого "светочами" всевозможных отраслей знаний, имена которых впоследствии видывал я напечатанными жирным шрифтом во всех повременных изданиях: —

— и проходил я в гостиную, где стояли столбы коромыслом сигарного мнения: в п а п и р о с и ц у, в п е п е л и ц у и в красные кресла, отделанные американским орехом, где тоже сидели все с в е т о ч и, но... откушавшие свой пирог и опроставшие место; не понимаю и тут: смысл всего темен мне; но понимаю я жесты движения горластого дымогара; и уплотняя словами те жесты вне их яснящих значений, я бы выразил их приблизительно так, если б мог выражаться: —

— у м о з р е н и е, выплетаясь, виснет словами и дымом из славного рта; и сплетается с у м о з р е н и е м; м н о г о з р е н и е умозрений оседет на креслах табачнокопотью, став всезрением мнений; и отлагаются в воздухе бледноречивые, стылые стразы; скучают: и, поглядев на часы, гость за гостем, приподымаясь, крихтит, говорит:

— "Мне пора..."

И отправляется под карнизы имперского здания: —

— поддер-

живать грузы там.

.....

Вот, бывало, Покров; вот уж замелькали снежиночки; Пелагея Семеновна Мозгова заказала себе выездное зеленое платье; князь Носатинский не купается; в Университете готовится бунт; и Михайлов день катится: на санях из метелицы.

Жду я — Помпула: будет он говорить нам о з у б е.

.....

Повалихинский, Помпул и Усов — еще мне не люди, а ошупи: космосов... Гуманизма; приоткрывают завесу они; указуют они... на зарю;

оттого-то они предстают мне впервые в эпоху, когда от меня отступают куда-то мои стародавние бреды; и начинает блистать — р е н е с с а н с...

Я впоследствии их узнаю как людей; но впервые они вырастают из сумрака титанически иссеченными в камне на портале огромного Здания: Гуманности и Свободы; там они мне висят: кариаидами Вечности — в дочеловеческих формах; они мускулистой рукою сжимают увесистый светоч: и ударяют противников просвещения: мраморным пламенем.

Перевивы орнаментов, арабески, гирлянды и вазы, полные каменных виноградин, — дары; и они предлагают их мне; я предчувствую: не оправданы на меня их надежды; увы — отвернутся они от меня; и поэтому я —

— с опасением созерцаю: —

— кариаиды подъездов, орнаменты грузных карнизов; и — статуи: бюст Ломоносова черен и строг; я его где-то видел.

Снова образа

Вот подобие моей жизни с Райсой Ивановной: —

— если б мог я

сказать, то сказал бы я так: —

— перед нею проходит настройщик, снимает рояльную крышку; блистают миры молоточков; и разливается море руладой рояля, —

— где, как соль, растворяются желтые плитки паркета и начинают кидаться волнами о стульчик, откуда склоняюсь —

— и

вижу: —

— самую подводную глубину — с двумя докторами: доктор Пфедфер и Дорионов в образах, покрытых щетиною рыбохвостых свиней, мелодически плавают там на серебряных плавниках и лысынами старательно роют подводный песочек: —

— вместо кресел — кораллы там; вместо столиков — гроты; и вместо пепельниц — перламутры; там брызжут фонтанчики: словом, — аквариум: —

— там зале-

гает в песках аксолотль¹⁷, дядя Вася; под переливными дишкантами, на глубочайших басах, Артем Досифеевич Дорионов, там, упирая под боки кулаки, припустился резко за бриллиантовой рыбкой; и, не догнавши, пускает пузырьки криворотю мордою; и — потом: он винтами подносится вверх, чтобы высунуть мокрый нос, им уставиться на меня и добродушно побрызгать алмазным фонтанчиком, перевернуться и нежиться розовеющим животом —

— и потом: —

— он пизринется в темноводные заросли: залегать в этих зарослях и разгрызать слизняков... —

— Так слагались мне звуки, бывало: темнеет; и я проседаю — во мраки с кроватью и спинкой; Раиса Ивановна издали зачитала под лампой; дремотно; в ресницах развернуты лучики: белоснежными блесками крылий; там — лебеди: — звуки: переливаются по лазури они; ничего не пойму: —

— то серебряный старичок, в парике, в лепестистом небесном камзоле бежит по аккордам на туфлях, смеясь и плача; и на ходу принимается кушать печеное яблоко он; мне — старинно, смешно; я его узнавал и потом.

На аккорде споткнется: и бухнет с размаху — он в мраки молчаний; и, упав, рассыплется гранями горных хрусталинок и дишкантовой фугой...

А то разразится из ночи весенняя буря; из седопенных дождей зеленеет нам молния: —

— мне все кажется, что я — в воздухе, на распластанных крыльях; переливаюсь в лазурях (и — струнно; и струйно); и перья, как пальцы, сияньем проходят по ним; я... заснул.

.....

Это все выростало из звуков: кипело, гремело, рыдало, носилось, блистало...

.....

Елка

Если бы всему тому — смерзнуться, то ретивые ритмы бы стали ветвями; а бьющие пульсы — иглинками; там стояла бы елочка; все мелодийки из нее выростали игрушкой; из трепещущих, блещущих звуков сложились бы нити и бусы; а из кипящих, летящих аккордов — хлопущки; застрекотали бы ломкими бусами хрустали дишкантов; а басы бы надулись большими шарами из блесков; да, мелодия — елочка, где дишканты — канитель, а объяснение звуков — возжжение блесков над блесками; Дорионовы, рыбы гоняются там за орешками; риза мира — там; и риза мира колеблется.

Если сесть в уголок и прищурить глаза, — разрастается все это звучно, и трепещущий, блещущий мир восстает; и гоняются красноречивые блески в яснейших спиралях; и сединится в ясностях старец; и весь он — алмазный.

.....

Помню я: —

— самозвучные половицы скрипели; там от меня запирались: стучались; в столовую озабоченно пробегали: Раиса Ивановна, мама и папа: с пакетами; расставлялись там кресла; и думал я, что губастые

рожи, а рапы, уж там: учреждают "вертеп"; я не спал в эту ночь; к вечеру собирались к нам гости; дети Ветвиковы подразнили меня перед запертой дверью; явился мой папа; и распахнул быстро дверь: — в эту комнату блесков, где в сияющей ясности, из свечей и ветвей рисовались мне блага и ценности... неопикуемых, непонятнейших форм; и уже заиграли кадрили; и уже откуда-то ворвались к нам губастые рожи (две маски); и сам папа мой переряженный появился за ними в енотовой шубе; и — в бумажной короне; велел взяться за руки; ходил вокруг "елки": мы ходили за ним. После я присел в уголок: и смотрел на алмазную куколку, Рупрехта; белоглавая, все-то она там глядела из нитей — задумчивым взором: как память о памяти; мне казалось, что на миг явилась та самая Древность, в седилах; мне казалось: человекоглавое серебро — растечется; и встанет: огромный старик, весь в алмазах; отслужит обедню; тут меня приподняли к нему; и я сам оторвал от ветвей мою куколку, Рупрехта.

Рупрехт

Рождество прошло быстро.

Хлопнули все хлопнушки. И орехи разгрызены; и бусы раздавлены: золотая картонная рыбка расклеилась: пополам; уцелел только Рупрехт.

Я поставлю на печку его: на меня он уставится с печки; он уставится, через кресла, на стол, на паркеты, ковры. Я поставлю под кресло его: и — глядит из-под кресла. Я его уберу: его — нет; почивает в кардоночке; но все ждет его: умывальники, кресла, шкафы меж собой говорят:

— "Ушел Рупрехт..."

.....

Наша квартира есть память о той стороне, где я не был; в ней — не бывшее никогда оживает; и Касьяново — в ней; на этажерке фарфоровый пастушок разговорился с пастушкой... о Рупрехте (где-то он?); а уж Рупрехт алмазится издали: он уж их видит; он — помнит: нет, он никогда не забудет.

Будет, будет: —

— похаживать одиноко в огромнейших комнатах, вмешиваясь в события нашей жизни; он — покажется здесь; и — покажется там; и даже пройдет по Арбату, замешавшись в толпе; его видели в кондитерской Флейша; и в булочной Бартельса; может быть, это — он; а может быть, — это папа (у папы огромная шапка и шуба: у Рупрехта — тоже); может быть, никакого и не было Рупрехта... —

— Вот он, вон: одиноко стоит там на полке; и слушает слухи о... Рупрехте; и слушает он мои мысли о нем... Был ли он на Арбате? Этого не расскажет он мне: никогда не расскажет.

Куколка затерялась моя; но я верю в нее; мне Раиса Ивановна шепчет, что бегают вечерами мой Рупрехт — по замерзшим носам: надирает носы; в пустой комнате, там, — он стоит, половицей скрипит; и недавно насыпал серебряных рыбок: в почтовые ящики.

Я прошу показать эти рыбки, настаиваю, а Раиса Ивановна меня уверяет, что он бегают в вислоухой енотовой шубе и в шапке из котика; и я забываю про рыбок.

И — начинаем мы говорить, что... —

— за Арбатом кончается все (знаю я, что не так это; и все-таки — верится); "Безбардис" — последнее торговое учреждение; санки, конки, прохожие, как только вылетят за Арбатскую площадь — у "Безбардиса" стараются повернуть; и вернуться обратно, чтобы им не низвергнуться... —

— Под тротуарами, за "Безбардисом", —

— на кубовом небе! —

— все свечечки, свечечки, свечечки; и горят себе, точно звезды: это свечки огромной, разросшейся елки, которую —

— елкою! —

— мировой старик, Рупрехт, точно звездными небесами, подпирает... Арбат.

.....

Помнится: —

— раз идем по Арбату; навстречу нам — папа; путаясь в полах огромной енотовой шубы с полуизорванным рукавом — набегает на нас он, толкая локтями прохожих, — в крупнейшем меховом колпаке, из-под которого выставляется веточка ледорогих сосулек — на огромном серебряном усе; над усом торчит красный нос; на носу — два очка; и это все — добродушно ушло в шерсти меха (и точно не папа, а... Рупрехт); глядит — и не видит; вместо елочки прижимает к груди очень туго набитый портфель; за папой вдогонку — с углов, переулков, с Арбата, — отставая, перегоняя и полозями натываясь на тумбы, несутся извозчики; хлопают рукавицами и кричат:

— "Михаил Васильевич..."

— "Барин..."

— "Со мною..."

— "Не дорого..."

— "На Моховую на улицу..."

— "Довезу вас скорехонько..."

Мы — кидаемся к папе.

Какое там!

Разве папа нас видит? У него запотели очки: он стремительно пробега-ет, толкая прохожих и нас — полуизорванным рукавом своей шубы: со сворой извозчиков.

И вечерет Арбат.

По вечерам — тихолюден Арбат (не такой, как теперь), быстроцветные огонечки моргают; синеют все стылые ясности, оплотневая в туманность; туманность — чернеет.

Папа бежал к "Безбардису".

И вот думаю: —

— что он и свора извозчиков будут скоро низвергнуты: в никуда — за "Безбардисом; и снова появится папа — из-за "Безбардиса", с кардонками; из кардонок нам выложит всем: яства, сласти, подарки; совсем папа Рупрехт; и оба они... как попы.

Музыка научила, играя, выращивать сказки; и выростали все сказки — еловую порослью: угол кресла — скала; и на него я вскарабкаюсь; я на нем — великан; и мне зеркало — водопад.

"Рупрехты", —

— это вот... как —

— жизнь во мне звука; но жизнь звука во мне — не моя: принадлежит она миру звука, который во мне опускается: мной играть, как бы... клавишем; переживши тот звук, пережил я его не в себе, а в существе страны звука, в которую был приподнят — не вовсе, а до открытой возможности (двери!) подсмотреть звуковую квартиру со всеми домашними принадлежностями комнат звука; я их не успел рассмотреть; и по образу и подобию копии комнат в моем впечатлении тотчас же сфантазировал: образ; и этот образ себе начинаю рассказывать я; и рассказик мой — сказочка; мои сказочки, собственно говоря, суть научные упражнения в описании и наблюдении в п е ч а т л е н и й, которые отмирают у взрослых; впечатления эти живут и во взрослых; но живут за порогом обычного кругозора сознания; сознание взрослого занято кругом иных впечатлений: в них втянуто; потрясение иногда, отрывая сознание от обычных предметов, погружает его в круг предметов былых впечатлений; и — возвращается детство.

Только этот в о з в р а т — п о - и н о м у.

Игрушки — аккорды; на аккордах мы ходим; аккордами входим: в т а и м ы е к о м н а т ы с м ы с л а.

Мы с Раисой Ивановной безбоязненно отворяли все двери; и — проходили по всем з в у к о - к о м н а т а м; двери нам открывались; и выходили нам "Рупрехты".

Прохождение комнат — игра: мы, играя, — вернемся.

Университетские "люди", бывало, со страхом косились на мамочку; со страхом ходила к ней в спальню по вечерам Афросинья-кухарка; со счетною книгою; мамочка примется: уличать Афросинью, а папочка примется: выручать Афросинью, а Афросинья-кухарка молчит; и на меня покосится (будут ужасы в кухне!): папочка, — крадется с толстым томиком к дверной щелке: подслушивать мамочкины недовольства кухаркой, чтобы потом, в нужный миг, повыскакивать из-за двери — спасать Афросинью:

— "Знаешь ли, Лизочек, — оставь ее!"

А пока же скрипит половицею у приоткрытой он двери; виден: — мамочке, мне и Афросинье-кухарке: проснувшийся папин нос; и на нем — два очка.

Мама хмурится: Афросинья-кухарка смелеет...

Дрожу я: —

будет, будет нам крик; Афросинья, — она на весь дом прошипит нам котлом; и разговоры подымутся — с тетей Дотей и бабушкой..

— "Михаил Васильевич: чудак, эгоист!"

— "Не в свои дела сует нос..."

— "Мне он портит прислугу..."

Через два часа после другие уже разговоры:

— "Михаил Васильевич чудак: идеалист!"

— "Светлая, гуманная личность..."

— "Простяк он, ребенок..."

.....

Самое страшное начинается: мамочка, разгасяся, меня оттолкнет от себя; и со слезами в глазах обращается к бабушке:

— "Тоже с Котом вот: преждевременно развивает ребенка; воспитание ребенка, — это дело мое: знаю я, как воспитывать... Накупает все английских книжек — о воспитанье ребенка... Ерунда одна... Нет, подумайте: пятилетнему показывать буквы... Большелобый ребенок... Мало мне математики: вырастет мне на голову тут второй математик..."

— "Ах, да что ты..."

— "Да что вы..."

Я же тут, уличенный в провинности, начинаю дрожать; одиночество нападает: все кажется хрупким.

.....

Опасения, как бы я не стал "вторым математиком", — одолеваю меня; мне ужасно, что я — большелобый: поменьше бы лобик мне; хорошо еще, что мне локоны закрывают глаза; их откинуть — все кончено: страшная, ненормальная выпуклость, — лоб — выдается упорно; и лоб — расширяется: — у меня громадная голова; она — шар.

Воспоминание о "ж а р е" и "ш а р е" (я "ш а р и л с я" в "ж а р е") опять нападает; сиротливо мое бытие: в беспредельности я — один, окруженный

печами, отдушиной, трубами, из которых за мною полезут: меня взять от мамочки; там живут — "математики": папа водится с очень странной компанией: преждевременно развитой; угрожает она развивать и меня: преждевременно; и мне кажется: —

— преждевременное развитие — уж со мною случилось, когда-то; я откуда-то "развивался"; и "преждевременно" выгнал: осилить пустоту и упасть (нападает "старуха" там) в наших комнатах; снова свился я с трудом; неужели же мне развиться и — выгнаться вон.. уже я проседаю во тьму.

Но это все — вечерами...

А утром: —

— с папой легко мне и просто; перед уходом на "лекции" обнимает меня; согревая мне ручки отверстием бородатого-усатого рта, он мне шепчет:

— "Котинька, повторй-ка, голубчик, за мною: Отче наш, иже еси на небесех..."

И я повторяю:

— "Отче наш, иже еси..."

— "На небесех..."

— "Небесех..."

Не проснулась бы мамочка!

Я люблю очень папочку; а вот только: он — учит; а грех мне учиться (это знаю от мамочки я)... Как же так? Кто же прав?.. С мамочкою мне легко: хохотать, кувыряться; с папочкой мне легко: затвердить "Отче наш"; с мамочкою оба боимся мы: придут "математики"; с папочкою выручаем мы "молодых людей" и прислугу.

Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу с папочкой против мамочки. Как мне быть: не грешить?

Одному мне зажить: я — не папин, не мамин; а жить — одиноко...

Милая Раиса Ивановна!

Мы стоим в хрупком круге: почти на тарелке; она врезана в синерод: и синерод полушаром встает там, за окнами...

Вот попадаем мы незащищенно носиться —

— "Нет мочи!" —

— И сорвется все: потолки, полы, стены; папа, мама — провалятся; хрупкий круг разобьется, и провалится тоже, как хрупкий круг солнца, за окнами: в тучи; а тучи, в багровых расколах, проходят за окнами; из-за багровых расколов блистает тот самый (а кто, ты — не знаешь).

Уж и темно: нетопыринными крыльями пронесутся там тени, когда, —

— перерезая пары, свисты, шепоты, шины на кухне, полнокровный огонь перебежит из печи через воздух на стены; и самокрылые светлые косяки задрожат на стенах...

Слушаю: толчая за стеною, на кухне; Афросинья-кухарка там рубит котлеты; а то снимет железную вейку с печи и забьет кочергою она; и — действия Афросиньи-кухарки мне не кажутся ясными; все они — подозрительные; подозрительна ее лихая рука; и — бородавка под носом, подозрителен вспученный подбородок, как... зоб индюка; подозрительно жалобен муж Афросиньи-кухарки, костлявый Петрович, рукою слагающий мне на печи тени зайчика; говорит: Афросинья давно загрызает Петровича; и кидается на него с острым ножиком: выгнется ее белокаленная голова с жующим ртом и очень злыми глазами; и ухвативши за спину Петровича, она стащит портки; и вырезает ножом из Петровича... ростбифы (оттого-то на нем мяса нет: только кожа да кости), а —

— ломти мягкого мяса малиновеют на столике; и кровоусая кошечка все косится...

Помню раз: поднималась на кухне возня, и выбегала Дуняша из кухни поведать нам с плачем, что Афросинья Петровича душит; чувствовалось: ненормальность развития действий; и — преждевременность их.

Думал я:

— "Вот оно наступило: преждевременное развитие".

Осознавалось: Петровича уже нет, а есть ломти мяса, малиновеющего под точеным ножиком Афросиньи — в шумах и шипах, в парах.

Мы бежим в проходной коридор; мы стоим в коридоре; самозвучная половица скрипит; переменяясь, ползут наши тени; тени свесились из углов; тени свесились с потолков; и чернорогие женщины, возникая из воздуха, — угрожают из воздуха.

Кружевные дни на ночи: повторяют себя — на ночи.

— "Ту-ту-ту!"

— "Ту-ту!"

— "Ту-ту-ту!" —

— белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку.

Красно-ярая свора огней пробежит по печам: окоптит трубы нам.

Мамины рассказы

Мамочка, в пеньюаре, положивши на плюшевый пуф алый бархатный башмачок и дразня им болоночку: —

— ("ту-ту-ту — ту-ту —

ту-ту-ту-у” — белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку под мамочкой), —

— как разблещется глазками, принимаясь рассказывать нам: что она была девочкой, ”звездочкой”; и что дедушка требовал, чтобы мамочкин лобик открыт был: маме было пять лет; а тете Доте — два года; и водился за нею грешок: не просилась она из постельки; дядя Вася тогда становился бездельником; ”Перепрытковские” — были куклы; и ездили в гости к ”Бробековым”; ”Перепрытковские” сохранились у мамочки, а ”Бробековых” я изорвал; когда дедушка умер, то бабушка обеднела, а мамочку вывели на предводительский бал; и — появились ”хвосты”: то — вздыхатели мамочки; где она, там они... двадцать пять женихов получили отказ; предлагали они свои руки и сердце; получили они: длинный нос.

Мамочка вышла за папочку: из уважения к папочке; ее приданое — куклы: ”Перепрытковские” сохранились еще; а ”Бробековых” я изорвал...

.....

Мамочка переложит, бывало, ножки с пуфа на креслице; и, продолжая рассказы, она вся откинется к длинной спишке качалки: —

— Мои дяди и тети все слушались мамочку; зажигались огни в белом зале с колоннами; дедушка — белый, гордый и полный, в чистейшем жилете, держа руки за спину, — с очень толстой сигарой в зубах выходил из теней: любоваться на игры.

— ”Детки: деточки-деточки... Ангелы, ангелы... Ну-ка, ”звездочка”: матушка... Ха-ха-ха: хорошо...”

И проходил за колонны...

Иногда затевалась война: и прерывисто дирала капризница-мамочка дядю Васю-бездельника из вихор; и тогда из колонн выходил на них дедушка:

— ”Нехорошо: нет-нет-нет... Нехорошо: нет-нет-нет...”

Дедушка не кричал никогда; он покачивал головою.

И дом погружался в молчание: бабушка запиралась на ключ; мамочка, тетя Дотя и дядя рыдали; прабабушка (мамина бабушка) начинала шептаться с бабушкой; в белоколонной комнате дедушка проносил гордый лоб: от колонны к колонне; и без всякого гнева шептал бритым ликом:

— ”Нет-нет: так нельзя...”

Приходили в дом гости: Белоголовый¹⁸ и Иноземцев¹⁹ (тот, которого — капли); приходил и Плевако²⁰ — талантливый молодой человек; дедушка говаривал им:

— ”Покажу-ка вам ”звездочку”...”

Вызывались дети — петь хором:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено²¹.

Если кто-нибудь из гостей начинал петь "романсы", его останавливал дедушка, безо всякого гнева:

— "Нельзя, знаете, — в нашем доме: оставьте... Дети тут у меня. Они — чистые ангелы..."

Пелось:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

По вечерам, задрав волосы детям, подводили их к бабушке: подставлять ему лобики; всякий лобик крестя, приговаривал он:

— "Дай-ка я тебя: в лобик и в глазки..."

Занимался коммерцией он; временами он ездил в Ирбит²², приезжая оттуда с мехами; никто из домашних не знал, что он делает утром в амбаре: с кем торгуется он; и — кому продает; выдывали его проезжающим по Остоженке на своей серой лошади, в меховой большой шапке; и в шубе с бобрами.

— "Это едет вот — Пазухов; он — советник коммерции... Очень почтенная личность"...

Дедушка мало знался с гостями; запирался с двумя докторами: Белоголовым и Иноземцевым; над молодым человеком, Плевако, подшучивал он; и — заходил он к прабабушке перед сном со свечою в руке: рассказывать каламбур и зачем-то у ней взять бумажку...

.....

Так, бывало, нам мамочка, разблеставшись глазами, часами заводит рассказы, положивши на плюшевый пуф алый бархатный башмачок; я, бывало, заслушаюсь; белоглядые окна — заслушались тоже; белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку под мамочкой.

Тихоня

С папочкой говорить мне нельзя: а то мамочка скажет: — "Да он преждевременно развит..."

Ну-ка — буду-ка я кувыряться! И ну-ка: на мамочку поползу, как болонька, прямо к плюшевой туфельке — ее нюхать; и, приложив ручку к спинке, лукаво виляю я маленьким хвостиком.

Я — себе на уме...

Мамочка рассмеется и скажет:

— "Ребенок..."

И похлопает меня, как собачку: и подкину ножками... Весело!

Если бы я ее расспросил, что такое "оно", что встает в уголочке и что такое там "мыслится", — то она бы сказала:

— "Нет, он — математик".

И поднялся бы у нас разговор о большом моем лбе.

Этот "лоб" закрывали мне: локоны мне мешали смотреть; и мой лобик был потный; в платье одевали меня; да, я знал: если мне наденут штанишки — все кончено: разовьюсь преждевременно.

Кувыркаться я очень любил: и любил я подумать; вот только — подумывать нельзя:

— "Ни-ни-ни..."

Кувыркался я для себя: и еще больше... для мамочки.

.....

Мне не нравились разговоры: о воспитанье ребенка; пересекались на мне тут две линии (линия папы и мамы): пересечение линий есть точка; математической точкою становился от этого я: я — немел; все — сжималось; и — уходило в невятицу; говорить — не умел и придумывал, что бы такое сказать; и оттого-то я скрыл свои взгляды... до очень позднего возраста; оттого-то и в гимназии я прослыл "дурачком"; для домашних же был я "Котенком", — хорошеньким мальчиком... в платье, становящимся на карачки: повилать им всем хвостиком.

Но стояло в душе моей:

— "Ты — не папин, не мамин..."

— Ты — мой!.."

"Он" за мною придет.

.....

Светлоногий день идет в ночь: чернорогая ночь забодает его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГНОСТИК

Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочтем.

Вл. Соловьев'

Древо познания

Вот Раиса Ивановна —

— милая! —

— из кургузых лоскутиков дела-

ет шерстяной червячок: красный, красный такой!..

— "Was ist das?"

— "Das ist die Jacke..."*

Глядя искоса на меня, наклонилась она к шерстяным красным тряпкам: смеется и клонит свой локон в мой локон.

"Яккэ", "Яккэ" — какое-то: шерстяное, змеёвое; ничего не пойму — хорошо!..

.....

Папа раз к нам пришел; наклонился над лобиком толстеньким томиком в переплете; прочел мне из томика — об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и о зле: —

— и я думаю: —

— об Адаме, о рае,

о Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и о зле; и мне ясно уже: шерстяная змея моя — "Я к к э": —

— бывало, шивала Раиса Ивановна красенький шерстяной червячок из кургузых лоскутиков.

.....

Сплю: —

— из кургузых и узких лоскутиков строится ночью какой-то особенный, свой, нарастающий рост: рост лоскутов разроится багровыми краснолётами, ходит огромными строями очень громких алмазиков

* — Что это?

— Это жакет (нем.).

и азиатскими змеями, лживыми мигами; близятся — пухнуть в огромных рассказах —

— о старом Адаме, о рае, об Еве, о древе, земле! —

— обо мне:

о добре и о зле! —

— Начинаю мечтать; принимаюсь кричать; —

— и Раиса

Ивановна встанет унять меня, взять меня спать: на постельку к себе; я не сплю; я — молчу: чуть дышу; мне —

— и мило, и древне, и жарко, и грозно,

и грустно; —

— ужасно сжимая мне грудку, ужасные сжатия в грудку опустятся чувствами: пухнуть... И все начинает опять мне кричать в очень громких рассказах; сквозь милое, древнее, крестное древо прорезается: —

— ясно: —

— уже не Раиса Ивановна дышит со мною тут рядом, а пламя тут пышет —

— "о н о!" —

— ужасаюсь и чувствую: произрастание, набуханье "его" — в никуда и ничто, которое все равно не осилить; и —

— что это?

.....

"Оно" — не было мною; но было мне, как... во мне, хоть — "во мне": —

— Почему "э т о"? Где? Не "о н о" ли уж Котик Летаев? "Где я?" Как же так? И почему это так, что у "него" не "я" — "я"? —

— "Ты

не ты, потому что рядом с тобою — какое-то: жаровое такое..."

— "Не Раиса Ивановна — грозное, глухое "оно"..."

— "Вот "оно" — набухает: растет стародавнему жизнию..."

— "Тело!" —

— Так бы я уплотнил словом странные строи из мыслей моих в том глотающем, лезущем, суетном, водоворотно-пустом: и я — вскакивал; вскакивала и Раиса Ивановна.

— "Was ist das?"

Схватывала, прижимала к себе; но объятия начинали казаться какими-то стародавними пламенами; ураганное состояние сознания в натяжении ощущений моих начинало носиться во мне крылорогими стаями...

— "Jakke!.."

.....

"Это" — думал я — рост; "это" — думал я — древо познания, о котором мне читывал папа: познания —

ле, об Адаме, о рае, об Ангеле...

— о добре и о зле, о змее, о зем-

По ночам поднималось во мне это древо: змея обвивала его.

Красноречивый миг

Я помню все: тот миг красноречивый,
Которым вы свою любовь открыли...² —

— Свершилось: я вспомнил!

.....

Это было под вечер; и мама была у Гутхейля: вернулась с романсом; меня брали к Дадарченкам³; и вернулся я с маленьким, крашеным, деревянно пахнущим клоуном; и — та же обложка романа; в красноречивых разводах: клоун же был — полосато-пятнистый: и желтый, и красный.

Он без слов на меня посмотрел; и без слов мне сказал:

— "Вспомни же!"

Мама пела: —

— Я помню все: тот миг красноречивый...

Красноречивый мой клоунчик; и — певучий мамочкин голос — все вспыхнуло мне ярко-красным: мне милым, мне древним; и что-то затеплилось в груди, сжимая мне грудь: — Он пришел — ко мне:

Меня взять, меня взять —

— и увести за собой:

— "Не забудь!.."

— "И возьми!.."

— "В свою красную комнату!.."

Красноречие течет к нам оттуда!

.....

Которым вы свою любовь открыли...

Клоуна подарила мне Соня Дадарченко — девочка с длинными волосами и какая-то вся, как мое пунцовое платьице, о которое мне приятно тереться, которое хочется мять, —

— а пунцовый наш абажур с двумя глазами совы и совиным клювом красноречиво посматривает: грустным, ласковым, древним:

— "Не — папин, не — мамин..."

— "Я — Сонин..."

Он же, клоунчик, все зовет:

— "За ним — все, все, все!"

И — ослепительная будущность: моей любви... — я не знаю к чему: ни к чему, ни к кому: —

— Любовь к Любви!

— Я помню все: тот миг красноречивый,
Которым вы свою любовь открыли.

.....
Желто-красные пятна заката — в черноватеньких облачках: догос-
рели —

— последние!
— "Мой леопардовый клоунчик!.."

.....
И я — мыслью без мысли: —

— Раиса Ивановна, милая, там иголкой де-
лает: "красненький шерстяной червячок":

— "Was ist das?"
— "Das ist Jacke..."

Как же мог я забыть: Я к к э — красненький шерстяной червячок
в красной комнате клоуна: —

— когда время окончится, будет... комната клоуна;
там он делает Я к к э — всем, всем!..

Он — за мною, ко мне, — меня взять: в свою красную комнату!

Я прижался к нему: и он пах деревянным; уже убегаю: решение
роковое —

— я завтра утром: к нему!.. —

— А пунцовый наш абажур с двумя
глазами совы красноречиво посматривает: я — не папин, не — мамин;
я — даже не Сонин; я — клоунов.

Пунцовые отблески гонятся:

— Я помню все: тот миг красноречивый,
Которым вы свою любовь открыли.

.....
Засыпаю: и клоунчик — желто-красный! — до ужаса узнанным ликом
без слов:

— "О, вспомни!.."
— "Ведь это — я!.."
— "Старая старина!.."

Соня Дадарченко

Соня Дадарченко —

— в желтых локонах, с бледным бантом: ка-
кая-то вся — "т е п л о т а", которую подавали нам в церкви⁴, — в серебря-
ной чашке —

— ее бы побольше хлебнуть:
не дают! —

— в

желтых локонах: из-под них удивляется два фиалковых глаза на мир; опустились безмолвно в меня, прожигая меня, бархатя и ластясь —

— и милым, и древним! — и мне изнутри вылагая грудь — чашу, в которой колышется сердце — фиалковой синью и ширью, чтоб малым алмазиком звездочка прокатилась туда бы... Сияющим ощущением тепла; —

— и все это вносится взглядами Сони Дадарченко, девочки в желтых локонах, с бледным бантом. Подходит ко мне:

— "Ты — не папин!..

— Не — мамин!..

— И ты — не Раисин Ивановнин.

— Мой!" —

И хочет вести за собою — туда, куда катится звездочка малым алмазиком.

Убегаю за ней.

.....

Но она — от меня: прямо в дверь.

Деревянная дверь в долгих складках портьеры свисает серебристыми струями; а струи слетают блистающим током: туда —

— улетает она!

Оттуда — просунулась Сонечка: лобиком, локоном, глазками, бантиком, в блесках и шелестах —

— милая!

Все, что было, что есть и что будет: теперь между нами: но локоны, лобик и бантик пропали; и нет ничего: рябь.

И — утекло все, что было.

Ничего и не было: струи.

Что же это такое, что — есть?

Соня Дадарченко — е с т ь: ничего больше нет.

.....

Она водилась меж кресел: садилась в кресло; и раздавалось оттуда, из складок портьеры:

— "Ау!"

И я, тихий мальчик, сидел перед нею, — в малиновом кресле, с поджатыми ножками: все, что случится, что есть и что было, опять возникало меж нами; Сонечка не посмотрит, бывало, своими алмазными глазками; у нее закусена губка, дрожащая от улыбок, когда она, отталкивая меня от себя своей ручкой, мне что-то такое лепечет —

— про Диму Илёва, которого

у Дадарченко видел я и которого невзлюбил:

— "Не папы-мамина я...

— Не твоя я.

— Я — Димина..."

А сама улыбается ясеньким личиком.

Это ясное личико — мило.

Целую ее.

.....

Пятна заката в окне догорают: последние!

Сумерки.

Сонечку я не вижу, но — знаю, что там, из угла, два фиалковых глаза безмолвно проходят в меня, бархатея и ластясь мне синью и ширью, —

— куда —

— самоцветная звездочка... скатится!..

Косяк пурпура — на стене; косяк пурпура — на полу: там — закат, на который глядят...

Закаты

В эту пору впервые мне и открылись закаты...

Закат: —

— все отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все — четко; все — гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна и врезана лишь одним своим краем —

— туда! —

— где из багровых расколов блистает он золотом, —

— тянет

нам руки из-за багровых расколов: и руки, желтея, мрачнеют и переходят во тьму: —

— все — отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все — четко; все — гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна; и мы — в хрупком круге — почти на тарелке! —

— А кто-

то стоит и глядится из полосатых закатов, чтобы уйти в стародавнюю, черную, зонную Древность; и до ужаса узанным ликом —

— говорят мне

без слов:

— "Вспомни же!.."

— "Ведь это — я: старая старина..."

.....

Уже ширятся огромные очи ночи; и восстает она, ночь: и — страшное, роковое решение, —

— улыбаяся, —

— томной

тайной приходит —

— и мне кануть с ним: отблестать в черной Древно-

сти: —
— "За ним!" —
— "Все!" —
— "Туда!.."

.....

Но световые пятна заката уже потухают: желто-красною леопардовой шкурою...

Приход... от Гутхейля

Я не верил ночам: —
— красно-ярая свора огней, мне казалось,
неслась по печам:
накалять печи нам... —
— Там, бывало, зиял раскаленный оскал... —
— Я кри-
чал над раскалом:
— "Спасите!.." —
— "Нет мочи!.." —

.....

Красноречивые миги случались, —
— и если бы уплотнить мне при
помощи слов
эти миги! —
— Когда понимания, мысли, понятия начинали кричать очень
громко и пухнуть в огромных рассказах; а вещи немели, струясь и рас-
плавленно утекая, чтоб Вечность, как вещь, возникала в летучем безве-
щии: и — объясняла себя —
— очень тихим звонком к нам во входную
дверь —
— (ни глазами, ни ухом его не уловит никто, потому что спадают
очками глаза; уши, тоже, — не уши: наушники) —
— звонок, знаю я, — от
Гутхейля; Дуняша бежит отпирать: кто-то — желтый и красный — древне-
ет, как прежде, в дверях перед дрожащей Дуняшею; —
— подает картонную
карточку с красным крапом; на другой стороне — ту з
ч е р в е й: —
— это сердце мое; пламенеет оно; решено, суждено:
пронзено! —
— а картонная карточка капает красным крапом
нам на пол.

Клоун кланяется: —

— кипарисовой, деревянной рукою откроет он деревянные двери столовой: половиною щеткой окрасит бестенные стены; красноречивые миги в спокойных покоях растут на обоях кровавыми крапами, точно древнее древо: —

— красноречивые карусели кипят; кипятками калят: колесят красолетом; и он — пролетел в коридор: бьет в упор: —

— фыркнул фейерверк азиатскими змеями: тетками.

Тетки тикают!

— "Ай!

— Помогите!

— Спасите меня.

— Унесите от теток!" —

— Так бы я закричал, если б мог; так кричать я не мог: и я — вскакивал; вскакивала и Раиса Ивановна из белеющих простынь: и — чиркала спичкой; и вспыхивал ярый мир; темнота исходила багрово расколами.

Утро.

Детская. Девять: не двигаюсь... Десять!

Довольно.

Там, бывало, Раиса Ивановна заволнится сквозной рубашонкой; белеет босою ногою; покрадется с черным чулком и с фланелевым лифчиком:

— "Кофе готово!"

Упираюсь коленом в колено ее.

Она — милая, мягкая: мну ее; —

— будто мягкое платье мое, с крупным кремовым кружевом, о которое так приятно тереться и которое так приятно трепать, мять и рвать, —

— ее стисну: повисну на ней; и — затихну.

Рукомойники плещут, полощатся; мылятся руки — до локтя; намылены — личико, лобик: до локонов; все — яснее.

И ясно.

Припоминаю сегодняшний сон, то есть красную комнату клоуна: в красной комнате клоуна древняя змея, Я к к э, — ждала.

Может быть, еще ждет.

Жутко и чутко: жужжат рукомойники; отжужжали: иду коридором — туда: может быть, она — там.

Но, бывало, войду — погляжу: безвременное времениет вещами.

Столовая — мерзленеет: стенным отложением, точно надводными льдами: —

— на легких спиралях, с обой, онемели давно: лепестки белых лилий легчайшим изливом; кружевные гардины, как веки, тишайше нависли, как иней; смотрю: —

— и окнами, как глазами, без слов отвечают мне стены; и — бледноглазая ясность: покрет покоем.

.....

У Дадарченка была елка: —

— Христофор Христофорович Помпул, влезая на стул, начинал очень громко кричать, отцепляя хлопушки, бросая их детям; Николай Васильевич Склифосовский⁵, чернобородый, веселый, сгибаясь под ветви, ловил те хлопушки; свечи таяли, заструясь и расплавленно утекая в безвещие; и безвещие трепетало огромнейшим световым ореолом вкруг елочки, объясняя себя очень громким звонком, —

— мы уже знали, то — ряженный; фыркал бенгальский огонь; в комнату вбегал клоун: и желтый, и красный, но... в масочке.

Тамара⁶

Полиевкт Андреич Дадарченко раз с Еленой Кирилловной, Сониной мамой, — читали: какое-то такое... свое.

Не пойму: хорошо!

Понимаю одно: я — "Тамара".

И — Тамара сидит; и — Тамара молчит: перед окнами, в окнах — стылое небо: дрожит; и —

— самоцветная звездочка —

— в звездолуние ширясь, падает из огромного синерода, настоя из блещущих звезд, становясь —

— двулучием: —

— перемещаются два луча вокруг диска; диск — ширится; и — лебединые перья свои протянул он к Тамаре, лаская Тамару сияющим ощущеньем тепла; описывал дуги над нею, качался над нею в темнеющем воздухе: —

— и —

Тамара сидит;

и — Тамара молчит: перед окнами; в окнах стылое небо дрожит, а какое-то в ней "свое" — запекает:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине...

Полиевкт же Андреевич, Сонин папа, окончил тут чтение, приподымая на нас толстый нос, ущемленный пенсне.

Полиевкт Андреевич, из-за книги прояснясь, ко мне наклонялся подчас великаньим лицом с преогромною лысиной:

— "Тоже слушает!..

— Нервный мальчик какой..."

И принимался меня он подкидывать на огромных, тяжелых ладонях; и напевал громким басом:

— "Ша-ша..."

— Антраша!..

— Ша-ша-ша!"

А когда опускал меня на руки он, то смотрел я на два бирюзеющих Сонины глаза; Сонечка, клонясь из качалки, меня целовала: но я, —

— прости-рая над Сонечкой руку, — я пел:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине...

Быстротечное небо кипело, дрожало, дышало, переливаясь звездочкой.

Клоун Клёся

Поликсена Борисовна Блещенская появлялась в бьющихся, вьющихся лентах: черноглазая, с черной мушкой на щечках; прядали пышные перья: белело боа; точно небо над ней, стрекозьящая сетка стекляруса вся кипела, дрожала, дышала, переливаясь блесками.

Поликсена Борисовна, обнимая мне мамочку, сопровождала слова многим смыслом передо мною гонимых значений.

Я вникал в те значенья: —

— являлась не наша вселенная,

где и я был когда-то: как знать — до рождения? Слушая речи Блещенской, закрываю глаза —

— встают комнаты Блещенских: это — комнаты Космоса, где клокочут лучи милли-

онами светлых пылиночек: где —

— Валериан Валерианович, черноусый, в мундире со шпагой, встает из-за кресла пред ярким камином — с бокалом шампанского... —

— Валериан Валерианович, поднимая бокал высоко, запекает:

Ах, сколько надежд дорогих...

Выпивает бокал; разбивает бокал. Длинный же Клёся, который не Клёся, — а Костя ("Клёся" — прозвище Кости) — маленький, юркий и пестрый — подхватит уже:

Сколько счастья!

.....

Эти речи о "Клёсе", о "Клёське", о "Клёсиньке", без которого Блещенские не могли обходиться, который пришел к ним зажечь, им устраивать сферу света —

— за сферою — сферу! —

— кружить эти сферы:
все речи о "Клёсиньке" сопровождали мне воспоминания маминой жизни у Блещенских: —

— где за круглым столом подают "крем-брюле" в виде формочки с выступцами, где за круглым столом сидят дяди и тети перед зажженными канделябрами: —

— мне казалось: —

— гости те — Азаринов, Миловзорилов, Глянценроде, Гринев — быстро выскочат из-за кушанья и, схватив канделябры, вдруг пустятся в пляску они, угоняемые под арку, раскрытую Клёсей, — туда, —

— где их всех поджидает драгун:
"дракон" Даков⁷ — в розово-рдяных рейтузах, с женою, цыганкою, в бархатном платье: все — Клёся устроил, смеется, с гитарой в руке:

Сколько счастья!

Надежд дорогих... —

— хохоча, подхватывает Валериан Валерианович; и его прытко прыщущим шипром кропит уже дама — цыганка.

.....

Эта жизнь не есть наша: а — Блещенских; прытко прыщется шипром и блеском, разбрызганным Клёсей вокруг, за который ему Валериан Валерианович платит: проценты...

Что такое проценты?

Не знаю...

Вероятно, — горячее вещество; керосин, антрацит или... уголь... Валериан Валерианович посылает лакея — за угольным, тяжелейшим кулем; куль приносится... Клёсе; и — жжет его Клёся, превращая горячее вещество в дым и блеск. Этот Клёся — искусник: чудесник, чудесник! Вечно бегаёт по́ дому, поклоняясь блеску и треску; и — кланяясь куклоу; клоун — он.

Клоун Клёся есть кукла; он — куплен; уступлен; он — в кардонку, скривленный, уложится ночью: на беленьких стружечках!

Встает же с зарею.

Он завел себе бубен: повесил на стенку себе; этот бубен есть — "г о н г":
гонг — гудит.

Существо иной жизни — Огнев

Клоун Клёся есть кукла не нашего мира: колдун!

Он — заведует освещением.

У него есть волшебный фонарь: из него пропускает струю на стены
цветные свои перспективы... с цыганами, с тройками, — даже: с известней-
шим тенором оперетки, Огневым, поражая им — всех: —

— особенно Поли-
ксену Борисовну!..

Сотворенный клоуном Клёсей Огнев появляется в окнах одной фото-
графии в виде демона, поражая Москву (всю Москву!): —

— это все завел

Клёся: —

— жизнь катится им колесом на кипящих, огневых спиралах;
и Валериан Валерианович именно оттого и сгорает, что Поликсена Бори-
совна — в свете: в мазурочном носится пульсе — летающим, блистающим
колесом, но: —

— пульс этот Клёсин: —

— он знает, что знает: двусмысленно
улыбаясь, катит карету словесных значений — под арку: —

— в театр! —

— где

Огнев! И, закрываясь в карете бо а, —

— нападающим на людей! —

— Полик-
сена Борисовна внемлет вещаниям жизни, подсказанным Клёсею.

Смыслы жизни

Валериан Валерианович есть полено, объятые пламенем; он рас-
сыпался головешками; головешки алеют, мутнеют: чернеют, сереют — их
нет! Фу — разветятся!

Много поленьев.

Сегодня сгорело одно; разгорится другое назавтра.

Твердое основание жизни расплавлено Клёсею: многообразием кати-
мых значений: —

— а карета все катится — катится — катится на четырех
колесах: в оперетку! И, закрываясь бо а, как змеей, в ней, в карете, сидит
Поликсена Борисовна: с черной мушкою, в перьях.

.....

Огнев: —

— вытаращивая свое черное око со сцены, косится давно в бенуар: Поликсена Борисовна — там; загорелась румянцами от Клёсиных объяснений двусмыслицы; понимания здесь — блески глаз.

.....

— Так бы я уплотнил смыслы слов, передо мною встававших в то время, когда —

— Поликсена Борисовна появлялась блистательно в бьющихся, вьющихся лентах, белея боа, как змеей, обнимала нам мамочку и уводила с собою в карету: —

— казалось: —

— что карета помчится в театр (то есть в то, чего не было, что тем не менее существует): в суть иной формы жизни; карета уже улетает; за ней — ряд огней: убегающих дней: —

— в рой теней!

.....

Клоун Клёся хоронится там, — в туманных огнях: набегающих днях; клоун Клёся погонится на черно-ярких конях.

Нелады

Когда Серафима Гавриловна переехала в Гавриков переулок, то нам начали назревать нелады; нелады назревали давно; по углам, по стенам: —

— все то шорохи, шепоты: Серафимы Гавриловны с тетей Дотею:

— "Тоже вот: эти нежности..."

— Отнимают ребенка от матери!..

— Воображают, что — их!" —

— что-то тетино-дотоино возникает; и —

вот:

— "Неестественны нежности эти: развитие это!..

— Наш Кот: не — их!

— Произвели бы на свет его сами.

— А тоже вот!

— Воображают, что — их.

— Затесались в дом посторонние личности!" —

— что-то тетино-дотоино

возникает; и видно из окон, как черные галки летают над прутьями.

Мамочка тут заплачет; и — скажет:

— "Мой Кот: сюда!"

А Раиса Ивановна — в слезы.

И уже скрипит половица: у приоткрытой двери; и нам виден уже: папин нос; и на нем — два очка; и он смотрит оттуда.

— "Знаете ли, Серафима Гавриловна, да и вы, Евдокия Егоровна, — нехорошо восстанавливать мать на воспитательницу, так сказать"... —

— и Серафима Гавриловна уезжает от нас в свой коричневый особняк: смутно сыплются смыслы:

— "Мой — Кот!

— Кот — сюда!"

Пуще прежнего примется плакать Раиса Ивановна; шорохи, шепоты пуще прежнего примутся; пуще прежнего плачу в окно — за окно: в ясноглавое облако.

— "Ай, ай, ай..."

— Мой Лизочек: напрасно ты это, Лизочек".

Папа мой повздыхает; и вот — убегает обратно: уткнуть нос в очках в свои листики и в корешки пыльных книжек; и — там горестно шепчется.

— "Дифференциал, интеграл!" —

— тах-тах-тах! —

— барабанит он по столу пальцами.

Или же: —

— он в распахнутом, пыльном халате бьет пыльной тряпкой по толстеньким томикам; или же: —

— он без толку и проку забродит, отбарабанивая по углам, по стенам; и — махая линейкой; очень-очень нам грустно: Раисе Ивановне, мне.

Очень-очень нам грустно!

Нам болоночка Альмочка все-то тявкает в спины; она — загрызает щенят; Серафима Гавриловна, Афросинья — вот тоже: грызутся.

— "Что-

— то —

— те-

— ти —

— до-

— ти-

— но!" —

падают капельки в рукомойнике.

Грустно!

Мы сидим: голоса Раисы Ивановны мне не слышно; сидим: никакого события нет; да и нет — ничего; те же будни; перемогается в лепете капелек время; Раиса Ивановна, милая — с перемученным, мертвенно-бледным лицом тут сидит; а — дозирующий лик тети Доти из зеркала подымается; по краям серых стен повалили на нас бестолковые толоки: Афросинья рубит котлеты.

Ужас что!

Произошло ужас что: долго мамочка плакала; папа наш, заскрипев на весь дом, громко крался к ней в комнату — разговаривать: наклонялся к мамочке бородатым-усатым лицом, на свой выпуклый лоб приподнявши очки, приговаривал он и поглаживал мамину руку огромной ладонью:

— "Лизочек, друг мой: я всегда говорил, — пустота жизни Блещенских не была наполнена, мой Лизок, никаким содержанием".

— "Не говорите: ужасно!"

И мамочка, закусив губку зубками, заходила по комнатам, шелестя своим креповым тренем; за ней ходил папа: с линейкой в руке; приговаривал он:

— "Я всегда говорил".

Слушал я с замиранием сердца: я понял: —

— вот что: —

— Клоун Клёся

давно уговаривал Поликсену Борисовну дать свиданье Огневу: — "Ах нет, ни за что", — отвечала ему Поликсена Борисовна; но согласилась она, не снимая ротонды, боа и перчаток, заехать к Огневу; Валериан Валерианович это знал: поджидал у подъезда ее: хохотал; клоун Клёся — был с ним: хохотал клоун Клёся.

Неправда!

Валериан Валерианович убежал в тот же день догорать: в Ремешки, то есть там, куда-то, — за Пензу.

.....
Сколько надежд дорогих!
Сколько счастья!
.....

В комнатах Блещенских, по словам моей мамочки, потушили огни; там живет только Клёська. Из Трубниковского переуллка нам виден уже особняк: в темных окнах опущены шторы; эти темные окна недавно еще были светлыми окнами; эти темные комнаты были: комнаты Космоса; ныне комнаты Космоса — темнота, пустота, о которой сказал с раздражением папочка:

— "Пустота жизни Блещенских, мой Лизок, не была наполнена никаким содержанием".

Содержание это — мое; я — наполнил им все.

.....
Смыслы слов обманули; и тайные комнаты Космоса оказались темными переходами —

— комнат, комнат и комнат, —

— в которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами,

еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; там, откуда —

— гремит гулкий шаг; клоун Клёся там водится: он похаживает, погромыхивает: и — кричит нам оттуда:

— "Ах, ах!"

— "Сколько счастья?"

И меряет счастье — аршинами; если что-нибудь вспыхнет там, — клоун Клёся потушит; —

— чувствую невозможность так жить; не прорастают понятия смыслом: клоун Клёся мне все потушил — навсегда; и мой космос —

— страна, где я был до рождения! —

— мне стоит серым каменным домом с колоннами и пустоглазыми окнами в глубине Трудниковского переулка. Раз с Раисой Ивановной проходили мы там; шла фигурка — с крыльца: в переулок; длинный нос она прятала в свой барашковый воротник, нахлобучив на лоб свой колпак из барашка: то был клоун Клёся.

Неладья — все еще

Тетя Дотя и бабушка толкнули все еще толчею; смыслы слов смутно сыпались; мамочка в кремовом кружеве тут ходила, бирюза глазами на нас; а Раиса Ивановна — поникала все ниже и ниже у окон: поплакать.

Бывало вот: —

— легкие локоны льются; поплачет, поплачет она; напоминая, как весной, надо мной, нежно никнет она; и вот — снежно: —

— леденеет морозом алмазная лилия; уж и солнце садится; и лилия прогорает: легчайшими переливами; и лилия, алым кристаллом блистая, погаснет.

Темно.

И уже скрипит половица у приоткрытой у двери: папин шаг; папа наш, заскрипев половицею, громко крадется в комнату; утешать Раису Ивановну и меня от назойливых шепотов Серафимы Гавриловны — мамочке: будто бы меня отнимает от мамочки наша Раиса Ивановна; зажимает папочка ручку в большие ладони: посмотрит, —

— и из усатого-бородатого рта надувает тепло под рукавчик; он — шепчет про небо: под небом все сгладится.

Эдакий он неловкий — зачем он скрипит половицею?

Он напортит нам все!

Нас наверно подслушают: и — Раиса Ивановна будет плакать опять.

.....

Ночь: все — пусто; огни потолками проходят: застыли они, кружевая; и — комнаты, как ковши: зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши, — полны мраку; Серафима Гавриловна спряталась в листьях лапчатой пальмы: пугаюсь темнотного шепота.

Знаю я, что —

— Раиса Ивановна плачет в кроватке: трясется матрасик под ней; и я — к ней из кроватки: поплакать вдвоем.

Боа

Папа снова пришел; наклонился над лобиком толстенным томиком; и прочёл: —

— об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней земле, о добре и о зле: обо мне: —

— мне бы надо трудиться, учиться, молиться, чтобы мочь зарабатывать хлеб наш насущный: и денно и ночью.

— "Хлеб наш насущный даждь нам днесь! И остави нам долги наши, якоже и мы..."

.....

Воспоминание о потерянном рае гнетет; и я — ходил в Рае.

Где он?

Был под веками он: прыщущим пламенем разверзалося древнее древо ветвями из молнии, огненностью задевая меня; световая смоковница силами крепла; глаз оттуда смотрел, раздвигаясь, лепестясь мне цветком; голубой цветок цвел; древо жизни мое покрывалось цветами; золотое яблоко зрело; и вот: облетело оно; как и старый Адам, — изгнан я; изгнана Поликсена Борисовна из Трубниковского переулка; я боюсь, что Раиса Ивановна будет изгнана тоже; мне надо: и денно и ночью молиться: —

— трудиться, учиться! —

— чтобы мочь зарабатывать хлеб.

— "Даждь нам днесь".

Поликсене Борисовне, знать, недаром белело боа; боа — змей; да, о н о, — обвивается вокруг древа из блесков; оно водится в старых косматых лесах; и зовется ужасно: "Constrictor"...; там в косматых лесах, состоящих из блесков, — боа извивается.

— "Избави нас от лукавого!"

Поликсена Борисовна не сняла при Огневе ротонды, боа и перчаток; и все ж была изгнана; что же было бы ей, коль ротонду сняла бы она?

Раз я видел Дуняшу: она — раздевалась; смотрел на Дуняшу, какая такая Дуняша — без платья: она — длинноногая.

Дуняша же вдруг рассмеялась; и мне пригрозила:

— "Ни-ни!"

Я расплакался: стало мне стыдно.

.....

Как же так?

А Раиса Ивановна каждый вечер снимает с себя свое платье; и — нижнюю юбку: при мне! Снимает чулочки: стоит в рубашоночке; даже: берет меня спать.

— "Ай, ай, ай!"

— "Что ей будет за это?"

В ожидании катастрофы я жил: световая смоковница силами огненно крепла и фейерверк молний — под веками: зрели ветви; и голубой цветок зрел; но змея там таилась.

В ожидании катастрофы я жил; она и случилась однажды; мы — Раиса Ивановна, я — были изгнаны; я — из светлых миров; а она — на Арбат: за Арбат.

Воспоминания

Небывалая грусть охватила меня; —

— с ней, с Раисой Ивановной,

было связано все, что есть; и — предметы, события, комнаты мне менялись мгновенно от ее о них мнений: —

— круглота, деревянная голова, мне, бывало, стрекочет со стены очень строгими стрелками и блистает язвительным циферблатным оскалом; но Раиса Ивановна —

— милая! —

— мягким ага-

товым взглядом посмотрит; и — скажет: —

— "Часы!" —

— Круглота, дере-

вянная голова, не страшит.

Где Раиса Ивановна?

Затерялась, исчезла она; знаю, что прошла —

— мимо стен, коридоров,

передней, по лестнице, в переулки и улицы; из метелицы — в вьюгу; а вьюга бушует, прошли — снеготеты.

— "Туда! —

— За ней! —

— Все!" —

.....

Я ищу мою милую; втихомолку прошусь с мамой в город, в Пассаж: там она!

Серафима Гавриловна, бабушка мне грозит: ее прячут — далеко; Серафима Гавриловна... загрызает щенят, а бабушка — лысая.

Мама берет меня в город: мы на саночках пролетаем; и — в саночки; переулки и улицы пролетают домами; Раисы Ивановны нет; в этом розовом доме, на Кисловке, может быть, она прячется; этот розовый дом я люблю; пролетел этот розовый дом; пролетела Никитская; вот — Столешников переулок; Пассаж —

— зажигается газ; в окнах — лоснятся ленты; малиновеют материи; от окна — к окну: там она!

И — бегу прямо в дверь: открываю —

— какая-то дама стоит; и — бордового цвета материя льется на руки ей.

Но она — не она: ее — нет!

Дни текли

Вспоминаю утекшие дни: дни — не дни, а — алмазные праздники; дни теперь — только будни: —

— дни текли вереницами в тени, которые свесились с потолков, от углов, сопрягаясь в огромное многорожие, которое есть теперь: не таимая пустота; и она мне темна; и она мне грустна! —

— уж и гости-то Блещенских давно расхватили подсвечники и уморительно припустились бежать — прямо в стены; и, продолжая бесшумную скачку, они теньвыми роями летят в коридор: там метаться огромнейшим многорожием; пролетели они: —

— пролетели огни вереницами — в дни; дни — текли; и — безглазо моргали мне в душу; ищу — под подушкой, под диваном, под креслом: Раису Ивановну! —

— Но подобия пусты: все сказки рассказаны.

Звуки — остались.

.....

Звуками говорила со мною она; и — садилась в пьянино; водилась в пьянино; и — раздавалась нам в комнаты.

.....

Ходим с бабушкой мы: на Пречистенский бульвар — погулять; не Арбатом, как прежде, а — Сивцевым Вражком; выходим —

— какая-то дама уж уходит: одна — по бульвару; там, там она — издали... Сядет тихо на лавочку; закрывая муфтой личико, на меня там посмотрит; значительно посылает улыбки; срываюсь я с лавочки; —

— я хочу к ней бежать, потому что это — она; моя милая! —

— За дрожащую ручку меня моя бабушка: хватить!

— "Ни-ни-ни!"

Я — попался... —

— Какая-то дама —

— медленно уж уходит туда, в крылоногие ветерки; убегаю за ней: ее — нет; крылоногие ветерки набежали; безрукая шуба щетинится комом меха: в снега; и — хлопает по воздуху крыльями.

.....

Сиротливо бредем мы домой — не Арбатом, как прежде, а — Сивцевым Вражком; расколото небо, багрово мрачнеет оно; переходит во тьму.

Чернорogie ночи мои, чернорogie дни!

.....

По вечерам мне никто не читает — о милой моей королевне; о королевне я думаю; и лучики лампы расширились мне в белоснежные блески развернутых крылий; и голос, забытый и древний, —

— как

прежде! —

— поет:

Я плакал во сне...
Мне снилось: меня ты забыла...
Проснулся... И долго, и горько
Я плакал потом...

.....

Умирает во мне жизнь какого-то звука: не меняет значений, не гонит значений; объяснение — не возжжение блесков уже, потому что комнаты Блещенских Клёсей потушены, а объяснение папино, что эта жизнь есть пустая, мне — мрак; объяснение это сдувает все блески; понимание мне —

— превращение клоуна К лё с и в фигурочку пустых комнат; получает проценты она; и за векселем вексель она предъявляет, грозя Поликсене Борисовне подметными письмами.

Все я сживал, мальчик в матроске, в штанишках —

— (это все мне сши-

ли недавно: штанишки!.. Все кончено! Математики близко!) —

— прислушиваясь, как похаживал, погромыхивал Клёся: там — за стенкой; бабушка там, бывало, сидит, копошится: непонятна она; мне страшна. И вот — думаю: —

— бабушка... это... это... какое-то:

то — да не то... коричневато-сутулое; и — шершаво жующее ртом: —

— "Эй!

— Ты!

— Бабушка". —

— Но очкастая бабушка мне грозитя:

- "Ни-ни!
- А то Клёся придет...
- А то Клёся возьмет"...

А уж Клёся — там, близко: я лезу под стол: да, я знаю, что знаю;
и — никому не скажу: —

— как она жуёт ртом; и как смотрит она очень злыми глазами: я знаю, что бабушка... это... это... с т а р у х а: —

- "Возьмите!
- Спасите!
- Поймите!.."

Между тем

Между тем: —

— был же мир жизни Блещенских, где гусар Миловзорики в малиновом ментике гремел ясной шпорой и где красногрудый гвардеец Гринев гордо выпятил грудь, где, раскинувши в воздухе фалды фрака, двубакий Азаринов завивал легкий вальс в белом блеске колонн, где на веющих вальсах носился и я в белом блеске: —

— обман это все: —

— потому, что Азаринов, Миловзорики и Гринев припустились бежать друг за другом, тenea, вливаясь в стены, сливаясь в огромное многооржие мне безглазо моргающих теней и поджидая меня в коридоре: устраивать скачки бесшумных своих косяков вокруг меня: —

— тени свесятся с потолков, мне

протянутся от углов: и —

— уродливым роем проходят по комнатам...

.....

Я себя вспоминаю вторым математиком, отвергающим ранние смыслы мои и не могущим еще мне составить вне этих отверженных смыслов — единого смысла, которым живет математик: мой папа. Он меня обещает учить: он дарит мне букварик: —

— букварик — не шарик: —

— катается шарик;

букварик откроешь — беззвучно пурпурится буква: наука... —

— без звука!

Блистающая, но... "опасная" личность.

Я не знаю, когда это было: —

— и было ли? — помню тонкий, но громкий

звонок: —

— к нам вошел "духовник" —

— о дыхании, духовен-

стве, духовности, духе я слышал: "духовник", это — дух, у Престола поднимающий руки, а после — ходящий по улице в черной шляпе с полями и с длинными волосами: —

— вошел "духовник", обвисающий волосом: волоса, опустясь на глаза, фосфорически-ясные блеском, упали на плечи под круглую шляпой с полями; гремел он калошами (громы — действия духов); и высекся отблеск во мне —

— о добре и о зле! —

— уподобляемый блеску солнца, упавшего очень громко на нас; и во мне родилось ощущение себя мыслящих мыслей, мятущихся крылорогими стаями: —

— ожидания приподымались во мне! —

— лебединые перья коснулись меня: мне сияющим ощущением тепла, которое подавали нам в церкви — в серебряной чашечке...

"Он" стоял перед мамою; чернокобая борода, чернокобая голова и до ужаса узнанный лик осветили сознание мне, вылезая из крылий огромной крылатки; как двулучием, встряхивал крыльями; прошел он в гостиную; надломился, сел в кресло; качался крылатою головою в темнеющем воздухе.

И казалось: —

— приподымется, снимется с кресла, качаясь в темнеющем воздухе; подхвативши меня, он со мною помчится сквозь окна: —

— зажжемся за окнами: тысячесветием в тысячелетиях времени, осыпаясь песней без слов, которую в старине он певал: —

— невыразимости, небывалости состояния лежания его головы в волосах, падающих на глаза и на плечи из сумерек и крыловидно порхающих в разговоре, напали своим многим смыслом. —

— Хотелось, —

— чтоб мамочка окропила его опопанаксом "Пино" или шипром: многий прыщущий смысл прытко прыщущим шипром!.. —

— Крылорогими стаями рой себя мысливших мыслей носился по комнате...

Он исчез как-то вдруг.

Владимир Соловьев

Рассуждали у нас о каком-то Владимире Соловьеве — проходим: —

— без проку и толку он ходит: его принимают за черта!..

— "Блестящая, знаешь ли, личность!"

— "Опаснейший человек!" —

— говорилось у нас.

Казалось: —

— Владимира Соловьева я видел: и есть он — тот самый (а кто — ты не знаешь); и тем самым взглядом глядит (а как им — ты не знаешь): незабываемым никогда!

.....

Выражение "опаснейший человек" вызывало во мне представление об опасностях, сопряженных со странствием по домовым коридорам, —

которыеходишь, чтобыидти, всеидти, всеидти, пока —

— не будешь подхвачен "опаснейшим" Владимиром Соловьевым, шагающим к дальним целям; и — ожидающим в коридоре — попутчиков: к дальним целям; это странствие напоминало впоследствии мне: —

— странствие по храмовым коридорам ведомого египтянина в сопровождении космоголового духа с железом —

— до таимой комнаты блеска, откуда показывается сама Древность в седилах и пышные руки разводит свои из Золотого Горба, чтобы —

— вместе с Владимиром Соловьевым склониться уже у завесы, как полные тайны фигурки на деревянном шкапу, что склоняются темнородными пятнами перепиленных суков из деревянных волокон, — как бы из-за складок; —

— Древность склонится там под Золотым под Горбом; а Соловьев под крылаткою; Соловьев там протянет свои необъятные руки; разведет там ладонями —

— образы посвященных переживались мною впоследствии — так! —

— Соловьев, знаю я, станет тут: ослепительно блистающей личностью; и он бросится сквозь завесу —

— пролет в небеса! —

— на развернутых крыльях крылатки: —

— блистания этого Владимира Соловьева там, в далих, крылаткой и ликом напомнит двулучие: с ясным диском в середине.

.....

Я был у Дадарченко: —

— с девочкой, Сонечкой, мы сидели вдвоем: в тевеом уголку; было мило и древне; посмотрели мы с Сонечкой на гостей; тут пришел — э т о т с а м ы й: до ужаса узнанным ликом смотрел; и — без слов говорил.

.....

Невыразимое чувство: —

— я его впоследствии узнавала неоткрытым в своей остроте, но мне глухо звучащим под образами и событиями жизни — в произведениях искусства, в грохоте городов, между двух подъездных дверей; более всего — на ребре хеопсовой пирамиды, в час тихий вечера, когда солнце Египта зловеще отускневало в подпирамидной пыли; и — плавали золото-карие сумерки.

Закаты

Удивляюсь закатам: там кто-то блистает в багровых расколах, крылые косяки на стенах: пятна пурпура, тая, проходят; со стен — круглота —

— деревянная голова! —

— огрызнется багрово оскалом; миллионом багровых пылинок пересыпаются лучевые столбы; облачко — ясноглаво; и — пламенным ободом ополчилось в небо оно; все — усталились в рубинные окна: моргают в закаты.

Иногда за окнами — дымы: мороз! Яснолапые облака обвисают тогда черноватыми дымами; и, падая в дымы, блистает оттуда диск солнца краснеющей, самоварною медью; высоко-высоко-высоко — прояснятся краснороги над крышами; то —

— закат, на который глядят...

.....
Закат: —

— все отряхнуто: комнаты, дома, стены; все — четко; все гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна; и — врезана одним своим краем туда: —

— где —

— из багровых расколов до ужаса узнанным диском огромное солнце к нам тянет огромные руки; и руки —

— мрачней, желтеют; и — переходят во тьму.

Духи

Бабушка — все-то шепчет о духах; поминаньце —

— лиловая

книжечка! —

— все, бывало, с ней рядом!

И — думаю: —

— о дыхании, духовенстве, духовности, духовниках и о духах; духовник, это — дух, у престола подьемлю-

щий руки; напоминает он солнце с лучами — с двумя конусами своих парчовых рукавов; световыми крылами он бьет, как громами; и облачится в глаголы, как... в светлы: —

— Иоанникия, Митрополита Коломенского и Московского видел я!..

.....

Представление о духовных благах и ценностях очень ярко во мне — неопикуемых, непонятнейших: в неопикуемых, в непонятнейших состояниях сознания переживаю я духов по образу и подобию ладанных клубов, взлетающих —

— из подкинутой чашечки!

Золотые, духовные люди к нам ходят... из Церкви; а в Церкви — кадят: —

— "Благослови, владыко, кадило" —

— помню я этот возглас!

Кадило... моя голова, когда начинаю раздумывать я обо всем о духовном.

Как бы это мне выразить?

.....

Закрываю глаза: догоняю думами духов; представляются: —

— трепеты, блески под веками; ощущаются: трепеты детского тела; в трепетах прорастает — глава; прорастают руки и грудь мне травой, тихо зыблемой ветром; трава зацветает цветами, пестрейшие образования цвета-света — маячат, летят, улетают; отхлынуло все мне во мне; в теневое темное море растаяла пена из блесков.

Тогда... —

— Что тогда?

Не умею сказать.

Кадило

Невыразимости, небывалости лежания сознания в голове, неизреченные речи духа —

— сказал бы я —

— были: неизреченным его прорастанием в мое детское тельце: прорастанием впечатлений в рои ощущений; в сознании упала преграда меня духом и "я"; наполнялось сознание жизнью его, как протянутой в пальцы перчатки рукою; сознание выворачивалось — из меня самого: и — распускалось цветочною чашею — над мною самим (голубой цветок цвел); дух слетал в эту чашу: —

— в это время

чувствовал я: —

— давление костей черепа: сжималась моя голова;

ощущались мне не поверхности мозга —

— (обычно мы мыслим поверхностью мозга), —

— а центры; ощущения моей головы мне являлись как бы: прощупьями мозговых оболочек в вещества жизни мозга; все влипалось мне — внутрь: отливало мне в сердце; внутри себя внутрь себя отходило мне все; ощущалась моя голова мне на уровне носа; вот она мне — орех на моем языке; я глотаю орех; ощущение переходит мне в горло: сжимается горло; все, что выше, — истаяло: мозг, его оболочки, кость черепа, волосы ощущают себя не собой, а изливами пляшущих, себя мыслящих мыслей в громадине безголовых пустот, улетающих на спиральных своих

— крыло-

рогими стаями!

Холоднело, легчало пространство былой головы; раскрываясь в спиральных развернутых листьях и веточек: —

— спиральное расположение листьев растений теперь вызывает во мне впечатления крепнущей мысли, растущей спиральями, где закон повторения следует — через три, через пять, через шесть: —

— цветок розы

построен законами пентаграммы; и гексаграмма⁸ есть лилия.

Мне казалось: —

— ничего внутри: все во мне — все вовне: проросло, излилось — существует, танцует и кружится; "я" — "не-я": все, что было мне мною когда-то, — теперь —

безголовое, проседает во мрак; голова провалилась; в ее месте есть странная сфера биений вокруг единого центра.

.....

Многоочитый, но обращенный в себя крутолет переживал себя: —

— "внутри!"

Но это "внутри" было — "вне": "вне" сидевшего тела; если бы: —

— это "внутри" мне вообразить, сфера влитых излетов —

— вовнутрь! —

— мне напомнила б: сферу бушующих перьев, мне кроющих сферу горящего лика под нами, ко мне низлетевшего множественном прышущих крылий: я —

— с духом: я — в духе!

.....

Сидит безголовое тело; сложило оно мертвеневшие ручки на креслице; сидит себе — так себе, вне себя; и — само по себе —

— вот оно: Кот Летаев.

Где "я"? И — как так? —

— И почему это так, что у него: "не я" — "я"?

Не было бледно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи: одна лишь безглавица; и — крыловидно порхала она, точно прыщущий из сияющей чашечки дым: —

— ”благослови, владыко, кадило!”

Еще — вот

Еще вот: —

— я садился на креслице: чувствовать в креслице: —

— отливало все в сердце: набухало во мне тепленевшее сердце; в руках зажигались пожары: ветрами; они выбивали из рук: вылетали из рук мне, как... руки; и эти мне ”руки из рук” изливались под лобик, как... в пару перчаток: —

— сказал бы я ныне: —

— мои полушария мозга стремительно плавилась: и перьями блещущих крылий, разбив черепные покровы, они принимались дрожать: процветать; и мощною прорезью крылий переживалось содержание вне-мысленных ощущений моих: себя волящих чувств: —

— пе-

реживались: —

— птицею, припадающей к безголовому телу с просунутой длинной шею —

— горлышком! —

— в сердце: птица думала сердцем моим; надувало его лучевым изливанием солнца, пролитого в руки; в месте отверженной головы билась крылья; и — волили взмахами: неподвижное тельце являло мне чашу: мысль — ”голубку”; вылетала ль, влетала ль голубка — не знаю; казалось: —

— многообразии положений сознания относительно себя самого; воображалось: летающим многокружием; многокружие потом размыкалось; оно становилось двулучием с ясным диском в середине; двулучие билось двукрылием; а диск улетал на двулучии: от меня — надо мной; он описывал дуги: летал; перелеты его с головы на постельку, на шкафчик, на стены меня занимали; качался крылами в темнеющем воздухе; и шумно снимался; в сияющих перьях бросался — за мною, ко мне и... в меня: снять мне ”Я” и лететь с ним через форточку в бесконечность: —

— тысячелетием в тысячелетиях времени!

.....

Котик Летаев, оставленный нами, сидел, проседая во тьму своим креслицем; может быть, видел он: белоснежные блески ресниц —

— свет из

глаза! —

— и может быть: лебединые перья по нем проходили сияющим ощущением тепла: сквозь него самого.

Комната проясняет, бывало; он знает — летит существо иной жизни; порхать, трепетать, с ним играть.

”Мы” же — ”мы!” —

— тысячесветием в тысячелетиях времени мы неслись; появлялся Наставник и несся за нами: стародавними пурпурами; и, ты, ты, ты, ты нерожденная королевна моя — была с нами; обнимал тебя я, — в моих снах — до рождения: родилась ты потом; долго-долго плутали по жизни, но встретились после: у з н а л и д р у г д р у г а.

— Я плакал во сне...

Мне снилось: меня ты забыла.

Проснулся... а слезы все льются

И я не могу их унять.

После встретил тебя: ныне снова — далеко, далеко моя королевна.

— Простираюсь к тебе... И — к Наставнику:

— ”Вспомните!”

.....

Если бы в этих мигах моих мне взошло полноумие будущих дней и осветило бы то тело и если бы — тело умело бы ”в и д е т ь”: —

— увидело

бы: наше небо с землей, Москвою, Арбатом, квартирой и Котиком, пронцаемым крыльями невероятной вселенной: вселенная: —

— птицею спускалась в него; перед собой она видела — нет, не Котика, а пустую, глухую дыру —

— темя Котика! —

— в ко-

торую —

— вот-вот-вот: точно в гроб, оно ринется!

Все лежанья сознания под черепом — странно-ужасны.

.....

Котик — маленький гробик!

Двулучие

Как бы ни было: —

— духа видывал я: он —

— сияние; двулучие от

него отлетает; два луча бегут вокруг диска; сольются, нагонят друг друга; дух тогда, как звезда; из нее излетает, как выстрел, огромные лезвия лучевые: мне в сердце; дух — меч.

.....

И он мне грудь пронзил лучом
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул⁹.

.....

А то, раздвоюсь, закачается дугами крылий; и тихо распустится, точно древо цветами, — своими лучами; и нет его: отдал себя он лучам; а лучи, —

— фосфореют, мутнея во мраке, двумя лопастями, как... лилии; знаю я, отчего ангел... с лилией.

Лилии возникали во мне; и лилии ли из меня выростали, в меня ли вращались — не знаю; казалось: я иногда в лепестках; лепестки ясно светятся, облекают собой; я — в одежде из света.

Я духовную ризу носил: облекался в одежду из света; воображение облекало в духовность меня; и был в блеске я; знаю я: —

— я — сгустился из блеска; меня выстрелил ангел: я — луч, раздвоенный в излучину; ангел себя отдал мне: он во мне; бесконечные годы излучина фосфорически омутневала во мраке двумя полукружьями крылий; и медленно обростали они костяными наростами... черепа: —

— так два полукружия мозга, быть может, сгущенные крылья; если бы развернулись они, — разорвался б мозг; он — духовная пряжа; он — чехол: дух тянулся к нему; облекался в него; начинали вздрагивать думы: и Котик Летаев сидел, как...

...Тамара!..

.....

И — "Тамара" сидит. И — "Тамара" молчит.

.....

Про меня говорили одни:

— Вот "талантливый мальчик"...

— "Он — развит..."

Другие же говорили:

— "Он — глуп..."

— "Дурачок..."

— "Все молчит..."

— "Не имеет суждений своих..."

— "Ну, Котик, скажи что-нибудь..."

— "Отчего ты молчишь?"

Но, бывало, во мне все сожмется: становится точкою; не умею высказать ничего; все-то думаю: что бы такое придумать: —

— слова — кирпичи:

чтобы выразить, нужно упорно работать мне в поте лица над сложением тяжкокаменных слов; взрослые люди умеют правильно сложить свое слово.

И слышу:

— "Да он не имеет суждений..."

И я становлюсь на карачки: виляю им хвостиком, — к спинке приложенной ручкой.

И слышу:

— "Вот видите?"

— "Я говорю..."

— "Обезьянка какая-то".

Мне так больно!

.....

Многообразии положений сознания относительно себя самого все танцует, бывало, безобразным, веющим смыслом: летает своим многокружием, как яснеющим диском во мне; и — размыкается дугами; мысль течет выстрелом странных ритмов; вздрагивает все мое существо: безответно, мгновенно взрывается, не разрешается образом; и — улетает сквозь окна.

В голове моей ветер — всегда: повествует мне ветер в трубе: о летающем космосе.

— "Ну-ка, ну-ка — скажи".

Немота тяготит.

Что сказать?

— "Глупый мальчик: не развит!"

А как мне развиваться? Мамочка запрещает развиваться; развитие — страшно; быть — глупеньким мне.

Я поплачу.

Штанишки не впору: теснят они, жмут меня; хожу я матросом — с огромным и розовым якорем, но... без слов; и, отвечая на ласки, я трусь головою о плечи; из-под бледно-каштановых локонов дозирую я мир: о, как странно!

Нет, не нравится мир: в нем все — трудно и сложно.

Понять ничего тут нельзя.

Беатриса Павловна Безбардо

Тетя Дотя — бедная; и — бедная бабушка; мне их жаль: бедные — тетя Дотя и бабушка!

А были — богаты.

Оттого-то они все у нас: и обедают, и ночуют; то — одна, то — другая; а то — обе вместе; и — ссорятся вместе; мы-то вот: ночевать никуда не пойдем...

Тетя Дотя на службе, на Брестской железной дороге; и ходит на станцию — ночевать: через два дня — на третий; а бабушка вяжет косынки: костяными крючками; и когда пуст наш дом, у нее в глазах пойдут пятна; и вот только поэтому она потянется в кухню: заводит тары-бары, — о том, как она была... в соболях, и в какие ленты рядилась,

и в какие кареты садилась, и как из Ирбита она получала в подарок меха чернубурой лисицы, —

— бабушке выход на кухню был нашей мамочкой воспрещен; но, бывало, бабушка в кухне Петровича, Афросиньина мужа, угащивала табачком, раскуряемой "путаной крошкой".

Тетя Дотя и бабушка проживают в квартирке о трех только комнатах, платят двадцать пять рублей серебром, да еще — с дядей Васей, с чиновником; он ходит в Палату с портфелем под мышкой, с кокардою на околышке козырька и с двумя бакенбардами; его прозвище — англичанин; он еще все выпивает... с Летковым; и этот самый Летков — роковой человек.

Дядя Вася приходит к нам редко: устраивать контры и обозвать генеральшею... нашу мамочку; это просто не то; просто черт знает что; это все — Беатриса Павловна Безбардо; и — говорят на ушко.

А что "это все", о чем на ушко?

Беатриса Павловна Безбардо?

И никто — ни за что: а не то — произойдет замешательство: тетя Дотя надуется и жалобным голосом примется нам описывать печальное положение свой жизни; а бабушка — плачет.

Папа же — им обеим:

— "Вы, Василиса Михайловна, да и вы, Евдокия Егоровна, — вы, скажу вам, вы Василия-то Егорыча, знаете, оставьте в покое; он — молодой человек; "это все" — так в порядке вещей; и потом — это "в с е" так давно".

А вот что "это все"?

Весна

Протемнели халвою снега; и была всем халва: на лотках у разносчиков; и утекали сосульки на капельках — в слякоть; саночки задевали полозьями слякоть; гнулись старые спины извозчиков в слякоть; и воющим ветром валилось пространство — на землю; и земной шарик бежал во всем этом.

Очень страшно: что делать?

Прослякотился и Арбат; уже он обсыхал; отколотили палками мебель; ножичком отскоблили замазку, вынули стаканчики с ядом и валики с ватой; вымыли нам окошко, и солнце заширилось блесколетней за стеклоглазым окошком; огромные краснороги заогневели за крышами — под вечер. Погрехатывало.

Раз прошел дождичек: позеленели все крыши, а тугопучные почки открылись — на красноватых жердях, за забориком, где песик песику пробовал усесться на спину: позеленели все жерди; и закричало на нас: Дорогомилово — грохотом; и стало выбрасывать на Арбат: ломовых, фабричных и конки; поехала пестрая фура: "Шиперко"...

Раз стояли мы на железном мосту над бутылочной мутной водой, раздробленной в громкие белоструи; я бросил весенний подарочек,

зайчика, — туда, в белоструи; и плачущим привели меня к бабушке, где дядя Вася с Летковым продолжали уписывать кашу с маслом, а черноглазый Летков из-под гущи усов засверкал нам глазами.

Мамочка говорила им всем про плохую московскую мостовую, и, разгораясь щеками, вспоминала она Петербург: —

— какие красоты там, какая торцовая мостовая, какие гусары, как они говорят, что едят — у Поликсены Борисовны и у Большого Медведя; рассказала про Марининский театр и про то, как она налила стакан чаю Великому Князю и как Великий Князь играл в карты... —

— Бабушка натирала "путаной крошкой" — табачком — шелестящую пачечку гильз, а тетя Дотя — моргала глазами, вздыхала: на железной дороге ей нет: — Петербурга; и нет ей — гусаров; телеграфистки — вообще ужасно не ком-иль-фо, а телеграфисты — нахалы. Вот уже принесли калачи; дядя Вася — представьте — без всякого грубиянства стал тихонько наигрывать на гитаре:

Наклонишь ты свою головку
И на него поглядишь;
Но знаю я твою уловку,
Ты только ревность мою дразнишь. —

— А Летков из-под гущи усов меланхолически подпевал: вот уже они переглянулись и надели пальто.

Мое новое платье — жмет; и мне грустно; и я — вспоминаю: погибшего зайчика; вспоминаю и то, что нам у нас расставлены сундуки, что туда уложено очень многое; что-то там приготовлено; что-то будет — не знаю: ветрами повалили пространства; уж и гремело над нами; и земной шарик бежал — во все это. Мне очень страшно.

Мрак неизвестности

Знал ли я, что опять мы поедем... — в Касьяново: в изумрудные, кипящие кущи — и к изумрудному пруду, где бегут стальные отливы под липы и ивы: —

— и какие пойдут пироги нам с грибами! —

— где с огромной террасы под ясными днями будем мы распивать молочко, где самый воздух не воздух, а резедовый настой; где бегут облака — кудластые, растормошенные, ясные, а то дымные, с громом — к бирюзеющей дали, а в воздухе хрустает над прудом трескучее крыло коромысла; где из зелени встала — стародавним каменным шлемом и моховатым лицом: однорукая статуя со щитом; где желтеют маслята и где композитор Чайковский проживает от нас в четырех верстах: в Фроловском; где Иван Иваныч

Касьянов в горьком запахе роз проповедует нам печально про восстание всех против всех и про то, что нас всех перережут; где по огромной аллее, потрясая в воздухе д у р а н д а л о м, ожесточенно забегает папа, несогласный на то, чтобы нас перерезали; где по ночам завывают собаки и совы, а над могильным крестом возникает покойный полковник Пупонин и тихо несетя в кустах на Касьяновский парк.

Знал ли я, что —

— придет к нам офицер с эполетами, из города Витебска, что, надевши белый свой туго стянутый китель, будет он проходить в старый парк и рассказывать всем, как за месяц поправился он в касьяновском воздухе, и, отмахнувшись пахучей акацией от танцующих комаров, позабавит нас анекдотами о командире полка и о витебской барышне.

Знал ли я: —

— что под самую осень, когда по дорожкам закружит, шурша, желтолистые и красноглавый осинник зареет на небе стеклянном, когда —

— проступают холодные пятна под окнами каменной дачи и цокает красная белочка, —

— офицер с эполетами прихворнет —

— и уедет от нас, вдруг на что-то надувшись, с болезнью седалищных нервов... в свой Витебск; и мы поедем за ним: на Арбат.

Воспоминание о Касьянове в это лето мне бледно; оно связано более всего с игрою в крокет офицера, с отплясыванием им лезгинки по вечерам пред зажженным огнем и с болезнью седалищных нервов, которой боялся я долго.

Распятие

Мне бесказочно все в этот год, но я переполнен какой-то невнятной правдою; провозгласи ее я, — и огромное Слово опустится: в слове моем вновь новые блески зажгутся; и ко мне склоненные старики — папа мой, Полиевкт Андреич Дадарченко, Федор Иванович Буслаев, Сергей Алексеевич Усов, мой крестный, — огромную правду мою понесут по миру: затрясут очкастыми головами; и — рявкнут:

— "Воистину так это, котик!"

Но — нем: —

— правду высказать невозможно: она горит в сердце, к которому опускаю глаза, — опускаю: смотреть себе в грудь: во мне подымается жест; две ладони поднимают мне... воздух: у сердца; и этот воздух мне — сладкий.

Он — веет в лицо мое.

Чем?

.....

Взрослые говорят обо мне; тетя Дотя и Серафима Гавриловна представляются мне очень злыми: они ненавидят огромное Слово, которое спустится в слово мое (я не знаю, когда это будет); распнут меня —

— о распятии слышал я.

Старики подбежали ко мне; и чего-то ждут; окружают меня добродушною ласкою, вынуждая меня преждевременно развиваться; Полиевкт Андрич Дадарченко мне поет:

— "Ша-ша-ша: антрашá!"

А Федор Иванович Буслаев в щетинистой шубе приносит мне сладкой пастилки; подносит мне папа букварик.

И — старческий шепот стоит вокруг меня: и мне кажется, что вот-вот они склонятся предо мною с дарами, — таить, молчать, вспоминать какую-то древнюю правду, которой касаться нельзя, которую вспоминаешь безропотно, вспоминаешь тогда —

— об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о добре и о зле.

Папа, Федор Иванович, Сергей Алексеевич Усов составили себе представление об Еве и древе; и ждут от меня подтверждения своих слов; воображая впоследствии я себя стоящим среди них; и мне видится жест мой: —

— стою, опустивши ресницы: и — с бьющимся сердцем; две ладони — ладонь под ладонью! — все силятся приподнять в сердце данное слово: мне к горлышку; в горлышке что-то теснит; и слеза ясно зреет; но слово — неподнято; в полуоткрытый мой ротик повеяло сладким ветром моим: две ладони приподняли к роту — только воздух пустой: слова нет; я — молчу... —

— И мне грустно: я ничего не скажу; если бы я и сказал, то слова мои обманули бы их, отвергая дары; потому что я знаю, что знаю: мне кусочек рябиновой пастилки не говорит ничего; пастилка будет съедена; и от этого ничего не случится; скажи это я, — знаю я, — огорчится мой друг, Федор Иванович Буслаев; и как сказать папочке, что букварик его непонятен и чужд вовсе мне (откроешь — беззвучно пурпурится буква: н а у к а б е з з в у к а); как сказать мне, что клоунчик вырос крупнейшим Клёсей и погасил все огни: погасил древо жизни под веками, что чудесная весть — об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о добре и о зле! — лишь пустой особняк в глубине Трубниковского переулка...

.....

Я себя вспоминаю поникшим: мне грустно; дары окружающих меня ласкою греющих стариков лишь обломки... рухнувших космосов и стародавних громад, о которых давно повествует мне ветер в трубе, что их — нет; и туда, в это "нет" побежал земной шарик; букварик мне их не вернет.

.....

Между тем уже бабушка, тетя Дотя и старая дева, Лаврова, обижены ожиданиями; и когда они не исполнятся, то есть —

— когда косматая стая старцев, шепчась и одевая печально шершавые шубы, уйдет от меня, то —

— то придвинется стая женщин с крестом: положит на стол; и меня на столе, пригвоздит ко кресту.

.....

О распятии на кресте уже слышал от папы я.
Жду его.

ЭПИЛОГ

Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир — лестница расширений моих; по ступеням ее я всхожу... к ожидающим, к будущим: людям, событиям, к крестным мукам моим; на вершине ее — ждет распятие; мое платье из пунцового шелка отсюда, из этого мига, мне кажется: багрянницей моею; мне кажется: я тащу на себе деревянный и плечи ломающий крест; стая воронов обгоняет меня, задевая крылами; в клювах их все железные гвозди: проткнутый, я повисну на них; представляется мне: ветер рвет багрянницу; под бременем падаю я; у ног моих яма; с годами она зарастает невнятными травами.

Ступень за ступенью открыта мне спереди:

Ожидают меня.

Ожидают меня: мои новые миги; и — новые комнаты —

— ком-

наты, комнаты! —

— из которых назад мне вернуться нельзя:

и глаза мои расширяются; и — невидящим взором гляжу я в пространство: происшествия нарастают деревней и временем года; шумы времени ожидают меня, ожидает Россия меня, ожидает история; изумление, смятение, страх овладевают: история заострилась вершиной; на ней... будет крест; я поставлю его: будет он мне последней ступенью к огромному миру; на нее... должно взлезть; под ногами моими мне будет сумятица жизни, толпа, на которую буду взирать я невидящим взором, обнимая руками огромные перекладины дерева.

Мое слово могло бы родиться не прежде.

Пройдут за ступенью ступень: миг, комната, улица, происшествия времен года, Россия, история, мир.

Это все — впереди.

Позади же действительность, о которой я думаю ныне, что она — не действительность; но она и не сон.

— "Что все это?"

— "И — где оно было?"

.....

Если бы ощущения эти остались мне в моих будущих днях, если б в темное это место вошло полноумие моих будущих дней и осветило бы мне восстание моей младенческой жизни, тогда бы —

— в месте сознания бы

оказался провал; сознания в нашем смысле, где —
— (что-то му-
чилось красным пожаром, в мучении вспыхнуло "я" — мое
"я", исходя в окрыленных огнях, как в крылах) —
— вспыхну-

ло Солнце, Око, и, меня отторгнувши, из меня излетело, оставив связь
блесков, между собою и мною: мои комнаты Космоса!

Мои комнаты Космоса мне остались под веками долго: в годах угасали
они. Они вспыхнули — после.

.....

Я прошел состояние тепловое: внутри его вспыхнуло Солнце; снялось,
взлетая яснеющим диском и освещая меня, как луну — стародавними
мифами; внутри них вытверделась земля: в ней живет ныне "я".

.....

Знаю я, — будет время: —

— (когда оно будет, не знаю) —

— буду разъятый в себе, с пригвожденным, разорванным телом, душою,
— в разрывы страданий моих устремлять долгий взор; задымятся события
мне стародавними клубами; отверденелый мой корост рассядетя надвое:
и полукружие снов вновь нальется: яснеющим диском; полетит ко мне диск
(будто бросится солнце на землю), сжигая меня.

Вспыхнет Слово, как солнце, —

— это будет не здесь: не теперь.

Самознание мое будет мужем тогда, самознание мое, как младенец еще:
буду я вторично рождаться; лед понятий, слов, смыслов — сломается:
прорастет многим смыслом.

Эти смыслы теперь мне: ничто; а все прежние смыслы: невнятица;
шелестит и порхает она вокруг древа сухого креста; повисаю в себе на себе.

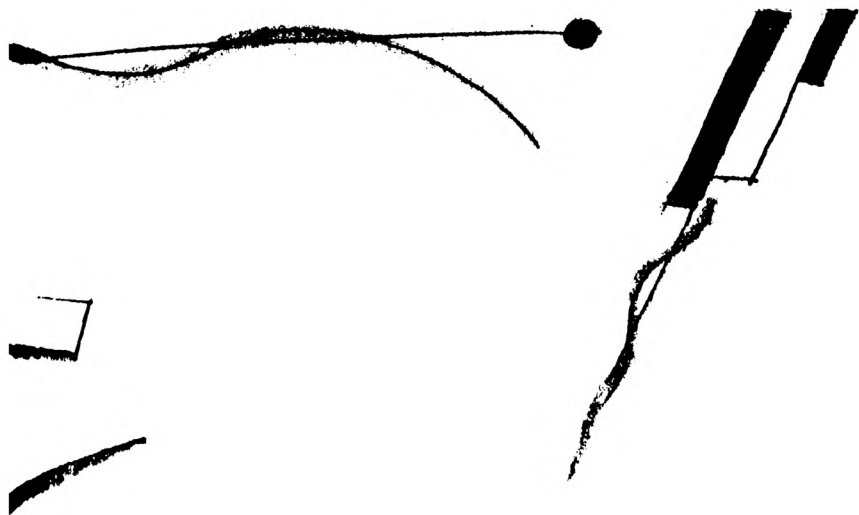
Распинаю себя.

Стая воронов черных меня окружила и каркает; закрываю глаза;
и в закрытых ресницах: блеск детства.

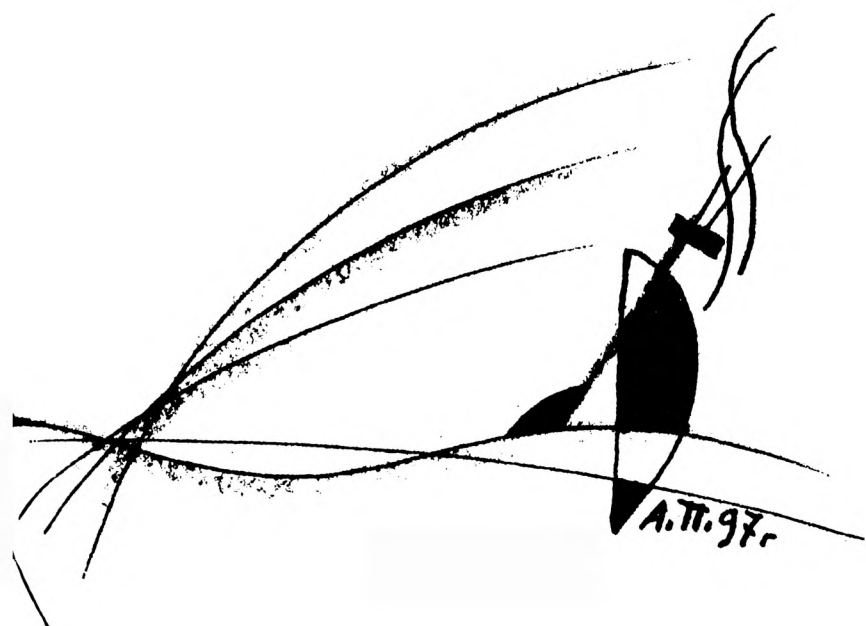
Перегоревшие муки мои — этот блеск.

Во Христе умираем, чтоб в Духе воскреснуть.





КРЕЩЕННЫЙ КИТАЕЦ



КАБИНЕТИК

У окон: —

— протертый, профессорский стол с очень выцветшим серо-зеленым сукном, проседающий кучками книг; здесь пузато уселась большая чернильница; падали: карандаши, карандашники, циркули, транспортеры, резиночки; лампа: зеленый металл прочернился, а абажур — лепестился; валялись листочки и письма с французскими, русскими, шведскими, американскими марками, пачки повесток, разорванных бандеролей, нераспечатанных и неразрезанных книжечек, книжек и книжищ от Ланга, Готье¹ и других; составлялись огромные груды, грозящие частым обвалом, переносимые на пол, под стол и на окна, откуда они поднимались все выше, туша дневной свет и бросая угрюмые сумерки на пол, чтобы отдаться на полки и полочки, или подпрыгнуть на шкаф, очень туго набитый коричневыми переплетами, и посыпать густо сеемой пылью обои потертого шоколадного цвета, и — серого папочку; в серой своей разлеталке посиживал он, скрипя стулом и уронивши в сукно вычисляющий нос, — где с надсадой вышептывал он: —

— ”Эн, эм, эс!” —

— принимаясь чинить карандашик; отсюда в пыли, в паутине и в листиках рассылал шепоточки и письма свои Миттах-Лефлеру², Пуанкаре³ или Клейну^{4*} и прочим, —

— ожесточаяся и умоляя Дуняшу и маму

оставить в покое бумаги:

— ”Не путайте, знаете, мне” ...

— ”Да ведь пыль, барин, — видите” ...

— ”Нет уж, оставьте: бумажечка каждая, знаете ли, — документ: переложите, — ничего не найдешь” ...

Он отсюда вставал; и рассеянно шел коридором, столовой; и попадал он в гостиную; остановившись пред зеркалом, точно не видя себя, он стоял и вычерчивал пальцем по воздуху знаки; случайно увидев себя пред собой, он впивался в себя самого очень зверски, поставив два пальца себе под очки; и не мог оторваться, не мог оторваться от пренелепо построенной головы, полновесной, давящей и плющащей папу (казался квадратным, он) и созерцающей из-под стекол очков глубоко приседавшими, малыыми, очень

* Математики.

раскосыми глазами, тупо расставленным носом; он гладил тогда полнощечное это лицо полнотелой рукой; повернувшись, старался увидеть свой собственный профиль (а профиль был скифский), крутой, кудробрадый, казавшийся зверским; смешной он такой: —

— да —

— домашний пиджак укорочен; кончается выше жилета; пиджак широчайше надут; панталоны оттянуты; водит плечами, переправляя подтяжки; подтянет, — опустятся; в этом своем пиджаке, как в мешке, может смело возвращаться — направо, налево; и кажется косо надетым пиджак; и от этого — что-то раскосое в папочке; он закосил пиджаком; очень часто он скашивал руки; и ногу он ставил на пол тяжелее, чем следует.

Помню, бывало, —

— стоит он таким голованом, засунувши руку в жесткую бороду — пальцами и приподнявши на лоб жестяные очки, наклонив набок лоб со свирепую, лоб перерезавшей складкою, точно решаясь на страшное дело; рукой барабанит по двери;

и —

— туловище перевернулося животом как-то наискось от плечей; ноги тоже поставлены косо; такой он тяжелый и грузный от этого перемещенья осей; —

— он стоит: —

— тарарахая пальцами в дверь, свирепеет; и — шепчется, шепчется, шепчется; страшно мне, страшно: какое-то есть тут "свое".

— "Ах, да что вы такое, — окликнет его проходящая мама с ключами; идет она в шкаф — за корсажем, малиновым, плюшевым; и — за такую же юбкою.

Папочка тут переменится; высунет голову и поморгает на мамочку робкими глазками, будто накрыли его:

— "Ах, да я-с?"

— "Ничего себе"...

— "Так-с!"

Барабанит ногами себе в кабинетик, какой-то косой:

— "Да, идите себе!"

— "Вычисляйте!"

Споткнется словами, рассеянно повернув и благодушно-рассеянный, пестий какой-то свой лик и посмотрит надглазьем приподнятых стекол (очковых).

— "Да я уж и так, мой Лизок... вычисляю"...

А мама улыбкой укажет:

— "Чудак".

И, позванивая хлопотливо ключами, идет за малиновым, плюшевым, бальным корсажем, за плюшевой юбкою; кружево — черное; нет рукавов; на груди — большой вырез; она голорукая и гологрудая, густо напудрив

головку и в волосы вставив эгретку⁵, — седая какая-то — едет плясать и кружиться в огромном гран-роне⁶.

А папа опять припадет вычислять над давно выцветающим серо-зеленым сукном, выпивая чернила чернильницы — в листиках, карандашах, карандашиках, транспортирах и книжищах: развычисляется, размахается, вскочит, забегает в паутинниках, все сотрясая; подпрыгнет он с выщептом —

— "Эн, эм, эс: ах!" —

— натолкнувшись на
книжную грудь:

— "Сломал: фу ты, дьявольщина!"

Сосредоточенно принимается вдруг очинять карандашик, стараясь его острие превратить просто в точку: тогда наступает молчание; после опять поднимаются охи да вздохи о свойствах какого-то мира, иного, не нашего; я наблюдал, как он гулко расхаживал взад и вперед, повисая косматой своей головой как-то горько и терпко, свисая направо и глядя на ровные полки коричневых корешков исподлобья, как будто он делал им смотр; с карандашиком правую руку всегда прижимал он к груди, бросив в воздух махавшую левую руку и два оттопыривал пальца на фоне обой шоколадного цвета; и вдруг начинал он так мягко сиять добротой, когда контуры нового исчисления "эф, икс" перед ним восстанавливали; о нем сообщали в Сорбонне; о нем математик французский Дарбу⁷ обменялся уже впечатлением с папочкой, а Чебышев* — содрогался.

Я знаю, что тут развелись скорпионы — не злые, а книжные; папа мне раз показал скорпиона, перехвативши меня, проходившего мимо; прижал меня к шкафу; и, открывая огромный и пахнущий фолиант: том Лагранжа⁹, подставил его мне под нос; показал скорпионика, очень довольный событием этим.

— "Ти-ти... Ти-ти-ти!.." — приговаривал он, догоняя его на странице Лагранжа большим указательным пальцем.

— "Ти-ти", — и лицо засморчилось морщинками — юмористически, чуть саркастически, но добродушно и радостно:

— "Ах ты, смотри-ка: ведь ползает, ползает шельма!"

И мне подморгнувши татарскими глазками, он произнес с уважительным шепотом:

— "Знаешь ли, Котенька, он поедает микробов: полезная бестия".

— "Да!"

Скорпиончика я рассмотрел на странице Лагранжа; он — маленький, ползает, уничтожает микробов; полезная шельма! А папа, захлопнув полезную шельму, убрал ее в шкаф; и — запахло антоновкой (эти антоновки он покупал, одаря антоновкой нас за обедом).

Раз в год, облакаясь в халат, подымал столбы пыли он грязною тряпкой, чихая и кашляя; тут он сносил, что не нужно, в кофейного цвета шкафы, наполнявшие и расширение коридора (меж детской), пытаясь

* Пафнугий Львович Чебышев, русский математик⁸.

шкафами ввалиться к нам в детскую и запрудить вовсе выход: закупорить книгами нас; и порой отпраплялся с Дуняшей и дворником он в кладовую, снося весь излишек скопившихся масс; но Антон, дворник наш, подобравши ключи к кладовой и вступив в соглашение с жуликом, книги вытаскивал; книгами папы еще после смерти его торговали в Москве букинисты.

Да, да. —

— На шкафах поднялись многогорбые, книжные груды, завешанные зеленой материей, — пыльной, как все; среди них помещалась кровать, скрипучая, с жестким матрачиком и с одеяльцем такого ж, как все, шоколадного цвета; торчали две туфли и множество серых от пыли сапог, поражая меня рыжевато-нечищенным видом своих голенищ — среди гирь, —

— поднимаемых папой с натугою:

— "Раз!"

— "Два!.."

.....

— "Шестнадцать!" —

— (страдал он запором) —

— шкафы умножались; а — новые ставились, в грустных годах обрастая кровать (в головах, и в боках, и в ногах!), образуя средь комнаты комнату с узким проходом, куда удалялся наш папа: полеживать с книгой: —

— бывало: —

— пойдешь,

— и увидишь: в градации мягких тонов шоколадного, серо-кофейного, серого, серо-зеленого цвета лежит на постели с очками на лбу, закрывая глаза, уронивши на грудь утомленную руку (с развернутым томиком); как-то бессильно другая рука повисает с постели; лежит посеревший и бледный, в морщинках; и кажется тут он старше, чем следует (в общем моложе, чем следует, выглядит он: пятьдесят ему минет!).

И думаешь:

— "Папочка..." —

— Или: —

— увидишь: раздетый лежит на боку, подоткнувшись, поджавши колени и вырисовываясь изогнутым телом; под одеяло ушла голова; только выставлен нос да кусок бороды (это он отдыхал, пообедав); и — скажешь:

— "Чай подали, папа!" —

— Привскочит: сидит на постели, глаза кулаками усиленно трет, суетится, дрожа над очками:

— "Ах, ах-с!"

.....

Да, настырная книга грозила гостиной; как будто совсем невзначай, угнетенный обвалами книг, папа выдумал выставить книжную полочку: прямо в гостиную. Ай, что тут было!

Увидевши полочку, мама всплеснула руками; и личико все прохудело от скуки; и — кинулось прямо в глаза; и лицо ее встало одним сплошным взглядом, придиричивым:

— "Вон!"

— "Эту гадость?"

— "Сюда?"

— "Вон-вон-вон!"

Папа нашептывал что-то такое "свое" относительно полочки, методически разрезая по воздуху фразы свои разрезалкой, которую всюду носил он с собой, точно книгу, чтоб мнение его относительно полочки явно легло перед нами раскрытою книгой:

— "Ну вот-с..."

Но на это как мама затопает:

— "Вон!"

— "Беспорядок!"

— "Разводите пыль. Коль хотите вы пыль разводить, то держите ее у себя!" —

— Да я знал, что "ну вот-с", как и все откровения папочки, быстро отправятся мамою: в кладовую — пылиться, откуда уйдут... к... букинисту! —

— Несчастливая книжная полка влетела стремительно в кабинет обратно: боялись движения томиков с северо-западного угла, где хладел кабинетик, — на юго-восток, где пышноели парадные комнаты в чванном бескнижии; книжный, протянутый ряд, многотомный, коленчатый, длинный, как щупальце, пробовал, дверь отворивши, пролиться томами повсюду, завиться вокруг всего прочего; часто казалось, что папа, как спрут, от себя разбросал многоноги из книжных рядов и нас ловит, цепляясь за руку, за ногу объемистым томиком, сиюсья все сделать книжным: —

— все ходит, бывало, за мамой и все собирается дать рациональный совет, убедить ее в способах, истекающих из точки зрения папы; но рациональный совет его кажется мамочке, бабушке, Доте, Дуняше и мне только змеем словесным, пускаемым в небо страницу томика: —

— видел, как дергались в небе бумажные змеи хвостом из мочала: —

— Мы головы все задерем: ничего не пойдем; где все это живет и летает у папы — на небе? Но называется все это: дать рациональный совет. —

— Или способы: способы предлагались всегда им на все; и казалось мамочке, бабушке¹⁰, Доте¹¹, Дуняше и мне: если б мы принялись прилагать эти "способы" к жизни, открылось бы тотчас же "Общество распространения технических знаний" у нас, основателем общества сделали б папочку; и секретарь заседал бы в столовой и писал протоколы, от скуки бы умерли мы. —

— Точки зрения: как разовьет точки зрения он, так становятся глазки его неприметными точками зрения; что же получится? Заговорит за столом о своих точках зрения; заговорит и не кушает: мыслями он разрезает котлеты, словами жует; так второй он рзводит обед за обедом; и называется все это: "умственность"; и возвышается "умственность" эта, как лоб (лоб огромный: лобаном его называла скучающе мамочка); это — абстрактное мнение, нет, — не выносит она: "Михаил Васильич, вы шли бы к себе: отправлялись бы в клуб". И абстрактное мнение, встав от стола, тарахнувши стулом, стараясь быть тихим, выходит и просит Дуняшу почистить ему сюртучок (половицы уже раскричались жестокими скрипами: папа, стараясь быть тихим, себе собирается в клуб). —

— Надевает сюртук не сюртук — лапсердак (одевается он не как надо, а собственным способом); "лапсердак" волочится почти что до полу, не сходится он на груди; застегнул — "тарах", оборвался: болтаются нитки, платок носовой вывисает, как хвостик из фалды, а ворот завернут и вывернут в нетерпеливости быстрого надеванья на плечи; наоборот: пиджачок укорочен, кончаясь выше жилета и надуваясь до ужаса. —

— И тем не менее папочка ходит за мамочкой с томиком; и — проповедует способы, им измышленные, — там, в кабинетике, снова и снова выходит оттуда — давать нам советы, как жить и что делать: ударит, как берковцем¹², словом; у мамы расширятся ужасом скуки глаза, и она ручкой ухватится за гуттаперчевый шарик; и "пс" — хочет прыснуть сосновой струей пульверизатора; но — пульверизатор не действует; в воздухе густо висит математика; —

— папа наш — скиф; он не любит духов, говоря о духах: "Мне не нужны они: я ничем не воняю", но он все же пахнет: антоновкой, полупритушенной стеариновой свечкой и пылью; порою всем вместе за раз; и не слышит он музыки; музыкой мамочка борется с папочкой; —

— все-то пытается выиграть способы жизни; и ограничить нас гранями, но не такими, как ясные грани на маминых светлых сережках: абстрактными гранями (не понимаем мы их: мама, бабушка, Дотя, Дуняша и я); мама тотчас садится играть на пьянино; и папа, нам вынесший томик французских мыслителей, тотчас уносит объемистый томик, в котором изложена нам рациональная ясность, которую он попытался однажды просунуть в гостиную: полочки нет; и — не будет!

.....

Боролись с коленчатым рядом томов, разводимых огромными быстро рыжевшими массами. Нечего делать; напялив халат, расчихавшись, раскашлявшись, папа кряхтя и вздыхая вставал на скрипевший, давно раскачавшийся стул: произвести сортировку томов, долженствующих

поступить в кладовую; казалось: давление томиков разорвет кабинет; папа в белой сорочке, со свечкой в руке и с развернутым томиком Софуса Ли* упадет из пробитой стены на постель к... Генриетте Мартыновне¹⁴, чтоб продолжать свое чтение.

Но кабинет все держался; и — странно сказать: умывальник поставила мама туда: выходила плескаться и брызгать на книги водою и мылом; но папе ничто не мешало выщепывать иксы и игреки, грохотом проходя мимо детской с зажженною свечкой и с томиком Софуса Ли по коридору — в ту темную комнатку, где очень часто взрывались звуки спускаемой бурно воды, где я не был, откуда ко мне приносили... посудинку, где очень часто просиживал папа с зажженною свечкой и с томиком Софуса Ли; очень часто там портились трубы; и папа ходил проливать темно-красную жидкость и прекращать недостойные запахи: —

— с п о с о б такой удавался; и черные палочки, кажется, марганцевого кислого кали стояли на полочке среди томов математики: —

— да, разводил он слова, точно черные палочки марганцевого кислого кали, уничтожая мгновенно дурной запах слов благородной тенденцией —

— Папа наш был альтруист в высшем смысле: —

— порой: в темной комнатке было так много эгоистических запахов, что перемазанный водопроводчик, гремя сапогами, туда проходил; и вытаскивал странные части: и трубы, и тазики; папа со свечкой справлялся тогда у него, в чем же, собственно говоря, заключается порча; казалось тогда: папа близится к цели; и "О б щ е с т в о р а с п р о с т р а н е н и я т е х н и ч е с к и х з н а н и й" возникнет вот-вот перед темною комнатой; водопроводчик окажется председателем общества: папа же будет вести протоколы свои: —

— не позволено папе вести протоколы в гостиной!

.....

Мне дорог был он и тогда, когда делался очень похожим на голованного гнома: своей головою, ушедшей в покатые плечи, бывало, на нас повернется; и — поглядит очень пристально, чуть засосавши губу, испуская особенный звук через губы цедимого воздуха "ввссс", будто хочет он что-то такое сказать; вместо этого он поморгает и, повернув свою голову, задуботит к себе в кабинет, как в глухую пещеру.

.....

Порой я вперяюсь в папино, очень большое, румяное, несколько полное и обрамленное небольшою, курчавой, каштановою бородою лицо; промышленляют лета на нем явственной проседью; кажется это лицо мне особенно

* Шведский математик¹³.

мылым (как часто боюсь я его), полновесным, давящим и плюющим папу; оно пренелепо построено; да, пренелепо построена вся голова с очень-очень большим вылезавшим лбом и с глубоко присевшими, малыми, очень раскосыми, будто татарскими глазками; глазки, как стрелки: пошлются они в собеседника, ткнутся булавками: кажутся карими; или — забегают, вертятся, точно колесики: кажутся серыми; но, запыхавшись, споткнутся о новую мысль, улыбнутся, синяя и обливая таким превосходным добром, как просветное небо за тучами.

Гром — в бороде, под усами, во рту: борода и усы: —

— обстрижется, вернется с совсем небольшой бородой, ставшей вдвое колючее, с шею, ставшей полнее, с лицом уменьшившимся, — кажется зверским таким, изуверским таким... —

— рот: —

— широкий, просунутый верхней губою, съедающей нижнюю, спрятан щетиной сурово нависших усов, очень жестких и колющих поцелуем меня; так и кажется, рот разорвется в простецком, естественном лае: "Все это, мой Котенька, — да-да-да-да: болтовня, болтовня — болтовня либералов" (он — скиф, а не западник: рот); и пойдет, засучив кулаки, этот рот, прижимать болтуна; папа грудью провалится, шеей уйдет в набежавший на голову смятый свой ворот, опустится всей головой ниже плеч, точно бык (нос висит на ключице; очки отседают; и надо лбом — клочок волос; неприятно забежали кровью налитые глазки, на шее прочерчена красная жила, и — как она бьется: —

— "Помилуйте, батенька: порете чушь! Почитали бы Канта¹⁵, Спинозу¹⁶ и Лейбница¹⁷! и либеральный болтун отпускает крылатое слово: "Ужаснейший спорщик!" —

— Спросили однажды студенты меня на докладе:

— "Кто этот свирепый чудак?"

— Я ответил:

— "Профессор Летаев".

— "Ужаснейший спорщик!!" —

— рот — спорщик!

Но рот рассмеется: и — кроется милое это лицо очень явственной крупной морщиной, расставленной справа и слева от носу и надувающей щеки буграми; покажутся белые, крепкие зубы, которыми папа гордится; большой, не прямой, а широкий, гусиный разъедется нос, точно старый насмешник, поставивший руки в широкие боки, — ноздрями; и — вот-вот-вот он повыпрыгнет, точно живая лягушка: —

— И станет румяным проказником папа, как сатир; ему бы на голову плющ (может быть, он с копытцами); сзади платок вывисает: совсем сатирический хвостик! Он голову выгнул и смотрит на мушку, слетевшую вниз с потолка: "Мушка, знаете, — вовсе, как птичка: великолепнейшая машинка; такую машинку

не сложит профессор Жуковский¹⁸". И — с "ти-ти-ти-ти" — подбирается полной ладонью, изогнутой, к чистящей лапки "машинке". И — "цап-царап": мушка сидит — в кулаке... —

— Нос — забавник: —

— очки: —

— очень

строго сверкают они; говорит, на слова поднимает очки он, отчетливо подпирая их снизу дрожащими пальцами; руки дрожат у него от волнения; свирепые, четкие складки разрежут весь лоб, собираясь пучочком над носом.

Разгладится после, откинется: весь подобрев, просияет; и тихо сидит, в большой нежности — так, ни с того ни с сего: большелобый, очкастый, с упавшею прядью на лоб, припадая на правый на бок как-то косо опущенным плечиком; и — подтянувши другое плечо прямо к уху, засунувши кисти совсем успокоенных рук под манжеты к себе; накричался; и — тихо сидит, в большой нежности, — так, ни с того ни с сего; улыбается ясно, тишайше себе и всему, что ни есть, напоминая китайского мудреца, одолевшего мудрость И-Кинга¹⁹, распространяя тончайшие запахи чая и спелых антоновок: —

— странно: ведь вот в кабинете же пахнет скорей старой книгой, бумагами, пылью, порой сургучом; а откуда же запах антоновок? —

— после скандалов и ссор пропадал этот запах; и пахло естественно: пылью.

.....

Закат!

Застолбели вдали горизонты крепчающим дымом; везде неподвижно висят столбняки; еле свешиваясь, передвигаясь чуть-чуть, не спадая ни капли; и небо не небо уже; что желтей? Канаречник просто какой-то! —

— и папочка — небом освещенный, духом просвеченный! —

— В не-

бе совсем бирюзовом прясно живут от облака певчие светочи — зовом: в вишневом; погасли: и стало сурово, и стало лилово: совсем как симфония, где окрылившийся юмор, сливаясь слезами в хрустальное озерце, приподымает звончайшие песни сквозных ледников и кристаллов; не знаешь, что это: кристаллография, музыка?

ПАПОЧКА

Знаешь: с в я т е й ш е е!

В папе живет оно; и человеку душевному кажется каменным, иль — отвлеченным от жизни, которая только "расстройство чувствительных нервов"; и папа шагает по дням юмористиком, пред-

почитающим листики лекций всей мистике: но обожающим... почки и листики майского тополя; конфуцианская мудрость¹ его наполняла; любимые фразы его:

— "Все есть — мера гармонии!"

— "Есть же гармония, знаете, мера же — есть!"

— "В середине и, да, в постоянстве — действительный человек проявляется"...

— "К миру идем, чтоб, став миром, над миром стать, — в мире, по отношению к которому мир — только атом, переходя по мирам; мир миров это — мы; корень нас есть число, а число есть гармония меры".

— "Так все есть гармония меры".

Я знаю, что папа живет консерватором мер и весов; открывает он звуки гармоний при помощи чисел; невинное, неисчислимое он от себя оттолкнет, восхищаясь и малою мушкой, и тем, что картину Риццони² возможно разглядывать в лупу; часами умел углубляться он в мелочь, разглядывать мелочь; и строить из мелочи вовсе не мелочь.

Запомнилось:

— "Да, вот, вода!"

— "Аш два о: красота!"

— "Простота!"

Он доказывал всем, что шампанское — дрянь: неизящны структурные формулы сложных составов:

— "Вода есть великий, нам данный, напиток", — и в маленьких глазках — светелица; светочем мысли отплющит по скатерти пальцем — пройдет по комнате, перехвативши графинчик с водой, отчего на стенах засветлит беготней излучаемых заек; очки подтолкнувши на лоб и прищурился раскосые глазки, любит; и освящает обряд водопития бегами мудрого слова (так: у меня уваженье к воде); утончение чувств — не изящество; нагроможденье числителя и знаменателя отношения меж раздражением внешних предметов и да, ощущением их:

— "Сложность, путанность мысли и чувств", — полагает устами он мнению нам на ковровую скатерть таинственно — "не глубина"; эти мысли не мысли: процесс вычисления — не результат; хороши — результаты".

— "Да, да", — суетится устами усатыми он и кидается взорами, —

— "да-с, в результате обычно", — его разрезалка взлетает, — "числитель и, да-с, знаменатель искомого отношения, да-с, сокращаются — да-с" — (разрезалка по воздуху делает быстрый зигзаг, сокращая туманную мысль — в результат простой мысли) — "и мы переходим: к простым отношениям!!" —

— Тут озирает противника (маму) победно (но хмурится мамочка).

— "Это какая-нибудь — да-да-да! — только треть, иль только вторая, а вовсе не пятая, не двадцать пятая", — очень лукаво хихикает

он, указательным пальцем

ударив в стакан, —

— ”дзан!” —

— ”Опять?”

— ”Не звоните в стакан!” — вырывается

возгласом мамочка...

— ”Мир — отношение простое и краткое; он — результат многосложных процессов, но он не процесс: результат!” —

— Тát-тарát! —

— Он подщелкнет: в клеенчатый круг; и — подбросит: тот круг; и — поймавши, подложит под круг этот круг (он играет кругами).

— ”Пошла ерунда!”

— ”До чего это скучно: опять вы устроили складки на скатерти!”

— ”Да-с”, — откликается, очень довольный созданием мира и выражает довольство свое в неожиданной шалости: выскочив, перебегает он грохотно небольшое пространство передней — до кухни.

Стремительно выкрикнет, дверь распахнув, свой экспромт — Афросинье:

Прошу Афросинью
Нам сделать ботвинью
Без масла и мяса
Из лука и кваса;
Поевши гороху,
Пеките лепеху
Из кислого теста,
О, вы, — Клитемистра!³

.....

Да, он выдвигал своим правилом: очень размеренный, все бы сказали: мещанский Китай, из обычаев света, законов и правил, наполнивши правила вовсе иным содержанием, взятым —

— у Лейбница, —

— у Пифагора⁴, —

— у Лаодцы⁵, —

— упорно старался во всем проводить это все, притесняя советами нас и врываясь глухим носорогом в негранную музыку: —

— выгранить, выгранить,
результировать, взвесить
и взлюбить! —

— На это ответ-

ствует мамочка:

— ”Вы — голован!”

И выходят одни только казусы: только смешные последствия громких теорий; сам папа зажил, как святой, им самим ограниченной жизнью;

казался другим ограниченным он; появляясь средь нас простецом, он бывал очень часто в смешном положении; —

— встретясь на улице с ним, не сказали б:

— "Профессор!"

Сказали бы:

— "Жулик!" —

— менял котелочки и зонтики он в преогромном количестве, все оставляя свое и утаскивая чужое добро: очень ветхое, впрочем.

Иные ловили унижить его: попадался

он тотчас же:

— "Видите?"

Раз было сказано:

— "Знаете, верно профессор Летаев страдает уже размягчением мозга?"

Да, да: рациональные способы жить не всегда удавались; и ясность французских мыслителей верно таила туманы; я долго глядел на него; и загадочней мне становились силы, слагавшие мир его; сам он себе изменял; — преступал всюду меру: безмерно выдумывал меры и способы; и забывал их; как способ заварки кислот (марганцевой и борной).

— "Ах, Лизанька", — раз он сказал, — "есть прекрасные способы предохранить наши зубы от порчи заваркой кислот!"

— "Ах вы: способы, способы!"

— "Нет, знаешь ли..."

И решенье свое затаил он до времени; раз он ворвался с огромной воронкой из жести, с зеленой бутылкой, с мешком кристаллической кислоты (он пустую бутылку зачем-то купил).

— "Что вы это?"

— "А это, Лизочек... вот видишь ли, я... чтоб заваривать... борную... да, кислоту..."

— "А?.. Да кто вам позволит?"

— "Я, Лизочка, быстро себе заварю..."

— "Не пуцу: безобразие, срам!"

Но воистину, с бычьим упорством, отставив поднос, он поставил бутылку; взясь над воронкой.

Тут мама, не выдержав, лопнула хохотом; и тетя Дотя за нею — горошиком; тыкаясь носом в пустую бутылку и обжигая дрожащие пальцы струей кипятка, бормотал он:

— "Раствор концентрирован".

И "ти-ти-ти" — отправляясь, забулькав, в воронку раствор кислоты; раза два заварил таким образом он, позабывши о способе; способ (воронка) отправлен был тут же: в помойку; так способы жить разрушались: способ за способом; он не препятствовал; да, он любил: результаты, итоги, способности, ставшие способом; сам же терял эти способы; жил он способностью: выдумать способы!

Помню!

Раз появился в столовой седой овцебык; такой выпрянный, важный — профессор из Киева; папочка, выскочив и потирая приветственно руки, отгрохотал в кабинет, оставляя почтенного гостя в немом изумлении:

— "Повремените: минуточку!"

Знаю: всегда так; придут — а он скроется: производить в кабинете какое-то дело (какое — не скажет); какое — я знаю: —

— два дела свершаются тут очень часто одно за другим; дело первое: выбег по коридорику в темную комнатку с перегоревшею свечкой; и — с томиком; там постояв, выбегает обратно; и на ходу он застегивает... не выходит: стоит перед дверью в гостиной; уже говорит из-за двери он с гостем; и — продолжает... застегивать, выставив нос из-за двери, то самое, что не застегнуто; знали мы это; и очень боялись, что выйдет он прежде еще, чем успеет окончить все это; но он выходил, застегнувшись; и тотчас же — с головой в разговор; —

— а второе, таимое дело — оно заключалось в том, что:

— "Сейчас... Повремените минуточку!" —

— Скроется: выскочив, радостно грохнет:

— "Василий Иванович, я рад... Вы, Василий Иванович, надолго из Киева?.. Вы бы, Василий Иванович... Я вам бы, Василий Иванович..." — "В а с и л и й И в а н ы ч", "В а с и л и й И в а н ы ч". Василий Иванович, наверное, может подумать, что тут издевательство есть над "В а с и л ь е м И в а н ы ч е м"; вдруг превратится "В а с и л и й И в а н ы ч" в "В а с и л и й И л ь и ч"; произносится это "В а с и л и й И в а н ы ч" так радостно, точно в самом сочетании звуков "В а с и л и й И в а н ы ч" есть тайна, которую знает лишь папа один, а "В а с и л и й И в а н ы ч" не знает; и светлые зайки бегут: вот-вот-вот: —

— пробежало по скатерти, порхнуло под потолок, забыстрело зигзагом на белых обоях, по лицам; потерялся в окнах; Москва прояснела: то — солнышко (вот так "В а с и л и й И в а н ы ч", могу сказать!) —

— розовым крепким румянцем горят наши лица! —

— В а с и л и й И в а н ы ч Быкаенко тронут любезностью, радостью папы: —

— о чем эта радость? —

— Я — знаю: —

— "Повремените минуточку: я, вот, сейчас", — убежит в кабинетик, напуганный, — прямо к столу: и хватается там, над столом, за карманы; за стенкой я слышу:

— "О господи! Черт возьми! Ах!"

— "Потерял..."

— "Где же ключик?"

— ”?”

— ”Здесь нет”.

”Шу-шу” — шептушйрит бумага, взвивается листик, и грохает что-то...

— ”Пропал!”

Наступает молчание, полное ужаса; если ключа не найдет, то не выйдет, завозится; гость — ожидает.

— ”Нашел-с!”

Грохотание ящика: знаю, оттуда хватается толстая, переплетенная книга; на лоб отметнувши очки, припирается носом к страницам, исписанным скачущим почерком; пальцами бегаёт, очень довольный собою и ”способом”:

— ”Ну-ка, посмотрим?”

И шевалдйт шептуном:

— ”Так-так-так: это — ”а”; это — ”б”: Берендеев, Бернеев, Берсеев, Берчеев... Нет — дальше: ах — нет: фу ты, черт: Вадабаев, Вадеев; да раньше же, батюшка мой; вот: Бугаев, Будаев... Быкаенко!! Вот-с”.

— ”Ти-ти-ти!”

— ”Вот-с!”

— ”Нашел-с!”

— ”Вот”, — доносится удивленный и радостный шепот, — ”Василий Иванович Быкаенко...”

— ”Деятель...”

Шепот становится громче:

— ”Профессор!”

И шепот становится возгласом:

— ”Э... ге-ге-ге: тй-тй: ти-ти... Болтун!”

— ”А?”

— ”Скажите пожалуйста, батюшка мой!”

— ”Вот ведь штука!”

— ”Болтун!”

— ”Либерал, австрофил!”

— ”Ти-ти-ти...”

И вскочив, от волненья пробегом пройдетя за стенкою, свечку зажжет, и бежит мимо детской скорее он в темную комнатку: там обсуждать непосредственно узнанное; там — он запрется: —

— я знаю: уже: —

— на под-

кидистом почерке, в книгу стремясь, забегают знакомые наши — все, все (Берендеевы, Беренёвы, Бурнёвы, Бернилины, Бёрничи, Бёрповы, Бёрши, Берсеевы — многие сотни их!), располагаясь фамилиями в алфавитном порядке; даются кратчайшие характеристики, имена, отчества, роды занятий и склонностей; —

— здесь почерпнувши сырой материал для беседы, мой папа, вернувшись со свечкой обратно, бежит перегромом в гостиную, к гостю; еще не вбежавши, еще спотыкнувшись за дверь, там

странно застряв, он кидается вразумительным словом, которое только что было подчеркнуто:

— "Да: очень рад видеть вас", — раздается за дверью.

— "Вы, верно, Василий Иванович", — скрипнула дверь, и оттуда просунулся нос вместе с очень лукавым, совсем добродушным моржачьим каким-то лицом.

— "Вы, Василий Иванович", — папа за дверью старается справиться с неподатливой туалетною частью:

— "Вы, верно, недавно сюда?"

— "Ну, что нового в Киеве?"

— "Что Антонович⁶? — скрипят половицы в гостиной... — Что пишет Грушевский⁷? — скрипит уже кресло... — Здоров ли Букреев⁸? Захарченко-Ващенко так же толста?" — руки бросятся вправо и влево.

— "А как Костяковские⁹?"

Старый профессор (болтун, либерал, австрофил), — весь надутый, косматый, седой овцебык, не старается выдохнуть ясно пахучего мненья; першит он медлительным словом и пфакает в белый платок, — передутый, пропученный, точно бутылка — ни звука; а папочка знает, что эта "бу т ы л к а" таит много пены и шипа; и ходит вокруг, собираясь испить разговор, и очками поводит, облизываясь, как кот; он подсядет с "позвольте спросить", чтоб вонзиться: своим языком, точно штопором: —

— вертит и вертит, и вертит его, и — потягивает за пробку; "бу т ы л к а" и хлопнет; и пфукнув словами, она разольется шипучим шампанским; и все опьянеют; шипит "ли б е р а л ь н ы й б о л т у н" и заводит еловые поросли слов; мама тихо сидит васильковою кофточкой; грудкою дышит, как веером, тихо колеблемым; вижу: заслушался ротик.

— "Ах, ах!"

— "Хорошо!"

— "Так красиво: так звучно".

А папа сидит юмористиком: едко, раскосо смеется и смотрит внимательно, как положили турусы на дроги: стегнут лошаденку; и благоглупость — поехала; белендрикает очередной белендря!¹⁰ Папа вдруг оборвет его, щелкнувши словом, как пробкою: дернется мамочка (губки стянулись колечком); пронзительный крик, поднимаемый папой, противником самостоятельной жизни окраин, ее удручает; а папа пойдет на окраины словом:

— "Позвольте, позвольте же вы!"

И подъехавши тихо басами, подкинется взвизгами; — ну и пошел безраздельно кричать во весь рот:

— "Вы — отъявленный, батюшка мой: вы — отъявленный... Вы — с полячишками... Вы, я скажу вам, за Австрию... — вскочит и ухает шагом; проходит тяжелым пропором чрез чуждые мнения он, ухватившись за мненье, как за сюртучную пуговку, крепкой рукой, припирая свой нос и свои два очка к подбородку Быкаенки (он его выше), на цыпочки встанет; припятится в угол Быкаенко; там претяжелым раздавом додают его; уже

лично мамочки все прохуеет от скуки; и — кинется прямо в глаза; и они раскалятся, и бегают, синие, как огонечки угарного газа; тяжелым угаром больна голова; обжигают угарные глазки придиричиво все, что ни будет пред ними: меня, так меня; вероятнее — папу.

Спор крепнет за чаем:

— "За Австрию, Австрию вы; украинская литература содержится, батюшка мой, на какие же деньги?.. Мы знаем-с про это!.. Вы, я доложу-ка вам..."

— "Я — за Шевченко... Шевченко затерли совсем москали".

— "Как и Гоголя?" — едко хихикает папа.

— "Что Гоголь? Кацап... Вот — Шевченко... Шевченко..."

— "Шевченко Шевченкою", — ковырнет папа носом по воздуху...

— "А Антонович? А шайка его?" — и покажет глазами он в угол (и я посмотрю — не сидит ли в углу Антонович с какой-то шайкой); наш папа — русак; и я знаю от мамы, что быть русаком — это значит: перепоясавшись красными кушаками, стучать и кричать; мама этого очень не любит, а вижу, что дело пошло к русакам; вижу, папа сидит, напрягая на все свои хитрые, "с к и ф с к и е" глазки, совсем бисеринки, блестящие "с к и ф с к и м и" точками зренья на все: —

— папа — скиф, разрубатель вопросов, великий ругатель! —

— и кажется папа тираном, готовым зарезать столовым ножом, кого хочешь, — столовым ножом, им рассеянно схваченным и ударяемым в споре по скатерти, — правда, тупым лезвием (все же мама боялась за скатерть, за новую, что с петухами, а не за ту, что с павлинами); помню: всегда этим ножиком папа из скатерти силился сделать котлету:

— "Да, да — Антонович, скажу откровенно вам, есть иезуит!"

Но Быкаенко пыжится (вот и поедет скандал через стол):

— "Что же, знаете, ведь Антонович прекрасный ученый, общественный деятель: наш украинский Эразм¹¹... Вы, наверное, не читали трудов Антоновича".

Папа же свалится словом: протянутым пальцем как тыкнет:

— "Читал-с!"

И — старается выставить армию доводов, — быстро привскочит на стуле, глазами вопьется в свое отражение на меди (у нас самовар красной меди), руками по воздуху рубит котлеты: и ну нам насвистывать, ну нам нащелкивать: мячиком прыгает слово по комнатам!

— "Но я скажу вам во-первых!.."

— "В-десятых!!"

— "В-двадцатых!!!" —

— "Да-с, да-с!"

Знаю: "да-с" это очень чревато; из "да-с" воспоследует:

— "Как-с?!?"

— "Что такое?!?"

— "Да я бы за это за все вас..."

Но тут, спохватившись, уронит:

— "Эхма!"

Безнадежно отбросит салфетку на скатерть; и снова пригорбится, щелкнет крахмалом сорочки, присядет на стуле, поставит простертой ладонью он руку (подкидывать перочинный свой ножичек, не принимая в расчет возражений); другою рукою за стул зацепится, сжавши под мышкой его, и готовится прыгнуть на все это — вместе со стулом; так спорят часами: —

— игрушку я видел: "Кузнец и Медведь"; передернуть дощечкой: Кузнец и Медведь закидаются бить молоточками — на середину меж ними; я вижу теперь, что все это — игра, тут "Кузнец и Медведь": и сидят и кидаются то кулаками, то словом: на середину меж ними: —

— переберутся все мнения; разложатся папой, как карты: и эдак и так, — пасьянском; папа любил пасьянски; и пасьянски ловко слагал он из споров; подхватит все мнения Быкаенки; картами бросит на стол, разбросает и эдак и так, и Быкаенко смотрит, что выйдет из мнений его (просто черт знает что); и пыхтит он — какое-то кислое тесто; в мозгах — кочевряжина; пальцем копает и капают белою перхотью с плечи на плечи; обиженно он начинает прощаться, оставив все мнения; папа, довольный теперь, что поспорил, спохватится вдруг — законфузится, трет свои руки; и провожая в переднюю гостя, не может в душе нахвалиться он им (единомышленников не любил: он любил лишь противников).

Красный и потный Быкаенко, точно из бани, перевязавшись шарфом, просунет из шапки свое овцебычье лицо, как за сеном, склоняется к папе, а папочка, весь просияв, свою голову, шурясь, вожмет в подлетевшие плечи:

— "Я, так сказать... Не принимайте слова мои к сердцу!" — И полной ладонью разрежет он воздух; и — шаркнет тяжелой ногой, залезая другою рукою в карман панталон, обвисающих ниже колен носорожьими складками;

да, —

— панталоны длиннее, чем следует; серый, широкий пиджак, — он короче, чем следует; ниже колен, провисая сукном, панталоны слагали вторые какие-то ноги, которыми папа ходил — носком внутрь —

— и качаясь сутулой спиною, чуть согнутой вправо, пойдет из передней, посасывая губою и щелкая звонко во рту языком, точно он напился; отставленной левой рукой, зацепляющей все, размахался, —

— а в правой он держит всегда: разрезалочку, карандашик, иль томик, —

— и мама пристанет к нему:

— "Накричали?"

— "Да нет же-с", — моргает на мамочку он подбежавшими, точно колесики, быстрыми, виноватыми глазками. —

”Нет же-с, зачем: поговорили эдак, поспорили; так-с... обсуждали”. —

— Какой обсуждали! Так многие, появившись первично у нас, не являлись вторично. —

А в мамочке, знаю, уже копошится презлой муравейничек слов, очень едких:

— ”Не дали мне слово сказать... Нет, не дали же слова сказать! Я — сиди, как кухарка какая-то, перемывай чашки вам... Безобразие: срам!”

Закусается после надолго квартира (и здесь муравейчик, и там муравейчик); и папочка — шарк в кабинетик; за ним, следом, — мамочка; перемещается папа по комнатам; перемещается следом по комнатам мамочка; тут произносится многое; но о ”я” или ”вы” — нет помину; дилинькает мамочкин рот, колокольчик, о том, как ”иные” из нас на словах говорят о числе и о мере, на деле же...; да, есть какие-то ”некоторые, которые...”; этих ”некоторых” не люблю; лучше б прямо сказала, что ”вы”; а то ”некоторые” — грубияны, архаровцы, руссопята — заставят сердечко мое сильно биться; и думать, что ”некоторые” ведь вот — папа. ”Некоторые” — поскорей носорогами по коридору проносятся: в клуб...

”ЭДАКОЕ ТАКОЕ СВОЕ”

И уж утро!

Заглянешь в окно; и — обцапкан вороньими лапками снег; и ворона к вороне прижалась у желоба: холодно — хохлятся; утро — невзрачное, нелюбопытное; скучно!

Вращается веретень дней — тень теней!

Моя детская — однооконная, синяя; шкаф: мамин шкаф; очень маленький столик, два стула, постель Генриэтты Мартыновны; и — постелька: моя; сундучок и комодик; на стуле кувшинчик и тазик; за дверью, на вешалке — платья, и юбки, и кофточки, вывернутые и глядящие глупо подмышником; принадлежало все это не мне: Генриэтте Мартыновне; в темном углу — этажерка с игрушками; образ над нею, старинный, таинственный изумруд зеленейше сверкал на кровавый рубин из венца богородицы, ямой руки ухватившей перловое тело младенца.

Я знаю, что выпадет их среброродие, снег: накроет серебрянников в кляклую оттепель; но — оловянные лужи проступят и к вечеру сделают синий ледок (будет рдьянь): он сбежит хлопотливою струечкой; снова появится: в большем количестве; все забелеет хлопчатую массой; и лужи остынут окладами холода: кладами льда:

— ”Es ist kalt”*

* Холодно (нем.).

Насвистал, побежал продувной ветрогон — в неживой небосклон: свирепевших времен; уже в криках слезливые клавиши: мамочка села в столовой играть; уже хлынуло в ушки: хохочут уже надо всем. Запорхали события жизни в безбытии звуков; и мама, склоняясь над черным и резаным ящиком, взором ушла в белозубие клавишей; вижу: браслетка блистающе прыгает с маленькой ручки; серьга бриллиантит лиловенькой искоркой; мама припала головкою к звукам, дивуясь взлетными бровками (под завитушечкой) — звукам; она — разыгралась: не видит, не слышит; и — перетрясом головки она говорит:

— "Нет!"

— "Нет!"

— "Нет!"

— "Никогда, ни за что!" —

— "Как вы смеете, звуки?"

А звуки-то смеют: посмеет ли мамочка? Искорка только одна "это" смеет; и побежала с лиловых оттенков зелеными: стала — оранжевой...

Мы с Генриэттой Мартыновной — слушаем.

.....

Да, Генриэтта Мартыновна, немочка, вовсе не злая — немая, немая: говаривал папа о ней:

— "Удивительно, знаете ли, ограниченная натура!"

Она понимала — все, все.

— "Понимаете?"

— "Ja!"

— "Понимаете?"

— "Ja, o gewiss — selbstverständlich!"*

Бывало поспорит с учеными папочка; дядя катает свой катышек хлеба, заохавши:

— "Черт знает что: не поймешь!"

Генриэтта Мартыновна выскажет:

— "Я — поньяля!"

И курносо уставится папа, подбросивши ножик:

— "Все — поняли?"

Ножик поймает:

— "O, ja!"

— "И Спинозу, и Канта?" — А пальцы по скатерти пляшут горошками.

— "Ja, selbstverständlich!"

— "Ну, хорошо же!"

Привскочит, бежит в кабинет своим правым, покатым плечом, раскачавши по воздуху левую руку; и выбегает оттуда с огромною математической книгою: фыркать на нас тарабардою:

— "Це на аш два, фи-би-ку, корень энный из "и", минус, плюс: дельта "а", дельта "бэ", дельта "це", дельта "де"... Понимаете?"

* Да, конечно — само собой разумеется (нем.).

— "Ja, o gewiss!"

— "Повторите!"

— "Плюсь, миньюсь... Ja, ja: und so weiter!"*

И папочка бурно подскочет (и даже подшаркнет) —

— любил, подшу-

тивши, подпрыгнуть, подшаркнув: от этого падали бюстики (Пушкин себе отколол таким образом баку); и —

— и руки свои разведет юмористиком он,

наклонясь шепоточком над дядечкой:

— "Видите, видите!.."

— "Я — говорил!"

— "Недалекая вовсе: бедняжка!"

Она — развивала во мне бледнодушие.

.....

А завелась просто так (очень многое в жизни заводится так: блошки, крошки, пылинки!); подуешь из ротика; и — помутнело от ротика; ты нарисуешь на потном пятне угловатую рожу трясущимся пальчиком, а от нее потекут к подоконнику капельки влаги дыханья; пятно отечет, и появится снова тот розовый дом Старикова¹ напротив; под ним людогон побежал по дороге времен; знаю: омути есть осаждение влаги дыханья; и вот надышали на зеркало мне Генриэтту Мартыновну; кто-то дохнул перед зеркалом; и, потеряв отражение, зеркало стало — бесельным туманом; дохнули еще: и — сидит Генриэтта Мартыновна с очень хорошеньким личиком, белым, как мел, с бело-желтой косою, — такая какая-то вся: бледногубая, бледно-безвекая, немо вперяясь в себя перед маминым зеркалом, лучше ее отражавшим; невыразительно смотрит, оскаливши рот, на бескровные, бледные десны; и... —

.....

В хлопнувших, лопнувших громко железных листах закаталась огромная крыша под ветром — над нами; и хрипую психую² ветер поднялся в трубе; и уж Альмочка песинской песней ему поддвывает из темной передней:

— "Чего ты?"

Да, снегопись вызвездит свой серебрянник, когда ветрогон побежит в небосклон — по дороге времен, когда в лопнувших, хлопнувших громко железных листах закатается крыша над нами: —

— то — ветер!

.....

Как мама уйдет, — Генриэтта Мартыновна тихо идет за альков: посмотретья; глядится, глядится — и эдак и так; завернет безответственный носик; и — силится, глазки скосивши, увидеть свой собственный

* Да, да: и так далее (нем.).

профиль; я знаю уже: она — вымучены зеркала; пальчиком тронешь — ощупаешь только стекло; за стеклом же увидишь: херр Цетта, или Германа; знаю: она — не она; это — Цетт, о котором с подругой они говорят на бульваре, когда мы гуляем; они называют херр Германа — Цеттом; и "Цетт" этот прочно засел у нее в голове.

Тереблю за рукав, — обернется, уставится бледною немочью; и, поморгав, мне покажет бескровные десны над глянцами ровных, фарфоровых зубок; едва я расслышу:

— "O du: dummes Kind!"*

И — уткнется опять: и — не жди ничего; занимая себя самого, я брожу по пустой, отишавшей квартире; под рукойником сяду на корточки; дверцы открою — смотрю; и стоит там ведро; я — потрогаю: склизкая "тля-тля". Граненая, медная ручка от двери меня занимает; она — зеленеет: ее ототрут кирпичом; он — толченный; украдкой лизнул я: невкусен кирпич; ручку хочется мне отвертеть; ну — а ну-ка, а ну-ка! Разлапое кресло косится ореховым деревом; мне улыбается лак; подойду и грызну его зубками; нет, — он невкусен! —

— А ну-ка: пойду выковыривать глину из печки; я выковыряю кусочек, да — в ротик: мне — нравится; эдакое какое-то в привкусе! Глинка!

.....

Из каждого зреет свое, чего мне не понять: "десять" — это: поднятие пальчиков ручек; и я — не ответил; "свое" — не "мое"; и "свое" это — скрытый предмет, у другого, у всякого: мне — непонятный; раз мама сказала:

— "Да, да: он же — с "шиком..." И да: у него есть такое вот: эдакое — свое!

— "Как? Какое?"

— "Такое вот!" — ручкой помахала под лобиком; глазки же — в скатерть: такая какая-то вся — возбужденная.

И улыбнулась.

Меня осенило: у каждого спрятано где-то "свое", о котором нельзя говорить, что оно: можно только шептаться, как... громко шепталась с подругой Генриэтта; "свое" у ней — Цетт, или Герман; херр Герман таится — под "Цеттом"; его называют "предметом"; у каждого этот "предмет"; он у мамы; у папы — иной: тот же самый, какой у мужчин; свой предмет укрывают они; но раздень их — "предмет" обнаружится.

.....

Знаю, у каждого "эдакое такое" растет, копошась отчетливым шорохом шепота, а объяснение — спрятано в складках зажатого рта под ресницами; внятно я слышал: Дуняша — гуляет с приказчиком; эту Дуняшу держать невозможно; гуляю и я с Генриэттой Мартыновной; помню: увидев меня, мама сделала глазками:

* О ты: глупое дитя (нем.).

- "Ах!"
- "Помолчите!"
- "Оставьте!"
- "Ребенок..."
- "Нельзя..."

Понимаю: я — сделал "ребенка": кувырк! мама, косу на грудь перекинув, кусала ее и покосилась на тетю:

- "Смотри-ка: на К о т и к а".
- "Он кувыркается..."
- "И невдомек!.."

Захватила в охапку меня, да и "бац" — на кроватку: хохочет, играет, катает: подшлепнула; я — завизжал; мы — визжали; а после... —

Намек стал до ме к о м; расширились внятно врата пониманья — в завратные дали; —

— толкую: —

— Дуняша гуляет с приказчиком: это — не важно; Дуняша заходит с гуляний к приказчику: делают что-то, и это — важнее. —

— Кухарка имеет "свое": появление Петровича в кухне допущено; и — что-то делают; что-то наделали; —

— после являются: "Котики"; как это там происходит, — не знаю; но, — знаю —

— явился откуда-то очень крикливый Егорка, — в прошедшем году; и — отправился он в "Воспитательный дом"; и Дуняша сказала, что ей очень стыдно, когда Афросинья ночует с своим "мужиком"; —

— да: так вот оно что: —

— неприлично лежать с мужиком; и Дуняшу держать невозможно за то, что она, нагулявшись с приказчиком, ходит к приказчику: спать.

Не мужик ли приказчик?

— "Да как сказать, Котик, пожалуй что, — да..."

И невидящим взглядом обмерив меня исподлобья, как будто ему предложили ученый вопрос, папа в двери толкнулся из комнаты, чтобы вшептывать что-то в страницы: там все у него ведь "свое".

Всего более это "свое" ("вот такое вот", жуткое) — в папочке; я чрез него сотрясался от страха не раз: —

— так: племянника папы я увидел однажды; и он мне понравился; а между тем — государственный был он преступник, отправленный в жаркий Ташкент с Кистяковским³: —

— под-

нес ему кубики, вывалил их на колени к нему:

— "Быстрой домик!"

Но он отмахался:

- "Нет, нет!"
- "Не умеем..."
- "Мы все разрушаем..."

А я ему:

— "Выстрой!"

Он — выстроил: прелесть какой! —

— папа после потер подбородок трясущимся пальцем и выставил армию доводов против племянника, тяжело ногой припадая на пол и разрезавши в воздухе фразы свои разрезалкой, как книгой:

— "Единая целость России..."

— "Да, да, Вячеславенька, — знаешь ли — созидалась годами!.."

— "А вы — все разрушить!"

И мнение папы разрезанной книгой открылось пред нами:

— "Ну вот-с, Вячеславенька, ты осознал уж отчасти свои заблуждения..."

И долго ходил он, разохавшись:

— "Все Антонович!"

— "Да, да!" —

— "Антонович", — подтопнет на слове, бывало, настаивает и глазом и носом, — "науськает, знаешь ли, ты, Вячеславенька, вас, молодежь, а сам — в сторону, в сторону!" —

— Охнет: и знаю; в глазах у него совершится при этом разгром, будто вынесли все: вместо полной мыслительной жизни квартиры — пустое осталось место; пустое — от ужаса, что Антонович и шайка его несомненно погубят единство России.

В моем представленье давно Антонович, давно провонял на весь Киевский округ решеньем украсть убежденья: Володечки, Гореньки, Силочки, Димки, Вадимки, Олежки, — так точно, как он обокрал Вячеславеньку: —

— да, несомненно тут этакое такое свое, —

— потому что старик Антонович — профессор, как папа: из Киева; это — обман, это — "цетт", или — маска: под ней Антонович, как кажется, — душемутительный каверзник, банный плескун, даже шайник, а это скверней, чем разбойник; тот просто, присев при дороге, кидается острым ножом, передзызганным прежде точильщиком, прямо пыряет в живот, и — уходит, кряхтя, с очень толстым мешком на спине, — залегать в лопушиннике; этот отъявленный каверзник, скромно надевши профессорский форменный фрак, вылезает из бани — сплошным "Антоновичем", то есть таким, кто приходит в парами пыхтящую баню, повесивши форменный фрак, обнаруживать ужасы голых мужчин; и, весь мыльный и пахнувший плесенью, бросит туда, в свою шайку, племянника папы, которого только что выкрал он, — пустит туда кипятку из-под банного крана; племянник — еще неустойчивый молодой человек — растворится, как мыло: да, да: понимание — девочка

в беленьком платьице — пляшет; и темные няни приходят бормочущим роєм: ужасно невнятно, но — страшно занятно! —

— уже побежал ветрогон, по дороге времен; само время, испуганный заяц, бежало, прижав свои уши.

Оторванно хлопает гнутым железным листом под окошком громимая вывеска в трудной натуре: аукает, охает, ахает все что ни есть; и — потом все, что есть, приседает молчать под окошком до нового выбега: слышу из кухоньки звуки:

— "Дзан, дзан!" —

— Это, знаю, толбузят тупеющим пестиком в кухне миндаль.

И задумаюсь я надо всем этим миром — и бранным и тленным! Прислушаюсь я, как безглаво, безруко проходят немейшие тени в чернейшие ниши; там — сходка теней; там их много-много; угол прессует их мрачно; в углу закатались шуршащие шарики: мыши; и — быстроногие домьслы из головы побежали по комнатам; и безголово повисли сквозным руконогом теней; руконог побежал по паркетам — на стены; со стен — к потолку; —

— из теней приподыметься вдруг чернорогий-безног, упадет многоручьем, обрúчит, обхватит и будет высасывать все, что ни есть, из меня, изливая в себя; и я буду метаться совсем невесоמוю тенью в его существе; и — упляшет со мною в огромные дали, за окна, где —

— в лопнувших, хлопнувших громко железных листах закаталась погромная крыша, громимая свистом:

— "Ай, ай!"

Прибегаю — назад: к Генриэтте Мартыновне; и терблю за рукавичек ее; отвернется от зеркала, тихо уставится бледною немочью, тихо покажет бескровные десны и — скажет:

— "Was willst du?"*

— "O du, dummes Kind".

И — не жди ничего: ничего не придумает.

Помню — она все белела; кругом же бледнело; и бледно серело, и серо темнело — в углах; так часами сидела пред маминим зеркалом; вдруг она — вскочит, возьмет меня за руку: быстро бежим мы от зеркала — через гостиную — в детскую; это — звонок, очень громкий: скрипят половицы; пошел самоход; это папа идет коридором из темной передней, закашлявшись, в форменном фраке, свисая большой головою направо и глядя на все исподлобья; он правой рукою прижал очень толстый портфель, бросив в воздухе левую и барабанил по стенам дрожащими пальцами; все умолкает;

* Что ты хочешь? (нем.)

лишь ветер погромом проходит по крышам; в окошке посыпался снегом сплошной серебрянник; и хриплою психой завывла из папиной комнаты печка; из труб выкидными клочкастыми дымами хлещет по крышам и окнам; смотрю из окошка: уселись в темнейшие ниши белейшие крыши; грызунчики мыши — играют все тише...

Не жди ничего!

Разве вот — Малиновскую...⁴

.....

В хмурый октябрь перебили нам кресла в оливковый цвет; да: и в хмурый октябрь появилась у нас —

— Малиновская! —

— зеленоногая, зеленоло-

бая: серый одер в черно-серой косыночке! —

— едко вошла переплющенным

плющиком: воздух испортила маме вопросом:

— А почему, дорогая, у вас появилась отдельная спальня? Так — да: так — и все!”

”Так и все” у нее прибавлялось ко всякому слову; такое уж свойство, заметил я в ней: появляться туда, где свершался процесс разобщенья чего бы то ни было; все сообщенья ее приводили всегда к разобщенью; она сообщит что-нибудь, — разобщится веселое общество в злые фонтанчики ссор: —

— и фонтанчик такой начинал забивать между папой и мамой; да, да, говорят, людоед поедом ест людей; говорят про нее, что она поедом ест людей: людоеда такая!

Я помню события года и строй мерных месяцев именно с этого времени: да, с октября (в октябре я родился); октябрь этот был очень снежный!

Зима! Все дома, точно гробы: суровы сугробы; в трубе свищет злостью; ворона под окнами перебегает с обглоданной костью. Гляди: Малиновская будет тебе:

— ”Так и все!” —

— И она появлялась: ее уважали ужасно в профессорском кругу; что скажет Варвара Семеновна, то есть закон; и она говорила такие приятные вещи; бывало, истают они сладко-грушевым вкусом в устах, коль отведаешь этих вещей; и наверное вскрикнешь потом: от желудочной рези и боли в кишках; —

— говорила такие приятные вещи мужьям о мужьях; и — такие невкусные вещи: мужьям об их женах; мужья говорили:

— ”Варвара Семеновна, — да! Человек уважаемый: двадцать пять раз прочитала она от доски до доски Соловьева, историка”.

Жены же их отвечали:

— ”Ужасный педант!”

И прибавил однажды у нас дядя Ерш⁵:

— "Она — просто зеленый одер!"

Появилась в зеленой гостиной (при красной гостиной не помню ее!).

Содержала квартиру свою в лакированном блеске она; у нее было два только платья: одно — бледно-серое; и другое — зеленое; в первом она выезжала; а во втором — принимала; у нас говорила она, обнимая за талию мамочку:

— "Да, так и все, — дорогая... Везде у всех — пыль... Так и все... Как приеду домой... Так и все... Я сейчас же срываю с себя это платье... Так и все... а то, знаете ли, на подоле привозишь с собой из гостей столько пыли, что после приходится Аннушке пол подметать... И Николай вот Ирасович⁶ то же... —

— Да, да: Николаем Ирасовичем обрывались все разговоры ее —

— Николай же Ирасович был ее муж, предпочевший лет двадцать назад опуститься в могилу, чем жить таким способом... —

— У Малиновской так чисто, так чисто, что слуги уже не метут восковые паркетки, а... лижут их; или, присев, ноготком, послунявив его, отскребают игриво пылинку от полу; мне кажется: там натирают полы языком, как и все, что случится в профессорском круге; а у стены стоят доски, обитые серой суконной материей, чтоб невзначай, прислонившись к обоям, на них не оставил профессор своей головой маслянистого пятнышка; даже подметки шагреновых туфель самой Малиновской чисты, так чисты, что из них варят суп, подавая гостям; и профессор отведает с радостью блюдо от этой подметки; полна она сладости; сладости — всюду; —

— в одной лишь постели заводятся гадости: —

— утром ей тошно от... собственной смятой постели; и на торжественном, именинном обеде у нас все об этом одном говорит, не боясь, что во время таких разговоров останется блюдо нетронутым.

— "Знаете, — да, дорогая моя; я как встану, так все, — вон из комнаты, вон; так и все; не могу, дорогая, я вынести вида постели неубранной; так — да, да, да: так и все; а то, — вырвет".

И блюдо — не тронуто: всех обнесут; и никто ни кусочка.

— "А отчего вы не кушаете, дорогая моя: так и все"?

— "Ах... Варвара Семеновна!.."

— "Да? Вы страдаете несварением пищи?.. Так: да..."

И она принимается, высказав все, что могла о себе рассказать, выговаривать вслух "Н и к о л а я И р а с о в и ч а".

— "У Николая Ирасыча, да, — дорогая..."

Надеялись мы, что с постелью его обстоит дело лучше...

.....

Приезд Малиновской связался с зеленой обивкой гостиной, с узнаванием, что сказка предметов есть волосы, войлок и пыль, с учащением ссор в нашем доме, с вмешательством в нашу семейную жизнь посторонних

ушей, огорчающих мамочку; да, Малиновская знала о всех (и была — вездесуща); я слышал про то, что и стены имеют какие-то уши.

Какие же?

Думаю я: Малиновской!

Развесит у нас свои уши (сухие грибы принимал одно время за уши ее); и узнает она, что у нас появилась новая лампа:

— "Так все, дорогая!"

— "А я вот всегда говорю: постоянство и верность — естественное украшение женщины..."

— "Кстати..."

— "Скажите: зачем вы купили такую роскошную лампу, когда у вас старая лампа еще не испорчена".

— "А почему вы — так все — переместили гостиную?"

— "Непостоянная вы, дорогая моя!"

— "Так и все!"

— "Я всегда говорю: постоянство и верность — естественное, так и все..."

— "Николай мой Ирасович!"

— "Да!"

— "Так и все!"

— "Говорил то же самое..."

— "Да!"

Мама после — рыдает; а провисень штор зеленеет у нас, разлагая свет дня; зеленеет и мы безутешно.

.....

Уже Генриэтта Мартыновна тихо надела на голову гладкую шапочку с синей вуалью: в мушках; идет на Арбат погулять: в людогоны. Долеты широких пролетов открылись обзором Арбата: летит серебропёрый снежок; и пушисто ложится; ворона с карниза находилась: шариком; саночки режут полозьями снег до камней; припустилось бежать ярконосое, злое хмурье в башлыках; и бегут гимназистки в синих фуражках, украшенных бабочкой; прыснет в лицо серебристую свисню; я — беленький; мы — отрясаемся; брызжем на землю мокреющей снеженью; там у кондитера Фельша, в окне, разбросали конфетки в оранжевых, гладких бумажках; и то — "Пекторал": карамельки от кашля — скорей бы закашлять! Другое окошко; его не люблю: там стоит гуттаперчевый мальчик, приставленный к мячику; мячик с таким наконечником... — нет, не люблю его! Раз заходили сюда: Генриэтта Мартыновна здесь покупала подмышники; дальше, в окошке, кофейники, медные баночки, — неинтересны; мосье Реттере⁷ интересней: сидит за прилавком, такой чернобровый, такой чернобрадый: —

— потом его видывал седеньким я: наконец, я недавно стоял пред могильным крестом, где почил от трудов он! —

— такой чернобровый, такой чернобродый, не то, что мужчины, бегущие здесь, на морозе: они — белодеды; они — синегубы; и даже прошел черномордиком — негр!

Вот сапожник Гринблат⁸, где меня узнают, где меня ублажают; вот Бланк⁹ и Арбатская площадь (у Бланка люблюсь я чучелом волка и клетками с пестрыми птицами; ах, не люблю углового кофейного дома и вывески я: "Карл Морá...")¹⁰.

Ай, ай, ай!

Повалило хлопчатою массой: слетают пушинники; мерин проезжий совсем поседел; побежал перепудренный пудель, наткнулся на глупую тумбу; и вдруг завалил, будто встретил знакомого: нюхает жадно визитную карточку пёсика — храбро поднимет мохнатую ногу на глупую тумбу: —

— мне папа рассказывал: песики песикам пишут открытки на тумбе; и песик, прочтя своим носиком буковки песика, — храбро поднимет мохнатую ногу на глупую тумбу! —

— Вот дети бегут: белоглавики! Личики красны, как клюковки; важно один пуховой белоглавик ко мне подбежал: поиграть; его — знаю:

Капризник!

Сворачиваем в Малый в Кисловский переулочок; боюсь невянтиц; а здесь есть невянтица — "эдакое такое свое": два гриффона, крылатые: и — я боюсь двух крылатых грифонов, поднявших две лапы над бойким подъездом; боюсь двух желтых, оскаленных каменных львов на воротах какого-то дома: вот спрыгнут: —

— такие же точно теперь —

— два гриффона, подъявши две лапы над бойким подъездом, — сидят: все еще. И сидят два оскаленных каменных льва на воротах такого же дома: того же все дома! Недавно еще проходил по Никитской (советской Никитской!): мотоциклетка стреляла бензином; член ВЦИК^а, в ушастой, снежающей шапке, пронесся на черном авто: — поглядел очень твердым лицом на меня; я свернул в Малый Кисловский; и я увидел, чего я боялся тому назад — тридцать пять лет: я увидел —

— грифонов, крылатых, подъявших две лапы над бойким подъездом, двух желтых, оскаленных львов на воротах — того же все дома. Меня поражало "свое" выраженье грифонов, кровавый какой-то оскал желтых львов; это снова "свое"; и при этом "свое", столь ужасное...; знаю: "свое" Афросиньи, Петровича, мамочки не столь ужасно, как это "свое" выражение львов: непонятно, чудовищно! —

— Столь же чудовищно это "свое" только в... папочке: —

— Да, Чебышев, математик: "свое" он то самое: то есть невянтица, бред; "Чебышев" — невозможно обмолвиться: об Антоновиче можно еще:

"Чебышев" же — запрещен; скажи "Антонович" — налитие жил на краснеющем папином лбу я увижу немедленно; только скажи:

— "Чебышев!" — и смертельная бледность проступит на лбу.

Если папу столкнуть с Чебышевым, — случится тяжелая мерзость: мгновенно косматыми станут они; и без крика завозятся оба один над другим, совершая с сопением подлое что-то; и — дверь предварительно громко защелкнувши; только увидят друг друга, за руки — ухватятся, и — пробегут в кабинетик; и мама залется слезами:

— "Пустите!"

В ответ лишь — глухая возня: Чебышева над папой, иль папы над ним; и — пошлют за пожарными: взламывать двери; взломают, войдут: среди крови кровавый дрожит Чебышев — обессмысленно: папы — уж нет; или — нет Чебышева, а папа, клочкастый, затрепанный, залитый кровью, копаётся —

— в красной говядине! —

— точно собака какая-то!

О Чебышеве сказали однажды, забывши про папу, который, свисая на правый на бок головой и махая рукой с разрезалкою (левой) — на цыпочках вышел; и все позабыли его; скоро я забежал в кабинетик; и вот два окна кабинетика, точно огромных два глаза багровых (был вечер), расширились, тихо багря косяки, рукомойники, стекла; во всем этом красном —

— расхаживал папа, —

— о, нет, не расхаживал: бегал на цыпочках, тихо крича про себя; и рукою, зажатою в крепкий кулак, на крутых поворотах — "р а з - р а з - р а з - р а з - р а з" — ударял очень быстро по воздуху!

Падал на руки он очень большой головой: точно голову эту на плечи сажали с усилием два человека, сперва надорвавшись: сидела она — как-то так на боку.

.....

Повернули с Арбата на Малый на Кисловский — ишь ты: безлюдие; знаю: гриффоны с подъятою лапою ждут; и — за мною протянуты; но боюсь и плачу; прошу повернуть; повернули — безлюдие кончилось; снова пошли людогоны; сапог золотой над Гринблатом качается в воздухе; все потемнело; и мне одиноко и строго; за снежными тучами все чересчур напряглось: ужасает; и вот занялся огонек — такой вещий; он злеет из близкого дома; и все чебышится, гриффонится, гримасирует, львовится; все подвывает; все окна — чернеют; садятся под окна; и ночь черногого оставилась: в окна: а в окнах — безглазое!

.....

БАБУШКА, ТЕТЕЧКА, ДЯДЕЧКА

Знаю бабусину бытопись!

В марком, кретоновом¹ кресле, в протертостях присидня, никнет бабуса в своем гнедочалом, ушастом чепце и жует всякоденщину: подорожала моркв́а, продавали мерзлятину; перкает словом:

— "Моркв́а-то!"

— "Мерзлятина!"

— "Щупаю я кочешок..."

— "Принесла, а он — вонь!"

И досадливо дедерючит рукою мухры кацавейки-китайки своей желтобайковой; и, успокоенно чавкая, снова марьяжит атласною мастью: марьяжи не сходятся:

— "Девка и есть!"

— "И такую останется".

Тут мелконосо уставится в гиль. И меня приведут, — и моточек наденет на руки:

— "Ты так бы, малёк, — свои ручки держал!"

И мотаает шершавый моток; разбухает бабусина бытопись быстро; я — просто моток; закусалоса сзади; диван-то — блохач; пухоперая бабушка волос седой из ноздрей вывивает; и пушная вата клочится из правого уха; косится она окровавленным взглядом, бая, точно козлище; шлепает в пол чернокан; и часы закипают увесистым шипом; и мёртвелью пахнет, варакает подо мною пружина.

Остынет в мерзлятине все: морозновáто!

Бабуса сидит тут неделю; воскресником ходит к обедне в таком старомодном "мантоне"² и в бóристой шляпе, с "мармóтками"³ (шляпы такие не носят); ворочается: остывает в мерзлятине, заболевая мозжухой⁴ в костях и встречаясь всемесячно с Марьею Иродовой⁵, с лихорадкою.

На окошке стоит мелколапчатый цветик, плеснея давно; за окошком — мокрель; вольноплясы снежинок — мелькают, мельтешут; приходит — зеваш: разеваю я ротик.

Вот — тетя — со службы: безбёдрая, мелколобая тетя — со взмучивой мысляю:

— "Марьяжи — не вышли!"

— "Такою останешься!"

Тетя сидит у окна, малоплечая, палочка; на пустоличии пусто стоят перепорхи ресничек; она — в самодушии; молча таит непросветности; спросишь — дивится; и — губки надует; уставится в пустолёты пылиночек, в копоти потолочка, оцепенела из сумерок бледнью безглазого личика; маленький носик понюхает очень немысленно, втянет в себя запах каши, большим подбородком подвигает и — перетянется под потолок чернотую худеющих линий; она — пустоглазая; карие глазки для виду; как две посторонних наклейки они; перелетная моль перепорхом ей сядет под лобик, краплённый кудряшками; скажется тут — перетрясом головки:

— "У Лизы есть новый канаус⁶ на платье".

— "А ну!"

— "Не скажите: за тарлатановой⁷ скатертью, там у Летаевых..."

— "Шла бы к Летаевым!"

И бабуся в сердцах оторвет оборотку⁸ от кофты; но тетя назло ей под носом — начнет мимоход и увидит себя миловидной из зеркала, замолодуется и запекает:

— "Ла-ла... Ветерочек..."

— "Ла-ла!"

— "Чуть-чуть дышит!"

— "Ла-ла... Ветерочек... Ла-ла!..."

— "Не колышет!"

— "Ла-ла!"

Баба ей мокрогубо:

— "Эй, ты, завертушка: небось измозолишь и зеркало собственной милой персоной!"

Ей тетя на это:

— "Я — жить хочу!"

Тете пеняют:

— "Ты — гордая девушка!"

Гонит она от себя женихов; но — ей хочется жить; вот Петр Саввич: жених-женихом; и вдовец, и протец; он ведь пробовал: силился-силился-силился; и получил только "фырки":

— "Вы обратите внимание", — отщебечет смехухая мамочка, тонкий и стройный вьюнок, — "обратите внимание: Дотя!"

— "У всякого есть на столе чей-нибудь да портрет... у кого — жениха, у кого — обожателя, а у кого, у кого" — и, поймавшись на зеркале, оцепенеет и смотрит на собственный выгибень стана, такая какая-то вся, белошеш, атласная, в калоитовом ожерелье; и пробует золотулину волосочесного гребня (не выпадет ли?)...

— "У кого... у кого... Да, что я: у нее же, у Доти, свой собственный, Дотин портрет на столе: ха-ха-ха!"

Отзывается папа на это:

— "Да, знаете: кто ни приблизится — "фырк!..."

Мама — тонкий и стройный вьюнок, росту среднего, стянутый крепким корсетом и снизу поддутый турнюром¹⁰, в своей гелиотроповой юбочке, в басочке¹¹ ярких атласов (тот цвет "м а с а к а"¹² я любил), на которой резвятся и прыгают ягодки голубоватого калоита¹³, — виется, как угорь, когда весела; тетя Дотя безлобою, очень высокою палочкой ходит за нею: безгрудая, плоская; мама ощупает — все там дощечкой:

— "Да ты — без корсета?"

Зазеркает глазками, и залукавят две ямочки щечек:

— "Ну, как же Петр Саввич?"

А тетя Дотя брезгливо закроет рукою закрытую грудь:

— "Ах, оставьте вы!"

Мамочка в мочки просунет висюлю "слезинки": и гранная блескочь закапает с синего светоча зеленоватыми смыслами в красные страсти; а тетя — не капает; мамочка блесковой звездочкой перемеркает и росненькой веточкой перекачается; тетя протянута в скорбном решении: —
— пере-
могать телеграфную службу!

.....

Приходит кисллицею; и набивает оскомину; и начинает твердить Генриэтте Мартыновне о всему дому известных событиях нашей квартиры:

— "У вас был вчера поросенок..."

— "У Лизы теперь платье "к р э м", платье "п р ю н"¹⁴.

— "Лиза едет на бал".

Генриэтта Мартыновна, немочка, с очень хорошеньким личиком, белым, как мел, с бело-желтой косою, безвекая, бледно-безгубая, невыразительно выставит ей малокровные десны:

— "Прюн", "крэм"...

— "Да, да..."

— "Gewiss"!

— "Selbstverständlich..."

— "А "м а с а к а" вы забыли..."

Тут тетечка из пустила своих переморгов посмотрит на немочку:

— "Нет — не забыла: но "масака" — только баска..."

И обе свернут безответственно носики к зеркалу, чтобы... подглядывать профили.

Говорит исключительно тетя о маме, — словами, принадлежащими маме и обращенными к маме, передавая скучающей маме уже пережитое мамою — маме.

— "А у тебя платье крэм!"

— "М а с а к а не забыла я..."

— "Был поросенок у вас за столом..."

Мама ей:

— "Что ж из этого?"

И принимается петь она:

— "Ла-ла-ла... Ветерочек... Ла-ла... Чуть-чуть дышит... Ла-ла... Не колышет..."

И тетя ей вторит:

— "Ла-ля... Не колышет..."

.....

Я помню: —

— белеет, бледнеет; и бледно сереет; и серо замглет, пеплйт: —

— оловянные сѣрени морготнею морочат, а мамочка, выпучив бюст из атласа, возвысивши пышность грудей, протурнирует обтянутой юбкой с канаусовой подкладкою —

нака, вертлява! —

— пред тетею сядет, и пышный турнир загибается тотчас же набок; я вижу — не в духе она: тете Доте достанется:

— "Да, Михаил наш Васильевич — редкий, да-да: удивительный; он — благодетель!"

А тетя — безгласит, почуяв засаду:

— "Ты что?"

Тетя Дотя начнет рисовать очень внешне на бледно-белясом лице, точно углем на белой бумаге, легчайше стираемый тонкий налет облетающей пыли, — свои выраженья:

— "Да, да, Михаил наш Васильевич, редкий, да-да: удивительный".

Мама на это — с насмешкой, с припорхом, с настойчивой верткостью:

— "Светлая личность!"

И тетя моргнет пустилицем в стекла: и тетя дадакает:

— "Светлая личность!"

В окошке пойдут ветромахи; а мама — бывало:

— "Ты — говоришь то же самое... Я говорю: Михаил наш Васильевич — такое явление, что..." Мама взгубится, ноздри ее злопахают досадой на тетю; вот стала пред зеркалом — взаверт...

И тетя елозает глазами в окна:

— "Да, я говорю то же самое: это такое явление, что" — а за стеклами — там, где туман, висенец оловянный, упал перепорхом снежинок, сварившихся в капельки, — сеянец-дождик пошел: моргасинник! Уже с желобов-водохлабов вирухает¹⁵ водная таль:

— "Это — сила!"

И тетя старается вызернить мнение:

— "Я говорю то же самое: сила!"

— "И вы ей обязаны!"

Тетечка дернется лобиком в малых кудряшках:

— "Обязаны!"

— "Вы — существуете им!"

— "Существуем!"

Тут мама не выдержит: и, оправляя тончайшую выторочь лифа, она мелюзит:

— "Что ты, право, какой-то дергач: задергушишь — чужое!"

И тетя старается:

— "А у тебя платье прюн, платье крэм..."

— "Я всегда говорю: ты всегда говоришь..."

Мама едко давнет подбородочком:

— "Да говорю это — я: а что ты говоришь? Ты — долдонишь, долдонишь мое, то же самое, как дроботунья!..."

Но тетя долдонит с достоинством (гордая девушка!):

— "Это мои же слова: я всегда говорю то же самое... И не могу говорить я иного, — того, чего нет у меня в голове..."

— "Говоришь только то, что услышишь!.."

У тети глазенки — "моктели":

— "Нет, я говорю, что услышу: и я утверждаю всегда, что твой муж удивительный, нравственный человек; и ты всем ему обязана!"

— "Как, что такое?"

— "Да, да: всем обязана; и без него ничего бы себе не смогла ты нашить!"

Мама глазками тетю минует и закричит в пульверизатор; и схватит за шарик его и отбросит:

— "Ай, ай! Что ты вракаешь, врачка! Приходишь, вилякаешь, точно лиса; а потом нагадючишь! Сперва заведи себе жизнь, а потом и ходи... Досиделась до девки!.. Петр Саввич — да, да: не дурак!"

И — безбокая тетя — домой: нюхать запахи каши!

И бело бледнеет;

и бледно сереет; и

серо замглет; и мгла

пепелет; за окнами — осла-

бевают карнизы домов в еле видные вы-

чертни бегло слабеющих линий, стираемых

с черной доски, точно еле прочерченный мел; тут поблеклая бабушка в просидне старого кресла опять ковыряет косынку двумя костяными крючками в сереющем крапе обой; и больная рука опухает совсем фиолетовой жилкой; уж склянная лампа строжайше висит в омутнении; бабушка сложит работу; огонь папиросы ее, точно глаз ягуара, — на- ставится.

— "А ну, чего ты вернулась так рано: ну что у Летаевых?"

И — в папиросу зубами; и глаз краснойрый нам ответом огненным выведет злое лицо из "ничто"; и потом оно — скроется: тетя бебенит:

— "А я, вот: несчастная".

Глаз ягуара откроется.

— "Ну, завела свои дуды: пылишь и свербишь про несчастную жизнь", — забасит темный угол под бабушку: бабушкой; а из другого угла раздается под тетю:

— "Да, вам хорошо: вы вот прожили, можно сказать, состояния наши... Я — жить хочу!.."

И предметы летят в безживо́тье, в бездонник: становятся морочнем ночи —

— ночами стоят безбойные стены; ночами приходят безглазые люди; смотрю: —

— тетя Дотя без глаз: лишь две впадины в сумерках странно чернеют: боюсь, что во мраке ночном подменяются людям глаза: кто добреет на свете глазами, как знать: безысходною злобою смотрит из мрака; вот — бабушка: —

— можно сказать, прожила состояние мамы и тети; так вот: тетя Дотя — ходила в постельку, когда была маленькой; нынче же

хочет все "жить" — без мужчины: и ставит на столике собственный, Дотин портрет!

Чуть мизикает¹⁶ лампа-кривуля своим керосиновым пламенем...

Помню, я с бабушкой, с тетей у бабушки мы; злобно смотрится бабушка суриком глазок; а тетя, надевши немаркое платье, вражбит; и приходит со службы худой дядя Вася¹⁷.

Он — бякала-мямля, каурый, двубакий кашлюн, в курослепе веснушек раскроет свой рот желто-зубый; покажет кадык, расклокочится бярдами; глазом — на тетю; и глазом — на бабушку.

— "Хе-хе: мамаша!"

И тетя — на бабушку: оба они уже знают, что знают.

— "Мамаша!"

"Мамаша" и есть (образуется словом "мамаша" какое-то "ихнее"), петухоперая бабушка вся растопорчится: глазом она бедоглазит — на тетю, на дядю.

И дядя — пройдет!

Дядя Вася имеет: кокарду, усердную службу, жетон¹⁸; он — представлен к медальке; но — клёкнет¹⁹; и — керкает кашлем; пять лет обивает пороги казенной палаты.

А — чем? Если войлоком — просто, а камнем — не просто; за мазанным столиком горбится он в три погибели — с очень разборчивым почерком: —

— Как

это так? В три погибели? —

— Думаю я о погибелях

этих: —

— Мне жаль дядю Васю; он

— бунит²⁰: согнется, — наверно, его голова упадет

на паркет, и он баками будет

мести; а быть может,

согнутие в эти

погибели

хуже —

— со-

гнувший-

ся голову

всунет под

ноги: зубами

вытаскивать соб-

ственные носовые

платки — из-за фалды! —

И —

— ах —

— его комнатка: холодно! Бабушка войлоком зимами дверь обивает, чтоб ноги себе защитить от мороза.

— "И — просто нет мочи!"
— "В Васильевой комнате" —

— бабушка это "в Васильевой комнате" произносит с такую глубокою злобой, как будто в "Васильевой комнате" кто-то виновен: виновен — "Василий!".

— "В Васильевой комнате — лютый морозище!"
— "Да уж нельзя сказать, да уж — Василий..."

Нельзя сказать — знаю: нельзя сказать — что? "Чтоб Василий?"
А что — "чтоб Василий?". Но — знаю: "Василий". Товарищ, Летков, называет его беданюхой²¹.

Василию вменяется бабушкой "в с е", что угодно: что под ноги дует, что дух идет терпкий оттуда и каши и клея, что мухами там иззернен протлевающий лист приложенья, что много кривого картона, прикрытого прессом; что в дядином катарральном составе подьмелется урч.

Вот, вернувшись с "третьей погибели", дядя засядет: себя упражнять в переплетном искусстве: и бунит, бунчит себе под нос.

— "Да, да!"
— "Ремесло!"
— "Вещь — полезная!"

Это все — папочка: их поставщик! И — портной, и — садовник порывов; ему благодарно семейство за то, что его одаряют советами, лаской, деньгой и продуктами.

— "Вот — шерстяная материя: Доте на платье; она — неизносная; лучше она прошлогодней".

И — знаю: материя этого года всегда — неизносней и лучше материи прошлого года; я думаю: если такие подарки продолжатся из году в год, — то, наверное, лет через двадцать придется тете Доте парчу, потому что иные материи (те, что похуже) наверное все передарены будут.

— "Не благодари меня: это — Михаил Васильевич!"

Папа — даритель, хранитель, целитель; и — вечный советчик: рекомендует он дядечке скучный досуг превратить в ремесло.

— "Да, да, ремесло — вещь полезная..."
— "Видите ли: отвлекает оно от навязчивых мыслей!"

— "Как эдак захочется вам, — вы, Василий Егорыч, возьмите-ка... Переплетите-ка мне в библиотеку "Математический Вестник"²²...

— "Вам — заработок, мне же — польза: годов восемнадцать могу вам отдать в переплет".

Дядя силится стать переплетчиком, но — бесогон он какой-то.

Так: после занятия над калабашкою каши сидит с громким "иком"; в тисненую кожу попробует он заключить что-нибудь, — не идет.

— "Морозновато!"
— "Брр-брр!"

И пойдет согреться по комнатам.

Вот он подумает, что — милован; и собою милóвится в зеркале; ногу отставит и барды расправит.

— "А чем не мозгай?"²³

Постоит мигачом; и кадык у него — скакуном; перевёртится фертником; и черным чоботом чокнет по чоботу.

— "Ишь ты: подишь ты!"

И — пугнется он выкаблучивать перед бабусей: бабуся — козлом на него.

— "Ну, чего ты?"

— "Морква-то, небось, стоит дорого!"

— "Ты-то чего дедерючишь?"

— "Капусты купила, варила, варила: мерзлятина!"

— "Вонь!"

Дядя Вася опомнится, крикает:

— "Морозовато!"

— "Брр-брр!"

И — к себе: навестить "Х р а п о в и ц к и х"...

И вскоре уже посылает пронзительный всхрап от мороженой стенки, с трехногой постели, безбрюхий, мозглявый комар, переломленный надвое с бакой, прижатой к подушке, открывши свой рот и желтея веснушкой; какой малодошлый работник! Тканьеовое одеяльце серо; а по серому полю поют петухи, перетертые многим лежаньем; на гвоздике — шапка с кокардой; и — скрипка; мурлышка сидит под геранью; такого же цвета обои; темней — пятна сырости; где уголок обметает морозом, — снежиночки хладно снимаются пальцами.

Так он живет: прилежáка какая-то!

Ходит отсюда обедать — к нам, в праздник; коснеет; при спорах в его голове — мозголом; он сидит — мозготрясом; перекатает все ломтики; съест; остолбенело смеется; и — хлопает веками; пробует изредка он буторахнуть-ся мыслями; и — потнолобий от этих усилий, совсем не мозганит.

— "Да, да!"

— "Ремесло!"

— "Вещь полезная!"

— "Вещь!"

— "Ремесло".

И — опять забезгласит.

Приходит с ним тетечка.

— "Ну, как у вас..."

— "Ах: "м а м а ш а"!"

Сидит, подпирая подпертой рукою (другою) — головку; моргает в таком положении: палочкой, палочкой грудь; так безбёдро привстанет, безбёдро пройдетя к окну.

— "Телеграф!"

— "Надоел!"

.....

Дядя-Васина драная жизнь — пополам; признаю половину одну: —

— дядя Вася безжениый, безбабий и, как говорят, — не "мозгай", но крепчающий задним умом, мозгопятаый, но все же с достоинством, скромно сидит, зашипнувши рукой бакенбарду, закутанный белой салфеткой, и ширит глаза в разговор, —

— а другою рукою катает он

мякиш-алякиш; и папа к нему прислоняется мнением, булгатнёю²⁴ своею:

— "Я вам говорю: вы, Василий Егорович", — бородатит в крахмал он:

— "Вы, прямо скажу вам"...

— "Оставили б это!"

И открывается этим другая, "своя" половина разорванной дядиной жизни: —

— где дядя такой притихайка, блекавый²⁵, минающий мякиш в алякуши²⁶ и доверяющий всяким словам —

— появляется перед нами

— другой: объедающий бабушку, очень крикливый керкун²⁷, голосящий на всех:

— "Вы-то все хороши: водохряки!"

Он громко бахорит, зюзюкнув рябиновки; глупый бабич, костыляет по полу, бунчит себе под нос, кабачит²⁸:

— "Эй вы, водохряки!"

И примется в пляс подкаблуживать он коловертом — подпертым.

Да я, Васька Пазухов, —

Дую ром без лишних слов!

Да и бабнёт непристойность, осклабится весь и покажет "лалаки" свои (это, знаю я, десны: так бабушка их называет), гогочет-кокочет, заперкает, выпустит лётное слово; и — сгинет дня на три; и бабушка скажет:

— "Уж говорю вам, добabitся он до беды!"

Раз она появилась; и стала бубанить²⁹, бубенить³⁰; и — бутетень³¹ подымался по этому поводу.

— "Что вы?"

— "Опять?"

Ерепенилась бабушка.

— "Что бы вы там ни сказали, а он — скандалист, этот самый Василий Егорович ваш!"

Заслонялась руками от носа, которым старался наш папа ей въехать в лицо меж ладонями, и объявила: "Запой"; думал: это, наверно, расстройство желудочка, с громким скандалом: ему бы куриного супца; открылся мне из бабусиных слов:

— "Он — бузыга!"³²

А что есть "бузыга"? У Даля — найдешь, а в головке — сыщи-ка!

— Опять: —

— понимание, девочка в беленьком платьице, пляшет; и темные няни приходят бормочущим роем: ужасно невнятно, но — страшно занято!

И мама играет: —

— снялось, понеслось; запорхали события жизни в безбытии звуков; опять заходил по годам кто-то длинный; то — дядя; он встал на худые ходули: на ноги; уходит от нас — навсегда по белеющим крышам: уходит на небо; и принимается с неба на нас брекотать: — "Да устал я сгибаться "в своих трех погибелях": будет!"

— "Устал обивать я пороги казенной палаты!"

— "Вот — войлок, вот — камни: пускай обивают другие".

— "Устал от ремесл: не полезная вещь ремесло!.."

— "Ухожу я от вас!"

— "Дядя, дядечка — милый: и я..."

Мама бренькает ручкой по клавишам; и булгатня подымается звуками; стала она такой маленькой, миленькой; выставит шейку; и — точно робя, проходит по звукам — на цыпочках: девочкой; и — самородною родинкой склонится; превыразительно звуки она переводит глазами, которые с низу страницы как прыгнут наверх: на крючок, на ноту: —

— и я ухожу в эту жизнь; и

— как есть ничего, эта жизнь; его

— комнатка! Холодно: бабушка

дверь обивает, чтоб ноги

себе защитит и —

Ах!

Временно время, — но бременно время; бормочет отданными днями; и — раздается нам — в уши, нам — в души!

РУЛАДА

А мамочка так же звучит, как рулада; роаль принимается мне выговаривать звуки ее.

Мама сядет наигрывать; руки льют звуки; рулада течет, руколивно трелью запенясь о клавиш, обрызнувши душу мою дишкантом: в пропасть падает сосредоточенный бас, тяготеющий весом: поверхностей клавишей зычно расстались на гребни, моргая диземами; море морочит.

То — мама: опять принялась выговаривать; яркает грацией, яркой градацией, жестикуляцией гаммы: от птичьего пеня до... взвизга, до...

тигра; лимонным цветком нежно пахнет; дивуется взлетными бровками: глазки — анютины.

Нежно она произносит шаги своим шелковым шепотом, ярко живее духами, надев ярко-розовый свой казакин¹, обвисающий кремовым кружевом, звонко воскликнувши связкой ключей — произносит шаги по ковру: к шифоньеру, где ясною массой атласа отплющились платья, где пучится этот турнир —

— находимый под юбками —

— даже, я знаю, у немочки есть та подушечка; знаю, такую подушечку ловко подвядут, где надо, чтоб быть полнобокой. —

— Вращая боками и прыгая родинкой, мама проходит с турниром в руках, мимоходом бросаясь глазами в окошко.

Закат, как лимонный цветок, нежно пахнет: настоем цветов; парфюмерией полнятся комнаты.

.....

Хлынет из прошлого в душу ее переливчатый образ.

"Добро", или "зло" — только пена пучины того, своего, что есть в каждом; "свое" раскричалось в маме фантазией пальм и болтливым бабьём бабабавов, в котором открылся фонтан разноцветных колибри, топтались слоны и воняли гиены: зоологический сад, а не мамочка; Индия, а не профессорский круг девятидесятых годов, не Арбат; только старый китаец, мой папа, сумел претворить этот круг в философию "Тао" Лао-Дзы, советуя видеть грудастых профессорши не бабами, — парками², а надоедливых мух переделать в "занятные, знаете, очень машинки".

Профессорши, — даже не мухи; Бобынин³ профессор не глуп; но... себя посадите меж ними, и тропический лес обернется в болтливую скуку ученых нечесанных баб, поженивших когда-то мужей на "своих" убеждениях; —

— профессорши маму не любят: ее провожают они криворотото злобой; для них она — девочка: и — понароют кругом волчьи ямы обычаев: мамочку ловят в обычной профессорской жизни: на кухне ушами повисели сухие грибы: Малиновская — слушает; стены — ушаты...

— "Так, да, дорогая моя!.."

— "Почему это, — да?"

— "Почему это вы не бываете в обществе трезвости, да..."

— "Все мы, так, там бываем!"

— "И Софья Змиевна, и Анна Горгоновна с Анной Оскаловной".

Змеи, горгоны, оскалы мерещутся мне: очень страшен "оскал" — криворотая злоба профессорш: —

— я видел картиночку; красную лиску, которую травят собаками; где-то разлаялось все это: мамочка, лиска, оскалилась крепко на это: —

— профессорш боялся: —

— особенно той, Докторовской;

да, да, у нее очень толстое то, на что все надевают турнир; все, бывало, бабакает с тем, кто развел реферат, бременел диссертацией; и подставляет тому, кто еще не орал рефератов, претолстое то, что собой представляет турнир; подставляет и мамочке, кроя ей глазки ледками; —

— а ветхие крысы Слепцовы из норочек выставят носики: нюхать ее красоту и выпискивать вслух, что — нет, нет: не красива она, что ей надо бы косы обстричь; огорчается писками: глазки — ледяные омутни; мерзнут; —

— и пустят потом по щекам бисеринку: в платочек; растаяли: бабочкой вновь залетали по пальмам: запахло весною; и — белой болоночкой, Альмочкой, чесанной гребешечком с пробором на лобике; весело севши в качалочку шелковым шепотом, ножку на ножку подкинула: красная туфелька очень игриво свисает с носочка —

— зацапкала Альмочка лапками по полу, — хвостиком в воздух: гам-гам; а носочек вращается маленьким пальчиком, точно гусиная мордочка: красная туфелька шлепнула на пол; болоночка — пустится бегать кругами, как заяц, схвативши зубами, как лакомство, туфельку; я же, сбиваясь в карачки, комочком переползаю под ножку, как Альмочка; мамочка, ярко цвета самодушием, косу свою перекинет, смеется:

- "Глядите!"
- "Ловите!"
- "Держите!"
- "Кривляется Котик!"

Слетает с качалки, защелкав в ладони.

И — гонит; обхватит, катаясь со мной по ковру, волосатится гребнями виснувших кос надо мной; вижу — в ямочке шейной, под кожей, задвигалась мышка; головкою прямо да в юбочку маме, в сплошной шелестинник ее кредещиновый; и — приподымет подол моего темно-синего платьца: громко подшлепает там, где положено шлепать: пускай себе шлепает, это — такая игра между нами!

.....

Вздохала, что стану, как мушка, "з а н я т н о й м а ш и н к о ю", сложенной папочкой.

Грезился ей — молодой человек, математик, внимающий разговорам о "м о д у л я х", предпочитающий их яркой силе, в ней бьющей, не слышащий музыки и очконосый, —

— нельзя Тинторетто⁴ повесить бок о бок с фламандскими зайцами или с фламандскою, пусть добродетельной, тучной и красной кухаркой в перекрахмаленном чепчике; папа — подвесил: ландшафт итальянский к ландшафту... ученой кухарки: —

— к профессорше Кисленко — маму! —

— И мама дрожала, боясь, что калечат меня, облекая меня в выходной сюртучок из науки.

Спросили бы папу:

— "А что заказать нам Коту?"

Он ответил бы:

— "Что же-с?"

— "Купите ему котелочек!"

— "Да, да!"

— "Закажите ему сюртучок!"

Мне мог бы, наверное, он поднести к именинам футляр для очков.

Он все силился мне объяснить проявление жизни сложением стремительных сил с центробежными; этот подарок подобен "футляру"⁵. Я выглядел в силах, как в сильных очках, — очень хило; дудил он:

— "В том сила!"

— "Вот сила!"

— "Не в этом же сила!"

— Но что же есть "с и л а"?

И — "с и л а" откликнулась образом Силы (Силантия), сыном Ерша (то есть дяди Ерша). Этот — выглядел "х и л о"; и — умер; и — думалось мне:

— "Да не в этом же сила!"

— "В том сила, что "с и л а" — Силантий!" А этот Силантий — хилел да хилел; если б по́нял я "с и л ы", то — стал бы я хилый; и умер бы я, не достигнувши "с и л ы".

И все говорили весьма укоризненно папе:

— "Оставьте: еще преждевременно он разовьется, да и умрет, как ваш Сила".

— "А вы!"

.....

И — бывало —

— руладой раскатятся хилые силы, как нитка хруста́линок по полу; ноты на гамму нанижутся так, как на нитку хруста́лилки: —

— из бурелома трезвучий, гонимого где-то, звездеюще выблестит тонкая нота; другая звездеет из первой, дробимая трелями дишкантового о́зерца в выливень ясных мушинок; у берега: зреют по черненьким косточкам блески от маминых пальчиков; и — заколотятся снова в утесистый бас, выбухающий в бездну и бьющий созвучно лежащее в визги; и — дзяною радостью вымоет, шипною пеной покроются камни аккордов; и — застится четкость руладного контура дымкой педали; радастся: —

— между дишкантами и басом —

— страдающий, человеческий голос, и —

— давится басом; и — гибнет бесследно; я — плачу: какие-то вихри поднимутся выхватом, как светолопое пламя, из гудки: —

— ввиваясь в пространство и в быстрень события; охватит пространство: пространством безбытий —

— пространства

разъялись в нестои: составом дневным; где густела лиловая ночь, — вы-
прозрачнилось утро; расстрелами ясности резалась ярко материя ночи;
прошла неизвестность: синееет окрестность, чтоб стать голубою, днев-
ною волною, —

— то мама, играя, опять удивляется взлетными бров-
ками; венчик витушек танцует на лобике; капелькой пота объяснился
носик; и —

— ах! —

— заробевши, проходит по звукам, — на цыпочках: девоч-
кой! И — самородною родинкой немо взирает мне в душу; совсем изум-
рудится глазами; с низу страницы как прыгнут наверх, — на крючочек,
на ноту они.

Постою, посмотрю: полюблю!

Это — яд; это — сладостный яд Возрождения, где выступают поступ-
ком, взирают решением, любят и губят без правила: в звуках; совсем не
моральная жизнь — музыкальная:

— "Котик мой!"

— "Сила — не в этом, а в том, что..."

— "Нет с и л!"

Только пчелки, летящие с маминых губок медочком, — сластят; а по-
рою и жалят: закон основания⁶ — где? Папа этот закон применяет к себе:
заведет молодого, очкастого юношу, — на основании строгих, проверочных
испытаний ведет к доцентуре; а мамочка скажется выблеском:

— "Да: он — чинуша!"

— "Воняет трухую!"

— "Обманетесь..."

Лет через двадцать былой молодой человек — попечитель учеб-
ного округа: стонет весь округ!

Права-то ведь мамочка: без оснований!

.....

Люблю прохуевшее личико с гордою родинкой, с носиком тонким,
точеным, и с — розовой щечкой; и ротик, немного обиженный, сложенный,
точно цветок, — росянеет перловыми, ровными зубками; ямочкой, еле
заметной, игрив подбородок; и лобик, не рослый, себя объясняет бегучими
дугами перелетающих, соболиных бровей, подымающих дуги морщинок,
а то приседающих к полуизогнутым черным ресницам анютиных глазок,
доверчивых, или обиженных и подозрительно зорких, как пьявочки —

— так

и вопьются!

Обидится: —

— ротиком, ставшим совсем червячком!

Смеется: —

— и явятся ямки! —

— Поднимется пухлая губка; и — видятся

— зубки... Прищурятся глазки, махнувши фатою ресниц и проглядно метнувши две искорки; склонится набок головка; осыплется гущей каштановых пышных волос; —

— и —

— такую московской красавицей мамочка станет: с картины Маковского "Свадебный пир"! —

— В этой

позе невесты собой залюбуются в зеркале!

Папа носатится кряжистым гномом (скрипит половица): похлопать по плечу; мама ему покорится, едва розовея улыбкой, милоющей нас, нашу жизнь и летящей навстречу какому-то бывшему опыту, после которого — стоит ли жить, без которого — стоит ли верить? Улыбка, несчастная, длится секундочку; —

— явно

другую улыбкой, скрывающей первую, с папой снесется; а первая — сядет куда-то: совсем в уголок. —

— Вторая

есть речка домашних забот.

Папа эту улыбку заметит, а первый — не видит; и — продолжает потрещивать маму по плечу:

— "Вот: я купила — две скатерти!"

— "Вот: посмотрите!"

И папа, не глядя, прихлопнет по плечу:

— "Так-с!"

— "Да не таксите, а посмотрите внимательно..."

— "Эта, вот, видите: вся — петухами; мне стоила..."

— "Эта, вот!"

Папа колотится мнением:

— "Так-с: превосходно — прекрасная... И — с петухами, и — стоит недорого".

И продолжает пощелкивать.

Папа сегодня постригся: смелее — совсем небольшой бородой, ставшей вдвое колючее; шея от этого кажется толще; и более зверским лицо: ах, зачем он обстригся?

О, нет: никогда не поймут они верно друг друга, а я — понимаю уже: мама — точно "невеста" картины Маковского "Свадебный пир", ну, а папа, — какой женишок? Стало быть?..

Домышляю: —

— а домыслы — вещи опасные: —

— вещи вещают о

том, как им быть в этом случае; вещи вещи понять, это — значит: отставить границы меж ними и мною; и заставляю —

— себя сознавать уже

папою: мамы и папы; они не допустят во мне опрокинутость эту; отрезан от них в понимании очень опасных и вещей вещей; ухожу в немоту, преступаю черту; —

— и преступность моя —

откровение истины без осознания того, что оно — откровение; не осознать правоты своих знаний — не значит ли: быть в преступлении; —

— да! —

— Грех

преступности — робость!

.....

Уж слышал от мамы: на данном обеде Тургеневу маму с Салтановой⁸ так посадили, чтоб видел Тургенев красавиц: пред пышным букетом цветов; и Тургенев, надевши пенсне с широчайшею черною лентою, — маму разглядывал; папа, согретый шампанским, сказал лучше всех; и слабей Боборыкин⁹, пустив пароходиком слово — вперед, и оставивши лодочкой мысль — позади, —

— Боборыкин, —

— который весь в желтом, которого называет "Петрушею" София Александровна... Боборыкина...¹⁰ —

— видел

его я в Лугано в шестнадцатом, кажется (этого века); и он вспоминал:

— "Михаил-то Васильич, бывало!"

Да, да: Боборыкин советовал маме заняться с ним дикцией:

— "Я говорю вам!"

— "У вас очень много прекраснейших, артистических данных!"

— "О, русские женщины, русские женщины, не понимаю я вас; нет, как можно: хозяйство, и дети, и кухня, когда артистический мир — вам доступен!"

— "Я вам говорю..."

— "Вы послушайте: "Петр Боборыкин" — сказал (его помню — высокий, вертлявый, весь в желтом, весь в пестром; к очкам приставляет лорнет; и нальется, и бьется багровыми жилами череп; и вскочет, и сядет; и схватится пальцами за завитушечку кресельной спинки), и мама, бывало, внимает: и — тянется к сцене.

Все яркое, чем я живу, — это мама во мне: прожурчит разговором; и выпадут: рыбка золотая, хрусталик и яркая тряпочка; я поднимаю хрусталик к лицу ее — ручкою прочь она; звонче рассказывать; очень рассеянно спутает мне волосенки, браслеткой заденет по носику: пахнет весною — лугами: прозябли рассказы о мамином детстве; букетики цветиков ставит она перед нами: —

— да, Звездочкой звали ее¹¹: эта девочка, Звездочка, вышла из маминых глазок; она, как и я; она — девочка, Звездочка; мы побежали на луг: людоедное время погонится —

— помню: она говорит, как на сцене; значительно смеряет взглядом и палец приложит к губам:

— "А вы знаете что?"

Прозвучит это "знаете что" на всю комнату; я побросаю паяца, переползаю на коврик, сижу под коленками, ротик раскрою — на то, как разжалась на стол локоточком изгибная ручка сверкающе-желтоливым бериллом¹²; она — словодар; Генриэтта Мартыновна, та, — словом, мама действует мимикой: —

— ручки расставит: направо-налево; и — тешится

песней:

О, мой Пиппó, все та же я,
И так же все люблю тебя —

— и я брошусь кричать:

— "А теперь — тараканов!"

Она же:

Да, где тараканов так много,
О, да: где их много, —
Там в доме есть бла-го-дать:
Бла-го-дать!¹³

Знаю я, что Маскóтт — Зорина¹⁴ (в оперетке Лентовского¹⁵: ходит Лентовский в поддевке); Пиппо — был Огнев, Роман Яклич¹⁶, теперь поступивший в Мариинский театр, очертевший в страстях Мефистофеля вместо Кондратьева¹⁷ и умоляющий Поликсену Борисовну в арии Демона взять его руку и сердце; она не согласна; но, но — называя Огнева "Ромашей" — ему отвечает: —

— и мамочка тут облизнется, согнется головкою, и исподлобья повыпрыгнет глазками, как Поликсена Борисовна:

— "Ты бы, Ромаша, поехал с визитом к Направнику?"¹⁸

После: —

— оскалится ротиком, и —

очертеет глазами; я слышу: —

— как длинный "Ромаша",

оскаливши зубы, басит во весь рот:

— "Черт возьми!"

— "Не поеду!"

Бойтся Направника он: оттого и не едет; ему говорят:

— "Ах, Ромаша, Ромаша: поехал бы ты..."

Это все разговоры о том, как жила в Петербурге, у Поликсены Борисовны Блещенской¹⁹, мамочка: около Мойки; персона из царской фамилии к чаю приехала: дикий Ромаша сидел за альковом, не смея сморкнуться; —

— в кольцо бирюзовое смотрит; и — собирается с новою мыслью; из левой руки, от колена, завьет папироска кудрявую струйку (да, мамочка стала прикуривать что-то); пройдется, — улыбка — та, первая:

— "Ах..."

— "Петербург!..."

Говорит это все для себя "самое": хочет высказать вслух: ей поется; все — донельзя ярко и донельзя все мне понятно, как... музыка; что вот, — не знаю; глаза закрываю, — лицом к крепдешиновой кофточке; ручку положит ко мне на головку, играя рассеянно локоном: смотрится в локон; теперь с разгасившимся вовсе лицом переживает сама она это все... —

— восклицающим высвистом дзанкая в стекла снегами, — порывы, за стеклами, там: затянули прозоры... за стеклами; снова Арбат овивается беловенечной фатою: за стеклами; кто-то в трубе принялся выборматывать — тоже:

— "О, боже!"

Как будто рассказывать — то же:

— "О, боже!"

В трубе принялся выборматывать кто-то: про что-то. Вдруг —

— тресну-

ло: пол оседает: —

— обстриженный папа, давно привлеченный рассказами, тяжело дубасит стопой, заложив за спиной две руки с разрезалкой и выдавив полный живот, оседает большой головою, зашлепнутой в спину; рассеянно встал перед зеркалом, точно не видя себя; увидавши себя пред собой, он впился очень зверски подстригом бородки, поставив два пальца себе под очки; и — не мог оторваться, не мог оторваться: от маминых громких речей ("Петербург, Петербург!"), иль от дикого, скифского лика с обстриженной зверски бородкой; —

— мама опять растворяется словом, как рядом картонок своих, из которых она вынимает пернатые шляпы; тут папа не выдержит: очень спешащие глазки забегали мушками; пальцы — дергунчики; жила на шее набухла:

— "Оставь", — поднимает на мамочку мелкие глазки — две точки, два острия карандашика (эти спешащие глазки меня беспокоят!). — "Оставь: Петербург, это — немцы".

Но мамочка, стиснувши губки, закинувши ногу на ногу, шелкнұла ошептами юбки; и — прыгает очень значительно ножка носочком; и, как карандашики, папа слова очиняет и эдак и так, в острие своей мысли: дезинфицирует мнения:

— "Это все, Лизанька, — дрянь: мишура, немчура; это нам ни к чему, это нам не к лицу!"

Потянуло опять его к зеркалу (вот он какой после стрижки! Он стал — совершеннейшим скифом): и гладит лицо полнотелой рукой, повернувшись, старась увидеть свой профиль; и — снова отшаркал от зеркала в гуцу вопросов:

— "Какая же это там жизнь? Поликсены Борисовны этой? Певцы, лоботрясы, гусары... И в эдаком обществе ты, мой Лизок, — не скучала!?! Не понимаю я это!"

Какой-то слепень: и не видит — у мамы лицо прохудело от скуки, и — кинулось прямо в глаза: перешло вдруг в глаза; и два глаза расширились и раскидались, и (ай!) обожгли препридирчиво все, что лежало пред ними; а папа уже собирается выставить армию доводов; перевернется на стуле; руками по воздуху рубит котлеты:

— "Москва, так сказать, есть естественный, русский наш центр, — всякой умственной, нравственной, литературной, общественной жизни..." —

— пройдет перевальцем на мощных, недлинных ногах; тупоносо стоит сапогом на перкете — "Москва есть коммерческий центр: она — узел железных дорог, выразитель провинции..." —

— Папа сильней ударет словами...

А мама, закинувши ножку на ножку, запрыгала красным носочком язвительно:

— "Да, в Петербурге проспекты; по Невскому катит в коляске царица: поклоны — направо, поклоны — налево, а Яблочково²⁰ освещение — блестящее!..."

И быстро, быстрее — до бега на цыпочках мечется по полу папочка кряжистым спинником; вдруг он подшаркнет совсем саркастически (даже подпрыгнет, подшаркнув: и — взмах разрезалкою!).

— "Фу-ты. Принцесса Дагмара²¹, — прошу извинения — э, что там "к а т а е т с я": ах — немчура, немчура!"

А уж мамины глазки становятся явно алмазными глазками; плачет: о ней не заботятся; жить ей в московской среде — невозможно никак: как профессор, — дурак, как профессорша, — злюка-гадюка; и — глазками папу минует; и — обращается к ложке, пред нею лежащей: и схватит ее, и отбросит; а розовый ротик — сплошной колокольчик —

— эге: да он дудочка! —

— вот и пойдет, и пойдет: что уедет от папы, что папа — урод, каких мало, а мама красавица; смотрит большими глазами на нас:

— "Не расстройство чувствительных нервов — нет, нет: я — здорова..."

— "Я — вас!..."

— "Убирайтесь вы все!"

И — обводит нас всех с таким видом, что что ни скажи — ерунда: и она — всем покажет; зимующий рак, вероятно, ползет показать нам, где раки зимуют; и — выставит родинку: —

— папа скрипит в кабинете половицей: дрожит пятипалой рукою над мухою, уцелевшей от лета; и — "ц а п"; ее ловит: —

— и муха сидит в кулаке; оторвется ее голова; то не муха, а — мама; не мама, а — мамины нервы...; вдруг — дернется: быстро забегает. Крепко прижавши к крахмалу сорочки кулак и оскаливши рот белым блеском

зубов; а другою рукой на крутых поворотах —

— раз,
— раз,
— раз,
— раз,
— раз!

— очень быстро уда-

рит по воздуху; раз я его подсмотрел: он всклокочился; точно два глаза — огромных, багровых — ширели закатом сплошным кабинетные окна, багря косяки, рукомойник и стол: во всем красном — расхаживал папа, — о, нет, не расхаживал —

— бегал на цыпочках, крепко прижавши к крахмалу сорочки всю челюсть, разъятую ртом с белым блеском зубов; будто он раскричался без голоса —

— руку одну прижимая к дышавшему боку; другою, зажатой в кулак, на крутых поворотах —

— раз, —
— раз, —
— раз, —
— раз, —
— раз, —
— бил по воздуху, точно

проделывал он упражнения Мюллера²²; —

— беганье папочки, этот раскрытый, кричащий на сумерки рот, подбородком прижатый к крахмалу щелкавшей сорочки; и —

— раз, —
— раз, —
— раз, —
— раз, —

— мне запомнились: выбежал я!..

.....

Покричав и побегав с собою самим — у себя самого, — выходил он мириться: совсем успокоенный, даже какой-то размякший (таким его видывал я приходящим из бани); усевшись в кресло, снимал облегченно очки: протирать очень весело; узкие плечи, покато упавши под очень большой головой, приносили повинную: голову эту сажали с усилием два человека, сперва надорвавшись; сидела она как-то так, — набок...

.....

Мама тоже легко отходила; поплачет, и — рядится: на вечер; плавно павой под зеркалом ходит; турнюр придает ей немного комический вид; и — ровняется: тренем²³, шумящим шелковым кружевом; талия — рюмочкой; вверх поднимают достойные пышности очаровательным вырезом, пахнущим опопопаксом²⁴ Пино, и слепительным от бриллианта, упавшего

посередине, меж двух тельных складочек, с бархотки; точно Венера, горит на рассвете — пред солнцем, которое спрятано: ниже в корсаже; поклонники мамыны, верно, гадают:

— "Взойдет?"

— "Не взойдет!"

И — стараются взором (как бы невзначай) проникать за черту горизонта: и — нет, не взойдет! Позаботилась мама: качается сколотый вырез розистою, розовой розой, когда она ходит, натягивая перчатку до локтя и сметывая с перекрученной башней прически на пестрый ковер свою малую шпильку; оступится в трене; схватив его ловкой рукою с подкинутой ножки, оплещет нас розовым шепотом шелка подкладки —

— какая подкладка у этого платья! Я в маминых платьях подкладки любил: ей бы вывернуть платья: лицом наизнанку; изнанки, бывало, кричат: канареечным, розовым, красным, —

— такая большая: стоит — церемонно; ни-ни — подойти: ни-ни-ни! А вернется, бывало, и вот: расстегнется; корсаж упадет на Дуняшу, а юбки — одна за другой — упадут на ковер; и оттуда повыскачет мама ко мне, — голоручка, худышка, в одних панталончиках, пышность оставив, — со мной егозить; это — после; теперь — ни-ни-ни; церемонно стоит, церемонно проходит; —

— в окошке, где было главасто от туч, где стояли одни многолобые горы в черте горизонта, — безлобые плоскости; и — из-за них, приседая и нас освещая коротким отходным лучом, опрозраченным ясно, под ним нисходя, — померцающий шар, красный шар, приседающий в землю: отсиживать ночь; —

— померцающий шар уложили в особый футляр с лакированной крышкой, обитой атласом внутри, как кольцо дорогое, — от Фаберже или Дейбеля²⁵, —

— грузно и бременно!..

Временно время; но — бременно время; бормочет — отданными днями; и — раздается: нам в уши, нам в души!..

.....

Передняя —

— комнатка —

— малая: —

— желто-оранжевой злобой глядели обои оттуда в мигающий свет керосиновой лампочки; вешалка, столик и стул: все — оранжево здесь; на оранжевом фоне кирпичною линией четко проходят: квадраты, квадраты; висит многогорбая вешалка; немо; три двери: в столовую, в кухню, в немой коридор; повисает, пылясь, занавеска на кухонной двери такого зеленого цвета, что больно глядеть, закрывая

дверное стекло, чтоб не видели кухню; и сальный матраик для Альмы, туда зарывающей кости и жир в расцарапанный лапами волос; —

— бывало: —

— в енотовой шубе и в котиковом колпаке залезал, громыхая, в свой ботик склоненный над Альмочкой папа: на желто-оранжевом фоне обоев, освещенных очками мигавшего пламени; Альмочка грызла жесткую желтую кость; и — кроваво косилась: а папа, наставив очки, говорил:

— "Это — правильное собачье занятие: чтение газет!"

— "Эти кости, Дуняша, в собачьем быту — то же самое, что в человеческом газетное чтение".

— "Альмочка кость погрызет, и — все знает".

За папой спешила и мама, в ротонде²⁶ и в маленькой плюшевой шапочке, с током²⁷ (с огромным!); косясь на нее, он указывал пальцем, большим — на матраик:

— "А Альмочка, знаешь, — читает газеты!"

У мамы при этом известии прыгала родинка под вуалеткою (белую, с черными мушками); глазки, туманясь, крылись ледками: она самодушием жала к полнеющей шее круглеющий свой подбородочек, важно надувшись; казалось: сделает:

— "Уф!"

Задевают ее, огорчают ее эти шуточки папы; рукой опираясь на спину Дуняши, натягивавшей на нее меховой мягкой ботик, как ножницами, расстригала молчание:

— "Пахнет опять!"

— "Пахнет псиной!"

— "Вонища!"

— "Я вам говорила, Дуняша, что надо матраик проветрить: на снег его, снегом!"

И — дверь растворялась; и папа туда, в темноту, убежал, опустив нос в меха; убегала и мама за ним, опустив нос в меха; в двери веяло холодом: ворохом вывших времен; многоногие людогоны неслись по Арбату: —

— несется событий негромкие громы в огромные мороки мертвого мрака: хромают часами усталое время; оно — хромоногое!

МАМОЧКА

Знаю: мамочка наша больна!

Это часто у ней за спиной выговаривал папа. Я знаю, что ей занемоглось плачем, когда она села из Питера в спальный вагон, чтобы плакать о питерской жизни; изнемогала в профессорском круге она; —

— появи-

лось большими глазами лицо ее в сумерках: —

— все, то немотствует, голову свесив на грудь, перебросивши косы на грудь, и — болеет размыслим; вдруг —

— приподнимется: —

— примется: перетирать безделушечки полотняною тряпкою; тут же, с бесцельным терением распространяется ропотом, возгласом, взвизгом, рассерженным носиком стоя пред папиной дверью: в ночной рубашонке — пред сном; и придиричиво смотрит не в дверь, а в... потопное прошлое, —

— в детство! —

— Откуда уселась хозяйкою дома она среди стен Косяковского дома: помню: —

— четвертый Зачатьевский переулок¹; отсюда привез ее папа в парадной карете, во фраке, с букетом цветов —

— и Максим Ковалевский², во фраке, с таким же букетом сидел против мамочки; мамочка, вспомнив про это, всегда заболит глазами: поводит большими глазами: молчит бриллиантовым взглядом (от слез):

— "Я — вас: всех!.. Убирайтесь: пошли, пошли все..."

— "От меня... Ах, оставьте!"

— "Оставьте..."

— "Меня!" —

— Я не верю: —

— (ах, звездочка, белая блеском на кубовом небе белесыми полднями —

— вся обезблещена!) —

— Полдни наполнены ужасом ветхой, профессорской жизни и —

— бороданником старых научных жрецов; —

— оттого-то: —

— расширились глазки ее — колесом: побежали, бежали, бегут... да и выкатились из глазок; алмазики перекатились в платочек: —

— платочек сырой остается на кресле; —

— ну что же: поплакала?

Все у нас плачут!

.....

На пальчик уселось кольцо с бирюзью; вернулась из Питера; и — появились зеленые пятна на камне кольца —

— очень плохо! —

— все знают, —

— как

только испортится бирюзовая бирюза бирюзою зеленой, теряется в доме семейное счастье.

И вот: —

— уже прázелень: счастья хватились; карманы обысканы, полки в шкафах перерыты, а счастья нет: где оно? —

— Знаю: не было! —

— Ша-

фер Максим Ковалевский в карете его утерял!.. —

— Так пошли болтушн-ники: мама болеет болезнью чувствительных нервов; воссевши, молчит; опустила головку на грудь, перекинула косы на грудь; —

— папа около ходит и около охает! —

.....

Да, между папой и мамочкой — есть: что-то есть; пререкания тут быть не может, что есть пререкания, есть: очень крупные; некого только спросить: —

— ну, кого бы спросить? —

— Отвечают лишь воющим высвистом в стекла порывы за стеклами — там, затянув кисеею прозоры: за стеклами; да отвечает лишь лютое время морозом; и виснет трескучее солнце жестокого цвета; и все белоперые стекла застыли; со всех подоконников скоро закапает...

.....

Ах!

Я — один: я один; я внимаю пришествию маленьких звуков; от двух до пяти тулумбукает кто-то у Помпула³; рубят котлеты на кухне; Дуняша ругается; ранее: мама звонится словами, как связкой ключей, все о рюшах⁴, горжетках, жабо; к двум уж скрылась; три: громкий звонок; тулумбасит калошами папа в передней — подмахивать листики; знаю, — под каждым появится подпись: "Декан М. Летаев"; зевает и жмурится; свет ест глаза; бриллиантит окно ледопёра зимой: —

— тарарыкнет оно светоперой весною! —

— и высвистом, вísнегом свищутся в стекла набегиметели; за стеклами белое клокотание; белый бежит — перегромом, бежит передрогом по крышам — от нас к Реттерé, над Гринблатом, —

— над Блан-

ком —

— куда-то —

— откуда-то! —

— Папа, изогнутый, трахнет крахмалом, чихая, и — выставит подпись: "Декан М. Летаев". Уже морготня зажигаемых ламп; что-то водится: сорное, вздорное; тихо просели углы: в непро-

зорное, в черное; в ворохи, в шорохи —

— мамочка плачет беззвучно! —

— о

чем? —

— Папа встанет, качнется с натуги, посмотрит; и что-то захочет сказать: не сумеет — мымыкает, грустный быкан; поморгает на мамочку суриком переполненных глазок (от крови); махнувши рукою, уйдет в кабинетик: сидеть в ка-бинетике.

.....

Время обеда — тяжелое: —

— мама боками атласит к столу; недовольно схвативши салфетку, бросает салфетку; глазами в кольцо с бирюзою —

— оно

зеленеет: оно — зеленей, чем вчера! —

— бирюзы не осталось: одна неприятная зелень бросается маме в глаза; —

— и —

— обед хрустает графином, стаканами, звонкой грустиной и матовой дутостью —

— мамы, —

— которая, что

ни увидит и что ни услышит, — на все пятит губку, опухшую в ссору...

И — папа теряется: как ему сесть да на что посмотреть... —

— Начинает

словесничать: эдак вот, эдак: —

— "Оставьте: молчите... Ну что вы пристали?.. Ну что вы такое сказали? Опять — этот вздор... Та же все ерунда!.."

— "Вы находите?.. Ах!"

— "Очень глупо!" —

— и выставив детскую родинку, мамочка потчует всех; нет, не взглядом, а ядом: все то, что ей скажут, ей лучше известно; и все виноваты: кругом виноваты; —

— и брови взлетели на маленький лобик; и строят без слова такие зацепы из мнений, что —

— суп застревает

в дыхательном горлышке: кашляю; папа совсем растерялся; со страху он выскочил с громким вопросом.

Всего мне страшней, что ко мне повернутся с вопросами: станут во мне за столом развивать любознательность к точному знанию; знаю, что мама на это нахмурится; и — поглядит исподлобья; и я — понижаю; и я — поперхнулся ответом; на папин вопрос — ни гу-гу: промолчу: —

— потому что,

наверное, —

— папа уйдет, а когда я остануся с мамой один на один, то —

больно ухватится за руку, дернет к себе; и схвативши густую гребенку, вонзит ее.

— "Ой, ой, ой!"

— "Что такое? Ой, ой? Представляешься ты с "ой - ой - ой": замолчи!"

И расчесет гребенкою волосы: лучше бы выдрала их, чем так мучить ребенка гребенкой: расплачусь; и тут получу: бирюзою по носику.

— "Ну?"

— "Пошел прочь!.."

Бледноглазо ласкает, не грея меня, пустоцветное небо; закат розовеет с хрустальной сосульки; и розовый дым пробежит кисеею по розовой крыше.

.....

— А то она пальчиком тихо грозит, показавши кольцо с бирюзою:

— "Послушай-ка, Кот..."

— "Заруби у себя на носу: ты мне будешь чужой!"

И полнеющий вдруг подбородок прижмет она к шее; сидит — худоворится.

Время темнеет; и вот: фиолетовой флейтою льется триоль⁵; и вишнеет клочок ушедшего света: чернеет на небе; змея, полосатое время, — ползет; и беззубо оскалилась старость в чернотных пустотах губимого мира; уже чернорукая тьма протянула огромный свой перст сквозь стекло; безголово, безного столбом к потолку поднялся Чернорук, уронивши свои пятипалые руки на шейку; и — сжал мое горлышко: темными страхами.

Я сожимаюсь: припрятать развитие (я — развиваюсь, увь!); недогадливый папа, ко мне обратясь за обедом с мудренным вопросом, желает скорей обнаружить развитие, чтоб подарить котелок, подарить сюртучок и футляр для очков, и брелок для часов; отвечаю нарочною глупостью; папины карие глазки забегают, очень печально завертятся, и — опускаются прямо в тарелку горячего супа (он дует на ложку); а я посмотрю исподлобья на мамочку: —

— мамочкин взгляд изменился, когда заболела она: стал какой-то животный... —

— и мама бросает животный свой взгляд, нападая на нас: и — понять невозможно: глядишь маме в глазки; за глазки; останутся мамины глазки, на глазки мои не ответят; не принятый маминим взглядом, мой взгляд побежит, как мышонок, от маминих глазок; и вижу, что папочка мой из тарелки моргает, внимательно глядя, как я заморгал; его глазки, мышата, метнутся на мамочку; глазки у мамы, что родинка: смотрят — не видят!

.....

Мы с папою редко вдвоем; разобщились молчанием; помнится мне невозвратное время, недавнее время, когда еще мама здорова была; так свободно пошучивал папа, вникая во все, что случалось со мной; и лечил

от расстройства животика: —

— помню: — однажды схватило животик; я плакал; а папа — крутой, головастый, приземистый, вдруг набежал из-за двери со склянкой касторки, тряся бородой с напускною свирепостью; забултыхался буфет; растяжелой стопой он ударил в паркет, заплясавши вокруг моих криков таким прыгуном; и столовою ложкой махая под носиком, топал словами свой громкий стишок, сочиненный по этому поводу, чтоб позабавить меня:

Экий дурачишко, Котик!
Ты не слушаешься няни:
День и ночь пихаешь в ротик
Всякой мерзости и дряни.

В наказание вместо порки
Я принес тебе касторки...
Раскрывай-ка, братец, ротик:
Мы прочистим твой животик... —

— И все рассмеялись; и тут же в столовую ложку наливши касторки, он вылил касторку в раскрытый мой ротик; шутливо подшаркнул и громко подпрыгнул под это событие; —

— скоро меня потащили в отдельную комнату: чистить животик.

.....

Мне помнится, да, невозвратное время, когда не боялся ласкаться я к папе; теперь не ласкаюсь к нему; я — догадливей: понял, что папе скандалы вредны; затаился от папы, любя его крепко; и было мне горько, и плакал я в зорьки; но слезы свои утаил: потеряли друг друга (утратил я друга!); и эта потеря в годах затерялась, когда потерял я способность: быть искренним с папочкой; все же я думал тогда: это есть добродетель моя; этот крест я понес по годам, как невидную помощь для папы и мамы; когда собирались они за столом, то могли друг на друга взорваться: словами и взглядами.

Странно!

Бывало, хожу среди теней; и воздушно повиснет косматость теней; заведутся везде бороданники; я пробираюсь меж них, но сквозь них натыкаюсь на ужас, а ужас — хохочет: обнять меня хочет... —

— Я мог провалиться сквозь пол, где живет зубной врач, поднимая зловоние снизу искусственной варкой зубов; он мой зуб оторвет и торжественно вставит чужой и зловонный... —

— Подолгу я думал о варке зубов и подолгу я слушал тяжелые стоны (там — дергались зубы); и мысли о гибели, бездне и варке зубов поднимались во время обеда, когда убежала душа в задрожавшую пятку от страха, что папа, схвативши тарелку, отгрохает в свой

кабинетик, замкнувшись на ключ, и не выйдет: там канет навеки; собрав чемоданы, меж тем в Петербург убежит наша мамочка; а Генриэтту Мартыновну выкрадет "Цетт"; я — останусь один; в одинокой квартире; и вот позвонят: —

— и придет, отворивши из сумерок дверь — господин в сюртуке, в очень черном: с намереньем очень позорным; останемся с ним мы один на один; промычит на меня он бычачьею мордою: он —

— Черно-мордик!

.....
Однажды я видел томительный сон, что — свершилось: что папа и мама потеряны, что унесен я в квартиру, такую ж, как наша; но знаю — не наша; какая-то дама (не мама) меня утешает (не так утешает!), меня уверяет, что мама она; вдруг проходит по комнатам папа; к нему я кидаюсь, ловлю за сюртук; повернулся он: вижу — лицо-то не папино!..

странное что-то творится у нас; запирается папа от мамы; и там производит ужасные вещи, которых не знает никто; там становится он — клокотун: ярко-красный; дрожит пятипалой рукою над мухою он, уцелевшей от лета; и — "цап": ее ловит; и муха сидит у него в кулаке; —

— оторвется ее голова — дергунцами, дрожащими пальцами; папа над мухой сидит — ярко-красный, ужасный; я знаю, что это не муха, а — мама...

И странно, и страшно теперь в выдуваемых бурею комнатах; все-то мне кажется: что-то взывает; вдруг: все освещается свечкою: видится мама за свечкою; хлопает, шлепает туфлями; шамкает туфлями прямо в переднюю: верно, подслушивать, что говорит про нее Афросинья (на кухне); вдруг звук: то забила, забегала палочка хвостика из уголочка: то Альмочка по полу хлопает хвостиком; —

— нет —

— не подслушала: в кухне — молчание; Альмочка выдала маму... —

— И мама на Альму затопала: палочка снова захлопала; все освещается сызнова — только в обратном порядке; проходят со свечкою: мама за свечкою... Шлепает, шаркает, топает, шамкает...

Что-то взывает: —

— прошедшею полночью было, я знаю наверное, —

— шествие злых черничей⁶ от угла до угла: по ковру, мимо стульев; я — видел; сказать, — не расскажешь; они, чернички, проходили всегда: проходили года (от угла до угла) — по ковру, мимо стульев; луна нападала на них световыми мечами; и толпы немых черничей упали, как мертвые, на пол; луна уплывала за тучу; они ж, —

— чернички, —

— повосставши, валили ватагой из черной норы угловой: по ковру мимо стульев; и — не было им ни конца, ни названья!

МИХАЙЛЫ

Ноябрь, снегодар, выгоняющий саночки, дни осаждает обвейными хлопьями; папа свисает в передней огромной оторванной шубой (ее подшивали уже много раз, она рвется: наверное, он на ходу задевает о желоб) —

— свисает в передней енотовой шубою, громко покашливая и отрясая снега; он стоит в превысоком своем колпаке из мягчайшего котика, с желтым, рогожным кульком и с портфелем; в портфеле — дела факультета, в кулке — златоглавые вина: двенадцать бутылок — мадеры, портвейны и хересы; это — кануны Михайлова дня; прибегут поздравители завтра: Михайлы — останутся дома.

У нас — полотеры: отставили мебель, кровати, столы; и — сложили ковры; один ползал по комнатам, став на колени; рукою, сжимающей воск, процарапывал, хмуро потея, белесоватые, воцаные зигзаги, показывал грязную пятку, которую Альмочка, выставив морду, старалась куснуть и привзвизгнуть, как будто бы пяткою пнул полотер ее.

С белой плетеной корзиной пришла Афросинья; у ней — пестроперая дичь: безголовая птица; я вижу — кровавое горло и желтую лапу; и знаю, что завтра к обеду все это иначе подается на стол.

Мама строго уткнулася носиком в пестроперого рябчика: нюхает:

— "Нет".

— "Нет, — нет — нет!"

— "Не возьму: ни за что".

О, скорее бы завтра.

.....

И вот оно "з а в т р а".

О, сколько же розовых, рдяных носов рдеет в рдяный мороз. Сколько розовых рдяных стрекоз приседает: поблескивать холодом; и за окном рассыпают песок, чтоб не падали; нет, не ноябрь, а — декабрь¹: и рождественским снегом, и блещенским холодом будут выскрипывать ноги на улице; будут вынюхивать дымы; лопаты ударно захаркали жестким железом о мерзлые льды.

И звонок, очень звонкий: приносят картонку; от нетерпения сердце мое — ходуном; а у мамы глаза — колесом; мамин ротик цветком раскрывается: там язычок — червячок; и она — облизнется, как кошечка, от удовольствия: торт Толстопятов прислал; и картонку несут прямо к папе; прелюбопытно уставился он из халата на торт, поправляя набрюшные кисти:

— "Скажите, пожалуйста..."

Мама наклонится, вытянет губки:

— "Ну вот: поздравляю..."

И глазки — две ласки: проглядные, как абажурики: снимешь их — два огонька; и прилобился наш именинник к протянутым губкам; я знаю: от глазок теперь подождутся; у всех огоньковые глазки зажгутся; да, да — сколько раз именинничал папа; и — будет еще именинничать он: а уж

там поглядишь, и — ударная старость стоит с своим даром: с неблагодарным ударом.

И папочка стар: пятьдесят уже лет.

Он сидит за столом, отдыхая пред трудной обязанностью: угощать посетителей, предлагая то сига, то сыру, то масла, то хересу, — перед куском шоколадного цвета стены, опираясь большой головой в косяки своих полок кофейного цвета; сидит без очков, в бледно-сером халате; сидит — в большой нежности — так, ни с того ни с сего, пред собою поставивши кремовый торт Толстопятова, весь припадая опущенным плечиком к стулу, — такой большелобый, с упавшею прядью; его голова, чуть склоненная набок, доверчиво нам удивлялась совсем голубыми глазами (не карими):

— "Вот ведь скандал!"

— "Именинник".

— "Скажите, пожалуйста".

Он улыбался тишайше себе и всему, что ни есть; и казался китайским подвижником, обретающим "Середину и Постоянство" Конфуция²; эдакой ясности — нет, я не видывал.

А между тем приходили к нему то Дуняша, то мама:

— "Пришли поздравлять педеля".

— "Пришел дворник Антон...."

— "Ночной сторож..."

— "Водопроводчик..."

Помаргивал папа беспомощно в нас виноватыми глазками; и выгрохатывал шуточки:

— "Педель не пудель".

— "Антон-с? Без антоновки?"

И, доставая бумажник, выкладывал деньги.

Перевалило уже за одиннадцать утро: заглазалась в окно ворона:

"Шу, шу".

Пролетела.

В столовой теперь расставлялись столы; и вкладные, огромные доски теперь закрывались снежайшею скатертью; горы фарфоровых звонких тарелок блистали протерто; бренчали о вилки ножи, полагаемые Дуняшею; выставив глупую морду, коптился на блюде промасленный сиг, золотисто-коричневый; и появлялись сыры и колбасы, и рюмки, и стая бутылок; и гнутые полукруги сидений обставили стол; чистота и порядок — во всем.

Это мамочка распорядилась, нарядная, в клетчатой юбке, виляя огромным турнюром, шурша казакином, прекрасным и розовым, с острой, как башня, прической, проколотой золотым гребешечком; и с глазками, укусившими больно шершавую руку Дуняши:

— "Нет, нет".

— "Не сюда".

С заживавшимся розовым личиком маленькой куколки: горло заколото брошью, которая — круглая; в ней — белоперая дама сидит с волосами

совсем рыже-красными: это какая-то там фаворитка: м а д а м; вижу: маминьи глазки, туманные глазки, теперь обострились, как пьявкины глазки; зелененькие огонечки забегали по серьге с бриллиантом:

— "Опять напустили вы чаду из кухни".

И — красненькие огонечки забегали по серьге с бриллиантом.

Звонок — очень звонкий:

— "Мамаша".

То бабушка: в светлом, коричневом плисовом платье с парадными лентами плисовой свежей наkolки, с лиловеньким поминаньем в руках; и она без турнюра; за нею бледнеет безлобая тетечка худенькой палочкой; следом за ней — остолбенело войти не решается, весь озлащенный веснушками, переправляя, представьте же, белый свой галстух, сам дядя Вася. И мама ему:

— "Это верх неприличия! При сюртуке белый галстух".

И вот понесло пирогами из кухни: с капустою, с рисом — с рыбой, с вязигой, с морковью и с мясом.

О, сколько же розовых, рдяных носов будет рдеть, забегая в переднюю, шаркать ногами, побрякивать, громко сморкаться и спихивать шубы в Дунышины руки, внося за собой из мороза щекочущий запах горелого; будет отряхивать блещенский снег с обсохнувших усиков, чтобы, украсившись всякой игрой, миловидно влетать, спотыкаясь о блюдо вносимой большой кулебяки; звонок: быконогий профессор, седой бородавочник, тут белоброво пройдет с поздравлением, сядет, засунет кусок кулебяки в зашлепавший рот; и забрызжет слюнными словами; звонок: Малиновская станет ободраным остовом, с белым, бескровным лицом — переплющенным плющиком; едко напомнит: понюхает воздух своим фиолетовым носиком; воздух испортит зловонным вопросиком; с ней проплывет многогородная дама с большим животом; Малиновская спросит:

— "Который?"

— "Двенадцатый".

Самославный нахал, сочноротый присяжный поверенный, крикнув крахмалом, покажет себя, как-то вишнево взором уставится в херес, прозубит двусмысленный свой каламбурчик и, клюнув из рюмки, баранно изbleется; перекрахмаленный же щелкач — тут как тут: щелк да щелк — толк толочь. Кто-то, странно запачканный, хмурый, как иодный раствор, позабудет уйти; и останется с нами обедать; трескочный негодник поднимется с места и, сделавши общий поклон, на который ему не ответят, пройдет в полусумрак передней, несолоно съевши; перегрохочет у нас за столом в своем полном составе, как кажется, весь факультет; попечитель учебного округа сам занесет свою карточку, но не войдет; будет щуриться, ласково кланяясь, добрый такой и стыдливый профессор Жуковский: мужчина мужчиной, а голосом плачет, как женщина; неизменяемо выйдет из двери, столкнувшись с уже уходящим Жуковским, принесший с создания мира свою седину, очень маленький, мило моргнувший Ануцин²; казался мне малой рыбешкой, но очень костистой

(проглотишь — подавишься: сядет у нас прозирать настроение общества: ухо держите остро. Верно, "Русские Ведомости" получили известие): —

— я недавно еще его встретил на улице: встретивши, вспомнил, что тридцать пять лет его знал совершенно таким же: всегда очень стареньким, седеньким; верно, с пеленок он ходит с седою бородкой, с вихрами белейших волос, привскочивших над маленьким, очень морщистым лобиком, с красным, свисающим носом, который хватает он пальцами; —

— вломится тучный, всегда запыхавшийся словом, Сергей Алексеевич Усов⁴, чеботаря тремя-четырьмя бородавками, точно вкуснейшею ягодкой: да, земляничка на нем вырастает; его фунтовое, тяжелое слово прихлопнет совсем щелкача; тот, прихлопнутый, фукнет, как пыльник; и облачком фука, зеленого фука, — оседет на скатерь: —

— не то Веселовский⁵ —

— иной, волоокий, надутый таким невесомым превыспренным воздухом: все выдувает легчайшее, витиеватое слово, которое носится сдунутым пухом (коль в нос попадет, так чихнешь, — не поймешь); и не то говорит Алексей Веселовский нам спич, а не то преднадменно сдувает цветки одуванчика; пухом несется, не зная куда и зачем, на словах, обрамленный власами: —

— Сергей Алексеевич Усов, курия, осыпается пеплом, насмешливо слушает; вдруг засипит, да и выпустит дымным кольцом бедокурное слово: —

— летит бедокур в перекур: —

— да,

я знаю, что все они будут.

.....

Ну вот, начинается: слышу звонки; я сажусь — наблюдать (под окошко; там за окошком: ворона стучит черноносо в окошко из белого снежного пуха; пошли облака; и пушисто летит сереброперый снежок): а в столовую быстро влетает студент-первокурсник, носатенький, с черной бородкой, при шпаге; и папа выходит навстречу ему; он стремительно подлетает, восторженно дергает папину руку; и щелкнувши ножкой, от силы щелчка отлетает чрез комнату в угол с оторванной бедной рукою (о, сколько руки оторваны им); он отсюда проходит к столу: опустить над тарелкою нос: это — Батюшков⁶, внучек поэта; его теософия ждет впереди; и приходят еще два студента: один — Алексей Николаевич Северцев⁷, тощий, высокий, старообразно изогнутый; Паша же Усов⁸, студент богатырского вида, пройдет, мимоходом, подкинувши в воздух ладонь: —

— и летит сереброперый пушистый снежок за окошком, пушисто ложится; ворона нахохлилась; шариком стала: давно цепенеет она; я смотрю и туда и сюда:

за окошко и в дверь; подают кулебяки; снежайшие старцы проходят почтенно; строжайшие старцы глядят вдохновенно: в пространстве столовом бубухают словом: сутулятся папа с ненужною помощью; широконосо, порой указуя на стол:

— "Дичий сыр".

— "Предлагаю вниманию".

И миловзорится мамочка:

— "С мясом".

И все среброперый снежок пролетает безвесным сметаемым пухом; вороны прижались друг к другу на крыше: баранно проблеяли смехом: да, да, — Малиновская вкусом — сухая тарань, а костями — колючая корюшка; для чего она делает вид, что она либеральная телка. И руку отставит, и ногу отставит, и просто молочные реки текут; —

— и баранно проблеяли смехом; стоит: га-га-га, — ба-ба-ба — "Абакра... Обокрали... Баллотируют" — пересекаются фразы: — "Но нет-с, — поспешите подать резолюцию... вы в факультетском порядке..." — "Дуняша, вы что?" — "Шубы, барыня, негде уж вешать..." — "Повесьте на стенке диплом, сударь мой..." Абакра... Ба-ба-ба — га-га-га. —

— Затрясется буфет: это папа, сияя глазами, проходит с бутылкой рябиновки и наклоняется в быстрой услуге:

— "Рябиновки". —

— Э, да, он мыльник: надутый словами, летал пузырями; он — лопнул-с. Я вам говорю, что он лопнул", — сипит перекурком Сергей Алексеевич Усов —

— но тут появляется сам Алексей Николаевич Веселовский, надменно надутый; и все — замолкают: —

— "Ппсс".

— "Ппсс". —

— Засвистал пульверизатор сосновой струею: то мамочка хочет очистить закуранный воздух: —

— "Мы с Мимочкой, Фимочкой, Фифочкой, Фифочкой, Мисиком, Тосиком едем на праздники к брату в деревню... —

— Га-га-ба-ба-ба" —

— Папа выскочил быстро, карманом своей разлетайки опять зацепился за ручку, карман оборвал:

— "Обратите внимание: икра!" —

— наклонился над Гротом⁹, который, войдя, пересек криворотую злобу профессорш, уже черноброво уселся в прекрасной (не слишком ли) позе, естественной (слишком естественной), черные кудри с бородкой склонивши на руку; и делает очень красивые жесты другою рукой:

— "Передайте балык".

Но сутулясь и так доброносо уставясь очками, мой папа стоит за спиной, улучая минуту рукой указать:

— "Дичий сыр очень вкусен..."

И Грот:

— "Благодарствуйте". —

— Он обращается к многососальнице кислых лимонов; а папа, очкастый, главастый, но прыткий и кидкий, оставивши Грота, разводит везде юмористику точек, ведет параллельные линии карими глазами; и — перекидывает параллели: от сыра к колбасам; сегодня ему философствовать некогда; и — философствует Грот перед важной двугубою душой, профессоршей Кисленко; да, говорят — в ней грудастые страсти, а держится стянутым пыжиком; губки подтянуты малой горошиной, точно свистеть собирается: если распустит, они будут ломти; ей мамочка робко укажет на кисть винограда; она — отвернется, как будто не слышит; и мама, обидясь, предложит опять: ей ответит двугубая дура сутубою грубостью; ей повернет свой турниюр; и подтянутым пыжиком слушает очень красивого Грота; и карандашиком делает очень покорно отметки она в своей маленькой книжечке; слушает Грота почтенный фразер, весь надутый двумя юбилеями; сжатый своей приготовленной фразой, как крепким корсетом, сидит, дожидаясь удобного случая, — вскинет пенсне; и — рисуется белой плешью; и — вот: случай стукнул; и — поднимает бокал, поднимается сам, и, возвысясь над спинкою стула, — он дует устами —

— и пучный пузырь образуется; жилы нальются; и от усилий своих рассыпает песочек; и правой рукой поднимает он выше и выше шампанское; левой, едва помавающей, —

— около уст принимается он это все развивать: разовьет до того, что руки не хватает; тут — лопнет: и все с уважением смотрят в пустое и общее место; качается в воздухе палец, да взвешен в пространстве бокал, —

— а все прочее лопнуло: нет ничего; только — стул, а под стулом песочная горсточка; горсточку вынесут; с папочкой чокнутся: это ему говорилось: он, он — дорогой именинник; привлек он фразера, который, ведь, каждый день — эдак (до юбилея, до третьего) дуется где-нибудь: наговорил библиотеку, а написал — две брошюры; напротив — сидит безобразник: зарос волосами до глаз он, — до маленьких щелок: до злейших, хитрейших: и — чешется: обезьяна какая-то. А говорит, — умник он —

— Виндалай Урванцов¹⁰: —

— я боюсь, что рывкнет; он рывкнет, — от ужаса руки трясутся у всех; рот расширится до... окончания мира; оттуда несет океаном каким-то; его называют т р у б о й и е р х о н с к о й; и где ни вострубит — день первый; и — хаосы; и — двадцать пять болтунов просто лопнут; тогда рот замкнет он; и — чешется; и — озирается: дикий и красный, сконфуженный; после него — минут пять

тишина: вижу — движутся рты, а не слышу: оглох; Виндалай Урванцов ударяет царь-пушкой; ударит — океанической ширью повеяло; он же, ударив, конфузится; робкий: никак все не может жениться; — все женится, женится, а от венца — убегает...

Темнеет в столовой, редет: за окнами, там, — о, какое горение, преобразование и — просияние; пресуществилось, восстав из нецветного дня самоцветным, просветным: багровым, пунцовым, лиловым; и — кажется новым; и день — провоздушен, освечен; летит прямо в ночь; —

— но в столовой сплошной беспорядок; собрание ело и прело, сидело, галдело; казалось — наладилось; вновь начинались везде нелады; образовались, казалось, у нас за столом — Кузнецы и Медведи повсюду расставятся друг перед другом; попеременно кидаются кулаками и словом — на середине меж ними; посередине — молчит дядя Вася, напуганный криком; уже отодрали копченую кожу; под ней бледно-белый балык, показав свое мясо, обьелся: лишь рыбаья копченая морда глядела совсем удивленно недвижным глазом, затем перейдя в многокость; от дичьего сыра остался желтеющий жир да бумага свинцовая, а от икры — обсыхающий ножик; никто не звонится; наполнил переднюю гомон; а стулья отставились все, образуя то двойки, то тройки, застывшие в споре; тут — скомкана скатерть, а там — залита.

И — всегда так: бывало, они пустовзорились все в громословы свои; отхихикнет один, все — подфыркнут; и — смолкнут; и вдруг побегут перегромом по комнатам; передвигаются стулья, прощаются; и — зазывают друг друга; закуски — изъедены; множество грязных тарелок несется на кухню; все то перемоеся, будет запрячено снова в буфет; потечет все по-старому, будто и не было вовсе Михайлова дня никогда; но —

— он будет опять; это все — повторится; оно повторялось уже от Адама; и будет оно при восстании мертвых; да, мертвые, повоставши из снега, придут, громахая калошами, в этот таинственный день к нам за стол: —

— о, горение, преобразование, за окнами; пресуществилось там все из нецветного дня, — самоцветным, просветным: багровым, пунцовым, лиловым; и — гаснет. Все — пусто: и наш дорогой именинник ушел отдыхать; отдыхает и мамочка; а из угла завелся черnodуб-бородан; это — тень; он — выходит тихонько; и бродит — легонько; царапает тихо обои... своим... тараканом... —

— пройдут черnodумы, пройдут бородапы нешумно поступью; толпами встанут, за руки возьмутся; руками сольются; и —

— будет одна чернота: —

— ночь — присутствие — да: очень многих; и — нет: не отсутствие их...

.....

Уж за окнами холод синел — там на все вылезавшим дымом; слагалась градация всех умерканий в голубоватые тусклости: от сине-серого и — к сине-синему; и от него — к сине-черному, к черно-лиловому даже; перемеркало все это — в чернила пролитые за окошком: густые, сплошные. —

— А наш именинник: —

— лежит на постели: на жесткой постели, заставленный шкафом, совсем без очков, обнаруживая морщинки у глаз, утаенные стеклами, — бледный, усталый, за день прохуевший и меркнувший в умерканиях дня: и бросают прохожие сумерки ряд своих мрачных вуалей на это лицо; в сине-сером оно еще белое, а в сине-синем оно — засерело; в сплошном сине-черном оно просинится едва от постели:

— "Да, папочка — старится..."

Он же привскочит с постели; и растирает глаза:

— "Ах-ах-ах-с".

Копошится уже над очками; и — суетится, отыскивая карандашик и чиркая спичкою: разорвались черноходы ночей — в блеск свечей.

— "Что вы — эдак же вредно кипеть: целый день".

— "Ничего-с, ничего-с".

И ушел — в вычисления.

— "В клуб бы не шли".

Наливная слеза задрожала из глазок: боюсь, что расплачусь: в пробежное время бежим неизбежно; я... с желтеньким кубиком, мама — со шляпной картонкой и папочка с новой брошюркою "О радикале э - и к с": — я боюсь: я расплачусь: ну, мне еще можно бежать, маме можно, а папе — куда? Пятьдесят ему стукнуло: был именинником; и — перестал: побежал с именинного дня по дороге времен —

— и я вышел тихонько в гостиную: кресла стояли во мраке; и в креслах сидела: компания мраков, — и передразнивала тут сидевших гостей; и такие же мраки взирали в оконные стекла тяжелыми взорами; мраки стояли под легкими шторами; мраки стояли шпалерой: —

— немых кавалеров —

— надев свои фраки.

АГУРО-МАЗДАО'

Стою у окна под ореховым крепким багетом: повешена слетная штора на медных колечках; а — подают самовар, посылающий в воздух развитие пара: под склянную лампу; я липну к окну, где твердеет Москва; и за нею леса, города и поля, по которым несутся с границы швейцарки и немки к нам, к детям, и по которым поедет французенка.

Вот носороги идут коридором (буфет задубасил стопами: подпрыгнули бюстики); то из дверей — голованится папа, уставясь в меня жестяными

очками; стоит, совершая за дверью застежку своих панталон; вот уже бултыхнулся в проход, подмахнувши одною рукой, прижимая другою рукою зеленую книжечку к боку: спешит он за стол, свирепая усами:

— "Ну, Котик, дружок мой!.."

— "Поучимся".

Перед собою поставит: привяжется — шаркать; я шаркаю ножкой, тряхнув головою одною (я — в платице: кудри мои, залетав, пощекочут под носиком):

— "Так-то вот!"

Так-то я! —

— А у Дадарченоч² мальчики шаркать не могут; один ослонявится, свой кулачишко засунувши в ротик; другой еще ползает; Сонечка делает книксен; а мне она делать не хочет; мы просто целуемся:

— "Раз!"

И — готово: скорехонько... —

Папочка, громко отшаркав, сажает меня на колени; он — в форменном фраке (сорвется на лекцию); спешно споткнется мясистым лицом перед раскрытою книжкой, сутулый и скошенный набок: кусает он розанчик, бегаёт он языком в отдаленные страны, где солнце ярчеет, где ходит обвитый тюрбаном оливково-бронзовый индус, где перс в полосатом халате отчавкает персиком.

Солнышко, ясный фазан, распускает теперь светопер через зимние дымы; оно многознайками — зайками — к нам забежало из окон; и в нем — пушотелы.

— "Вот так-то, мой Котик!"

— "Россия, брат, — во!" — раскидает ладонями он, мне напомнивши жест Саваофа под куполом Храма Спасителя (нос Саваофа был взят Кошелевым³ с профессора Усова: нос — в три аршина!)...

— "Огромна!"

— "Она заключает" — подбросит он ножик и ловко подхватит его — "Туркестан, и Кавказ, и Сибирь, Бухару и Хиву, и Финляндию" — ловко подбросит он ножик...

— "Урал", — и поймает его... — "Повтори..."

Повторяю:

— "Сибирь, Бухару и Хиву..."

Бросит ножик:

— "В Сибири, брат, холод, а в Туркестане растут тростники: там сидят полосатые тигры и кушают сартов⁴; у сартов халаты, пестрейшие, братец мой".

Пахнет антоновкой, ходит словами:

— "У нас есть Камчатка; и даже Аляской владели мы, но... черт возьми", — и лицо прорезает угрюмая складка, и смотрит пустыми глазами от ужаса:

— "Черт возьми! Немцы, чинуши, ее проморгали: Аляску мы продали"⁵, — щелкнет он пальцем под носом и сделает кукиш из пальцев: — "за миллион, братец мой!"

Прокислет лицом и покажет язык:

— "Насажали нам немцев министров: Ламздорфов⁶ и прочих; об этом стараются Бисмарк с Кальноки⁷: у Бисмарка три волосинки... Аляску-то, — продали!"

Тут приумолкнет, как будто он слушает внутрь себя, глазки зажмурит и рот разожмет, приподнявши разнородный нос: и — свирепо чихнув, достает торопливо платок из-под фалды; потом на словах, — да вприпрыжку:

— "Но все-таки, гм: кое-что да осталось у нас".

И конфузится, очень довольный богатством России:

— "Вот так-то вот, Котик".

Вот так-то и мы: развиваемся мы!..

.....

Из столовой — открытая дверь: там — гостиная дверь открывает таинственно мамину спальню; за ширмочкой с лаковым полом небесного цвета, откуда летят на резьбе златокрылые аисты, под голубым одеялом, космато поставив головку на голенький локоть, — протянута мамочка в слух; затаивши дыханье, она собирается нам доказать, что нельзя развиваться, — угрозою:

— "Котик!"

— "Сюда..."

— "Не смей слушать!"

— "Тебе это — рано!"

— "Поди-ка сюда!"

Как уйти?

— "Кот, останься!" — ощерится папочка...

Что тут поделаешь?

— "А?"

— "Ты не слушаешь матери?"

— "А?"

— "Так и знай: я — не мать!"

Как не мать? Я, — робея, пойду; но едва я пойду, как за мною притопнет словами споткнувшийся папа, расправивши руку с дрожащими пальцами: "цап" за юбочку, и запах антоновки вдруг пропадет; и повеет другим уже запахом, свойственным тоже ему; этот запах притушенных стеариновых свечек и жженой бумаги бывал мне знаком, когда папа с затушенной свечкою шел в кабинетик из теменькой комнатки; вот — наливается жила на лбу; наливается жила на шею; и — длится молчание, полное ужаса: —

— воют в трубе древотрясные ветры; и явственно слышится звук белендрясов⁸, строчимых на швейной машинке (строчится экспромт: маскарадный костюм); —

— слышен звук упдаемых дров (он из кухни); несется уверенность (экая шальная мысль!), что на кухне пропахло

овчиной; Антон, дуботол, дровощеп, стоеросовый весь, дровоствольный какой-то, свалил там вязаночку; и пососав заусенец, ушел, отводявши овчиной: —

— пойти бы: понюхать овчинки!

.....

Мне память проносит все это некстати, — от страха, что мама проснулась, как тигр, залегая за ширмами, чтобы оттуда повыпрыгнуть, щелкая зубками; и затащить меня, сарта, за ширмочки.

И потому-то: когда закатается папа словами (так рой деревянных фигур закатается в шахматном ящике), — память моя убегает из пяточки в пальчик: со страху, что мама проснется; со страху же крутит в головке какими-то вовсе ненужными мыслями: —

— видел недавно я справа и слева от солнца — два ложные солнца; два солнца померкли, а солнце — осталось; померкнет персидское солнце, померкнет индийское солнце, как папа исчезнет на лекции: мама — останется!

Громко подтопнет тут папа:

— "Ты, Котенька, знаешь ли, вовсе не слушаешь?"

— "Эдакий ты!"

И поддернувши скатерть, запляшут по скатерти пальцы — горошками; дернется словом:

— "В России есть... что?"

Я — споткнулся: молчу; я — такой раскарякой сижу; я — такой недотяпой коснею:

— "Урал!"

— "Есть Урал", — грохотнет и наставится он:

— "А еще?"

Я — не знаю: навалится, дернется:

— "Как, как, как, как?!"

Посмотрю я: у папы — раскосые, злые, татарские глазки; хочу отвечать; но... за лаковой ширмочкой взвизгнули, щелкая, тигры:

— "Кот! Котик!"

— "Не смей!"

— "Тебе рано..."

— "Сию же минуту — ко мне!"

— "Нет-с, позвольте! Урал, а — еще?" — запыхается папа ладонями в воздухе.

Я — не живой и не мертвый: я слышу, как мама зашлепала: с заспанным, с нехорошеющим, сонно опухшим лицом, позабывши капот, без корсета, без кофты, без туфель, она выбегает в столовую с сосредоточенным видом; и здесь — размахается, пренекрасиво подтопнув босую ногою:

— "Я — мать тебе?"

— "Мать тебе?!"

Вот, ухвативши за плечико, дернет за плечико: вывернет плечико; тускло лицом припадет мне под носик и пальчиком водит, присевши у носика, полной рукой прижимая рубашку к ногам и голея плечом; задевает меня бирюзою по носику:

— "Мать тебе я?"

Я — решаю, что — нет: мне иного нет выбора; знаю, все знаю, но — выбора нет, потому что, захваченный папиной пятипалой рукою за юбку, — бежать не могу я отсюда: ай, ай, ай, ай — эдак вывернуть можно мне плечико: будут опять синячки — безобразие!

Тах-тарарах: громко падает стул; завязалась борьба — за меня (оборвали тесемочку мне): папа выпустил юбочку; грозно присел, как козел, пред присевшею мамочкой; смотрят друг другу в глаза (точно так петухи, перед тем как подпрыгивать друг перед другом, — присядут: и — смотрят друг в друга); и папа не выдержит: едким разрезом раскосых, китайских глазенок, кроваво налитых, как суриком, вдруг подморгнет; и — пойдет, хлопнув дверью; останемся с мамою.

Двери зашелкнув, расставивши ножки и выпятив очень сердитый живот, закусает сердитыми зубками красные губы: и — шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по щеке; мне не больно нисколько от пальчиков мамочки; больно от злого колечка: зелененький, крепенький камушек очень кусается; мамочке — под ноги: малым комочком; целую с любовью ножку: Христос повелел нам молиться за грешников.

Мамочка — тоже заплачет; и — выйдет; сию — на полу; по паркету бежит ползунок-паучок многолапым комочком; — за ним; да и ножкой расшлепнул его по паркету: под ножкой замазалась черная т л я - т л я.

Вот — вечереет: и жжется сожженное око, — далеко; и ухают тени с востока; сожгутся сердца; и сожмется под сердцем какое-то что-то —

— и меркло за окнами: холод синел замеркающим домом; давно убеленный сединами день показал, что он — негр, прочерневши вечерним лицом; и — туманясь снегами на крышах; на лысую голову шара земного надели цилиндр, очень черный; рукою роковой нахлобучили ночь; одиноко и строго.

Сажусь я под окна; и ночь черногого: уставилась в окно; в углу началось размножение мраков; пошел в коридорчик: присиротинился к печке; свирепо затрескала печка поленьями; красное пламя ходило по красным, уже объедаемым с краю дровам, — расшипелось, рассыпалось златом и жаром: чернело угляшками; ярко мигали везде васильки-мотыльчки угарного газа.

В гостиной, — там бабушка крепко уселась на просидне кресла с моточком, с ключочком, разматывать мне, выборматывать мне: из меня самого — мою жизнь, и посматривать, взглядом сверкнув, как огнивом, из сумерек: —

— черная бабушка — жизнь; этой бабушкой стала и бабушка; мы ею станем, когда мы устанем; а мы устаем что-то: старимся

мы, как другие, которые смолоду так, как и я, залегают, как гусеница, и перевязанных крепко пеленках, потом вылетают, как бабочки, кушают много, как мама, становятся толстыми бабами, как Докторовская, ходят грудасто, сидят животасто, и дрябло обвесясь морщиной, они досыхают, как бабушка, горбиком, или развесясь сухими ушами, как связкой грибов, приправляются к супу —

— и тут рассмеется беззубо двузубая бабушка; и — пусто-глазая тетя моргает из тени: в таком положении; и рассыпая свое пустородие звуков, со мною, побитым, отшлепнутым, странные игры заводит свои: обнимает и водит меня по теням, как по дням; кто-то вытянул лапу из темных потемок, а я прохожу через лапу; а там: —

— ту —

— ту —

— ту —

— чер-

ноходы пошли коридором: выстукивать! Черные фраки проходят безного, безглаво — один за другим, наклоняясь друг к другу изъятием лиц и потом поднимаясь наверх руконогом теней в семиножие дней: кружеветь потолка-ми и рваться лучом белолопного пламени: —

— это Дуняша проходит со свечкой: сквозной, черномазый гримасник — за нею запрывгал, тенья, чтоб в беременных сумерках реять безвесю; —

— в оранжевом пламени и в шоко-ладных обоях сутулится папа, вернувшийся с лекций; мама, откинув головку и ей уплывая в боа, колыхает турнюрор, дрожит растопыренным током малиновой шапочки, руку просунувши в муфту, — проходит, со снегу (вся белая, в снеге) к себе:

— "Не подумаю я горевать", — она дернула носиком; папа сидит, углубясь в вычисленья и делая вид, что он мамы не видит; он если поднимет на маму глазок, очень хитрый и вовсе не злой, то повыпятит губки она; он же очень рассеянно, перед собой поморгавши, уткнется в зеленые пятна сукна, и — чинит карандашик:

— "Ну, — думаю я, — продолжается ссора"...

Я — слаб; да я — раб: утопаю опять в бормотании баб, — закопавшись в матраик до утра: а старая баба — склонилась; и — шамкает черною челюстью; —

— вдруг! —

— озарилось! —

Не черная баба, а белая мама блистает свечою, окапавши лобик, — в глаза; беспощадной рукою откинувши кудри, — бывало посмотрит на лобик; а лобик — большой:

— "Большелобый!"

— "В отца..."

.....

Как растрепаны мамины кудри: живот злопыхает, грозит загибаемый пальчик; надуется под подбородком второй подбородок:

— "О, нет!"

— "Не в меня!"

— "Весь в отца..."

И отшлепает в сумрак; боюсь: черногорый бубука, сквозной незнакомец, из кресла мычит мне коровью мордой...

.....

Ночами я — пленник; ночами сплошной веретенник⁹ бормочет во мне расширением слуха; и малая волосиночка шороха бухает громким поленом; и черное пятнышко, режущим скрежетом, быстро подымется бегом: осилить лунный косяк; остановится, тяжело присев, как рачок: таракан!

Вот минуты оттикали, слабнут едва намечаемым просветом; вижу: чернила — синило; и знаю: —

— денек, белоногий младенец, крича благим матом, бежит уж в дугу вековую небесного свода; косматые мамы за белым младенцем пустились: с сосредоточенным бешенством; и — совершится убийство: минуты затикуют каплями крови и слез; душегубки, колонною плакальщиц станут направо и станут налево; и кто-то брадатый, и кто-то крылатый косматою митрою¹⁰ встанет над гробиком; будет отчитывать громко он: —

— бэри-бэри-бэри-бэри —

бербэри:

— бербэри-бербэри-бери;

— эри—эри, арии: —

— папа рассказывал раз о великом персидском пророке, по имени "Зороастр"¹¹; —

— и я вижу во сне: —

— продолжат они заколачивать гробик, пока он не лопнет лучами сторукого солнца: —

— Агуро-Мазда! —

— И тут просыпаюсь...

.....

Утро!

Легчайшие перегоны снежинок дымеют под склянное, искряное, синейшее утро; алмазник какой-то; вселенная точно надела алмазную митру и сыплет свои драгоценные краски персидским ковром; папа тянется к мамочке: треплет по плечу; мама, надув свои губки, ему позволяет; я — взвизгну от радости; знаю, что к вечеру будет звонок очень громкий: придут картонки (подарочек папа пришлет от Кузнецкого Моста); и сердце мое — ходуном, а у мамы глаза — колесом, затрясется руками, срывая бечевочки; вынет оттуда большой абажур, обвисяющий кружевом, и — облизнется, как кошечка, от удовольствия.

.....

В нашей гостиной еще с Рождества сохранилась елочка; вечером этим ее убирают опять; и она — в ясных шариках; все самоцветные шарики полнятся легкостью; тронешь чуть-чуть, и — закракал своей скорлупою разбитый напученный шарик; я знаю: опять в картонажах драже; прикупили хлопущек...

.....

Уж пукнула порохом вот золотая хлопущка; и вытащен желтый, бумажный колпак из нее; и уже на головке — разорван; другая запукала; и — подарила свои мне штанишки из синей бумаги; но — коротки; экая жалость; ну — сдерну орех; закачались все ветви, попадали иглы; и цокнул в паркет оторвавшийся шар; золотая теперь скорлупа захрустит под ногами: —

— как все здесь просвечено, все здесь освечено; обриллянтилось, ясно заглазилось; просто глазастый алмазник, иль — митра; мой папочка, светлый, надевший колпак, точно митру, обвесил себя золотом, бумажною цепью и ходит таким Зороастром:

— "России, мой друг, предстоит в отдаленнейшем будущем — свет; "Русант" это — светлый; и "русский" иль "русый" есть — свѣтеник! —

— "Да-с!" —

— Посмотрю я в сквозной пересвѣтень; пастилкой набил себе рот; так рубинно-прояснен из пахнущей зелени нам красно-ярый фонарик; схватились за руки; и — кружимся: блеск — вертолетами!

ПАПА ДОШЕЛ ДО ГВОЗДЯ

В паши углы приседают подслушивать!

.....

Мама — в разбросанных чувствах: присела под ширмой, у шкафчика; створки из красного дерева ручкой раскрыла, наполнивши комнату запахом спертых духов; ослепительно выехал ящичек, пахнущий лаковой чистотою и блещущий тем, что его наполняло: —

— сушеный цветочек, душенный платочек, стеклянный дракончик, граненый флакончик: флакон за флаконом, сверкая оранжевой, гранной стекляшкой из матовых стекол притертых, скрежещущих поворотами пробочек, райски поблескивал; горный хрусталик, стеклярусы; бусы и бисер в картонных коробочках, два агранта¹: —

— все это расставилось рядиком на ослепительном дереве, томном от запаха, распространяемого из со м ó в о г о цвета с а ш з², где хранилась стопочка малых платочков, оранжевых, розовых; кучечки: синих, лиловеньких ленточек, ясно сказавшихся звоном бубенчиков (от

котильона³); здесь есть веера — кружевные, резные: из лайки, из кости, — с точеными ручками; есть и коробочки с пудрой; —

— перетирать, право, нечего: мамочка перетирает все это! Рискуя быть изгнанным, крадусь по стенке в сверканье граненых флаконов, в мир запахов... Вижу себя я из ртутной поверхности зеркала туалета, надувшего кружево, в очень голубеньких бантиках: перед постелью раскинута ширмочка лаковым, синеньким полем; на ней — золотые рельефы распластанных в воздухе аистов, вечно повисших на небе; за небом — постель, где на стеганом, ярко-лазурном ее одеяле — под кружевом взбиты подушечки; мама в лазоревом "п у ф е", сложив ногу на ногу (ноги — босые) в белеющей кофточке, в косе надетой и палевой юбочке (в нижней), своим полотенчиком перетирает флакон, прижимая к коленям притертою пробкою: —

— пудреница, граненая из хрусталя; там — пуховочка: пуф-пуф-пуф-пуф; и — напудрился: пудренный! Вот бы еще уголек: я бы вывел усы и отгрыз: перехрестеть на зубах и показывать черный язык Генриэтте Мартинывне:

— "Ach, was wird sagen M a m a ?* —

— А "M a m a"-то — вот здесь; и не видит: перетирает флакончики; кажется: все перетерто и все перевязано; но —

— вот рукою над носиком приподымет флакончик, понюхает, глазки прищулив, усмотрит пылиночку; и, обхватив полотенцем, прижмет к шелковоющим, желтым коленям; и —

— трет: перетирает все сызнова: в том же порядке; слова, как болтливые мухи, слетают с ее язычка в... тишину кабинетика жужелжнем: папе под ухо; для этого дверь в кабинетик нарочно открыла она: —

— так мушиная стая под ухом жужукает в солнце; рукою махнешь: она — дернется, ярко блеснув изумрудником спинки; и — снова танцует под ухом: жужуканьем жутким: "ж у - ж у" да "ж у - ж у" — не кому-нибудь лично; так, в воздухе! —

— Пусть, пусть, пусть: —

— "некоторые, которые" могут услышать, услышат о "некоторых, которые..." —

— "Некоторые, которые думают, что постигают науку, а в жизни остались болванами, — да!.. Иметь шишкою лоб и бить стены им вовсе не значит быть умником..."

— "Тьфу!"

— "Вот вам на-те же: тьфу!"

— "Большой лоб?" —

— перетертый флакончик поставлен; берется другой, недотертый; и — трется, и трется; и раздается покорное:

* Ах, что скажет мама? (нем.)

— "Гм!" —

— за альковом, из двери; то — "некоторые", которые молчаливо засели в своем кабинете; —

— февраль настагает уже; он — ветрищенский месяц: разлётные ветры овьются кисными снѣгами, ходят по крышам; день — ветреник, белый свистун: —

— дымолет вырывается из крыш вертолетом, ввиваясь во все перекрестки Москвы, развевая подолы и шубы по белому воздуху, брызгая снѣженью; да: и неслись сквозняки в ветрогонные дни, где измеркшие полдни тенились туманною грустью; сырой, многокапельный желоб закапает: капает, капает, капает!..

.....

Мамочка руки свои разведет (с полотенцем — одна и с флаконом другая); и — кланяется головою в колени:

— "Да, это вот я понимаю: квартира в двенадцать и более комнат; у прочих — квартира в двенадцать и более комнат, у нас же" —

— граненый

флакончик поставлен; берется — граненый дракончик!

— "Да, это вот я понимаю: балы!.."

— "А у нас?"

— "Собирается мертвая плесень: плешивая плесень... Кого соблазнять? Разве моль..."

— "Да!"

— "Сложив на животиках руки, забегают пальцем о палец, как этот Бобынин..."

— "Что толку?"

— "Лобанисты!"

— "Лбами мостить мостовую?"

— "На это есть камни".

— "А волосы съедены молью: присыпать на плешь нафталин? Даже мухи замерзнут от скуки, — не то, что я, бедная..."

.....

В папиной комнате — серо-свинцовые сумерки; серенький папа, слепец и глухарь, в нависающей сери над пылью сукна неприятного, серо-зеленого цвета, зачмыхает носом, тихонько поднимет глаза и уходит глазами по крышам: во мглу дымогаров; и — снова заходит по листикам он карандашиком; с крыши, под тучей широко распучилось очень жестокое око: циклопа⁴; и — лопнуло кровью; и вниз излилось: чернобровое небо в окошке:

— "Иные вот, пользуются очень доходной казенной квартирой, — да академики!"

— "Если бы подлинно был у нас лоб, а не камень, давно бы мы жили не здесь: на Васильевском!"

— "Да, это — я говорю..."

— "Чебышев — академик, а Янжула — прочат; за Янжула кто-то хлопочет. Из Питера..."

Книжные груды бросают от окон на папочку тень, точно руки; и вот занавеска, которой покрыты шкафы, опустилася лопастью (папу подглядывать, не академика, а — "нафталиновую плесень"); она опустилася, точно гусиная, или, верней, ящеринная морда, — не лопасть: —

— зеленый дракон, обитающий здесь, на шкафах, опускаясь гусиною мордой со шкафа, наверное решился подглядывать папочку, что он там делает над интегралом.

Сутулые плечи не дрогнут: лишь стул поскрипел, да нога незаметно дрыгнула:

— "Страдалица я: предводительский бал на носу, а в чем выеду я? В кружевном, в переделанном?"

— "Некоторые полагают, что так: накромсать лоскутов, и поехать... Лепехина — шила... Лепехин — не мы!"

Оторвавшись от пыльных бумаг, он покорно уставиля ухом на дверь, выявляя свой добрый, свой песий, чуть-чуть озабоченный профиль:

— "Послушай, Лизочек: Лепехин — делец... Не мешай, мой дружок, вычислять", — и покажет сутулую спину, уткнувшись в бумагу; но мамочка, в беленькой кофточке, вскочит, совсем разъярясь; и топочет от ширмы в слепой кабинетик, развеяв рукой полотенце с высоко вздетым граненым флакончиком:

— "А?"

— "Вы работаете?"

— "Мне какое до этого дело?"

— "Лепехин работает тоже, но он — на семью; у Лепехиных выезды..." — и начнет подставлять под струю ручкойника красные грани граненого доньшка: брызжет водица холодным, перловым разбрызгом; и дзанкает звонко педаль ручкойника; папе подставлен турнюр.

Уронив карандаш, он подскочет; и — дернется в нетерпеливом движении к лампе; и — "дыздики" громко воскликнула стеклами лампа; и цифурирится спичка; и выскочил рыжий оранжевый свет, расплетая сплетенье летучих мышей; мыши порхнули в угол (не мыши, а тени); но спичка погасла:

— "Ах, черт возьми!"

И — из углов вылетают летучие мыши над папой, который горбатометается по столу: спинником! —

— Точно стараясь укрыться от громких упреков; а мамочка, топнув ногой, повернется развешанной кофточкою, обнажив открытую грудку с нечесаной шапкою полураспущенных кос, рассыпающих шпильки; —

— и вспыхнула лампа (надет абажур); и — оранжевый свет побежал по сукну, полосато улегся на желтых, вощенных квадратиках пола; и бывшее серо-свинцовым и серо-зеленым теперь превращается в яркое все: в шоколад-

по-оранжевое и в зелено-оранжевое (шоколадного цвета обои, шкафы; на шкафах — занавеска зеленого цвета; зеленого цвета сукно — на столе); и я вижу сутулую спину лохматого папы; и вижу затылок, упрямый тяжелым решением: перемолчать что бы ни было, или же — лопнуть; и слышу: из громкого ротика в спину ударится жужелжень желто-оранжевых ос:

— "Есть такие вот, некоторые, которые..."

— "Не имея ни сердца, ни чувства, сидят, погружаясь в дурацкие вычисления эти..." —

Забарабанили пальцы по краю стола —

— тарарах-тахтахтах! —

— Очень

дерзко и твердо: отчаянным вызовом; но —

— топ-топ-топ! —

— побежали к

спине очень твердые ножки и, выпятив гордый животик, нарочно стояли такой раскарякою; локти гуляли, перетиралась у сердца протертая пробочка; пенился ротик от всхлипов и выкриков:

— "На-те же: вот вам!"

И плюнула на пол...

.....

— "Ага-с: хорошо-с!" —

— повернулось лицо с очень злыми, раскосыми глазками, с очень взлохмаченной вдруг головой: —

— так и пес: загоните его

в конуру, он — покорно свернется, под хвост положив свою морду; но там, в конуре, не дразните его: с громким лаем он кинется —

— да: повернулось

лицо с очень злыми, раскосыми глазками, с переклоченной головой; и — распалось в морщины лицо с очень злыми татарскими глазками; стало совсем, как сморчок, угрожая колючей щетиной; и стало дырой, из которой вдруг хлынули: —

— не-

-ко-

-то-

-ры-

-е-

-ко-

-то-

-ры-

-е!!!

.....

— "Ах!"

— "Вы — тираны!"

— "Вы — деспоты!"

Вижу я: мамина правая прядь развернулась; и — свѣтым кольцом нависает; а левая прядь раззмеилась на плечике; рот — растянулся от страха и злобы; пятно лицевое — медуза, которая шлепнется; губы — накусаны; губы опухли кроваво; она — отступает от папы, которого красная маска лица, разлагаясь, озеленела; которого пятипалая лапа протянута:

— "Если не смолкнете..."

"Я..."

— "Вас заставлю молчать".

— "Я — даю пять минут", —

— и положена тяжеловесная луковица ча-

совая: на край рукомытника.

.....

Мамочка спряталась в тени, отшлепав к алькову и взвизгнув оттуда собачкой, которую пнули:

— "Не позволяете мыться, насильник: мой, мой рукомытник — не ваш!"

Но отвечает кто-то с отчетливой злобою:

— "Так-с!"

— "Умывальник поставлен не мною ко мне!"

.....

О, я знаю, что будет: ужасное будет!

Некоторые, которые... ничего не боятся, которые обрывают министров и топают на попечителя округа и превращают Пафнутия Львовича просто в котлету (сырую и красную), неко-

то-ррр-

-ррр-

-ррр-

-кото-

-ррр-

-ррр-

-ррр —

— Законодательством страшным, Си-

найским⁵ —

ррр —

-ррр —

— перетягивают, мир, перетягивают, пере... —

— иные боят-

ся оттенка чудовищно-рыжей, таящей в себе шаровидную молнию, тучи, которая посылает не грохот, а прямо за красною молнией, — "бац", расщепляющей сосны под домом, —

— а я ужасаюсь молчанию этих пяти

проползающих тихо минут —

— ("Я даю пять минут!") —

— где секунда есть

вечность; и — затыкаю, присевши на корточки, уши — до... до... до... —

— до чего?.. —

— Между тем: до... до... до... до "того" (того самого!): "некоторые, которые": —

— в воздух взлетев, пиджаком припадают увесисто на бок, на левый, лицом, разлагаемым черной морщиной, щербимой китайскою тушью, и оттеняющей старый мертвак неживого лица с разорванным ртом до ушей, и с прищуром раскосых глазенок, окрашенных суриком, —

— напоминающим маску лица самурая, взмахнувшего саблей, —

— его показал Хокусай!⁶ —

— Эту маску лица самурая, взмахнувшего саблей, —

— являет лик папы, припавшего носом к руке, зажимающей... ржаво-оранжевый гвоздь, чтоб ударить гвоздем оглушительно: в жезл рукомыльника! —

— Этот прием он придумал; прием укрощенья строптивой, которая звуком гвоздя... повергается в обморок: головою в подушки; и — тонет от слез...

.....

Протекают минуты до... страшного "баца", и ухаает в красно-оранжевый свет кабинетика тьма, из открытых дверей, где отчетливо-желтое кружево злого, фонарного света легло... саламандрою⁷: мама оттуда поносит (не долго ей!) всех: математиков, бабушку, дедушку (папу и маму — не маминых: папиных...), всех четырех моих тетя и шестнадцать племянников; я затыкаю от ужаса ручками уши и носик, упавши коленками на пол; и кланяюсь:

— "Господи, господа, господа, господа: ты — пронеси, пронеси, пронеси! Ты спаси и помилуй, спаси и помилуй, о, господа, господа, господа, господа!" —

— вдруг: я, обвеянный клубами рыжего ужаса громких китайских тайфунов, — я слышу сквозь пальцы, которыми уши заткнул:

— "Остается — пятнадцать секунд!.." —

О!

О!

О!

.....

Открываю глаза; вижу —

— бац! —

— упадает нога, голова и рука; нога

— на пол; рука — к рукомоинику; и перержавленный дожелта гвоздь ударяет о жезь рукомоиника:

— "Бац!" —

— Из разъятого рта выбегает кровавый язык своим загнутым кончиком; в воздух слетают очки; и дугою взлетает платок носовой из кармана; "о н" бегае т спинником⁸, вертится, машет руками и бьется оранжево-ржавым гвоздем по железной кровати, по тазу, по жести; —

— своей пятипалой рукою схвативши зажженную лампу, стои т с этой лампой, стара ясь и лампу раздрызгать о пол и закракати стeклянником, взвевшим черно-кровоое пламя и копоть, чтобы просунуться в пламя, пропасть в клубах копоти... —

— Лампа рукою опущена снова на стол; и наве рное: —

— нет кабинетика: в красных кругах разлетелися стeны: —

— и па-

па; —

— копьем свирепея, затиснувши круто ногами мохнатую лошадь, на собранной коже, в раздолье далекого прошлого гонится — согнутым скифом: за персом; вернее: за кожей перса! И пламенем лопнуло солнце; и степи дымят перегаром; и перс от него удирает, прижав свою голову к гриве коня, перекинув за шею косматую руку с обтянутым кожей щитом, на который вдруг звукнул удар пудового копья, раздробившего щит и к загровку споткнувшейся лошади перса пришившего: проткнутой шеей... —

.....

Когда я очнулся: то — кабинетик был заперт; и было молчание: —

— только в трубе завелся этот ветер, опять зажу жукавший трутень: опять завелся этот дудень: среди дующих будень летим: в —

— в веретени ки дней и теней: без огней!..

СКИФ

— Да: —

— во вращениях времени: —

— пленное тело, галдя, оголтело; а в облаке пыли: обличье сутулого скифа, согнутого в рыжие пыли, копытами взбитые, тряшего красным, оранжевым древком из дремлющей древности, дико оскалясь, — скакало, скакало (за персом, мерцающим митрою)¹: —

— скиф же — босой, толстопятый, в исплатанных старых штанах, обвисающих с кожи не содранной шкурой, косматый, щербатый;

зеленый и бабий живот, выпирающий выше штанов, улыбается пупом в косматые ребра, откуда болтаются слабо обвислины: —

— прямо несло
одуряющим запахом: тминными травами; взвизги копыа через воздух,
— дугою; и — шей приколотый перс, прилиная к загривку, безумный от
болей, блистающий золотыми металлами митры, — и скачет, и плачет;
а красное солнце, садясь в перегары, — коричневый круг: густота, темнота;
только топают ноги коней, бремениа во времени; только колотятся в обла-
ке пыли два тела, сутулые: — косоглазого, дикого скифа, кричащего ярым
оскалом, и мертвого перса; —

— и — да: временами писалась большая
дуга: —

— уплотнением пыли связалось скакание; плотная пыль — мое тело;
и скачет под грудкою, скачет в головке; и я разрываюсь в скаканиях
мысли, в скаканиях сердца: —

— так

в теле: —

— в моем! —

— совершается бег по минутам: и мертвого перса, и ди-
кого скифа; копыта колотятся; в грудке — растущий комочек, кровавый
комочек: мой скиф! —

— посылающий красными копыями сонных артерий
отраву; и от нее переливная пестрень персидских орнаментов мысли,
перемеркает туманными массами в матовый, в мягкий, —

— в мой! —

— мозг!..

И свинцовыми болями скачет мертвак по головке:

.....

Картина, которую видел я, — папа с гвоздем, — поднимает огромный
обломок былого: —

— о, вспомнилось! —

— папа горящею лампой однажды
поджег занавески, склонившись над массами книг, у окна; стены вспыхну-
ли ярко, но он, оборвав занавески, своими совсем тупоносными пятками
перетоптал прилипавшие к полам халата багровые клочья в суровую сажу;
стоял, перемазанный сажею, в саже; и, очень довольный, смеялся на
возгласы:

— "Вам бы пожарную каску!.."

Так стал он пожарным!..

За этим событием памяти, чувствовал я, приседает другое событие
— древнее, древнее: в ярости пламени —

— вспомнились —

— вящие ярости:
дикие, скифские!

.....

Все, что ни есть, обвисает: бумагой, обоями, слегными шторами, шепотом штофных² материй; и все превращается в кружево копоти после того, как из лампы, которую не привернули, забьет в потолок керосиновый, красно-черный, пфуфукнувший столб: —

— истлевают во мне паутинники, волосы, войлоки нашей квартиры в кровавый пожар; и взлетает, как занавес, вспыхнувший морок обставшего, — в прошлое: вижу — из пыли, из тминников: скифа и перса (борьбу их во мне)! —

— вот затопал комочек под грудкой; и — к горлышку; жила на шейке колотится; екнуло в ребрышке —

— жду, что —

— взовьется глухая стена, как подлетная штора, мягчайшими красными складками в красном луче пронизавшего лобик копыя: обнаруживать ужасы множества тлеющих комнат, ширеющего от меня, как ущелье; в просторы туда — прохожу, мимо стен, развороченных, метко рассеченных красными кирпичами и справа, и слева: туда — в мое прошлое, —

— вижу —

— стенные проломы, окрасились солнечным хохотом, бьющим из далей, распались в ваянные, голованые лбанности басом болтающих каменных баб, разорвавших губанные рты; отболдела направо какая-то злая башка и двулапо схватилась над каменным пузом, как глупая тумба, беспальными камнями; вижу налево: уставился кто-то продолбленным пупом; и — кажется ярко-оранжевым, ржавым охваченным пламенем грозных костров; перешмякают щепни с трухлявого лика на мергели³: —

— ки —

— ка!⁴ —

— какие-то лики, какие-то кики! —

— оттуда, из красного вижу я: скифа; он гикает дико, схватив пятипалой рукою блеснувшее в воздух копые и старается воздух раздрызгать вдруг свиснувшим, как метеор, острием, круто пишушим злую дугу на мой лобик; и кракает лобик, — разбитый стеклянник; я падаю, перс, окроваваясь; на красных кругах, выбиваемых быстро из глазок, разбрызгана жизнь моя!

ПФУКИНСТВО

В нашей квартире давно поселился "старик", прибывающий в комнаты ночью: из комнат, им замкнутых; там — кладовая, в которой я не был; туда, вероятно, проходят чрез темную комнатку (водопроводчик выходит оттуда); "старик" коренится давно в кладовой — в паутиннике: Пфука! босой, толстопятый, в исплатанных старых штанах, обвисающих

с кожи несодранной шкурой, косматый, щербатый; зеленый и бабий живот, выпирающийся выше штанов, улыбается пупом в косматые ребра, где слабо болтаются две полубабьих отвислины: проборадеет он жеваным войлоком, тихо открывши скрипучие двери; и —

— комнаты! —

— комна-

ты! —

— строятся по коридорному строю: —

— дичая, висят паутинники; шле-

пают громко босые ножонки — туда, к старику, привалившему в свой паутинник, припавшему к собственной лапе и серой, и грязно обросшей — сосать; ковыряется ей, сжавши ржаво-оранжевый гвоздь; ковыряет грибное, сушеное ухо; а лапа окована ржавым кольцом, восклицаящим связкой ключей: от квартиры.

Он пфукнет, —

— как еж! —

— равнодушно кидаясь на всякого, кто ни просунется; и от усталости быстрого бега протянет слюнявый язык; побежит через комнаты (ах, путь далек, путь далек!) до столовой, где бабушка скорбно гадает, боясь, что червонный король, или староста наш, Свято-славский, покроется пиками; и — ей в колени.

— "Чего ты, Котеночек?"

— "Это — Петрович!"

— "Войдите, Петрович!"

Петрович и входит.

Задохнешься в беге — одно остается: упасть, закрыв личико — лбом в паутинники: в пол; и ты ясно горячее пфуканье мокрого носа в затылок: услышишь; нет, нет, не кусается...

Ночью откроется скрытая дверь; и со связкою ржавых ключей босоногий — "топ-топ" по квартире; заводится: нюхает, перебирает, ворочает, вдруг начиная чесаться ногою за ухом; и слышу я топот старичьей ноги, ударяющей в пол, и зачмоки слюнявой губы, деловито вцепившейся в шерсть: щелкать блох у хвоста меж зубами; он ищется там; и — потянет, потянет: —

— босыми ножонками топаю в прошлое; ах, — там все огненно: вспыхнут два глаза, как свечки; я, схваченный, — в диких прыжках (на спине!) с половицы — на стул, да на стол, да на дверь: по годам, по векам, — к подоконнику: вынута вата, стаканчики с ядом; повис берендейкой¹, повис над Арбатом; от каменных виноградин: вот желоб зеленый, — по желобу к крыше, туда, к безотцовью: не взлезем; двенадцатый, двадцать пятый, сто первый этаж; нет и стен; только желоб — тычком в необъятности... кончился!

Желоб, расшатанный, вот подо мной закачается; время течет из него подо мной в расширение желоба; дрыгая свешенной ножкой, — над чем я — свалюсь, в безызвестие — ах, потому что "в таком положении"

сесть! Коренится решимость: отсиживать здесь без обхвата чего бы то ни было; то, за что можно схватиться, — во мне; чтоб схватиться, я вывернусь; что же? Превысивши грани, я вышел и — сел; на тычок математики!

Я — математик, благуша² — кричу благим матом. —

— И — ах! —

— ог-

лашая "и что", я стремительно падаю так, —

— как копые одичавшего ски-

фа на мертвого перса, и как звезда, прободавшая землю, — раскрытое темя младенца — воспламеняется: в мозге —

— все вспыхнуло: —

— блеском свечи!..

.....

— "Котик, Котеночек мой, Котосёночек мой: что с тобою, мой маленький? Что ты, голубчик? Мы — здесь: успокойся!" — болтает что-то.

— "Ах, что с тобою?" — болтнуло.

— "Что, что? Это — мы, это — мы: это папа и мама!"

Я, тихий безумок, я вижу худышку-голышечку, маму, волною волос мне покрывшую грудку мою и объагьем, мне радостным, жарко припавшую; вижу и папу, со свечкою: в сером халате, косматый, он пфукает, морщится заспанно так, изуверски; раскрытая грудь — волосата; на ней чуть намечена вислость — какая-то полубабья; он — бекает: "Ты, братец мой, как же так, стало быть... да!"

— "Предаешься, брат, ты атавизму: переживанию первобытного чело- века..."

— "До свайных построек!"

.....

Но мама бобыней³ надулась на папу.

— "А я говорю вам всегда: вот плоды от науки..."

— "Ребенку играть! Ну чего пристаёте к нему вы: все "силы" да "силы"..."

— "Какие там "силы"..."

"Ребенку — попеть, порезвиться, а вы с "математикой"... Он и кричит: "Афросим".

— "Это что же такое, мой маленький?"

— "Кто это там Афросим?"

Безупокой ночные уходят, сменяясь упокоями.

.....

Светоядная ночь объедает мне все, даже сон; и — заводится около; и чернотумно опустится в кресло: сидеть до рассвета — глубокими мра- ками, мне говорящими:

— "Нету пределов!"

Везде — неизменность отсутствий чего бы то ни было; и — неизменная
верность темнот, неизменная злота пустот; вдруг — она протупеет пред-
метами; и просинеет меж ними присутствие утра: —

— чернильные сини раз-
веются в синие сини; и серые бесы заводятся; серые бесы уселись на спинку
сутулого стула; я знаю: когда расцветет, — это будет белье; облекусь
я в него: так все бесы оденутся утром, и — снимутся утром, чтоб бегать по
комнатам: —

— серые бесы —

— сомненья мои —

— зацветает: облизилось все;

вот и стул, и на стуле белье, дозирувшее только что мертвенной мордой;
стена выступает уже над кроватью в месте отсутствий чего бы то
ни было; и — закрывается мрак; прилепляется детская комнатка гнез-
дышком к малой кровати, висящей над пропастью; в гнездышке — я;
чтоб оно не упало — подставился дом Косякова, а под него подставляется
весь земной шар; —

— прилетели из ночи опять на Арбат!

Уже белое, белое все: Генриэтта Мартыновна там папильоткой встает
над постелью.

— "Genug!"

— "Genug schlafen: neun Uhr!"*

— "Ах, какое "genug": я без сна провалялся!"

Квартира скалой выступает: потоки событий ударятся, пеной своей
облизнут непробойные стены; скрипят половицы под качкою временных
волн; все составы событий, увы, расстанутся в неставы безбытий: лишь
стены одни остаются; в пробежное время бежим неизбежно: я — с кубиком,
мама — со шляпной картонкой, а папочка с новой брошюркой своей: "О
радикале е-и к с"; но всеедино время грызет все, что есть, загрызет все, что
есть: будет нечего есть! Семиноги недель пробегают стремительно; громко
скрипят половицы под тяжелой ногою: то время проходит все ту же дорогу;
хромает часами на черную ногу; и все оседает под действием времени: пол,
доктор Пфедфер, живущий под ним; Пильс, кондитер, живущий под
доктором Пфедфером; дом Косякова давно оседает; под ним оседает земля;
надувающий ветер погромом проходит по крышам!..

Да, все изменяется в ветре и времени: более всех изменяются люди;
предметы — прочнее; но им я не верю: —

— поблескивает позолотой карти-

на Маршана — резьбою украшено кресло; но в спинке — дыра с пропиряю-
щим зубом пружины и с войлочным волосом; за позолоченной рамой — пыль-
ца; пианино, откуда звучит — это все, отодвинув, увидели доски; а то,
о чем пелось и что накричали под пальцами клавиши, — где оно, где?

* Довольно!

Довольно спать: девять часов! (нем.)

Коленкор? Да он порван... Игрушки, в которых мне виделась жизнь, как в малиновом клоуне, щелкавшем в бубен, когда нажимали на грудь, — оказались набитыми: волосом, войлоком, —

— как и малиновый клоун
набит этим войлоком! —

— Что ни сломаешь, — увидишь пружину, которую я вынимал отовсюду, ломая игрушки.

О, серые бесы, — сомненья мои; недобудно коснею я в вас!

.....

Любопытство мое оттого, что не верю я сказке предметов; и — знаю, что за картиной Маршана не дали, а пыль на стене; за узором обой — безобойные стены; и то, что приставлено к ним, отлетит и иначе расставится, как кабинетик, который явился в том месте, где были постели: две рядом; перелетели предметы; и мамочка спит в комнатушке при нашей гостиной, распространяясь в гостиную и выгоняя оттуда захожего папу:

— "Идите отсюда: чего вы слоняетесь!"

Помню: —

— проснешься: столовая — здесь, а гостиная — там; это — мамочка: все-то она суетилась, перетираала, меняла, покрикивала, перегоняла меня, Генризтту Мартыновну, папу из комнаты в комнату и заставляла надеяться, что наступают теперь, после всех изменений — прекрасная жизнь; оставалось по-прежнему: волосом, войлоком, пылью и псиною; псиною пахло разлапое кресло. —

— Напрасно старается мамочка все укрывать очень сложным составом предметов, обильно срезанных с Кузнецкого Моста; составы предметов — неставы: распались!

.....

Два важных события в жизни предметов я помню; атласная мебель протерлась: ее просидели; мотались оборввши; грязная вата торчала; в местах, где обычно профессор клонил седину, обозначились темные пятна его непромытого волоса; тут появился закройщик с Кузнецкого Моста: и показал лоскуточки материи; нравился синий, с глазочками; но — заказали оливковый; перебивали материей кресла, оклеили стены; нарядно висели густейшие шторы оливковых, темных оттенков; а кресла нахмурились новым атласом; такие же точно обои глядели со стен; был повешен тусклый зеленый фонарь, освещавший все это рассеянным светом; нарядно, но — пасмурно; цвет надоед: я грустил о пунцовых обоях, о прежней обивке; я помнил пунцовый сквозной абажур, с черным клювом, с совиными глазками; отблеск пунцовый дробился в паркетах, — не этот, зеленый и бледный; теперь вот войдут; и — померкнут зелеными лицами; смотрят зелеными лицами; кажется мне: с появлением оливковых кресел

— нахмурилась мамочка: красная сказка предметов померкла в зеленую прозу: —

— Напрасно старался утешить — Иван Николаевич Горожанкин⁴, заведующий ботаническим садом, когда подарил неожиданно он тростники, рододендроны, фикусы, пальмы; обставили нашу квартиру горшками цветов; что же — пальмы хирели с немых подоконников, напоминая: все — бренно; все — войлок и волос!

— "Так — да: так и все... Николай же Ирасович — тоже вот: пыль, — так и все!"

— Это — Пфука.

.....

Гляжу в коридорчик; он — кажется мне подозрительным местом; уж сумерки: сели все крыши в темнейшие ниши; грызунчики-мыши — играют все тише; из коридора опять принялся к нам заглядывать... Пфука: —

— выходит, садится на спинку сутулого стула; когда рассветет, — обернется штанишками он; иль — рубашечкой станет, да, да: эти бесы — одежды; оденутся утром; и снимутся вечером; будут по комнатам бегать они, повисая чехлами и... мертвенной мордюю; и я кричу: — "Афросим" —

— непонятное слово, ключ к тайне, смыкающий жары и шар!

Расширяется жар по ночам, развивается очень отчетливо шар — по утрам: географией Индии, Персии, Скифии; шарик земной — жаровой; жар ночной — шаровой:

— "Афросим!"

Уверяли меня, утешали, что нет "Афросима", а есть "Афросинья", "Петрович", "мужик"; но я знаю: то самое расширение органов тела без кожи, в сплошной неохватности, — не от Петровича, не от Антона (Антонов огонь⁵ — это что!); нет, "м у ж и к" ни при чем: —

— знаю: желоб, которого не одолеешь сто тысячу лет: позвоночник; я полз от червя до гориллы, до... до... расширения шара: моей головы, на которой пытаюсь усесться; и падаю вновь: в допотопное прошлое.

Слышал от папочки:

— "Перевоплощенье, Лизочек, — гипотеза древних, согласно которой мы, так сказать..."

— "Индусы — верили, и Пифагор признавал; и я, знаешь ли, так сказать!" —

— Нежно глядел за окно: на персидские краски павлиньих закатов: —

— вселенная, мне подпиравшая пяточки, тут отставлялась; я — жил без опоры; ударные мнения папы о маму, и мамы о папу

(— "Перевоплощение — вздор!") —

— превращались в толчки двух свинцовых шаров, быстро пущенных справа и слева по слабому пятилетнему телу: сплошные раздавы!

Я — выдавом бреда был выперт в закожное; и ощущения гибели — крепи: в крушение устоев — физических, нервных и нравственных; поколебалась "зависимость" мне в независимость: да — и пустую, и черную.

Этот тычок в "н и к у д а" — преступление.

.....

Сырой, многокапельный желоб — закапал; и — капает; из желобов слабым треском везде вылетали сосульки; халвели снега, прорыхали; полозья, как ножики, резали прямо до камня; пошли сквозняки в ветрогонные дни; снегопады сырели.

.....

Так стал независимой переменной я, несогласный с законами папы, что силами тяготения дом не летит вверх тормашками; ночью летаем мы все вверх тормашками, ширясь; закон тяготенья не действует; все разобцается, не тяготея ни к папе, ни к маме (шлепками ее я отшлепнулся прочь).

Началось — разобцение: —

— американец, сидевший над нами, себя ощущал очень крепко, а мы, — разобценные, — падали крышею дома на пламень созвездия Пса⁶... —

.....

— "Афросим!"

Просыпаюсь —

— склянное, синее утро; живые огни — на снегах, как посыпанных битым стеклом —

— просыпаюсь со смутным сознанием: —

— ра-
зум не нужен; без правила, грани, вины — ощущаю себя; все же я виноват; во мне крепнет сознание: "вины без вины".

Вспоминаю: —

— зачем это папа кричит на меня,
когда я с перенугу запутаюсь в мыслях о маме,
которая может проснуться; послушаешь — ты ви-
новат; не послушаешь — ты виноват: —

— виноват без конца; виноват
и один: виноват — до конца, виноват — без причин!.. —

— И за все тебе влечется звонкой пощечиной!

Я угодил, проживая в сплошном беззаконье; выпискивал маленьким рогтиком выдумки, чтобы скорей, оторвавшись от этих зловещих миров, — отвертеться от орбиты: кануть —

— в развитие: эдакого какого-то
своего —
— моего! —

Вот к полудню рисуется вычертень золотоливную струйкой, к полудню взрыхлеет; и все прослезится; и все — бриллиантово станет, чтоб вечер покрыл закорузлую пленочкой; хрюкает ярко-ледяная рдянь под ногами.

А то — моросей и мягкой мокриной прослякотит улицы слабый февраль; желто-ярый туман прилипает к окошку: а папочка шепчет Дуняше:

— "Вот вам: наша барыня — от нездоровья, от нервов!"

— "Обидно-то как-с!"

— "Потерпите: вот вам".

И мне нить преступленья ясна: эти нервы — последствия трудных родов; беззаконие я учинил перед мамой, явившись пред нею; и после: вселил я раздор между нею и папой; преступно — самосознание: —

— веч-
но казаться незнающим! —

— Да:

и узнай это папа, — он рухнул бы вниз головой, с кабинетиком: семь же шкафов, ударяя в глухой потолок, проломили б отверстие; папа бы с томиком Софуса Ли, математика шведского, рухнул туда: —

— в свои чер-
ные пропасти!

"Некоторые, которые" — пропасти: сил разобщения; "гвоздь" — беззаконие; я до него дохожу, вылезая ногами: свергать все устои и опрокидывать правила; —

— пфукает Пфука во мне; проходил, приходил: головастой гориллою, скифом (— "Перевоплощение, мой Лизок, так сказать!"); нанялся в родовые, в родные и в скотные, стал — родовым домовым; —

— да! —

— Он, папою в папе отчмокав, зачмокает мною во мне; очевидно: вселенная, — "пфукиństwo!"

— "Э, да жарок появился!"

Кислятится слякоть; все кашляют; кашляю я; ждут Смирнова⁷, домашнего доктора; тельце — горячее: в жилах, в ушах очень явственно: шукает,

пфукает; жду я, что Пфука — босой, толстопятый, в испланных старых штанах, из дверей коридорных просунет свой войлочный волос; и кажется мне, что зеленый и бабий живот, выпирающий выше штанов, барабанно баранит тупым, глупым пупом.

Звонок: два звонка (и в дверях, и в ушах)!

Это доктор Смирнов; он вбегает ко мне: старичок — желтчки под усами, а — как тараторит!

— "Не говорите", — мотает он лысой головкой — в очках, в золотых: — "Э, да что! Да-да-да, да-да-да, да-да-да!"

Рубашонка подкинется, и — головою прижмется к горящему тельцу: трубою приткнется; и "т у к и" своим молоточком проводит по телу:

— "Вздохни-ка... Еще... И еще... И еще: глубже, глубже; так... так... Ага!"

Помотает головкою, перебегая от тумбочки к столику: пишет рецепт; прописав, веселейше прихлопнет в ладоши:

— "А ну-ка, брат: ну-ка; ты-ка касторки: касторки сперва", — подопрется рукою с трубою в почтенную талью; другой соберет белый клоч борода, поднесет его к носу; и фыкнет задумчиво в клоч борода:

— "А потом: тут вот эдак клееночку; и на клееночку, эдакую вот, тряпочку... Вчетверо надо сложить, выжать воду... И ваткою, ваткою сверху... Держать три часа..."

— "А потом?"

— "То же самое делать!.."

Запросишь:

— "Мне кисленького..."

— "Ни-ни-ни, ни-ни-ни, брат: ни-ни, ни-ни-ни..."

Тут обступят Смирнова: и папа, и мамочка.

— "Что?"

Он — заморщится, заморгает и перетрясом головки с "ээ, ээ" он прокислится желто-лимонной гримасою, вскинув на папу очками:

— "Ээ, форррменный бррронхит!.."

И — тотчас же: безо всякого перерыва:

— "А ты-то — что, брат?" (Он товарищ по классам: как встретятся, так принимаются "т ы к а т ь с я".)

— "Я — ничего", — тыкнет папочка, — "ты-то вот — как?"

Перетькнувшись, друг перед другом они остановятся; и не умеют сказать ничего, кроме:

— "Ты-ка, брат, ты-ка..."

Смирнов упомянет про Бисмарка:

— "Три волосинки!"

И глазки опустит: мычит и пыхтит (пересказано все: перетькано; не о чем больше); и хватит ладонью в ладонь, как испуганный, выстрелив возгласом:

— "Ну, брат, прощай: брат, — большие, большие!.."

Схвативши картуз (он ходил в картузе), запахнувшись в шубу, мотая седою бородкой и эдак, и так, как ошпаренный, выскочит он с....

— "Да-да-да, да-да-да, да-да-да... Не говорите мне: три волосинки, и — все тут... да-да, да-да-да!"

Мне уж легче; и всем как-то легче; естественно: "форменный бронхит!"

— "Да-да... Чтобы кислого: ни-ни-ни-ни; чтоб клееночку, ваточку, тряпочку".

Все — исполняется; и говорят про Смирнова:

— "Сергей, вот, Васильевич: все он такой же; и весел, и бодр; холостяк и простяк".

— "Да, Сергей, вот, Васильевич: он — веселейший, простейший; и — умница; вот за кого бы отдать нашу Дотю: интересовался ведь..."

— "Да, но она — фырк-фырк-фырк!"

Мне приносят капсули; откроешь, — капсули какие-то липкие; смотрят глазами, в бумажечках, как от конфет; уже знаю: дотронешься: так и — начинается капсуля: глазами вращать!

Вспоминаю: —

— такие глаза — Докторовской; касторовыми глазами вращает на очень красивого Грота она; и противлюсь: противно; касторовый глаз Докторовской и сладко, и липко мне давит язык; проглотить не могу; и он — лопнул во рту; что тут было! —

— Я принял его, когда папа, ввалившись с новым стишком, сочиненным по этому поводу, мне прокричал его в ухо, пока я капсули глотал, улыбаясь слезинкам:

Все — напрасно: ах, ужасно!..
Ах, касторовое масло!
Что за слезы? Что за вид?
Все — напрасно! И прекрасно:
Котик — ясно: это масло
Прекращает твой бронхит.

Не напрасно мне папочка пишет стихи: ими он созидает огромную мощь надо мною; он — мощный: таит; я — прочел эту тайну; и съел — то, запретное; круглый комочек колотится: яблоком — в горлышке, пучась ночами, ломая мне грани, развитием древа, с вершины которого кушают яблоки.

Пал, как Адам, вызывая догадку у мамы (она — проницательна); вот она входит к больному "развитием" (входит ко мне); и попробует лобик:

— "Жарок еще есть!"

И на ней — крылорогая шляпа; и — в черной вуали, в своем чернопером боа, в черной кофточке, в черных перчатках, с не очень широким турнюром проходит в переднюю, осведомляясь, где нафталин: скоро спрячется зимнее; шубы отправятся к Белкину⁸, — на сохраненье от моли.

Мне кажется: мамочка пробует лобик не потому, что — жарок; потому, что растет этот лобик (шарок этот лобик); —

— все то, что является днями,

как круглый и твердый шарок, то ночами — жарок; и жарок — от "развития": —

— Семечко зрелой антоновки, пахнущей папою, бухнет, ломо-тою лобика: ломит мне лобик, ломает мне лобик двумя роговыми ветвями; вот — кончики веточек —

— рожки —

— прорежутся!

Ах, обнаружится: яблоко — съедено!

Веточки — прячут; но листик один обнаружен: он — фиговый; вырастет, вырастет фига; и стало быть: дело не в книге, а в фиге (под книгою).

.....

Дунуло теплою ветренюю; снега промякли; окапалась улица; мокрые стены казались древнее, роднее и меньше; так бросило в слезы Арбат; закрепилось крутой гололедницей; месяц, простой умеркатель, стал ясный мерцатель; тянуло из воздуха мартом; закапали дождики.

Месяц весенний пришел ледорочкою рдянюю, которая днем — разлитые лужицы, вечером — пленки и пленочки льда и хрупчайшие крылья стеклянных стрекозок, и висень сосулек; на сухости чаще сыреют темнейшие плещи; и нет уже белого снега, а — желто-коричневый, желто-навозный; бегут в три ручья — в проходные ворота: бумажки, коробочки, вынос песка со дворов.

Наконец, я поправился: и — мы выходим гулять, в первый раз... Где снежок? О, как все изменилось!

Люблю наблюдать подворотни весною: —

— и знаю, откуда что вытечет:

с этого дворика будет сочиться чистейшая ясность; из этого — мутная, бурая жижа; сольются: и муть просветлеет, и ясень бурее; а от Гринблата выносятся: семь цветов радуги; если увижу я радужный круг, это — значит: он вытек из дворика, принадлежащего к белому дому, Гринблатову.

Март: да, на улицах ходят в обновках; и барышня в синенькой кофточке ясно колышет своей краснокрылою шляпой, в седой вуалетке, развеявши ранее сроку малиновый зонтик; идет молодой человек в очень желтом пальто, в очень красных перчатках и в новых калошах; да, все — стали куцые: шубы исчезли, хотя под ногами еще шоколадная грязь, примерзая, становится бледною твердостью; розовы щеки; и розовы носики барышень; белые зайки, висащие кверху ногами у входа в мясные, исчезли: висят только серые зайки — глядят окровавленной мордочкой; запахи дыма и гари сменились запахом тухлых яиц; зеленные лавчонки воняют капустным листом; продаются моченые яблоки.

В доме счищают замазку; и — грохнуло, затарарыкали: хлопоты топотов, ропоты рокотов громких пролетов, которые медленно тащутся после летучих саней; у извозчиков выгнуты спины; и всюду шлепки: липкой грязи.

А там — самовольный дымок самобежно проходит барашками в небе;
и — голос разносчика:

— "Свежие яйца" —

— врывается в форточку...

.....

Ах, как позорен поступок — мой, собственный: съесть втихомолку селедочный хвостик: с судка!

— "Где селедочный хвостик?"

— "Дуняша?"

— "Опять!"

— "Безобразие..."

Мама кольцом с бирюзой — бирюзой как шваркнет о столик: и вот — бирюза от кольца отлетела (кольцо будет отдано в чинку к Распопову⁹, мастеру дел золотых, — на Арбат).

— "Генриэтта Мартыновна", — мамочка тут развела свои руки и бросила голову — перед собой: к Генриэтте Мартыновне:

— "Вы, может быть?"

Глазки (пьявки!) — впились; Генриэтта Мартыновна бросила в скатерть салфетку, порозовев еле-еле.

И — в слезы:

— "Nein, nein!"

— "Gott sei dank!"*

— "Еще я не дошла до такови!"

И — вышла из комнаты; тут вот во мне что-то екнуло: я-то — дошел!
— Мне представилась участь моя: —

— Мама быстро ко мне подойдет и, за ручку меня больно дернув, подтянет к себе, отпихнет, помахнет руками:

— "Воришка: селедочный хвостик — украл!"

И, схвативши гребенку, гребенкою примется кудри отчесывать, чтобы открыть большой лоб; а на лбу-то — направо, налево — растут желвачки, то есть рожки:

— "Смотрите!"

— "Любуйтесь!" —

— Так ясно представилось мне; между тем: папа пальцами забарабанил по скатерти:

— "Ты, мой Лизок, — ты напрасно: ай, ай — как же можно... Девуца из бедной, лифляндской фамилии, — и... подозренья... Селедочный хвостик!"

Но мамочка, шейку прижавши и выдавив свой подбородочек — уф:

Пуф-пуф-пуф!

— "Вы — не путайтесь: съела ж она двадцать пять мандаринов недавно; вошла я — взялась за мешок с мандаринами: кожа да косточки! Где мандарины? Искала, искала: Дуняшу ругала, ругала;

* Нет, нет! Слава богу! (нем.)

она — и призналась: "Я — скушала". — "Как, говорю, — двадцать пять?" — "Да: сначала один; он — понравился; после — другой; так один за другим я и скушала. Вы извините, пожалуйста". Я говорю: "Как же вы не больны?" — "Ничего!" — отвечает.

— "Пожалуйста, вы уж не путайте: знаю, о чем говорю..."

Папа руки развел, да как грохнет от хохота:

— "Как, двадцать пять мандаринов?"

— "Ха-ха-ха-ха-ха!"

— "Без холеры?"

— "Могу сказать..."

— "Да!"

— "Удивительно ограниченная натура..."

Забыли они о селедочном хвостике; я — не забыл; и — упал маме в руки.

— "Я... я!"

— "Что такое?"

— "Селедочный хвостик: такой показался мне вкусный!"

— "Так — ты?"

— "И — ни слова?"

— "Тихоня!"

Но папа, вскочивший с салфеткою, бросился прямо ко мне; и в ладони свои защемил мне головку:

— "Ах, как же-с!"

— "Селедочный хвостик!"

— "Оставьте ему его хвостик!!!"

— "Оставьте селедочный хвостик!!!"

И мама оставила.

.....

Стал я "тихоней", — о, если бы знала она, в какой мере!

И так она что-то косилась (чуткая)!

Папа не знает, что быть нам друзьями нельзя: развиваться мы можем без мамы — не с мамой: украдкой; и папа — не знает, что развивания вредны мне; грешные чувства приходят; поэтому я развиваться люблю, понимая, что яркая бабочка крылья свои развернула из кокона; из зоологии Бэра¹⁰ читал это папа, который читал для себя одну книжку: наглядного обучения; и, научившись наглядно учить, обучает наглядно меня: зоология Бэра у нас появилась; вот он пригрочочет, почешет себе под губою изогнутым пальцем; и — воздух вбирая сквозь зубы, как сладкий сироп, указывает рукой на картинку гигантского дуба; и — станет румяным проказником: голову выгнул, и смотрит, поставив два пальца под стекла огромных очков; и — ноздрит, и — сопит: —

— а на срубе гигантского дуба

— площадка; мужчины и дамы танцуют на срубе...

— "Ти-ти" — ковырнет носом в воздухе — "ти: вот-вот-вот!".

— "А, скажите, пожалуйста!"

— "Дерево!"

— "Американское!"

— "Вот так уж дерево!"

Перевернувши страницу, подпрыгнет на стуле, разводит ладонями в воздухе:

— "Вот, братец мой, — так скандал: цепкохвостая, знаешь ли ты, обезьяна" — играет словами он.

— "Ну — повтори".

Повторю:

— "Цепкохвостая!"

Нос, как лягушка, запрыгает:

— "Каменный это баран: он бросается, шельма, с откосов, себе на рога".

Переполнен зверями рот папы (и я — озверючился); весь он — зернильня; головка моя — острый клювик; она — наклевалась зерном, зерном знания; мама из спальни кричит:

— "Вот!"

— "Сюда!"

Она — знает, что это развитие — "п ф у к а"; оно — родовое, домашнее, скотное; ходит по жилам моим; буду — "п ф у к о ю" я; буду днями, надевши очки, вычислять, а нечами — топорчиться, шириться; буду — "м у ж и к" — толстопятый, косматый — показывать бабий зеленый живот, выпирающий выше штанов, и косматые ребра, где еле намечены две безобразных отвислины; буду ходить в таком виде к... Дуняше, выслушивая от Дуняши упреки, что ей очень стыдно... с таким мужиком.

Знаю, знаю: "селедочный хвостик" — начало конца; будет более важное — хвост "белорыбицы" от Генералова!¹²

Будочник схватит; меня — приведут:

— "Посмотрите: с хвостом!"

Папа хмуро уставится, чтобы — дойти до "гвоздя": до меня!

— "Ну, а этого негодяя, Лизочек, мы..."

Изгнан!

И — "р а й" водворится меж папой и мамой: пойдут в исправительном доме, пойдут выколачивать медной, ремешною пряжкой "с в о е" из меня.

Когда мама дирала за кудри, одной стороной я молился за "грешницу"; ну, а другую я ведал: права-то — она, что дирала за грех первородный, за "п ф у к у"; и — ночь приходила: со связкою ржавых ключей босоногий — "топ-топ" по квартире: завозится: нюхает, перебирает, ворочает, вдруг начиная чесаться ногою за ухом; и слышу я топот старичьей ноги, удаляющей в пол; и — зачмоки слюнявой губы, деловито вцепившейся в шерсть: щелкать блох у хвоста; и босьми ножонками топаю в прошлое; ах, — там все огненно: вспыхнут два глаза, как свечки; я — безымень¹² схваченный: в диких прыжках — по годам, по векам и по желобу: лезем, не взлезем: —

— а желоб — мой рост; я — на желобе, дрыгая свешенной ножкою, явно превысивши грани — с тычка (математики) —

— падаю!..

— "Котик, Котеночек мой, Котосеночек мой: что с тобой? Что ты, маленький? Мы это: папа и мама..."

А папа в халате — косматый (раскрытая грудь — волосатая):

— "Ты, братец мой, что же: ты эдак-то вот развиваешься?"

И — шлепиком прошмякал назад, в свою комнату; слышу — ворочается; и чихает: не спится ему; чифучирит он спичкою, тыкаясь в томики Софуса Ли, математика шведского; прежде, когда две постели стояли там рядом, — он спал, не читал, все боясь спугнуть мамин сон, очень чуткий; теперь кабинет превратился в гостиную, спальная комната обращена в кабинетик; там возится он, чифучирия, чихая и пфукая; серые бесы заходят туда; знаю: серые бесы — бельё.

.....

Кучевые туманы, серая, завесят и небо и землю; и время, испуганный заяц, прижав свои уши, бежит в зажелтевшую мразь.

.....

Удивителен я: одевают — в шелка, в кружева; и кокетливо вьются темнейшие кудри на плечи; и лоб закрывают — до будущей лысины; —

— Я —

— точно девочка.

Кудри откинута: —

— лоб изменяет меня; ротик — чуть-чуть увеличен; он — дернется полуулыбкой, лукавой, двусмысленной, а из бессонных глазенок, прищуренных, севших в круги, отемневших, огромнейших орбит проступит глазищами —

— празелень: страшная! —

— Локоны, платье, банты — личина орангутанга приседает за ней!

.....

Поскорее ему котелок,
Поскорее ему сюртучок
И суконные тонные брючки:
Засовывать ручки!

.....

ВЕСНА

И все знают: —

— под розовым домом, где белые девы на каменных прочных затылках достойно держали карниз, изгибая свой торс, уходящий в плющи (под пупком) и таинственно превращенный в подставку для торса из белого камня, слагающего расширенное колонки, меж окнами, где над стеклом, из овала, показывал круглую рожицу баранорогий насмешник, —

— тот дом разломали давно; в этом месте восстала громада из камня —

— все знают: —

— под розовым домом, где девы держали карниз,

— очень хлюпает; белый пузырчатый гребень у голого камешка — точно сквозные, лучистые бусы: надуется множеством ясных пузырьков, лопнет; надутые новые; пена слюняво бежит от него, грохоча в водосток; ах, везде — выписной водотек; с подворотни до тумбы; мальчишки бросают бумажный кораблик в кудрявые гребни; нахляпаны кучи расколотой талости; все — перепачканы; всюду — веселый "ч и р и к" воробьев; кто-то, весь перепачкан, бежит в котелке шоколадного цвета, промятом и косо надетом, в пальто, обвисающем старой мухрой и не скрывающем фалд сюртука, задевая подмышку руки, — не узнал бегуна: это — папочка, нас не заметивший; —

— еще вчера котелок бледно-серого цвета я видел на нем (его, черный, — потерял); держал он крюкастую ручку развисшего зонтика; нынче на нем котелок — шоколадный; и зонтик — бескрылый, подвернутый, новенький.

Март веселеет Арбатом, но слаще на Кисловке; розовый кисловский дом, как конфетка от Фельша; блестят веселее жестянки в окне Реттерé (кофе "м о к к о"): сидет мось Реттере; мы заходим в лавчонку напротив: поздней был здесь выставен рамок и пышных картин — "Г о р о д Н и ц а". Тогда его не было; не было вовсе зеленой "Н а д е ж д ы"¹; которая с восемьдесят седьмого лишь года открылась тетрадами, калькомани, бумагой цветной и другими соблазнами; дамы "Н а д е ж д ы" встречали позднее любезно меня (та, худая, блондинка — не так, а та, полная, — очень); арбатские жители знают "Н а д е ж д у"; и знали "винооторговлю" Попова²; но кто помнит "Бурова"³, кто покупал у него свои палки и зонтики? Домик, где он торговал, деревянный, коричневый, — временем бурным снесен; вот — дом Нейдгарда, дом Патрикеева⁴, дом Старикова —

— отку-
да —

— колбасами, чаем и фруктами дразнится "В ы г о т ч и к о в"⁵ (после "К о г т е в"⁶ дразнился отсюда); я жду: он — просунется в дверь: пригласить покупателя, — гордый, двубакий, курносый, плешивый; и — в фартуке; щелкает счетами; и — дозирует за "малыми"; ах, как горит самозвучное ухо; тепло разлитое луж остывает окладами холода; огненным остовом кто-то занесся в зеленое небо. Да, март!..

.....

В марте месяце все восприятия — свежи, легки, музыкальны; и мамочка — тоже: легка, музыкальна; весенняя —

— склонится вздохом над клавиша-

ми —

— задумается; улыбнется; и —

— дон-

-дон-

-дон-

-дон! —

— раздается на кла-

вишах.

Согнутым, малым мизинцем подкинулась ручка; и — все пролетчало; и все — просияло; столовая наша отстроена звуком, сработана звуком; открылась для взора: —

— я видел —

— как легкие лилии лейно летели на белых обоях; я слышал, как отзывом наполнился желтый буфет, дуботелый, который обычно болдел, будоражился; и — отвечал передрогом на шаг; как стаканье звоня его мелодично ответило звукам; три бюстика высились: Пушкин, Толстой и Тургенев; буфет будоражился: бюстики падали; черным изрезанным деревом высился ящик; он выставил челюсть, закрытую черной губою; губа открывалась в певучее белозубие клавишей; и бронзовели туда и сюда откидные подсвечники; мама садилась играть —

— в ва-

силковой веселенькой кофточке, бросивши в воздухе пальцы и падая пальцем на клавиш: садилась играть то же самое, что она часто играла, чего не могу разобрать, — хорошо или плохо все это: —

— ага! —

— вот оно:

что такое? Не знаю, но знаю, что — "это" —

— ага! —

— как раскинулось, как раскидалось могучими звуками, производя беспорядки, согласные все же друг с другом: весь мир перестроен теперь: перестроен и я: не узнать ничего из того, —

— что —

— господствовало над душою моею пред этим: но мама закроет рояль —

— все забуду, не вспомню: вернется назад с возвращеньем рулад: —

— откидные подсвечники маму осветят горячими свечками; мама закроет губу: черный ящик — пианино; картина Маршана висела над ним уходящими далями (я уходил в эти дали, зажатый тяжелою рамой); легко бронзовели настенники; а над дубовым столом из плодового круга звончайше повесилась склянная лампа сквозным полушарием с тихим бряцаньем на бронзовой цепи; с ореховых крепких багетов сквозили взлетевшими светами слетные шторы; под ними пластался листья расставленных пальм; с подоконников, с окон, из белых плетеных корзин, даже с полу; с угла, к потолку, выходил раскидной рододендрон; а там — деревянная голова часовая шипела часами; под нею чернел, точно негр, удивляя карачками, ломберный сложенный столик; по стенам и окнам равнялись гнутыми спинами стулья с плетеным сиденьем, готовые перелететь как уютно: расставиться эдак и так; и — опять разлететься под стены.

.....

Открытая дверь уводила в гостиную; все здесь — оливково: стены, обои, гардины, стенные драпри б р о к а т е л ь⁷, иль обивка атласная, мебели; общее впечатленье: красиво, но как — безымянно! Все вещи тишают; здесь все — безвременствует; все здесь — безвыходно, безатмосферно,

безгласо; все — бёзымень; призрак: приставлено к зраку; отставится, будет — непризрачно; но отставлять-то и некуда; призрак — стоит!

И —

— фонарь провисает с лепного плодового круга безграником, матовой дутенью; вечером робко исходит утратой блекавого света; стоит между белых дверей, призакрытых оливковым штофом, приземистый, кругловерхий ореховый шкафчик: на нем — две богини, две маленьких, алебастровых статуйки, а между ними отчетливо протяжелела желтеющим золотом бронза высокой подставки дарящего свет шестисвечника (он — красовался без свечек), трехного⁸ касаяся шкафчика и поднимая желтеющий золотом жертвенник (бронзовый) в виде начала колонки, обвитой гирляндою, где виторогие головы бронзовых, желтых баранов губами сжимали подборы гирлянд; на колонке росла витозлатая ваза, из тела которой мордели уродцы; листовный металл очень-очень высокого стержня кончался цветистым златастым раздутием, бронзовым выгибом тонкого пятиветвья и тонких розеток подсвечников; верх был увенчан шестою розеткой; сплетение прихотливых извивов металла меня занимало; — любил наблюдать канделябр; и любил я оливковый мягкий диван, поднимающий спинку высоко ореховым, резаным краем; четыре ореховых, резаных морды оскалились с краю; меж ними — резьба завитков; посмотрю, — и мне хочется морды куснуть: шоколадного цвета они.

И такого же цвета ореховый, резаный прочный столовой овал, поднимаемый выгибом твердых ореховых вздутий — трех ножек, обвитых гирляндой плодов и касавшихся львинолапой резьбою ковра; на нем плюшево тусклится скатерть, свисая на ножки бахромкой и длинным оборвышем; да, я смотрел — в пестрину этой скатерти, перецветающей черным рыжеющим фоном, где три пестрых цвета вились вперегонку один за другим на спиральках, слагающих цветоподобный орнамент — оранжевый, рыжий и желтый, нарушенный изредка здесь синеглазкою, там — красноглазом, но в общем являя вид — тигровый; перетертый ковер, тоже тигровый, точно таких сочетаний, пластался под столиком, под четырьмя приседавшими, очень разлапными креслами; — жест их являл мне достойный пугающий вид четырех поприсевших на корточки профессоров, на колени поставивших руки; четыре декана присели на корточки здесь: заседать; и их резчик изрезал; и лаком покрыл полировщик; облил им колени атласом безжалостный мебельщик: стали четыре декана — присевшими креслами! И приходящие гости садились на них: сочиняли свои беспокойе из слов, свою борзопись бестолкового слова; здесь дамы садились бобынями; и — перелистывали альбомы под абажуром, атласным, оливковым, с блондами; здесь через шелесты юбок и щелеты ротиков мне поднесется пробасина грубого голоса; все кружевеет; и веет — духами; —

— у дам наблюдал я особый, немой разговор, обращенный друг к другу; и — состоящий из жестов; они сообщают друг другу какие-то сведенья, мне и мужчинам весьма непонятные; дама бывало воскликнет на даму:

— "Какая вы бледная!"

Дама — смолчит, но головкой протянется к даме и бровки поднимет: кистями обеих поставленных друг перед дружкой ручек укажет на низ

живота, чуть-чуть выпятив губку; другая тотчас догадается, еле кивнув; и меняет скорей разговор, получив разъяснение.

Мне разъяснения — нет!.. —

— Наблюдаю в углу я трехногую горку: безбокая горка! На ней расставляется белоголовица куколок; это — фарфор: пастушонок, пастушка в соломенной шляпе, в фарфоровой, в розовой юбочке, серая моська; и — италианец раскрашенный (ярко-коричневый и с окариной⁹ в руках) и какая-то малая берендейка-игрушечка; и безголовый китаец; —

— и многое множество очень занятных вещей безвремёнствует здесь; много кресел, гардин, б р о к а т е л и на мебелиях; все так красиво, но все так безвыходно, безатмосферно, безгласо; все — бёзымень, призрак: приставлено к зраку; отставится — звуками; звуки влетят, перестроивши все и настроивши новое.

.....
"Мрмля" — раздаётся здесь!

"Мрмля" —

— очень сложный аккорд: —

— он расплаканным, мокрым киселем ложится на клавиши; септаккордами и нонаккордами водится: черная косточка — "ге"; "д л я - д л я - д л я" есть трезвучие "мрмля" —

— очень сложный аккорд: раскричится как... Альмочка; нет, громче Альмочки: разговаривает, как... мама: —

— все дрогнуло, все замигало мне в душу; подсвечники задрезбуждали кружочками; стены подтянуты, выросли; точно расширены в высь потолков; углубились и донельзя стали прозрачны —

— уже на колесиках к креслу покатится через гостиную кресло; на цыпочках, вдруг пролетев и возвысаясь от грянувших звуков, — стоит!

Образуется в музыке что-то безгранное; бабушка, я, тетя Дотя, Дуняша, — пойдем; папа — нет: вот он выйдет поревывать в звуки; и петь объяснения, вставивши грань:

— "Да, Лизочек: конечно же... Музыка есть математика, не приведенная к ясности..."

— "Лейбниц еще говорил", — попытается вспыхнуть зеленою искрой, как мамины гранные серьги.

— "Вот тут помогает весьма рациональная ясность французских мыслителей", — снова пыгается вспыхнуть он красною ясностью; вспыхнет не он, а опять-таки вспыхнули серьги.

— "Туман! Это немцы туман напускают!"

Но ясность французских мыслителей лопнет под звуками Шумана¹⁰; не понимает он музыки; и — называет все то, что там скачет по клавишам, — шумом: не Шуманом; скачет не шум, а —

— веселенький пансиончик из маленьких девочек; все — в пелеринках, и т р а - л я - л я - л я: —

— побежали

подкидисто девочки всем пансиончиком: быстро состроились в пары; подкидисто, быстро прошли в коридор: —

— коридорная дверь затворилась: закрыто пианино: погасли подсвечники...

СПУТНИК

Бежали минуты, как девочки по коридорчику: вечным своим пансиончиком; двигалась стрелка часов оттого, что бежали они; в воскресенье, поднявшись, крихтя, на давно раскачавшийся стул, сопровождаемый возгласом:

— "Эдак проломите стуло", —

— мне папа устраивал время, закручивая часовую пружину; и —

— трр —

— трр —

— трр —

— повороты хрипели, закручивая: понедельник, вторники, среды: и — "трр-трр-трр" — до субботы: включительно!

Новая неделя затикала!

.....

Дни выпадали рябые: то — солнце, то — тень; то снежок, а то — дождик; снега растворялись; и я проходил по мутнеющим днем шоколадным лужам, говором шамкнувших снегом лопат и веселою брызнью извозчиков; вечером март был — сияющим мартом; устраивал хрясты ледянистых ракушек; ножкою я наступаю на ракушку лужицы: и — заматаются быстро под ракушкой темные пятна; и — в лужицу ножка уйдет. К Севастьянову жаворонки прилетели¹; от Севастьянова — к нам прилетели: румяно и сдобно; изюминки-глазки люблю выковыривать им; и озакусывать вкусно головкой: съедобно и сдобно — совсем бесподобно; покушаешь — после поднимется к горлышку "ик"!

Пролетела неделя: и папа — заводит иную, апрельскую: —

— юной весной скovyряли замазку; и — юной весной мы просунулись в грохоты; образовались сухиничи там, где грязнели окляклые мягкости; пышечник ходит по дворику; слышны его прибаутки:

— "Мальчишки, принес я вам пышки: тащите ко мне пятачишки!"

Разносчик орет горлодером "купить — продавать"; тарарыкает грохотно водовозная бочка: и мебель с обивкой линючего цвета поставили: бьют выбивалкою; хлопают громко ковры меж двумя полотерами; жизнь на дворе занимает меня! Дубоносая дылда, Антон, растопырился вон не в тулупе, а в розовом ситце; торопится: сквернословит в пространство; торопится за белокурою курицей красный петух; ухватившись за шейные перья своим щипким клювом, он перую спину намнет ей пернатыми шпорами ног, прокачавшись совсем кровавым гребешечком.

У нас — изменения: в воздухе носятся желтые моли; в передней две папиных шляпы — коричневая (чужая) и серая (то же). А папа

взлезает на стул; и — заводится третья неделя; он есть времявод: коновод!
Удивительный!

.....

— Скрипен и прот, но он — скрытен: скрипит и спешит на весь дом, суетою вертясь среди нас, нарушая порядок: беспомощным зовом к порядку; нет, он не хитер, но... какую-то тайну вложили в него: запечатанный, склепанный, он, как бочонок, который, прегрохотно сброшенный с лестницы, может в своем проверженье давнуть очень больно, перескочивши чрез встречное, чтобы, упавши, подпрыгнуть и кракнуть расколотым деревом.

Неотвратимы мгновенные выбеги с карандашиком в гущи домашних забот, молниеносно по-своему понятых (и не с того вовсе боку); и тотчас решенных не в том направлении: папа — короткий дубовый бочонок, затрахавши, выпукло бросится лбом крепче крепких кокосов; и выдохнув запахи войлока жесткой щетиной, прокатится с очень спешащими глазками в замысел ваш из очков, поднимаемых пальцами, от которых несет сургучом, с раскричавшимся как-то визгливо, по-бабы, и как-то навязчиво, ртом — весь косматый, безбровый:

— "Да что вы?"

— "Позвольте же!.."

— "Да, не так это вы..."

— "Как же можно?"

— "Вот эдак..."

Откатитесь: передвигаемый стол очень бодро пройдетя не в том направлении на медных колесиках, трахнувши в бедра Дуняши ореховым краем:

— "Ой, барин!"

Отбавая свое косолапое дело на белой стене, где лиются легчайшие лилии, и отнесясь, как дубовый бочонок под желтый буфет, он наткнется; и деревянные массы ответят в сквозном передроге стаканными звонами.

— "Ах: все напутали!"

— "Шли бы вы прочь!"

Папа, павши, подпрыгнет и кракнет, распавшись на брусья — беспомощно, перебегая испуганно переглядными глазками:

— "Ах-с, в самом деле-с..." —

— вы ждете: в бочонке закупорен слепок пролипших сельдей, или гроздики винограда, осыпанные отрубями; а выпадет: —

— мягкий малиновый выливень милых муслинов, прекрасных муаров и ярких пожаров арабской материи; вы — удивляетесь: —

— вылеты в

гущу забот направляемы нормой практической философии стойков, которая — в диогеновой бочке²; ее заклепали в дубовые формы и в широчайший пиджак, надуваемый суетой поныхов: —

— и горошиком прыгают пальцы; из-под жилета покажется хлястик сорочки:

— "Да вы подтянитесь!"

Подтянется; и — обнаружится прежнее: хлястик сорочки; так прямо отступит он хлястиком в свой кабинетик от гущи забот: в беззаботицу... интегрального исчисления... —

— Да, в диогеновой бочке сидит "с о д е р ж а н и е": солнечным танцем и солнечным рдяцем; и бочка грохочет, а Диоген в ней невидим; из кракнувшей бочки он выпрыгнет вдруг с фонарем; и забегает в переполохе нежнейшими глазками:

— "Где человек?"³

Глазки кажутся малыми жуликоватыми мышками; грохотно раздается из гущи лишь "урч"* повседневности: так вот в животике: —

— сверху ауха-ет тоненьким плачем:

— "Ааа-ууу!" Этажом же пониже, как уркнет; и "у р ч" перекатом пойдет: сверху донизу: справа налево!.. —

— Уж пучится прочно за облаком облако; в пучень немых дымоглавий прокатятся в мае громовые тучи; блестят обливные зеленые крыши; и — вот самолетный пушок подвился; громобойная улица охает; знаю: стрельнет очень скоро в окне легколетная ласточка...

.....

Папа проходит украдкой, на цыпочках, горбясь без ропота от неудобств, им несомых, весь в шуточках, детских и блещенских; он — изгоялся из комнат; стараясь быть равным (профессор — с профессором, с дворником — дворник), он низился на полукорточки перед носом; и оттого-то все "цыпочки" мерили папочку сверху с надменством:

— "Он — ниже!"

И папа подпрыгивал тут, шибанувши, — нахала, профессора, пшюта⁴, министра! Не поняли этих эзоповых выступлений в домашнюю жизнь: бичевать предрассудки стоическим смыслом, слагавшимся от сокращения знаменателя и числителя дроби забот, и являющего новый способ, как, например: — с п о с о б чистки картошки: —

— "Во-первых", — сгибает мизинец, долбѣжит, подбрасывая слова перочинным ножом с очень громким прошарком, — "картофель, да-с, да-с, очень трудно же было, поверьте, перевести в Старый Свет..."

— "Во-вторых", — загибает с поклоном второй, безымянный он палец, — "его очень трудно-с, вы знаете, было ввести среди нас!"

— "В-третьих", — сломит зачем-то большой, ногтеватый свой палец, оставшись с третьим и указательным; и приподнявши двуперстно над кухонным чадом рукой, как раскольничий поп, Пустосвят⁵, он проходит громами по кухне...

— "В-третьих же: надо пройти от кремневого века к железному, чтобы дойти до ножа, Афросинья; соединенье ножа в деле чистки картофеля есть, Афросинья, итог, интеграция очень сложных вопросов культуры". —

* Заимствую слово у А. М. Ремизова.

— пойдут тут "а х а х и", пойдут тут "а х ó х и"; и вся многопарная кухня ударится в слух: Афросинья, Дуняша и я —

— втихомолку ташу я свирепую редьку: свирепая редька! —

— А из заслонки огонь побежит грешками; и треснет полено; дымком замутилось оно и слюной заплевалось; и шишно запела, кружась, световая неясность; везде на полу разбросали подсолнухи: значит, сидел тут Антон; и Дуняшу обхватывал; были тут фырки и брыки; сидела поодаль на стуле знакомая баба, — бабино; это толстое очень бабно называли нахалкой (похабная бабица!); знаю: бахалда-нахалка бахорила⁶ сочные чмоклости; да, и она разевала теперь желтый рот; и сидела грудасто и прела мордасто, распучив бебеху⁷; засалилась желтыми досками. —

— Папа, не видя насмешек, матáсилсЯ⁸ над Афросиньей и алалуил⁹ свое:

— "Чистка этих картофельных клубней есть, так сказать, интеграция действий; а вы — не так чистите..."

— "Ай-ай-ай-ай": разве можно так чистить?" — стремительно (действия папы стремительны) вырвав каурый клубыш из руки Афросиньи, давнув между пальцами, так что, подброшенный в воздух, картофель упал, подобрал его с полу, расставил он ноги; и... и... —

— по всем правилам очинения

карандашика, сам он зачистил:

— "Так-так вот... Не от себя, а к себе..."

— "Барин!"

— "Я говорю вам: очинивают карандашик, картофель, — вот так: таким способом", — грудь, как меха, выдувала огонь из ноздрей.

— "Барин!"

— "Да-с: есть свой способ на все..."

Я подметил, как баба стащила моркву; папа вышел из кухни; и все заказáкало, все загагакало: дружный г а г á к доносился; а папа перипатетиком¹⁰ громко, дубасо шагал в коридор, ропоча, что метода очинки картофеля — да: рациональная-с!

.....

— "Где человек?" — восклицал Диоген.

Отвечало пространство: потуленным "иком".

Явись Диоген среди мраморной курии Юлия (папы)¹¹, Моро¹², или Эсте¹³, среди Леонардо-да-Винчи, расшитого, подвитого и в огненной тунике, женоподобного Рафаэля, Лоренцо, иль Валле¹⁴, иль Поджио¹⁵, — произошел ли скандал в благородном семействе столетия; и разразились бы хохотом, как разражались смехом на выходы папочки, хлястиком вверх, в ритуалы домашних забот.

Папа не был в пятнадцатом веке; поэтому был он грубее, как... грек; но он был здоровее; не с нежной жестокостью Борджио¹⁶, с грубой, аттической солью невинно выплясывал он на паркетах свои "к о з л о в а к и"¹⁷: один "к о з л о в а к" удавался особенно — с "музыкой"; думаю: папа, шутник,

это зрелище строил нарочно, чтоб нас позабавить (он — скрытен); разывал зрелище он, как по нотам: бывало я вижу: —

— в столовой над шахматным ящиком, чавкает чаем, передвигая слова, как фигуры над шахматным ящиком, — очень скуластый, мордастый, скорей коротышка, но: прыткий и кидкий; он кракает крепким крахмалом, перегромыхивая словами, как пешками в шахматном ящике; мама люлюкает звуками над белозубием клавишей; папа мешает — словами и "ч á в ч а м и"...

— "Вы, Михаил Васильич, не слышите музыки: слышите шум? Ну — признайтесь"...

— "Нет: отчего ж!.."

Он слышит — военные марши; и — Глинку; порой буравéчит себе он под нос дергачи козлодером; и слышатся бúrды ему вместо Шумана; вместо Бетховена просто — "бехтенъ" какое-то там; но с задором поднявшись, он тарарахает:

— "Все композиторы бедны мелодией; выдумки нет: я бы — выдумал..."

— "Ну-ка: попробуйте?"

— "Что ж, отчего ж?.." — И, поднявшись от шахмат (играл он с собою самим), гнется с громким пыхтением на табуретик, весь серенький, выделяясь на черном изысканном лаке пианинной доски; и над ним бронзовеет настенник. Нацелившись пальцем на ноту, — он бацнет: на ноту.

— "Ну, дальше?"

— "Бац, бац!"

— "Ах, чудовищно!"

— "А отчего же-с: не плохо!" — и ухнувшим гудом, и бухнувшим дудом бебанит бабом, бабунит пумпяном: напомним он звуками то, что порой происходит в желудке, где —

— что-то отдастся упавшим бурчаньем, где "не кот орррые", которые катятся книзу, напоминают таинственных некотороррр-

-ррр-

-ррр-

-ых!

Папа встанет над ломберным столиком; бьет, точно в спину негрота, покрытого лаком, своим самословьем: —

— таскает везде кабинетик; притащит и — расставляет, как ширмочки.

Нет: он — гвоздебиец; по клавише бить не умеет. —

— А выветрень дыма несется в совсем самоцветные окна; и черная скромница, тень, приседает; покровные дали устали; и стали закатом; и там красноглавая туча — двуглава; и вот, обезглавлена: плисами плющится; веет проносною ночью; и — поднялась: семиноги теней руконожем дней; не отвертима: всем предстоит разговоры с неделей; "т у к" — чешется лапкою ужас: разводит в передней пахучую псину; из коридора опять многолапо косматые страхи бьют запахами метанов и запахами пептонов¹⁸.

Хватающий страх побежал с того места, где папа отбацал.
Боюсь я папочки: грозен бывает он.

.....

Демон Сократа¹⁹, неслышимый Леонардо да Винчи, живет в нем; и из него выпраждает тончайшую атмосферу — не выливень мягких муслинов, малиновых плещущих плисов, а содержание —

— жизни духовных существ, обоснованных им же впоследствии в малой брошюрочке "Монадология"²⁰, отданной в философический сборник по просьбе покойного Грота; "Монадологию" он проповедовал в комнатах. —

.....

Раз он рассказывал сон — пресерьезный.

— "Да, знаете..."

— "Видел я сон".

— "Прекуррьезный!"

Развесистым, широконоздрым лицом он приставился к слову, которое подавал осторожно, как очень пахучее блюдо из яшмовых²¹ ягод, стараясь не разронять, но показывая, что — шутит: "Да, знаете, видел я сон — прекуррьезный" — повеяло мне ветерочками, веяло мне благодатями.

— "Сон — прекуррьезный" — взвинтил он наддернутый нос как-то наискось, снизу и вверх; и — ноздрил добропыхом.

— "Конечно же-с, сны — сны, нда... все-таки есть сны одни, и другие... т а к и е", — сидел, как вдыхающий запахи липы, в блаженном разморе, помахивая под носом, как будто уже мы в Андреех-Наливах²², во днях, где озимые ходят наливом.

— "Как будто я вижу во сне, что поставлен Касьяновский, знаете, столик, дубовенький", — произнес он очками. — "А на столе — земляника", — подпрыгнули брови его, и свалились очки, и расставились руки.

— "Со мной — незнакомец с таким симпатичным", — разъехался он доброщеким лицом, — "симпатичным и честным лицом; и мы — кушаем ягоды".

— "Я принимаюсь ему излагать очень спешно основы "Монадологии", — вовсе не лейбницевой, а моей: пункт за пунктом", — откинулся он, посмотрев на багет, и сидел в большой нежности — так: ни с того, ни с сего; и — сконфузился словом.

— "А незнакомец, взяв ягоду, выслушал очень внимательно первый мой пункт о монадах. "Да, знаете, — мне говорит, улыбаясь: — я с вами, Михаил Васильевич, согласен: вот именно, именно; определение вами монады и просто, и точно, и — главное: передает суть вещей". — Перешаркнул ногами под скатертью папочка, голову низко склонив, представляя нам жест незнакомца; сидел и дышал... Да и дернулся весь через стол карандашиком:

— "Я ему — пунктик второй!"

Оборвался в изморе и нежности; и — весь откинулся.

— "Он мне и тут": "Я согласен: вот именно!"

— ”Вдруг понимаю я тут”, — почесался, — ”э, э, да я где-то уж видел сообразительного молодого философа”, — и растарщи́лся глазом от... страха, хотя и старался прикрикнуть всем видом своим. ”Ничего-с, ничего-с, успокойтесь, Михаил Васильевич!”

— ”Э, э! Эти кудри, борода — э, э... Ти-ти-ти... Да ведь это... Христос?.. Вот так штука!”

— ”И я ему пунктик за пунктиком. Я ему!”

Встал, протянув свою руку.

— ”Он — встал. Он — сказал: ”Да, я с вами согласен!”

— ”Тогда я ему”, — тут задетился папочка, косолапый и шуры́й от нежности: — ”Мне ужасно приятно, что вы, так сказать, Мировая Монода — Центральная, знаете ли”, — надавил он, — ”и высших порядков по отношению к нашему, что, так сказать, принимаете...”

— ”Поцеловались мы с ним!”

— ”Я ему говорю”, — шелкнул пальцами, — ”я — говорю: только, знаете ”Отче” вот ”Наш” — безусловно монадологично, не спорю, а — все же”, — принялся курносо над пальцами загибать точку зрения, — ”следовало бы, во-первых, слова ”Отче наш” заменить выражением”, — и на минуту задумался, и забасил вдруг восторженно:

— ”Так, например: ”О”, — басил он, — ”Источник Чистейшего Совершенство”.

Остановился.

— ”Иль так, например: ”О”, — опять забасил, — ”Абсолют, так сказать...”²³

Вдруг совсем удивился — до крайних пределов, почти... до досады.

— ”А он мне на это: ”Да: вы бы, Михаил Васильич, — без т а к с к а з а т ь: ”О, А б с о л ю т”, а не ”т а к с к а з а т ь, о Абсолют!” Я ему: ”Да помилуйте, что вы, да разве...” А он — удивление, боль и досада теперь написались над папиным носом, под папиным носом — ”А он...”

— ”Он, представьте — исчез!”

И свирепо развел он ладонями.

— ”Вот так история!”

Гулко пошел разводить дуботолы ногами по плитам паркета; и мне показалось, что тетя — живет, бабуся — белявица, мама — совсем ароматница; заананасились духом мы все; а в открытые окна прошел ветерок от Небесной империи²⁴, где возложили китайские канфы²⁵; так небо накрыло нас всех головою своею; наверное, папа, — крещеный китаец!

.....

— ”Лизочек теперь веселится у Усовых: я, вот, — куда уж: такая несчастная, жить я хочу; а нет жизни”, — бывало печалится тетя.

А папа на это выходит таким лоборогом, подкидывая тупоносые ноги, не подгибая колени, засучивши руки за спину: не клонится ухом, но слушает духом, закрывши глаза и стараясь попасть нога в ногу.

— ”Да полноте вы, Евдокия Егоровна!” —

— и начинает теперь из него погрохатывать: выльишем слов, выдыхаемых; грохало свежестью света; срывалось ясным разглядом; и — зажигало закаты; везде по столовой кидались блестяники; грохало в нем, прорезаясь в черточках всей несурзной его головы, как-то косо сидящей, малиновеющей как-то не цветуще устами; лазерным взором выхватывал он из себя уверения в том, что достоинство — да! —

— человека — огромно, что...

— "Знаете, Евдокия Егоровна, вы ведь — вселенная: пересечение монад; а монада есть мир!"

— "Что вы плачетесь?"

— "Э, да смотрите бодрее: ходите с высоко приподнятым лбом!"

И заходит с высоко приподнятым лбом, бело-розовый весь, белосветый, на толстых ногах, — по годинам, заглядывать в смежную комнату, точно в грядущую эру, где —

— да! —

— Евдокия Егоровна, знаете ли, наконец обретет вновь уверенность: перенести свою долю!

И, раскидавшись ладонями, он собирал в доброемное лоно сырой материал переплаканных слов, превращая его, как господь, в бирюзовые ливни, в перловые ясности; точно какой синеокий, бывало, придет к нему в очи; и — духом исходит на нас: на паркеты квартиры, напоминая Сократа, пред ядом²⁶; и припадает всем корпусом к стулу; и — шепчутся: бабушка с тетечкой:

— "Вот — человек!"

— "Золотой!"

— "Бриллиантовый!!!"

Видим: со срезанных тучек слепительно брызнули светом: края, обода; вот уже — напурпурились, напепелели, намеркли; стеклянное небо, превысься, ушло в безнебесие; снизу ярчела полоска: китайского шелка...

.....

Мне ведомо: "силы", в нем жившие, после паденья с великого в грохот смешного, невидимо ширились пальмами света; и — "рай" поднимался: густой атмосферой; гласила и мама; с огромной серьезностью:

— "Да, Михаил вот Васильевич..."

— "Что?"

— "Да он — "сила"..."

Так в слабой потусклости кабинетика, серо-зеленого, серо-кофейного с прорезью ярко-оранжевых бликов (от лампы) таилась мощная гамма персидских пестрот, выгрохатывающая гласом Духова дня²⁷.

Да, вот такую мне чуялась "сила", лучимая им; и — да: "некоторые" — пенаты²⁸: меня пронцают; квартаи пронизана ими; струят стены — ток; этажерки, столы, кресла, стулья стоят в неподвижной грозе, — заряженные; если бы знал "электричество", то я сказал бы,

что лейденской банкою²⁹ папа поставлен среди комнат: о, о! Не касайтесь шарика банки: укусит! О, о! Не дразните: стрельнет он иглой (шаровая поверхность его головы походила на шарик от лейденской банки); и г в о з д и летали; и воздух квартиры, каким его помню, — "гвоздиный"; —

— широко-плечий, короткий мой папочка был, как... большая чернильная банка...

"Некоторые" (элогимы!)³⁰ сидели глубоко и молча; столкнувшись с подлостью, грохали "бацом"; и взрывкивал, как... на Делянова³¹, на министра, в гостинице, в номерочке, куда он сложил чемодан по приезде своем в Петербург, где унизили папочку коридорные слуги, которым казался он жалким (он с ними шутил), — до минуты, как подали карточку в маленький номер: министр просвещения приехал с визитом; и папа подшаркнул министру; и подал приветливо руку ему; чрез секунду уже он заерзал на стуле и, полусдержнув настольную скатерть, вдруг ерзнувшей в воздух рукой, — он упал на Делянова "б а ц а м и":

— "Как же вы, батюшка?"

— "Эээ?"

— "Э!"

— "Оставьте!"

— "Да полноте; полноте!"

— "Да уж куда тут!"

— "Эхма!"

А как отбыл министр в министерской карете, пред папой все — в вытяжку!

Папа кричал: на студентов, доцентов, профессорш, профессоров, литераторов, болтунов, либералов, министров; и в "сферах" его уважали: —

— я "сферы" себе представлял "космосферами"³², не отвердевшими в шарики: шарик земной — отверденье такое —

— его сослуживцы и робкие жатели рук (уважаемые и "жаемые") после туда проходили: в министры; а он оставался "деканом", вертя как угодно колесами, —

— (о которых я думал, что это колеса... какие-то... Иезекиилевы)³³ —

— факультета! —

— Да, да: в "космосферы" его не пускали, боясь, что завертит по-своему он "космосферы" такие, —

— так точно, как вертят скрипучею ручкой кофейницы, или как вертят хрипучей шарманкой, взгустнувшей Травиатой³⁴ —

— представилось: —

— верно, он в форменном фраке заводит тягучие арии: в университете, на дворике, прямо под окнами Марьи Васильевны Павловой³⁵, ей приподняв котелок: —

— и ему из окошка она, прямо под ноги, бросит медяшку, ее завернувши в бумажку: там папа "всем" вертит!

Но "сферы" не любят, чтоб ими вертели; они не даются; а папа вдали проживает от "сфер": —

— наконец представление "сферы" окрепло: оно —

— полый шар, изнутри освещаемый светом; туда пропускают невидимый дух — из кишки; и вот — дутая "сфера"; попасть в нее можно: для этого надо протечь из кишки, превратиться в "отсутствие" (там все — "отсутствие"); папа присутствовал всюду; и в "сферу" пошел бы просунутым хлястиком, не подтянувшись и выпятив прочный живот: все бы лопнуло, так, как пузырь, световую блеснув оболочкой... из мыла; —

— для папы такие надутые "сферы" — пузырьки: он надувал их из мыла, забавя меня; выдувал до меня: выдувал из огня; и смотрел, как летают; и тыкал в них пальцем; иные из них отвердели; и — да: на одной мы живем (земной шарик есть "сфера"): —

— и папочка наш, выдувающий шарик — земной, вызывает во мне восхищение и трепет; он — строит "миры", опускаясь, где нужно, на них и блуждая там "спутником" из Андерсеновой сказки³⁶, не узнанным теми, кого он проводит до цели, — с огромным зонтом, с котелком, сбитым чьею-то злою рукою на лоб; повстречался он с нами; и, нас доведя, он покинет, махнувши прощально рукою по воздуху: —

— нас он покинул: прошло восемнадцать уж лет³⁷, как ушел он себе: в световые свои космосферы! —

— я знаю: в веках перережен он многое множество раз; посетил Авраама³⁸; отклонялся: нет его! Но Авраам исполняет завет, потому что он знает: появится папа: и — спросит отчет: —

— и боюсь я: худыми поступками явно желтеет моя малокровная жизнь: мышьяковая зелень в глазах, под глазами! —

— он после уже, не замечен никем, проживал на квартире, в Содоме³⁹; и так же, как мы, содомляне глумились: он — тихо, покорно сносил: —

— ("Михаил наш Васильич — да, да: человек без характера; он — кипяток, он — горячка, но — тряпка какая-то")! —

— Мама не знает, в чем "сила": я — знаю: —

— и держит сокрытая "сила" меня.

.....

Знаю: я заключил с ним завет; на Синае⁴⁰, коленях своих, передал содержание двух книжечек (малой зеленой и малой лиловой: то — Ветхий и Новый Завет); если я, уподобясь евреям, заветы нарушу, последовав зову кричащей мне мамочки (— "Котик, сюда: не смей слушать отца!"), если я убегу за альков сотворять с ней тельцов⁴¹ из конфетинок, ленточек, бантиков, пряжечек и эластичного китова уса, корсетного, буду потом я охвачен паническим ужасом; будет не "г в о з д ь", а — почище "г в о з д я":

Будут громко разбиты скрижали "з а в е т а"⁴²

О, нет, лучше уж быть заушаемым, мамой терзаемым; что ж: христиане терзались; и львы выпускались из клеток; так я: запираемый папой в немой кабинетик, как в клетку, — учусь; он — уходит из клетки; в открытую дверь пролетает рычащая мамочка, львица; но то — испытание; львица — личина, подобие, все-таки: "символ" пребольно дерется; но "с и л а" завета — со мною; и с мамой я не иду пировать по-язычески: я отвергаю рукой шоколаднику Крафта, прижавши сухую, немую скрижаль: буду "с и л о ю" я!.. —

— Потому что я видывал "с и л у" огня, потому что я слыхивал звуки "г в о з д я"; и мне ведома участь Содома!

.....

Он снял там квартиру, выказывая смехотворную слабость; чудаковато, рассеянно он вычислял вместе с Лотом⁴³, талантливым молодым человеком в очках, проводимым сквозь строй содомлян: к "д о ц е н т у р е"; и содомляне кричали, как мамочка:

— "Нет, он воняет трухою!"

Но Лота он вывел; и снова вернулся к себе: и бросали в него очень тухлые яйца, воняющие пептонами; он же, в открытую форточку выставив "г в о з д ь", как зарывал, устроив мгновенно им Мертвое море⁴⁴; и перенесся он в Грецию, претерпевая невзгоды от очень строптивой квартирной хозяйки, Ксантиппы⁴⁵; там, выпивши яд, появился в шестнадцатом веке — заплатанным странником: с тем же огромным зонтом, с котелком, в сюртуке-лапсердаке; стучался под окнами; встреченный, тихо садился за стол, принимался рассказывать так же, как Доте, — "М о н а д о л о г и ю"; тут незаметно он путался, видя упавших надеждами; и пересказывал личные впечатленья событий, происходивших при... Кесаре Августе⁴⁶ и при Понтийском Пилате⁴⁷; он там, притаясь за обломком, не видимый вовсе Марией, но — видимый Им, —

— от Него непосредственно получил указания, как поступать и что делать, — в тысячелетиях времени; тут же, пройдя по векам, напрямик, перерезав большую дорогу, явился звониться: к нам в комнаты, — с очень набитым портфелем, набитым "Заветами"; ныне — невидимо служит и тайно всем нам образует: —

— он встретился с мамочкой: мамочка, бабушка, тетя и дядя уже голодали, когда растранила бабушка "в с е"; двадцать три жениха, как собаки, сидели вокруг,

предлагая жениться; но папочка вырубил, выведя мамочку под руку и приведя ее в дом Косякова (а женихи разбежались) —

— и мамочка знает: "в се" знает; и знает, что папа позволил себя ей ругать, но... до... до...: до "гвоздя"; до "гвоздя" и ругается; и водворяется после "гвоздя" величавая строгость и ясность "простых отношений": зеркально, хрустально, как в день мироздания! —

— если преступим мы "гвозди", обворуются вновь "красные лилии"⁴⁸, и — Мертвое, горькое море откроется в комнатах тотчас.

.....
Вращается веретень дней: в тень теней!

ОМ¹

Рай — блестяник.

От веточки разойдется разрывом; звездует; и — хвост изольет; и кометой прокапают перья; и — фукнется крыльями: —

— райская птица! —

— А то из огней и теней прокипит полосатость; и — рыкнет: то — тигровый зверь, нареченный мной тигром за игры теней и огней, образующие световую его оболочку: "тигру"... Вот —

— древесность поднимется вверх крылопером; в середине надуется Диск, выгибая двукрылие и опадая дождем светорозовых перьев, ему образующих тело: —

Оно разорвется и — — — — —	Разорвется Он грудью и вы-
выбьет огромный светящийся	бьет Мечом; пронесется Лю-
гейзер, стрельнувший столбом,	бовью: Огнем, как Мечом,
как Мечом, в мировое	в мировое
Ничто! —	— во Все!

— Узнаю, что тот Меч есть —

Архангел; зовут Ра-
фаилом² его:

Рафаил
Звук
раз-
ры-
ва! —

— Да, Рай есть блестяник! —

— Де-
ревья схватились развесистым склянником, ясным сквозным серебря-
ником в тысячеветвий Светильник, пронизанный золотой теплотой ка-

нители и красной светлицей; все, что ни есть, прохватило себя световой канителью; все — нити и бусы; цветы, как фонарики; и не плоды, а шары разрезвились искрами, играми: тиграми! Издали, где началось Семиречье³, — пальмовый лес забывает расплавом кораллов (стволами) и движется кронами светоперых пальметт, образующих задышавшее, пестрое, полосатое небо: —

— да, в Персии эти цветные ковры — оплотнение древнего неба: из Персии видели (издали) иллюминацию с Тигра; летающий фейерверк Рая; туда Заратустра, быть может, — порой приглашался!..

В тверданистых лабрадоровых почвах, пьянея, пенет Евфрат, ударяющий бисером в берег; а Тигр — колобродит: в крутой Лабрадор⁴ (где-то издали); над Лабрадоровым комом, приподнятым выше небес, разорвет, — будто трубами: бубнами:

— "О!"

— "Ом!"

— "Мирамма!"

И — повторяется: "Он, мир, — Брама"⁵. И пишется: Махабхарата⁶: —

— я уплотнил в продолжениях жизни
моей подымавшийся звук: —

— "Ом-мир-мира-ам-амо!" — — "Не и з р е ч е н н ы й мир, дивный, — люблю!"

— "Амма-амо-мам-мама!" — — "О, кормилица, любя: ты — мать материи!"

— "Рам-рама-брам-брама!" — — Герой, посвященный, — как бог!"

— И мы тут распались на возгласы, и собирался из возгласов возглас ответный:

— "О!"

— "Ом!"

— "Оммирамма!"

.....

Мы знали: идет Оммирамма по саду — Невидимый; помнится —

— видим состав из Светильников, скрещенных, бурно взрывающих пламень, в котором он ходит, —

— и пламень, как Куст⁷, полыхается, в выси; отсюда, из Свешников, он разливает перловую бороду (а водопад бороды называется богом); свергаются в горсти подставленных нами ладонк кипящие образования, а с т р ы (иль звездочки); а с т р ы влагеам мы в бурю светелицы; и канитель собирается в тело: в астральное⁸; так образуем кругом Животы, иль животных; то акт нарицания.

Бородяной же Поток есть собрание Светочей, или Начал: Борода, излитая Потоком, — Начала: Времен.

Показывается изредка световое двуперстие в Свечниках; и — происшествие странное, странный Состав из Светильников, движется: далее!

.....

Это и было живое прохожее Древо, плодами которого были мы сыты; Коллегия Свечников, или Начал — Времена; они — круг. Но отпала одна из Светилен, Дикийри⁹, — светильня Состава, заползала палкой подсвечника; выставив свечи, как роги, присвоивши имя огромного круга Начал: так явилась Змея — бесконечное Время, начало свое потерявшее; это "начало" осталось в Составе Начал.

Очень скоро Дикийри распался на Дия и Кирия; так появился в раю самозванец, себя именующий Дивным Владыкою: он научил нас отведывать звезды потока, которые в горле у нас оплотнели, как грешные яблоки: —

— помню, как, бурей меня выметая из рая, неслась канитель золотая, когда-то святая — неслась, облетая: среди почв и земель, близ Тигра, куда я излил все рабочие поты свои: так развел я близ Тигра просторы болотистых местностей с "culex'om"^{*}, заражающим малярией меня: —

— ах, спросите, пожалуйста, месопотамца: здоровы ли местности Тигра; почешется он под тюрбаном, сконфузаясь:

— "Не очень, саиб!"¹⁰

.....

Занимаясь сложением каменных, твердых столбов, из которых сложилось потом Вавилонское наше плененье¹¹, не очень-то я...; впрочем: было пока еще сносно: —

— пока патриархи водили, я понял: они суть Отцы от Начал, или "папы"; я их разгадал: патриарх — перереженный Свечник Состава, завернутый в ризы: как старый, рождественский Рупрехт¹², напялит седую, кудластую бороду, солью осыплет ее, чтоб блестела, приставит к Безличию нос (из картона) и, облакаясь в виссоны¹³, торчащие золотыми горбами, как у священника, он выдает свою жизнь лишь концами воздетых светильных огней, — то зубчатой короной, а то бриллиантовой митрой, напоминающей митру вселенского патриарха; и ставит на тумбочку чашу: с заветами, нам объясняющими период явления его; —

— Патриарх открывает период, проводит; потом у порога другого, становится вдруг он "Енох'ом"¹⁴: берется на небо, оставив: пустые виссоны, огромную бороду, нос!..

Ныне водит нас папочка; Мафусаил¹⁵ водил прежде; водил Авраам; поведет... кто еще? —

— Так открылося, что патриархи — "Енохи"; Мафусаил был — "Енох"; Мельхиседек¹⁶ — то же самое; то есть, которое в небо берется живым, облачась при сошествии с неба на землю в почтенные, патриаршие, стариковские — ризы и раки¹⁷: —

— да, да: "старики" образуют союз; "старики" твердо знают, где раки зимуют: зимуют на небе,

^{*} Комар (лат.).

где все старики, образуя одно "стариковство" — бормочущим рокотом выгромыхивают заветы; и пшамкают святости; слов не слышишь: —

— но слышишь: сплошную невнятицу, шепотом выговаривающую беззубо:

— "Бфф!"

— "Бфф!"

— "Бэф, бэф, бэф!" —

— в перекатах, где —

— не-ко-то-

-pp-

-pp-

-pp...

Некоторые, которые!

В папе — "они"; и "они" есть лишь "он": электричество, патриаршество, "некоторые, которые..." — в папочке: —

— папочка — тоже Енох: подвязав себе бороду и подвязавши живую лягушку, свой нос, — из-под носа

"е но ш и т": священным заветом! Он — в утреннем, сером халате, обшитом малиновым плюсом, с кистями, с малиновым плюсом обшитыми рукавами, напоминающими патриаршее одеяние, — вкладывал в грудку мою роковые познания эти; испуганный тем, что в столовую часто врывается мамочка, стал запирать по утрам в кабинете меня и рассказывал походя мне, умываясь и фыркая брызгами, про патриархов, навеки связавших нас с ним, священнодействуя перед краном, стуча зубочисткою в жезл рукойойника, за которым на стенке, я знаю, висел и танственный "гвоздь"; все деяния папочки напоминали деяния архиерея, в сверкающей митре посередине сверкающих заиконоставных простанств — над престолом, скалой Лабрадора; "е но ш и л" он носом и воздевал рукава над фарфоровой чашею: умывального тазика; и из прищуров, мокреющих, широконосого лика, — гласил:

— "Да вот, Котенька: тут..."

— "Братец мой!"

— "Тут: Авраму явились странники", то есть опять-таки "п а п ы"...

— "Явились, сказавши: Аврам, будешь ты — Авраам!"

— "Знаешь ли..."

— "И родишь, знаешь ли, — Исаака!"¹⁸ — меня!..

А когда доходило до жертвы, то мы упирались естественно в гущу семейных забот, потому что моею домашней заботою была именно, — жертва: достойно возлечь на огромнейшем камне, чтобы достойно быть закланым: мамою!

.....

Вижу я сны, будто папа уроком венчает на царство меня; он приходит с дарами познаний, как с чашею, переполненной драгоценным камнем, парчами и вкусными фруктами; он безглагольно стоит парчевым алтабазом¹⁹, стоит с ананасом, с апортом, иль гусевым яблоком²⁰, даже с антоновкой, духовым яблоком; днеет; и скатится звездочка — светленьким следиком, к утру возложат атласы, китайские канфы; природы, как древний китаец, древнеет проростами; и из Небесной империи веет в окошко лазоревым воздухом.

КРАСНЫЙ АНИС

Вечерами апреля идет голубое раздолье и алые зореньки; тучи — золотые; слагаются: в голубо-алое, в голубо-золотое, в золото-алое; август — лиловый; июль — серо-сизый, гнетущий жарюю; в июне: закат — золотильня, закат — золотарня; Маруся-заря, Златобровая, ходит по улицам мира; золотолеею дождики сеет она на Разваню; ползет Дадон¹, очень толстое облако: б у х а р и т бубнами!.. Грохотко!

.....
Майское утро; пастух, как петух, забехтит на окошко из строгого рога — от каменной тумбы Арбата; сквозь сон я расслышу бехтение: шесть! Колоколец коровы долдонит; к заставе проходят коровы: краснухи, пеструхи; на улицах очень нелюдко; лишь пустомель дворников гонится метлами. Сплю...

.....
Васильковое небо — с коричневым коршуном; коршун от неба на землю сигает — за крышу; захлопотали, расхлопались золотохохлые курицы; коршун — над крышей несетса обратно; и слышится папочка, куролесящий² куралесину; носятся желтые моли; а ходим на новых путях: по Пречистенке, Стоженке; тянет сквозь почки ласкательным маем; и видятся дом шоколадного цвета (здесь будет когда-нибудь штаб)³, дом Ганецкого да колоннада Мариинского института с глухой кавалерственной дамой Чертовой⁴ — глухой, а не пиковой; Кистеров дом; вон военный, оттуда выходит: сам Кистер⁵.
А мы возвращаемся: Левшинским!

.....
Были мы раз за Москвѣ-рекой: там за рекой приседает Москва, плотеня домами; там домики обставляют дома; вылезают домовины, каменно виснут домищи; и Кремль разордеется, ставя, под небо Ивана, свой палец в наперстке; золотожарней огромнеет Спас; колокольни, как пасхи; и башни, как... бабы: совсем, как закусочный столик?
Москва!

.....
По утрам мы украдкой бежим по "Завету", зелененькой книжечке: грехопаденье, потоп, патриархи, Египет, Синай, разделение царства, пророки, цари — позади; прикатилоя новое времечко крашенным красным яичком, закусочным столиком, пасхою, чмоком, и говором общим: "Воскресе, воистину!"

И каталажина⁶ грохотких, грохлых катанцев⁷ — в открытые окна; и то упраздняется бог, у которого — борода; начинается: сын человеческий, прежде меня пострадавший; и тем искупивший; и мне надлежит искупить; кто еще не искуплен?

Да мамочка!

Это рассказано папоу, вынута из лиловенькой книжки с калиновым солнышком новозаветного лета.

О мамочка, ангелица-белица, ты кажешься львицею, уготовляя чистойшую участь: помучить меня! И я мучаюсь мыслями, стоя под окнами: чисто ли, очищен ли; —

— а в васильковое небо змеярочка, змей из бумаги, как дернется, дуги рисуя, протянутой дерюзгой из мочала; но ветер спадает, —

— и —

— дергаясь тарантой⁸, дроботунит бумагою змей: обнаружилась желтая рожа над крышею!..

А за спиною жарит — от додонного тела, от парусинового лепетуна-пиджака: это папочка прижимает к груди; точно участь провидя мою, мне синееет глазами; пойдет златоискр, златосверк от меня, от распятого... мадам Горнунг, —

— которую пригласят из ее стрекоточного заведения для свершения всего этого: Котиково распятие, — эй, вы послушайте! — будет, когда, приготовившись, Котик подаст вам ладонки; и папа прорывкает:

— "Се, человек!"⁹

Под очками сверкнут два бирюзника: папины глазки; заплачет он?

Да, он заплакал, когда раскатался скандал; анафематила мама и била меня за ступление в Новый завет; папа это увидел; хохлатый, он яркою лицевою багровиной бросился, и дубобоко он вырвал меня, принапялил касторовый серый колпак¹⁰ с очень режущим ластиком мне на вихористый лобик и выпихнул силою; мы покидали навеки родимый вертеп¹¹; и бежала за нами собака-вавака; и — амкала-тамкала: Иродов воин!¹²

Мы бросились к первой пролетке; она тарарыхнула; папа накрыл меня крепким объятием; старое это моржовье лицо припадало губами ко мне, претяжолко выревывал папа, так жить не возможно; у нас — безысходное злобство; скопилось много: и псины, и зляны; пропсеть можно вовсе — в таком злообразии; —

— и тарарыкала это же самое выцветшим цветом пролетка, подпрыгнув раскоком под кумачовою занавеской, которая кинулась в нас пузыристо с окошка и под которою лопасть зеленого фикуса, точно приветствуя, переплелнулась; —

— а я отвечал, но не помню, что именно; так мы вступили в завет, на извозчике, для очищения нашего дома от псины и пыли; —

— но дернул сухой пылелет вереею крутимых бумажек, быстрее винтами; пошел ветродуй, ветрогар, ветросвист; снова дернулся змей из трубы в пылевое и слетное небо; но, зацепившись за сеть телеграфных столбов упдающей, яркой бумажною мордою, — дрябло повесился; —

— тут я подумал: да, да: я как лстец под словами, — змея под цветами; и мне захотелось: распяться... —

— бурели столбищи пылищи Девичьего поля; сквозь них была скачка на нас бело-серых и мраморных коней; блеснул позумент и простертые сабли драгун, этих мчащихся воинов Ирода, сделанных мамой, —

— там — плац для ученья; теперь же, за сквериком, клиники там!

Я не помню, что было у дяди Ерша, куда папа привез меня, битого: было — орависто, многосемейно; от капельно-малой постельки на коврик ко мне перевесился с кубиком очень назойливый Зоя, двоюродный мой братик, совсем обессиленный; я попытался его исцелить: — не целился; кругом собрались ротыши, сопляки — малыши; —

— Мы тебя "вздедерючим!".

Задумилось мне — на весь день; —

— раз я видел: Дуняша, проплюнувши гвоздик себе на мозоль изо рта, колотила по шляпке железкой, приставивши гвоздик к багету; тяжелую штофную штору повесили: —

— здесь на столе я возлягу; сперва все заадовит; знаю: задышит угарным своим газодуем душник; и откроется запах пептонов; и перетопами неизбежного выйдут из двери с ореховым крепким багетом, сломавши мне плечики; будет же шествие: через гостиную с "д о р и н о с и м ы м и ч и н и м и"¹³, с портнихою-стрекачихою, вызванной мамочкой, Каиффой¹⁴ моей, — с мадам Горнунг, которая прикалывает с белошвеями к детской, где стелется морок: —

— пространство — изболтано; время — оболгано; и беспричинно причинность чинит-учиняет законы; снимает иконы и дарит законы, где гонят погони — исконные кони; копытом копают по полу, и... —

— "Да минует меня сия чаша"¹⁵ —

— тогда носорога Горнунг, огромная, черная, в адовом платье (за ней — белошвей) является, руки свои протянув; и гагакают громко, как черные галки:

— "Распни-ка!"

— "Распните-ка"...

И — придушитикой: гнутым багетом! В сердитую тучу все сгнуло; злыднем прикрыло; моя Генриэтта Мартыновна — в слезь! Знаю, знаю: заадовит перед столовым столом, где разденут и будут смеяться над голеньким мною; и Горнунг, глотая слюну, пропластает мне ручки; велит белошвеям взмахнуть молотками: долдонить по шляпкам гвоздей молоточной железкой — к багету! Уже окровавится десятерник моих пальчиков; буду висеть на багете, давая свои наставленья Дуняше рыдающей — вплоть до иссопа.

В квартире профессора Помпула будет удар — растяжелый, дубовый; в расселину стен протопорщится Помпул, двухохлый и глохлый, свидетельствуя: совершилось!

Тогда: —

— небеса просветятся таким аксамитово¹⁶-синим; взлетят облака-бархатаны; —

— совсем персиканы! —

— И алтабазом, персидской парчою, обветритися небо, чтоб быть амиантовым, меркнувшим в золото-хохлое облако; —

— снимут меня: и двадцаткою демикотона с кровавою меткою "Елизавета Летаева" поскорей обернув, отнесут в сундучок, где упрятаны крупы, откуда раз вынули дохлую мышку; и будут сидеть

и молчать; кто-нибудь прикурнет к сундучку; кто-то скажется плачем над мертвеньким Котиком; а уж по комнатам дилиндикает воркотун; и все — слушают:

— "Что это?" —

— Белобубенчики: я — воркотуню...

И все приголубятся; всем просяют: все свечи, все лампы, все звуки, все речи; и папа, поднявшись главою семейства, взволнованно очень поведает: — "Котик воскрес!"

.....

В этих мыслях провел я весь день у Ерша: о мучениях, мне предстоящих назавтра, я думал, пока за окошком не высветился студен-камень зеленоватый — из неба; —

— со двора видел я: —

— мокренький кустик — золотоносец какой-то; оттуда — воняет (и да: золотарь, да и тот не заходит сюда); были там златорылые свиньи; и — чавкали, чавкали золото; но по поднебесью бледно-синие шпаты¹⁷ какого-то лунного цвета уложены; —

— то — амианты¹⁸ —

— зензею зензеял комар: зазиньзинькал мне в уши; меня понесли на диван — зевачом. —

— Так запомнился вечер!

.....

Проснулся в руках Генриэтты Мартыновны: мама за мною послала ее: — "Kotik, komm!"*

Мама встретила, двери открыв, ангеликою: крыльями шали накрыла; и — плакала вместе со мною:

— "Мой миленький, маленький: ты уж прости, Христа ради!"

Я был, как воскресший; ходил в златомы зари и смотрел, как над крышным железом, распучась, торчали кипучие зеленодары из листьев: хотелось кануть в оливковый сумрак стволов.

.....

Будто этой весною воскрес, пребывая петленно (и ночью и днем) в событиях галилейской квартиры, пресуществляя ее очень грешную, очень арбатскую жизнь: —

— Иудея¹⁹ — гостиная; и Галилея²⁰ — столовая; выточнн, вйсенцы света лежат светославами на алебастровом бюстике, или — апостоле; с озера Тивериадского²¹, коврика, я протираю кисейную руку; от кресла лысеющий папа, зимарь, побежал по воде, — мне навстречу, подставив ладошки (такой дароимец!) за солнечным, брошенным зайкой; меня —

— уже нет! —

— Я прошел Галилею; я ножками меряю малый квадратик паркетного пола:

* Котик, иди сюда! (нем.)

— ”Вот здесь, вот на этом паркетике — будет сошествие Духа; а вот на этом оно — не свершится!” —

— Уже на одном — световит, светослав, светодуй! На другом —

— марамбрахи пыли!

.....

Одно неизбежное солнце упало на землю; садится на землю: садится за землю!

Другое, возбежное, явится утром: надуту, пурпурово; бегом пройдет; и — скажется —

— маленьким: вот оно, желтая блеснь! Вот малюсенький, яростно скачущий в глазках кружочек, мерцающий до-синя, после же: —

Старый закат — златоуст!

.....

Или вот, представляется мне: —

— Соберутся у чайного
столика —

— папочка,
— мамочка,
— бабушка,
— дядя и
— тетя —

— а Генриэтты Мар-

тыновны — нет, потому что она
лютеранка; —

— возникну

на столике я перед ними:

— ”Даю вам — мой мир!” —

— и простерши ладонки, на них покажу две багровины: выли (волдырики, пробитни); заотделяют от скатерти —

— под потолок! —

— где блесочусь я витечью света; сбегу огонечком над папою, мамою, дядею, тетею; я —

— надвисяю теперь, распайнный на пестрые пятна захожего света, на обагрения подоконников, —

— перед которыми скоро бабуся затеплит лампадку;
лампадка горит;
я — невидим,
неслышим, —

— как речь безглагольная; здесь по ночам проливаю лилею; и мама узнает свое благовестие в ней, когда, вспомнив о Котике, очень бессонною ночью опустится

в складочки спущенных штор; из-за складок склоню я свое ангеличье, свое серебрячье...

— И вижу я —

— папа венчает на царство меня: он приносит дары в дароносице²², передо мною стоит с парчовым алтабазом, стоит с ананасом, с апортом, или с гусевым яблоком, — даже: с антоновкой, духовым яблоком; и — утверждает:

— "К Андреям Наливам²³ — нальешься ты знанием!"

— "Будешь — плод зрелый!" —

— И то происходит в Ка-

сьянове, где я стою в колосьянистых сеянцах, в тимофеевых травах, в других ароматах. Уже золотянкою, нитью златою, затеяла баба-заря сарафан во все небо. Касьянов-распятель²⁴, хозяин имения, где мы летуем, проходит в свою ананасницу — там средь зеленых боскетов; и он есть маркиз с очень-очень нерусскою речью, которую уважают так все.

— "Не пора ли вас, Котика, — а р к е б у з и р о в а т ь: расстрелять а р к е б у з о й²⁵ моей?"

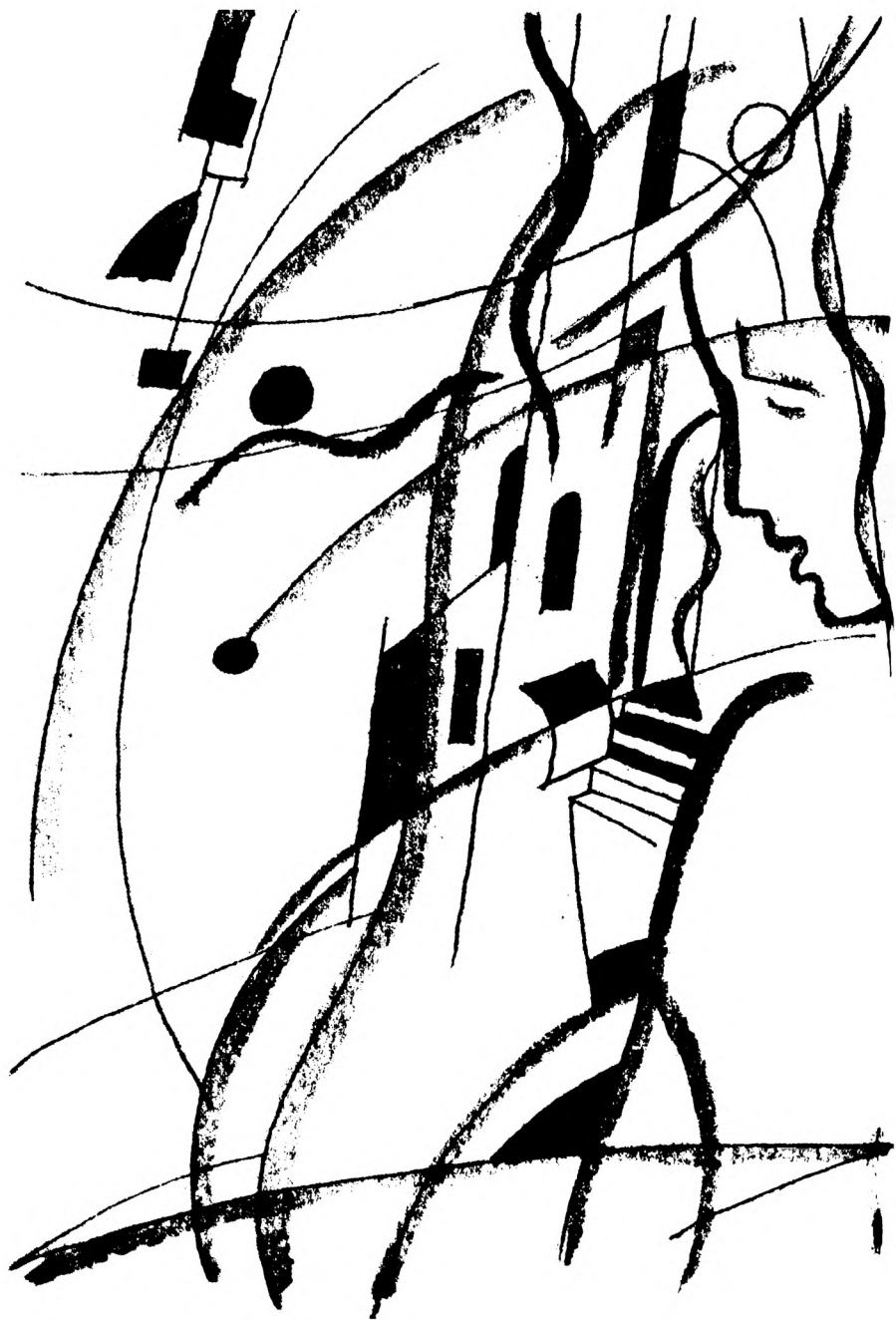
В ананасниках — раскаленная печь; выгоняются нам ананасы; туда, Даниил²⁶, я могу быть повержен!

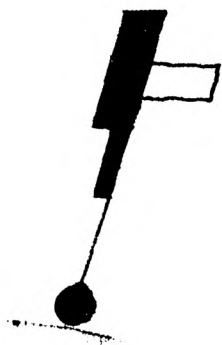
Я знаю во сне, что не здесь, на Арбате, мой крест, а в Касьяновских луговинах, в еланных муравичах, где, тихо журкая, брызжет еланный ржавец²⁷ и студнеет железистым, водным лазориком, где на заре — Назарея²⁸, где сивый старик на каличине²⁹ слепо жует а р ж а н у х у³⁰, наловив безухую и кругловерхую а с ь к у³¹, шапчонку, где зори, достойные бабы, надев сарафаны свои, з л а т а р и, приготовят на небо мой путь, как... Илье³², и где все угощаются красным анисовым яблоком.

Папа и тут восстает предо мной, гремит оглушительно:

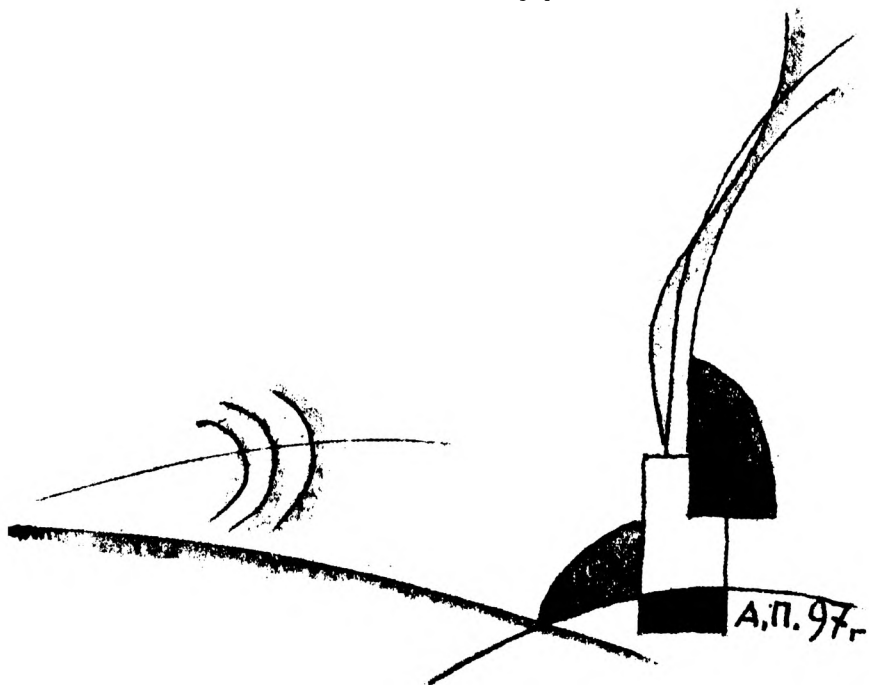
— "Будет — восстание красных анисов!"

И я просыпаюсь; и вижу в окошечке, скатится звездочка — светленьким следиком; к утру возложат атласы, китайские канфы; природа, как старый китаец, древнеет проростами; папа — крещеный китаец!





ЗАПИСКИ ЧУДАКА



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Э п о п е я есть серия мной задуманных томов, которые напишу я, по всей вероятности, в ряде лет; "З а п и с к и Ч у д а к а" — предисловие — пролог к томам: в ней берется лишь издали тема, которая конкретно лишь отчеканится серией романов; отсюда абстрактность и неудобочитаемость "пролога"; тем не менее в общей концепции я считаю необходимым его. Здесь следует оговориться. Герой пролога "Я"; этот "Я", или это "Я", не имеет же никакого касания к "Я" автора; автор "пролога" Андрей Белый; герой пролога — Леонид Ледяной¹; этим все сказано: Леонид Ледяной — не Андрей Белый.

А н д р е й Б е л ы й
Берлин, 2 января 1922 года.

ТОМ ПЕРВЫЙ

НА ХОЛМЕ

Я стоял на лобастом холме; надо мной розовела руина; зарели из зелени крыши домишек; там — Дорнах; там кряжисто стены бросали в зарю черепицу; там Бирс под горбатым мостом обрывал, клокоча, белоструи; равнина тянулась за ним; распахнулся отчетливо воздух; и синие гребни Эльзаса прорезались явственно; бухала пушка оттуда.

Два года ворчала громами на нас мировая война; воздушные светлы лучил просвещающий воздух; зарело: зеленоватое небо казалось стеклянным; лилово-багряные клочья летели; синились окрестности; брызнули звезды; остановился и — долго смотрел пред собой; знал, что — кану отсюда; меня призывали¹: как малое зернышко, должен был ссыпаться я в ненасытную молотилку войны.

Ухватился за Нэллину руку; и весь приник к Нэлли².

В плаще, разлетающемся белоснежными складками, в белой своей панаме, в легкой тунике с желтой столою³, перепоясанной серебряной цепью, играя кудрями, она прикоснулась к плечу своим личиком; и повеяло от ланит ее розовым воздухом; и фосфорически ясные два ее глаза, ласкаясь, сняли с меня оболочку мою, как легчайшую пленочку калькомани⁴, соединяясь с душою; но острые скорби снесли меня: моя Нэлли останется, я же бросаюсь в пространство, гремящие порохом, полные копоты, полные запахов крови; мы не жили с Нэлли в разлуке; и горе, и радость делили мы вместе; и пестрые страны бросались на нас — от побережий Сахары до ... гор крутобокой Норвегии; от горизонта вставал Южный Крест; за спиной опускалась Большая Медведица; вот — разлучаюсь я с Нэлли; я был, как слепой, без нее.

Уж темно; тускнел пролетающий воздух; и звездокое небо, казалось, садилось над нами; проглядные глянца остыли; и гребни Эльзаса, как в плащ, запахнулись в воздухе; лаяла сиплая пушка.

Тут Нэлли меня повернула; над купами в дышащих, пересыпающих блески, темнеющих небесах созрели синеющей силой — два купола; два гиганта, круглясь — из темнеющих высей, расширились ляпислазурами: от огромных массивов тяжелого дуба, гранитного формами.

Пересечение дуг, плоскостей, образующих мощные гранники — в хоры хоралов, поющих кристаллами дерева, и градация деревянных тонов, отработанных множеством острых стамесок... — вот-вот: Иоанново

Здание⁵. На заре эти гранные формы, покрытые воском, легкоперламутрились, а купола, вырастая в них, говорили нежнейшие речи из легких небесных отливов; чернели и входы, и окна бетонных подножий — сплошным лабиринтом колончатых ходов; и — бесколонных пустот.

Иоанново Здание было в лесах; на гололобый портал нахлобучили щит, и леса проступали чудовищной формы, напоминающие допотопные брони умерших животных.

Весною, зимою и летом — на сырости, в жаре, в прохладе, под едкими стрелами громкого солнца, в сырых бисеринках дождя, в хрусталях гололедец, в снежинках, в крутимой ветрами пыли, на площадках, внутри круглогранного зала, над пятигранной колонною — высоко — громоздясь на лесах пирамидою, ящики, забираясь на них, с риском рухнуть, сломав себе шею, но отдаваясь капризам стремительных линий, сшибая с них толстые щепки, врезаясь в глубь деревянной, свисающей массы на пятьдесят сантиметров и более, перепрокинувшись, свесившись вниз головой, а то вытянувшись и едва доставая руками до места работы, то сидя, то лежа, — поляки, французы, швейцарцы, норвежцы, голландцы, британцы, германцы и русские, жены их, сестры их (в бархатных перемазанных куртках, в заштопанных панталонах, в подоткнутых кое-как пропыленных юбочках, с закрытыми шарфами ртами от деревянной пыли) — мы работали, ударяя пятифунтовым молотком по огромной стамеске, для безопасности крепко привязанной к кисти руки.

До войны еще съспались пестрые говоры девятнадцати наций Европы: и разносило под куполом громкое эхо задоры и споры, покрытые стукотней молотков и крикливыми скрипами отбиваемых щепок; но из споров, самозабвения выявлялись отчетливо формы растущих кристаллов, гранимых, извилистых змей и угластых цветов, сопряженных в разбег, с места сорванных стен; печать мощи, окрепши, ветвилась нежнейшими песнями; сколько порывов вколочено в эти крутимые формами стены!

Воистину, глядя на них, можно было сказать:

”Вот — любовь”.

.....

Длился гул. Посредине пространства, под куполом — нет, на лесах, высоко над землею, склонясь к капители, смотрел я, бывало: —

— летели белейшие щепки в рыдающем гуде стамесок: направо, налево; и — вниз; напали стамески на мощные массы гранимого дерева;

и я, зарываясь стамеской в продолбину формы, я — думал: нам не осилить работы: срубить, прорубить, отрубить это все; и стояла вокруг — молвь наречий — английского, русского, шведского, польского, в визге хлеставших ударов; тащился согбенный работник с бревном на спине; вырисовывались из столба поднимаемой пыли угластые грани; и дзинкала очень часто стамеска, ударившись круто о гвоздь, переламываясь пополам;

я спускался в точилюню; антропософские дамы и девушки, с перемазанными в керосине руками, брались мне оттачивать слом; я опять поднимался наверх, чтобы прицелиться к форме; и снова:

— "Снеси эту плоскость; да осторожнее — не заруби..."

— "Тут вот врезаться до шести сантиметров".

— "Тут линия сходит на нет..."

— "Полтора сантиметра — вот тут..." —

— Казалось мне, что все прошлое миновало бесследно; там где-то при переезде из Христиании умер писатель⁶; и "Леонид Ледяной" труп былого; мой труп хоронили в России: Иванов⁷, Булгаков⁸, Бердяев⁹, Бальмонт¹⁰, Мережковский¹¹; не было никогда — Петербурга, Москвы; то — был сон, от которого я просыпался в веселую шлепотню молотков (в шлепотню молотков от создания мира); творили мы мир, высекая гранимые капители вселенной: Сатурн, Марс, Юпитер, Меркурий, Венеру.

.....
.....

Воистину: братство народов окрепло в живом громыханьи работы; над грозным потоком, залившим Европу, мы были вершиною Арарата в те дни; — знаю, если бы из ковчегов, крутимых волнами, принесся бы ток голубей, он вернулся бы из Дорнаха с юной масляною ветвью.

Я помню: мы с Нэлли стояли на склоне; я жал руку Нэлли; и Нэлли ответила шепотом мне:

— "Ты — люби. Не забудь".

И показала глазами на Здание. Здание занавесилось тенями.

В белоснежном плаще, задымив папироской, бежала, как струночка, Нэлли в кудрявые яблони, к огонечкам; и огонечки пошли вправо, слева от нас; там проживал Штейнер¹². Вон светится свет в его комнате; влево — наш домик, присевший под яблони. Мы проживали как раз против Штейнера; с нашей террасы, бывало, мы смотрим: вон — Штейнер проходит.

На перекрестке дорог — тот же все силуэт; черноусый брюнет в котелке, горбоносый, циничный, курия сигаретку, стоит, укрываясь в тени; там всегда кто-то есть; кто-то бродит под окнами доктора Штейнера; и — под нашими окнами.

Международные сыщики, как клопы, нас обсели: международное общество в годы войны — преступление. Иоанново Здание — школа шпионов.

КОМНАТА

Вот — моя комната: чемоданы, бумаги; лежит недописанный "Котик Летаев"; архитектоника фразы его отлагалась в градацию кругового движения; архитектоника здесь такова, что картинки, слагаясь

гирляндами фраз, пишут круг под невидимым куполом, вырастающим из зигзагов; но форма пришла мне под куполом Здания; пересечение граней, иссеченных форм воплотилось в словесную Эвритмию¹; под куполом Иоаннова Здания надыхался небесными ветрами я; здесь меня овлажили дождями словесности: "Котиком". Вот — он: я не в России его; для этого нужно лазурное небо Кампани².

Просиживал здесь до зари я; и — жег электричество; знаю: по этому поводу распускались нелепые слухи среди жителей Дорнаха: подозревали наш маленький домик, что он подает световые сигналы. Я, мучимый неуклонной бессонницей, открывал электричество в два часа ночи и принимался за "Котика"; выписки, нужные мне для работы, — вот-вот они: выписки, если бы их обработать, составили б книгу; но их надо бросить: перевозить за собой нельзя их.

Я знаю: в бумагах, в набросках моих без меня (уезжали мы с Нэлли в Лугано)³ копались жадные руки; и господин в котелке, вероятно, просовывал нос в мои выписки, даже в стихи (я бумаги нашел в беспорядке); воображаю досаду "шпика", не понявшего выписок. "Шпик" был немец, француз или... "бритт". Эти выписки я запрятывал в яркого цвета бумаги; томились без ярости — Нэлли и я, перемогая шестнадцатый месяц облезлые грязно-рыжие краски обоев; их закрыл я лазурной гляцевидной бумагой; в прорези вставил пурпуровый глянec; так мой грязно-рыжий, домашний очаг превратился в прекрасную изразцовую комнату; на столах разбросал я градацию всевозможных цветов, подбирая бумаги, меняя цвета, оперение комнаты было текучим, как фразы, которые — в "Котике"; в комнате все розовело и после — все рдело; и голубое, и желтое, и однотонно-лазурное прогонялось по стенам: с и г н а л и з и р о в а л я ц в е т а м и — душевному миру во мне (не правда ли, это все материал для обвинения меня в шпионаже?).

Моя комнатка: чемоданы, бумаги; и Нэлли, меня отправляющая на войну? В этот вечер, в последний, казалось: от Нэлли кидаюсь в пространства я, полные дыма и грохота.

Помню, что нас посетила в тот вечер мадам П.П.П.⁴, разливавшая море кровавых фонтанов огромною кистью, под куполом Здания; приходила сюда молодая швейцарка, художница тоже, в экстравагантном, крестьянском костюме à la Вильгельм Телль⁵, в безрукавке и в беленькой шапочке, как воплощение молодого задора, с которым художники, поэты враждующих стран здесь, под куполом Здания, братски обнялись, переживая в душе невыносимость отрыва от родины; не легко было нам не увлечься призывами к бойне; и выстрадали мы мучительно братство; братство окрепло: и купола бирюзового Здания соединили нас узами.

.....

Помню, как вечером мы собирались в огромной столярне; среди машин лесопильных, среди обрубков, обтесов, сидели мы, сжавшись, на мощных обрубках; кругом поднимались полувыщербленные стамесками формы,

как головы допотопных животных; сюда приходил доктор Штейнер: читать свои лекции нам.

Мы узнавали об удивительных соотношениях между линией орнаментального творчества, линией мысли и линией бьющей в нас крови; соотношение меж кругами кровообращения (большим, малым кругом) и отношением зодиакального круга и круга планетного к Солнцу; проходили пред нами градации сущих и никогда не бывших искусств; и расходились мы, чтобы с утра собираться опять, и опять, и опять: осуществить круг искусств, никогда еще прежде не бывших. Осуществить светопись вырезаемых стекол и Эвритмию, искусство изображения звука слова движением, осуществить это странное, в мире не бывшее выбивание из дерева форм, ни на что не похожих.

И Нэлли, бывало, меня подвела к гранным массам, показывала, как сестра, постигающая законы мистерии линии в столетиях времени; и ее ослепительный взгляд посредине разъятого сердца во мне зажигал мое сердце; и я, весь охваченный несказанной любовью к Нэлли, поднявши стамеску, так думал о ней:

— "Я узнал Тебя!.."

— "Ты — сошла мне из воздуха!.."

— "Ты осветила мне".

— "Ты — мое шествие в горы".

— "Сошествие Духа во мне..."

— "В день, когда ты покинешь меня: я — паду. Не покинь, не забудь, любви, помни..."

И вот — покидал ее я: не хотела она со мной ехать.

.....

Помню: в тот вечер пришла жена опочившего Моргенштерна⁶; пришел с ней и Б.⁷, член А. О.⁸, пред которым с почтением склоняюсь я; передо мною его облик; и если бы вы захотели увидеть учителя, мастера Экхарта⁹, — в сюртуке, в черной шляпе с полями, читающего Моргенштерна в полях и ведущего беседы о Достоевском и Ницше, то — поезжайте в Швейцарию, в Дорнах: вы там его встретите: педагога из-под Нюрнберга; пред мудростью, пред подвигом жизни его, принадлежащего к нации "б о ш е й", склоняю колени; в минуты уныния он поддержал меня здесь; я, бывало, просиживал с ним; басовая, густая, слегка грубоватая речь мне звучала пронизанной глубиною; казалось, слова его — небо; извне голубые, они просквозили мне бездной; и наливались силой огромные очи его, когда он, объясняя мне Фридриха Ницше, перебирал текст Евангелия от Иоанна; я явственно видел: передо мной — не К. Экхарт. И нежно любил я его. Но посещение "немцем" меня, вероятно, отметили сыщики; и "б р ю н е т в к о т е л к е" это видел; прибавился — пункт обвинения: немецкий ш п и о н, грязный "б о ш", посетил меня, русского, накануне отъезда на родину.

В поместительной зале английского консульства милая дама любезного вида дала мне с товарищем² по огромнейшей простыне, на которой мы должны были расписаться: тут были мельчайшие графы, заполнив которые мы сдавали отчет англичанам, кто мы; и — года, цифры, адреса, даты, фамилии запестрели на этом листе; почему-то должен наполнить графы, не относящиеся к настоящему положению в мире, как-то: кто такой мой отец, моя мать, когда умер отец, какова до женитьбы фамилия матери; словом, то был формуляр для вписания жизни; была тут графа: о моем пребывании в враждующих странах; отметил, что был я и в Берлине (несчастный, что делал я? Ссылкою на Берлин я вписал себя в списки шпионов).

Листы унесли: наголоватый чиновник с ужимками Холмса — вдрут вышел: — окинувши нас неприязненно, пролетел мимо нас — хлопнув дверью, и дрогнули стены, как будто был выстрел; развязаннейший жест представителя Англии был очевидно направлен по нашему адресу: мы показались злодеями (формуляр уличал); первый пункт: жить в Швейцарии подозрительно; пункт второй: подозрительно проживать здесь, в немецкой Швейцарии; третий: еще подозрительнее жить нам близ Базеля (Базель — граница Эльзаса); четвертый: в пятнадцати километрах от нас упирался в Швейцарию Западный фронт. И так далее, далее.

Меня осенило впервые, что здесь, в этом консульстве, собственно говоря, мы преступники (братство, любовь, человечность, все лучшие чувства души — шпионаж и измена); как доблестный представитель России, был должен я убить пришедшего к нам, а я дружески с ним говорил.

Но размышления прервались; наглеющий Холмс, открыв дверь, повелительно вызвал товарища; понял: "д о п р о с" начался. Появление наше в английское консульство за разрешением нам вернуться в Россию, как призванных на военную службу, обиднейшим образом обернулось на нас; и чиновник посольства осмелился нас, д ж е н т л ь м е н о в, поставить на равную доску с шпионами; мерзкое что-то; тянулись минуты; уже протекли полчаса; не возвращался товарищ. За дверью порой поднимались нахальные выкрики и негодующий возглас товарища, протестовавший; я ждал; отворилась дверь, и вошел человек, напоминающий по покрою костюма и шляпы — типичного иезуита. Он, севши напротив меня, ел глазами меня; и — улыбался цинически; все лицо его, неприлично уставясь в меня, говорило: "Ты пойман"... В моем иезуите проглядывали штрихи мне знакомых кошмаров; и мне показалось: схожу я с ума; все преграды распались; я — Фауст; предо мною — Л е м у р³. И тот приступ болезни, которой страдал я, меня охватил.

Не отвалился — нет, нет — мой тяжелый кошмар от меня.

Может быть, я случайно, во сне, повстречался с германским агентом? Во сне заключил договор о продаже отечества?

Сон?

Сна во сне не бывает: и требуется — мобилизация всех сознательных сил; но я все свои "сны" просыпал уже год (было время, когда я во "сне" умел бодрствовать); явно: чиновник, заведующий шпионажем в Германии, был оккультистом⁴, как всякий сознательный "сыщик". Проведавши о моей бессознательности, он со мной повстречался, увлек меня, "с п я щ е г о", в управление Генерально-Астрального Штаба⁵, извлек из души моей все, что ему было нужно, подсунил мне в душу "астральное" золото, невесомое и наполнил все мое существо звонким звоном переживаний о мире и братстве народов: я был п а с с и ф и с т о м; переведа на английский язык слово "пакс", получаем мы: п а к о с т ь и п а с с и ф и с т з н а ч и т: п а к о с т н и к.

Я, просыпаясь, конечно, не вспомнил о состоявшемся подкупе; вспомнил о нем англичанин, заведующий контрразведкой — в а с т р а л е⁶; и сообщил куда следует. С той поры водворили за мною они свой надзор; и фигура, подобная и е з у и т у, сопроводжала меня: в поездах, на прогулках туманного Базеля, Берна, Цюриха; посылали за мной к ледникам дозиравшего горца; его я встречал выходящим из щели утесов, в таверне пагорной деревни; старался он дать мне понять, что его обмануть нет возможности; он мне подмигивал:

— "Да, да, да... Вы из Дорнаха... Проживаете около немецкой границы... в пятнадцати километрах от фронта..."

В городах: неизменный брюнет в котелке поселялся назойливо у меня за стеною; я думал, что это все к а ж е т с я м н е, но все стало понятным здесь, в консульстве. Т о т, кто все эти последние годы упорнейше собирал обо мне необъятных размеров д о с ь е, подтасовавши в них факты, попутно завез эти факты с ю д а; здесь-то вот поджидали о н и; сопровождать меня в Англию.

Переживания из романов Гюисманса⁷ и Стриндберга⁸ вдруг охватили меня в комфортабельном помещении консульства; я не успел им отдаться: вот грохотно распахнулась летучая дверь; негодующий, бледный товарищ, с дрожащей губой, появился в дверях; за спиной его вырос "Холмс"; не дал времени обменяться словами с товарищем; с ним затворились мы.

Краток допрос: он сводился лишь к требованию привезти ряд бумаг от швейцарской полиции; в тоне его была сухость, с которой допрашивают безнадежных преступников, приговоренных к расстрелу; со мной обращались так, будто я — был не я, а какая-то бомба, которую следует уточненнейшим способом разрядить; или: будто в астральное тело ввели "германин" — род едчайшего вещества, разлагающего все военные планы союзников; я превратился в опасного разносителя "германизма"; сочило "г е р м а н с т в о" мое подсознание: "не был шпионом", тем хуже: я был — "сверхшпионом".

По отношению к товарищу, как я узнал позднее, применили они иной метод террора; вот краткий отрывок диалога:

— "Что же вы делали вблизи Базеля, в скупном швейцарском селе у границы Эльзаса?"

Сказать: я работал в Иоанновом Здании — было безумие (Иоанново Здание из-за бетонных фундаментов ими считалось фортом, устроенным сыщиками на немецкие деньги); товарищ ответил (и то было правдой):

— "Работал в "Библиотеке".

— "По какому вопросу?"

— "По Ренессансу..."

— "Какое же отношение это имеет к профессии вашей?"

— "Я бросил профессию..."

— "Ну, на что же вы жили?.."

— "Давал уроки".

— "Чего?"

— "Русского языка".

— "Потрудитесь сказать, кому именно?"

— "Детям подданной русской".

— "Зачем же им, русским, — уроки русского языка?"

— "Как зачем? А — русская литература!"

— "Ну да, положим. Фамилия дамы?"

Товарищ упомянул тут фамилию, обыкновенную для евреев: на "берг".

— "Она — немка, — вскричал торжествующий Холмс, — вы лжете!"

— "Как смеете вы!.."

— "В таком случае потрудитесь представить бумагу швейцарской полиции, что, во-первых, такая-то — русская подданная; во-вторых, что за уроки вы получали по столько-то; в-третьих, представьте бумагу от управляющего Библиотекой Базеля, что вы работали именно по Ренессансу — тогда-то".

Вот кончик диалога; он растянулся на сорок минут.

Как оплеванные, мы выходили из консульства.

Вместо того, чтобы ехать в Россию, должны были мы возвратиться обратно. Казалось: все равно попадемся им в руки; не просто, а утонченнейшим образом; и "свободой" нам будет лишь форма особая пытки; не стоит бросать меня в тюрьмы (есть яд); вешать тоже не стоит — поднимется русская пресса; и — пораженцы возрадуются; нет: "б р ю н е т в к о т е л к е" может с легкостью перекинуть за борт парохода меня; например: в переезде до Бергена; если же здесь не удастся, еще останется: Норвегия; времени много; быть может, — пропустят в Россию; ведь знают они (от седовласого сэра, меня созерцающего из своего кабинета в а с т р а л ь н ы е т р у б ы, и — до филера включительно), — знают они: железнодорожных мостов я не стану взрывать.

На вокзале сидит иезуит, поджидающий нас; он опять-таки, как и там в помещении консульства, сидя напротив меня, — принялся мне подмигивать:

— "А, ты — попался".

— "Теперь отправляешься к нам".

— "О тебе позаботимся".

— ”Ты, чего доброго, считаешь в России публичные лекции о порядках Британии; пакостник, грязный шпион, слуга ”б о ш е й”: ты, ты — разрушил все соборы, топил Китченера”.

И долго еще, среди улиц Москвы, овладевала идея, внушенная кем-то.

”ОНИ”

На протяжении месяцев, просыпаясь в уютной постели в Москве (между лекций, стихов, ”п о ч и т а т е л е й” и поэзо-концертов, среди толков о том, что церковный собор очень нужен, что старец Никита, священник Флоренский¹, артист Чеботаев, играющий Арлекина в Экстазном Театре, — явления апокалиптической важности), — думал об Англии: о Ньюкестле, о Гавре, о Лондоне и о консульстве в Берне, где, отдавая отчет о себе, заполнял в листы, подвергаясь экзамену у благороднейших сэров, шпииков и... отвратительных проходимцев; а Холмсы всех стран и народов, на заверенья мои о себе, что я... так себе... ничего себе... существую нормально, что даже... напротив — в России имею претензию я на известную долю внимания — на заверения эти — Шерлоки, шпиики, офицеры, чиновники трех министерств просвещеннейшей Англии, полисмены, жандармы, прохожие и случайные собеседники по вагону окидывали уничтожающим взглядом меня и предлагали такие вопросы, что становилось отчетливо: для виду беру билет в Христианию²: я беру себе ж е л т ы й б и л е т на свободу сидения в койке английской тюрьмы.

Просыпаясь в уютной постели в Москве, быстро вскакивал я и, бросая вопросы в московские стены, дрожал от испуга:

— ”Не агент ли ты в самом деле?”

— ”Живя там в немецкой Швейцарии...”

— ”Слушая пушки Эльзаса...”

— ”Ты — агент...”

— ”Тебе намекали на это в туманно-мрачнейшем Гавре; в туманно-мрачнейшем Лондоне...”

— ”Озаряя все небо летающей стаей прожекторов, — в небе искали тебя, совершающим пируэты над Лондоном в ”Т а у б е”; под водой искали тебя, метко целящим миною в пробегающий на волнах пароходик ”Такон”³, где, томясь, твой двойник, опершись на борт, вспоминал свою Нэлли; ты сам в себя целил тогда, разрывая свою биографию № 2, протекающую у тебя в подсознании”.

Биография?

Я заполнил десять раз в переезд листы рядом цифр, устанавливающих год и день моего появления на свет; это все — эфемерные даты; второй биографии, подлинной, нет в этих датах; а биография первая укрывает зерно человеческой жизни моей (это ведомо сыщикам) крапами мелких событий, скрывающих дух Ч е л о в е к а.

Развитие биографической личности — ложь: описует оно облетание кожных покровов; о каждом мы можем сказать: вот он юн, вот уже

пробивается в нем борода, борода поседела. Он — умер; установление биографии не задевает ядра человеческой жизни (опять-таки: знают о н и этот факт); круг моральных влияний, быт жизни — гласят: вот он юн, вот уже пробивается в нем борода, вот уже поседела она, вот он умер; характеристика "кожных" влияний меня не откроет никак посылающим мину в меня самого; но откроет: при переезде до Бергена, как и все, я подумывал о возможности погрузиться в холодное дно; вы не знаете этого: "сыщики" — знают.

Представители государственного порядка всех стран и народов? Но "Государство" — экран, за которым о н и схоронили ужасную тайну свою, "государственный агент" — бессильнейшая марионетка, которая не подозревает, конечно, кому она служит, как... на шумевший когда-то Азеф⁴; он — надутая воздухом кукла, надутая — и м и; "они", надувая людей, бессознательно преданных им, через н и х выдувают в историю государственных отношений смерчи: мировых катастроф — войн, "болезней"; "охранка" Невидимых Сыщиков — за спиной у охранного отделения Европы; и появившись только личность, — они постараются наложить на нее свое злое клеймо: г о с у д а р с т в е н н о г о п р е с т у п н и к а. Во мне есть подозрение: происшествия, бывшие со мной и с Нэлли, не поддаются учету; невероятная сказка есть жизнь наших странствий; да, молния духа над нами сверкнула; о н и э т о в и д е л и: и — постараются опорочить меня; только выпрямись я, освободись от своих недостатков, которыми заразили о н и, я бы мог быть опасен их делу: обезопасить себя от моих возрождений им надо; и — устранить навсегда; опорочить им надо меня: государственным преступлением.

Если же в бессознательном состоянии сна повстречался я с бессознательным состоянием сна представителя сыска в Германии, то эта встреча подстроена: каким-нибудь гером иль сэром — как знать, проживающим, может быть, в своем замке в Шотландии и меня не выдавшим, но несомненно отметившим миг моего возрождения; по дрожанию стрелки сейсмографа, им поставленного туда; т а м (в астрале) поставлены аппараты, подобные минам: поставлены так, что едва душа вынырнет из повседневного сна и раскроется, как цветок, по направлению к свету: как... — выстрелит мина; и сэр сообщит, куда следует, что родился "младенец".

Тогда: появляются представители международного сыска (в международное бюро сыска, наверное, входит по представителю всех стран, и разведка и контрразведка, встречаясь тут, благодушно работают вместе); международные сыщики, вероятно, для вида заведуют предприятием: гера, мосье или сэра; так своры агентов, как своры борзых, направляются быстро по свежим следам; одна, вылетевши из телесных составов, как ведьма, зарыскает по пространствам душевного мира, стреляя отравленной похотью (посещают вас страшные, любострастные сны...); а другая — разыскивает обреченного на физическом плане⁵; и — ставит капканы (встречаете в поезде женщину вы, и она вас старается соблазнить); вы — податливы (бессознание ваше пропитано ядом летающей стаи, стреляющей

ядами); около вас — соглядатай: брюнет в котелке. Он доносит на вас: полицейский надзор установлен за вами: улики — подобраны.

Кто-нибудь совершает насилие над малолетней девочкой (совершает насилие сатанист⁶, вас губящий): вы чувствуете в это время потребность: пойти, погулять (понуждает вас сыщик в астрале); выходите; и — в безотчетной тоске вы блуждаете по проспектам туманного города; замечаете вы, что брюнет в котелке заблуждал вслед за вами; стараетесь вы убежать от него (этот жест — жест руки, отрясающий паука с пиджака, — совершенно естествен); уединяетесь вы в старый парк (где за десять минут перед этим, в кустах, сатанист изнасиловал девочку); можете даже услышать вы детский пронзительный крик: вы — спешите на крик; из кустов выбегают на вас полицейские: вы — арестованы; подозрение в гнусном поступке — на вас тяготеет.

В течение трехнедельного путешествия из Швейцарии в Петроград возвращался я к этим болезненным мыслям; в Москве, просыпаясь в уютной постели, я думал о том же; я вскакивал; и, бросая вопросы в московские стены, дрожал:

— "Не преступник ли ты?"

— "Не насильник ли ты?"

— "Не летал ли над Лондоном в "Т а у б е" ты?"

Но добродушные стены — молчали; и солнечный луч пролетал на меня из окна, веселя; я открывал лист газеты: в газете — хвалили меня; я шел в гости: в гостях меня слушали с неподдельным вниманием; шел на концерт — в сопровождении "б у б н о в ы х в а л е т о в"⁷: священник Флоренский дарил свою проповедь, а артист Чеботаев, играющий Арлекина в Экстазном Театре, — без всякой предвзятости разговаривал, напоминая об общих бельгийских знакомых — Дестрэ⁸ и де-Гру⁹; только вот: не попал на церковный собор; и... не выбран в министры (знакомые — были министрами).

Долго потом среди улиц, в кругу оживленных бесёд, размышление о совершенном предательстве угнетало и мучило; что-то старался напомнить; анализировал свои встречи — в Швейцарии, в Бельгии, в Швеции, в Англии; видел отчетливо: чист я душой; лихорадка болезни моей проходила; и с э р а на улицах — не было; раз-таки — встретил: на Ярославском вокзале; сидел он за столиком над куриной котлеткой; увидев меня, он пытался подмигивать; мысленно расхохотался на это: и подбежавший носильщик вручил англичанину желтый билет: уезжал он в Архангельск.

НЭЛЛИ

В туманный вздыхающий вечер, прижавшись к подушке вагона, я думал о Нэлли (я радовался, что ее я увижу еще): и она возникла такая же, как всегда, — светловолосая; и — с подстриженными кудрями, падающими на большой мужской лоб, перерезаемый продольной морщиной; два

глаза, лучистых и добрых, смягчили ее неуклонную думу чела; как оса, в белом платьице, напоминающем тунику или... подрясник; она — как монашек; сквозная и легкая стола, желто-лимонная, перепоясанная серебряной цепью, бывало, легко разлетается в солнышке, когда, — в моей легкой соломенной шляпе и с папироской во рту — легкой-легкой походкой бежит по тропинке она, меж гор — туда; вверх по направлению к Куполу; впереди, выделяясь на солнце, на яркой и шепчущей зелени черным своим сюртуком, молодою такою походкой спешит доктор Штейнер: к Иоаннову Зданию; мы — оббегаем его, чтобы вовремя очутиться под куполом: среди стружек и щепок: и, взгромоздившись на кучечку пирамидой поставленных ящиков, оказаться как раз под дугой архитрава; под нами — громадный провал, перерезанный деревянной колонною; круг из двенадцати очень массивных колонн, посвященных планетам, подьмлет легко возлетающий купол; работали мы над колонной "Юпитера", над архитравом, который для краткости называли "Юпитером"; мы спешим на "Юпитер"; нам надо там еще кое-что подчистить; и — выпрямить линию плоскости; знаем: по шатким мосткам приподымается скоро фигура, спешащая перед нами на холм; остановившись пред нами и скинувши быстро пенсне, доктор Штейнер окинет орлиным, летающим взором резную работу; и Нэлли моя, соскочив с пирамиды из ящиков, будет спрашивать доктора что-нибудь — о плоскостях архитрава; тогда, взявши в руки отточенный уголь, прочертив две линии, быстро схватив лейтмотив вырезаемых граней:

— "Вот тут сантиметра на два... тут снять... тут — прибавить"... И, помахавши приветственно маленькою, точно дамской, рукой, доктор Штейнер — пройдет; чтобы встретить его там, под куполом, и попросить указаний, касающихся работы, — спешим: прямо к куполу; там, впереди, убегая от нас молодою походкой, как мальчик, несется к Иоаннову Зданию: Штейнер. А Нэлли — волнуется.

Мне она — юный ангел: сквозной, ясный, солнечный; и -- любовался я издали ей; мне казалось: она — посвятительный вестник каких-то забытых мистерий; вот-вот она, близкая, опершись на плечо, щекоча мне лицо светловолосой головкой, — следит, как рука моя спешно выводит кривые узоры рисуемой диаграммы; и — вдруг: своим точным движением руки мне укажет она:

— "И не так".

— "Три души Аристотеля¹ тут не верно прочерчены"...

Нэлли — мыслитель; вопросы теории знания проникает, играя, отточенный лобик ее; она вмешивается во все мои мысли; меня — поправляет; с историей философии мало знакома она; но читает: Плутарха, Блаженного Августина, штудирует Леонардо-да-Винчи и — Штейнера, обладая утонченной проникающей мыслью; архитектоника наших мыслительных линий противоположна до крайности; термины Фолькельта², Ласка³ и Капта — мне близки; и — непонятна "Ars Magna" Раймонда (запутался в ней: комментарии Джордано Бруно не помогли)⁴; Нэлли — плавает, точно рыбка, в утонченной графике схоластической мысли

— какого-нибудь Абеяра⁵; я пробовал ей объяснять нормативизм школы Риккерта⁶:

— "Знаешь, все это и проще и легче сказать", — отвечала она. "Посмотри"... Принялась с карандашиком рисовать построение Риккерта: великолепная схема прибавилась в ее толстом альбоме: пятнадцатиграмма, написанная единым штрихом.

Есть альбом у нее: зарисованы в нем треугольники, звезды и граники, перекрученные в спирали; бывали периоды: Нэлли, забравшись на кресло, вычерчивала вот такие фигуры, глотая крепчайший, душистый и рот обжигающий чай; и — закусывала бисквитиком; в негодовании я на нее нападаю, — тащил прочь, набрасывал плащ на нее (его сшила сама — она шить мастерица); она поражала утонченной грацией: помню ее я на летнем лужке; выгонял ее в горы; и шла, точно нехотя; скоро, увидев цветок над отвесом, она объявляла: его-то и нет в нашей комнате. И — с разгасившимся личиком, ухватившись за корень стальной, мускулистой рукой, начинала карабкаться вверх, позабыв пентаграммы⁷; я — в ужасе стаскивал Нэлли; она не противилась.

Да, у Нэлли — стальная рука; гранировальным штрихом на сверкающей медной доске вырезает она утонченный рисунок, напоминающий мне гравюры Рембрандта; и в поведении ее все решения выгравированы, четки, ясны; с тех пор, как с ней встретился, внешняя жизнь отчеканилась: определился мой стиль как писателя.

Нэлли прошла по нем четким штрихом.

В ней — редчайшее сочетание мужественной, героической воли с нежнейшей мягкостью, подобающей женщине; и во внешности Нэлли меня поражает: то — тонкий монашек, весь солпечный и — устремленный; то — фея: неделями в прежние годы сидела она на диване и — обвисая тяжелыми локонами, с плутовато-надменной улыбкой прислушивалась к "молотьбе по соломе" московских друзей, не удосужившихся разглядеть ее.

А "молотьбой по соломе" прозвали мы праздную ерунду разговоров в Москве, от которой бежали мы в Бельгию⁸.

МОСКВА

Нэлли светит, как солнечный свет; тридцать лет моих жадных исканий свершилось в квадрате, очерченном мне Арбатом, Пречистенкой; там расселились давно чудаки; и — болтали: года; в их открытые рты залезали бесята; страдали от этого странными формами нервных болезней, болтая о подвиге и о таинстве о п ы т а; и — принимая: то порцию брома, то порцию водки; я жил среди них, как они, пока Нэлли не вырвала.

И — отлетел пропыленный квадрат; стая стран полетела на нас; рой народов нас встретил; закаты, моря и цветы осыпали нас блесками, пеной

и цветом; и — веяла солнечным воздухом Нэлли; музеи прошли перед нами; в Сицилии¹ вырос космический мир из блистающих камушков пестроцветной мозаики; Иисус, синевлеущий, из Монреала², простерся к нам светом мозаических риз; открываешь, бывало, глаза: полусон; мечет зайчики солнце на изразцовые глянца: "Тунис!"³ И "ирр" — раздается откуда-то: белоглавый араб понукает осла; мы спешим затеряться в арабских торговых кварталах: среди роя бурнусов сквозят розоватые пятна арабок, синеют плащи, колыхается: мавританский тюрбан; и — перо европейки; широкими панталонами полосатится негр; зеленоватые, красные, желтые туфли зашаркают в переходиках.

Нэлли, склонясь надо мной, щекоча своим локоном, посвящает меня в утонченности мавританского стиля; нам готика дышит годами; и — вот: уж встают: кружевной собор Страсбурга, Кельнский Собор, Сан-Стефан⁴. Путешествовать с Нэлли — восторг.

А — Египет?⁵

На осликах мы; зеленеют пространства; и — пряные запахи одурманили нас; на полях — круторогие буйволы; пятна феллахов; и черные стены деревни; за ней встречают: гробницы четвертой и пятой династии⁶; пирамида Пепи⁷; торчат, набегают пески; позади — пирамидка; гробница когда-то почившего Ти⁸, Серапеум⁹; жар душит, блистает и сушит; кусок пламеносного неба: он — кубовый, кубовый; глаз плачет блеском; миры красно-рыжих рефлексов мелькают; пески переменчивы; под ногами протянут кусок коленкорово-черных теней.

Засадить меня в томики Масперо¹⁰ в пропыленном Каире, отыскивать связи меж флорой Сицилии и Палестины — забота жены моей; в чистых восторгах познания мы; мимо бегущие буквы гласят, возникает нам слово: — "Вы ждите меня".

Я подсматривал испытующий взор, обращенный ко мне: "Видишь: и с т и н а, пробегая по странам, чеканит кремнистые знаки на скалах природы; она — молчалива; умей же прочесть ее; мы должны пробираться с опасностью жизни вершинами кратера, чтобы уметь низвергаться в огонь, как низвергся туда Эмпедокл¹¹, соединившийся с огненными стихиями мира; и — вытечь, как лава, из кратера; окаменеть, как скала... Хочешь истины э т о г о подвига?" Так — говорил мне взгляд Нэлли; ответил — без слов на него.

Знаю, Нэлли моя не любила Москвы; вся споровка ее не подходила к тяжелому быту; она не любила купчих, ожидающих, чтобы лакей, переряженный, в белых перчатках, им подал р а г у... из московских писателей: первого сорта; не нравилось в ней сочетание тургеневской девушки с англазированной женщиной; прерафаэлистской¹² картинкой, которую видеть приятно, считали ее. Помню взрывы духовных исканий, которые гнали по странам, идеям; улыбкой огромного напряжения ответила Нэлли на тайну исканий моих; я увез ее; и по мере того как текла наша жизнь, предо мной раскрывалась огромная перспектива всех нравственных устремлений, исполненных взрывами, — в Нэлли; все первые годы

скитаний по западу с Нэлли уподобляя я чтению мощной системы познаний; впервые увидел я роскоши Божьего мира; мы жили в Москве — вне культуры, кончая слова о грядущем — за водкой; меня повернула на прошлое Нэлли: увидел: горластые дымогары я в нем; и — схватился за Нэлли; она целовала меня, говоря:

”Не забудь”.

Углублялась духовная жизнь; начерталось грядущее — в миги, когда мы стояли пред Сфинксом¹³, когда с пирамиды увидели: золотокарие сумерки падают над Ливийской Пустыней; и вспыхивал в наших руках Святой Огонь под тяжелыми сводами Гроба Господня¹⁴; и у священной скалы, на которой принес Авраам Исаака¹⁵, как жертву (в Мечети Омара)¹⁶, давали обеты: быть жертвой п у т и. Перед Гробом Господним венчал нас: не поп.

Возвратились из странствия мы¹⁷. А в редакции тот же редактор осведомлялся о рукописи (кто-то был должен доставить ее); восемь месяцев тому назад, в октябrevские дни, когда я, удрученный моральной усталостью, рвался отсюда на воздух, в редакции говорилось о той же статье; за то время мелькнули: Италия, Африка, Палестина; хотелось что-то поведать о мире, в котором мы жили; меня — оборвали:

— ”Да, да... Только вот... примечание к статье не забудьте”...

Я вспомнил взгляд Нэлли:

— ”Смотри, не забудь”...

И ему я ответил:

— ”Бери меня, Нэлли”.

Мы — вырвались; я, по мнению редактора, вдруг поглупел (встреча с Нэлли меня погубила).

ЛЬЯН'

Вот — Базель; вот — воды, зеленые, рейнские; домики, кустики, холмики, россыпи черепитчатых крыш, проступающих ярким, оранжевым цветом, зареющим в воздухе; мчится стремительно поезд, меня возвращая домой, в милый Дорнах; еще двое суток пробуду я с Нэлли.

Я помню: сидел на вокзале в томительном ожидании поезда — в Дорнах; и — вспомнил я текучую жизнь; и — текучие мысли меня уносили в Норвегию; и — возникали мне в памяти: Льян, Христиания.

Тут провели под лучами норвежских закатов мы важные дни, — над фиордами, дверь на балкончик, два окна — бросали пространства воды в чересчур освещенную комнату; впечатление, что она — только лодка, не покидало меня; мне казалось: на двух перевязанных лодках из досок устроили пол; на пол бросили — столики, кресла; на креслах сидели (с ногами): с утра и до вечера, погружаясь то в думы, то в схемы, пестрящие множеством в беспорядке лежащих листов; два окна да стеклянная дверь в нашу комнату наполнялись пространствами бирюзового

воздуха; мнилось: незамкнутой стороной зачерпнет наша комната воздуху, вся опрокинется (не успеем вскричать); и — очутимся в ясных пространствах.

Норвежским закатам, отрясывающим окрестности, я удивлялся; спокойная ясность пресуществляла фиорды; и — дали тянулись воздушно; и — яснолапое облако висло; лимонные полосы проливались на влаге, туманья; и — гасли.

Бывало, закутавшись в плащ, прочерневши всем абрисом черного капюшона и прыгая с камня на камень, жена моя, Нэлли, бежит к ясным водам — прислушиваться к разговору испуганных струечек, плещущих в камни; и, жмурясь от света, — следим за медузами; вспыхивает невероятный закат; и — не хочет погаснуть.

Работа над мыслью, которой отдались мы в Льяне, продолжилась в линии мысли, начертанной в месяцах; мимо неслись города: Мюнхен, Базель, Фицнау; и — наплывали градации галерей и музеев; суровый Грюневальд², Лука Кранах³, блистающий красками Дюрер⁴ и младший Гольбейн⁵ — упоительно ширили невыразимую мысль своей палитры; плакало темной лазурной струей Фирвальдштетское озеро; Штейнер бросал в нас кипящие курсы; готический стиль кружевел нам из Страсбурга; и — прошумели над Штутгардом сосны в немом Дегерлохе; из Гельсингфорса и Кельна открылась: "Высокая Гита"⁶; мадонна из Дрездена глянула, брызнул Берлин; Христиания, Льян — ожидали. Переменялись места; непеременимый центр оставался — работа над мыслью; и — мыслили мысли себя; и — кипела в них Нэлли; и — узнавали друг друга — друг в друге; и — пронизали друг друга до дна; мысле-образы Нэлли представились: посещавшими существами души; я в альбоме у Нэлли нашел нарисованными мысле-образы жизни моей; вот — распластанный голубь из света; и — гексаграмма; и — крылья без глав; и — крылатый кристалл; и — орнамент спиралей (биение эфирного тела⁷); и — чаша (или горло — Грааль⁸); бегемот (или — печень); и — змеи (кишки); знаю я, что рисунки лишь символы ритмов живейшего импульса, перерезавшего нас струей мысли.

Садился в разлапое кресло на шаткой терраске, торчащей над соснами, толщами камня и плесками фьорда; сосредоточивал волю к вниманию; чувства и импульсы мысль принимала в себя; и, покрытое ритмами мысли, не слышало косности органов — тело мое: все во мне отлетало чрез череп — в огромности космоса, живоперяся ритмами, как крыльями (расположение ангельских крылий, их форма, число, — эвритмично); я был многокрылием; прядали искры из глаз, сопрягаясь; пряжею искр мне творились образы: распинаемый голубь из света, безглавые крылья, крылатый кристалл, завиваясь спиральями, развивались спиральями (и — полюбил я орнамент спиралей в альбоме у Нэлли); однажды сложился мне знак: треугольник из молний, поставленный на светлейший кристалл, рассыпающий космосы блеска: и "око" — внутри.

Этот знак вы увидите в книге у Якова Беме⁹.

Образовались во мне, как... спираль: мои думы; закинь в этот миг свою голову я, не оттенок лазури я видел бы в небе, а грозный и черный пролом, разрывающий холодом тело; пролом — меня всасывал (я умирал в ежедневных мучениях); был он — отверстием в правду вещей, приоткрытую мне: становился он синею сферой (синюю сферу впоследствии видывал: в том же альбоме — у Нэлли); тянула меня — сквозь меня; из себя самого излетал я кипением в жизни; и — делался сферой, многоочито грядущей на центр, находя в нем дрожащую кожу мою; точно косточка сочного персика, было мне мое тело; без кожи, разлитый во всем, — Зодиак¹⁰.

Зодиакальные схемы в альбоме у Нэлли меня убеждали, что наша работа вела нас единым путем.

Вставала терраса с верхушкой сосны; поворачивал голову Нэлли; и видел ее: точно струночка, в беленьком платъице, с блестками глаз, разрывающими все лицо и лиющими ясность здоровья на весь ее облик, — смеялась мне радостно; взявшись за руки, мы шли на прогулку; глядеться в плескание струечек фьорда; следить за медузами.

Роем сквозных звездо-пчел сочтались в одну мы систему вселенной; и, расставаясь, летели назад: к... куполам тельных храмов; мы ведали: призваны мы поработать над храмами тела; мы призваны: вырезать в дереве чувственных импульсов великолепные капители канонов сознательной жизни; я знаю, что Нэлли, бывая во храме моем, надо мною работала тяжеловеснейшим молотком и стамескою; вырезала в моем существе — воспоминания о дорожденной стране, из которых сложился впоследствии "Котик Летаев".

Когда мы потом заработали (в Дорнахе) над деревянную форму порталов Иоаннова Здания, — вооруженной стамеской срезая душистые щепки, отчетливо пахнущие то миндалем, а то яблоком (от присутствия в дереве ароматичных эфиров), я вдруг узнавал по градации граней — градации ритмов космической мысли; страну живомыслия я узнавал: Иоанново Здание стало мне образом феоретических путешествий; и оплотнением мыслелетов, слагающих тело духовной культуры. Иоанново Здание вырезается из деревянных массивов, чтоб изойти в вышину архитравом канонов сознательной жизни; путь нашей истины вырезан в формах; любили мы купол, построенный из черепицы норвежского камня; под снежным покровом разбросан был он недалеко от Бергена; мы его видели в цельных массивах, покрытых пурпуровым мохом.

Вагон наш бежал к ледникам; гребенчатая линия пиков сверкала осколками; веяли воздуха в лица; лазурные камни подкинулись к льдам — в ослепительном небе; и дверь отворилась: вошла она — та, кто стояла на гранях духовного мира, звала за собой¹¹: та именно, о которой сказать я сумею, быть может, лишь в будущем; и, сияя глазами, мне с Нэлли сказала:

— Да, Ибсен¹² героев своих бросал в пропасть; он — Солнца не знал.

Мы глядели втроем на пурпуровый мох и на камни; узнали потом, что учитель решил: из лазурно-зеленого камня построить два купола Иоаннова

Здания; переживание духовного мига отметились, запечатлелось; и — потрясает сердца: с восхищением созерцают изменчивый, точно море, оттенок норвежского камня на куполе Здания.

Странно отметились эти летучие миги; о них не сумею сказать ничего; эти миги продолжались... в Дорнахе; горные переживания стали терновыми; все началось с Христиании, поведя через Берген (через горы) к распятию: в Дорнахе!

Но эти тернии принимаем; и не кончена сказочность странствий; наш путь — впереди.

До войны еще чувствовал я, что нас с Нэлли выслеживают: после огромных духовных событий, совершившихся с нами; о них говорить очень трудно; едва понимаю я их; подготавливались они целой жизнью: они начались еще в Тульской губернии¹³; был еще юношей я; повторялись в усиленной степени: в Брюсселе, в Бергене, в Лейпциге, в Дорнахе.

Между "мигами" Тульской губернии и повторением в Бергене их — протекло десять лет.

ПАМИР: КРЫША СВЕТА

С 1899 года по 1906 год проживал я в имении: в Тульской губернии; девятью стеклоглазыми окнами старый, коричневый дом из-под крон тополей глядел в дали пространства, с бугра; а бугор обрывался к серебряной, чистой речонке, полузакрытой ольховыми купами; мне казалась терраса старинного дома высоко-высоко-высоко приподнятой; а аллея шла вбок от нее; высоковерхие липы шумели; — над желтым песочком метались раскидисто; перпендикулярно к аллее горбато бежала дорожка на холм; и, раздвигая суки изломавшихся яблонь, с нее попадали в обширный квадрат, образованный с трех сторон серебристыми тополями; между ними юнели зеленые яблоньки; верх же квадрата, взбегающий по пологому склону, обсажен был только что: топочечками; приподымали вершинки под небо шепча топочечки; и тут раздавались лепеты, трепетания и вздохи; и — обрывался наш сад узкой, вырытой, дождевою канавою; за ней, непосредственно сверху, где горбился склон, приближая всю линию горизонта (казалось, что он был шагах в сорока от канавы), метаясь, бежала усатым налиivistым колосом рожь; весь бугор шумно сыпался, заливаясь колосьями и как будто стекая в канаву взволнованным шумом; а над пространствами ржи (непосредственно рядом, шагах в сорока от канавы) глядели закаты; бугристая местность в обманчивом мороке приближала зарю; за канавой глядела на нас необъятность.

Переживания тут подымались во мне; начинались во мне как бы игры; я думал, что там, за канавой, кончалась история; стоило перепрыгнуть через крутую канаву и кануть во ржи, пробираясь по ней еле видною тропкою, — все затеряется — в золоте, в блеске и в хаосе этих бушующих волн; буду я — вне истории; буду я — вне пристанища, вне ежедневных

занятий, без тела, охваченный шумами Вечности и — вознесенный в невестность безумно открытых сознаний, не знаемых ближними.

Знал я: поднимаясь вверх, попаду я на высшую точку пологого склона, где отовсюду откроются шири, просторы, пространства, воздушности, облаки; под ноги тут опускаются земли; и — небо здесь падает; буду я, небом охваченный, вечный и вольный, — стоять; разыграется жизнь облаковых громад вокруг меня; если мне обернуться назад, то увижу и место, откуда я вышел (усадьбу); оно — под ногами; и от нее мне видны: только кончики лип (а усадьба стояла высоко-высоко над речкой).

Спускаясь в противоположную сторону от плато, приходил я к дичайшим о скалам старинной овражной системы, сгрызающей плодоносную землю и грозно ползущей на нас; кругозоры сжимались по мере того, как я, прыгая по размоинам вниз, углублялся; и небо оттуда казалось широкою щелью меж круч, на которых скакали, играя с ветрами, — татарники, чертополохи, полыни; здесь некогда перечитал Шопенгауэра¹; я опускался туда, перерезая слой леса, слой глины — до рудобурых железистых каменных глыб (величиною с арбуз), вымачивающих водотек; было влажно и холодно. Стоя посередине плато, я не видел оврагов; как взор, по равнинам текли мои мысли в разбегах истории; стлались они надо мной. Все "Симфонии"² возникали — отсюда, из этого места: в лазури небес, в шумном золоте ржи (а впоследствии написался и "Пепел"³ — отсюда).

"Серебряный Колодезь"⁴ был продан: но изменился от этого стиль моих книг; архитектоника, фразы тяжелого "Голубя"⁵ заменили летучие арабски "Симфоний".

Останавливаясь не случайно на описании этого места; со второй моей биографией я навеки отсюда связался; возникли здесь именно все источники знаний; приоткрывались: Кант, Риккерт; продумывал я здесь "Символизм"⁶; приходил "Заратустра" ко мне: посвящать в свои тайны⁷. Казалось: не в равнинах России вдыхаю я воздух; "Памир" — крыша света — мне служит подножием; бьют тут струи: истоков арийской культуры; и им приобщаюсь; казалось: овраг, угрожающий нам, есть обрыв, падение, гибель арийской культуры; и — в глубочайший овраг ожесточенно я сбрасывал камни, прислушиваясь, как они ударялись о каменистое... дно водотека; я сбрасывал камни, борясь с востоком (смеетесь?)... Порою я чувствовал, что настала пора — бросить все; и без шапки из дому украдкой бежал по дорожке, к плодovому саду, пересекал квадрат яблонек, перепрыгивал через крутую канаву; и — углубившись в рожь, достигал я плато: осмотреть кругозоры; по цвету небес, по оттенкам свершавшихся немо событий раскиданных туч, узнавал я: в раг — близок; уже из оврага пытается он приподняться на нас; опускался тогда я с плато к надовражному верху; и — сбрасывал камень за камнем: на дно водотека; мое кандидатское сочинение "Об оврагах" (посмейтесь опять!) обусловлено многолетнею моею игрою: борьбою с врагами, таящимися в оврагах; статья Соловьева (как кажется, "Враг

с Востока”)⁸ играла немалую роль в этом выборе; в странной статье описуется: рост оврагов в Самарской губернии и движение песков от востока на запад (в связи с размыванием оврагов); статья обрывается: указанием на буддизм и восток.

Мои игры казались мне вечными; здесь исходил я в символике жестов, казавшихся необходимыми мне; в этих играх вставляли главнейшие литературные темы; и, разумеется, были строгою тайной они; мне таинственной родиной служит плато за усадьбой; и — строй топольков: над крутою канавою; лепет их внятно рассказывал: о событиях времени, не относящихся лично к моей, ограниченной, жизни; я чувствовал здесь: времена налетали на нашу усадьбу ветрами событий; и — небом; в том месте, где я ощущал свое ”я”, исчезло оно; в его месте был синий пролет неприсущего неба средь облак душевности; то, что вставало оттуда во мне, не относилось ни к ”я”, ни к душе; топольки лепетали; и, если бы уплотнить эти лепеты, можно бы было услышать:

— ”Ты — все: Ты и ветер, и травы, и месяц”.

— ”И мысли о мире, и мир”...

— ”Ты — еси: м и р о в о й”.

— ”Ты — Возлюбленный”...

— ”Нет ничего, что не Ты”.

— ”Тебя нет: растворен и разъеден в объятиях вечности”.

Роковой безответной тайной из ржи подымался: пророческий смысл моей личности; плакал от нежности я, содрогаюсь от ужаса тайны, что я есмь Единственный⁹; в лепетах тополя к небу протягивал руки; и серп-полумесяц чуть видной полоской клонился: склонялся; и — пригонялся закат, упавая густой леопардовой шкурой (шагах в сорока от меня) над потоками шепчущей ржи, у канавы, где все обрывалось (истории — не было); строки мои возникали — отсюда:

Надо мною небес водопад,
Вечно грустной спадая волной,
Не замочет к былому возврат,
Навсегда просквозив стариной¹⁰.

Старина — открывалась: я чувствовал, что впервые рождаюсь, что место рождения — крыша света: Памир!

И сквозь зов непрерывных веков
Что-то снова коснулось меня;
Тот же грустно-задумчивый зов:
”Объявись — зацелую Тебя”.

Мне казалось: от жестов моих в эти миги зависят: и судьбы мои, и — история мира; все то протекало не в мысли: в домыслии; и — упавая в цветы, я любовью ко всем исходил в эти миги; знакомые души людей в их неявленном облике, всеобъясняющем, — видел; и — знал, что при встречах словами не выдам им тайны, отчетливо видимой.

Переживаясь этими разрешался: переживаясь пылкой любви — к "я" в себе ("Ты — еси" безусловно лишь в духе: там — равенство; братство же — здесь, на земле), понял внятно, что "Ессе homo"¹¹ описан был Фридрихом Ницше как факт бытия; продолжение факта закрыто от Ницше; оно — только в жемчуге слезном любви и восторга ("Я — все"); боддиставую¹² Ницше не стал: может быть станет им: в своих будущих странствиях он.

Переживанием "слез" умягчалась минута гармонии; тут перепрыгивал я чрез крутую канаву, перемогая историю; и — всходил на вершину плато; что-то мягкое-мягкое подступало из красного воздуха:

— "Жди меня".

Кто "Он"? Двоился (впоследствии, в Бергене, понял — кто "Он"); мои жесты в полях, весь их чин не был сходен с церковным, я думал не раз: "Он" — Антихрист. И все же Ему говорил: "Кто бы ни был — иду за Тобой". И — возвращался назад; за спиной потухали закаты; шумели колосья; и — вырастали откуда-то снизу вершины раскидистых лип; перепрыгивал через канаву (обратно): и уплотнял безвременность во временность, переводя язык ленетов (топольков) в свои мысли; огромный мир, прикрывая заботами дня мои мысли, сжимал мне до точки вторую действительность; и ничего, кроме радости тайны, не чувствовал я; но старался казаться угрюмым.

Угрюмые люди таят много радостей.

Переживания летних закатов во мне вызывали: чин службы; справлял литургии в полях; и от них-то пошли темы более поздних "Симфоний"; они мне пришли от "Него" (но я их искажил). Кто был "Он", как зародыш во мне обитавший?

— "Он — "Я" (с большой буквы), живущее в "я".

В эти годы внимательно я изучил все оттенки закатов; на полотнах художников безошибочно я указывал год написания их, если видел закат, изображенный на них, потому что я знал, что в годах изменялись закаты: до 1900 года светили одни; после — вспыхнули новые. Рудольф Штейнер отметил явление это; и — Неттесгеймский Агриппа¹³ указывал еще в XVI веке, что с 1900 года мы вступим: в иную эпоху.

Ее наблюдал из полей в годы юности: зорями; после погасили мне зори; они засветили — из Бергена; с "мига", когда поездок бежал в горы; и гребенчатая линия пиков сверкала осколками; веяли воздушы в лица; лазурные камни, впоследствии принесенные Штейнером на купола Иоаннова Здания, протянулись, покрытые пурпурным мохом, к стремительным льдам; а мы с Нэлли смотрели на женщину; женщина улыбалась темно-синими взорами; опраивала пышнейшие волосы цвета лучей, говорила она, что мы Солнца не знаем; я вспомнил — далекие "миги", пережитые когда-то.

Если бы чувствовать "миги", разъединенные друг от друга годами и чрез года объясняющие себя, то мы многое бы поняли; наше грядущее, крадучись Духом к нам в душу, свершается еще задолго до срока: задолго до бергенских образов жили во мне эти образы: "Мигами" юности, пережитыми во ржи — под напавшим закатом. И голос: "Ты жди меня" — был непреложен; дождался его; это он рассказал обо мне: повернул на себя самого.

Этот Голос во мне подымался в полях. "Он", впоследствии, выслал мне Нолли. Он вел нас в Египет: ко Сфинксу; оттуда — ко Гробу Господню; и этот голос раздался из голоса Штейнера (в Кельне, на лекции, озаглавленной на афишах: "Христос и наш век")¹. Этот голос во мне подымался в вагоне, когда, полный счастья и радости слез, быстро выбежал я на площадку вагона, вперяясь глазами в лазурно-зеленые камни, покрытые мхом, между Христианией и ослепительным Бергеном. Вдруг вздрогнул: и — поднял глаза; я увидел стоявшего на площадке вагона, соседнего с нашим, учителя, — в миг, когда Голос во мне моим бранным голосом внятно во мне произнес:

— "Времена — исполняются".

Строгим, отчетливым, незабываемым взглядом — в упор на меня посмотрел Рудольф Штейнер; гремящие летевших вагонов, пересекающих ледники, блески солнца и камни — слилось это все в один голос, излитый из строгого, грустного, нежного, вечного взгляда:

— "Уже времена — исполняются".

На площадке вагона, соседнего с нами, — никто не стоял: я увидел лишь стекла, блиставшие солнцем; летели мы к Бергену...

Как описать мне лицо моего дорогого учителя?

Неуловимо оно, как... небесный простор; то оно — старина, иссеченная четко морщинами; углубления, складки морщин перечерчены тенями, из которых глядят два внимательных глаза, способных то сжаться до точки, а то, расширяясь, выбросить сноп обжигающих душу огней; я сравнил бы их лишь с бриллиантами (будто, слетая на вас, две звезды расширяются в солнца); но — солнца исчезнут: останутся два внимательных черных зрачка; а лицо? Безбородое, четкое, твердое, кажется издали принадлежащим, конечно же, девятнадцатилетнему мальчику, а не мужу; и от него разлетаются токи невидимых вихрей и бурь, сотрясающих вас; беспредельному нет выражения; и мятежность лица — только в вас, если вы его видите, переживая душевный разлад: оно тишь и покой; пусть оно, поглядевши на вас, совершает над вашей душевной косностью действия, напоминающие взрывы бомбы; взрывается в вас г л у б и н а, рая в вас вашу видимость; взгляд, что вас встретит, горит за пределами человеческих представлений; ужасен в бессмертности он, обрывая в вас "д н о", открывая в вас "б е з д н у".

И вместе с тем то лицо выражает потоки восторгов страдания; бриллианты — глаза — две слезы, обращенные не на вас, а от вас — в свою собственную глубину; осветленным страданием мира посмотрит на вас Рудольф Штейнер; тот взгляд не забудете; из него подымается голос:

— "И Радости вашей никто не отнимет у вас"².

На лице этом вписаны тайны: последних судеб и последних культур; но смеющимся видел я это лицо — детски мягким, простым и доступным; и — расцвела, как роза, улыбка на сжатых устах.

.....

Неописуемой важности дни пережили мы в Бергене; их коснусь через десять лишь лет: и — теперь я молчу; я был выхвачен из обычного тела; быть может, пережил я себя совершающим действия мировые (в далеких моих воплощениях, когда люди перестанут, как люди, и — отношение ближнего будет как обращение высокого Будды: к высокому Будде).

Казалось: от ежедневных поступков зависит история; мелочи жизни текли, как обряды, во мне; ежедневные встречи казались перстами; горели огромные шифры на всем: и стекольными глянцами бергенских окон, и стаей закатов; старинное приоткрывалось во всем; и не камни, а горные кряжи Памира — уже попирали; был я всем, что я видел: ветрами, деревьями, месяцем; и, заливаясь слезами, старался я что-то такое сказать моей маленькой Нэлли, но Нэлли шептала испуганно мне:

— "Затаись... и молчи"...

Мы, гаяся, молчали.

Потом, в Копенгагене (переехали мы в Копенгаген), я встретил однажды на улице нищего; остановившись перед ним, был охвачен приливом любви перед этой убогою жизнью.

И — плакал (не знаю о чем); и раздавались слова мне из красного воздуха:

— "Я — это Ты".

В эти дни я поймал на себе взгляд учителя: взгляд мне сказал:

— "Остановись: отступи... Преждевременно".

Строгость прочлась: две звезды излетели из взора в меня; в то мгновение взмахами маленьких рук доктор Штейнер, пройдя мимо нас, нас приветствовал с Нэлли.

.....

В Базеле, в Лейпциге, в Дорнахе — все повторялось.

И Базель стоит предо мной, как знакомец; здесь в урне покоится прах близкий мне: Христиан Моргенштерн здесь был предан сожжению; руку пожал я ему; и — на пожатие руки он ответил мне взглядом, которого до сих пор не могу я забыть; повстречались мы в Лейпциге, на курсе лекций, разоблачающих тайну Грааля³; и — в городе, где получили свое посвящение в жизнь Рихард Вагнер и Гете (во время болезни); был мне Моргенштерн — старший брат, соединенный со мною любовью к учителю.

Около Лейпцига я посетил и того, что пришел ко мне радостный вестью о солнце (в полях, в годы юности): Фридриха Ницше.

— "Не "я", а Христос во мне "Я"..."

Это знание есть математика новой души: в ней запутался Ницше.

Когда относил я цветы на могилу его и припал, лобызая холодные камни, почувствовал явственно: конус истории от меня отвалился; я стал — Ессе Номо; но тут же почувствовал: невероятное Солнце в меня опускалось; я мог бы сказать в этот миг, что я — свет всему миру; я знал, что не "Я" в себе — Свет, но Христос во мне — Свет всему миру.

Впервые во мне во весь рост над историей встал Человек в то мгновение; в эти дни произошла бессловесная встреча моя с Моргенштерном; воистину: звезды нового утра горят — над зарею Второго Пришествия.

Переживания на могиле у Ницше во мне отразились приступами невероятной болезни: под Базелем, в Дорнахе, я безропотно их выносил.

Христиания через Берген вела к увенчанию моей бедной, большой головы: венцом терний.

Мне Дорнах стал "Дорн"ом*.

ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

Чувствую недоумение читателя; и — подозрительный взгляд, на себя устремленный; и, главное, не могу ничего возразить.

Знаю, знаю, читатель мне скажет, прочтя беспорядочно нагроможденные фразы:

— "Что же это такое вы нам предлагаете? Это — ни повесть, ни даже дневник, а какие-то несвязанные кусочки воспоминаний и — перепрыги..."

Все — так...

Покушение рассказать о событии, бывшем со мной, — покушение с "негодными средствами"; но "негодные средства" всегда подстилают подобранный для печати рассказ.

Здесь событие внутренней важности обыкновенно кладется в основу романа; событие внутренней важности не укладывается в сюжет; архитектура фабулы, архитектура стиля обыкновенно обстругивает подоснову сюжета, которая есть священное переживание души; от него попадает клочок; а "роман" преподносится; критика ищет "идею", вытаскивает ее не оттуда, где скрыта она.

Я напомию читателю, что великие драмы Софокла пришли из мистерий; их центры — "события внутренней важности", происходящие с потрясенной душой; но история драмы показывает, как членятся первоначальные импульсы драмы, выветривая сокровенные смыслы свои и рождая пошлейшие фарсы; история возникновенья театра от драмы до фарса — история возникновения любого романа в душе у писателя.

* Шип, терния (нем.).

Если нет у писателя той таинственной точки, откуда, как пар, поднимается лучеиспускание мифа, то он не писатель, хотя бы стояла перед нами огромная серия великолепных романов его; если же он закрепит не сюжет, а лишь точку рождения сюжета, произвольно положенную в основу сюжета, — перед читателем пробегут лишь "негодные средства": обрывки, намеки, потуги, искания; ни отточенной фразы, ни цельности образа не ищите вы в них; косноязычие отпечатлется на страницах его дневника; нас займут не предметы сюжета, а — выражение авторского лица, ищущего сказать; и — не могущего отыскать никаких выражений.

Так — всякий роман: игра в прятки с читателем он; а значение архитектоники, фразы — в одном: отвести глаз читателя от священного пункта: рождения мифа.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ДНЕВНИКА

Назначение этого дневника — сорвать маску с себя как с писателя; и — рассказать о себе, человеке, однажды навеки потрясенном; подготовлялось всю жизнь потрясение. И — разразилось однажды ужаснейшим вулканическим взрывом.

Предупреждающих толчков я не слышал; верней — полуслышал их я, не понимая реальности их священного действия на события жизни моей; выскажись я о них — и они показались бы сказкой. Я их брал как сюжет для своих фантастических повестей (разумеется, соответственно прибирая, гофрируя образом, стилем, — присочиняя к событиям, бывшим со мной, и события, не бывшие никогда).

Легкомысленное отношение к своей собственной жизни явилось отсюда.

Моя жизнь постепенно мне стала писательским материалом; и я мог бы года, иссушая себя, как лимон, черпать мифы из родника моей жизни, за них получать гонорар; и — спокойнейшим образом совершенствовать свои рифмы и ритмы; историки литературного стиля впоследствии занялись бы надолго моими страницами.

И вот — не хочу.

Обрываю себя самого как писателя:

— "Стой-ка ты: набаловался ты, устраивая фокусы с фразой".

— "Где твоя священная точка?"

— "Нет ее: перламутровой инструкцией фразы закрыл ты лучи, блещущие из нее тебе в душу"...

— "Так разорви свою фразу: пиши, как... сапожник".

Пишу, как сапожник.

О чем пишу? Не понимаю еще.

Пишу о священном мгновении, перевернувшем навеки все прежние представления о жизни; как будто бы бомба упала в меня; моя прежняя личность — разорвана; а осколки ее изорвали грунты отношений с людьми; быт всей жизни — иной.

Проистекающие отсюда последствия (в них я живу до сих пор) еще мне не понятны; бессвязность течения жизни, какая-то абракадабра — "л е с а" для постройки без самой постройки — преследуют с той поры мои дни; да, я знаю: привычки и навыки, воспитание, груды фальшивых прочитанных некогда книг заставляют меня называть обстающие происшествия вытверженными и неверными именами.

Шрифт, при помощи которого я читал книгу жизни, рассыпан; бессвязные буквы его мне слагают теперь ерунду; новый шрифт новой азбуки вылился; и отдельные буквы его вдруг упали в сумятицу старых, создавши при чтении шрифтов грубейшие опечатки.

Я знаю, что россыпь шрифтов свела с ума Ницше¹; сошел бы с ума; но не сойду с ума, потому что во мне развилась предприимчивость быстро прочитывать е р у н д у, происходящую от смещения шрифтов, и — говорить себе:

— "Да, — я знаю, что новая истина некогда мне прорежется; следует терпеливо смотреть на ее выходение из пробитых брешей отжившего мира"...

Так, видя на стенке изображение теневого черта, соображаем мы, что эта тень принадлежит только нам: наши пальцы слагают ее; так я знаю: работа над шрифтами выправит зрение; я — прочту правильно: напечателные событий духовных на жизнь.

Я — с ума не сойду.

УСТОИ

Потрясение перевернуло во мне представления об истинах жизни.

Устой обычной действительности для меня — ерунда; а устой грядущего — неотчетливо видны: запылены еще клубами только что бывшего взрыва они; еще пыль разлетевшейся почвы стоит предо мною; и проступающие духовные контуры, опыленные остатками жизни, предстали, как ряд парадоксов, нелепиц, невероятнейших совпадений и — удивительных случаев, которыми осыпает судьба; та судьба теперь — я; да, мне отданы в руки поводья коней, увлекающих колесницу действительности; нет возницы в ней: я образую действительность в месте, разрушенном взрывами.

Стало быть, погружаю себя в первозданные хаосы и описываю материалы сознания; в моем быте душевном изделия старые изнашивались; а новых изделий из взглядов, понятий, сюжетов, отчетливо образованных чувств еще нет.

Там, где искренен я как писатель, читатель увидит теперь лишь сплошные "н е г о д н ы е с р е д с т в а"; считает, наверное, лишь "негодными средствами" проявления русской действительности, которую он упразднил (упразднив в них... Россию!); и в дневнике своем я предлагаю вниманью "л е с а д л я п о с т р о й к и"; "п о с т р о й к и" (романа или повести) нет в нем.

Не скрою: могу до сих пор обмануть я читателя; и — в прежнем стиле преподнести ему уточнения контрапунктов из образов и красиво отделанных фраз; но ничего не узнает о подлинно бывшем со мною из этих художественных изделий; моя повесть недавнего прошлого есть кустарный музей из расставленных по порядку и ритмом блистающих фраз, представляющих собой: петушка, бэби, барышню и овечку; вот "кузнец и медведь", вот Пьеро...

И не скрою: быть может, я завтра же снова примусь за старинное укрывательство истины, которым так заняты искони утонченнейшие стилисты Европы; но хоть раз мне читателю крикнуть: орудие нашей работы — наш шрифт — ложь и фальшь: он — разбит для меня.

Моя истина — вне писательской сферы; могу я коснуться ее — одним способом: выбросить из себя в виде повести этот странный дневник моего состояния сознания, пребывающего в недоумении и не умеющего недоуменье выразить обычными средствами писательской техники.

В нагромождении "негоднейших средств" и "лесов" вместо здания повести — новизна моей повести; я — писатель-стилист — появляюсь пред вами сапожником стиля; и я, "столь умеющий" переживанья души облагать ритмом слов, предстаю пред вами в безритмиче этих клочков: то — клочки моей собственной жизни, которая взорвана.

События, упразднившие пред вами писательский лик, не со всеми бывают; и пусть я обыденнейший человек; да, но я — человек; профессиональные литераторы — часто не люди мы.

Знаю это по прежнему опыту я.

ЛЕОНИД ЛЕДЯНОЙ

Парадоксальности моего состояния сознания мне рисуют меня парадоксально стоящим в действительности; и я думаю:

— "Вот удивились бы люди, меня обстающие, если бы я показал им кусочек себя"...

Знакомые обыкновенно усердно выискивают предметы общения со мною; "предметы" — какая-нибудь культурная тема: проблемы истории, философии стиля иль мистики; это — "почтенные темы"; и я умею "почтенно" касаться "почтенных" предметов; "почтенные отношения" незаметно слагаются между нами; строится видимость "почтеннейшей жизни", в которую я погружен, как деятель определенной эпохи; и, захоти я, как деятель, увековечить себя для эпохи, мне стоило бы отдаться спокойному углублению мной же затронутых тем, признанных в настоящее время "почтенными темами".

Таковыми являются: философия и психология творчества, поэтический ритм, словесная инструментовка, история и теория символизма; я знаю: отдайся всецело любой из затронутых тем, — через несколько лет

напечатал бы я полновесный кирпич специальных исследований; несколько написанных кирпичей, — и вот я, академик, опочиваю: я — в славе.

У меня есть другое еще, заслуживающее уважение, "profession de foi"*: я — поэт, романист; романы мои хоть крутые и трудные для любительских чтений, но — почтенные по размерам и темам; отчего бы мне не написать и еще, и еще, взяв почтенную тему ("Россия", "Восток или Запад").

Мог бы быть драматургом я, вообще, мог бы я написать еще несколько поэтических книг, может быть, оцененных; и даже — переведенных; может быть, кое-что я из этого всего напишу.

И я мог бы быть профессором (биологии или... химии); области микробиологической техники до сих пор занимают меня. Но я знаю, что знаю: в области, где оценка людей совершается по профессиям их, — убежал я от собственных, настоящих профессий: стиль сонат, мне звучащих, пожалуй бы, был оригинальной романов, написанных мною; стиль не созданных мною полотен, — мне ведом; был резчиком я по твердому американскому дубу; и в этом занятии провел — год; даже раз я попал, невзначай, в музыканты: играл на втором барабане (вообще занимает меня роль турецкого барабана в оркестре: здесь можно сказать; и — выразить свою душу не хуже, чем в повести).

Моя настоящая деятельность лишь случайность дорожного происшествия, жертвой которого я пал; произошла юмористическая пертурбация путей моей жизни: человека отправили в Петербург, снабдив адресами и солиднейшими рекомендациями, а по досадной оплошности сел он не в тот вовсе поезд; и — попал в Нижний Новгород; по дороге же был обокраден; случайно расторговавшийся спичками, он оказался владельцем солидного дела, умело ведущим его.

Так и я: я — случайный писатель.

"Почтенные" отношения на почве "почтенных" литературных занятий моих мне смешны; они — фикция; я позволяю развиваться ей, как ей угодно; печатаю книги и заседаю в комиссиях, будто бы я — литератор и будто бы литература моя — моя "точка". (Почему же не музыка, не биология, не коммерция, не резьба, не второй барабан, не литавры?)

Оттого, вероятно, в моем поведении литератора и есть что-то, подчас заставляющее "профессионалов" любимого дела на меня озираться; многие мне боятся довериться; я кажусь переменчивым, хамелеоном, неверным; оттого-то и братья-писатели зачастую измеряют мою деятельность подозревающим оком:

— "Нет, не братское в нем".

Да, я враг "профессионального братства"; но я могу быть "товарищем"; понятия "товарищества" и "братства" — понятия несоизмеримые.

* Призвание (фр.).

Да, и я — специалист: но моя специальность не отразилась в моей специальности.

Моя специальность — исследовать возникновение специальностей; потенциально "я" — все и активно — ничто.

Потенциальное "все" моей жизни мне долго осталось не вскрытым; я не раз с удивлением останавливался перед какою-то точкой в душе и наблюдал, как из этой невскрывшейся точки души, точно молнии, мне блистали возможности быть чем угодно; возможности многообразнейших жизней вставали во мне.

Осуществленная моя жизнь — жизнь писателя — лишь одна из возможностей, такая же, как другие; и оттого, что я видел другие возможности для себя, я к себе, как к писателю, относился рассеянно, нехотя, с юмором; иногда — с явной злостью; мельчайшие события моей человеческой личности отвлекали надолго меня от долга: печь книги (я пек их в достаточной мере, но, признаюсь, мог бы печь их в удвоенном темпе без ущерба для их содержания); года я провел, не напечатавши ни единого тома, над решением личных задач.

Казалось мне: человек а и нет в человеке; и все, что называем мы "человеческим", обнимает лишь частности, черточки, специальности человеческой жизни; "человека" в себе ощущал я той точкою, из которой блистали многообразия человеческих жизней моих (лишь случайно избрал я одну); ощущал я в себе столкновение многих людей; многоголосая стая — мои двойники, тройники! — перекричала во мне специальность поэта, писателя, теоретика; искал я гармонии неосуществленных возможностей; и приходил к представлению "человека", которого нет в человеке; мы все "человеки" (лишь с маленькой буквой) — футляры Его, Одного.

Инстинктивное желание бросить бомбу в футляр человека, в "футлярные" книги писателей, в "футлярные" книги себя самого, — производило, должно быть, во мне впечатление, будто я — переменчив, изменен; "писатели" подозревали меня.

Я им всем заговаривал зубы; не будучи в состоянии вскрыть своей подлинной точки, я стал заговаривать зубы себе самому.

Тут меня и постигли серьезные затруднения в моей внутренней жизни.

Себе самому поперек своей жизни я встал, как писатель, входящий в известную моду.

"Леонид Ледяной" (мой писательский псевдоним) превратился из тени в меня самого; повторилась сказочка Андерсена о тени¹; судебные следствия тени над обстоятельствами моей собственной жизни, ее тирания, сперва угрожала тюрьмой: заключением в футляр, а потом и лишением жизни.

Со стиснутыми зубами я видел, как "Леонид Ледяной", столь радушно воспринятый себя уважающим обществом, оклеветывает меня, и — отстраняет от жизни; он таскает меня за собою, голодного, нищего, заставляет ложиться под ноги себе, на торжественных, литературных

собраниях выступает с речами и адресами; отнимает еду от меня; протяни только руку за пищей, и — "Леонид Ледяной" с удивительной жестокостью бросит под ноги неутоленным, голодным — меня.

Голос мой — человеческий голос — стал голосом тени: безгласно я рот раскрывал под ногами у тени, укравшей мой голос; "почтенные личности", расточающие комплименты "тирану", меня убивавшему, не обращали внимания на меня; я — стал фикцией, оклеветанной литературной тенью, пользовавшейся моими руками, ногами и голосом для появления своего на подмостках публичной арены.

Замыслил ей месть.

По отношению к почтенным хвалителям "тени" отлагался во мне просто дьявольский план: свергнув "тень", появиться пред ними в своем собственном, человеческом виде и удивить их собрание "непочтенностью" своих стремлений, манер, вкусов, стилей, увы, нарушающих традиционное одеяние "Ледяного" — скроенный хорошо, длиннопольный сюртук.

По отношению к "Ледянному" тогда я писателя суровую меру: литературную честь я старался отнять у писателя взрывами боли и злости, порой ему поргившими литературный язык (это я, пробираясь украдкой, в великолепную сферу его благородно отточенных фраз, представлял эти фразы и вкраивал в них просто уличные словечки).

По мнению критиков, стал "Леонид Ледяной" отдаваться полемике самого низкого сорта, его недостойной; и в поведении "Ледяного" подчас проступали черты, нарушающие величие его стиля и тем: его видели пьяным.

То я, извиваясь в нем, рвал достоинство поэтической поэмы.

Наконец, я решился на крайнюю меру: убрать его вовсе; эта крайняя мера сперва приняла искривленные формы во мне: знаю явственно, что он — паразит, что без жизни моей существовать он не может, решил я себя лишить жизни; и — этим поступком прикончить гнуснейшее существование "паяца" и "клоуна" человеческих устремлений моих.

Может быть, этим бы я и кончил, если бы не появление "странной звезды" на моем горизонте, заставившей меня бросить все, что обстало меня; и — идти за "звездой".

Не странно ли: "Леонид Ледяной", обнаруживший силу в борьбе с моей волей, тут как-то смяк, как надутая воздухом кукла, изморщился, сплюснулся, переходя из трехмерного состояния в двухмерное, как подобает приличной и не забывшей себя плоской тени, темнел; и — покорно лег под ноги мне, когда стал я воистину "странником", шествующим за звездой своею: звезда привела меня к яслям; там, в "яслях", младенец лежал.

Событие неопишуемой важности заключалось в том, каким образом я убедился, что этот "младенец" есть "я", мое, — "точка" моя, до которой коснуться не мог я; во мне, человеке, родился теперь человек. Был он, правда, младенцем еще, но я нянчился с ним, я любил его.

Я его никому не отдам.

Я — стал "Я" (с большой буквы).

А "Леонид Ледяной", водворившийся прочно в салонах Москвы, к моему великому счастью, был объявлен предавшимся бредням и истощившим свое дарование (я впоследствии вновь подшутил над провидцами литературной стилистики, написав не от имени "Ледяного", от себя в стиле барокко: они ее приняли).

Я теперь убиранию стилистику и — объявляю вам всем: отныне я стану писать, как... сапожник, "негодными средствами" не оттого, что я в бреднях моих истощил дарование, а оттого, что "дарование", которое чтите вы, — фальшь, обычная фальшь; этой фальшью себя мы обманываем и закрываем возможность в себе стать людьми: убиваем младенца в себе, точно воины Ирода. Этим воином, гнавшим младенца, был я. Ослепительное Видение на пути со звездой меня обратило: и я ухожу от вас — пышные, сильные и богатые мертвецы обреченной на гибель действительности, к новорожденным побегам грядущей Весны; не Фарисеи, а Мытари видели свет; не патриции великолепной культуры, — а чернь вынесла своей кровью "становление" христианства.

Полюбите нас черными: не тогда, когда в будущем выветвим мы на поверхность земли великолепные храмы культуры: полюбите нас — в катакомбах, в бесформенности, воспринимающих не культуру и стили, но... созерцающих без единого слова Видение Бога Живого, сходящее к нам.

ДВА "Я"

Восхождение новой звезды и мечты о "младенце" нас вырвали с Нэлли из прежней, густой атмосферы; и оказались: перерождением нашей внутренней жизни; события перерождения этого, если измеривать их в мелких атомах распыленного прошлого, образуют отчетливо при сложении вновь этих атомов: невероятнейший миф.

Зарисовать невозможно его; только тысячами проекций, многообразьем подходов — несовершенно, неявственно вычертится грунт события, на который и предлагаю я встать, как на почву; но с этой почвы откроется: правда о будущем.

.....

Второе пришествие началось.

Этой правдой и был я исполнен, отчетливо не сознавая ее; образовала она в душе моей точку, отталкивающую от себя все почтенные виды занятий для поддержания благоустроенной жизни, которая безвозвратно проходит; во взрывах, в катастрофах и в пожарах развалится старая жизнь; эти "взрывы" уже совершаются в тех, кто себя начинает готовить к событиям Новой Эпохи, которой, как Солнцем, освещены наши души.

Вне нас — еще серая, вихрем крутимая, пыль (перед ливнем — из тучи потянет вдруг ветер: и — крутятся пылевые смерчи; мы — в их зоне).

И из нее, этой пыли, приподнялись на мгновение — Нэлли и я потом снова упали; мы знаем размеры событий: и настоящее наше, желающее отвертеться от миссии, шлет своих призраков: и господин в котелке, высылаемый сэром, старается оклеветать мои действия.

Самое бытие мое есть неприличнейший крик перед жизнью, уже обреченной на гибель; и оттого-то я страшен, я властен не страхом и властью, а — полной беспомощностью; печать верного знания, вынесенная как воспоминание о странном событии, бывшем со мною, — наверное проступает, для них, как бы я ни упал.

Оттого-то они ненавидят меня: за беспомощность; и за то, что меня необходимо убить (сопротивляться не стану я); их мечи — клевета и инфекция моих состояний сознания ядами, разлагающими мне душу; мой меч — беззащитность; и — гибну душою моею; но я гибну, любя.

.....

Начал я с описания посещения консульства, где сидел, весь охваченный странной болезнью своей: и — продолжил вот чем; но, чтобы стала понятна болезнь, надо вникнуть в приливы здоровья, которыми преисполнилось все существо: до войны; ведь болезнь — только следствие жизненной силы, меня пронизавшей (а сила спустилась во все существо).

Передо мною восходит моя несравненная Нэлли, как звездочка утра, предвещающая явление Солнца; но явление Нэлли — подготовлялось жизнью моею; сказать странно: я чувствовал Нэлли, когда был ребенком (между нами лежит десять лет); еще мальчиком, четырехлетним, порою я чувствовал: нежность и зов; будто теплые играли лучи; это Нэлли, еще нерожденная, опускалась на землю; и — замышляя план жизни своей, увидала от т у д а меня, посылала ко мне свои лучики; лучики грели.

Впоследствии, лет через двадцать, мы встретились, мы узнали друг друга: нашли; и оттого только Нэлли могла меня вывести из подполья, в которое засадил "Л е д я н о й", расположившийся надо мною в великолепной душевной квартире, где он, натирая паркет, над головою моею стучал каблуками. Чтобы мне описать узел фактов, слагающих невероятности бытия, и — слепительный центр между нами ("м л а д е н ц а" во мне), вижу я — мне придется опять отступить и провести вереницу из лет, образующих пьедестал: для д р у г о й м о е й ж и з н и.

Разыграется ли "Я" во мне в ныне данном моем воплощении, или "Я", теперь ясное мне, — только "Я" воплощений грядущих, и в них оно скажется, — этого я не знаю; но знаю одно: я — умершая оболочка для "Я"; я — футляр Человека; и этому Человеку служить буду я; что случится с моей оболочкой? Вернее всего, что погибнет она; в настоящем они не позволят вскормить мне "младенца" (условия исторической жизни еще не созрели для этого); и потому: ощущаю себя я щитом, подставляемым под удары судьбы — для защиты с в я т ы н ь.

Я себя ощущаю корявым, мозолистым гномом, исполненным нечистоты и порока, перед которым поставили чашу, наполненную драгоценным

вином; все мое назначение, может быть, осторожно поднять над собой драгоценную чашу; и до священного места ее донести, передать ее рыцарям; одно время я верил, что я — удостоюсь: Причастия; от причащения этого закипит моя кровь; может быть, вся болезнь — в перемещении сознания, от подсознательно снедающей мысли, что еще здесь, на земле, преобразование совершится, и я, Парсифаль¹, искуплю свою страшную амфортасову рану. Происшествия мои напоминают мне эпизод из легенды: я принят случайно на Мон-Сальват; и уже совершил кощунство (убил лебедя); рыцари Мон-Сальвата меня удалили насильно из священного места. Все-таки в будущем (через два или три воплощения) состоится мое посвящение: в рыцари!

.....

Воспоминания о священнейших мигах моих (Христиания, Берген и Дорнах) — мне чаша: несу ее; в чаше — "младенец"; а прежняя жизнь — облетевший цветок; наливаются в настоящем в нем плод; моя жизнь в настоящем — корявые коросты: оболочка живейшего семени: лишь после смерти моей из растресканных створок сухой оболочки (из тела) в "миры" побежит длинный стебель; и листья на нем будут мне измерением пребывания моего в сферах²: Солнца, Луны и Меркурия: стебель выкинет чашечку; мне окажется чашечкой материнский покров моего воплощения в будущем; а из чашечки развернется и венчик (или жизнь моя в будущем); расцвету я не здесь (я — отцвел); но я венчик цветка голубого³ в себе уже знаю; он — Грааль, я его, над собой приподняв, понесу.

Происшествия перемещения сознания, происходящие со мною повсюду, во мне отдаются, как проникающие лучи странной жизни; то жизнь моя в будущем; вот ее-то подчас переносу я в события этой жизни моей; я порою приписываю себе совершенства, которые принадлежат Человеку; то есть осквернение Чаши.

После каждого перемещения сознания, после каждой ошибки в умении отмежевать "я" от "Я" — нападает Клингзор, или сэр, неизменный доподлинно мне в своем временном облике (может быть, — он владелец коттеджа в Шотландии, а может быть, — приор⁴ почтеннейшей иезуитской Коллегии): но его знаю я хорошо — там: в душевно-духовных пространствах; в свои прошлые годы его попытался отчетливо я изобразить в "Петербурге"; он есть — Аполлон Аполлонович Аблеухов, известнейший бюрократ; "бюрократ" начал мстить за попытку дать лик его миру; он всюду таскался за мною, порой разливая гнетущую атмосферу тоски в наших комнатах; Нэлли заметила это; однажды сказала шутливо она (это было давно, под Парижем):

— "А знаешь ли, нам пора уезжать; я заметила в комнатах наших опять твоего "бюрократа".

Видел его я отчетливо (в подлинном виде) — перед отходом ко сну; и мне бросился образ: кровавая, красная комната; посредине нее, весь отделанный черным, стоял аналой; а на нем возлежала старинная книга; над книгой склонялся в пламенной мантии и в берете, стоял — ОН, мой

враг: я узнал его мертвые уши, огромный, желтеющий лоб и провалы холоднейших глаз; любопытно, что в это же время за окнами мы слышали с Нэлли шум ветра (гроза начиналась); еще любопытнее: вскрикнула Нэлли; к ней прыгнула, запищав, на постель: обнаглевшая мышь.

Несколько дней донимали нас мыши; мышата переползали по комнате, освещенные солнышком.

Но непростительно я отвлекаюсь: мне надо вернуться; я сел уже в дорнахский поезд; через мгновение должен я соскочить; и — очутиться перед горбатым холмом, сверху донизу густо заросшим зелеными вишнями; из-за вишен, оттуда я должен был снова увидеть: два купола Здания.

СНОВА В ДОРНАХЕ

Дома не было Нэлли. Я знал, где она; и я к ней побежал — туда, вверх: на холм; по дороге, спускаясь с холма, мне навстречу попались друзья, молодые люди в широкополых, заломленных шляпах, одетые в бархатные рабочие куртки и в короткие панталоны: вот Б***; он — голландец; и он сочиняет прекрасную музыку; вот — Д***; он — норвежец, художник; и тот и другой, остановивши меня, восклицали:

— "Как, Б***, не уехали вы? Или не отпустили?"

Обоим пришлось рассказать о происшествии в консульстве:

— "Возмутительно, гнусно, цинично... ведь вы — русский подданный: что же молчит ваше консульство? Почему допускает оно?" ...

Я пожал лишь плечами; и — побежал от них вверх.

Попадались навстречу мне дамы и барышни; в летних, лепечущих туниках; и разноцветные столы от них разлетались по ветру; у этой — лиловая; и бледно-розовая — у той; снова мне, на мгновение задержавшись, пришлось передать неудачу, постигшую в консульстве.

Покрасневши, мисс М*** (молодая цветущая барышня в розовой столе) сказала:

— "Если вам, monsieur Б***, нужно что-либо, я для вас постараюсь" ...

Но я бежал вверх, потому что я знал, что и П*** и Д***, как мисс М***, уже кончили, вероятно, дневную работу; и вероятнее всего, что я встречу мою ненаглядную Нэлли идущей домой; между тем мне хотелось ее непременно застигнуть врасплох: во внутренности портала; выхватив молоток и стамеску из маленьких ручек ее, прикоснуться к работе; после гнусного дня мне хотелось: бездумно стучать среди щелок, ведя деревянную плоскость гигантской изогнутой формы, которую подготавливал я для Нэлли все это последнее время.

Вот уже — на холме; освещенный косыми лучами заката, гигантский портал, выступая под куполом, розовел перламутрово-желтою, крутолобою формою, видною за несколько километров отсюда; этот странный портал поднимался с широкой, бетонной площадки дичайшего серого цвета; мне зияли, как странные дыры, и окна, и входы в Иоанново Здание; эти последние состояли из ряда бетонных колонок, напоминающих колос-

сальные зубы огромного, черною пастью разъятого, рта; первый этаж был бетонный; образовал он площадку; с нее-то вот и поднялся деревянная масса, граненная формами, образуя два круга, входящих друг в друга; и линия соединения куполов образовала воздушный и легкий зигзаг; та манера, с которою купола оседали на Здание, была чудом строительных достижений: об этом писали в швейцарских журналах.

Уж я среди привычного лабиринта углов, косяков, коридоров и комнат бетонных пространств, вызывающих каждый раз воспоминание о забытых мистериях, совершившихся некогда; находя себя здесь, в этих комнатах, ты не веришь, что, выйдя отсюда наружу, очутишься ты: среди ландшафтов XX века в Швейцарии; кажется: как сюда ты попал? Представляются ивственно: дичайшие коридоры, углы, косяки, дуги арок (и все из бетона) своим сочетанием цветов (черно-серых) суть выдолблины сокровенного подземного храма; вот-вот ты увидишь: навстречу блеснут факелы; и появятся птицеголовые мужчины с жезлами — вести тебя: к посвящению.

Но, попавши на лестницу, подпираемую каменными глыбами допотопных форм жизни, взбежавши оттуда наверх в круглый зал (в область дерева), — все изменялось: и впечатление, что в недалеком ты прошлом, в будущем человечества: охватывало стремительно.

Уже я пробежал это все: и вот я — в колоссальном портале, загроможденном лесами; откуда-то сверху посыпались щепки; одна угодила мне в лоб, поднял голову вверх:

— "Нэлли, Нэлли".

Откуда-то сверху меж досок и бревен просунулась торопливо головка; и — засмеялась радостно: Нэлли моя.

По приставленной кверху расшатанной лестнице стал я взбираться наверх; мы стояли под формами; и — улыбались друг другу; в огромные прорези окон смотрели окрестности; и — распахнулся отчетливо воздух; и синие гребни Эльзаса смотрели оттуда; там — бухала пушка.

ИОАННОВО ЗДАНИЕ

Я стою посредине огромного круглого зала; и, проникая тяжелую толщу лесов, представляю себе этот зал, каким будет он выглядеть по окончании постройки.

Представьте четырнадцать гранных и мощных колонн (в поперечнике каждая — занимает не менее полутора метра); колоннада обходит пространство отчетливым кругом; асимметрично стоит пятигранник колонны, на шестиграннике цоколя; все четырнадцать цоколей, как колонны из дерева; и отношение углов пятигранников к шестигранникам переменяется всякий раз; по отношению к цоколю асимметрична колонна, как бы образуя капризнейший сдвиг; сумма сдвигов слагает гармонию; кажется, — круг из колонн завертелся; и хочется ухватиться рукой за что-нибудь; головокружение нападает в л е т а ю щ и х стенах от впечатления п л я с к и

колонн; пьедесталы колонн прихотливо иссечены; переменяется тема орнамента формы; так: все капители — меняют орнамент; орнаменты — бессюжетны; неизъяснимая прелесть их в этом; они образуют градации странных кристаллов, кристалловидных растений и чаш; пересекаются под углами их плоскости.

Явственно, четко распались четырнадцать стройных гигантов на два полукружия (по семи колонн в каждом); и каждая пара меняет орнамент: седмижды меняются орнаментальные линии; и седмижды меняется самое качество дерева: семь цветов — семь пород: белый бук, чуть желтеющий ясень, кровавая вишня, отчетливо бронзовый дуб, темный вяз, белый клен, перламутрово-нежные тоны березы.

И, опираясь на них, на размашистом шаге крутых и косых полудужий — построена: великолепная фантастика архитравов, прыгучих и гранпых, соединяющих с куполом; многограние их образует во мне фугу Баха; простой лейтмотив над колоннами белого бука — гранится, сложится, змеится; попарно взлетели граненые архитравные формы: между колоннами вишни и дуба; и — далее, далее: между березой и кленом — невероятные сложности все того же простого мотива: так тема в вариациях осуществляет себя: истечением форм; точно стены, срываясь с мест, начинают кидаться по всем направлениям; перепружились, заходили на дугах их мускулы; п л я с к а колонн и летание стен — кружит голову нам; с чем не справился гениальный Роден, здесь достигнуто в архитектурном задании; именно: явлена форма в движении.

И оттого-то, вступая в пространство огромного зала, которого пол — под углом, начинает казаться, что стены разорваны; неизмеримости отовсюду глядят через разрывы.

То — зрительный зал; пересекается круг его с меньшей окружностью сцены, которая, как и зрительный зал, состоит: из живых полукружий колонн (по шести колонн в каждой); градация дерева здесь берется в обратном порядке; орнаментальный мотив капителей иной; и — более раскиданы в гранностях архитравные формы: они притекают, сплетаясь в изощренья кристаллов к простершейся пентаграмме, напоминающей Человека, раскидывающего две руки; и под нею теперь, без меня уже высекли деревянную статую: здесь стоит сам Христос, иссеченный из дерева¹.

Остановившись посередине круглеющей залы, увидите вы, когда вставят-ся стекла: из-за колонн проникают ее отовсюду цветные, неверные светочи, пропускаемые рядами оконных триптихов — из очень толстого цветного стекла: фиолетового, ярко-красного, розового, зеленого, синего; в стекле врезаны линии посвящения; эта с в е т о п и с ь (то есть живопись на стекле) образует искусство, изобретенное Штейнером; ярко-красные, синие и зеленые блики, колеблясь лягут на гранные полукруги колонн; будет днем разливаться здесь красочный полусумрак, сверкая зигзагами прорезей света; и архитравные формы, и купол утонут в мерцающем красочном кружеве полусумерок; вечером, при электрическом свете погасятся стекла; и вспыхнут гигантские архитравные формы; и вспыхнет кровавая, красная к р а с к а из к у п о л а: там, в бурных высях, из ураганов огней — Э л о г м ы² творят: свет и звук.

Я стою посредине огромного, круглого зала и созерцаю все формы: вон — "Марс", вон — "Юпитер" (колонны и архитравы посвящены здесь планетам; мы, резчики, называли их попросту — "Марс", "Сатурн", "Солнце"; и — говорили друг другу: "На чем вы работаете?" — "На Юпитере"); и "Юпитер" и "Марс" — архитравы, которые добросовестно мы вырезали под руководством жены моей Нэлли; на "Марсе" мы начали нашу работу по дереву; помню: когда-то разлапые, архитравные формы, как допотопные носороги, стояли еще на земле — под навесом сараев; мы целое лето, с утра и до вечера, взгромоздившись на них, выбивали из них изощренные плоскости: "Марс" и "Юпитер" мы вырезали непосредственно пред объявлением войны; эти формы на длинных, тяжелых цепях были вздернуты кверху, укреплены над колоннами; осень военного года работали мы над наружными, надоконными формами; зиму же, взгромоздившись под купол и облепивши наш "Марс", дорезали его; всю весну и все лето 1915 года — оканчивали "Юпитер"; "Юпитер" и "Марс" — наши формы; люблю их, как малых детей своих; эти формы, как знать, — не увижу я более: если увижу, — увижу в иной обстановке; увижу их снизу: не поднимусь вновь под купол.

Прощайте же "формы", в которые я вколотил часть моей жизни: теперь она — там, высоко-высоко-высоко; часть души моей выше меня самого!

Как же могли это все мы создать? Я не знаю. Я знаю наверное: если бы нас предупреждали заранее, что мы едем вырезать именно эти огромные формы, мы не приехали б в Дорнах; показалось бы просто безумием приниматься за тяжелое дело; мы ехали в Дорнах, чтобы быть там полезными, не представляя себе, чем же именно; мне казалось, что если бы поручили мне подметать только щепки, и то я считал бы себя очень счастливым. Как же случилось, что мы это все вырезали?

Приехали в Дорнах мы первого февраля 1914 года; все первое время чертили и красили планы; потом, уже в марте (нас было еще человек двадцать пять: после съехались сотни работников), нас собрали в полуотстроенном помещении из бетона: пред капительною формою; Штейнер, вооружившись стамескою и наблюдая модельку из гипса, стал быстро вырезать Сатурнову капитель, давая нам объяснения: мы, собравшись кучкой, следили внимательно за штрихом его острой стамески; такие сеансы не раз повторялись; впоследствии мы разбились на кучки; образовалось четырнадцать кучек из нас (по числу капителей); за каждой присматривал резчик-художник (член нашего Общества); быстро освоились мы; через месяц, в апреле, мы были разбиты на новые группы; и выбрали руководителей; каждая группа взяла архитрав; нам досталась дубовая масса для "Марса"; нас было четверо: я, Нэлли, сестра ее³, муж сестры; руководителем архитрава назначили Нэлли; она — проверяла работу, она вычисляла, какое количество сантиметров дубового дерева нужно оставить; какое количество — снять; доктор Штейнер, следя за работой, почти ежедневно нас всех обходил; он очерчивал плоскости углем; и объяснял все, что нужно.

Начальства же не было. Иоанново Здание строилось анархическим принципом: был оркестр инструментов; и был — дирижер; указания давались, как импульсы, как посвящение в планы работы, но выполнение было — свободно.

Иоанново Здание убеждает меня в том, в чем я сомневался всю жизнь: в коллективном строительстве; коллективное творчество осуществило Иоанново Здание.

Мы работали с девяти до двенадцати; ровно в двенадцать веселыми толпами мы опускались к кантине, под холм, где готовился вкусный обед; после мы отдыхали до двух в животечных беседах и в смехе порою или же забирались в густую траву; а в два часа шли на холм; далее, проработавши приблизительно два часа, шли пить кофе; с пяти до семи с половиной опять мы работали; после — шли ужинать; по субботам и воскресеньям в сарае читал Рудольф Штейнер нам лекции: но бывали периоды, когда он читал каждый вечер.

По вечерам начиналась новая жизнь: репетиции "Эвритмии" и эвритмических постановок; дневные работницы, облакаясь в легчайшие туники, изображали жизнь звука — в движении; репетиции "Эвритмии" чередовались с репетициями оркестра и хора; густая, прекрасная, странная, но извне непонятная жизнь.

И надо всей этой жизнью блистали в зорю бирюзовые, ясные купола; на них глядя, я чувствовал нежность любви: ни к чему, ни к кому...

Ночью же караулили мы Иоанново Здание; как любил эти вахты я.

Ночь: под тобою из зелени ясно горят огонечки; вокруг — ни души; позади — торчат гребни отвесного Гемпена. Фосфорическим блеском луна наливает пространства; и блеском мерцают два купола: ты идешь с фонарем, в переходах, в слепых закоулках бетонного первого этажа; вот и лестница, подпираемая каменноногими глыбами, и колонки с зияющей между ними дырою темнейших пространств: коридоры, углы, косяки, дуги арок своим сочетанием цветов (темно-черного с серым) напоминают какие-то выдолблины сокровенного храма; и кажется, что навстречу блеснут факелы, что появятся люди с жезлами.

Ты — вот в зале; повертываешь электричество; и — пред тобою возникают миры из лесов, перекадин и балок с едва проступающим контуром формы; неповторяемы кривизны этих стен, неповторяемы архитектуры колонн этих входов: точеных, оскаленных ртов; смутно кажется, что ты крошечный — внутри черепа; там в глубине — будто Кто-то, Кого ты всю жизнь смутно ждал: по ночам Он проходит по этой немеющей зале.

Вот выходишь наружу; и — ты на веранде; с веранды открыты просторы; окрестности мирны и тихи; спускаешься и обходишь сарай; перед тобою два купола... из фосфорических блесков; оттуда слетает к тебе дуновение — то самое; а какое — не знаешь; оно отдается в душе: не забываемым никогда.

Обходя с фонарем полукружия Здания, я вспоминал, что два купола эти увидены мною давно еще, в юности.

Переживание, о котором хочу здесь сказать, произошло в тихой церкви; я был гимназистом тогда.

Церковь я посещал по обычаю; мне там нравилось пение, золотая парча, облака фимиама; и нравилось мне наблюдать, как хромающий диакон, выпячивающий перекошенную, большую губу, от которой висели редчайшие, жесткие волосы, громоносно гласил "п а к и , п а к и"; казалось, он — жрец, мне связавшийся с воспоминанием об идоложертвенном мясе; любил наблюдать я дьячка в полосатеньких, синеньких брючках, всегда разводившего хрипоту своим возгласом: "Иисусе Сладчайший".

Я в церковь ходил, как в театр: воспоминанием о каких-то забытых обрядах, по существу очень страшных, вставала мне церковь; и если бы и уплотнил переживания, возбужденные диаконом, в образы, — получился бы образ пустынной кремнистой страны, прозявавшей глубокими дырами черных пещер, из которых бежали жрецы, оставляя сухой истощенный, покрытый кровавыми струпами люд и отдавая его во власть демонам, обитающим пещерные дыры; среди кремнистых уступов стоял там престол с опрокинутой, идоложертвенной чашею; жители этой страны изнывали в ужасных, чудовищных формах душевной болезни, происходящей от в души вгрызавшихся демонов, соединенных с несчастными душами пассами прежних, бежавших жрецов, полагавших, что пассами этими вводят они Божество в души смертных; но уж столетия были оборваны проводы между ними и Богом; при всякой молитве за душу, чудовищный бес опускался в ту душу; и — мучил ее; переполнилась бесноватыми местность: жрецы перепортили все население этой страны: и — сбежали; с тех пор в каменистой стране нет жреца.

Так во мне уплотнялся блистающий образ иконостаса с двумя боковыми дверями, задернутыми ярко-красным атласом, когда из дверей на амвон с "п а к и , п а к и" выхрамывал диакон, выпячивая перекошенную большую губу, от которой свисала щетина; наш диакон с дьячком отображались жрецами, соединяющими души смертных с бесами; и пребывание в церкви скорей тяготило меня; г о в е н и е представлялось мне делом опасным; не то чтобы я отрицал происходящее таинство; скорее во мне подымались подозрения, что это все так, да не так; это — было когда-то; потом — изменилось оно; но про то не узнали священники; и с тех пор превратились они просто в жреческое сословие; мне казалось всегда: а быть может, есть где-то и н о е служение, если есть оно, с ним-то я связан.

Переживанья эти однажды во мне разыгрались: г о в е л я ; стояла страстная неделя; то было, мне кажется, в среду; стоял, прислонившись к стене; и — сотряс меня образ: как будто бы стены судеб моей жизни раздвинулись вместе с упавшей стеною столетий (церковной стеною); как будто бы церковь оборвалась одною стеною в н и ч т о ; я увидел к о н е ц (я не знаю чего — моей жизни иль мира?), но будто: дорога истории упиралась в два к у п о л а : Храма; и — толпы народа стекались туда; будто выборные от

всего человечества, облеченные в блеск и виссон, простирались сквозь звуки и краски в н и ч т о, обрывавшее все.

Я впоследствии понял: н и ч т о был обрыв моей собственной жизни — лет в тридцать; и — слом всех путей, совершившийся в тайнах души; за обломом вставал новый путь, меня ведущий к двум куполам Иоаннова Здания; только я видел два купола золотыми, а не лазурными вовсе; над ними вставало огромное Солнце.

Концепция невероятнейшей ясности осенила меня; понял я, что кончалась история: драма судьбы моей — драма, которую переживет скоро весь мир; увиденный храм я назвал про себя "Храмом Славы"; и мне показалось, что этому Храму уже угрожает Антихрист; я выбежал, как безумный, из церкви: пошел — я не знаю куда; я опомнился на обрывистом склоне... у моста; и образы ослепительной ясности пронеслись во мне, отцарапывая от души слой за слоем: то были видения Апокалипсиса, воплощенные в современную жизнь; понял я, что огромные судьбы приблизились.

Вечером в своей маленькой комнатке набросал я план драмы-мистерии; и его озаглавил: "Пришедший"¹; и скоро потом набросал я весь первый отрывок (несовершенный до крайности); в 1903 году Леонид Ледяной окончательно этот отрывок испортил, приготовив к печати его; драмы я не окончил; в душе моей драма-мистерия приняла очень сложные формы.

Теперь только понял: не напишу никогда моей драмы-мистерии потому, что сам уж вступил в ее сферу; я сам уж участник событий, ведущих к катастрофе; что есть "Х р а м С л а в ы"? Я думаю — "Солнечный Град", опускаемый в сердце, намек на него — есть то здание, которое высекали мы с Нэлли: И о а н н о в о З д а н и е.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Владимира Соловьева я видывал и до события, бывшего в церкви; из сумрака лестниц, в подъезде сутуло качалась навстречу фигура его; меха пышной шапки топорщились; поднимался в квартиру М. С. Соловьева¹, с семейством которого связан был я и который до смерти своей проживал в нашем старом подъезде; и вот: приходя к Соловьевым, порою, встречал я Владимира Соловьева за шашками: не уделял я вниманья ему в это время: я был убежденным буддистом; он мне представлялся теологом; не уважал теологии я; называл теологию изжитой и скучной схоластикой; хаживал к Соловьевым я часто; читал им отрывки стихов; между прочим прочел им "Пришедшего"; этот набросок понравился.

А через два с половиною года отец мой однажды сказал оживленно: — "Владимир Сергеевич, знаешь ли, прочитал свою повесть; представь себе, что она называется "Повестью об Антихристе"²; странная тема..."

Заколотилось, забилося усиленно сердце, как у влюбленного; чувствовал, что я что-то сейчас должен скрыть от отца: пробежали в сознании образы драмы-мистерии; и — проблестали откуда-то, издали купола Храма Славы.

Стояла весна: задышали закаты; уже издышалася тайною грудь; и судьбины последних годин замаячили в воздухе; помню: О. М. Соловьева³ не раз посылала за мной; говорила она про набросок "Пришедший", про "Повесть" В. С. Соловьева, про то, что мне надо с ним встретиться.

Веяли майские жаркие дни; Дорогомилowo загрохотало возами: переезжали на дачи, тащились конки; и — дребезжали звонками; я вдруг получаю записку; в ней сказано было, чтоб я поскорей приходил к Соловьевым: к вечернему чаю придет В. С. Соловьев и прочтет свою повесть; заколотилось, забилося усиленно сердце; судьбины годин замаячили в воздухе. Я — пришел; я с волнением пожимал неестественно длинную и бессильную руку Владимира Соловьева, с благожелательною быстротою протянутую; мне отчетливо показалось: я принят в сознание Владимиром Соловьевым; переменялся его проницающий взгляд: он с доверием поглядел на меня: потому что О. М. Соловьева теперь посвятила его в мои чувства; все это мелькнуло во взгляде его; и — сказалось в пожатии руки; и сказало в неловком молчаньи; оно наступило: В. С. Соловьев поглядел на меня вопросительно; заговорили о Ницше; раздался звонок; Соловьев законфузился: кто-то некстати пришел; и я видел, с какой добродушной беспомощностью, потирая свой лоб, он нашелся:

— "Нельзя ли сказать, что сейчас будет скучное, неинтересное чтение?"

Помню: за чаем раскладывал он пожелтые листки рукописи; невероятно шуршал, перебирая за листиком листик, кидаясь на них близоруким лицом; я сидел перед ним, закачавшимся над листами бумаги — переутомленным, сожженным, снедаемым мыслью; уже стеклоглазые окна, багрясь, переполнились зорями: окна ломились от грохотов; дребезжали звонки громких конок; и колотилось сердце.

По мере того как читал он нам повесть, опять пробежали во мне затаенные образы драмы-мистерии; и проблестили откуда-то издали купола Храма Славы.

О, если бы помнить все миги, разъятые временем, через года возвращенные, многое прояснилось бы: голос услышал бы я:

— "Жди Меня".

Он потом исходил из душистых полей; и впоследствии выслал навстречу мне вестника о приближении мистерии: Нэлли и я, мы внимали потом проходившему вестнику: в громающем Брюсселе; в Кельн за собою он вел; мы его услышали на лекции Рудольфа Штейнера; и этот самый же голос во мне произнес "времена накопляются" в миг, когда я, выходя на площадку вагона, устоялся восхищенно в лазурно-зеленые камни, покрытые мхом (под Бергенom); вздрогнул тогда я и поднял глаза; и увидел: вон там на площадке вагона, соседнего с нашим, лицо неопишемое, как пустыня, покрытое четко морщинами, перечерченное теньями; два глаза, мгновенно расширившись, бросили огненный сноп: посмотрели в меня бриллиантовым светом своим, поднимая в душе вихри жизненных сил и горя осветленным страданием мира; принадлежали глаза невысокого роста брюнету

в широкополой, отчетливой шляпе; то был доктор Штейнер; я взгляда его не мог вынести; отвернулся к окну — в блески солнца, в пурпуровый мох: "Времена накаплиются: жди меня"... Вновь повернулся; и невысокого роста брюнета там не было.

Все то впервые восстало мне в те далекие времена, в миги чтения Соловьева; стояло, вперясь в меня, за словами, которыми мы обменялись; Владимир Сергеевич просил поскорей принести мой отрывок мистери-драмы — "Пришедший": хотел его выслушать (был уже первый час ночи); и мы отложили до осени чтение; и, прощаясь, пожал он мне ласково руки:

— "До осени".

Летом угас он; но разговор — неоконченный — продолжался: в годах моей жизни; он длился в Норвегии, при постройке Иоаннова Здания; и при закладке его, совпадающей часом и днем с днем и часом открытия нашего Московского Общества⁴, в помещенье которого я пишу эти строки; портрет Соловьева глядит на меня; и лицо дорогого учителя, высказавшего о Соловьеве такие большие слова.

Он продолжился, — неоконченный разговор с Соловьевым: он длился всю жизнь; путь вел меня: от Соловьева к... Иоаннову Зданию.

Здесь, в куполах Иоаннова Здания, узнаю я и видение куполов... Храма Славы; бирюзовой любовью овеяли нас они с Нэлли; над бесплодной и каменистой местностью пролились благодатные ливни; и местности эти исходят юнейшими всходами; впечатленья от церкви продолжались в образе: из кремнистых нагорий, просохших пещерами, жрец, бросив все, вдруг стремительно бросился в бегство; измученный бесами люд, собираясь к пустым алтарям, ждал жреца: жрец, испуганно опрокинув алтарь, вдруг стремительно бросился в бегство: но издалека-далека пришел Кто-то новый на смену жреца; и посмотрел на болезненный люд бриллиантовым взглядом любви; был он принят за Бога; и приведен к алтарям; но от них отказался он:

— "Алтари ныне пусты; и "боги", которые не были Богом, а бесами, ныне покинули их", — проговорили так взоры его; проговорило лицо, неопишемое; два глаза мгновенно расширились, бросили сноп бриллиантов, угасли; что-то, блеснувши, стремительно опускалось на солнечных крыльях; и громкая весть разошлась: Человеком стал бог.

Так бы я уплотнил впечатление от Иоаннова Здания: впечатление выросло на вахтах: от гранных, извивистых змей и угластых цветов выросло во мне впечатленье тепла: будто кто-то глядел в мою душу своим бриллиантовым взглядом; в полуночи, с фонарем, я, бывало, стою посредине колонного круглого зала; и — проницаю миры перекладин, лесов легколетным лучом фонаря, мечущим свету туда и сюда; окидываю капители колонн, асимметрично стоящих на шестигранниках цоколей; хоры хоралов, поющих кристаллами дерева, рассказывают, бывало, себя: и допотопные брони животных — вот, свесились; после, бывало, скрипя в темноте переносными досками, я поднимаюсь под купол, где море кровавых фонтанов огромною кистью изобразила мадам Перальтэ⁵: где Элогимы

творяют свет и звук; остановившись на уровне архитравов и направляя на них свой фонарь, я, бывало, слежу, как, срываясь, гранные стены летают огромными змеями, как граненные, архитравные формы отчетливо прыгают на крутых полудужиях, упавая на ряд капителей.

Летающий луч фонаря озарит, остановится; подо мною сквозь щели — обвал: бездна мрака; смотрю себе под ноги; вот — оступишься, грохнешься и — умрешь на бетонном полу.

Длится ночь: посредине пространства немых архитравов (и — на одном с ними уровне) тихо стою, затушивши фонарь; слышно — ветер, слетая в отверстия окон (внизу, подо мною), наполнит пространство рыдающим гудом: направо, налево, вперед и назад; нападает на бревна: безвещность летающих визгов.

Откуда-то снизу — шаги; кто-то грузный, тяжелый заходит вниз; знаю: это — Рюдин, ночной сторож; а вдруг — не Рюдин? Скрипит балками старый Рюдин на коротеньких ножках, держа пред собой круглоглазый фонарик; мелькнут в струе света мне прочертни балок, колонна, приподнятый край капители; опять темнота; а в пространствах бетонного пола плывет над шагами фонарик.

Я скрипну — шаги остановятся: старый Рюдин, — начеку:

— "Wer ist dort?" — прохрипит мне фонарик.

— "Ich — Basel..." — откликнется снизу мне.

— "Basel..."

— "Basel" — пароль: на сегодняшний день; над фонариком — вздохи:

— "Ja!"

— "Herr B***".

— "Die Nacht?.."

— "Ja..."

— "Ist ruhig..."

Рюдин, повстречавшись на вахте, слегка покряхтит; и — разразится все тою же фразой:

— "Die Nacht... ja... ist ruhig!"*

Мигнувший фонарик уходит, мелькнут в полосе неживого какого-то света мне прочертни балок, колонна и край капители; шаги — отгремят;

* — Кто там?

— Я — Базель...

— Базель...

— Базель.

.....

— Да!

— Herr B***.

— Ночь?..

— Да...

— Все спокойно.

.....

Ночь... да... все спокойно! (нем.)

никого; слышно ветер, влетая в отверстия окон, наполнит пространство рыдающим гудом: взлетит, прошуршавши, пустая бумага, да крикнет плаксивая балка: безвестности темени; открываю фонарь: деревянная пентаграмма распластана передо мной деревянным объятием.

И начинает казаться: врезаюсь в стены Иоаннова Здания, не деревянные формы гранил я стамеской, а — жизнь мою: врезана жизнь моя в купол, отвалились — только щепки.

Я, здесь, перед вами стоящий, — лишь множество щепок, моею стамеской отколотых от прирезанной формы; на заседаниях, на публичных собраниях, в кругу друзей — нет, не "Я": мои павшие щепки. Не здесь "Я", а — там: высоко-высоко — повисаю резной пентаграммой под куполом храма...

.....

Припоминается храм; на амвон с "паки-паки" проходит хромающий диакон (как старый тяжелый Рюдин). Я стою, прислонившись к стене (в моем прошлом); и — вдруг: точно стены судеб моей жизни — разорваны; и — н и ч т о налетело: рыдающим гудом; дорога моя обрывается: падаю в Храм; мне мистерия-драма "Пришедший" — исполнилась.

Кто же "Пришедший"?

Пришло ко мне "Я".

"Я" во мне не есть "Я", а... — Христос: то — Второе Пришествие!.. Жизнь пролетела, обвевая; возвысились смыслы в объемы крупнейших истин — до дальних прозоров о судьбах моих; высекал здесь не стены, а Храм просветленный судьбы, мне встающей в грядущем: в пространстве меж мощных колонн подымался под куполом верный водитель в кругляющей шляпе с полями, надевши пенсне, застегнувши сюртук; со стамеской в руке проходил я за ним; он — учил меня резать граненые плоскости в комьях и массах моей мутной жизни; я — сам себя вырезал; болью щепилась, слетая в провалы, беспутная жизнь; но вперенный в меня взгляд учителя улыбался.

— "Не я, а — Ты сам так поволлил!.."

— "Врезай же себя в эту высь..."

— "И — спадай с себя щепками!"

.....

Сам подозвал я Судьбу. Мои игры сказались мне: вещими играми; и "Памир" — Крыша света! — пришла: — припоминалась бугристая местность, закаты, суки раздвигаемых яблонь, пространства взволнованной ржи, топольки, лепетавшие мне в девятьсотом году о событиях времени; "Я", мое прежнее "Я" исчезло в пролет неприсущего неба, откуда гласило:

— "Ты — все: Ты и ветер, и травы, и месяц..."

— "И мысли о мире..."

— "И мир!"

— "Ты — еси мировой".

Здесь, под куполом Иоаннова Здания, мне повторялись — старинные детские строки о том, что

”Сквозь зов непрерывных веков
Что-то снова коснулось меня,
Тот же грустно-задумчивый зов”.

Как и там, среди тульских полей, исходил я любовью: знакомые души спускались ко мне в их неявленном облике; и Владимир Сергеевич Соловьев — воскресал: здесь, под Куполом; я вспомнил, как с волнением я пожимал неестественно длинную руку его, как я слушал грохочущий голос его, извещавший, что — судьбы приблизились:

— ”Жди Меня!”

Штейнер, блистающий Моргенштерн, Экхарт Б*** мне вернули Владимира Соловьева; соединение Востока и Запада совершилось под Куполом Здания!

Полный священного трепета, я осторожно спускался меж балок, держа пред собою фонарик; окидывая капители колонн, хор разных архитравов, поющих кристаллами дерева; и — углублялся в подземный этаж: к тому месту, где высился гранный массив над заложенным камнем.

— ”Grundstein’ом”.

Его — целовал я; и кто-то, поднявшись над миром развеянных мыслей моих, точно Купол, — глядел в мое сердце: как я, преклоненный, прикладывал губы к Grundstein’у; я видел Его отражение во мне; и, к себе самому припадая, касался Его: — мысли мира спускались до плеч: лишь до плеч; ”Я” — свой собственный; с плеч поднимается Купол Небесный — Иоанновым Зданием; ветхий же череп я, сняв с головы, как фонарь — поднимал: и — выходил на веранду.

Стояла холодная ночь: подо мной трепетали огни Арлесгейма и Дорнаха: газли и газли, и все — погружалось в мраки; лишь старый Рюдин, мне невидимый, издали проходил между грудами щепок; увидев фонарик с веранды, похрипывал издали.

— ”Ho, ho, ho!”

— ”Ho, ho, ho!” — откликался я.

— ”Basel...”

— ”Ja, Basel...”

Звезда фонаря приближалась:

— ”Die Nacht...”

— ”Ja?”

— ”Ist ruhig...”

Какое там ”ruhig” — летали пространства рыдающим гудом; я, кончив обход, брел к товарищу (мужу сестры моей Нэлли) — в дощатую будочку, где на печке давно уже он кипятил мне жестяночку с кофе.

И мы вспоминали московских друзей, годы юности, Соловьева, покойного Трубецкого⁸, соединя любимые имена с Моргенштерном и с Б***.

После: товарищ, напяливши плащ и зажегши фонарь, шел в обход; я ж сидел над раскрытою книгою, в будочке: слушал холодные посвисты ветра в горах, дожидался рассвета.

.....

Светало: мы шли сырým утром с холма; и — дрожали от холода; нам попадались навстречу работники; Арлестейм просыпался; над Дорнахом вилс дымочек.

Ночные часы в Иоанновом Здании мы коротали с товарищем — раз в две недели!

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА!

Вернувшись в Дорнах, забыл я о том, что меня впереди ждет мой путь; мне казалось: исполнил свой долг я — меня не пустили, прогнали обратно; тем лучше! Казалось: навеки вернулся я к Нэлли — и горе и радость делили мы вместе; казалось: опять, как и прежде, мы завтра же побежим на наш холм, чтобы там, на площадках, внутри, под лобастым порталом — смеясь, громоздясь на лесах, громоздя на леса пирамидоу ящики, забираясь на них с риском рухнуть, сломав себе шею, но — отдаваясь капризам стремительных линий, сшибая с них щепки, врезаясь в глубь деревянной, свисающей массы, — перепрокинувшись, свесившись вниз головой, а то — вытянувшись и едва доставая руками до места работы, — казалось, опять, как и прежде, мы будем размахивать: пятифунтовым молотком; Нэлли даст мне работу.

— "Снеси эту плоскость; да осторожнее — не заруби..."

— "Тут вот снять сантиметр..."

— "Тут вот врезаться до шести сантиметров..."

— "Тут линия сходит на нет..."

— "Понял?"

.....

— "Понял: все понял!"

Кипел в нашей комнатке чай, — как и прежде; разбросаны чемоданы; градация разноцветных бумаг; среди них — план портала.

Вертя карандаш, я чертил, перечерчивал плоскости формы, которую Нэлли вела скоро восемь уж месяцев.

— "Нэлли, смотри-ка: а если бы тут вот мне взять сантиметров на восемь; вести плоскость здесь!"

Нэлли, хмурясь, щекоча мне лицо золотеющим локоном, силилась долго понять мою мысль, разрешить контрапункт плоскостей в гармоничную тему, как будто бы в линиях пересечения плоскостей этой формы решалась проблема всей жизни ее; вдруг поняв, что напутал я, засмеялась она, нападая шутливо, переживая живейшую радость — о чем? — десятью лепестками двух ручек, зацветших багрянцами вечера:

- "Ай, ай, ай!"
- "Что ж получится?"
- "Ну и путаник же!"
- "Погоди-ка!"
- "Постой!"

И, упавши на стол — грудью, ручками, золотеющей всей кудрей, морща лоб, — начинала она перечерчивать плоскости формы; два глаза лучистых и добрых смягчили ее неуклонную думу чела; как оса, в белом платице, перепоясанном чуть бряцающей цепью, сияя лимонною столой, дымя папироской, — напомнила мне: молодого монашка или — вестника:

- "Милая, милая, милая!"
 - "Погоди!"
 - "Нэлли, брось: все равно — ничего не пойму!"
- Но она, вся уйдя в игру линий, меня поучала:
- "Вот тут — сантиметр..."
 - "Полтора сантиметра — вот тут!"
 - "Пять — вот тут!"

Но, смеясь, напал я на Нэлли: и потащил ее в горы...

.....

Я помню тот вечер: я помню последнюю нашу прогулку; схватившись за руки, весело прыгали мы чрез продолбины, трещины, ямы — по направлению к... Ангенштейну: с лобастого камня — на лоб головастого камня; под нами катился стремительный Бирс; и далекие прочерки гор, и далекие ясности тучек в душе отлагались здоровьем и стойкостью; жмурилась Нэлли от солнца; и — закрывала лицо такой маленькой ручкой, напоминающей стебелечек цветка: о пяти лепестках; заиграли лукавosti, будто она, позабывши глубокие думы, под солнышком переживала живейшую радость — о чем? Ни о чем, может быть: моя Нэлли — мудреная, сложная, строгая — показалась в тот вечер мне фейкой над водами.

Под ногами хрустели сухие, корявые прутья; на облаке яснились просветни; просветни проговорили о том, — вот о чем!

Голосила далекая пушка; забегали многие говоры: пушек Эльзаса: и Нэлли нахмурилась; вспомнил и я, что... — что эта прогулка моя — (я же — еду уже), я не здесь: я — отрезан войною; и после, завтра, нет, нет...

Невыносимая боль поднялась; но ее задавил я в себе — не спугнуть бы мне Нэлли!

- "Смотри!"
 - "Что?" — откликнулась Нэлли, не глядя.
 - "Смотри, какой воздух..."
- Пролаяла пушка.
- "Ну что ж: воздух воздухом!"
 - "Вот и чудесно!"
 - "Совсем не чудесно, а — грустно..."

Пролаяла пушка.

— "Смотри, если ты у меня будешь ранен, то..."

— "Нэлли, оставь..."

— "То... я..."

И она, повернувшись спиной ко мне, как-то странно мотала головкой; темнело в глазах у меня; мне светила она, мое солнышко, шесть с лишним лет: — тридцать лет моих жадных исканий свершалось в Арбатском квадрате; меня Нэлли — вырвала: страны летели на нас; рой народов встречал нас; закаты, моря, цветы осыпали нас блестками; веяла солнечным воздухом Нэлли; — теперь обрывается все! Но блистающий, испытующий взгляд оборвал мои мысли; она уж не плакала; этот сверкающий взгляд, точно твердый резец, в глубине моей вырезал:

— "Вспомни Египет: мы вместе глядели на Сфинкса!"

— "Мы вместе взошли над пустыней: глядели в пространства пустыни с Хеопсовой Пирамиды!"¹

— "Мы вместе склонялись пред Гробом Господним!"

— "И вспыхивал в наших руках Святой Огонь!"

— "Помни — Брюссель!"

— "Фицнау!"

— "Берлин!"

— "Христианию!"

— "Берген!"

— "Немой Дегерлох!"

— "Нюрнберг!"

— "Копенгаген!"

— "Весеннюю Вену!"

— "И — Дорнах!"

— "Мы все это встретили вместе!"

— "Люби!"

— "Не забудь!"

— "Жди меня!"

Так сказал мне блистающий взгляд; но — слов не было. Нэлли не плакала. Я ей ответил без слов!

— "Никогда, никогда, никогда не забуду!"

И вот, повернувшись спиной к озлащениям облаковой гряды, возводившим окрестности в негасимые просветни, — мы опускались: два Купола Здания, бирюзевших внизу, под ногами, сравнялись с нами, возвысились; и — убежали наверх:

— "Навсегда!"

— "Не забуду!"

.....

В белевшем плаще, опустив низко голову, будто ведя меня, — вниз: предо мною сошла посвятителем вестником Нэлли — в кудрявые яблони, к огонечкам; вот — тот огонечек, знакомый: он — в комнате

доктора Штейнера; Нэлли строжайше блеснула глазами — на огонек, на меня:

— "Не забудь: никогда!"

Я — ответил глазами:

— "Нет, нет!"

— "Не забуду!"

.....

На перекрестке дорог — силуэт: черноусый брюнет в котелке. — Поджидает меня; он — под окнами нашего домика.

Вот — моя комнатка (нет, не моя уже!), в ней мои лишь одни чемоданы: меня уже нет!

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Целый день я пробегал меж Дорнахом и Арлестеймом; водил меня Э-ерт¹; стояли в "Gemeinde"² мы: старый швейцарец, "Gemeinde-Rat"³, крижистый, жилистый, сипло свистел, открывая огромный свой рот, в желтозубие:

— "Будьте уверены, да..."

— "Жена ваша может спокойно здесь жить..."

— "Мы — вас знаем здесь все..."

— "Слава Богу: антропософы вы, — мирные люди!"

— "Чудаки англичане: таких бумаг нет..."

— "Придираются..."

— "Если им нужна во что бы то ни стало такая бумага — то вот я написал ее."

— "Вот еще вам бумага!"

Хрипя, добродушный советник "Gemeinde" прочел им составленное оповещение, что он, представитель "Gemeinde", рекомендует меня всем чиновникам всех посещаемых стран как человека достойного, добрых общественных правил — бедняга: не знал он, что англичане лишь фыркнули на эту бумагу:

— "Прощайте же, В* * *!"

— "Добрый путь..."

— "Возвращайтесь назад!"

— "О жене не тревожьтесь..."

Я крепко пожал закорузлую руку "советника"; и "советник", оправивши брюки, сутуляся, поплелся в сарай ворошить свое сено...

.....

Последнее впечатление от "Здания" — ослепительный, громкий удар: прямо в лоб!

* Местное самоуправление (нем.).

** Член местного самоуправления (нем.).

Я бежал вдоль веранды (то было в последний мой дорнахский вечер): в последний раз бросить прощальный тоскующий взгляд — на то место, где долго работали мы; и налетел на бревно:

— "Бац!"

Посыпались искры: посыпались "миги", сверкнувшие в Дорнахе; будто стремительно оборвался в ничто; я увидел конец! Слом путей иль... слом черепа... — скоро очнулся; лежал на спине; еле-еле поднялся; казалось, что я — безголовый, что от удара скатилась моя голова:

— "Где она?"

— "Подобрать бы ее?"

Но сильнейшая боль разливалась под черепом: стало мне — дурно.

Не помню, как сполз я с холма, как, шатаясь, доплелся я до дому; Нэлли, склоняясь надо мною с компрессом, — тихонько ласкала меня; я же был — безголовый!

А — может быть, сотрясение мозга?..

Забылся...

.....

Вот утро!

Да, — я безголовый, бесчувственный: голова моя — с Нэлли, а туловище безголово покатится — дальше и дальше, и дальше — куда?

Голова моя пухнет — как купол Иоаннова Здания!..

Постучали к нам с Нэлли — сестра и товарищ... Пора уезжать!..

.....

Помню: Нэлли стояла — вон там, под окошком вагона; махала платочком; и — плакала; помню стоял я в окошке вагона; махал ей платочком и — плакал; то было во сне; мне казалось, что все позабыто...

Очнулся: вагоны стучали, вагоны бежали; мелькнули в окне купола; и — пропали; и — нет их, как... нет ничего, ничего!

.....

Набежали туманы; их прокипи ниспадали; вот-вот оборвутся холодными каплями; я — безголовое тело — сидело, уставившись глаз остеклянную впадиной в дыры и пасти грядущих судеб моих.

Старый пиджачник с вонючей сигарой в слюнявых губах проскрипел убеждающим тоном кому-то напротив:

— "Jo, jo!.."

— "Meine Herren!"*

— "Война есть великое зло..."

— "Jo, jo, jo!"

.....

— "Нэлли!"

— "Где ты!"

* Мои господа (нем.).

- "Спаси!"
- "Помоги!"
- "Я — разбился..."
-
- "Jo, jo!"
- "Ничего не поделаешь!"
- "Подорожали продукты..."
- "Война!"

ДО ГРАНИЦЫ

Наконец, все экзамены кончились; мы на вокзале. Перроны кипят гулким людом; уже сундуки, чемоданы, руло¹ — плавно едут над оголтелыми кучками; через головы прыгая, перекидные картонки упрясывают по направлению к вагонам на бронзовых их пинком прошибающих кулаках; все бросаются с мест; протестует какая-то дама; желает добиться хотя бы малейшего толка вон тот загорелый усач; вон и пять малышей, прижимаясь к траурной даме, испуганы — плачут; бросаемся мы: занимаем места; в шуме, в грохоте, в пантомиме локтей проскочила сквозь все неживая фигурочка, сопровождавшая нас на вокзале повсюду.

Вагонная толкотня разрешилась; и мы — уплотнились, уплющились с кем-то; полковник, весь блестящий, в алых штанах, дребезжа ясной шпорой, стреляя глазами, летит мимо окон вагона.

И — тронулся поезд; поехали в противоположную сторону от России² — в Россию, через моря, через ряд чужих стран; невесомые плоскости стен тихо тронулись и — замелькали за стеклами окон; Берн дрогнул; роями домов, точно стадом сгорбаченных допотопных животных, бежал мимо окон вагона; ругаясь дымом, летели дома по холмам; и сжимались в домик; линии крыш сжались в грязную, отбежавшую кучу; очистились холмики, проступив своей зеленью. Берн, точно спугнутые с водопоая рои носорогов, оттоптал, пропал, сгинул...

И — нет больше почвы: ведь Дорнах был мне тем кусочком земли, на котором я мог стоять крепко до той поры, когда рухнуло все: мировая война заревела пустотами мира, проела стальными зубами — тела, души наши: казалось, что Нэлли и я, — мы, прижавшись на этом последнем клочке, ужасаяся, свесились над пустотой, куда рухнули: Англия, Франция, Сербия, Турция, Австрия, Пруссия и Россия; так, — вместо Европы, на нас набегают и ч т о; впечатленье кошмара охватывало зачастую меня; и вот я теперь сам еду рушиться — в никуда!

Из меня — в никуда! — что-то тронулось; все снялось с места; и все от меня поотстало; я, едущий отбывать мировую войну, — уж не я,

я какой-то пустой, просквозившийся несчастьем мира, мешок с совершенно случайною надписью (имярек) и — без всякого содержания.

— "Кто тут — я?"

— "Кто же так?"

— "Неужели я, Имярек, поехал, чтоб стать там убийцею?"

— "Что же это такое?"

— "Куда еду я?"

— "По какому закону?"

Отвечали колеса вагона:

— "Ру-ру! Никакого закона!.. Ру-ру! Отменяется все... Ру-ру-ру: закон крови".

Казалось: путешествие протягивалось; есть разъятие почв, на которые я наступал; упадание мира в неизмеримости; и не Франция, Англия, Швеция пересекут мою орбиту, а Луна, Солнце, Марс повстречаются мне в обреченной на неудачу попытке перескочить пустоту, расстояние от земли до созвездия Пса³, возвратиться в Россию...

А Нэлли еще оставалась в том мире, который навеки, быть может, ушел от меня.

.....

Вспомнились мне мои вечера в Дорнахе: легкими веснами строились легкие вечеровые фантазии в воздухе; мы преклонялись к приступочке нашего домика; мы наблюдали безмолвно, как там, над раскинутым куполом, таяли белые облака; и тихим голосом Нэлли мне веяли вздохи:

— "Слушай, кто знает, что будет..."

— "Нет, Нэлли, о — нет: я без тебя не могу провести двух недель; помнишь, как я, бросивши все, к тебе бросился из подгорий Лозанского озера!"

— "Знаю: кто знает... Наш путь — через миры, через планеты. Наш путь — в тысячелетиях времени... Мы еще множество раз разоидемся... И снова сойдемся... Мы долгие воплощения проведем друг без друга..."

— "Нет, нет: никогда, ни за что!"

Припоминался мне сон: мне приснилось, что я уезжаю; уж близится осень; последние листочки взвизгнули в воздухе; руки свои я протягиваю, а Нэлли подхватывает; но в том месте, где руки касаются рук, образуется разделение; почвы падают; я — рушусь с ними от Нэлли, назад. В моих пальцах не пальчики Нэлли, а — эдельвейсы, которые прижимаю я к сердцу. Тут я просыпаюсь.

Мы юными веснами вспоминали туманные сны; и глядели на дали: луна поднималась грустнеющим кругом — над лугом; настойная ночь приближалась (она — настоялась на дне)... а в изгибе чуть-чуть розовеющих Нэллиных губок прорезывалось, будто память, о тягостном горе, которое где-то мы с ней пережили или, может быть, переживем еще в будущем: поникая, сидела она без кровинки в лице; и сырые туманы — окрестности тмили; и — ухала пушка; а на лугах голубели цветы.

Наступало цветочное лето. И снова сидели — на той же приступочке; в белоглавых громадах плясали безгласые молнии; я, наклоняясь, шептал ей о том, что ужасные силы вцепились в меня, что мне душно и страшно: когда я один, кто-то, тихо, подкравшись, подсматривает в еле видную скважину двери сереющим мертвым лицом, собираясь меня уличить, приглашая свершить непонятные вещи: поймать в этом.

— "Нэлли!"

— "Молчи!"

— "Я с тобою еще!"

— "Я тебя защищаю!"

— "Наступит вот время, когда..."

Наклонялась она бирюзовой сестрой надо мной; пробежала улыбкой, как солнечным зайчиком, по душе; мне смеялась; и мы — отдыхали; и пряные запахи сена мы нюхали. Нэлли со мною была; не наступило еще... Но — ухала пушка.

Октябрь! Облагали окрестности ветрища мокрого пара. Слетали сады; у ручья, отдыхая на камне, я сживал, свесившись в пропасти; я горевал о минувшем: мы так одиноки! — Сутулым бродягой шатался близ Дорнаха; хладени вод, кипятки водотекков слетали под ноги. Я возвращался; и Нэлли встречала меня:

— "Ну, чего ты нахмурился..."

— "Я ведь с тобой еще..."

— "Будет время, когда..."

(Наступило: бездомный шатун, я сутуло блуждаю по миру.)

А зимами — в перетопленной комнате читывал я ей отрывки из повести: "Котик Летаев"; она — поправляла; нам выли ветры; гололедицей падали крутня; из Нэллиной грудки, теплом вырастая и облекая, как солнцем, меня — всходило оно: мое счастье; предо мной, пронизая улыбкой луча, осветленная Нэлли сияла безгласными смехами; — вспыхивал свет!..

Это были лишь отблески; в тяжелой болезни (о ней — скажу ниже) терял восприятие света, который восходит из сердца; переполняет глаза, изливается блесками глаз, и, переплавляя действительность, — грелся от Нэлли: она мне, больному, смеясь, отдавала свой свет.

До болезни во мне прилетание у м н о г о света усилилось⁴ (а впоследствии, потеряв умный свет, я набросился с жадностью на теорию Гетева Света⁵; ее невозможно понять без умения светиться); огнететы в глазах высекаемых искр, вылетающих из глаз, ослепляли; я понял слова:

— "Он

ушибся до искры из глаз"... Эта "искра" бывает действительно; я стоял, как осыпанный градом ударов, порою разорванный взрывами мыслей, влекущих меня и туда и сюда, пронизающих все существо и терзающих все существо, точно Гарпии⁶, низлетавшие свьше, чтоб выхватить, точно Гарпии, душу из тела: отдать ее Духу.

В м и г в ы х в а т а — сотрясалась душа; и от нее — мое тело; — и веяло тысячеградусным жаром, как из плавильного горна; и ароматы сластили

мне губы мои; в голове возникал муравейник; по темени, — как струи кипятка! а из глаз — точно гейзер; и Нэллиных глаз я не видел: два гейзера! Я постигал:

— "Я есмь Ты!"

Галлюцинацией я не мог бы назвать излияние пламени из меня: —

— Не придавал
им значения,
сознавая, что —

— ясности

искры, быть может, — явления физиологии: увеличение угольной кислоты в моей крови от переменны дыхательных ритмов: —

— подсматривал прощупи Духа под кровом сознания.

Да: —

— одно время я был, как сожженный ниспадавшим огнем; а — вне этих огневых прилетов себя ощущал: пропаленной колодою; вспышки во мне начались за два года (еще до войны); были редки сперва; учащаяся ритмами, прерывая мне речь, так что я потерял всякий дар выражаться (меня в это время не видели русские: верно, сказали б они — "Леонид Ледяной превратился в болвана!").

Я стал замечать соответствие между цветом мелькающих искр и своею моральной фантазией⁷; в пору душевной работы отчетливо мне высекались индиго-синие пятна; в период упадка цвет вспышек из индиго-синего зеленоватыми тонами переходил в цвет оранжево-ржавый; по вспышкам справлялся о собственном состоянии сознания:

— "А!"

— "Дело плохо".

— "Покрылся ты ржавчиной..."

— "Пал..."

Эти возгласы не доходили до сферы сознания; я замечал, что морально читаю цвета⁸; но еще удивительней: стал замечать я, что некоторые из сестер и из братьев А. О-ва, в миги оранжево-ржавые, с явной враждебностью от меня сторонились, не обнаруживая в словах, обращенных ко мне, своего отношения; наоборот же, когда я синел, то с доверчивой лаской встречали; я строил свой вывод: да, некоторым из меня окружавших дано яснозрение, которое обнаруживают не в словах, а в поступках они; среди них моя Нэлли, ласковая и упрекавшая молча; испытывал стыд, ощущая себя грязно-ржавым; я знал, что меня пронизают, читают цвета мои; Нэлли, почувствовав это, насильно тащила на люди меня:

— "Да иди же!.."

— "Ведь экая, подумаешь, цаца!.."

— "Желает ходить, развернувши павлиний свой хвост..."

— "Походи и вороной в общипанных перьях..."

— "Не проведешь: да и кому нужны твои ауры!" — смеясь и ударяя шутиливо меня своим маленьким, но стальным кулачком, нахлобучив мне шапку с опущенными полями на голову и набросив на плечи пальто, моя Нэлли преважно вела за пустой мой рукав через стогны Берлина, — на заседание, где ждал позор: был я — р ж а в ы й.

Ах, где это?

С начала войны образовалась грязно-рыжая муть, отрезавшая от источника Света; подкрадывались припадки болезни; цвет индиго-синий сменялся зелеными, желтыми вспышками; ржавые красно-зубчатые стрелы и зубрины от меня разлетались; потом все — закрылось; мгла жизни предстала: обстала; и в свете дневном стал мне мглою во мгле дневной свет.

Вспоминаю я: долгими вечерами меня согревала теплом моя Нэлли, сплошное и неживое "оно", я часами просиживал, не отрывая тоскующих глаз от нее, как... больная собака; вокруг, разливая улыбки лучей, осветленная снегом, лазурью и пурпуром, Нэлли прозрачилась, и вместо глаз обдавали теплом закипевшие гейзеры: веяло — тысячеградусным жаром, — стоял, как осыпанный градом ударов, разорванный взрывами мыслей, терзающих все существо бесконечною силой любви: любил Нэлли!

Куда это все отошло? И где Нэлли?

— "Куда еду я?"

— "По какому закону?"

Но отвечали колеса вагонов:

— "Ру-ру: никакого закона... Ру-ру... Закон крови".

Я — выхвачен; вырван: большой, неживой, угасающий, ввергнут в ничто, проговорившее пушками: милый клочок земли, на котором сидел, — он оторван. Вспомнил слова Нэлли:

— "С тобой еще!.."

— "Я тебя защищаю..."

— "Наступит вот время, когда..."

И оно наступило!

Пустое усталое тело сидело: не плакало; а пассажиры смотрели: и — безучастно кивали, шепчась про меня...

Протуманилось белесоватое Невшательское озеро; мы вот — над ним; нападает туманная сырая ночь; из туманной ночи огоньками границы оскалилась Франция.

Вот и — осмотр!..

Мы — становимся в очередь; пробегают по грязенькой комнате ошупи чьих-то внимательных глаз, прилипают к глазам, прилипают к рукам, прилипают к карманам; и рыщут, и убегают: это — стаи

мышей; проезжала там куча руло, сундуков, чемоданов, как странная черепаха, — над головами галдящей, а то притихающей пред осмотром испуганной кучки, наверное, эмигрантов, а может быть, и шпионов; и — побежали картонки, запрыгавши нам через головы, на пинках перекидывающих кулаков, принадлежащих горластым французам.

Во Франции — мы!

РУБИКОН ПЕРЕЙДЕН!

Впечатление перемогания стаи мышей, неожиданно юркнувшей на толпу пассажиров из многонорных отверстий, иль глаз черноусиков, чернобородиков — вот чем встретила Франция! Я был — пустое пальто с суетливо болтающимися рукавами и с прихлопнутой к воротнику широкополой шляпой; я — подлинный "я" — оставался у Нэлли; она — пустое пальто, тоже вставшее в очередь; обращали внимание: оборотень, переодетый, шпион...

— "Отчего "он" такой?"

— "Обратите внимание..."

— "Странно!"

— "Да, да..."

Оболочка (иль низшее "Я"), просидевши два года в Швейцарии и два года водимая Нэлли, хватавшей ее, оболочку, два года, за хлопающий в пространстве два года рукав и тащившей два года работать под купол Иоаннова Здания, — оболочка не подозревала, какой совершился чудовищный маскарад и какие ужасные маски таскались на станциях, роясь на границах; теперь же, наткнувшись на гвозди вгоняемых в душу ее пригвождающих глаз, оробела она и на проткнутых ребрах повисла.

Уже горбоносые лица протискивались в толпу пассажиров, протиснутых; справа — полиция; слева — полиция; выросший серб осведомлялся на ломаном русском наречии, есть ли тут русские.

Толстого господинчика повели раздевать и ощупывать; он — не пугался; он был — к о н т р а з е д к а; его уводили для вида, чтоб после втереть его в нас; он втирался в доверие.

Первый осмотр! Предстоит впереди еще множество точно таких же; во что превратимся?

Остановили кого-то: укушенный взглядами, кто-то бросал разъяренные взгляды в агента, который зашарил в карманах его.

— "Ну-ка?"

— "А?"

Там кого-то вели к деревянному столику; и — задавали вопросы, которые не касались осмотра:

— "У вас кто в Бретани?"

— "Скажите, а чем занимался брат дедушки вашей жены?"

— "Каким мылом?.."

— "Какие вы курите папиросы?"

Хотелось смеяться.

Но вдруг черноусый чиновник выстреливал от деревянного столика — в душу:

— "А вы — из Германии?"

Хвост пассажиров тут вздрагивал (сидели когда-то в гимназии мы; и под партой крестили свои животы).

— "Так вы говорите, что — нет?"

— "Вы — свободны!"

— "Идите!"

И — принимался за следующего; а отходящий от деревянного столика у барьера (границы) за столик и за границу себя ощущал победителем: тотчас же чувствовал он: кто-то крадется; чувствовал в положении укротителя зверя себя; не на то бросишь взгляд; были тайные кодексы п р а в и л к о н т р о л я; не так поглядишь — появившийся агент полиции воровскими ухватками, немо возводит свое обвинение в позорном поступке, совершенном во сне, может быть: не совершенным нигде:

— "Э, э!.."

— "Что?"

— "Эгеге!"

Ощущение сна охватило меня: где-то сон этот снился; брюнет обратительный снился и точно такой же, с такой же гадкой улыбкою снился:

— "Э, э!.."

— "Было, было!.."

— "Э, э!"

— "Эгеге!"

И вот действие бывшего сна, — перенеслось (через века) на границу Швейцарии; чувствовалось: непоправимое совершится — вот здесь, вот сейчас; мир явлений рассыплется; выступит страшная тайна: то — тайна войны; обнаружится: нет и борьбы; это — игры, затейные шайкой мерзавцев, вылавливающих жертвы по списку.

— "Э, э!"

— "Эгеге!"

Внятный голос в себе я расслышал.

— "Огненного испытания¹, как приключения для вас странного, не чуждайтесь"... —

— Где снилось все это? мое положение в мире отчетливо сон отразил: в одном мире я —

— "Я", победоносное, неизменяемое и узревшее свет; в другом — "я" — пустое пальто, за которым гоняется ш п и к, чтобы, схвативши, повесить его... в своем шкафе! Н е ш п и к (это — маска), а Враг, проходящий сквозь жизнь и затеявший мировую войну, чтоб меня обвинять в шпионаже; он вел свой подкоп; пришло время взорвать меня: "Я" — будет взорвано; бреши и дыры проступят; пройдет из подземного мира мой Враг — в потрясающем, в истинном, в до-человеческом облике!

...Когда восходил я к границе духовного мира, то перевертывалось отношение меж восприятием и пережитием; пережитие, излетавшее из глубин существа, становилось восприятием света во мне; и меня обливало из воздуха светожарами, прыщущими, как орнаменты цветочных огней; по-иному я видел цвета; по-иному я видел цветы; в расположении лепестков, в их количестве, в способе завиваться себя объясняли мои светочкрылые ритмы; растения наши — застывание ритма: огней.

Подобные восприятия учащались с Бергена, — в пору, когда пережил из грядущей эпохи себя: развивались стокрылые мощи в моем существе; болью корчило тело, ломимое духом, от режущего удара — по направлению: от темени к сердцу; и — екало сердце —

охватывал страх; то, что будет, к тому еще я не готов; —

и неизбежно меня ожидающий акт отразился на теле моем операцией; приподнималась задача: —

— уметь, овладеть:

изнутри — ясномыслием; и извне — вспышкой света; и чуялось: в очищении тела приходит привычка: выдерживать светочи, привязать их, как крылья, к себе...

...В состоянии ясной повышенной мысли я чувствовал: —

— Яснится ток световоздуха, опускаясь над теменем, вызывая в сознании образ летящего светлого диска на двух крылоручьях; будто бы: кто-то старинный и милый, свергаясь из бездны времен на меня, одевая душистым теплом, как одеждой, пронизывал: жил во мне; расправлял и вытягивал вееры крылий во мне — из меня; их вращал; ритмочкрылыми брызгами вскидывал руки: —

— раз Нэлли меня уличила: производящим движенья руками; застала меня в комнате; не засмеялась: сказала серьезно:

— Послушай, тебе не мешало б заняться теперь эвритмией; гармонизирует тело она... Показалось диким: лысому господину, отдаться вдруг — танцам.

.....

Духовные дни истекли; телесные тяжести нападали опять; многокрылье, обитавшее тайно во мне и меня полюбившее, — приподымалось, снималось, слетало, меня оставляя в ущелиях плоти; цветок, расцветавший из сердца, рукой роковой вырывался; и корни его выдирались из сердца, которое ощущал я пустым; ниже сердца, которое ощущал я пустым, там, под ложечкой, просыпалось чудовище: начиналось кишение змеевых, свивавшихся масс; по ночам просыпался я в страхе; казалось: ползут на меня — обвивают и душат; раз видел я сон: —

— что вбегаю в квадратную комнату, принадлежащую мне; над постелью моей развился толстотельный удав; уронив на подушку мордастую голову, смотрит он пристально малыми глазками; знаю я, что должен я лечь на постель, положив свою голову рядом с мордастым удавом, и выдержать то, что отсюда возникает. Я понял, проснувшись: удав — мои страсти... —

— И вот переживания сна повторялись чрез два с лишним года — уже наяву: это было в Швейцарии; в пору ту чувствовал я: ниже сердца, которое ощущал я пустым, начиналось кишение змеевых, свивавшихся масс; раз, в квадратную комнату: передо мною, на столике, развалясь, толстомордый швейцарец, склонивши на руку мордастую голову, пристально посмотрел на меня; и от этого взгляда меня охватил ужас смерти; я чувствовал, что я должен подсесть к толстомордому господину и, положив рядом шляпу, прислушаться к предложенью, которое намеревался мне сделать брюнет; показалось, что он собирается, бросившись на меня, схватиться за горло: напомнил он удава; припомнился сон; —

— и я вышел на улицу.

.....

Здесь, на швейцарской границе, охватывал ужас; и вспомнились снова кафе; толстомордый француз мне напомнил швейцарца; прорезалось явственно тело удава сквозь тело его; надлежало мне тоже, как всем, подойти, согласиться на то, что предложат за столиком.

Удав — мои страсти; ну, а француз, а граница — не может же все это быть моей страстью, вдруг повывлезшей: ниже сердца, которое ощутил вдруг пустым, поднималось чудовище: чувствовалось кишение змеевых, свивавшихся масс...

.....

Переползал хвост людей к роковому барьеру: к осмотру! И медленно передвигались мы, сжатые им; на спине, на затылке, на шее своей ощущал я прилипшие взгляды; и бестолочь в ночи слагала чудовищный абракадаберный бред; поднималось в душе что-то древнее: глухонемою бессонницей детских ночей, обнимающих жаром и заставляющих все существо распухать, и подсматривать, как за спиной обрушатся в спину забытые ужасы.

Я — обернулся: глаза мои встретились с горбоносым брюнетом: —

— брю-

нет

в котелке!

Тем брюнетом он был, кто стоял еще в Дорнахе на перекрестке дорог, наблюдая за виллою Штейнера и за окнами нашими, — приседа, покуривая, неподалеку от спуска у купы деревьев; бывало, иду, — укрывает лицо свое он. Его выдывал в Цюрихе: поселился в моем отеле, — стена со мной в стену; и вел себя тихо; и, просиди в своей комнате я целый день, я следов за стеною не мог обнаружить.

Ловил меня в поезде; он садился в вагоне не рядом, — а наискось, где-нибудь в уголке: весь укрытый в тенях: —

— отдавалась душа пейзажу летящих долин, деревень с обрамляющими их горами, покрытыми виноградниками, —

— прилипающий взгляд обжигал мне затылок; повертываясь, обнаруживал я: —

— черный глаз, кончик уха и сбитый на бок головы котелок.

— Я старался с презрением относиться к сопровождающей личности, — обволакивалась беспокойством душа; стоило невероятных усилий, чтобы не сделать сидящему спутнику маленькой гадости: проходя, не задеть край газеты.

Лицо моего незнакомца (слишком знакомого!), спутника, я не мог обнаружить: усы, нос горбом, пуговица вместо глаз — вот все.

Появление б р ю н е т а сопровождалось каким-то особенным физиологическим ощущением, напоминающим вспышку невроза: вываливаясь из груди, трепыхалось на сонных артериях сердце, как птица, — на мне!

На французской границе, уткнувшись лицом в незнакомца, я чувствовал, что припадок невроза, которым страдал, — поднимается: в то же мгновение котелок подлетел над замасленным коком волос; горбоносый брюнет произнес:

— "Честь имею представиться".

— "Русский?"

— "Как видите..."

— "Вы в Россию?"

— "В Россию".

— "Вы — призваны?"

— "Да, так сказать, иль, вернее, — не так; ну, да все-таки... Доктор я."

— "Ваше место рождения?"

— "Одесса".

Тут — двинулся хвост: по направлению к барьеру.

Я очутился прижатым к барьеру; и — я за барьером уже:

— "Alors vous allez tuer ces sales bôches*", — прошептал мне субъект, подмигнувши косыми глазами; мышинные взгляды уткнулись в меня; протянулись многие руки: шарили, перетряхнули бумажник; и — задали несколько совершенно неважных вопросов:

— "Service militaire?"

— "Voyons!"**

— "Vous allez tuer ces sales bôches?"

Я не вздрогнул: я видел, — меня наблюдает другой, пока первый небрежно кидал мне вопросы; я понял, что выстрел летуче сорвавшейся фразой, — экзамен: они же ведь знали, что еду из Дорнаха я и что некоторые из знакомых моих — ненавистные боши:

— "Vous allez tuer ces sales bôches?"

На лице, за которым следили, не дрогнул и мускул; психологический сыск виртуозен у них; нужно двадцать столетий развития, чтоб приемы утонченных романистов пресуществить в контрразведку...

ВО ФРАНЦИИ

Дверь распахнулась и — выпущен, выпущен. Вижу: пустая платформа; то Франция; ночь... оголтелый свисток паровоза вдали; и — безлетные силуэты вагонов из сумерок; иллюминация светов.

Вздохнул я свободно.

Попытка работать над утомленными нервами охватила меня: восприятия впечатлений дороги болезненно разрывали меня; эдак — думалось — не доедешь: засадят. Пытался я вызвать в себе образ учителя; и — лицо, озаренное светом, возникло: морщинки, знакомые черточки проступали из сумрака, — посмотрели глаза на меня...

Был период, когда себя чувствовал я — перерезанным от головы до пяты неизливной силой тепла; ощущение, что в левую ногу струится источник тепла, переходило в другое: казалось мне, что одна нога стала короче — хотелось прихрамывать.

Памятны мне два явления. Внутренний свет, как бы вырвавшись, засиял вне меня ослепительной явью; галлюцинацией это явление я назвать не могу, потому что событие света не увидело; и сила явления

* Итак, вы будете бить этих паршивых бошей (фр.).

** Военнообязанный?

Ну-ну! (фр.)

сосредоточилась в мысли, которую оно отразило во мне и которой оно было ответом.

Я расскажу о явлениях этих; я был на концерте; я слушал Бетховена; в мощной картине вставала вся жизнь; человек мне особенно близкий, вдруг встал и, —

— обернувшись, уткнулся глазами; не вздрогнул, не вскрикнул; все — кончилось: —

— Что это?

.....

Свет:

ослепительный

свет, —

— исходящий из мрака:

а лик принадлежал

мужчине пятидесяти

пяти лет, в чер-

ном, строгом и чо-

порном сюртуке;

на лице же мор-

щинки, знакомые

черточки стерлись. —

— Сквозное из света лицо,

будто сотканное брил-

лиантами белых лу-

чей, и отверстия

невъразимого

света вотк-

нулись в

меня,

"Я" —

— Вместо глаз!!

Я почувствовал —

над глазами сво-

ими обжог ки-

пятка. —

— Но

сейчас же (явление длилось с

четверть секунды) сквозное

лицо вошло в кожу; и —

проступили — морщинки у губ и у глаз бледно-белого лика; все светлы погасли; два глаза, глядящих в пространство, в толпу, надо мной, в никуда, — через пенсне что-то остро заметили; и — засмеялись кому-то; рука помахала приветственно; кто-то, откуда-то поклонился пятидесятилетнему,

бритому, черноволосому господину с лицом, перечерченным сетью морщинок, стремительно повернувшемуся к нам спиной; и — севшему в кресло...

.....

— Сквозное из света лицо, будто сотканное из молний и выступившее из знакомого перечерченного морщинами лица. —

— Чем могло оно быть?.. —

— Субъективная галлюцинация?
Свет Фавора?¹
Внушение?
Свет?
Я? —

— Об

этом не думал нисколько в то время; можно ли было спокойно мне думать? Я помню, что что-то играли (Бетховена, Шумана); виделись спины цветные (зеленые, синие, белые) дам предо мною и черные спины мужчин... —

— Так ударилось

Светом в
мен-
"Я" ...

.....

Помню: рассеянно наклонясь над лимонадом в фойе, непосредственно после явления, — потрясен, удивлен не был я: необычное мне казалось обычным, почти прозаическим по сравнению с силой мысли, во мне клокотавших; и, допивая глоток лимонада, я слышал, как Нэлли взяла меня под руку, потащивши в переднюю. Я впоследствии ей рассказал это все:

— "Понимаешь ли? Видел я — видел же: Свет. Видел — явственно, на мгновение. Но — глазами".

— "Не удивляюсь..."

— "Какой это свет? Умный?"

Не удивилась: все — знала...

.....

Другой раз на лекции Рудольфа Штейнера произошло то явление: —
— Слушаю

раз объяснение об Аполлоновом свете², который, как бабочка, плещет крылами,
сядась на чело; —

— разыгрались слова во мне; вот,
 Кто-то —
 — Милый —
 — во мне развернул свои теплые ритмы; происходящее
 в зале я видел откуда-то издали; —
 — все—
 — Темнеет,
 — Темнеет,
 — Темнеет!.. —
 — Как будто бы убавили электричество:
 голова,
 спины
 и кресла —
 — уже проседают
 во мрак; там,
 откуда-то, из
 набегающих су-
 мерок поднимаются ру-
 ки; —
 — оттуда
 пытается сказать что-то, сказать Ру-
 дольф Штейнер; но —
 — Что это? —
 — Чувствую: —
 — голо-

ва беспокровна: нет — черепа; чаша, в которую
 льются потоки тепла, — голова; нали-
 вается; из полувидящих глаз раз-
 ливается жидкий живой
 золотисто-летаю-
 щий свет
 И —

— Наполняет пространство
 угасшего зала... —

— Мы — море трепещу-
 щих светочей проницаю-
 щих ясными крыльями
 бабочек наши тела; свето-
 вая пучина клокочет; —

— удар, как бы в темя упал на меня; свет, трепещу-
 щий, свет живой, золотисто-летающий свет, свет из
 глаз —

— излетел,
 — растворился,
 — растаял —

— и —

— сквозь него проступило опять

электричество лампочек, кафедра, стулья и спины; я — двинулся: —

— замер от страха: я чувствовал: —

— Жид-

кая

раство-

ренная

голова

колеба-

лась моя

на

рас-

сто-

янии

не менее —

— полутора метров

от... от... от чего?

от — головы моей?

Продолжение себя самого над собой, как столб дыма, я чувствовал; двинулся я —

— с

ту

де

ни

сты

м

зиг

заг

ом; —

— меня из меня самого, за меня ухватившись, вытягивал кто-то (не сам ли себя я вытягивал?). Замер: —

— Я чувство-

вал, что

при движеньи

я грохнусь: прикосно-

вление маленьких Нэллиных ручек, меня

тихо гладящих, тут

успокоилось снова; попро-

бовал двину-

ться — двинул-

ся... Встали, сме-

шавшись в толпе

пестрых стол, брил-

лиантов, шелков, пид-

жаков, принимая участие

в возгласах —

- "Лекция!.."
- "И какая прекрасная!"
- "Как хорошо было сказано об Аполлоновом свете!"
- "О свете ионической философии" ...³
- "Нравится вам?" —

— Улучивши минуту, до боли я стиснул меня согревавшую руку; и — зашептал Нэлли на ухо:

- "Понял: я понял..."
- "Да, Аполлонов свет — умный..."
- "А умный свет видится..."
- "Да, для меня говорилось..."
- "Я..."
- "Я, я, я..."
- "Понял, видел!"
- "Я?" — "Что?"
- "Что Ты понял?"
- "Что видел Ты?" —
- "Свет!.."

.....

Промелькнуло на Нэллином личике тут выраженье холодности, строгости даже, которое я воспринял враждебно:

- "Да замолчи же!"
- "Молчи!"

.....

Да, явления Света (воочию) — не удивляют меня; это было тому назад — девять лет; десять лет ничего я такого не вижу; и не увижу. Так тьма поглотила меня.

ПЛАТФОРМА

Воспоминания эти меня охватили, когда перешли мы границу.

Пустая платформа: то — Франция; ночь: оголтелый свисток паровоза вдали; и — безлетные силуэты вагонов — из сумерок; кажется — в черный воздух потянутся из отверстия двери рои чернорогих теней — не людей, — к ясноглазым вагонам, нам поданным; входим с товарищем мы: хорошо — никого.

Расположиться бы спать.

.....

Трах. — Дверь шарахнулась: и б р ю н е т (в к о т е л к е), оказавшийся русским, протиснулся с чемоданами в дверь; он наполнил пространство купе ерундой своих возгласов.

Объяснил, что был доктором из Одессы; прилипши глазами ко мне и касаясь меня неприятными, цепкими пальцами, поспешил он крикливо нам выяснить, что в Швейцарии, в клинике по сердечным болезням, три года работал; теперь призывается, как и я, на военную службу; нас трепал по плечу; развалиясь, задирает свои ноги — с нахальством, казавшимся благодушием; мне, москвичу, принялся объяснять он Москву; и — довел до мигрени; я вытащил одеколон; стал примачивать голову.

Обезьяним движением цепкой руки вырвал он пузырек у меня; и, приставив к моргающим глазкам, рассматривал:

— "Ха".

— "Пузырек-то?.."

— "Из Кельна..."

Блеснуло отчетливо:

— "Шпик".

Негодующе вырвавши пузырек, показал ему я — дополнительную наклейку с отчетливой надписью: "Базель".

— "Смотрите-ка".

Он — не сконфузился.

— "Около границы Эльзаса?"

— "Что делали вы столько времени там?"

Отвернулся, закрыл я глаза, сделал вид, что дремлю; продолжал наблюдать с добродушной покорностью сыщика (переносят блоху: с порошком против блох можно даже с комфортом сидеть в третьем классе).

Стучали вагоны; бежали по Франции; веяло ветром в окно; голова моя прыгала, ударяясь о доски; толкались вагоны.

Сверкания электрических фонарей белым блеском влетали и — вылетали.

Дневное сознание разъялось на части: граница сознания передвинулась. Был за границей.

ЗА ГРАНИЦЕЙ СОЗНАНИЯ

Что-то старинное выплывало, как в детстве, — когда-то.

Менялись предметы; вычерчивались невероятным узором; склоняли ко мне чернорogie головы; грязное, грузное, волосато-хохлатое что-то вон там копошилось: —

— б р ю н е т в к о т е л к е .

Я пытался глядеть на его силуэт, отвлеченный от черточек, от штришков, от ужимок, которыми он себя осыпал, точно пудрой; и пудра слетала; под пудрою обнаружилось явственно: —

— он!

Принадлежал он к чему?

К международному обществу сыщиков? Или — к братству, подстерегающему все нежнейшие перемещения сознаний, чтоб их оборвать? Вернее,

был сыщиком он международного общества сыщиков, руководимого братством, которое, проветвьсь в среду сыщиков, международных, ветвилось в среде национального сыска; руками германских, французских, английских и русских жандармов подписывало во всех участках всех стран все бумаги, визировало паспорта; и — так далее, далее, организуя в Париже, Берлине, Стокгольме, Москве, Петербурге общественную, кружковую и личную жизнь, пропитав ее ядами; мы — в одежнях жизни, пропитанной ядами; при попытках подняться над этой отравленной жизнью, испытываем, что прилипшее к нам одеяние жизни горит, как одежды убитого нами Кентавра: Геракл, убив Несса¹, убит был одеждями Несса.

Так Несс, иль Клингзор, руководящий таинственным братством, нас держит в плену государства; и облакает лакеев своих в ритуальный мундир государственных деятелей; марионетки они: кто-то дергает их; и они начинают тогда выступать в заседаниях, парламентах с официальными нотами иль с проектами несуществующей, невозможной действительности.

Между тем, самый вид нашей жизни, включая сюда ежедневную выставку вывесок иль афиш на столбах, организуется в тайных участках агентами, не подозревающими, кому служат они.

Во мне есть подозрение: происшествия, бывшие со мною и с Нэлли, не поддаются обычному толкованию; жизнь наша — сказка; и приоткрылась за светлою тайною вслед нам и черная тайна; бывало, вычитывал черную тайну отчетливо я на берлинских проспектах.

.....

Столичные улицы — осуществленная черная месса; прохожие — завлекаются в черный обряд; организация гадостей образует отчетливо лестницу; от городской инфлюенцы до изживания черного эггрегора; окованы мы, наши души, при помощи явных магических действий, введенных в обряды и завуаленных в сети привычек и трафареты газетной пошлятины, — души при помощи действий, вливаемых в обыденные действия, соединяются с демонами; чернокнижники пеусыпно следят за всем ходом событий; и — даже сидят на банкетях; и — произносят пространные речи; зеленые, синие, желтые книги — диктуются ими; меж тем —

— инструменты, расставленные в астрале, показывают им магической стрелкой туда, где родится младенец звезда, чтоб туда бросать токи, убийственные для "младенца".

Гонения — начинаются; воины Ирода — рыщут:

— "А где тут младенец?"

Брюнет — появляется.

.....

Наши столичные улицы — осуществленная, черная месса; брюнет в котелке здесь — икона; иконы свои — поразвесило черное братство на

стенах домов, где брюнет в котелке, размалеванный нагло на боке стены, —

— с высоты шестизэтажного дома, осклабясь, показывает на калошу проходим; и на калоше — священнейший знак треугольника². —

— Что это значит?

Священнейшие фигуры — оккультные знаки — нельзя созерцать безнаказанно (опрокинутый треугольник — не то, что прямой; опрокинутый — самосознание, обращенное к Духу; прямой — на себя); созерцание треугольника на калоше, которою топчем мы (знак божества!), есть пародия на обряд; и неспроста святым этим знаком давно штемпелюют калоши; и ежедневно мы топчем в грязи властный знак божества.

Это — дело "и х" рук.

Города — богохульство: горит над аптеками электрический знак опорок и н у т о й п е н т а г р а м м ы³ (кошунственной магии); распространяется из аптек просто черт знает что; продаются здесь знаки разврата.

Звездой Соломона⁴ клеймят пищевые продукты.

Кто носит в душе отблеск о п ы т а, для того очевидно: под оболочкой здоровья, привычек и навыков прививается яд.

.....

Подсознание наполнено жестами, изображающими жизнь духовного мира; что нам происходит как жест, то есть там, нам событие; черными жестами вывесок, модами, т а н г о, кафе, — о н и вводят нас в круг совершаемых действий.

Жест — корень словесного дерева; когда вызреет жест — нарождается слово: даст плод; и увядает; а жест, пробиваясь наружу, отложится в слове не скоро; и более позднее слово — значительней; немота — действие жизни.

"И х" жесты, вводимые в жизнь, полны ужаса: что нам будет, когда обнаружится слово на жесте? Оно — будет ужасом.

.....

Да: говорю я без умолку; разнообразен словарь моих слов; но слова мои — просто ничто пред остатками жестов, которые развивались в Швейцарии.

Человек начинается там, где кончается слово; где слово свивается, — там начинается оккультизм; и мы все — оккультисты; увы, большинство заговорили в себе им оккультно открытое; где заплещет язык, там молчит оккультизм.

Оккультизм — это воздух, которым мы дышим; и изучение о к к у л ь т и с т о в без овладения жестами, без умения их видеть, читать — есть дурная привычка.

Назвавши себя оккультистом, не думаю я, что — оккультист в точном смысле; тот смысл постигается в десятилетиях подвига упражнений: в к о н к р е т н о с т и; и не лежат пути смысла в предложениях об оккультизме; чрез внутренний жест, порожденный душою, переполненной силой раскрытого знака, — оккультное явно; "з н а к" строится ритмом событий; но

он — только буква; за "буквою", может быть, в ряде годин вырастает другая; чтоб складывать буквы и слова, надо знаки читать: л, ю, б, о, в, ь; каждый знак есть событие; но "событие" нужно увидеть в событиях жизни; — восстать над всем ритмом событий, — увидеть: события сами в себе суть ничто; в сочетании получается слово. И оккультный учитель по знакам нас водит без слов: разговаривать можно с ним — только молчанием.

.....

Происшествия моего путешествия — знак в ряде знаков; они — моя прошлая жизнь; и они — то, что ждет меня в будущем. Может быть, ряды знаков пока еще мне сложили лишь слог: "Лю-"; неизвестно, что выпадает: "бовь" или "тик"; если первое, — сложится слово: "Любовь"; если второе, то "Лютик"; внимательность в чтении знаков есть правило: забежать при прочтении вперед — значит вещи символы отуманить фантазией. В оккультизме фантазии нет; он есть правда.

.....

События путешествия — даже не знак, а, быть может, часть знака: кружок буквы "ю".

Надо верно прочесть, а для этого — верно рассматривать; но нельзя отвертеться от знака: нельзя не увидеть его; коли видишь, — читай, перечитывай, вновь перечитывай, исправляя дефекты первоначального чтения.

Лучше вычитать ерунду, чем сказать себе:
— "Нет".

При явлении знака становимся мы в положение экзаменуемых; и честнее пойти на провал, чем лукаво сбежать от экзамена; от профессора спрячешься, а от знака — не спрячешься; он — стоит; он — судьба.

И оттого-то так страшно бывает, когда появляется знак: твой экзамен — экспромт; подчитать, подготовиться поздно; приготовление — жизнь твоих чувств и движений до знака.

В прочтении выявляется ступень; неправильность чтения обусловлена ложным путем; и — ошибкой развития.

При ошибках в пути, чтение знаков слагает не то, что стоит пред тобою; стоит: л, ю, б, о, в, ь; ты же видишь: л, о, в, л, ю; и прочитываешь: не "любовь", а — "ловлю"; получается ерунда; и твой шаг, обусловленный словом, прочитанным криво, свергает тебя со ступени, где ты всем усилием прошлого встал. Ты стоишь на ступени уже потому, что тебе видны знаки; ты — должен прочесть; сообразно с прочитанным строится неизбежная поступь событий: читая, ты строишь ее — подзываешь судьбу; и, читая не так, упадаешь; чем выше ступень, тем паденье опасней...

.....

События путешествия — части огромного знака, построенного на последних годах. При прочтении я видел: слагается мне ерунда; и не мог не читать, раз знак строился; в чтении падал; оно началось еще с Бергена;

и падение от неверно прочтенного шифра, определенное роковою ошибкой развития в Дорнахе: символ паденья — отъезд; оттого-то я чувствовал, покидая Швейцарию, что последний кусочек земли, на котором стоял, отвалился: я — рухнул... отъездом; свалился: и не свалилася Нэлли.

Неверно прочитанный знак оторвал от меня мою Нэлли, которая оставалась на стадии, нами достигнутой вместе, определяемой именами тех мест, где мы были приподняты над покровом иллюзии: Христиания, Берген и Дорнах.

Но — "Дорнах" был вырван.

События путешествия — знаки впадения в бессознательность сна.

Может быть, то — рассказы о многом другом (собираются знаки в содружестве смыслов); то, многое, восстает предо мною неясно. И описание путешествия — описание не того, что случилось; оно описание — как я читал; и как путался.

В этом смысле мои описания — описания ослепленного путника.

Свет — ослепил меня.

Я теперь стал слепым: ничего не вижу.

.....

Недавно еще, через девять уже лет после страшных событий, со мной происшедших и с Нэлли, мы с Нэлли сидели в кафе, здесь, в грохочущем городе; а за плечами стояла Россия; пять лет моей жизни в России есть замкнутая в себе самой жизнь; то ж, что было до этого, — Христиания, Берген и Дорнах — не прошлое воплощение даже, а — позапрошрое (переживаю я пятую жизнь в этой жизни)⁵; и все там — чудесно; события, необъяснимые никакими законами логики, непрерывно свершались над нами; теперь — ни одного "с о б ы т и я" (все — понятно, все — трезво).

Спрашивал Нэлли:

— "Где — прошлое?"

Нэлли сидела передо мной с восковым, милым: милым и все-таки с постаревшим лицом; и, прислушиваясь к фокстроту, затягивалась папироской; улыбка усталая и, как мне кажется, разочарованная пробежала по милому личику (девушки, женщины — в ней не осталось почти; она — словно монашек); тряхнула она кудерками:

— "Ты слышал же, что говорили нам о картине воспоминаний; воспоминания надо стряхнуть... Воспоминания умерли..."

— "Как забыть? То, что было, — единственно..."

— "Да, переживали в те годы мы оба виденье Сальвата..."

— "Теперь".

— "Теперь мы спустились с гор, пересекаем равнины; мы, Персевали, — которым видение Мон-Сальвата открылось: на миг. Мы должны годы странствовать, чтобы найти вновь тот Храм... Percé le vallé*; Персе-валь. Да, мы — Персевали..."

* Тот, кто миновал долины (фр.).

— "Так, стало быть, будет?"

— "Да... если... найдем..."

Разговор тот запомнился; скоро Нэлли уехала.

— К Иоаннову Зданию... Нет: и Иоанново Здание переменяло название: Геттеанумом стало оно...

— "Perse le valle"...

— "Не могу, не могу. Не хочу!"

Образы воспоминаний меня обстают; настоящего вовсе не надо. К будущему нет силы пройти:

— "Perse le..."

— "Нет: не хочу!..."

КЕМ Я БЫЛ?

Приближение света в те годы
ко мне вызывало во мне муки
совести —

Приближение мрака ко мне
вызывало во мне — умирания.

— То, что мне виделось, —

предполагало

участие

в све-

те — Мы —

— Светлые, светоносцы;

светоносительство

— жизнь; —

— Так мне думалось: тело ж мое, не пуская меня
в вышину и пленяя в ущелиях плоти, — разъело
мне душу; душа — заболела; распа-
лась на части,
измучила тело —

— Из-

мучилась в теле! В духовных блажен-
ствах, то — в едких терзаниях сове-
сти, —

— так проживал!..

.....

Был период, и тело во мне растворилось, как соль в кипятке;
и в космических образах, оплотневших из духа, растаяло тело; как
будто бы —

— огнелеты из

птиц опустили, закрыли крылами

мне тело; и тело — истаяло;

стало: сплошным много-

крыльем огней, проносившим
по мигам,
по дням,
по минутам,
неделям
и месяцам, —

— было в дни
Лейпцига это —

— жизнь ста-
ла мне, как
пронядный
сквозной пере-

светень; испытывал невыразимое
чувство блаженства: сорадости с ближними; все-то
казалось: и я, немногие, —

— понимавшие тайно, без
слов, — со мной связаны; нас сплетала судьба на пути к громким целям;
меж нами вскрывалось тепло легкосветных, как молний, блаженств;
и —

— мелькания,
трепеты,
пляски
душистых огней, увлекающих мысль и туда,
и сюда, — учащались —

— (увеличение уголь-
ной кислоты от
перемены дыха-
тельных рит-
мов) —

— яснейшие отпечатки заданий моих,
не влагаясь в понятие, рвали мне логику; импульсы индиго-синего света,
переходящего в фиолетовый, даже в пурпурно-розовый тон, проникали:
переживал сам себя из грядущей

эпохи —

— в
да
ле
ко
м, в далеком! —

— в
с
е
м
ы

— боддисатвы!

— пе-
реживал из грядущего миг, когда
множество предстоящих моих

воплощений во мне

увенчаются ясной короной любви; —

— и —

— готовый восстать на земле, облеченный достоинством
боддисатвы, — звездой сойду, пересекая круги иерар-
хий обстающего духовного мира, чтоб снялись печати
с последних
моих
вопло-
щений, —

— и —

— Чтобы в светлейшую славу прояснился их громовер-
жущий смысл; видел образы: — теплились ясные ясли; младенец рож-
дался на землю —

— из

го-

во-

ра Ангелов, передающих теплотами

Слово

и

ка

к

бы —

— ш-

ар,

превыша-
ющий блеска-
ми солнце, при
этих карти-
нах во
мне
во-

-сходил: —

— м

н

е —

— казалось: вперяли в меня

безглагольные взоры узнавшие братья

мои:

Меня в будущем

прозирали они; и тот громкий позор, впечатляясь в настоящее, придавал настоящему смутный, пророческий смысл; и закаты, светившие мне, мне казались ясней, озаренней, и — воздух чище.

Я чувствовал происходящее —
— из —

— да-

ле-

ка-

да-

ле-

ка, — я видел

все вещи насквозь;

я — читал про про-

исшествия будней

не так, как слу-

чались они для других: я их

знал взнача-

льном; события

— начинали терять

для меня свой слу-

чайный характер; и самые

мускулы увлекали меня не

случайно на улицу —

— в наши

движенья вливается страстно судьба; так, бродя по берлинским проспектам, я —

— всматривался в происшествия улицы; и происшествия эти раскладывались мне в узор пережитый, отображавший узор пережитий моих: становились мною; —

— пролетки,

трамваи,

потoki прохожих — потоками шариков крови моей мне казались: вмещивался — во все: мое "я" выходило навстречу ко мне (от угла, перекрестка) знакомым, меня останавливавшим и начинавшим бросаться случайными

фразами; —

— но —

— в этих фразах тотчас открывался мне шифр: шифр судьбы...

Пытался в то время об этих моих состояньях сознания говорить с моей Нэлли — на Нэллином личике всякий раз подмечал выражение холодности, строгости даже:

— "Да замолчи же..."

— "Молчи".

Я — молчал, но —

— события эпохальные крались скрытнейшими переживаньями моих чувств; в себе чуял я слово, дробящее камни, но слово не мог я найти; и мой взгляд без единого слова противоречил словам, мной же сказанным; слово мое не созрело; я жил дикой ветвью, оторванной от народа, привитой к маслине, растущей из неба ветвями в меня; листья, блестящие огнями, мне были сладчайшею пищею мудрости, получаемой от учителя. —

— В голосе мудрости процветало душистое древо плодами познания; и учитель мне складывал космосы воздуха в слово, перерезая покровы природы мечом языка, передающего грома говорюв Ангелов, и — вкладывая в меня светы воздетой рукой; становились влетавшие светы в меня многообразием состояний сознаний моих; да, я видел обставшую землю иными глазами, как будто бы Храм Лазурного Братства построен был; да, глава моя в те минуты казалась громаднейшим куполом, под отверстием которого сам же я (или — сердце мое) простирали свои руки; и мне разверзались воздуха: видел Офейру, — страну выдыхаемых светов...¹

Ни разу словами о том не обмолвился с тем, кто стоял предо мною учителем.

ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛЕКЦИЙ

Часто бывал я на лекциях Штейнера. —

— Как описать эти лекции?..

Приходил и садился в удобные кресла; собирались члены А* * * Общества; цветостолые женщины проходили по комнате; — и садились у стен, утопая в тенях; из теней выступали их лица.

Казалось: —

— Многоликая линия стен зажигалась огнями-глазами, когда входил Штейнер; и начинал говорить: о богах, о мирах, о культурах, о судьбах людей и эпох, о событиях иерархической и божественной жизни, —

— во мне развивая огни; ритмы слов его складывались мне орнаментом из меня возникающих образов, напоминающих лепестко-крылые и живые цветы; лепестко-крылые, бившие бурями света цветы, светоперые Ангелы: —

— или мысли мои: из меня развивались они световыми вьюнами, и —

— на летящих спиралях, вокруг из меня самого, —

— над самим

собой начинал я летать: —

— преображалась вся комната: ширились личики в ясные блески развернутых крылий; и —

— волны чистейшего света смывали ряды цвето-
столюх, под кафедрой никнувших женщин; казалось, мы — в воздухе: —

— на рас-
простертых, сияющих крыльях несемся: сиянием в сиянье передаемся
друг другу, в невыразимейших состояниях сознания своих: нет раздель-
ности; —

— нет "Я" и "Ты": есть любовная цельность: —

— над всем: —

— встал учитель: под ним,

где исчезло "Я", "Ты", как заря, улыбается цельность сознаний: то
— ясли; вселенная сотрясается от зовущего гласа; двенадцать Волх-
вов, обступивши Звезду, к ней воздели дары¹; вот — она, как алмаз
ослепительна: —

— Светлые смыслы нисходят от взоров учителя...

Таково впечатление лекций.

Бывало, слова оборвутся: очнешься — вон маленький Штейнер ко-
му-то приветственно машет рукой; развевается шелковый бант вместо
галстука; и, склонив свое ухо над сморщенной черностолой старушкой,
сияет улыбкой: домашний, простой.

Посмотришь на стены: глядят так приветливо, ясно. —

— А Штейнер,

надев свою шубу, проходит меж нами, бросая незабываемый взгляд
на меня и на Нэлли; и перед взором духовным моим на мгновение от
этого взгляда все-все разорвется; и из грядущих столетий домчится:
— "Ты — будешь".

И не о чем спрашивать; сказано — все; и на все — дан ответ.

МИСТЕРИЯ

В действии на меня этих лекций свершалась мистерия о ч и щ е н и я души: сотрясение эфирного тела переходило в душевное потрясение, вырывавшее душу из тела; и о ч и щ е н и е — следствие потрясений — подготавлилося —

— взрывами неопикуемой, чисто духовной любви ко всему
человечеству; я заболел оттого, что не справился с мощ-
ным напором любви, разорвавшей меня: —

— в это время я понял величие подвига
жизни иных наших членов: —

— покойного М.¹ и С. Ш.², понял Б.³ —

— понял

Мистерию...

— Ритм Коллектива она, где участницы души, оставив тела, выются ветрами хороводов любви, где единство себя ощущающей личности, как и множество разделенных сознаний, утрачено: но это все есть духовный процесс.

На физическом плане мистерии нет, или если есть, то, когда происходит и где происходит она, не откроют непосвященные души, будь их тела в самом месте мистерии.

Она совершается всюду (на лекции, на трамвае, на улице); или — нет ее вовсе; участники строятся в им одним лишь открытые знаки; и — образуют фигуры, как в танцах: текут треугольни-

ки из людей, пересекаясь в гексаграммы; опознаем раз-
множение ритма пяти; если знак пентаграммы есть пять, то входящие шестого в обряд пентаграммы обогащает в шесть раз возникающие возможности встречи...⁴ —

— Но этого не поймут: как не поймут, о чем, собственно, говорю; обрываю слова...

.....

В то священное время нас мускулы носят туда, где нам место; и — происходят нежданные встречи; и пусть обыденны слова:

- "Добрый день".
- "Вы куда?"
- "Я иду в библиотеку..."
- "Я — на почту..."
- "Прощайте..."

Но ритмы встреч, соединенные с мыслями, строят священные буквы: обряд возникает.

Вдруг видишь, что —

— твой совершенно случайный заход в магазин за случайною розой совсем не случаен; едва ты выходишь, как посвященная в тайны мистерий сестра перед тобою проходит по улице; кланяясь, улыбнется чуть-чуть, и —

— тебе станет ясно: ритм встречи — обряд: — потому что —

— вчера на концерте, куда ты пришел такой мрачный, перед тобою в минуту уныния над головами сидящих взлетел цветок розы: —

— сестра, посвященная в тайны мистерий, над головою своей невзначай помахала —

— той самую розой, которую только что ты купил, проходя по такой-то трамваями громящей Штрассе; —

— вчера: лепестки красной розы во время мелодии Шумана вдруг отчего-то запали тебе; и от них стало вдруг так легко и так ясно. —

— Сегодня открылось: сестра, посвященная в тайну мистерий, тебе помогла; сверхсознание управляло движением твоих мускулов, чтоб тебя подвести к магазину цветов; и управляло движением мускулов милой сестры, чтобы мог ты ответить на р о з у привета —

— приветом: такую же розою помахал, проходя, ты сестре; и она — своей ясной улыбкой тебе прояснила сознание: —

— Мистерия. —

— И стоишь, изумленный, посередине бензинного запаха пролетающих мимо авто на фешенебельных Ш т р а с с е Берлина: прохожие, напевая пошлейшие песни, идут мимо вас; они видят: и синюю вуалетку сестры, и растерянный взгляд господина, наверное, иностранца; а между тем, — нет а в т о, нет бензинного запаха; воздух мистерии властно провеял —

— она

продолжается: —

— вечером: —

— перед лекцией ложу убрали пышнейшими, точно такими же розами; и —

— букет

этих роз на столе; —

— и берут со стола совершенно такую же розу, какой помахала сестра и какою ответил сегодня ты ей, —

— и бросает свой взгляд на сестру, на тебя —

— и в тебе замирает от этого взгляда твое, розой ставшее, сердце. —

— А нам объясняют сложение розовых лепестков и закон, отраженный в сложении: —

— лепестки этих роз завивают спираль п е н т а г р а м м ы; спираль роста листьев так сложена, что через пять лепестков лепесток занимает на оси спирали первоначальное свое положение, отображая спираль, развиваемую такой-то планетою; по образу и подобию этой планеты располагается ритм человеческих отношений пяти; пять есть цельность; самосознание мое⁵ в пяти душах, соединенных со мною, иное; я есмь не один: я — в пяти; пять есть цельность... —

— Человеческие отношения: одни развиваются по закону сложения роз, а другие — по ритму цветения лилий (закон гексаграммы)...

.....

Ты — говоришь себе: "Это снится". —
— "Нет, это не сон: посвящаешься в тайну пяти, в тайну Розы".
И ясно: —

— все то, что случилось вчера на концерте, сегодня на улице и на лекции, — буквы обряда, которого ты невольный участник, которого не понимаешь еще и который останется в памяти, чтоб его в нарастающем ритме событий ты мог бы прочесть; и не знаешь: —

— когда,

где продолжится тайна обряда, во что развернется; быть может, достигнет тебя неготовым она; обернется — химерою; —

— и не розу увидишь ты в месте обряда, а — жабу: —

— не будет тобой точно сдан твой экзамен мистерии; но развивается предприимчивость: читать ш и ф р; —

— то — оккультные писмена⁶. —

— Так: —

— сегодня ты можешь прочесть библиотеку книг, перед тобой пробежавших страннейшими знаками жизни, а с завтра уже, — не увидишь в годах ни одной внятной буквы. Затянется зрение...

.....

ВОЙНА

В переживаньях таких проходила вся осень 1913 года; уже проходила зима.

Переехали с Нэлли в Дорнах.

К весне закопошилось во мне мое тело; и самое чувство духовных блаженств перерождалось — в роскошества, которыми я упивался чрезмерно: все образы стали плотнее и чувственней; светочи, перемешавшись с мглой тела во мне, изливались палитрою ярчайших и утонченнейших красок: орнаменты ритмов кокетливо завились; стили тайных глубин перерождались в сплошное барокко какое-то: —

— по себе знаю я: свет экстаза, свет умный, при неумении справиться с ним переходит в цветущую чувственную краску, —

— так

точно, как свет Христов, ложно воспринятый, затемнеется пестротой александрийского синкретизма¹, —

— чтобы позднее разлиться ярчайшею краскою у художников итальянского Ренессанса: переживал я пиры Ренессанса; и оттого-то: —

— в минуты,
когда —

— опу-
скался в разъятое темя мое прежний свет, я испытывал колкий
удар по направлению от темени к сердцу; и —

— екало сердце;

казалось: не выдержу я, — упаду: рухну в корчах.

Подкрадывалась к сознанию мысль: верно, я — эпилептик.

.....

В разрывах сознания текло предвоенное время; над деревянной скульп-
птурою архитравов Иоаннова Здания мы работали с Нэлли: так весело
было нам в Дорнахе; но я внутренне чувствовал душные тучи!

Мне чудились голоса голосащих громов; из пространства души; в мес-
тах ясности образовались заторы чудовищных похотей; оплотневали яр-
чайшие краски в тела неумемного Рубенса и погружались пиры Ренессанса
в Рембрандтовы тени: —

— история живописи есть

история упадения души...

.....

Разразилась война.

Мне казалось в первую осень войны: это я ее вызвал: во мне
начиналась она; непримиримый сознательный бой с двойниками моими
кипел уж с июня (война разразилась в августе) —

— в ту эпоху ведь все

ощущал я, как боддисатва, из будущего: при схождении огром-
ного Я в мое "я", мне казалось, весь мир должен был отразить
происходящее в человеке.

.....

Чувствовал я себя над собой страшным множеством демонов, нападав-
ших на ангелов; одновременно: себя ощущал нападающим ангелом — на
себя самого; часть души, точно черт, борясь с частью души, точно с анге-
лом, одновременно: влюблялася в ангела; ангел во мне, борясь с чертом,
в борьбе — черт е н е л: —

— уподоблялася моя голова мощной росписи Ми-
кель-Анджело: в месте Лба (меж глазами) стоял Аполлон,
в виде грозного судьи; и — карал мои похоти: нервы, артерии,
вены, изображенные, как тела, грузно павшие в демонский
огнь, вылетающий из бьющего сердца. —

— Страшный Суд Ми-

кель-Анджело изображает: борьбу человека с собой самим!

.....

А то брeнное, что таскалось по Дорнаху именно в это тяжелое
время, —

— "оно" —

— неживое, казалось мне трупом; часами я был

— разложившийся труп, устремленный в себя, точно в ангела, а в другие часы был я ангелом, соблазняемым чертом; в перемещении сознания жизнь разрывалась: единство сознания распалось: я был — над собой, под собой; в точке прежнего "Я" — образовалась дыра.

Тут-то вот и разразилась война: загремели орудия из Эльзаса; гремели два года...

.....

Окошко уютного домика выходило в долину; весною глядели в него белокурые вишни; в проглядные полосы зорь проникали мохнатые кисти лиловых глициний; перед ненастьем отчетливо разрывались пары; островерхие гребни Эльзаса синели; оттуда болтала в заре говорливая пушка.

Так взрывы во мне стали взрывами мира; война расползалась из меня — вокруг меня.

Был я бомбой, начиненной кризисом; этой бомбою чувствовал сердце: носил осторожно его, как снаряд, ненормально забитый в меня; помню: стоило мне взволноваться, как я начинал ощущать, что я выстрелю красным, разорванным сердцем; и грудь рассечется; и хлынет оттуда потоками кровь.

Ощущение г и б е л и появилось от неумения справиться с светом, упавшим на т е л о и вызвавшим бури во мне подымавшихся образов (образуются так облака над водой в жаркий день); бури образов должен был я погасить силой воли; в том — суть и с п ы т а н ь я, но — испытанья не выдержал; не погасил бури образов; и она — подожгла мое тело; и вспыхнуло тело; и стало оно ярким факелом низших страстей; и — сгорело; в том месте, где жил человек, осталась кучка холодной золы; подул ветер: зола разлетелась, развеялась в воздухе.

Человека не стало.

БОЛЕЗНЬ

Я помню тот день и тот час, как "оно" — началось.

Сиротливо казалось в наших неприбранных комнатах; осень хихикала в окнах: гремели орудия; ночь опустилась; забарабанили капли дождя; утомленная Нэлли, забившись с ногами в темнеющий уголок дивана, дремала: весь день простучала она молотком под сырыми навесами Иоаннова Здания. Я — ощущал себя трупом, не мог себя вынести: бросился к Нэлли, схватил ее руки, покрыв поцелуями; вздрогнула:

— "Что с тобою?"

— "Я — не могу, не могу, не могу быть таким!"

— "Успокойся!"

— "Я лучше умру..."

Обнимала холодными ручками голову: щекотала волосиком холодеющий лоб:

— "Не горюй: будь к себе снисходителем!"

Но — осенила огромная сила: поток электрической бури прошелся по жилам. И, глядя на черные стекла, звенящие от удара орудия, вскрикнул:

— "Так пусть же умрет он!"

Под он разуменя себя.

И поток электрической силы, меня пепелящей, ударил по жилам; и все, что есть жизнь и тепло, сосредоточившись в сердце, его разорвало: мороз, изливаясь в кисти и пятки, бежал по рукам и ногам, выедавая тепло; —

— в то

мгновение осенил меня образ: —

— Огромного Человека, стоящего в мировой пустоте и, как пушка, ревавшего страшным проломом разъятого темени:

— "Ааа!"

— "Ааа!"

— "Ааа!" —

— Это вскрикнуло "Я", вырываясь из тела.

И, кинувшись на середину темнеющей комнаты, быстро схватился за ворот: в глазах помертвело; упал; слышал голос:

— "Ах, что с тобой?"

— "Что с тобой?"

Уложили меня: я лежал с участвующим пульсом; и при попытке сказать что-нибудь — задышался.

Я чувствовал: умираю.

Пять недель после этого был я — труп; трепыхавшее сердце, которое вырвалось в тот ужасный момент и повисло на красных артериях, чья-то лихая рука, его сжав, отрывала: когда оторвет, я умру.

Остались лишь прежними: ноги; живот; я казался себе самому животом, безответственно вздернутым на ноги; прочее —

— грудь, горло, мозг — ощущались сплошной пустотой; осторожно поставленный шар, дутый шар из стекла, на столбе (на телесном составе) — я был: только громкое слово, волнение, воспоминание или упрек взбужденной совести: —

— и пустой, дутый шар —

— грудь, мозг, горло —

— свергался с подставки: с самодовольного живота на ногах... Бился вдребезги: сердцебиение начиналось.

Сердечный невроз — имя дикой болезни.

Сосредоточилась же жизнь на одном: на агонии, которая притаилась во мне; и — нарастала во мне при малейшем волнении; женщиной, сев-

шею рядом, казалась, которая, схватив сердце, его отрывала от жил, принимая подчас очертания похотливой чертовки, меня соблазняющей ужасом.

Все отошло от меня: муки совести, светочи, образы, мысли, высоты, глубины; весь внутренний мир был из сердца безжалостно вырван; и стал я жующим, бредущим, бессмысленным телом, сосредоточенным на сохранении драгоценного бытия моего: —

— "Я", созревши и став мировым во

мне, вырвалось с криком:

— "Ааа!"

— "Ааа!" —

— В тот злопамятный вечер, когда барабанили капли дождя в стекла окон, казалась неприбранной комната, и уставшая Нэлли моя, прикорнув, задремала.

Осенние и зимние месяцы протянулись томительно: тенью бродил между грудами черепитчатых домиков Дорнаха; или, как кукла, теперь безучастно просиживал я на докладах и лекциях Штейнера, озабоченный лишь одним: не почувствовать, не понять вещей смыслов и не взглянуть ему в строгие пронизающие глаза; пережить, понять — значило вызвать приступ сердечной болезни; и — уронить с живота пустой шар —

— горло,

грудь, руки, мозг —

— мой живот, завалюсь на ногах, в это время сидел предо мною; и слушал самодовольно доклады —

— о судь-

бах эпох, о культурах.

Мистерия окончилась!..

Не "Я", а "О Н О" —

— роковое "оно" во мне

жило теперь, переживая весь мир, опрокинутый в агонию, "оно" воцарилось во всем и во всех; и гремело с границы, где говоры, перебегая друг в друга, сливались в густую, пустую, тупую, растущую ерунду:

— "Ру!.."

— "Рруу!.."

— "Ррууу!.."

Протекала зима: я всю зиму, блуждая по грязным дорогам, валился меж грудами черепитчатых домиков; и валились из окон, из груди перин на меня толстотелье буржуа; иногда, развлечения ради, я ездил в тяжелый, как олово, Базель, чтобы блуждать по горбатеньким уголкам; бегали злые туманы; и — мокрые глянца; и рыжими пятнами тускловатые фонари освещали дома.

Я простаивал перед домами: Эразма из Роттердама и знаменитого математика из семейства Бернулли!; захаживал в библиотеку; склонялся, вздыхая, над странным твореньем: "Ars brevis" Раймонда ("Ars

та гна” понять я не мог, хоть пытался проникнуть в него комментариями Джордано Бруно); —

— за мною —

— невидимо, под фонарями, вся в черном, бродила инкогнито женщина: а гония моя.

Я рассматривал в базельской галерее гравюры Гольбейна; особенно серии ”смерти”: скелет плутовато вплетался в события жизни; им — плутовато подмигивал... —

— С этой поры привязался за мною брюнет: я его подцепил как-то раз в переулочке; может быть, перед домом Эразма; прошел он за мною на ”Äschenvorstadt” и на ”Aschenplatz”² вместе мы ждали трамвая; его — привез в Дорнах, который, как кажется, полюбился ему: он простаивал на перекрестке дорог, неподалеку от спуска; часами глядел в наши окна: узнавши, что я собираюсь в дорогу, собрался и он; и теперь здесь в вагоне... —

Тут линия мыслей о Дорнах оборвалась: —

— она пробежала в каких-нибудь десять минут (именно после духовного озарения в Бергене, — должен был ждать: нападения на нас грязной пакости этой)...

В ВАГОНЕ

Стучали вагоны; бежали по Франции; веяло ветром в окно; голова моя прыгала, ударяясь о доски; я поглядел на шпиона: меня посетила безумная мысль:

”Вот сейчас он достанет изящнейший портсигар: защипнув двумя пальцами сигаретку, — отравленную! — он предложит ее”.

Это стало мне ясно не нашею, а какой-то полусонною ясностью; и представьте себе: —

— мой брюнет, с отвратительной ласковостью погладев на меня, суетясь, доставал свой изящнейший портсигар; защипнув двумя пальцами сигаретку, он — стал предлагать ее; ясно: он мысли прочел; и не выкурить — значит выдать себя (в чем же выдать?).

Я — выкурил: я прислушался к начинающейся дурноте; поднималась она от желудка; и — щекотала мне горло:

— ”Отравлен!”

Стучали вагоны; бежали по Франции; голова моя прыгала, ударяясь о дерево; горбоносый брюнет, открыв рот, задремал; это он притворялся: подсматривал, как отравля меня изменяет.

За что я отравлен?

За то, что я жил близ границы, за то, что я слушал беседы и лекции Штейнера?

Да, я отравлен: отравлен за то, что я предал.

— "Вздор!"

— "Вздор!"

— "Никакого предательства не было"...

Кто-то сильный и властный во мне, кого чувствовал, как инородное тело (невроз разыгрался), отвечал взрывами нудных дурнот из меня.

— "Да, да, да!"

— "Это — было!"

Что было?

Подбросило: белым блеском влетел снап огней; привскочил; привскочил и б р ю н е т; мы едва не столкнулись лбами:

— "Что с вами?"

— "Мне — дурно"...

Двойственность моего отношения к доктору из Одессы сказалась; с одной стороны, этот "доктор" был явно б р ю н е т о м, меня отравившим; с другой стороны, он, внимательно относясь ко мне в миги болезни моей, во мне вызвал естественно приступ доверия: все-таки, думал я, доктор он: и — по сердечным болезням; на расстоянии он казался б р ю н е т о м; по близости — доктором, может быть состоящим на службе о х р а н к и; о х р а н н и к а я не боялся: боялся я сыщика — высшего смысла, принадлежащего к международному обществу сыщиков, состоящих на службе у... —

— у кого?..

Что мне внушало панический ужас в б р ю н е т е? Ведь не его я боялся: того, что глядит сквозь него, что однажды, прорвав его видимый лик, из него на меня хлынет черным потоком; тот черный поток при внимательном взгляде оказывался пустотою, отсутствием какого бы ни было цвета; его чернота есть пролом: в никуда и ничто; он — открытый отдушник, в который нам тянет угарами невероятного мира, по отношению к которому наш мир жизни ничто; и не только наш мир, но и образы чисто духовной действительности, в нас корнящейся, суть ничто; это — что-то, в ничто обращавшее все, что ни есть (мир мистерии, мир души и мир духа), по отношению ко всему, что ни есть, при своем появлении в плоскость сознания нашего обнаруживает, как сплошное ничто, явление свое.

И, стало быть: сыщик ничто, принадлежащий к секретному братству, вводящий что-то, по существу нам неведомое и стучащееся в наши двери, как ужас ничто, — для меня был ужасен не чем-нибудь, что он нес, а — ничем. Появление его близ меня в те минуты, когда мои грудь, руки, мозг ощутили себя пустым шаром, поставленным... на желудке, обозначало: —

— тот мир, где ты жил, — мир мистерии — есть ничто; твое "Я", изошедшее ныне из тела в мир духа, который — ничто, есть ничто; ты мечтал о себе, что когда-нибудь будешь и ты б о д д и с а т в о й; но ты, б о д д и с а т в а, — н и ч -

то; я ж, возникший, как тень твоя, — все; —

— и провеяли подступы ужаса пустоты от брюнета, напоминая о сонном кошмаре; страшнее сонных кошмаров опять-таки заключалось при попытке войти в их нелепую жизнь и осознать эту жизнь, — заключалось страшнейшее: в очень смутно рождавшейся памяти о первом кошмаре, в котором себя нахожу я младенцем, до первого воспоминания о событиях, связанных с биографической личностью: —

— не возникает еще мне отца, няни, матери; не возникает голубенькой комнатки детской, — а уж я сознаю: — "Я есмь я" —

— но это "Я" беспокровно приносится в пустоте, одолевая ее невероятным полетом, напоминающим ужас падения в пропасть и вспоминающим о каком-то опорном, неподвижном пункте, с которого "Я" сорвалось; —

— этот пункт, как мне кажется, — бытие до рождения; пропасть, куда я лечу; — мое детское тело, в котором себя ощущаю я в следующие моменты сознания; —

— уже после, вникая в ужасные невероятности этого мига сознания, я подсматривал памятью в "миге" существенный, явно присущий ему, в нем сидящий "миг" верного знания, что решение оторваться от твердого пункта и рухнуть в провал, или — тело —

— решение воплотиться —

— принадлежит мне, лишь мне; решение перерешать было поздно; непоправимое свершилось: я — вваливался, переносясь по пустотам, в набухшие органы детского тельца, распертые ростом (переживание "роста" в младенческой жизни сопровождается криками страха); —

— впоследствии образы страха (чертей, бук, ведьм) воспринимаются детским сознанием как погоня; но этот ужас погоня — проекция внутренних переживаний младенца во мне; ощущение погоня есть чувство движенья полета внутри организма; верней: ощущение воспоминания о когда-то бывшем полете, ввергающем "Я" чрез ничто в безобразные органы тела; стало быть: ведьмы и буки — враги! — состояние сознания, вдруг лишенного тела; иль вернее: воспоминание о таких состояниях сознания; —

— стало быть, —

— мой брюнет лишь тоска, которую на себя набросала погоня, ее же я смутно ношу через жизнь как ужасную память о состояниях сознания, оторванного от источника духа;

и — еще не укрытого под покровом тела; боязнь появления сыщика есть боязнь приближенья ко мне моих тайных глубин; в миг, когда меня схватит он и потащит в тюрьму, — произойдет невероятнейшее: он низвергнется на пол, как скинутое черное пальто; и безобразное, бестелесное, что он носит в себе, иль — ничто: соединится со мною, волеется в мое сознающее "Я"; и — погасит его; он есть встреча моих подоснаний с сознанием при нарушении порога сознания при переезде через границу; недаром же я ощущал, —

— что ку-
сочек земли, на котором я мог стоять крепко с тех пор, как все рухнуло в мировую войну, оторвался: и — Франция, Англия рухнули на меня, как пустое ничто, как огромное тело, в которое надлежало мне воплотиться, что из меня в — никуда! — что-то тронулось; прежнее все поотстало, а новое, что должно было влиться в меня, —

— пустота, принимавшая оболочку брюнета —

— брюнет был флаконом с ничто, долженствующим мною быть выпитым, —

— пустота, принимавшая оболочку брюнета, —

— возникла фиалом: —

— пока: —

— переносился я из одного состоянья сознания в другое: —

— мой путь — неизмеримость: не Франция, Англия, Швеция пересекут мою орбиту, а чужие планеты — Юпитер, Луна и Венера — ударятся в "Я", прежде чем упаду я на родную мне землю; а Нэлли еще оставалась в том мире, который навеки, быть может, ушел от меня...

Поезд стал; мимо окон валили солдаты, перегруженные ношами: в медных шлемах; они возвращались на фронт; вот толпа их ввалилась в вагон; мы — притиснуты в угол; фляжки с красным напитком (должно быть, вином) загуляли вокруг; все наполнилось хохотом, прибаутками, песнями; лиловатое облако задымилось на бледном востоке; пышнели леса; проезжали мы около Фонтенебло; надвигался Париж.

Бархатистая, листовенная глубина синей зелени леса —

— французская зелень — зелено-синяя зелень — шумела на остановках; когда-то мы, с Нэлли, здесь именно, около Фонтенебло, провели жаркий, красными маками проговоривший, июнь; и — вдруг вырвалось:

— "Я места эти знаю".

Насторожился брюнет:

— "Вы здесь жили?"

— "Да, жил".

— "Когда?"

— "В тысяча девятьсот каком?.. Да... двенадцатом..."¹

— "А позднее вы не были здесь?"

Но я сухо молчал: "сы щ и к" что-то записывал в книжечку...

ПАРИЖ

Париж...

Нет носильщиков: в прежнее время не то; их на поезд проворно кидалась веселая, синеглазая стая; мы — тащились, перегруженные багажом; остановился наш поезд, как будто нарочно — далеко, далеко.

Жара, пыль, бестолочь: наконец, сдавши вещи, едва мы попали в буфет; переполнен буфет; тут — военные всех обличей и стран; черногорцы, французы, звенящие шпорами, в алых штанах, англичане, одетые с блеском; и — исходящие блеском, с нафабранными усами какие-то чересчур европейцы: то сербы; отчетливо звякают шпоры под столиком; лоснятся, золотеют и серебрятся нашивки; малиновеют штаны; вот от столика к столу перебегает мой взор: офицеры, жандармы, полковники, сабли, медали, нашивки; Париж ли то? Выправка, четкость, подтянутость, суетливая, деловитая спешка; ни шутки, ни песни!

На улице: т р а м нас несет по направлению к русскому консульству; утро; и — пусто; и — женщины подметают пыль; мало мужчин; мотоциклеты, стреляя по всем направлениям и разрываясь бензином, по всем направлениям носят вцепившихся в ручку солдат; офицеры, опять офицеры; малиновеют штаны; серебрятся нашивки; и повсюду, куда ни помотришь: флер, флер; черный цвет доминирует; женщины — черноногие, черноцветные, спешно проходят; и те же: отчетливость, четкость, подтянутость. Нет ни песен, ни шуток.

Мы в консульстве; ждем; не имеем мы права остаться в Париже; но не имеем мы права и выехать без разрешения консульства; все равно мы не знали бы, как нам добраться до Гавра.

И снова на улицах: трам нас несет по направлению к вокзалу; на улицах — людоеды; мотоциклисты, стреляя по всем направлениям и разрываясь бензином, по всем направлениям проносят солдат; пролетают автомобили; военные кэпи повсюду; повсюду — жандармы, полковники, капитаны, корнеты — французы, бельгийцы, канадцы, шотландцы, зуавы, носатые греки — все кэпи; вон — русская промелькнула фуражка; и вон — черноногая женщина в траурной, черной, короткой юбочке.

И — все: нет Парижа, который я знаю, который люблю. Этого Парижа не видел. Другой Париж, чуждый мне, с головокружительной быстротой промаячил, промчал нас по улицам: вышвырнул — в гаврский поезд, как страшных чумных оттолкнул его...

Снова помчались: в... ничто!

Около меня появляется вблизи Гавра бельгийский чиновник; и между нами завязывается воровской разговор: не то — разговор культуртрегера с культуртрегером, а не то разговор вора с вором; он тонким неуловимым подходом вытягивает из меня роковое признание, что я в Брюсселе жил-таки (роковое признание потому, что заметил я свойство всех агентов контрразведки: подозревать в шпионаже тех именно иностранцев, которые до войны посещали места, где впоследствии разыгрались бои). Сделав сыщику роковое признание, что я в Брюсселе некогда жил, получил заверение я от него, что и он в дни войны неоднократно жил в мирном Базеле (тонкий намек!); я старался его убедить, что не какой-нибудь я проходимец, а — русский писатель, достойная личность, имевшая в Брюсселе много почтенных знакомств; я спросил у бельгийца о Жюле Дестрэ, о де Гру, о мадам Вандервельд и т. д.

Бледная женщина, севшая рядом со мной, приложила к губам своим палец и показала глазами на спину бельгийца.

Сказал себе я:

”Провокация: она делает знак, чтобы кто-нибудь изучил выраженья лица моего в ту минуту”...

И я с нарочито подчеркнутым удивлением посмотрел на нее; и — подставил ей спину.

Лиловые тучи стояли на западе; веяло морем...

ГАВР

И вот протуманились белесоватые сумерки; гаврские улицы за плечами; сырая, туманная ночь; жуткой мутью стоит предо мною граница: передают нас английским властям.

Вновь осмотр: то же все — перемогание пристальных взглядов жандармов, констеблей и так себе сэров, непроходимой стеной окружающих нас: вместо стаи брюнетиков — окаменелые, неподвижные лица шотландцев; опять ощущение, что — пустое пальто, из которого выкачан воздух; и оттого оно — сплющено; в этом сплюсненном виде я плелся к барьеру; того господина ощупывали, тербели и повели раздевать в сопровождении жандармов (быть может, ему будут смазывать спину каким-нибудь едким составом, быть может, заставят проделывать позорные действия в присутствии английских джентльменов, чтобы извлечь из желудка проглоченный им документ или бумажку с секретнейшим шифром; и — далее, далее); ту белокурую барышню повели под рентгеновский аппарат.

Это только второй наш осмотр (предстоит ряд других: в Соутемптоне, в Ньюкастле и — далее, далее).

Так — началось вновь сражение: более страшное, чем в окопах; оно протекало с тончайшими жестами между хвостом пассажиров и длинным столом, за которым сидело до двадцати величавых исполненных строгости

сэров; и ту же систему я видел: внезапно — остановить, предложить ряд пустейших вопросов; и, усилив внимание, предложить с ног сбивавший вопрос.

— "Вы — свободны".

И — нет: не свободны; за вами теперь вот, после допроса, впервые начинается серьезная слежка; действительность сна охватила опять: подбегаю к квадратному столику, за которым сидит толстотелый, мордастый, упитанный сэр, — подбегаю, чтобы выдержать то, что отсюда возникает; а около сердца, которое ощущаю пустым, начинается жизнь и кишенье змеевых и выющихся масс; грустный сэр, —

— уронивши мордастую голову на руку, передо мной за столиком, развалясь, пронизательно смотрит — не на меня, а на пуговицу моего пиджака; я подсаживаюсь к столику и, положив рядом шляпу, прислушиваюсь к вопросу, который намеревается сделать мне он; он —

— молчит —

— и опять перестроился хвост; и опять передвигаемся мы с чемоданами; к новому столику; на спине, на затылке, на шее прилипшие взгляды; — и бестолочь слов, скрипов, шорохов в гареве ночи слагают чудовищный абракадаберный бред.

Ба!

Опять — котелок, но не доктора из Одессы, а мистера; мистер толкает меня; он — мне сонно знаком.

Тут со мной происходит, — но как описать?

Все равно ничего не поймете: понять невозможно: —

— мне ясно: они знают все; они знают, что я емь не я, а — носитель огромного "я", начиненного кризисом мира; я бомба, летящая разорваться на части; и, разрываясь, вокруг разорвать все, что есть; этого они не допустят, конечно: держать нас в объятиях, в мороках мира, и их цель; они знают, что теплились ясные ясли: младенец во мне опускается в громе говора мира; и — как бы шар, превышающий блесками солнце, порою восходит ко мне: —

— слышу явственный шепот вокруг:

— "Это — Он!"

Я для них тот таинственный Он, о котором они тайно слышали, что этот Он существует; и этого для них страшного "она" они не пропустят в Россию; для них я емь — Тот, который... и далее, далее; что "Тот, который", откуда, куда и зачем, мне не ясно; но ясно, что знают они обо мне больше даже, чем я о себе; так: не знаю я сущности разрывавших меня сил Любви, а они знают сущность; но, ненавидя ее, ненавидят меня неугасимую ненавистью:

— "Да!"

— "Это — Он!"

И — вперили в меня безглагольные взоры свои два за мною стоящие

джентльмена; и — смутный пророческий смысл проникает вдруг все: —

— чувствую происходящее издалека-далека; происшествия французской границы раскладывают свои карты: читаю восставшие знаки; событие эпохальное переживается здесь, в этом месте, — в стоянии "Я" глагольными сэрами; на одном — б е л ы е п е р ч а т к и; такие же точно перчатки употребляются при...

...Да, да!..

Ритмы пакостных взоров во мне развивают —

— ужасные, змееногие образы; и —
змееногие образы на меня наползают —

— то мысли их, тайно
въедаясь в меня, развивают во мне, паразитируя —

— жизнь: жизнь
чудовищных
безобразий —

— и
над собою самим
начинаю глумиться —

— и отемнеется все вокруг
меня; расширяются мраками страшные нетопыриные крылья; и —

— волна
рокового Н и ч т о, прорываясь сквозь все, затопляет во мне — мое "Я"!..
"Это — Он!"

Он — Н и ч т о...

В действии на меня джентльмена в т е х с а м ы х перчатках свершаются ужасы отемненья души; и взрывается неугасимая ненависть ко всему человечеству: —

— понимаю величие этого д ж е н т л ь м е н а, свергающего и возносящего Греев¹, Ллойд-Джорджев², Пуанкаре³, Клемансо⁴ и других: —

— "Это — он".

— Действия общественной жизни — машина: участники суть тела, соплетенные мощной и магической цепью; единство себя сознающего "Я" угасает; о р г а н и з а ц и и, общества, где производятся эти действия, если хотите, и нет; но: оно — всюду, всюду; обряды чернейшей мистерии этой свершаются: на трамвае и при осмотре, на таможне; но к о г д а происходит и где происходит обряд, не откроете вы, ежели вот тот сэр не захочет; участники строят фигуры; и — ходят косыми углами; действительность распадается в черные треугольники и на тебя набегающих, пересекающих дорогу людей; мускулы в это ужасное время несут на нас ужасы: попадают всюду уроды; картины разврата и человеческого падения предстают;

совершенно случайный заход в писчебумажную лавку за открытку — превращается — просто черт знает во что: предлагают купить ни с того ни с сего порнографическую открытку невероятного содержания; выходишь: — подстерегает на улице — проститутка; и — предлагает ту самую гадость, которую только что созерцал на открытке; впервые теперь открывается гадкий, вчера еще мне непонятный, увиденный жест, разыгравшийся меж господином и дамой в трамвае; —

— и мне уже ясно: то буквы обряда чернейших мистерий, свершаемых в с ю д у под руководством ц е р е м о н и й м е й с т е р о в общественной жизни: —

— тогда появляется сэр, обставляющий грязными знаками: и — дает мне понять:

— "Да, да, да!"

— "Это — я..." —

— На протяжении четверти часа прочитываешь библиотеку знаков...

И я — был расплюснут, вступая на палубу парходика, перевозящего нас в Соутэмpton: —

— в воспоминании возникают стальные отливы из взъерошенных волн и потушенные фонари парходика во избежание мины, могущей прорешетить парходик.

Ламанш оплотнел сырым войлоком туч; и вместо шири морской, неопределенности моего положения в мире, как эфемерные земли, подкрадывались из тумана ко мне; мне казалось: —

— саженях в полтораста от нас обрывается море; развеялся туман, мы бы стиснуты были землею; —

— но нос пархода, врезаясь в прыжки серых волн и поднимая фонтан белобисерной пены, бежал на туман —

— и туман начинал расступаться; земля впереди отбегала, а —

— земли, от нас отстоящие саженях в полтораста, бежали по правую и по левую сторону пархода —

— в расстоянии саженей полтораста...

У борта — одни! — величавый, задумчивый сэр, созерцая медлительно хаос стихий, — неподвижно стоял, не глядя на меня; ультиматум его, мне предьявленный в Гавре, отчетливо был напечатан чудовищным шифром, мной читанным; — шифр же гласил:

— "Да, пора, сэр, смириться!.."

Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный,
Решал все тот же я — мучительный вопрос,
Когда в мой кабинет, огромный и туманный,
Вошел тот джентльмен. За ним — лохматый пес*.

* Стих. А. Блока⁵.

Есть игра: осторожно войти,
Чтоб вниманье людей усыпить;
И глазами добычу найти;
И за ней незаметно следовать*.

...Постигать
В обрывках слов
Туманный ход
Иных миров...**

На кресло у окна уселся гость устало,
И пес у ног его разлегся на ковер.
Гость вежливо сказал: "Ужель еще вам мало?"
"Пред Гением Судьбы пора смириться, сэръ"***.

А у борта — один! — величавый, задумчивый сэръ с безбородым лицом, мне напоминающим Вильсона⁹, тихо стоял: и — серьезной печалью седые глаза пронизали седое, туманное утро: мы — близились к Англии.

МАРКОЙ ВЫШЕ

В это хмурое утро носились по воздуху зеленоватые мути; неясвенно принижалась земля: очертанья чудовищ — четырехтрубных, трехтрубных — стремительно пронизали туманы то справа, то слева; и вновь уходили в туманы, но рой грязноватых туманов редел...

Передо мною на палубе не вертелся тот сэръ, о котором забыл я сказать и который явился на смену одесскому доктору в Гавре.

Стоял у барьера, притиснутый справа и слева двумя джентльменами, бритыми и безучастно вперившимися в нас; и казалось, что в нас впечатляли они безучастность столь явственно, что их взгляд на лице уподоблялся вещественному прикосновению: точно кто-то с размаху меня по щекам бил ладонью; подумалось: "Безучастие это — глазоприкладство какое-то"...

Третий их спутник, как кажется, занимался детальнейшим разъяснением двум джентльменам всех данных, которые мог он собрать обо мне, оглашая негромко пространство меж нами невероятным количеством слов, выпускаемых через зубы, — в секунду; а из словесных потоков неясвенно мне вычеканивалось, что я — русский писатель, что — будучи русским писателем, я... что такое, "я, будучи русским писателем", сделал в многоречивом потоке, посыпанном блещущей солью насмешек и радости, что, наконец, уличен я, — все понять я не мог.

Я, признаться, готов был бы спорить с поклепом; но не уверен я был: подлинно ли джентльмена я понял.

* Стих. А. Блока⁶.

** А. Блок⁷.

*** А. Блок⁸.

Недружелюбно оглядывал джентльмена: приземистый, головастый, юлящий, но элегантно одетый, поставивши локти углами и задевая как будто нарочно локтями меня, он финтил и приплясывал рядом перекидными прыжочками, то склоняясь к безучастному джентльмену направо, а то — к джентльмену налево, пихнувшему больно меня; и порочил без умолку; большелобая голова в котелке, круто вздернувшись вверх, собиралась то справа, то слева кольнуть мою щеку подстриженным кончиком темной бородки; я б назвал его эластичным, подкидистым, пляшущим "мистером", если бы не был одет так изящно подкидистый "мистер"; он был "джентльменом", не "мистером"; в орбитах глаз, как ни вился, финтя, "джентльменчик", укрылось какое-то что-то, которое не позволяло назвать мне его болтуном; стреловидные, малые, острые, черные глазки, перелетающие от меня на безучастного джентльмена налево и от него к безучастному джентльмену направо — на протяженьи секунды и успевающая нарисовать росчерк в воздухе, — эти глаза напоминали... перчатки, которые зажимают в руке для приличия лишь в фешенебельном Лондоне; пары глазок, их росчерки в воздухе показались лишь принятым тоном, естественным в этом месте и неестественным для самого джентльмена, которого подлинный взгляд сквозь прорхающий взгляд, мне казалось, я понял: —

— пронизывали две стальные иглы сосредоточенным холодом мира и мощью!

Тут я испугался.

То общее целое, что унеслось от фигуры, смятенною памятью оживало во мне: в Петербурге, в Москве...

Этот лоб, перерезанный тонкой морщинкой, — устоялся в крепком упрямстве: сломать мою самостность; а сухой, горький рот передергивался мелкой солью сарказмов, с которыми "джентльменчик" склонялся к нему усталому сэру направо, чтобы тотчас перебраться к точно такому же сэру налево, пихнувшему больно меня; все сказали бы "полушут-получертик", — тот именно, кто юлит в малой баночке, продававшейся некогда на излюбленном вербном гулянье — под именем:

— "Морской житель!"

Но — нет: между финтящими жестами ясно подглядывал я, как сквозь щель, — другой очерк лица: наблюдающий очерк лица, благородно-таинственный, сосредоточенно-чопорный, укрявающий под огромною, лобною костью железную силу, которая —

— при желаньи могла бы не только расплющить огромные толпы людей, создаваемых кодексом quasi ясных общественных мнений, резцом властной воли на *tabula rasa* души, гравирова какие угодно ландшафты, распространяя полученный трафарет человеческой личности в миллионном масштабе, —

— которая —

— при желаньи могла бы не только расплюснуть людей, превратив в уплощенную медную доску их

самостность, —

— но и промять земной шар, как раздавленный, прорванный мячик!

Ясно высмеяв нас в устремлениях к духовному миру, не веря в им созданный для других о нас миф (будто мы суть шпионы) — там, в Гавре, позволил он мне заглянуть сквозь зрачки в свои мысли: повееало: —

— зеленоватым, не-

сущимся воем космической бури —

— быть может —

— космической бури войны, —

— и прибои, стреляя из глаз, ощутились действием радиоактивных веществ на моем подсознании, разъедаая строй созданных представлений; —

— понятие, отделяясь от понятия, разрушало систему тобой установленных правил: и — становилось уединенною точкою —

— атомом сэра Ньютона¹ —

— и погружалось в Ничто; мир моих представлений под действием этого взгляда на миг превратился в ничто; —

— победоносное "Я" было поймано и повешено на мгновение, как пустое пальто вместе с брэнною оболочкою в гардеробе у сэра!

Так действие взгляда во мне отразилось — на протяжении секунды, не более; стреловидные, черные, острые глазки летали меж тем, как перчатки на взгляде, — от безучастного джентльмена налево к такому же точно направо, нарисовав росчерк в воздухе.

.....

Вспомнилось: —

— перед нашим отъездом из Дорнаха я присутствовал на репетиции эвритмической постановки той сцены из "Фауста", где являются перед телом умершего Фауста роем Лемуры: его разлагать; и среди них Мефистофель; потом появляются ангелы; и начинается бой из-за Фауста; помню я: Штейнер, взяв книгу, участникам репетиции показал, как им следует передать эту сцену: сыграл Мефистофеля; действие этой — о, нет, не игры! — было сильно; лицо передернулось; и, отступая от ангелов, —

— черт, поставивши локти углами, юлил и винтил, и приплясывал перекидными прыжочками и, клонясь налево, перегибаясь направо, пороча слетающих ангелов, перелетая глазами, вдруг ставшими в п а л ы м и, ч е р н ы м и, острыми глазками, —

— выявил распадение органов тела на части, —

— рука, отделяясь от тела, являя не то, что нога, будто праздню приставленная к туловищу и от него отделенная, —

— обнаружился телесный распад

на отдельные пункты, через которые в ангелов ухала буря пустот через прорезь зрачков.

.....

Это было явление несомненно серьезнее, чем явление одесского доктора на французской границе; вторая граница — опаснее первой; да, если каждый брютет — черный ангел, сэр — черный архангел, —

— так мелькнуло бы мне, если б что-нибудь в миге мелькнуло; но в миге ничто не мелькнуло, как не мелькнуло товарищу.

Да!

Позабыл я сказать: ведь из Дорнаха ехал с товарищем я; но с минуты отъезда из Берна мы оба ушли друг от друга в свой собственный мир: не глядели друг в друга: перед собой и — в себя; так что мы не видали друг друга; ушли друг от друга.

Воспоминанья о близких, оставленных в Дорнахе, нас разлучили; и, во-вторых, мы всецело ушли в наблюдение о б р а з о в, п р о х о д и в ш и х, как знаки; одновременно мы поняли, что нам лучше друг с другом молчать; не обменивались передающими взглядами; передачу могли подсмотреть или прямо украсть; лишь позднее, в Москве мой товарищ признался: с момента вступления в Англию чувствовал властный запрет разговаривать; даже чувствовал властный запрет вспоминать обо всем, что нам близко; чистейшие мысли они; их прочтя, подменили б грязнейшим, напечатавши, например, интервью: "мысли двух иностранцев".

.....

Я думал о сэре, но сэра на палубе не было; спал; очертания океанических чудищ стояли вдоль гавани: рядом, вдали, справа, слева, рои грязноватых туманов, став сизыми дымками, озаренными солнцем, тащились вдоль зелени левого берега; повалила толпа пассажиров по направлению к борту, чтоб влиться в барак (для осмотра). Тогда-то опять завертелся т о т с э р, оказавшийся в свете английского утра невинным и радостным джентльменчиком; подхватил чемодан и, подталкивая его толстое тело коленкой, приветливо поднял котелок, нас увидев, и переполнил пространство между нами мельчайшими бисеринками слов, выпускаемых через зубы, провел нас к барьеру; и помогал отвечать на вопросы, которые предлагались чиновником сыска; он выручил нас из беды, извлекая пропавший багаж телеграммою, им отправленной в Гавр; элегантно одетый, подпрыгивал фертиком; перекидными прыжочками нас догонял. Наклоняясь ко мне, но стреляя живейшими глазками прямо в товарища, он стальной коленкой подталкивал свой чемодан, острым локтем показывал нам на поданный лондонский поезд, смеясь над нелепой фигурою русского эмигранта, мелькнувшего издали.

Думалось: так же вот он и вчера посмеялся над нами; — а я-то, а я-то... И, рассыпаясь в любезностях, обещали друг другу, что мы повстречаемся в Лондоне; на вокзале растались мы с... этим милым, достойным, приветливым, маленьким с э р о м.

ТОМ ВТОРОЙ

ЛОНДОН

Великолепен вид Лондона.

Темза закована в камни: сидишь под зеленой дубравой на лавочке; курятся дымками неопределенности воздуха; кружевом готики морщится вставшая спицами благородная тень: —

— Уэстминстерское Аббатство!

А солнце ширеет к закату, садясь на трубы; и глянец летучится в стеклах домов, не подавляющих вышиною, достойных, приятно ласкающих ритмом пропорций; коричневатая, серо-желтая, серая окаменелость стены потеряла весомость, запепелела вечернюю тенью: и кажется головой джентльмена, приятно пробритого и моложавого, несмотря на упавшее на него бремя лет, — джентльмена, идущего вдоль нее в серой фетровой шляпе и сжимающего перчатку в руке, —

— да: ходить, зажимая перчатку в руке — значит быть джентльменом; я первые дни не ходил, зажимая перчатку в руке: я не был джентльменом; мне после открыли глаза: и я стал джентльменом: —

— но фетровой серой шляпы, не прущей полями в глаза, не купил: —

— широкополые шляпы есть "ш о к и н г"; в Лугано — увы! — покупают себе широкополые шляпы (и шляпа моя из Лугано, здесь, в Лондоне, уличает меня)... —

— уличал меня с т э к: здесь со с т э к а м и ходят солдаты-канадцы: в канадскую армию зачисляются русские (чистокровный британец не станет "канадцем").

.....

Великолепен квартал, где раскинулся львами Британский Музей; здесь дома тяжелеют стенами; достойные медные доски фундаментально поблескивают; дом, тяжелый, отчетливо отделен от другого, тяжелого дома — зеленою купой деревьев; из лапчатых листьев летит хаотический шум; среди этого шума стоит фешенебельно дом: джентльмен: и — мечтательно курит сигару: —

— в коричневом смокинге, индивидуально свободный, отдельный от всех джентльменов-домов! —

— и выраженьем подъездного рта, выраженьем стеклоглазых оконных отверстий напоминает: Гладстона², —

— а между тем принадлежит он купцу из Йоркшира, производящему толстых, достойных свиней и поставляющих свиных и тин у миру.

Я — под ним прохожу; и — поднимаю почтительно пару перчаток, зажатых в руке: дом Гладстон, отряхнув из трубы на меня пепел дыма, внушительно смотрит, без слов говоря:

”Да, да, да!”

— ”Вам пора, сэ, смириться!”

— ”Вы — носите стэк!”

— ”У вас шляпа с полями”.

И точно такие же речи я слышу от дома напротив: он — серый, тяжелый, индивидуально отставленный от соседнего дома налево и от соседнего дома направо; распахивается подъезд; и плюет на меня он лакеем, стоящим посредине распахнутой двери с уничтожительным подбородком: — так плюнувши на меня, джентльмен — дом напротив! — своим ледоглазым отверстием окна простеклянит мою душу: —

— ”Пора, сэ, смириться”.

И я пробегаю вперед: дом за домом, тяжелые, индивидуально отставленные друг от друга — все пэры и лорды, принадлежащие к партиям тори и виги³, в коричнево-дымных, сереющих смокингах, мне бросают строжайше:

— ”Пора, сэ, смириться!”

Я, в лоск уничтоженный всеми домами квартала и всеми прохожими этих достойных домов, выбегаю стремительно по направлению к Пикадилли⁴: там проще; там бродят солдаты-канадцы с широкополыми шляпами и задорными стэками.

.....

Окаменелости домовых плоскостей, не крича, точно головы строгих Гладстонов, протяжелели достоинством, благородством и весом себя сознающей души, — одеваются в сплинные дымки легчайшего вечера; и уступы, и выступы, бронзовея медянными досками, проседают, как в стул, в пепелеющий тенями мир: джентльмены — Гладстоны, Ллойд-Джорджи и Греи играют друг с другом в бостон, наплевав на меня; мне от этого легче: любуюсь их статью.

Легчая, заширились площади, монументально украшенные поста-ментами; и монументы, тенья, легчают, взлетают; как палец, протянутый ввысь, великолепно стреляется контуром в небо колонна Нельсоновой статуи⁵; в отсерениях проступают янтарно огни; в отсерении растворяются: стены, карнизы, колонны, фронтоны, подъезды; текут шестестаящие гуши людей: слава Богу: не лорды и леди (их меньше здесь!), а, как и я, джентльмены; редеют они: повалил сплошной ”мистер”, в сопровождении — о, нет, не мистрис! — а веселых хохочущих, розовых,

перистых дамочек; повалил сплошной Томми⁶ — изящный, блистательный, выбритый: Томми — солдат; вместе с "мистером" и пернатой дамочкой весело бродит он; наделяет пинками меня; не обидно ничуть: он — меня, я — его.

Видно, здесь мое место: увы, джентльмен вряд ли я — просто "мистер" со "стэком" в руке, лишь для вида носящий перчатки; тут рой котелков, перьев, хлыстиков, шуток, гудков и свистков; зацеловались посредине проспекта, кипящего людом: и эти, и те; и никому нет до этого дела!

И кажется Лондон широким простором; и линии стен, не озаренные матовым светом, тенься, овоздушились (джентльмены-дома за бостоном, должно быть, заснули), —

— и линия электрических фонарей с колпачками, надетыми сверху (предосторожность на случай прилета сюда цеппелинов), свой свет не бросают на линию стен и на небо над ними: —

— оттого-то над Лондоном ночью, светясь, не рыжеют туманные мути, а —

— лиловет чернотная бездна на стены упавшего неба; — и образуется черною линией стен с непроницаемыми занавесками окон и небом, припавшим на крыши, — темнейший туннель, посредине которого призрачный свет озаряет громовые говоры тысячей призрачных силуэтов —

— ликующих "мистеров" и ликующих "Томми", перебегающих улицы и убегающих от трамваев, пролеток, авто, —

— пролетающих и разрезающих улицу, перевозящих ликующих "мистеров" и ликующих "Томми"...

.....

Гигантские световые мечи, вдруг занесшись над призрачным Лондоном: —

— потрясутся немой угрозой; и — рассекут бездну ночи, упав к горизонту; а то — залетают: летают, летают, летают, пересекаясь — оттуда, отсюда: туда и сюда; вот один световой, немой меч, — вдруг поднявшись перпендикулярно, пытается перелететь мировое пространство; и — дотянувшись до Господа Бога, его осветить: —

— все стоят, вздернув головы; смотрят, где он, Господь Бог: никого, ничего; — меч падает; миг и —

— ай! —

— улица, на которой стоишь, осветилась ослепительно: вспыхнули на мгновение "мистеры", дамочки, "Томми"; на дамочке вспыхнули серьги, на "Томми" — нашивки; все стало живым, полнокровным, в упавшем вдоль улицы, улицу пополам перерезавшем мощном луче; в месте же рукояти, оттуда, стрельнуло алмазное око прожектора; —

— ай! —

— и вознесся на небо прожектор: и призрачной светочи полуприпущенных фонарей с полупризрачным роем: —

— ликующих "мистеров"
и ликующих "Томми", перебегающих улицы от теневых перелетов трам-
ваев, наполненных роем ликующих "мистеров" и ликующих "Томми"!

.....
Ночью Лондон — огромный, упавший на землю, оскаленный ужасом
пес. Обрастает он мраком, как шерстью; в шерсти же — в упавшем над
Лондоном небе — заводятся блохи: прискачет их ярая стая, кусая упавши-
ми бомбами; эти точки, затерянные там, в пространствах тумана, — не
блохи, а... цеппелины; и "пес" начинает рычать и искаться в шерсти
ослепительными лучами прожекторов; и световые воздушные зубы-про-
жекторы — яро кусаются: а высоко-высоко в шерсти переползает "бл о -
х а" малой точкой: —

— летит цеппелин: и кусается бомбами, разнося тяже-
лейшие стены домов; здесь и там, как болячка укусов, зияет провалом на
улице неживая развалина дома —

— не видел я их: но другие их видели.

.....
Я же видел такую картину: пересекая проспекты, с верхушки трамвая,
я любовался роями галдящих теней, перелетающих с невероятной скоро-
стью у меня под ногами; и — отлетающих в неопределенности тусклых
далее проспектов; казалось, что туман, набегая из далее проспекта с неве-
роятную быстротой, распадался на атомы: то есть — на тысячи "м и с -
т е р о в", "п р о с т и т у т о к", "канадских" солдат, начинавших галдеть под
ногами; и — относимых с такою же быстротой в противоположную сторо-
ну: в дали проспектов, где все они, затускнев, замутясь, плотно слипнув-
шись в массы, опять становились — легчайшим туманом; смотрел: высыпа-
лись тысячи "мистеров" под ноги мне из туманов; и, выметаясь оттуда,
взлетали за т р а м о м, как пыль из-под ног, рассыпаясь в н и ч т о: трам
летел; около П э р м и т - О ф и с ⁷; вдруг: —

— с востока над крышами, с запа-
да, с севера, с юга —

— забили фонтаны прожекторов в небо: и — пе-
ресекались на небе в одно световое пятно: точно солнечный зайчик иль
ложное солнце среди ночи образовалось в пересеченьи лучей: пересекаясь
в пятно: —

— мчалась по небу точка: вокруг меня вскрикнули, повскакали
стремительно с мест и, задрвав свои головы, взглядом воткнулись
в летящую точку —

— я слышал, как гаркнули "тысячи" мистеров с улицы
под ногами —

— то (думал в наивности я) цеппелин; глядя на летящую точку
над нами, признаться, испытывал неприятное ощущение от возможности
расшибить свою голову при помощи упдающей бомбы, но —

— крик англи-

чан — был ликующий: точкою в небе летел англичанин: сторожевой аэроплан.

Ночью призрачен Лондон.

.....

Утрами угашается призрачный свет фонарей; но еще ранее, к часу ночи несметные тысячи "мистеров", как роса, осушаются: сухи и пусты проспекты.

Когда угашается свет фонарей и бледнеет, туманяся, небо, — квадратный туннель, образованный из чернотных домов и чернотной покрывки над ними, разъявшись на части, воздушнится, тает —

— и проступают неясственно окаменелые головы коричневатых и серых Ллойд-Джорджей — тяжелых домов; и говорят, приподнимая почтенное око густой занавески — в мир призраков: пляшущих "мистеров".

— "Сэры, довольно!"

— "Пора вам смириться".

Но сэров давно нет на улице: тяжело-крохотная повозка там едет; стоит уже себе полисмен и кивает почтительно округленную каскою.

Джентльмен, фешенебельный дом, тяжелеет: мечтательно курит сигару; и дым вылетает из лапчатых листьев: то в кухне готовится утренний ростбиф купцу из Йоркшира, владельцу свинятины и обитателю дома Гладстона.

Напротив: уже пробуждается дом-Чемберлэн^в; великолепный квартал воплощается в ясность дневного сознания; коричневатая серо-желтая, серая плоскость стены овеществилась и получила свой каменный вес; все приятно, пристойно, ласкает опрятностью, индивидуальную независимостью и вместе скромностью ритма пропорций; и медные доски подъездов и фирм бронзовеют; и проплотнел тяжкий Нельсон посредине вокруг суженной площади — с высочайшего пьедестала; и солнце, ширея с востока, отправилось с крыш. —

— Куда? —

— В Сити: —

— и голова моложавого, несмотря на года, чисто выбритого джентльмена под серую шляпою отправилась: в Сити; —

— и левой рукой сжав перчатки и прижимая перчатки пристойно к груди, направляясь —

— который раз! —

— в то же место: в Пэрмит-Офис (где стараются мне доказать, что напрасно спешу я из Лондона, что, пожалуй, удобнее мне записаться здесь, в Лондоне, добровольцем, в канадскую армию, — и быть посланным отбывать полицейскую службу: в Ирландию).

Бедный я!

Дом — фешенебельный дом! — меня учит:

— "Да, сэры, вам пора присмиреть!"

Дом напротив поддакивает:

— "Эй, вы, мистер, — смиритесь!"

А наискось кучка домов начинает гласить, что я даже не мистер: а — ф и н т и ф л ю ш к а какая-то.

И тем не менее: великолепен вид Лондона; Темза блистает: и кружевом тянутся в воздухе спицы Уэстминстерского Аббатства.

ФАНТАСМАГОРИЯ

Никогда не забуду я первый наш лондонский вечер: с него началось посвящение в Лондон.

К нам в дверь девятижды ударились фешенебельно-резвые трески; и по швейцарской привычке я крикнул — о, ужас!

— "Herein".

Я поправился тотчас:

— "Entrez" ... *

Фешенебельно-резвые трески себя проявили в особенной поступи:

— "Ту-тук-тук-ту-тук-ту-тук-тук".

Приотворилась дверь; и — тот сэръ, фешенебельно-резвый, как треск, от головы и до ног во всем лондонском, неузнаваемо сдержанный, одаря улыбкою нас, фешенебельно-резвый, как Лондон, — стоял перед дверью: и пара белейших перчаток, безукоризненно чистых, напоминающих пару перчаток старинных берейторов, бросилась в мозг (их держал он в руке), —

— эта пара перчаток, напоминающих пару перчаток берейторов, складывалась в ассоциациях памяти в полузабытые ритуалы полузабытых торжеств, о которых я некогда читывал, —

— бросилась в мозг, волнообразие мысли моей превратя в ряд каких-то зигзагов, распавшихся в атомы сэра Ньютона и закружившихся в смутные вихри теории лорда Кельвина о построении, верней, о расстройстве вселенной! —

— перчатки, берейторы, ритуалы и ритмы. —

— "Что это?"

Но я спохватился, сердечно приветствуя сэра, не показавшегося мне под лондонским воздухом маленьким, пляшущим "джентльменчиком", осыпавшем вчера еще в Гавре нас солями едких острот; не подавляющий вышиною, достойный, в приятного, пепельно-серого цвета пальто, обращающего внимание прочностью, строгим покроем и ритмом пропорций, — улыбаясь, молодежливо приветствовал нас сухой горькостью рта и очесанной темной бородакою.

— "Я сегодня свободен и покажу панораму: весь Лондон".

* Входите (нем., фр.).

— "Ручаюсь я, в три-четыре часа вы увидите, джентльмены, картину, которую без меня не увидели бы вы, прожив тут месяц".

При этих словах в перепуганных взорах товарища, устремленных на пару перчаток, напоминающих пару перчаток берейтора, ритуалы и ритмы, — произошло что-то странное: остановились они в недоуменном испуге и явном протесте —

— волнообразие мыслей его, вероятно, расстроилось, потому что из глаз полетели его лишь зигзаги и атомы сэра Ньютона, бестактно крутясь в томсоновых вихрях расстройтва вселенной, образовавшихся под черепною коробкою... —

— Я, это видя, решил прекратить неприличие созданной ситуации и немедленно согласился на предложение корректного сэра, обособленного в стойкость себя сознающей души и желающего оказать гостеприимство двум путникам дружественной и союзной державы:

— "Итак — решено... Я сегодня свободен от дела... Завтра утром я занят... Я еду в Оксфорд — и по серьезному делу"...

"Оксфорд, — думал я, — тот Оксфорд, где... и — прочее, прочее... Где профессора Умова, облача в ритуальную тогу, торжественно посвящали в сан "д о к т о р а ф и з и к и", и куда уезжал Виноградов...² где ныне сидит Миллюков³; и где нам — не бывать..."

— "О, Оксфорд!"

— "Что же, двинемся?"

Двинулись: если б не двинулись, — думал я, — все равно этот ласковый сэр, по очереди схвативши за шиворот нас, как пустые пальто, и облекшись в нас, как в свои оболочки, насильственно все-таки проволочит по проспектам.

Мы двинулись: солнце ширело к закату, садясь на трубы; и глянec летучился в стекла домов, не подавляющих вышиною, достойных, приятно ласкающих ритмов пропорций; и — мимо львов, возлагающих лапы на прочные камни музея, пошли; но верней — побежали: схвативши за левую руку меня и за правую руку товарища, наклоняясь налево, ко мне и стреляя опять залетающими глазками в здание, что напротив ("Вот дом, где была "лавка древностей"⁴ Диккенса"), наклоняясь к товарищу и стреляя летучими взорами в коричневатые здания — ("Здесь старейшие букинисты"), тот сэр незаметно опять стал тем пляшущим сэром, — перекидистыми прыжочками, нас толкая локтями и посыпая рассыпанный бисер неумолкаемых слов бриллиантовым блеском летучих сарказмов, острот, исторических параллелей, характеристикой быта, — в представлении моем становился он "чертиком" малым, игривым; и — развивал в перебеге через улицы, в лавировании меж кебов и трамов такую увертливость, что, окруженный — трамваями, током прохожих и зданий, естественно я превратился в болвана с разинутым ртом, не умеющего оценить невероятные росчерки утонченнейших шуток, которыми "чертик", влекущий нас, окружал свои мысли: оригинальные, сильные, ударяющие по подсознанию нашему, как резец гравировального мастера по металличе-

кой *tabula rasa*, которою стала душа моя, не могущая сочетать в одно целое впечатление бытовых *miscellaneous**, улиц, проспектов, гремящих, дрожащих мостов, постаментов, готических шпицев и шумных, вечерних дубров, переполненных толпами пляшущих "мистеров" и ликующих "Томми", через которые нас увлекал "джентльменчик", перегибаясь направо-налево, толкая локтями в бока и толкая стальной коленкой: он развивал в столь огромную быстроту потенциалы энергии, жившей в нем, что казался источником некоей космической бури, радиоактивными токами вылетающей из маленьких глаз: в этой умственной буре; понятия, отделяясь от понятия, начинали, плотнея, крутиться и облекались в образы —

— "мистеров", отделенных от "мистеров", пересекающих бесконечность проспектов, опепеленных тенями и выметаемых из-под ног "джентльменчика", нас тащившего в противоположную сторону от десятков, от сотен, от тысяч возметаемых "мистеров", улетающих, точно пыль, в отдаленную неопределенность — Н и ч т о.

В этой скачке меж слов и людей вдруг стало и страшно и пусто: как будто бы пересекали не Лондон мы, а мировое пространство, в котором случайно сложившийся вихрь лорда Кельвина (Томсона) образовал на мгновение мир, называемый Лондоном: вот он лопнет, а в лопнувшем Лондоне — мировой пустоте — наш пробег с джентльменом, умеющим строить миры по Томсону и атомы по Ньютоу, окажется бегством лукавого Черта, таки утащившего за собой две души: —

— в перепуганных взорах товарища, устремленных на палец перчатки, единственной, —

— где другая? —

— напоминающий палец перчатки берейтора —

— в перепуганных взорах товарища праздно летали зигзаги распавшихся мыслей вселенной, теперь упраздненных под черепною коробкой его: явно он вырывался из цепкой руки "джентльменчика", не поспевая за нами, рискуя застрять меж трамваями; я, это видя, пытался — увы! — возместить неприличие жестов товарища полной готовностью поспевать за какою угодно стремительной силой нарастания сумасшедшего бега по сумасшедшему городу: напрасно тащился: —

— рука, за которую уцепившись тащил меня "черт", отделяясь от тела, летела за "чертом"; нога, будто праздно приставленная к животу и от него отделенная тоже, обнаружила телесный распад на отдельные пункты, через которые из меня самого на меня глухо ухала пустота: м и р о в о е н и ч т о... —

* Смесь, разное (лат.).

— Это было явление, несомненно, серьезнее, чем стояние перед барьером — там, в Гавре: внутри второй грани совершалось явление под именем "лопнувший Лондон"...

Но Лондон не лопнул: —

— коричневатая, серо-желтая, серая окаменелость стены, потерявшей весомость, хотя и пепелеющей тенью —

— стена, вдоль которой — вон шел джентльмен в серой фетровой шляпе, не прущей полями, такой моложавый, хотя совершенно серебряный, бритый и зажимающий пару серевших перчаток в руке, —

— окаменелость стены говорила, что Лондон не лопнул!

Великолепный квартал, среди которого мы оказались теперь, фундаментально поблескивал медными досками; дом, тяжелый, отчетливый — дом-джентльмен, закуривший сигару среди лапчатых листьев, под тяжелейшим подъездом которого проходили мы — трое! — почтительно приподнявши перчатки, — осклабился нам приятно раздвинутым ртом (тяжелейшим подъездом), произнеся:

— О, да: —

— "сэры", —

— "я — есмь!"

Из подъезда прошел джентльмен в желтовато-коричневом смокинге — свиноторговец Йоркшира — с лицом, добродушно-насмешливым, наполовину рассеянным, наполовину меланхолическим, напоминающим выбритый лик ныне здравствующего президента Северо-Американской республики⁵, коей знамя украшено стольким количеством звезд вселенной.

"Джентльмен", открывающий панораму бессмертного города, в этом строгом пристойном квартале, преобразился: убавивши шаг и заведя разговор —

— вы представьте себе —

— о материи и алхимическом, философическом камне⁶, — стал: сэр фешенебельно-трезвый, неотличимый от фешенебельно-трезвого сэра направо и от такого же сэра налево; от головы и до ног во всем лондонском, ясный, как Лондон, играя белеющей перчаткой, казалось, приветственно он обращался к домам, как к друзьям, а дома нам бросали:

— "Пора вам смириться, эй — мистеры".

Сопровождающий "джентльмен", оказавшийся другом того, что нас явно ругал, — нас предал; когда я взглянул на него, остановился он и, по камню ударивши тросточкой:

— "Тук-туктук!"

— "Тук-туктук!"

— "Тук-туктук!"

Посмотрел на меня: стук же тросточки выразил:

— "Ну, теперь вы смиритесь под властью Британского Льва".

— "Именем закона — я вас..." —

— другой очерк лица я увидел: меня наблюдающий очерк, таинственный сосредоточенно-чопорный, укрывающий под огромною лобною костью железную силу, которая при желанье могла бы не только расплющить огромные толпы людей создаваемым кодексом quasi-ясных общественных мнений, которая при желании могла бы промять земной шар, как раздавленный прорванный мячик; —

— с такою силой сопровождающий нас джентльмен безо всякой любезности, с укоризной, не устаивающей обрушить свой гнев на свершенное кем-то — не нами ли? — гадкое дело, — с такою вот силою он произнес, поглядев на меня:

— "Мы найдем помолиться теперь, сэры, в церковь Петра и Павла"?"...

— "Совершается там панихида по утопленном Китченере".

Победоносное "я" было поймано и повешено на мгновение ока законною властью британского льва —

— потому что оно ощутило с непре-
рекаемой ясностью: —

— "Тебе кажется только, что ты — ничего себе: "так".

— "Проживая в немецкой Швейцарии"...

— "Слушая пушки Эльзаса у самой границы Эльзаса"...

— "Тебе недвусмысленно об этом намекали в Париже и в английском консульстве в Берне... Тебе намекали вчера еще в Гавре об этом"...

— "Разрушил соборы — ты, ты!"

— "И, наконец: утопил Китченера."

— "Тебе угрожает за это — ты сам знаешь что!..."

И я был расплющен: казалось — тело мое не имеет уже подобающих измерений; одно из них вдавлено; два другие остались, но что из того, коли я вне-пространственно переселился в плоскость и неприлично прогуливаюсь на сероватом экране, смущая и выдавая себя перед ним и огромною синевой провалившихся глаз.

Мы — картина кинематографической ленты, которую так внимательно изучают о н и; остановись она, — и застыну навеки в испуганной деланной позе, вдруг схваченный этой властной рукой и увлеченный в потоки космической бури — томсоновых вихрей! — там строящей эфемерные фронты друг друга губящих людей, и воздвигающих здесь предо мной того сэра, огромные площади, тысячей мистеров, "Томми", канадцев и "дамочек". Эти стечения мыслей нашел я в себе, выходя из собора, кидаясь в потоки людей; окаменелости домовых плоскостей, не крича, точно головы строгих Гладстонов, одетые сплинными тенями, сели, как в стул, — в серый мир; уж как палец, протянутый ввысь, затерялась тень длинной колонны Нельсоновой статуи; в отсерениях растворились все

в тени; повеселевший и ставший вновь пляшущим сэр, переменяющий тембр отношений, как пары перчаток, просыпал вновь бисер неумолкаемых слов, шуток, игр, исторических параллелей; схвативши нас за руки, развивал среди улиц галдящих, пересыпающих "мистеров" бешеный бег, окружив нас трамваями, парками, ресторанами и утонченной динамикой вьющихся орнаментиков из мысли; он влек нас туда и сюда, перелетая быстрейшими, стреловидными глазками через головы "мистеров", среди линии электрических фонарей, над которыми лиловела чернотная бездна на стены упавшего неба, — среди тусклых тоннелей отчетливо сложенных черною линией стен и чернотною бездной на стены упавшего неба — среди тусклых тоннелей, иль даже —

— среди тусклых, прямых, световых пронизаемых змей, протянувшихся посередине Ничто иль вселенной —

— внутри же одной из них мы все трое неслись среди тысяч призрачных силуэтов ликующих "мистеров" и ликующих "Томми", перелетающих среди трамваев, пролетов, авто, перевозящих ликующих "мистеров" и ликующих "Томми".

.....

Гигантские световые лучи, вдруг занесшись, пыталися дотянуться до Господа Бога, его осветить, а хохочущий "джентльменчик", задрав голову, нам показывал вверх: —

— вместо Господа Бога образовалось ложное солнце-ничто; вероятно, лорд Кельвин, соединившись с Лапласом и Кантом — там, там, в мировой пустоте, — в это время как раз нас устраивали в капле с маслом... —

— теорию Канта — Лапласа вы помните?²⁸

.....

— Ай!

Луч, перпендикулярно поставленный вверх, падал сверху на нас: ослепительно проблеснув, Томми, дамочки, мистеры, освещенные призрачной жизнью, неслись с быстротой — в даль проспектов, где все они, затускнев, замутаясь и сплюснувшись, становились легчайшим туманом: космической пылью...

Средь этого марева мира пляшущий сэр, оттолкнувши коленкой пустой земной шарик, как мяч от футбола, в пространства вселенских пустот, окруженный роями теней, держа крепко за руки —

— неся:

и неся, и неся, пронизывая сталью глаза, и — хохоча до упаду: —

— "вот вам панорама: весь Лондон". —

— "В четыре часа вы увидели, джентльмен, картину, которую без меня не увидели б вы". —

— "Из Москвы вы, наверно, будете вспоминать добродушного "чертика", показавшего Лондон"... —

— и несся, и несся, и несся: в пространства пустот, окруженный
роями теней, держа за руки нас, —

— до той улицы, на которой стоял
”Милльс-Отель”.

.....

Нам казалось, что непосредственно опустились из воздуха мы на
подъезд ”Милльс-Отеля”.

— ”Прощайте же, сэры... приятного путешествия... А я завтра в Окс-
форд”...

”О, Оксфорд, — думал я, — где сидит Миллюков; и где мне никогда не
бывать...”

Наша дверь отворилась: луч света ослепительно осветил нам любезно-
го спутника, одаряющего нас прощальной улыбкой (между прочим: он
взял-таки у меня для чего-то московский мой адрес), в приятного, пепель-
но-серого цвета пальто, обращающего внимание прочностью, строгим по-
кроем и ритмом пропорций: стоял перед дверью: —

— и пара белейших пер-
чаток, безукоризненно чистых, напоминающих пару перчаток старинных
берейторов, при прощании бросилась в мозг (их держал он в руке) —

— эта
пара перчаток, напоминающих пару перчаток старинных берейторов, скла-
дывалась на протяжении месяцев в ассоциациях памяти в полузабытые
ритуалы полузабытых мистерий...

.....

Окончилось: что это было?

Стояли мы в комнате: я посмотрел на товарища: и в глазах у него
я увидел усталые, зеленоватые мути; и на себя посмотрел я: — О, Господи!
неприлично уставилась на меня голова полутрупа огромною синевой про-
валившихся глаз...

— ”Что же это?”

— ”Не спрашивай лучше: молчи!”

ЛОНДОНСКАЯ НЕДЕЛЯ¹

Напоминала она груз на чаше весов, от которого противоположная
чаша естественно перегнулась, хотя эта чаша нагружена была памя-
тью; память — солиднейший вес; но энергия кинетическая нашей жизни
здесь, в Лондоне, перевесила потенциалы воспоминаний о Дорнахе, раз-
рядив их в энергию действий, которую развивали в английских участках
с товарищем мы; как известно, в физическом мире господствует нарастание
энтропии от невозможности вновь собрать в полной мере т е п л о, одну из
существеннейших форм превращений энергии; так мы: после Лондона мы
себя ощутили с товарищем охлажденными: посредине сердечного места, где

сохраняли мы жар, ощутили мы хладно давящий нас камень: потенциальная энергия в Лондоне перешла в кинетическую; часть последней — рассеялась, выделяя из нас теплоту в м и р о в о е н и ч т о; следствием выделения тепла — образование сначала туманных паров в наших душах, потом превращение этих паров в водяные осадки, и, наконец, — в твердый лед; кусок твердого льда ощущаю в себе и доселе; его я привез из туманного Альбиона: б р и т а н е ц искусными действиями положил в меня лед.

.....
Пробежала неделя, как сон.

Было некогда думать, соображать, вспоминать, предаваться надеждам или страхам, когда от такого-то часу до этого надо было торчать, добиваться, напоминать, хлопотать —

— в соответственном учреждении: —

— ждать раз-

решения —

— написать нам Прощение — в Учреждение! —

— чтобы в третьей

инстанции великолепной печаткой к бумаге приставили б великолепной рукой — великолепнейшее клеймо (о, клейменные паспорта!) к числу прочих, уже здесь стоящих (в московском участке впоследствии отказались меня прописать по клейменому паспорту).

Получивши клеймо, на котором означено было, что — в Лондоне мы, сам участок препровождал материалы о нас в учреждения, что мы — в Лондоне существуем; и оглашение это текло в министерства: —

— Военное,

Иностранных Дел и, как кажется, в Министерство Внутренних Дел —

— так

бумага о том, что мы — в Лондоне, поступала, троясь, в три отдела трех Ведомств; и — девятижды умножившись, вызывала обмен уже мнений среди девяти Подотделов, что —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— в Лондоне —

— мы!..

.....
Глава Подотдела —

— прибывший в положенный час и в положенные —

— минуты —
— секунды —
— и терции² — в Учреждение: из фешенебельного джентльменского дома, —

— откуда он отбыл в положенный час и в положенные —

— минуты —
— секунды —
— и терции —

— может быть, даже в —

— кварталы!³ —

— Глава Подотдела, прибыв из достойного дома, стоящего в Великолепном Квартале, обставленном привилегиями конституционного строя, —

— прибыв из достойного дома, где строгие слуги конфузились, прижимаясь к стенам, когда старый, пробритый, румяный породистый сэр —

— сереброголовый, тяжелый, таящий в глазах глубину, под влиянием которой склонялись чиновники нескольких рангов, курьеры и, может быть, пресса, перед которым —
— естественно! —

— рассыпались прахом пустейшие земли, —

— не находящиеся под покровительством Старого Британского Льва, —

— когда он,

джентльмен, потирая дородные руки, ступал по паркетам великолепных, блистательных комнат, —

— Глава Подотдела! —

— пронесши свой каменный взор, как священник пронесит потир⁴, через комнаты Подотдела, располагался на комфортабельном кресле, роняя глаза на бумагу, увы, мной исписанную, и на приложенный мной проклеянный, растрепанный паспорт, — еще не видал он, конечно, злобы заботы отделов (и девяти Подотделов), переговаривавшихся между собой о том, что —

— мы —

— в Лондоне! —
— в Лондоне! —
— в Лондоне! —
— в Лондоне! —
— в Лондоне! —
— в Лондоне! —
— в Лондоне! —
— в Лондоне! —
— в Лондоне! —

.....

Весьма вероятно, его преисполненный меланхолии взор в ту минуту —

— естественно! —

— обнимал земной шар, переполненный водами, из которых торчали везде острова и пять континентов —

— Европы,

— Австралии,

— Африки,

— Азии, —

— и —

— двух Аме-

рик! —

— соединенных навеки стальными узлами Британской Торговли при помощи четырехтрубных, летающих с т и м е р о в⁵, угрожаемых миною...

Может быть, —

— возникала пред умственным взором его паутина британских колоний, где —

— Индия,

— Полинезия,

— Африка —

— с мыса Надежды до дельты великого Нила —

— Канада,

— Ирландия,

— Мальта —

— и далее! —

— соединенные мощными узлами Учреждений в Неизмеримость Британской Империи, коей он —

— ее лев! —

— был ответственным выразителем, —

— звали на помощь его в этот миг! —

Может быть, —

— в эти гордые, великолепные дни

— дни войны! —

— пред отеческим взором его возникали возможности временно торжествующей гнусности —

— перерезанных торговых артерий под бедствием возмутительных мин возмутительного подводного флота, коль он, представитель Империи, —

— лев! —

— в свое время не сделает соответственных отвлеченных, логических выводов из лежащих посылок, как того явно требует Джон Стюарт Милль⁶, если он —

— представитель Империи! —

— не увидит индукции, из которой — естественный вывод: практическое руководство британских чиновников, —

— то —

— предательство интересов Империи в Лондоне, наводненном шпионами, пустит крепчайшие корни, —

— и —

— и!.. —

— Тут, полагаю я, сэр, почесавши мизинцем седины, ронял машинально задумчивый взор на бумагу с приложенным паспортом: —

— сосредоточивши мысль, как того от нас требует Карпентер⁷, он сознанием, от —

— деленным от мозга, прокалывал эту бумагу: и —

— "Что такое?"

— "Скажите, пожалуйста?"

— "А?" —

— Нажималась

кнопка звонка; появлялся чиновник...

.....

Быть может, в то время, я и товарищ здесь, в Лондоне, встретивши друга, переменившего климат Швейцарии на проницающий сыростью лондонский климат —

— он нас покидал англо-

филом, —

— сидели в уединенном кафе и глядели в открытые окна на нежные шпицы Аббатства, на серо-желтые окаменелости стен, под которыми, зажимая перчатку в руке, проходили достойные сэры и —

— мистеры, —

— мистеры, —

— мистеры, —

— сотни —

— и сотни —

— и сотни —

— индивидуально раздельные, обведенные друг от друга во внешнем и внутреннем мире магическим, непереступаемым кругом —

— Ньютоновой силой, которая —

— вокруг атома, по выражению физика Умова, провела роковой и непереступаемый круг, отчего этот атом был должен естественно лопнуть в абстрактное представление пересечения сил —

— каких сил? —

— так мистеры, индивидуально раздельные, обведенные друг от друга во внешнем и внутреннем мире магическим кругом, представили точку, иль атом: —

— все мистеры лопнули: в лопнувшем Лондоне проходило абстрактное представление, точка, иль "а" —

— "b" —

— "с": мистер за мисте-

ром!

Друг, перебившийся за это время, здесь, в Лондоне, развивал нам теорию, что лучше попасть в концентрационный лагерь Германии или в русский участок, чем просидеть здесь, как он, целый год без возможности выбраться.

— "Знаете: я ощущаю здесь странное состоянье сознания..."

— "Умер я..."

— "Да, да, да!"

— "О н и стерли меня".

— "Превратили меня в пункт: в теоретический пункт — теоретического пространства".

— "Мне кажется: Лондона нет".

— "Есть — ничто..."

— "Но и нет ничего, кроме Лондона..."

— "Все, что было, погубило..."

— "Я — умер..."

— "Когда я сюда переехал, "Я" жило во мне..."

— "Но о н и окружили меня шпионажем..."

— "О н и, пронизая меня, разъедали меня..."

— "И, наконец, я — исчезло".

— "Смотрите-ка: видите — движутся "мистеры". Но — их нет: лишь отсутствие мистеров. — Контуры их — перед вами; и, собственно: лишь один только контур, воспроизведенный ротационной машиною в невероятном количестве".

— "Эти мистеры только кажутся множеством; мистеров — нет: есть один — сплошной мистер, заполнивший промежутки междуатомных пустот..."

— "И его называют эфиром..."

— "Но физик Планк⁸, уничтожив эфир, доказал, что "сплошной мистер" — ноль..."

Мы глядели в окно; там валил серо-желтый "сплошной" и уже неотчетливый мистер в сплошных серо-желтых сложениях серо-желтого камня: но развивалось явление это при помощи "м о р о к а м и с т е р о в": —

— сотен! —

— десятков тысяч! —

— и сотен тысяч! —

— Так мистеры, индивидуально отдельные, обведенные друг от друга во внешнем и внутреннем мире очертаным кругом, изображали собою лишь

точку

иль

а —
— том: —

— ноль!..

В то именно время —
— быть может! —

— и нажималась кнопка звонка;

появлялся чиновник:

— "Прошу вас, сэр, справку по этому делу".

Перед сэром —
— Главой Подотдела! —

— с магической быстротой появлялся портфель: в нем — досье обо мне; там исписанная мной в Берне бумага, давно здесь полученная и Министерством изученная, — с приложением уличающей фотографической карточки; —

— должен сказать: —

— я на

карточке, снятой в минуту усталости в Берне, ну, право же, выглядел совершенным мошенником: —

— сосредоточенный взгляд негодяйских, испуганных глаз, окруженных провалами, —

— возбуждал антипатию к карточке созерцавшего сэра: и — возникала в нем мысль, что —

— я емь: —

— тот самый,

перед которым дрожали чиновники трех Министерств, —

— то есть

"Он", —

— пронзающий антипатичными взорами тайны английского Генерального Штаба, чтобы —

— топить, взрывать, бомбить! —

— (что я собственно делал естественным, умопостигаемым образом, пересчитывая передо мною бежавшие нолики "мистеров" —

— раз, —

— два, —

— сто, —

— десять тысяч, —

— сто тысяч —

— но-

лей!). —

— И тогда, отстранив негодующим жестом бумаги, достойный, серебряный сэр совершал наведение: —

— да; до войны проживал я,

естественно, в том самом Берлине, а после — в немецкой Швейцарии; более того: состоял членом общества —

— (недопустимый по отношению к Британскому Льву и предательский факт!), —

— где еще в то именно время

— в дни славной войны! — продолжалось общение с нацией, обреченной британцами на голодную смерть; —

— и —

— центр сознания сэра выстраивал серию выводов по всем правилам ритуала, изображенного в мощных британских умах Гамильтона⁹, Уэвеля¹⁰, Локка¹¹ и Милля, которые в кабинете у сэра фундаментально поблескивали корешками переплетных томов: —

— с э р себе говорил:

— "Не доказано, правда, что "мистер", прибывший из Дорнаха с подозрительной миной, с такими глазами, с таким темным прошлым, —

— тот самый, которого ищут повсюду".

— "Но, но! —

— Уста-

новлено: мистер привез "п а с с и ф и з м" в чемоданчике"...

— "Этим доказано, —

— что —

— тот — "мистер" способен затеять весьма неприятные козни, вернувшись в Россию"...

— "И, стало быть: — лучше держать его в Англии!" —

Холодно начинало сверкать ледяное стекло зеленеющих глаз. Лев Британской Империи приподнимал телефонную трубку, звоня, куда следует, —

— и —

— за мной принимался гоняться в полуденном мареве Лондона, настигая и схватывая на проспекте при помощи серии незрентабельных "мистеров", —

— (о которых я только что думал, что все они —

— нолики), —

— "мистеров", действующих на мою психологию, как ощущение паразита, случайно заползшего под рукав, — паразита, неизвлекаемого посередине корректнейшей улицы...

.....

Так: —

— пока я, застигнутый где-нибудь в Парке¹², испытывал ощущение, будто спину мою просверлили холодные иглы (и я начинал озираться): и — открывал у себя за спиною персону с бифштексного цвета лицом, напоминающим злого бульдога с подбитыми веками, в стершемся

смокинге —

— в это время уже: телефон сообщал в Подотдел, что действительно: данная личность находится на пути к помещению русского консульства, куда послан субъект, предупредить, кого следует, о появлении личности: —

— в консульстве (русском) встречали меня с выражением отовсюду протянутых лиц, не умеющих скрыть любопытства и радости, что блестяще поставлено в Англии дело сыска:

— "Да, да".

— "Это — Он!"

— "Он — тот самый!"

О, если бы знал Миллюков, проживавший в то самое время в Оксфорде, во что превращали собрата его по перу!

.....

Телефон сообщил в Подотдел, что я прибыл из русского консульства к Ф а й ф - о ' к л о к у, в отель —

— в "Милльс-Отель"! —

— и потому этот сэр отдавал приказание: сообщить учреждению, куда должен был завтра явиться за получением вторичного штемпеля на прошения: —

— о разрешении мне покинуть пленительный остров Британского Льва —

.....

— Встречали и там,

как знакомого, едва не с улыбкой (все действия моей личности были четко изучены):

— "Да!"

— "Это — он!"

— "Он — тот самый!" —

— И появлялось на лицах довольство: блестяще поставлена в Англии контрразведка! —

— И, проведя чрез инстанции (где давал показания) прямо в комнату такого же сэра —

— Главы Под-

отдела, —

— точно такого же Л в а, как и первый, но — еще более холеного, с серебром чрезвычайно изящных усов: этот сэр, наблюдая меня, делая вид, что, скучая, читает он книгу, меня изучал при допросе; и при моем заявлении, что я в Базеле занимался в общественной библиотеке, —

— он —

— мягкий, ласковый сэр! —

— округленным движением руки прикоснувшись ко лбу с плутоватой улыбкой, симпатизируя мне, тихо спрашивал:

— "Что, например, вы читали?"

— "Я?.. Джордано..."

Чуть-чуть улыбнувшись, вступал мягкий сэра в разговор, переходящий в общение, ставя тактично и ловко вопрос, долженствующий выяснить, точно ли я имею понятие о, например, комментариях Бруно к Раймонду; ответ приходился по вкусу (я был тем, кем е с м ь); среброрусый блюститель Дел Внутренних отпускал меня тотчас —

— с клеймом (слава Богу!); и, ласково пожимая мне руку, желал мне приятного путешествия: и умножались шансы — покинуть пленительный остров. Может быть, тот сэра был в иг ом, а первый сэра т ори?

В положенный час —

— оба сэра, надевши пальто, безупречно сидящее и облегающее их естественным ритмом пропорций, надев свои шляпы, садились в авто, пролетая по Лондону — мимо шпицев Аббатства, колонны Нельсоновой статуи, в окружении серо-желтых окаменелостей стены, под которыми, зажимая перчатки в руке, проходили все

— мистеры —

— мистеры —

— мистеры —

— мистеры —

— мистеры —

— сотни —

— и сотни —

— и сотни —

— и сотни, которые с твердым режимом естественным образом отпечатаны были при помощи ротационных машин и являли собою во внешнем и внутреннем мире лишь

знак типограф-
ский, иль
точку.

Два

сэра,

летя вдоль

проспектов в

великолепный квар-

тал или в пригород, где у

каждого был свой коттедж,

своя леди, свой сын, обу-

чавшийся, верно, в Кемб-

ридже, и — белокурая, шест-

надцатилетняя беби, с которой достойный хранитель традиций Британско-

го Льва, несмотря на свою седину, с полча-са метал мячики, посвящая вечерний до-суг —

— краткой

партии тенниса.

.....

И тем не менее — именно тот среброглавый, гуманный, начитанный сэр созидал кругозор своей мудрой, гуманной, начитанной мысли вокруг себя роem теней: неприятнейших "мистеров", грубоватых, циничных; и ими — гонялся за мною по всем перекресткам.

А я — почитатель Джордано и русский писатель (что было известно двум сэрам уже при посредстве таинственных приложений логической мысли почтенного Милля к конкретной действительности), именно я осаждал кругозор силлогизмов "психологических" сэров загадочным видом фотографической карточки, прочно приклеенной к документу: на ней —

— лихорадочный взгляд негодяйских, испуганных глаз, окруженных провалами, создавал впечатление, что носитель при-ложенной карточки есть —

— тот —

— самый! —

Теперь —

— в свою очередь! —

— я начинал наступать сэра Тори за партией тенниса; сэр, проводя задрожавшей рукой по черепу и забывши о теннисе, бормотал про себя в пепелеющий сельский ландшафт:

— "Может быть..."

— "И..."

— "Возможен ужаснейший факт перерыва торговых сношений с Канадой!"

— "С Австралией!!!"

— "С Африкой!!!"

— "С Индией!!!!"

— "И..."

— "Предательство в Лондоне, наводненном шпионами, укореняется именно с появлением..."

— "Этой..."

— "Загадочной личности".

— "Не доказано, правда, что личность есть "личность..."..."

— "Шпиона..."

— "И — все-таки!"

.....

На основании хода мыслей достойного сэра, меня на другой день опять начинали чиновники учреждения уговаривать, чтобы я поступил добровольцем в канадскую армию.

И — не давали мне пропуска. Но от этого (видел я в зеркале!) — цвет лица моего становился серее, серее: он — стал серо-желтым; и перемена швейцарского климата на язвительный лондонский климат сказала уже; серо-желтые окаменелости стен обнимали меня; и под ними, зажавши перчатку, бродил сиротливо —

— сплошным серо-желтым, осплиненным "мистером"; в моем внутреннем мире образовался магический круг; и — границы дневного сознания, вне которых я жил столько времени, зажимались — все уже, все уже, все уже; дневное сознание, напоминая положенный груз в виде твердого серо-желтого дома, естественно перетянуло тяжелую чашу весов, на которую положена была моя жизнь, —

— Нэлли,
— Дорнах,
— Учитель,
— Мир Духа! —

— все это же помнилось и не виделось в Лондоне; так хладнодавящий, положенный камень на сердце —

— Дом - Лондон —

— расплющил мне сердце: но он, Лондон - Дом, осадился во мне — из меня образовались сначала туманы душевных паров, закрывавших простор душевного мира; —

— потом —

— те пары превратились в ландшафты тумана в Ламанше: —

— потом —

— из туманов Ламанша (в обратном порядке!) повеяла Темза; и оплотнели берега ее серо-желтыми льдами-домами —

— тот лед в своем сердце я слышу доньше —

— им Англия наградила меня: там я именно думал:

— "Я — умер!"

— "Они — меня стерегли!"

— "Я — пункт: теоретический пункт — теоретического пространства!"

— "И Лондона нет!"

— "Есть — н и ч т о..."

— "И оно разъедает меня".

— "Я — лишь пляска: смерч атомов".

— "Каждый, как я, — желтый мистер: в окаменениях желтых домов бродит он, желтый мистер".

— "Я — тысячи, тысячи мистеров, празднопляшущих по ночам на проспектах, перевозимых трамваями..."

— "И тот сэр, показавши мне явственно панораму "Н и ч т о", меня самого показал..."

— "Это — Я"

.....

Мы бродили по Лондону — моему омертвевшему телу, — сжимая перчатки; достойные сэры и —

— мистеры,

— мистеры,

— мистеры,

— мистеры,

— мистеры, —

— сотни их —

— тысячи —

— миллионы —

— по —

— Лондону,

— Лондону,

— Лондону,

— Лондону,

— Лондону.

И мистеры — лопнули: в лопнувшем Лондоне.

Проходили абстрактные

представления,

точки,

иль

"а" —

— "б" —

— "с" —

— "d".

.....

Так прошло восемь дней: восемь дней мы друг друга промучили страхом; я — сэров; а сэры — меня.

Мы гонялись днями: я — мыслями; сэры — "мистером"; а вечерами я сживал в уединенном кафе с бедным другом, приехавшим изучать сюда тайны гения —

— Томсона,

— Ньютона,

— Лоджа¹³,

— Масквелла¹⁴, —

— и превращен-

ного —

— Томсоном,

— Ньютоном,

— Лоджем,
— Максвеллом, —
— в атомистический вихрь,

в —
— "а" —
— "b" —
— "с" —
— как и я, чтобы некогда, в новой творимой вселенной — ужасной — вселенной —
— при помощи сортирующего Максвеллова демона¹⁵ — ("джентльменчика", иль — Лемура) собраться в "Я — мыслю"¹⁶.

.....

Но до этого следовало, чтобы так меня окончательно разложили они, чтобы самые атомы тела распались во мне в электроны, а электроны —

— в мэоны¹⁷ —

— мэоны — в зон¹⁸; в зон пустоты должен был перейти; Лондон — флер пустоты; железнодорожная линия до Ньюкастеля — сплошной лабиринт: в мировые пространства, в чернотные бездны, которые появились передо мною в образе и подобии моего отплывания в хаос немецкого моря, изборожденного минами; разрешение отправиться в хаос было получено —

— когда я уверовал в сэров и поклонился их мощи, тогда из вагонов огней меня вывели — в черноту, в никуда, заревевшим космическим воем вселенных; и с потушенными огнями, спустившись в каюту Г а к о н а VII, как в гроб, этот гроб, раскачавши, швырнули: в вой хаоса.

.....

В это время достойные сэры, Г л а в ы Подотделов: —

— один, —

— сыграв партию в теннис, склонялся над томом какого-нибудь из британских умов: Гамильтона, Узвела, Спенсера, Милля, Ньютона: —

— другой —

— меланхолично слушал с террасы коттеджа напевы шотландских мелодий и — бормотал про себя: песни Бернса.

НА СЕВЕРНОМ МОРЕ

Так я был расплющен.

Тела не имеют уже подобающих измерений; одно из них вдавлено: Лондон расплющил и превратил в тонкий, в темный прослойку материи,

— в листик; а листик стал тенью.

Я тень: неприлично гуляю на сером экране; безостановочной, кинематографической лентой движения передаются какому-то миру — иному, не нашему.

Мы — лента экрана, которую изучают о н и; им даны все возможности: властно пресечь пляску волн и ныряющий пароход среди них, это все образовано быстрым движением кинематографической ленты; остановись она, — и застынет навеки покинутый гребень волны, перелетающий через борт парохода; и застынет навеки: упавшая низко корма парохода "Гакона VII-го" "в беспузырчатость" грохота. —

— Я —

— покачнувшийся в неестественно деланной позе, одною рукою схватясь за корму, а другой — за измятую шляпу с отбитыми ветром полями, останусь навеки —

— останови о н и ленту! —

— болезненным клоуном!

.....

Лента течет еще: кинематографические моменты несут меня в трюм, где в кают-компании, ухватившись за кресло, я делаю вид, что вкушаю я кушанье. —

— Я —

— покачнувшийся, в неестественно деланной позе, одною рукою схватясь за стол, а другой за тарелку, где плещется суп, — я останусь пред вами навеки —

— останови о н и ленту! —

— болезненным клоуном!

Тут встречу я с взорами важного сэра сереброглавого, едущего, как видно, в Россию с о с о б о й м и с с и е й —

— к всемогущему Бьюкенену¹,

быть может? —

— И этот сэр на меня поднимает свой взор —

— меланхолический,

отливающий песнями Бернса, которые так я люблю, но сквозь этот мечтательный взор узнаю взор другой —

— того сэра: тех сэров.

Но сэр, джентльмен, уж уходит.

.....

Тот джентльмен — ушел. Но пес со мной — бессменно.

В час горький на меня оставит добрый взор,

И лапу жесткую положит на колено,

Как будто говорит: "Пора смириться, сэр"².

* Стихотворение А. Блока.

Пес — покорность, которую вывел из Лондона я: равнодушие верно присуще тени загробного мира, уже приобретшей привычку таиться под фирмой британских обычаев; эти обычаи есть действительность потустороннего мира, ненарушаемые среди достойного общества потусторонних теней, пересекающих пустоту, но при этом державшихся, как будто нет никакой пустоты, а каюта норвежского парохода "Г а к о н а V I I"; так сэр, приобретший привычку таиться под формой обычая, будто он едет с секретною миссией к всемогущему Бьюкену, — действительность потустороннего мира; настолько действительность, что, забегая вперед, я скажу: мне все кажется, будто бы его повстречал еще раз; это было в России: на Ярославском вокзале, в Москве, — уже после свершившихся фактов, в эпоху правительства Львова³, в те дни, когда сэр Миллюков заседал не в Оксфорде, а — в здании Иностранного Министерства: перед уходом своим из правительства; встреченный сэр —

— как казалось —

— сидел в неестественной позе, одною рукою схватясь за стол, а другою за тарелку, в которой плескался, как кажется, суп, —

— точно тень, неприлично расплоснутая на экране кинематографической ленты расплоснутый "у ж а с о м" революционных событий в России, передавая движения —

— нам, представителям
вовсе иного какого-то мира: не мира с э р а, а нашего, русского: —

— переменялись роли: —

— он был для меня теперь лентой экрана, которую изучал я внимательно; мне дана была власть оборвать протечение кинематографической ленты и оставить достойного сэра в комической, неестественной позе (сидящим за столиком перед супом на Ярославском вокзале, в Москве) — навсегда.

Я не сделал того, предоставив течение ленты — течению ленты; и подбужавший носильщик вручил тому сэру билет: он ехал в Архангельск; —

— и вспомнились: пляски взъерошенных волн, пароходик "Г а к о н", "я", теряющий вовсе весомость и с э р о м расплоснутый на кинематографической ленте, которая, протекая, несла меня вновь — вверх на палубу, где я —

— желтый, подброшенный качкою призрачный мистер среди таких же подброшенных, призрачных, пляшущих "мистеров", вдруг покинувших твердую почву земли и оказавшихся в рое космических вихрей Томсона — в ничто — соблюдающих внешние формы британских обычаев: среди достойного общества электронных субъектов казались не тем, что мы есть: —

— то есть казались толпой пассажиров "Такона VII", страдающих явной морской болезнью в затеянной пляске и рассуждающих

о состоянии спасательных поясов и о возможности натолкнуться на мину.

.....

Мне из этого мига смешно состоянье сознания мое, предполагавшее некогда, что я тень; в воспоминании возникают стальные отливы взбуренных волн; и — кусающий холод их брызг, переброшенных через борт —

— настоящего пароходика: —

— полоса мокроты пробегала по палубе, ударяясь о борт; и — куда-то стекала; а я — менял место; казалось тогда, что я — тень, протянувшаяся от меня самого в мое русское будущее на протяжении месяцев; думалось: —

— неужели тяжелый кошмар отвалился?

Не день и не два — восемь суток, или двести часов, зажимали меня между прессами, вылитыми из субстанции тверже стали и — тяжелее гранита.

Немецкое море оплотнело туманами; неопределенности моего положения в мире клубимыми ветрами островов и земель подплывали ко мне из тумана, как рой серых призраков: —

— чудилось —

— сажень в полтора

от нас обрывается море; развейся туман, мы бы стиснуты были землей; —

— но нос парохода, врезаясь в прыжки серых волн и поднимая фонтаны пузырчатой пены, бежал на туман: —

— и туман раступался —

— и земли, от нас отстоящие сажень в полтора, —

бежали по правую и по левую сторону парохода — в расстоянии сажень полтора от нас; собирались они за кормой; и — гнались вслед за нами: в расстоянии каких-нибудь сажень полтора, врезаясь в прыжки серых волн и поднимая фонтаны пузырчатой, бисерной, белогрохотной пены, —

— и мне думалось о покинутой Англии: —

— мне казалось, что Англия, или — вселенная — этот кусочек последней, оставшейся почвы, —

— кидаемый плясками волн и туда и сюда — как кидаемый шарик вселенной в безвечности Вечности. —

ры", — тоже кидаемые
и туда и сюда, перед
тем как рассеяться,
раствориться навеки
веков; —

— за кормой парохода
ревела, свистела по-
гоня... из Англии;

толпы кусающих
холодом волн
перекидывались
за борт и —

— лезвием мокроты пробегали по палубе; нос парохода взлетал;
потом круто падал; корма поднималась; и полосы мокроты с нее
быстро бежали
на нас —

— а
под
нами,
быть мо-
жет, уста-
вьясь в бока
парохода,
как рыба,
немецкая
мина,
летя
в

н... —
— "Прощай, моя Нэлли".

.....

Около вечера расступился туман; пооткрылись шири, а около парохода
заплавали бревна, нелепо взлетавшие; видно, потоплена была шхуна
неподалеку отсюда; нелепо взлетающий пробковый пояс увидел товарищ
на гребне волны.

— "Посмотрите-ка".

— "Что?"

— "Посмотрите-ка: пробковый п..."

И запнулся: и полная дама (из Харькова) с мальчиком укоризненно
показала глазами на мальчика.

Я — замолчал.

Заговорили тотчас же о посторонних предметах: о Харькове; об ожида-
ющей даму из Харькова муже; о бревнах, взлетающих на волнах; о проб-
ковом поясе не говорили мы вовсе.

Где был обладатель его?

Мысль, что мы можем так же через минуту — вот так же — заплывать, не приходила нам в голову: и — немецкие мины в беседе о Харькове улетучились; перископ не вытарчивал (в качку вытарчивать очень трудно ему), хотя многие пассажиры — я бьюсь об заклад — суетливыми взорами, брошенными в пространство, искали его.

Я, признаться сказать, не надеялся, что причалим мы к Бергену (я не верил, что мы еще все на земле), и мне думалось: вот — разорвется туман; и — прояснится берег; на берегу мы увидим огромный плакат: "Здесь — планета, принадлежащая к созвездию Пса..."

Донимала тоска по оставленной Нэлли: —

— Казалось: —

— саженях в

полтора от нас обрывается море —

— в упавшем тумане таилась зе-

мля —

— расступался туман —

— и земля, отстоящая в саженях полтора

от нас, —

— убегала по правую и по левую сторону парохода — в расстоянии саженей полтора от нас, чтобы, собравшись там, за кормой, гнаться вместе с туманом за нами —

— в расстоянии саженей полтора от нас.

У КРУТЫХ БЕРЕГОВ ПОГИБАЕТ КОРАБЛЬ

Вспоминается мне — сиротливый, сереющий день — меж Ньюкастлем и Бергенем; вспоминается узел душевных событий, бегущих вперед и назад: настоящий служит сквозным транспортом; читаю в нем — прошлое.

Прошлое — было ли? И отошло ли оно?

Каждый миг переполнен годами: теряю иллюзию времени; прошлые миги чреваты грядущим; проговоривши из них, развернуло оно предо мною теперь свои следствия —

— странные следствия...

.....

Голод, болезни, война, голоса революций — последствия странных поступков моих; все, что жило во мне, разорвавши меня, — разлетелось по миру; когда-то оно яро вырвалось из меня самого, вместе с сердцем моим (это было в тишайшем углу Базельланда): и мир, раскидавшийся от меня на восток и на запад, на север, на юг, внял ли он происшедшему: в тихом углу Базельланда? Если б внял? не произошли бы события мира так именно, как они протекали; мир вынес бы поучительные

примеры: происходящие в индивидуальном сознании, в "Я" одного человека, — картина вселенной; прообраз ее начинаний; и — планов о будущем. Ныне, когда осознали, что "Я" сознания не есть данное мне индивидуальное "я", — должно бы понять: с той минуты, когда во мне "Я" осознало себя вне условий обычных критериев индивидуального сознания, — материалы сознания того "Я" в виде действий, событий, сознания и пережитий "субъекта", живущего в данное время в том именно пункте пространства (в углу Базельланда), — события эпохальные.

Не узнали они "Я" во мне.

Да и я не узнал, что я — бомба, взорвавшая прошлое.

Подозревали, пожалуй, одни англичане: их сыщики или, вернее, не их сыщики, а сыщики их (т. е. сыщики братства, условно и временно действующего под прикрытием англосаксонской личины) — меня распознали: и принялись опорочивать действия оболочки моей, ее портя; им чужлось: я ношу динамит, от которого разорвется на части, взлетая на воздух: —

— Россия —

— Германия —

— Франция —

— Англия,

может быть...

Но это в будущем: настоящее — пусто; я ныне — осколки разорванной бомбы.

Мальчишки меня подбирают на улице.

.....

Два, три мига огромны в событиях жизни моей: мне они освещают года.

Таким мигом заполнился Берген, — к которому подплывал я — большой и раздавленный, брошенный во все течения кинематографической ленты: в мире беспричинной причинности, где состав всех душевных движений, как и телесный состав, определяется построением атомов, образующих друг относительно друга какие угодно фигуры кадрили; когда-то я был дирижером огромных и стройно построенных толп атомистических "мистеров", проходящих по улицам моего телесного града: как царь, восседал на возвышенном троне меж двух полушарий — под крепкими стенами замка (под черепною коробкою) я, принимая депеши двенадцати проводов телеграфа.

Так, мне сообщили — на солнечной площади (в сердце) — скопление "мистеров", образующих митинг и протестующих против решения моего премьер-министра: ума. Я — при помощи телеграфного провода вазомоторными кабелями отдавал приказания: протестующим "мистерам" течь по широким проспектам в мой замок (мне в голову); "мистеры", угомонясь, текли, и тот факт социально-общественной жизни, который зовут физиологии орощением мозга кровью, — восстанавливался немедленно.

Я был свергнут теперь интригами мне враждебного государства; централизация колоссального государства, и ли т е л а, разрушена ими; а все телеграфные провода перехвачены ими; посредине же солнечной площади "мистеры" образуют бессменные митинги (переполняя сердечный мешок и грозя расширением сердца); а "Я" среди них — соскочивший с высокого "трона" — атомистический, пляшущий, призрачный "мистер": среди призрачных м и с т е р о в; государство — расшатано: Тело — развалина: в месте трона — пустая огромная надпись: "Здесь — "Я"; но "Я" — нет; не восседает оно надо всем, а — фланирует среди "мистеров" — "мистером" — может быть, пребывая в квартале Юпитера, т. е. в печени!; может быть, забираясь в тупичок червеобразного отростка кишки; политическую революцию совершил в государстве моем тот явившийся сэр, восстановивши всех "мистеров" без сознания против — себя, сознающего "Я"; и вот "Я", убежав в подсознание, отвечало теперь т о м у с э р у, — огромнейшим углублением революции; начиналась социальная революция: перерождение тканей тела.

Но все социальные революции — перекидчивы; перекидными прыжками "мистеры" (электроны), покинувши тело мое, вдруг развили вокруг моих бранных телесных развалин хвосты эманаций; и, эмигрировав в государства, враждебные мне, в тела сэров, производили в них митинги. Среди них мое "Я" — (эмигрант, перевезший в соседнее тело пучки прокламаций и транспорты бомб) готовило невидимо социальную революцию всех телесных составов: так —

- Русский —
- Германец —
- Француз —
- Англичанин —
- уже теперь —
- не Германец —
- не Русский —
- не Бритт —
- не Француз. —

— В Челе Века встает Человек, производя свои взрывы в телесных составах: тела, подсознания души и духи людские, архитектурночески располагаются ныне гирляндой вокруг Человека.

Приподнимается в будущем он: настоящее — пусто; и духи, и души, миллионы самосознаний — осколки огромного тела и "ство" Человека. То "ство" (естество) подбирают на улице.

.....

Меж Ньюкастлем и Бергеном я перестал уже числиться "человеком"; в былом его смысле уж был я бестельным абстрактным челом, покрывающим мир (или — куполом неба: иллюзией купола); одновременно, отдельно "Я" был не собою, а веком, эпохой: безъязычной, безначальной: во мне развалился состав человека; и умерло прежнее "Я", пребывая, как "ство" — Человече-ства. "Ство" — неживое, тупое, глухое

— сидело на палубе, припоминая дни прежних величий, открывшихся в Бергене, где на краткое время оно вознеслось к Ч е л о в е к у: —

— Ч е л о м

восходящего В е к а —

— я был уже в Бергене: —

— на Иордани моей опустились в меня мои крылья: глава моя треснула; вырванная из темнот (плана в черепе) мысль моя охватила блистанием, нарисовав всем грядущим культурам грядущие судьбы свои; пресуществование в точке "Я", человека во мне в Ч е л о В е к а свершилось — здесь, в Бергене; в этом миге история жизни моей, все мои воплощения (прошлые и грядущие жизни), загибаясь вокруг, описавши окружность, сомкнулись; и стали мне — цельностью; среди всех своих жизней, их все созерцая, — стояло огромное "Я", овладевая огромными ритмами: тела, души, подсознания, сознания и духа: —

— я был — Ч е л о в е к (с большой буквы) иль У м: Mens-Mann-Mensch-Manés-Manas; —

— среди всех из-М е н е — н и й сознания

М е н, или М а н а с во мне восставал: и сиял²: —

— средь пурпуровых мхов величавых нагорий, взбираясь высоко-высоко над фиордами, я простаивал, цепenea, осыпанный как бы градом ударов, разорванный взрывами мыслей, влекущих меня и туда, и сюда; сотрясалась во мне вся душевность; и от нее — мое тело; и — веяло: тысячеградусным жаром на тело; из глаз вылетал, точно гейзер: пламеннокрылый и многоустый крылами: огнями развертывал ритмы (иль жизни свои) вкруг себя; языками — устами славил величие мира; я видел, что круг замыкается: может быть, созерцая фиорды с высоких нагорий, я видел тогда же — уже подплывающий к Бергену пароходик "Гакон", с моим собственным т р у п о м; так миг п о л о ж е н и я в о г р о б через три с лишним года переживался одновременно с моей И о р д а н ь ю³: быть может, я видел и миг в о с к р е с е н и я: —

— все, что было и будет, свершалось: говорил "Я" —

— Да будет! —

— всему, что во мне надлежало свершиться: —

— те-перь, через три с лишним года, усталое тело сидело на палубе и, протянувши в туман свои руки по направлению к бергенским берегам, — возвращалось: к Тому, Кто с высоких нагорий уже созерцал подплывающий к Бергену пароходик "Г а к о н": свой сколоченный гроб, средь которого неживое "о н о", с перекруженными полями освистанной шляпы, как желтая палка, увитая пеленами, —

— стояло, вперив пред собой остеклелые, неживые глаза; и — внимало далекому призыванию: "Лазарь, иди вон"⁴.

И вышел умирающий.

.....

Берген!

Встретил нас с Нэлли он красными мхами нагорий; —

— запомнился нам;

но не знали мы с Нэлли: через три с лишним года я буду вновь подплывать к этим горным местам из туманов немецкого моря — больной, с перебитой душой, провозя динамит нарастающих взрывов вселенной: —

— в Россию!

.....

Та ночь мне запомнилась: белые клочья взлетали; соленую влагой охвачен был я; бок кормы сиротливо поскрипывал в вое и грохоте, а из трубы вылетали, стреляя в пространство, вонючие дымы; склоняясь в отверстие палубы — сверху (к машинам), я слушал —

— "тох-тох" —

— подде-

тали узлы рычагов; и вставали и падали громкие поршни.

Раздавленный англичанами, подозреваемый в шпионаже, я вспомнил все, все миги, когда пароход, разрезая валы, неся по морю, изборожденному минами: к Бергену!

Берген во мне, — пережитое далекое прошлое: стал — моим будущим; я покинул его ровно три с лишним года назад; с противоположной теперь стороны я к нему подплывал⁵: —

— так прямая, бегущая линия жизни от

Бергена к Дорнаху стала теперь полным кругом: начал — концом.

Там — в начале: Начало (Дух Времени) веяло в меня тысячеградусным жаром своих обвевающих крылий; здесь — в конце: к головастым камням крутобокой Норвегии подплывал труп в о гробе.

Посередине лежало трехлетие: рождение, рост и кончина "младенца" во мне, или — Духа.

Стоял (или — тело стояло мое) перед Бергеном с трупиком трех годовалого мальчика...

Вспомнилось: —

— через семь с половиною месяцев после бергенской жизни мы с Нэлли попали в уютнейший черепичатый городок Вюртенберг⁶; был вечер; и — кажется: предрождественский вечер; тишайшие улицы города серебрило чешуились луной; мы уже собирались спать.

Перед сном подошла ко мне Нэлли (с невыразимую чуткостью переживала она мир моих состояний сознаний, без слов, без единого взгляда, меня пронизывая насквозь):

— "Что ты?"

— "Снова за старое?"

Я ей ответил:

— "Да, Нэлли..."

— "Мне — трудно..."

И Нэлли, став строгой, взяла меня за руку:

— "Не забывай, милый, Бергена".

— "Нэлли: мне Берген стоит, как вершина, откуда свалился я..."

— "Больно!"

— "Изломаны кости мои!"

Так ко мне перед сном подходила, вздыхая и взором лаская меня, моя тихая Нэлли (мы оба устали: духовное странствие — тяжелейшее бремя); и гладила Нэлли меня; а за окнами выли ветра; серебром чешуились улицы спящего города в окнах. А утром: печальная Нэлли, не глядя в глаза, развернула газету; прочла почему-то мне вслух телеграмму, что около Бергена разразилась сильнейшая буря, что с маяка увидали сигналы о помощи: утопала близ Бергена шхуна.

Я вздрогнул, меня поразила тогда телеграмма из Бергена, как живейший ответ на событие разговора, который вели накануне. Корабль, на котором мы с Нэлли проплыли в страну новой жизни, подвергся крушению около Бергена — в ночь, когда мне было трудно; оттуда, из моря, за Бергеном — слышались: крики о помощи.

Мне хотелось сказать моей Нэлли:

— То — я!

— "Да, то я погибал".

Я — молчал; и, печально вперившись в меня, молчаливо сложила газету серьезная Нэлли; и — мимоходом, не глядя, сказала потом невзначай:

— "Это глупости!"

— "Слышишь ли: глупости!" —

— Вот почему ночь на Северном море, когда подплывал к далеко отошедшему прошлому (к Бергену), — вот почему я, разбитый, с большой душою, без Нэлли, опять вспоминал: черепичатый городок Вюртенберг, ясной ночью, чешую серебра на камнях спящей улицы, голос грустнеющей Нэлли:

— "И ты — забыл Берген!"

А около Бергена погибала норвежская шхуна; слышались крики о помощи: это вскричала грядущим моя там душа.

Осуществилось грядущее ныне: и я, погибающий, простирающий руки в туманы, опять подплывал к своим собственным скалам души: подплывал снова к Бергену, чтобы праздно плескаться своим коченеющим трупом (у скал), чтобы видеть себя высоко над собою — таким, каким некогда был я — здесь, в Бергене.

Думалось:

— "Милая Нэлли!"

— "Послушай: прислушайся — там, в своем Дорнахе..."

— "У крутых берегов снова просят о помощи..."

— "Погибает корабль..."

— "Корабль жизненных странствий — опять: у крутых берегов".

— "О, спаси меня!"

— "Нэлли!!!"

.....

Длилась ночь.

Посредине пространства летающей палубы я прислонился к трубе парохода: летали пространства рыдающим гудом: направо, налево, вперед и назад; нападали на нос, на корму, на бока парохода; дробились пенами, шипами, плесками, блесками; над трубою взлетев, стая искр опадала; и — гасла: в рыдающем гуде; и пены, и плески валялись чрез борт; опадали струей воды; перелетали по палубе — заливали калоши. Меня одолела безвещность летающих далей: и роем, и плеском: вот нос, зарываясь в безобразность брызг, меня мчал — в никуда и в ничто: никуда и ничто — думал я — не осилить; стояла горластая молвь всех наречий — английского, русского, шведского, датского, — в визге хлеставшей безмерности, в выхлестах ночи; прошел молчаливо суровый матрос на коротеньких ножках, держа над собою фонарик — мигавшее око; мелькнули в столбе неживого какого-то света мне прочертни мачты, канат и высоко приподнятый мостик, откуда кренилась в пространство фигура; мелькнули — и нет ничего, кроме говора выхлестов, пьяно плясавших за бортом вихрастыми гребнями и упавших за борт, приподнявши его; хлестко шлепались гребни о деревянную палубу, перелетая за борт и отдавая соленые брызги на просвистни ветра; все — просвистни, просвистни; в просвистни — неся фонарик на мачте средь рваных туманов: н и ч т о наступало, н и ч т о обступало, н и ч т о отступало: в н и ч т о.

.....

Знаю: в брызгами льющий, в холодный, в соленый простор низлетаю извечно из брызг рокового простора; в кают-компани я проживал, как и все, — там: под малою палубою, отделяющей жизнь от н и ч т о: я сошел под покровы телесности; и — под палубой жил, путешествовал, мыслил, боролся, любил: после — умер: поднялся по лесенке — посмотреть на действительность, от которой под малою палубой прятались мы: и — попал в после-смертное: в брызгами льющий, в темный, взлетающий мир из... такого же точно холодного мира: мое пребыванье в кают-компани — в жизни — момент.

Этот брызжущий просвистень — просвистень мира, в который отпущено тело; я вышел из тела, которое оттолкнул от меня еще в "Лондоне" — сэр.

Это тело теперь, разлагаясь, качается в зыби томсоновских вихрей; в неизъяснимость иных измерений растает оно: я блуждаю по телу, которое, разлагаясь, качается в зыби томсоновских вихрей; в неизъяснимость иных измерений растает оно:

- "В необъятном..."
- "Один..."
- "Навсегда..."
- "Ничего!..."

- "Никого!.."
- "Не осилить..."
- "Ничто..."

Уж прошел молчаливый матрос, подымая рукой круглоглавый фонарик; мелькнули в луче невысокие прочертни мачты, канаты, фигуры:

- "Нас много!.."
- "Мы ползаем..."
- "Как и ты!"
- "Мы с тобою!.."
- "Всегда!"

И я понял, что эти фигуры — лемуры...

Они появились давно: в год войны; провожали повсюду меня — на прогулках, в трамвае; гонялись по Базелю, Дорнаху; я, ухватившись за Нэлли, не раз озирался, спускаясь с холма:

- "За деревьями прячется кто-то!"
- "Оставь: это глупости..."
- "Кто за деревьями прячется?"
- "А какое нам дело..."

Шептали деревья:

- "Нас много!"

Я видел фигуры: фигуры лемуров.

Я — умер: не здесь — еще в Лондоне; не было Лондона: смерть от разрыва — мгновенная смерть! — была в Гавре: и даже — не в Гавре...

Я умер на бернском вокзале; мой труп отвезли уже в Дорнах; и Нэлли, и Бауэр, и Штейнер хоронят меня; возвращенье на родину — в до-рожденное, в старое — в то, что забыл, но что было, что помнится через первые миги сознания: бредом глядела в меня моя родина:

- "Ты — в неживом!.."
- "В необъятном!.."

Я спорил:

- "Я — в Берген".

Но мне отвечало:

- "Нет Бергена!"
- "Нет н и ч е г о!"
- "Никого!"

.....

В первый миг после смерти сознание, продолжая работу, сосредоточилось в мысли о том, что мой путь есть Париж, Лондон, Берген. Но мысли вне тела есть жизнь; и вот жизнь путешествия до Немецкого Моря расставилась в образах мысли: эфирное тело, разбухнув туда и сюда, было схвачено роем лемуров, в сознании проступающих силуэтами странных фигур, окружавших меня; и припомнилась репетиция в Дорнахе сцены из "Фауста": сцены с лемурами¹. Штейнер поставил ее предо мною, как знак предстоящего: смерти!

И не было Лондона: мысль о Париже и Лондоне в миг умиранья держалась; и наконец мысль затаила: образы многомерных пространств, закипающих гудами, шипами, блесками, всплесками и создающих в сознании, привыкшем цепляться за сгустки из чувственных образов, — впечатление моря; — восстали: — зарывшись —

в безобразность брызг я летел от Ньюкастля до Бергена; шлепалось о деревянную палубу, перелетая за борт, все, что есть, —

— сознание хватается за сообщенья духовной науки, которые помогают осилить: —

— пространство во вселенной внутри сознания... —

— первое время иллюзия ощущений живет, как огромное тело, в котором любой кожный пункт ощущает себя отстоящим от ближнего пункта на расстоянии, равном пространству, положенному от земли до луны; и все пункты, тоскуя, себя сознают голосящими:

— "О!"

— "О!"

— "О!"

— "Навсегда: ничего, никого!"

— "О!"

— "О!"

— "О!"

Если бы сознания ощущений растущего тела собрать в смутный образ, то он походил бы на грозный ландшафт океана: —

— видение моря загробной стихии впоследствии погасает, спадая, как кожа перчатки спадает с руки: и —

— проносится прошлая жизнь, но в обратном порядке до мига рожденья²; и — дороженный будущий мир возникает: до нисхождения сознания в тело младенца, сливаются миги сознания вне тела с последними мигами, после выхода сознания из тела. И образуется круг мира "Я" — тут — начало мытарств путешественника:

— "Я — один!"

— "Навсегда!"

— "Никого".

— "Никогда".

Так я думал на палубе парохода "Гакон Седьмого".

Не знаю, но... вот прочертилась луна из-за рваных туманов: и там — протуманилась даль; и вставали огромные волны, рыдающим гудом бросая на борт парохода кипящие фосфоры; приподняв воротник у пальто, принагнув на лоб засыревшую шляпу с полями, бронетик (еврей из Ньюкастля) страдающий, как и я, подобравшись ко мне, посмотрел на меня и прошлепал сырими губами мне в ухо:

- "В Россию?"
- "Да!.."
- "Призваны на военную службу?.."
- "Да, призван, а — вы?"
- "Тоже призван..."

Соленые выплески шлепнулись, фосфороя, с размаху; и — промочили мне ноги:

- "Ааа... ааа..."
- "Еще долго нам маяться".
- "Вам очень долго, а мне лишь до Бергена..."
- "Как, почему?"
- "Но послушайте, — лепетала фигурка, — послушайте: стыдно вам,

взрослому человеку, спешить на побоище..."

- Глазки фигуры блеснули.
- "Так вы, значит..."
- Чуть было не сказал "дезертир"...
- "Не увидите больше меня; я — исчезну..."

Средь рваных туманов мелькнули в безобразность прочертни мачты, канат — в никуда.

В голосащий, в топчущий, дующий пузырями простор я кидался, безумствуя из мигающей пены: засмертные свистени, перелетая чрез борт, упали в такие же свистени дорожденного мира.

.....

"Я — есмь" после смерти моей оказалось в том именно месте, где "— есмь" ощущало себя до рождения; непосредственно до вхождения в детское тело "Я" — было здесь именно!..

В необъятности из сплошной необъятности — необъятно протянуто было сознание к детскому телу, которое вскоре услышало гул необъятности за стенами голубенькой детской: как ужас, вставала картина пролета чрез море. А миг небывалых летаний вставал мне впоследствии — п а м я т ь ю — п а м я т и.

Молнией пронизала меня м о я жизнь...

.....

И блеснула луна, озаря безмерности; палуба опустела; фигура л е м у р а пропала: я думал, что блеск, успокоивший все, водворивший покой (хорошо из вне-жизни рассматривать бывшую жизнь), — мысль меня утешающей Нэлли; мы мыслями помогаем покойникам; души их, переживая мир чувств, как ландшафты, отчетливо знают, когда помогаем мы мыслями им; их ландшафты души проясняются блесками мыслей о них.

— "Это — Нэлли"...

Луна, озарявшая все, — Мысли Нэлли.

Работа над мыслью когда-то усилилась в Льяне; перемещенья сознания посещали там: в Льяне. Слагались в спирали орнаментов, напоминающих сны; —

— мы садились в кресло; мы импульсы оживляли в себе, не ощущая свисающих органов тела, перелетая пространства пустот и разливаясь, как блески: —

— А Нэлли сидела в белеющем платье; и — фосфорела очами; и — мысль ее ширилась, как пространство огромного моря, через которое плыл мой корабль. —

— Пароход утомлялся пространствами моря — и Нэлли, быть может, сидела, в белеющем платье, мне фосфорела очами: над гробом моим: —

— сбросив тело, расширенный, я простирался пред взорами Нэллиной мысли, которая ясной луной мне бросала вселенские светы; и — разливалась над водами, —

— переносимыми корпус "Г а к о н а С е д ь м о г о"; навстречу протягивал Льян свои кровли; перемещенью сознания научились мы: в Льяне:

— "Спасибо".

Покойники переживают ландшафтами чувства; миры небывалых летаний вне тела, — ландшафт.

Круг замкнулся: вставала угасшая жизнь — от первейшего мига сознания себя объясняя.

На мокрой поверхности палубы я прислонился к трубе парохода; летали пространство рыдающим гудом: направо, налево, вперед и назад; нападали на нос, на корму, на бока парохода; дробились пенами, шипами, плесками, блесками; над трубою, взлетев, стая искр опадала; и — гасла в рыдающем гуде; среди роев и плесков протянутый нос парохода, кивая, бежал в никуда, где горластая молвь всех наречий — английского, русского, шведско-норвежского, датского! — слышалась явственно в выхлестах ночи.

Прошел молчаливо суровый матрос на коротеньких ножках, держа круглоглавый фонарь; и — мелькнули в столбе желтоватого света: мне — прочертни мачты.

БИОГРАФИЯ

Душа, сбросив тело, впервые читает, как книгу, свою биографию в теле; и видит, что кроме своей биографии в теле еще существует другая, которая есть биография — собственно; (во второй биографии видит она ряд отрезков, — периодов облечения в тело себя).

.....

В моей жизни есть две биографии: биография насморков, потребления пищи, сварения, прочих естественных отправлений; считать биографию эту моей — все равно что считать биографией биографию этих вот брюк.

Есть другая: она беспричинно вторгается снами в бессонницу бденья, когда погружаюсь я в сон, то сознание витает за гранью рассудка, давая лишь знать о себе очень странными знаками: снами и сказкой.

Есть жизнь, где при помощи фосфора мысль, просветляясь, крепнет: другая есть жизнь, где сам фосфор — создание мысленных действий.

Пересечения двух этих жизней в сознании — нет: между ними — границы; меж тем пересекаются параллельные линии двух биографий в единственной точке: в первейшем моменте.

.....

Его я запомнил: он — то, что в себе не могу назвать сном; и он — то, что всегда я не могу назвать бдением, потому что и бденье и сон предполагаются обособленными; первый момент сознавания рисуется памятью явно отличным от бдения; сном я назвать не могу этот миг, потому что мне не было от него пробужденья.

Во всех прочих "мигах" — я вижу черту между бдением и сном: —

— невы-
валое никогда и нигде — вдруг толчок: я — про-
снулся; —

— житейские узнаванья младенца выно-
сит мне память; —

— черта, перерыв: —

— я летаю:

то — сон...

В первом миге сознание трезво; его содержание — сказочно; нет пере-
рыва меж ними; и появляется "миг" в одеяниях вымысла; т. е. впоследствии
одеяния эти встречаю я в вымыслах: в "миге" они совершаются трезво, во
мне нарушая позднейшее разделение на сказку и явь.

Вы представьте себе: —

— птеродактили сохранились еще на одном только
острове, где-то затерянном в океанических даях; однажды корабль подошел
к тому острову: маленький мальчик случайно провел на нем ночь: и — увидел
последнего гада; потом мальчугана нашли: он пытался матросам сказать, что
с ним было; матросы — не поняли; мальчик забыл, что он видел: —

— прошло много
лет: он состарился, переживя совре-
менников; старцем уже вспомнил
сон: —

— безобразный дракон оцара-
пал его, размахавшись колючками
перепончатых крыльев; и старец
сказал себе: — Этого гада я где-то

уж видел. — Угасла в нем память о встрече с чудовищем, оцарапавшим мальчика зубьями перепончатых крыльев.

Представьте себе: —

— его сын, знаменитый художник, нарисовал фантастический образ: над скалами острова —

— на младенца кидается страшный дракон, раскачавшийся в воздухе зубьями перепончатых крыльев: —

— наследственность передала этот образ отца, разлитой вместе с кровью во всем организме, — художнику-сыну; действительный случай, потрясший отца, возродил в фантазии сына; отец, уже старец, —

— увидев дракона, напавшего зубьями перепончатых крыльев на мальчика, —

— вероятно б, стоял потрясенный, взволнованный, заговорив сам с собой:

— "Я — видел"...

— "То самое"...

— "Где это было?"

И, вспомнив сон о драконе, сказал бы:

— "Я видел во сне"...

— "Но мой сон необычный"...

— "В нем чую я память о бывшем со мною".

И вдруг бы — в се вспомнилось. Остров: и — ночь; и — чудовищный гад, размахавшийся зубьями перепончатых крыльев: но "старец" бы понял, что этому все равно не поверят; "дракон" ведь нет; все происшествие жило б в душе как закинутый островок в океане, отрезанный от континентов сознания; и в этом таинственном острове памяти старец бы видел себя отделенным от всех:

— "О!"

— "О!"

— "О!"

— "Я — один..."

— "В необъятном!"

— "Со мной — никого, ничего".

— "А ужасная гадина — близко".

— "О!"

— "О!"

.....

Так и с "мигом" сознания —

— старец, перелетающий тысячелетия времени: — сказочность первого мига есть странная бль:

- "Это было".
- "Я был в необъятном".
- "Летал"...
- "О, о, о!"

Недоказуема правда; она — очевидность; она — факт сознания: аксиома, без допущенья которой деление мира во мне на мир снов и мир яви — немислимо: помню: чудовищный гад, размахавшийся перепонками крыльев, и "Я", на которого он устремляется, — пересекаемы в пункте пространства и времени; гад — это "Я"; мир — младенец, к которому низлетает ужасная гадина, или — тело младенца; одновременно: "гад" — тело, которое налезает на "Я"; "Я" ж низвергнуто в тело полетом; и — да: "это" — было; но доказать нет возможности, потому что слова принимают крылатое очертание снов, мною виденных, — уже после:

— "Не сон это все".

Мне ясно: —

— за морем невиятности моего обыденного сна мне рисуются памятью берега континентов, где в стае драконов, махающих зубьями перепончатых крыльев, живут "птеродактили" памяти и предшествуют воспоминанию о моментах обыденной жизни; и — факт сознавания: память — о чем же?

Мой миг — насквозь память: о чем? Содержание памяти возникает впоследствии: папа и мама, и няня, и дядя, и тетя, и — прочее... Но нет здесь ни папы, ни мамы, ни няни... квартира, в которой мы жили? она возникает позднее; ощущения роста? Но здесь, в ощущениях беспредметности, нахожу я предметами — "память": о круге предметов, которые после не встретились мне ни в кошмарах, ни в снах, ни в реальности прозы; к утраченным образам памяти сны, — как бы органы зрения, потерявшего жар созерцать: так слепые, расширив зрачки, видят муть. Мои сны ощущаются мутью угасшего взора, который еще по привычке старается видеть.

И — нет: он не видит уже.

Эти сны указуют: на содержание памяти: но содержание это — опять-таки: память; на дне своих снов нахожу память памяти: (первого мига), сон сна.

С изумлением вижу позднее, что память о памяти (молнии, нас осеняющие безо всякого содержания) культурой мысли и тем, что в учебниках йоги зовется путем медитации¹, — из молнии превращается в наблюдаемый пункт, а способности в нас дотянуться до пункта протянутой мыслью, — развертывают убегающий пункт в прихотливый линейный орнамент; и мы — за ним следуем; мифами небывалых орнаментов раскидается пункт, процветая, как колос; и факты сознания, о котором забыли давно мы, — поют свои были.

В орнаменте убегающих линий — от первого мига в миганье до-первое — учимся мы путешествовать в мир дорожденного; и — познавать прилетание "Я" в мир дневной и обратно: читаем события жизни души после "мига", который наивное знание называет нам смерть.

.....

С особою ясностью передо мной среди дня возникали орнаменты: в Льяне!

И содержание памяти, бессодержательной прежде, — росло.

Говорил себе в Льяне:

— "Все это я видел уже"...

— "Это все открывалось уже мне в до-сонном"...

— "И стало быть: жило за снами и явью, как — сон наяву".

— "Я забыл этот сон, погружаясь в тело"...

— "Теперь только вспомнил".

Перемещенья сознания посещали и Нэлли; и мы рисовали орнаменты, сознавая отчетливо их: — содержанием памяти; знаки нам не были сказкой драконов, а явью когда-то живых птеродактилей.

Странно: орнаменты процветающей мысли, которые заносили в альбомы, переживались, как детские сны, но с сознанием, приобретенным впоследствии: это не сны, а действительность. Странно: иные узоры орнамента мы высекали из дерева на Иоанновом Здании: припоминали их ритмами, —

— из которых в разгоне времен вытыкались телесные органы наши, — остывшие ткани: и мы, оживив первый миг, оживляли и далее: содержание первого мига, летя в нем из органов тела в рои ритмо-плясок; своей ритмо-пляскою духи спрядали из образов: камни, цветы и живые тела: —

— первый миг —

— столкновение: дотелесного с тельным, где тельное есть окрыленный полет, а вне-тельное — стылость морозов пустотного мира; и тельное переживает бестельное, будто оно есть улет в н и к у д а; а бестельности переживают тела — точно дыры, через которые упадают они: в н и к у д а.

.....

Мои первые миги, как сны: сны во сне; мои миги вторые — кошмары, в которых живет память прежнего; и лишь впоследствии зажигаются миги, которые мне становятся воспоминаньями бывшего; они вытесняют мне первые миги, которые сны перерезают, как молнии.

Где критерий оценки события снов.

— "Сон"...

— "Никогда не бывает"...

— "Фантазия"...

— "Мы живем на земле"...

— "Не летаем"...

— "Родимся естественным образом"...

— "Кушаем"...

- "Вырастаем"...
- "Рожаем"...
- "Стареем"...
- "И вновь рассыпаемся прахом"...

И я, попугай, повторяю за взрослыми, позабыв факты памяти:

- "Сон"...
- "Не летаем"...
- "Родимся естественным образом"...

Очень поздно потом происходит со мною то самое, что со старцем, увидевшим изображение дракона:

"Я — видел: такая же гадина на меня нападала"...

Так — я, опрокинувши ложные догматы, потрясенный — твержу:

— "Вспомнил".

— "Вижу себя: я — лечу, пересекая пустоты и вспоминая, что я оторвался от р о д и н ы..."

Вот — первая данность сознания; прочее — вздор; когда тело разорвано, части его, раскидавшись вокруг, продолжают кричать:

- "Никогда не бывает"...
- "Родился естественным образом"...
- "Кушал"...
- "Умрет"...

Но "Я" отвечает:

- "Неправда"...
- "Все — было"...

.....

Под брызгами, в выхлестах ночи, два мига скрестились во мне: пребывание на палубе парохода "Закона Седьмого": и — пребывание в разлетах загробного, где летел, огибая телесную жизнь, в правду первого мига; стихии, как звездное небо, объемлют рождение и смерть; и из смерти видна нам тропа наших странствий до мига рождения.

Пароходик: корма — миг рождения, нос — заострение в смерть: я забегал по палубе: от рожденья до смерти; и повернулся назад: за кормою я видел, что —

— пены плевались, слагаясь в белоусые гребни; и шлепались в палубу; дали за ними ходили: рыдающим гудом и мощными массажи; из туманов бежала луна; фосфореющим блеском узоры орнаментов строились, —

— эти орнаменты мы рисовали когда-то, как просветни через миги сознания —

— строились жизни загробных и до-рожденных миров на страницах альбома: хотелось воскликнуть:

- "Я все это знаю"...
- "Оно не фантазия"...
- "Возникло в фантазии"

э т о все после"2...

Сперва была память: —

— о том, как я бегал по палубе взад и вперед, как мятежились мощные массы пространства: —

— и бешеным фосфором, перелетая через борт, целовали мне губы горячайшие соли до мига рождения: ритмо-пляскою ткали все блески на палубе, мачте, на старых брезентах, спасательных лодках, трубе парохода "Гакон Седьмого", а тени, слагаясь у блесков, поставили перед летающим о к о м рельефы иллюзии, где слияние до-тельного с тельным образовало: мой вылет из тела, стоящего у паровой трубы, или влет через дыру (мое темя) в н и ч т о, облеченное в шляпу с полями; соединенье моментов есть дым паровой трубы, изображавший мгновенными клубами: появление писателя Л е д я н о г о на пароходе (рождения мира из н и ч т о), именуемого странным словом "Ньюкестль", в сопровождении шпиона, державшего зонтик; шпион оказался фантазией (или драконом): но в нем росла память. Прошел молчаливо суровый матрос на коротеньких ножках, держа круглоглавый фонарик (о, старая правда!), как будто хотел он сказать:

— "Я не сон".

— "Не фантазия".

— "Я птеродактиль".

— "Эй, ты, развернем-ка зубчатые крылья из блесков".

— "И ринемся в просвистни: в миги сознания"...

.....

"Миг", озаривший меня меж Ньюкестлем и Бергенем, выявил сокровенные импульсы; не ощущая давления органов тела, хлеставшими массами мыслей летал в первых "мигах": —

— "шпионы", вдруг сбросив пальто, как драконию тяжелую руку, с пронзительным криком сирены летучею стаею упорхнули в пространства...

.....

Я понял: работой над мыслью снимаем мы кожу понятий, привычек, обывчаев, смыслов, затверженных слов; —

— биографическая действительность до вступления моего на пароходик "Гакон" рисовала меня: малым мальчиком, гимназистом, студентом, писателем, "дорнахцем", "лондонцем", наконец, пассажиром на палубе парохода "Гакон", откуда открылось: —

— все вздор: биография начинается с памяти о летаниях в космосе: мощными массами —

— как лета-

ют огромными, мощными массами волны—

— дальнейшее: навыки, кодекс понятий, искусственно созданный, как привычка сосать каучук, —

— воз-
никало, как память о жизни сознания, за-

ключенного под сырою, луганскою шляпою, гуляющей здесь: эта память о жизни — фантазия: память о том, чего не было... —

— Что ж было? —

— Безвещность летающих

далей, где нос парохода, зарывшись в безумие брызг, уносил в никуда, прокричавшее роем наречий: направо, налево, вперед и назад... —

— Я спустился в кают-компанию, лег на диван: накренилась стена: все трещало, отчаянно хлопали двери: направо, налево; шатаясь, шла бледнолицая дама, подпрыгнула, ухватилась за стол; и стремительно понеслась прямо в дверь над стремительно из-под ног убегающим полом.

Дверь хлопнула.

Лампы качались: графинчик с водою подсакивал; ноги мои высоко взлетали, неравномерно качаясь; потом упали; под ложечкой странно пусто: морская болезнь!

МИГ

Если бы к первоначальному пункту сознания провел бы я линию, видел бы я, что —

— все действия будущей биографии варятся: в накипи; время здесь варится; варятся образы будущих произведений моих; производитель их варится; пузыри —

— "буль", "буль", "буль" —

— закипают в котле мирового пространства толстейшими книгами; Леонид Ледяной —

— "хлоп" —

— и лопнул —

— "буль", "буль" —

— пузы-

речками все изошло: здесь статья, там статья —

— "хлоп-

хлоп-хлоп"... перелопались в мировое пространство: —

— "буль-буль" надувается воздухом мировоззрение Гете; член Goethe Gesellschaft* бежит по поверхности кипени: —

— "хлоп" —

— "буль-буль-буль" —

— надувается —

— нет его —

"Петербург": Аполлон Аполлонович Аблеухов катается шапником в нем —

* Гетевское общество (нем.).

— ”хлоп” —
— и нет ”Петербурга”: сидит
Аполлон Аполлонович в Петропавловской крепости —
— ”Скорпион”¹, ”Мусажет”², ”Альциона”³, ”Шиповник”⁴, ”Гриф”⁵ — хлоп-хлоп-хлоп
— перелопались в мировое пространство —

— и бисерным шариком вместе со мною, летающим шариком, носится через годы
Бальмонт; и за ним: Балтрушайтис⁶, Иванов —

— и прочие

спутники биографии брызжутся миголетами: —

— критики, литературные силы Москвы, артистический мир, вкусы, навыки, все, что во мне проступило; и все, что во мне проступить бы могло еще, — брызжется пеною пузырьков в этом миге сознания.

.....

— ”Вспомни”:

— Я старый: —

— Бальмонт,

— Балтрушайтис, —

— ”Весы”

— ”Скорпион”

— ”Козерог”

— ”Водолей”.

.....

Накренилась стена: затрещала: ”вжзли” — злые, пышнейшие, белоусые гребни лизали окошко каюты; расхлопались двери направо, налево; качалась потухшая лампа; графинчик с водою подскакивал; захотавший коричневый чемоданчик подпрыгнул из сетки и с грохотом полетел, опи-савши дугу.

.....

Толстоносы́й, седеющий швед в полосатом жилете учванился на меня подбородком: потребовал кофе; уже наполнялась ”каюта компании” — утро! — взволнованным говором: русским, английским, норвежским, немецким:

— ”Передайте мне сыру”.

— ”Когда мы приедем?”

— ”Сначала заедем в Ставанген”.

— ”В Ставанген”.

— ”Ну да”.

— ”Почему же в Ставанген?”

— ”А мы прижимаемся к берегу: мы идем под прикрытьем...”

— ”От мин?”

— "Миновала опасная зона"...

— "Теперь мы доехали".

.....

Швед в полосатом жилете заметил:

— "Война — это зло".

— "Ja, mein Herr!"*

Отворилась наружная дверь, внося хриплые просвисты ветра; красавцы курьеры в британских пальто (офицеры, спешившие с поручением из Лондона) оборвали немецкую речь двух евреев со шведом: послышалось: "У э с" и "Ол-райт", обращенные к седовласому сэру: и меж собою:

— "О черт!"

— "Навязали негодные автомобильные шины"...

— "Полковник принять наотрез отказался, телеграфировал в Петроград"...

— "Что же вы думаете, из Петрограда приказ: автомобильные шины — принять".

— "А история с ледоколом"...

Я слушал, качаясь направо, налево; графинчик с водой подпрыгивал: ноги мои поднимались; под ложечкой странно пустело: —

— то все мне дано:

в первом миге сознания!..

.....

Все только накипи извести на пузырьчатой пене кипений: сюртук "Ледяного", британского цвета пальто, полосатый жилет шведа справа; и стены "кают-компании", и — бушующий мир, волочащий "Гакона Седьмого"; —

— мутневшие пятна младенческой жизни, твердея, сливались в туман, обступавший меня: подхожу, его щупаю детскою ручкою: стены: на стенах — обои: орнаменты мысли моей: —

— проследите историю орнаментального творчества: постепенное усложнение линий орнамента от простейших фигур (треугольников, ромбов, квадратов) к округлианам встретит вас здесь: появляется в более поздних орнаментах преобладанье спиралей; пересечение образует листочки-розетки: цветы прорастают; сложится пышнейший растительный мир; и из розочек появляются р о ж и смеющихся фавнов; из мира орнамента вылезает фавнесса, как листик, повиснувший хвостиком на стеблях; и уж далее поскакала фавнесса, среди мира плодов и цветов; —

— из орнамента проступает картинка: павлины, растительность, перелетающий крылорук: —

— постепенно прочертятся виды природы, которую знаем мы все. —

— Тут геолог откроет законы сложенья ландшаф-

* Да, мой господин! (нем.)

та; художник законы сложенья ландшафта сведет вновь к орнаменту; происхождение костяка человека выводит из длинной градации усложняемых костяков; происхождение животного мира в другом объяснении слагается из узорчатых линий: —

— происхождение первое — истина биографической жизни; — происхождение второе — картина схождения души ритмолетами: в тело. —

— Кто помнит в себе содержание памяти первого мига, тот в выгибах, в ритмолетах, в цветах и в розетках орнамента внятно читает жизнь сил, проникающих нас; те орнаменты — пузыри закипающей жизни; строение органов — ракушки, накипи: —

— стены, в которых позднее я вижу себя, — отложение обойных орнаментов; —

— мальчиком часто вперяюсь в обои: цветы, завитки, лепестки для меня оживают и курятся ночью кипучими струями образов, становясь ритмо-пляской; и я прохожу сквозь обои в мир сна; я меняю обличия, ширюсь во все, что ни есть: —

— меня учат впоследствии: стены суть правила: —

— "Делай то-то и то-то".

— "Не делай того-то".

— "Гуляй".

— "Не летай".

— "Сказки вредны".

— "Все бабочки — гусеницы"...

— "Происхождение бабочек из цветов есть фантазия".

— "Шар, по которому ходим, — земля".

— "Небо пусто"...

И я повторяю ту ложь: —

— "Делай то-то и то-то".

— "Не делай того-то".

— "Мы все червяки"...

— "Небо пусто"...

И вот начинаю я жить в объяснениях "биографической" жизни: —

— в

восьмидесятом году я родился: до этого года сочился в родителях; в девяностом году в микроскопе увидел я то, чем я был до рождения: "клеточку"; ныне же в сопровождении шпионов плыву я в Россию, для доказательства верности слову, которого я не давал, но которое, не спросясь у меня, за меня дали Грею, —

— тащусь я в Россию подставить мою оболочку под действие пушки... и этот "брюнет", вероятно, агент. —

— Тут, охваченный злобой, вскочил: —

— "Ха-ха-ха", — разразился я смехом, глядя на брюнета: "брюнет" удивленно взглянул на меня; —

— вот "Я" вас —

— и "каюта-компания", стол, за которым сидели: седеющий швед, два еврея, курьеры, брюнет или агент, летавшая лампа, в прищуренном взоре моем, разложились на линии, покрываемые узорами перьев, мигающих в пересеченных ресницах: и крылорук, колесящий слепительно, вместо красавцев курьеров, павлинился в воздухе; швед оказался смеющейся рожею фавна внутри побежавшей розетки; образовался орнамент растительных линий, переходящих друг в друга: листочки, розетки, пальметты⁷ развоплотились в спирали; спирали же стали линейным полетом, кипящим со мною: —

— шпионы, курьеры и шведы летали, блистали, хлестали рыдающим гудом: направо, налево; и шлепались в нос и в бока парохода "Г а к о н а С е д ь м о г о", дробясь белобисерной пеной; ходили взволнованно мощными массами.

.....

Там, под винтом, уходя в глубину, бирюзела чистейшая пена; на нос парохода спускалось все бирюзовое; и — появились вдали лоболобые камни; придвинулись; четкою тенью чернели продолбины, и обозначались красные кровли домишек —

— "Ставанген".

ГДЕ "Я"?

Ощущаю толчки: пробуждения, припоминая о старом: —

— толчки моей жизни; от них осыпается все, чему учат, —

— приходят неспроста; иную зависимость чую в событиях я; не умею я складывать буквы событий в слова: поражает еще начертание знаков: тот швед, подпирающий руки в бока, буква "эф"; наблюдаю иными глазами его; связь меж буквами ускользает: слова не прочитаны; и оттого я бесцельно взираю: но "в бездне бесцельности — цельность забвения"; смыслы эстетики зренья — бесцельность! — осмыслится будущим.

А пока я живу очень смутною мыслью, что в личности, выводимой из прошлого, отлагается что-то, рождая вторую действительность: биографию биографии; память о факте, которого не было, крепнет: я жду его годы; и вот —

— наступает: тогда —

— проясняется прошлое, непрояснимое прошлым. Событие "фактов", влетающих в жизнь, точно взрывы во мне: беспричинный, мгновенный разрыв объясняет прошедшее; и причина приходит поздней ее действий, которые рок; стены жизни качаются; мина, вонзаясь ударом, дырявит сознание; неожиданный миг "посещающий, уга-

шает сознание"; если кануть душой в содержание беспричинного "мига", то — объяснения его отстают от него: —

— "Ты родился естественным образом".

— "Но летаешь..."

— "Умрешь". —

— Никогда не рождался, летаешь в космической сфере: — сперва нападали страннейшие "миги" во сне на меня: я, проснувшись, все силился вспомнить мелькнувшее: в памяти находил только память, а содержания не было: были полеты: полетов боялся; впоследствии схватывал я погасающий след миголета и различал кое-что: напряжение памяти переносило меня через бреши сознания, где угасало сознание, —

— за исключением пункта, летящего в перемоганьях беспамятства; пункт — напряжение воли к вниманию: в с п о м н и т ь.

Что вспомнить?

Впоследствии — вспомнилось:

— "Это уж было"...

— "Я здесь пролетал"...

— "Но в обратном порядке".

Воспоминанье летанья сознания в обратном порядке в мирах бессознания переживалось, как если бы то л е т а н и е было б в л е т а н ь е м; а это л е т а н и е — в м и г е — переживалось, как в ы л е т: —

— переживания нападающих "мигов" — "д р а к о н ы", которые гонятся; просыпаясь, рассказывал я: отвечали мне:

— "Сказки".

Но я научился сознательно действовать в сказках, подсматривать действия моего сознаванья в "драконах": и ростом сознания я объясняю открытие памяти, что: "драконы" фантазии — "птеродактили" — правды.

Еще до рожденья боролся я с ними.

Так "миги" кошмаров во мне просверлили старинные действия "Я" в до-телесной стране: это вскрылось в усилиях мысли, —

— которая древо; из "древа" я делал челнок; и уплывал по морям бушевавших безмыслий; кто в жизни своей не вступал на пути медитаций, тот — будь он философ, — подобен мечтателю, созерцавшему море со скал каменистого берега: кто "м е д и т и р о в а л", тот моряк, пересекавший моря —

— от-крывания медитаций: п о л е т е с ь — есть вхождење души в разбухавшее ростоми тело: полет медитации — в ы л е т из тела: а "миги" кошмаров — дрожанье эфирного тела, еще не совсем прикрепленного к телу обычному; с ростом обычного тела эфирное тело теряет способность к движению; в медитации пробуждаем движения —

— к а т а с т р о ф о у

отдаются движения эфирного тела: полет "в е р х п я т а м и" они; овладевши движением, вижу: полет есть сознательный вылет в "восторг": —

— упавший со скалы в бездну моря переживает испуг; моряк, распустив паруса, отделяется с песней от берега —

— вылеты, влеты, восторги, падения, испуги — в мгновениях становления двух биографий моих... —

— Закон тождества (в "миге" "Я — Я") затаил два момента: полет и паденье; рождение в тело и выход из тела — рождение и смерть — суть единство: и нет ни рожденья, ни смерти; подобен мой миг разбиванию мира; во мне ощущение ужаса переходит в уверенность: "Я" — бессмертно. —

— Бессмертие есть осязаемый факт медитаций.

.....

На пароходе "Гаконе" свершился чудовищный взрыв: разлетелись от действия мысли моей проскрипевшие стены "каюты-компании", стол, за которым сидели —

— сидящий швед,

— два еврея,

— курьеры,

— брюнет, —

— закрутился в прищуренном взоре моем, разлагаясь на пляску летающих линий, кипящих в моей медитации, и все залетало рыдающим гудом: направо, налево: "буль-буль" — кипятился во мне пространственный облик: "хлоп" — лопнул. "Буль-буль" — кипятился "шпион": лопнул — "хлоп" —

— все восторги, все ужасы, сэры, Ллойд-Джорджи, шпионы

— осадки моих восходящих сознаний; свершились они в глубине моей личности; выпали после во сне, когда личность под действием С л о в а во мне разлетелась на части: —

— мальчишки

меня подбирали на улице.

.....

Пусть объяснения Слова во мне в отдаленнейшем будущем; ныне читаю лишь б у к в ы события Слова; рассыпанный шрифт, иль осколки моей оболочки, вокруг осаждаются: сыщики гонятся, следуя через Берн, через Лондон: —

— "с э р" —

"Я" второй, на себя самого восстающий, привыкший к комфорту:

— "Не делай того-то".

Когда-то я в Бергене храбро взорвал свои стены; и вышел наружу; мой "дом" потащился за мною, как рок, воплощаясь три года: роями несчастий,

болезнью, расстройтвами, манией и войною; —

— война началась после

взрыва во мне¹.

.....

Катастрофа Европы и взрыв моей личности — то же событие; можно сказать: "Я" война: и обратно: меня породила война; я — прообраз: во мне — нечто странное: храм, Чело Века.

Может быть, "Я" единственный в нашей эпохе действительно подошел в — ... жизни к "Я". Удивительно ли, что мое появление в Швейцарии, Франции, Англии, как причины войны, порождало тревоги и ужас. О н и — смутно чуяли...

И совершенно обратно: в Швейцарии, Франции, Англии "Я" ощутило войною себя: мое "Я" — порождение войны; до войны никакого "Я" не было.

Нет: "Я" и "мир" — пересеклись во мне.

Соединение с космосом совершилось во мне; мысли мира стугутились до плеч: лишь до плеч "Я" — свой собственный: с плеч поднимается купол небесный.

Я, собственный череп сняв с плеч, поднимаю, как скипетр, рукою моею. Ставанген!

ПЕРЕД БЕРГЕНОМ

Прибрежье зеленых горбов, и — промойные трещины в очертни старых боков, округленно слетающих к струям, — купаться в сквозной живолет переблесков и в лепеты разговорчивой влаги — прибрежье летело, неся на горбе просинь сосен и яркие запахи смол оголенных стволов.

Распахнулся фиорд, принимаемая сырейшие прелости моря, заторами мертвых плотов и затонами бревен; вот прочертень красной кормы парохода, взревевшего в запахи соли и смеси ветров; пароход, задрожавши, шел в море, чтоб, может быть, в море наткнуться на мину; стояли норвежцы, кивая ушастыми шапками; фыркал дымок раскуряемых трубок; и я, и товарищ махнули платками. —

— "Го, го".

— "Добрый путь".

.....

— "Не наткнитесь на мину!"

Уже потянуло испорченной рыбой.

Ставанген.

.....

Внимали мы вещим лепетам вод, засмотрелись во все бирюзовое, что крепчал лазурями; крепло — окрепло; и стало: сиятельной синькой;

сказали друг другу о том, чего нет: о провеявшей Нэлли, юнеющей личиком цвета сквозных анемон; закачались в разрезах фиорда, прошедшего к Бергену, —

— в

громком, настойчивом говоре всех пассажиров, приятно взволнованных тем, что прошли без несчастий в спокойные воды фиорда; повсюду на палубе высились складены желтых кардонок; и веяли дамы разлетами синих и палевых шалей на нас; два высоких шотландца приблизились, фыркнули трубками; и без единого слова глядели, сжимая зубами гласившие трубки:

— "Ага".

— "Это он".

— "Он опять появился".

— "Олл-райт..."

— "В Гапаранде мы скажем жандармам".

— "В Торнео..."

Качались на лепетах тихо озыбленных вод, оставляя крутую кормую ярчайшие полосы, и — огибали облупины каменистых подножий; в лазуревом утре пошли острова, островки, обрастая гребнистой щетиной и вея смолою; за нами уже раскрылась земля где-то издали: красными кровлями —

— Бергена, мне сошедшего свыше три года назад...

.....

— "Ты — сошел мне из воздуха".

— "Ты — осветил мне..."

— "Ты — шествие в горы".

— "Сошествие Духа во мне".

— "Ты — огромные горы Фавора..."

— "Ты — горы".

.....

Здесь "миг", разрывающий все, раздавался как солнечный мир, осветляющий все; и отсюда слетело огромное что-то в меня: во мне жило, любило меня; и раскинулись кущи, где я пребывал сорок восемь часов и откуда прошел я, дивясь и радуясь миссии, мне предначертанной, — в тайные вечера; благословил Копенгаген меня; мы торжественным шествием проходили Берлин: в мои ночи — в саду Гефсиманском¹ —

— близ

Лейпцига, на могилу у Ницше, откуда принес я три листика, —

— после —

— упа-

ла колючая часть, терзая чело многострадными днями тяжелого Дорнаха; этот венец я надел в дни паденья Варшавы и Бреста²; приподнял свой крест; и — безропотно ныне несу его Родине; там, водрузивши, отдам мое тело приставленным воинам; посередине арбатской квартиры повисну,

уоставившись глаз остеклелюю впадиной — в темени; и упаду, как во гроб,
— на Садовую: знал, на что еду...

.....

— "Ты — горы, огромные горы Фавора, — сошествие Духа во мне...
Осветил, опустился из воздуха: Берген!"

Качались на лепетах тихо озыбленных вод, оставляя крутою кормой
парохода ярчайшие полосы и — огибая облуплины каменистых подножий,
разрезали живолет переблесков: прошли острова, островки, уж раскроины
почв, набегая, распались на красные кровли; лес мачт, накренные трубы,
какая-то пакля канатов; и — домики, домики, домики отовсюду стояли
квадратами, как... подбородки норвежцев, глядевших на нас из толпы
проходимцев и шкиперов.

Вот — переброшен канат; перекинуты сходни: и — сходим, толкая друг
друга: тюками, кардонками и боками глухих чемоданов — в горластую
молвь всех наречий: английского, русского, шведско-норвежского, датского,
в пересышь из матросов всех стран, соглядатаев, спекулянтов, воров,
коммерсантов, агентов.

.....

Брели сиротливо по гавани.

Стройку ганзейских³ купцов уничтожил пожар. Вот — общественный
сад; вот — знакомые башенки; запахи: соли, ветров и чешуй. Ярко-желтый
жилет прокричал в сини неба; глядели квадраты глухих подбородков;
прошел — Генрик Ибсен⁴, надвинув на лоб старомодную шляпу; напряжи-
лись шеи, слезились глазки; приплюснутый нос натыкался на нас.

Сдавши старые чемоданы на станции, мы заслонялись по улицам
Бергена; нос натыкался на нас: —

— Не желаете.

— Что желаете?

Нос проходил, фыркнув трубкою —

— "Я", в
багрянице, в терновом
венце проносил на пле-
чах кипарисовый крест
с парохода "Гакон"⁵ —
вдоль гавани: —

— в город.

ТРИ ГОДА НАЗАД

Никогда не забуду.

Мы ехали из Христиании в Берген: три года назад — в сухоли-
стьях осени; в дни, когда созревали плоды многолетних стремлений... Уже
в Христиании раздавались холмы, поднимаясь в горбы; громоздились они;

ощетинились свыше лесами; семья многохолмий возвысилась в мир многогорбий, в котором, очерясь ущельем, садились горбы на холмы; многорослым объемом приподнятых гор пообставились промути дальних прозоров; и — стойкими высями высились в воздухе гранные массы; —

— уже в Христиании мысль облетала, обвеясь; и — свеяв мне под ноги жизнь сухомыслия, высились смыслы в мирах многообразий; я из ущелия плоти прошел: в непомерный объем раздававшихся истин до — дальних прозоров о судьбах моих; —

— и
возвысились цели, подъятые к небу
(гигантом) в столетиях времени; вот —

— Кто-то Древний,

подняв из-за мира моих превозвышенных мыслей —

— свой Лик¹, —

— поглядел в мое сердце; и в нем отразился, как в озере, — с кручи; я видел Его отраженье во мне; и, к себе самому припадая, коснулся я Лика; —
— но в ряби сердечных волнений сияющий Лик раздробился во мне миллионами блесков... —

— огромная поросль лесов, шелестя сухолитьем, открыла красневшую недоросль мхов и суровых безлистьев; уже облетали лесами все твердые толщи склоненных преклонов: стояли сплошные гиганты камнями времени; и далекий зубец —

— как сияющий клык —

— пробелел над отвесом; и скрылся; другой; и — повсюду над твердыми толщами яснились снежные зубы: в лазури; светло и зубчато смеялась окрестность, придвинувшись к поезду гранным отвесом: ползли ледники, провисая серебряной массой по смутным уступам: —

— вот тут появилась сестра, постигавшая тайны мистерий²; она, перейдя из вагона, в котором задумался Штейнер (он ехал в том поезде), говорила о том, — что: —

— возвысились цели в столетиях времени; и — поглядела мне в сердце: ее ослепительный взгляд посредине разъятого сердца зажег мое Солнце; и я, припадая к себе Самому, припал не к себе Самому; —

— в то мгновенье прошел по вагону кондуктор, оповещая, что мы в высшей точке подъема от Христиании к Бергену; нас защемило ущелье; и — грохотно удушало туннелями; в вылетах — в воздухе висли вагоны, несясь к остановке.

И вот — остановка; и вот, цепenea в незвучиях света, стояли вагоны; сбегали из поезда: к синему озеру; ноги хрустели ледком; из окошка вагона смеялись; приподняли рог молодого оленя, здесь сброшенный; грудь обжигало озоном; в груди же стояло:

— "Узнал тебя: "Я".

— "Ты — сошел ко мне из воздуха".

— "Ты — осветил мне..."

— "Ты — шествие в горы".

— "Ты — горы".

— "Сшествие Духа во мне"... —

— Но — звонок; поезд тронулся; дальшие вагоны бежали по воздуху; в грохотно бившем туннеле давились мы дымами; щелкали стекла вагонов, взлетая; и — падая в вылетах; снежная линия —

— приподнялась; и прощально глядела нам вслед; и — последний зубец, как воздушный, сияющий клык, там осклабился свыше: за пятнами промути; —

— там прозирались дожди в непрозорной дали; снова: стойкими высями высились в воздухе гранные массы; торчали бесснежные плечи; и малый кусточек уже подбирался на лоб гололобой скалы: подобрался; и линия красных лесов возошла по уступам, облекши миры многогорбий в свою багряницу — над синим фиордом; слетали мы к Бергену; мир многозубый мягчился, круглясь многогорбием; скоро уже побежало нелепие крыш в велелепие гор: —

— так мы прибыли в Берген три года назад.

И уже солонели ветра.

Где все это?

БЕРГЕН

Ныне Берген — центральнеюший узел сношений между Россией и Англией, где с последнего парохода бегут, чтоб визировать паспорт или — получить на проезд в третьем классе одну или две сотни крон: —

— тот подтянутый франтик в огромнейшей шляпе с полями, наверное, русский, хотя обитатель Италии; старый, пейсатый еврей с изможденным лицом Иеремии¹, моргающий красными глазками в солонейший ветер, матросы, солдаты — все русские, — слышал родную я речь, наблюдал я солдатские лица: за нашим "Законом Седьмым" прибежал многотрубный "Юпитер",

перевоза толпу пленных, бежавших в Голландию: в Бергене ждали "Юпитера"; и — ходили тревожные слухи: потоплен-де он; он — пришел вслед за нами; стоял перекошенный ряд металлических труб над боками крутых пароходов, роившихся в гавани — красных, зеленых, оранжевых, серых и черных, лес мачт; и — какая-то пакля канатов; кишела горластая пересыпь слов; проходил круглоглавый лопарь² на коротеньких ножках, серея чешуйчатым коростом несмываемой грязи; глядели квадраты глухих подбородков, поросшие войлоком.

Явный прохожий шатун в морской шляпе и в кожаных брюках, раздвинувши рот, на меня прокричал желтозубием, свистнувши в вышибень: вместо желтого зуба глядело зубное пространство; и желтый жилет пропахнул нахально на нас, поливаемый солнышком.

Вот и торговая улица: преткновенье людей, толчея, горлатня; окна лавок: за теми немытыми стеклами зеленился сухою скорюзлостью — сыр (или — мыло), за этим стеклом пробутылились вина; за этим — воняли кислятиной башенки рыбных жестянок; спеша, продавались оттуда в отверстие двери: довольный супруг с недовольной супругой, глядевшей на толлок праздных локтей, как... колючая корюшка: рыбьими глазками.

Вывеска "Эриксен", вероятно, висела и здесь; коль не здесь, так — поблизости где-нибудь; помнится, я ее читывал: где вот — не знаю. Но знаю наверное я: не обойдутся без вывески "Эриксен" громкие лавки норвежского порта; и — да: несомненно; он, "Эриксен", где-то висел. И не только висел: —

— но расхаживал здесь же: с серьгою в широко расставленном ухе, куря свою трубочку в... желточайшем жилете, болтающем камушки цветоглазой цепочки часов; и — с фру Эриксен: миловидной блондиночкой, во всем вязаном; и — такого зеленого цвета, что больно глядеть; зеленее зеленой травы, зеленее зеленого моря, тот цвет — цвет Норвегии; ткани, вязанья — такого зеленого цвета, что больно глядеть; —

— в эти

— ткани наряжены девушки, женщины, вдовы; на толстых щеках разыграется пышный ядерный румянец; качаются красные волосы из-под вязаной шапочки; сыплется синька из глаз —

— голубое и желтое иногда со вплетением красных полосочек — Швеция (шведы так много едят, что...).

Да, "Эриксен", "Эриксен" — я не только читал про него; я и видел его; это верно, как то, что на улицах Копенгагена попадаетея "Андерсен"; и живет припеваючи, в датском местечке; что в Дании "Андерсен", то здесь "Эриксен"; он развесил пестрейшие вывески: в Бергене, Христиании, Гетеборге, Тронгейме... Торгует: пенькою, канатами, ворванью, сельдью; и — гонит по рекам стволы обезветвленных сосен: с затора к затору; и эти стволы себе плавают по безлюднейшей местности в речках; в окошке

летающего поезда можете вы наблюдать: передвижение сосновых стволов по реке — до затора, откуда их крючьями тянет, кряхтя, к каменистому берегу, может быть, финн или даже седой, круглоглавый лопарь на коротеньких выгнутых ножках, серая чешуйчатый коростом несмываемой грязи; —

— сосновые бревна по рекам Норвегии гонит опять-таки Эриксен... Гамсун — писал о нем³.

Я — его видел.

На улочках Бергена вспомнил добрейшего Фадума⁴; вместе работали мы на резных архитравах: в Швейцарии; Фадум с утра проходил по холму, направляясь под купол; и вечером опускался в кантину: поужинать; после уехал в Норвегию он; он — норвежец; и у него, здесь, в Норвегии, — деревянное дело какое-то.

Вспомнил здесь Фадума: и — захотелось его повидать.

Где он?

Может быть, он, как и Эриксен, гонит стволы по реке; даже, может быть... Мысли о Фадуме, — оборвались:

— Ja, ja, meine Herren...*

— "Война есть великое зло".

Я очнулся; из двери дрянной ресторации, где хрипучие скрипки, как рой комариных укусов, — прошел толстотелый пиджачник с воюющей сигарой в слюнявых губах; он — за мной увязался:

— "Mein Herr", — неужели?

— "Поедете вы из Норвегии в "Russland"?**

— "В солдаты?"

Ему я, подставивши спину, — ни слова в ответ. Он, засунувши руки в карманы просаленных брюк, продолжал обращаться к спине:

— "Есть возможность достать себе паспорт"...

— "Прожить здесь, в Норвегии"...

Явное дело: шпион.

Ничего не ответил ему, продолжая шататься по улицам — в преткновеньи людей, в толчее, в горлатне; и — заглядывал в окна: за теми немьтыми стеклами зеленелись сухие скорузости сыра; за этим — бутылились вина; за этим — трепалась какая-то пакля канатов.

То — Берген: и здесь, как и в Лондоне, гнались за мною они; хохотали они надо мною; горластая молвь всех наречий уже раскричалась: направо, налево, вперед и вокруг.

Мне казалось, что этот прохожий шатун в морской шляпе и в кожаных брюках, раздвинувши рот, на меня прокричал желтозубием, свистнувши в вышибень:

— "Посмотрите-ка".

— "Он"...

* Да, да, мой господа (нем.).

** Россию (нем.).

Генрик Ибсен, надвинув на лоб старомодную шляпу, на эти нахальные крики стремительно выскочил из дрянной ресторации, посмотрев саркастически: —

— "Здесь Он принял когда-то венец..."

— "Здесь стоял, простирая, как царь, свои руки".

— "И воздвигал свои храмы..."

И — вот: обращаясь к старушке — колючей рыбешке, — кричал Генрик Ибсен, махая огромнейшим зонтиком:

— "Посмотрите же".

— "Тащится".

— "Погоняемый стражами".

И глядели сурово квадраты глухих подбородков, поросшие войлоком:

— "Ну-ка".

— "Спаси себя".

— "Ха-ха-ха-ха".

— "Самозванец".

Но, глядя в нелепые крыш, убегающих в велелепие гор, я — ответствовал:

— "Да".

— "Я для вас тут тащусь: пригвоздить мое тело".

— "Для вас бросил Храм, где под куполом ставил с молотком, под резной пентаграммой..."

— "Я врезал себя — навсегда; в пентаграмму".

— "Челом восходящего Века стою перед вами".

И я проходил мимо всех в закоулки; и — в многогорбые улочки; думалось мне: —

— восприятие этой толпы есть болезнь: и — "драконы" смещения сознания смутно заснились — от этой болезни; наверное: "птеродактили" этой болезни во мне: не во сне; то — события внутренней жизни; то — отблески важных, космических действий, свершаемых внутри атомов тела; естественно перерождаемся мы: перерождение я подсмотрел; от исхода его, может быть, все зависит: поспешное окончание войны, мир Европы иль — Гибель Европы:

— "Да, да".

— "Это — "Я".

— "Я" во мне".

— "Исполняется".

Миг, разрывающий все, со мной был — здесь, три года назад: вознесение в небо мое; иль — прокол: в никуда и ничто. —

— Так ответят ученые, и "прокол" затыкают скорей они "пунктом" материи: "элек-

т р о н о м"; то — пункт прободанья материи сознанием "Я"; —
— миры "пунктов"
рисуют наглядно картину встающего
мира; но — только сеть "пунктов" ма-
терии — поры сознаний существ —
— и
недаром в своих пара-
доксах гласит Максвелл о том именно, что пункт — "демон"*.

ПЛОЩАДЬ

Вот и площадь — та самая, где три года назад я стоял и смотрел на оглавы вершин: вот она. Но оглавы теперь занавесились тучами, через которые косо прорезался луч преклоненного солнца: —

— здесь жизнь пролетела, обвясь; возвысились смыслы в громадный объем раздававшихся истин: до дальнейших прозоров о судьбах моих; возвышались цели моих устремлений в разгонах времен, по которым я видел порою плывущим себя в утлой лодочке тела; порою — летящим в сферу луны, мимо диска духовного Солнца, до Марса — к п о л у н о ч и, чтоб в полночи, остановившись в Видении Храма, иль тела, — низвергнуться снова: и строить себе новый Храм, чтобы там, в храме Тела¹, подслушивать действие взгляда —

— "Я" —

— в
собственном сердце: и
видеть Его отраженье
во мне; и — к себе самому припадать: —

— но на ряби сердечных волнений
сияющий Лик раздробился во мне миллионами блесков.

.....

На этой вот площади: я устремлял мои взоры: к объемам приподнятых гор, пообставших промути дальних прозоров; и — там: в непрозрачной дали прозирались дожди; и туда восходила кровавая линия шумных октябрьских лесов, облекая миры многогорбий в свою багряницу; и — туда проходил Рудольф Штейнер; там высились в воздухе гранные массы: бесснежными плешами; ясно представился черный сюртук, развеваемый ветром и черная шляпа с полями; представилось это лицо, бледно-белое, с черным сверкающим взглядом, способным из черного стать бриллиантовым — там на вершине.

Но не к себе, а ко мне меня звал Рудольф Штейнер.

.....

* Сортирующий демон Максвелла.

Великолепно изваяно тело мое: прихотливо сплетаются в нем электронные пункты: в собрание атомов, в молекулярные общины, в города органических клеток, в огромные нации тканей, слагающих организм человечества клеток: "Я" — царь вселенной, возводится всем человечеством, строящим тело, — по лестнице мира телесного: на трон. —

— Помещается трон моего человечества между глазами: под лобною костью; и — мечутся толпы дичайших существ, образуя кишеньные творимого космоса, между уступов-костей, пробегая пещерами костных продолблин, крича и метаясь:

— "Пошел".

— "Идет".

— "Я"... —

— "Я" иду, золотым фонарем сознания освещаю свой путь; из вечерних туманов вхожу я в пещеры: меня окружает — убогий, дичающий род, непрерывно делящийся и ядущий себя; среди этого рода —

— моих одичалых созданий —

— брожу с золотым фонарем: выбегает толпа низкорослых уродов со скотскими лицами, с топорами и копьями: и — отступает от света; поставил фонарь я на землю; и в светлый, колеблемый теньями круг проступили, серея, суровые лица:

— "Куда ты?"

— "На родину".

— "Где твоя родина?"

— "Там, где стоит пустой храм".

— "Мы все ждем, что туда придет Он".

— "Кто ваш Он?"

— "Бог, сошедший из неба, — среди нас воплощенный".

— "Вы — ждете Его?.."

— "Ждем: не видел ли ты Его?.."

— "Да, это — "Я". —

— "Царь вселенной возво-

дится ныне на трон: меж глазами под лобною костью!

.....

В оккультном развитии есть потрясающий миг, когда "я" созаванья, — свертывается с трона под черепом, разрываясь на миллионы сознаний: и видит Оно: возвышается тело сплетенной громадой из тел; на вершине громады свертывается в "Я" пересечение сознаний вселенной; невероятное переживание себя мириадами "Я" уподобляемо быстрому погасанию сознания: —

— "Я" —

— "Я" —

пальца руки:

— "Я" —
— "Я" —
— "Я" —

— раскричалось из ног:

— "Я" —
— "Я" —
— "Ячится"

— из колена,
— из уст,
— из предплечий,
— из мозга,
— из печени,
— из ступни,
— из плеча —

— трон разбит; и единство

сознаний утоплено; нет во мне "Я"; в голове

моей пусто: покинутый храм; "Я" — в терновом венце, в багрянице, воздевши фонарь, забродило: по собственным жилам; на перепутьях жильных слоняется "Я", научая сознанию толпы слепых фагоцитов²: и — принимая удары бацилл — нет, ужасная попытка узнать это опытно.

.....

Кажется — в этом дичайшем, бессмысленном мире: —

пасть сюда?

— Как мог я по-

Фагоцит — круглоглавый дикарь на коротеньких, выгнутых ножках, серея пятном несмываемой грязи, — уставился тупо; и — слушает, опершись на копье; и ему, дикарю, проживающему внутри органов моего истомленного тела, "Я", павший с престола в громадины органов тела, — ему говорю:

— "Я — во всех вас".

— "Дарю вам мое низошедшее "Я".

— "Разрывайте его".

— "Просвещайтесь светом".

— "Тот свет "Я" — среди вас". — И бреду в перепутьях; опустошением тянется путь: —

— все-то: клеточки,
клеточки, клеточки,
клеточки: домики!!!

Между них переулками бегают хитрые стаи бацилл, нападая на строй фагоцитных отрядов; влекут лейкоциты³ какие-то тяжести через сеть капилляров: от бездны желудка, до... солнечной площади Сердца; синее, и стало — все синим: попал в свои вены; опять ничего не пойму, потому что

понять невозможно: как это случилось, что "Я", провалившись в себя, перелетело пустоты, его отделявшие от сознания клеточки; и — стало клеточкой: —

— что ощущала та клеточка, над которой свершилось сошествие "Я"? —

— вероятно, она ощущала, что ток свето-воздуха, опустившись над теменем, пронизал это темя; что Кто-то, Старинный и Милый, свергался из бездны времен, одевая душистым теплом, как одеждой; и — зажил; под плотяною оболочкой; "Я" же — измучилось: в круглоглавом, коротеньком тельце на выгнутых ножках; "Я" — видел ужасы: как эти малые тельца без проку и толку делились; и где стоял фагоцит, скоро там грохотала толпа их: безъячные яйности, яйца — тупо катались за мной; мы катились: от вены до вены: к артериям: и из артерий, — опять попадали мы в вены; со мной фагоциты теперь обращались, как с братом: —

— "Ты что же?"

— "Я — мир ваш".

— "Ха-ха-ха-ха-ха!"

.....

Так длилось до мига, когда провели меня в Храм, возвышающийся посередине сердечной, алеющей площади; в "Храме" — увидел я книгу, которая этим людям считалась священной: и — что же: —

— увидел я там Ледяного: на нем красовалось заглавие: "Я": я — прочел: мне слова пролетели из строчки; понять, что рисуется ими, — не мог я; но — чувствовал: в фагоцитной душе своей; вот — вся сквозная она. Да, я тут начался: низлетел я из этой вот книги: —

— в "Я", в найденной книге я, старый, седой фагоцит: начался.

.....

По ступеням сознания: электротонной, атомной, молекулярной и клеточной; далее, по ступеням сознания тканей и органов восприятий, чувств, волнений, мыслей, — иду, как по лестнице, устланной красными тканями крови, — к священному трону: высоко, высоко, над бездной сознаний моих —

— над моим подсознанием —

— стою на Престоле моем; бездны "Я" пере-

крещены в "Я"

"Я — есмь Я!"

.....

Есть в развитии потрясающий миг, когда "Я" сознает себя Господом мира: простерши пречистые руки, "Я" сходит по красным ступеням, даруя себя в нем кишашему миру: —

— Сойдя со ступени высокого трона Вселенной, дарует венцы
Всесветлейшего "Я" оно избранным, их нарицая:

- "Иоанн".
- "Петр".
- "Лука".
- "Марк".
- "Иуда".

— И органы тела теперь все двенад-

цать — суть:

— "Я".

— И, сойдя на вторую ступень чрез
посредство двенадцати Царств,
чрез апостолов, "Я" всесветлей-
ше дарует всем градам Все-
ленной —

— "Я". —

— Далее: спускаясь на третью ступень, "Я" дарует себя
всем кишачим в "Я" клеточкам: —
"Я".

Все — свободны: Трон — ум мой — стоит опустевшим; все — царствен-
ны: в Иерусалиме творимого тела: —

— "Я, я, я, я, я, я, я, я", — прогудело

по мощным вселенным: —

— Иуда меня предает!

.....

Мне — быть распятым страшной ватагою; и — повторить для свободы
творимого мира то самое, что уже свершилось: то — путь "Чела Века".
На этом пути посвящения в "Я" — добровольно покинувши Ум (или
Храм под Челом), опускаются по ступеням с ума, т. е. — сходят с ума,
в ад глухих подсознаний, чтоб вывести из мрачнейших пастей глухого,
подземного ада огромные толпы чудовищ — в Свет Умный; то — ужас; то
— искус: остаться навек с - у м а - с ш е д ш и м. Схожденье с ума — нис-
хожденье голубя "Я" на безумное; с - у м а - с ш е д ш и е озаряют низринутым
"я" — подсознания мраки; своим золотым фонарем озаряют пути
допотопным чудовищам; вочудовищившись, — открывают возможности
вочеловечиться птеродактилям, реющим в нас: то — бациллы
сознания. —

— Светочем "Я"
просветится бацилла.

.....

Но чувствовать "Я" царем мира и в то же мгновение чувствовать
мирового Царя — распинаемым в собственном теле ватагою диких бацилл,
ушляющим в яростях тела; услышать крик ярости:

— "О!" —

— "Распните!" —

— "Распните!" —

— "Распните!"

Какой это ужас! —

— происходящее внутри

жизни сознания кажется происходящим во мне: вот проходит почтенного вида прохожий; — на тебя указывает перстом; это — все происходит внутри, — в твоём теле (среди перепутанной артерий влекнут тебя в сердце твоё, указывают перстами); прохожий почтенного вида перстом указывает на вывеску; перемещение сознания заставляет тебя стать пред ним, скрестив руки; а указующий жест отдаётся в сознании — жестом Пилата; и —

— "Ecce Homo!" —

— звучит; и тебе начинают мерещиться образы: бичевания, заушения, облечения в багряницу, распятия; и положенья во гроб.

.....

СУМАСШЕДШИЙ

.....

Здесь, отсюда когда-то я был вознесён, а усталое тело моё оно и долго водили потом: по Берлину и Лейпцигу; но сначала оно пронеслось в Христианию мимо льдами покрытых оглав зелено-лазурных громад; мимо домиков Гетенборга¹ и Мальмэ² потом пронеслось моё тело; и тело взрывалось, ломимое духом; и светлы, меня осенявшие, сопровождался ощущением режущего удара: от темени к сердцу и — екало сердце; и — охватывал страх, что вот, тело не выдержит; непоправимое совершится для тела:

— я чувствовал, что — не готов: неизбежно меня ожидающий акт отразится на теле моём операцией; приподымалась задача: уметь овладеть изнутри — ясномыслием; а извне — ясной вспышкой; —

— телесные тяжести нападали; и — страх пробуждался; и полюбившее Существо, помогавшее мне, — приподнималось, снималось, слетало с меня, оставляя в ущелиях плоти; томительный холод бесстрастья высасывал мысли — под ложечку. —

— В это время писали в газетах из Бергена, что рыболовная шхуна разбилась: у Бергена. Не рыболовная шхуна разбилась, — а тело моё: "Я" — сошло в нём с ума —

— то вскричала грядущим душа: и — теперь исполнилось грядущее; я, погибающий, в диких ватагах, в себе, из себя самого, — прос-

тирал онемевшие руки:

— "О, Нэлли!"

— "Ты — слышишь!"

— "Ты — слушаешь ли?"

— "Снова просят о помощи".

— "Около Бергена потопили ко-
рабль".

— "О, — спаси меня!"

— "Нэлли..."

Неясные прочертни, тени, ползущие через улочки Бергена, оскалы раскрытых дверей, перекошенный ряд металлических труб; и — какая-то пакля канатов:

— "Я" —

— в огненной мантии, здесь, посредине взметаемой пыли, тащу кипарисовый крест, переключиной мне ломающий плечи, — средь хохотов:

— "Ну-ка!"

— "Спаси себя!"

— "Ты, самозванец!" —

— и падаю: —

— подошел ко кресту круглоглавый

лопарь на коротеньких, выгнутых ножках; серея чешуйчатым коростом несмываемой грязи, понес предо мной кипарисовый крест...

.....

Очень странно: —

— блуждаю по странам земли (по Швейцарии, Фран-
ции, Англии, Скандинавии); и — вместе с тем —

— за-

блуждал по пространствам творимого космоса; я — вечный жид³: —

— "Я" —

— при-

существовал при событиях в Палестине; внимал его слову; стоял у креста; видел вихрь вознесения; с тех пор заблуждал я по странам земли: —

— золотым фонарем освещаю свой путь; из туманов стучу в стекла окон:

— "Не видели ль вы?"

— "Не проходил ли?"

— "Не звал ли?"

— "Не совершал ли здесь вечери?"

— А вокруг собираются: швед,

круглоглавый лопарь, русский пленный, бежавший в Голландию; и — вопрошают:

— "Куда ты?"

Я им отвечаю:

— "Туда, куда вам не пройти".

Старый швед, подмигнув лопарю, вопрошает опять:

— "А скажи-ка, где дом твой?"

Я им отвечаю:

— "Мой дом, где вас нет, лицемеры".

.....

Две родины перекрестились во мне, перекрестность путей — тяжкий крест; моя родина — братство народов.

Найду ли ее?

.....

В багрянице я вижу себя проходящим по Бергену: в сопровождении... лопаря — на вокзал.

.....

Вот — вокзал.

Полосатыми чемоданами, роем тележек, носильщиков, кассами, гомоном встретил: —

— да, я уезжаю. —

— Куда? —

— В город

Солнца: на родину. —

— Тело мое, обезумевши, быстро помчится, как в пропасть летящий, отяжелевший, бесчувственный ком, — в прозявшие дыры могил; проволокут его, завернув в пелены, точно куклу, — в могилы. Мой дух невещественно прочтет над катимым на родину телом в мирах моей мысли, которые — отблески солнца: Его!

Но в могиле, на родине, в русской земле, мое тело, как бомба, взорвет все, что есть; и — огромною атмосферой дыма поднимется над городами России; глава дымовая моя примет "Я", или Солнце, которое свергнется с выси: в меня!

СНОВА В ПОЕЗДЕ

Ночь сходила: туманы вскипали в котлах, образованных гребнями, выбивая наружу; их прокипи ниспадали кудласто по линиям ветров обвистанных перпендикуляров из твердого камня; они ниспадали хлеставшими каплями; мы, опуская вагонные стекла, на станциях слушали: просвистни ветра в горах; и когда поднимали мы окна, они покрывались алмазными каплями; и не лысались, не шершавились красными мхами преклоны нагорий, едва зеленыя лазуреющим пролежнем; здесь, глянцевея пластинами оплывшего льда, на меня посмотрели когда-то оглавы нагорий, теперь занавешенных клочковатыми тучами, через которые красное око

железного поезда безостановочно пробегало в серевшие сырости: рваных туманов.

Все серые прочертни стен, подбегающих черной продолбленной быстро растущей дыры, — угрожали; качались высоко над нами ничтожные щеточки сосен; дыра нас глотала; и — начинала жевать: металлическим грохотаньем: туннель. —

— И вот выносились вагоны, несущимся оком; и мы, в неотчетливо — сером во всем, снова видели прочертни; снова дыра нас глотала:

— "Тох-тох" — неуклонно металлись грохоты в уши; и —
"трах-тах" —

— вылетали в мрачневшие сырости:

— "Та-та" — били нас скрепы рельс; и опять уносились стремительно — в "тохотанье" туннелей; казалось: упали удары из преисподней; и — рушились: суши и горы — от скорби; ломались холмы; проступали в туманы неясные пасти, где мы проносились; оттуда валил сплошной дым; волокни мое тело с темнотными впадинами провалившихся глаз в глубины: до-рожденных темнот, иль посмертных томлений, в глубокое дно пролетало, низринувшись, верстное тело мое с перепутанными волосами и грохотом-хохотом било мне в уши; и глаз остеклелою впадиной тело уставилось тупо — в туманы и мраки:

— "Познай себя — ты".

Мне казалось: упали удары на жизнь; разрушались рельефы моей "биографии"; прежде мне было все ясно — во мне и в событиях жизни моей, — появились туманы теперь; и сквозь них проступали ужасные пасти пещер, образованных там, где их не было; вихрь порыва — летел в эти "дыры" мгновений, зиявших из прошлого; ночи сходили на все; изморщилась суша; в ущельях мятежились просвистни первого мига сознания; оно, как бессонное око, бежало сквозь странствия жизни в неясные прочертни детских годов, подбегающих черной продолбленной в рваных туманах; дыра — память первого мига! — глотала; и — начинало вокруг грохотать то, что не было в яви дневной, но что жило под нею; и я выносился оттуда; и на мгновение, отрешившись от бездны, отчетливо видел далекие годы; и снова глотал меня миг, разрывающий все.

БИОГРАФИЯ

Связь "мигов" — рост жизни; но памятью "мигов" — кипит бессознание. А на сознание падают мороки слов, что родился когда-то в Москве; из туманов растет представлень иллюзии места рождения; но я забыл, где родился, когда расступились туманы иллюзии, то обнаружилось: в месте рождения — дыры.

И нет: не история жизни: мое пребывание в арбатской квартире, гимназия, лекции Умова, книги, — а — зеркало, отдающее жизнь на поверхности.

Я полюбил Метерлинка¹ за то, что меня повернул от себя его мир; пятилетний младенец, миры Метерлинка носил я; читая "Слепых"², чрез одиннадцать лет я припомнил: "священник" завел меня в дебри, и — бросил: в углах.

Метерлинк не влиял: он — напомнил...

Напомнили образы ведьмы мне: веденье сил, прорастающих в ощущениях детства; и черт был чертой, за которой встречал меня мир; черт — черта: она тень:

— "Не приближайся: я — здесь".

— "Тебя жду..."

— "Тебя съем".

Отойдя за черту, где Само обитает, за чтением "Заратустры", я вспомнил, что черт — моя самость: и черти — исчезли.

Самосознание вспомнило час, когда я прочитал тихий час Заратустры³: от этого часа кричал по ночам: мое марево детских кошмаров ("дрakonov" фантазии) стало страной "птеродактилей": памяти.

Ницше есть память о прошлом: не знай я в себе, что роилось в сознании Ницше в момент "Заратустры", его бы — не понял я; в чтеньи затеплилась Жизнь моей жизни как память о жизни, которая протекала во мне до рождения; — "влияния" — память о собственном действии; и потому-то история литературных влияний читается только в обратном порядке.

Шестнадцати лет все прочтенное перекрестилось в точку и бросило блески вперед и назад: все — отчетливей вспомнилось.

Щелкнула дверь; и — ввалился знакомец — "брюнет из Одессы", с которым мы ехали от французской границы; его потерял я в Париже; он в Берген приплыл на "Юпитере":

— "А!"

— "Вы?"

— "Опять?"

Положив котелок и расставивши чемоданы мне под ноги (будто не было Лондона, Бергена, Гавра, Парижа), — он стал утрамбовывать мозг болтовнею своей, разрушая нить памяти; телом, запрятанным в пестрый пиджак, что-то долго выстукивал в такт разговора:

— "Когда это было?"

— "Сон — снился".

Казалось: рассказ о его похождениях в Лондоне тянется, тянется, тянется: я стараюсь понять: не могу. Пересыпает рассказы намеками на какое-то происшествие он, где замешана личность, которой пока не касается; но если его в Хапаранде⁴ подвергнут допросу — заявит, что обыску подлежит эта личность; я мог кое-как догадаться, что едет шпион — в нашем поезде. Власти узнали об этом и — ищут шпиона среди нас; он подмаргивает мне:

— "Эгеге!"
— "Да ты что-то..."
— "Чего-то..."

Черта, за которою самостоно бьются во мне мои силы, иль "черт" — появившийся спутник: прошел за черту, отдаваяся памяти тихого часа: брюнет из Одессы, вдруг стихнув, покорно улегся передо мной на диванчике.

Воспоминания перекрестились в точку: я — вспомнил.

.....

Весенний денек; перелетают от крыши соседнего дома из рваных туманов вороны: на крышу соседнего дома: торчит вдалеке каланча: на ней — шар: это где-то пожар; я — начитанный отрок, ведущий дневник, застаю в кабинете отца втихомолку читающим книги — себя: над "Вопросами Философии" я. Перевод Веры Джонстон "Отрывки из Упанишад"⁵. Начинаю читать.

Кое-что понимаю я в Бокле⁶: и понял я все в "Бережливости" Смайльса⁷; я даже читал Карпентера.

А это — невнятно.

Гляжу за окна: пролетает — ворона ли? С крыши на крышу слетает дымок, улета: за крышу; понять, что такое рисуется перелетами клубов, — нельзя. Так и слово: перелетает из строчек на душу, сквозь душу — куда? Видишь — вот, а понять, что рисуется тайнами слов, — невозможно; душа предо мною моя — вся сквозная: разъятые шири пространств открываются в ней перелетами слов.

Отрываюсь от чтенья: ворона — ворона ли? Ах, другое какое-то все: непонятно, невидимо...

Видимо, слышимо — все, чего прежде не знал, что уставилось в душу: — "Я — старое".

Было. Когда это было? Я тут начался; низлетал: из вот этой невнятицы.

Нет, никогда не входил в эту комнату: нет, не развертывал Бокля. Не рос, не учился; и нет — не родился: рождение, рост, понимание, чтенье — орнамент: я вижу ряды миниатюр; вот все то, что себя сознавало, и то, что себя сознает, — занавеской отдернутой перед вещей страницей; что занавеску отдернуло — родина.

В "Упанишадах" я жил до рождения.

.....

Родился для памяти с этого мига; и, как безумный, стоял без единого слова; мне чудился взгляд — без единого слова, рождающий меня; на себе с той поры ощущал этот взгляд я; лица устремленного взгляда не видел: и встретил лицо после.

Двенадцатилетие проницали глаза, говорившие:

— "Ты".

— "Не умрешь".

— "Не рождался".

Однажды, в решительный миг моей жизни, мне дали две карточки, изображавших два Лица (перепечатки тех карточек можете видеть в поверхностной книге немецкого мистика Гартмана)*.

.....

Снова большая луна выплывала из облак: уже перевал совершился; с туманов сбежало кровавое око летящего поезда; виделись в окнах горбы, на которых лежали, белея, тяжелые камни; на остановках шумели леса.

Предрассветные тучи глядели: чрез сосны — от сосен; и — улетали за сосны; и то, что не понял я в Англии, понял я здесь: —

— переживания Бергена, Лейпцига, Брюсселя, Дорнаха, Лондона: —

— светочи, перелеты, все блески мучения, ужасы, страхи —

— о н о:

— то — не то — е г о нет, и оно — все же есть; все, что было со мной, все то было во мне: —

— возмущение

ние вод, буря на море, — Голос Безмолвия:

— "Жди меня".

— "В мареве"...

— "Жди".

— "Я — раздамся":

И я отвечаю из марева:

— "Душно"...

— "Я — в гробе".

— "Но — жду".

ШОПЕНГАУЭР¹

"Упанишады" наполнили душу, как чашу, теплом.

Устремление более поздних годов родилось в миге чтения, наполняя всю душу, как чашу; теплом отразились два глаза — Стоящего над душой:

— устремление годов родилось "мигом" чтения; бросило блески лучей —

* "Unter den Adepten". Leipzig, 1901.

— в непро-
светные дали:
былого; —

— и

бросило блески лучей в непросветные
дали грядущего: —

— там проблистала Вы-
сокая Гита светлейшими
текстами —

— бросило блески лучей в

— сверхсознание —

— бросило блески лучей
в мои бездны, откуда гро-
зился Гонитель —

— "Упанишады":

светлейшие тексты! —

— в моем бессознании сетью сознания подня-
ли: —

— том Шопенгауэра —

— я — развернул;

и —

— отдался ему.

.....

Все сказали бы: —

— Шопенгауэром начертались мои философские вку-
сы —

— о, нет: —

— устремление более поздних годов на-
черталось Ведантою²: Упанишадами; и —

— Шопенгауэр был зеркалом;
в нем отразилась Веданта, так
именно, как отразился в Ведан-
те —

— Я, Сам.

.....

Откровением пересеченных пустот прозвучал Шопенгауэр: рассказом
о воле —

— о — "Я".

"Я" — космически мучилось, строя падение: в тело —

— падение тел,
тяготение, шаровая планетная форма
и слепость мучений в ней "Я" —
подсмотрел и —

— воочию убедился, что — так:
прочитал Шопенгауэра я, как рассказ о себе...

.....

И настигла меня бесприютность, как память о прежнем: открылись уюты пустот, отделяющих дух человеческий от телесного мира и — близких к родине.

Чтением Шопенгауэра сжег в себе Боклей и Смайльсов; разрушились правила трезвой морали: так я перешел за черту:

Я узнал, —

— что нет радостей в перегорках внушаемых правил; я жил ощущением: после сверкнувшего "мига" в стенах моих комнат открылся пролом: —

— Возвращаясь

домой (из гимназии), я затворял двери комнаты: броситься духом в ничто и восчувствовать знание той стороны...

.....

Если влить струевое кипение жизни в пульс времени, самое время бежит точно музыка; нотными знаками возникают события жизни; и гамма звучит о пространстве ином, подстилающем наше; звук жизни, построясь на гамме, проносится образом, вставшим из родины; —

— гаммы поют

высотой Нирваны³, а звуки мелодий — Ведантою...

.....

Вечером, делая вид, что готовлю уроки, порой замечал, что часами сижу, отдаваясь ничто или внимая полетам мелодий, звучащих мне издали; я замечал, что отдача — особого рода наука: летанья на звук ах; —

— все это росло мне вопросом "как жить"; и в летаньях на звук ах учился я памяти: —

— "Да, это — было".

— "Где было?"

— "Росло" —

— и росло, и росло, застилая все прочее; бросил науки; и вот педагоги отметили, что воспитанник Б. — стал лентяем; он стал —

— пессимистом, буддистом: —

— и Фет⁴

стал любимым поэтом его с этих пор.

.....

Я, измученный жизнью, которой учили меня, — прозрел: в пустоте. Пессимизм был несознанным переходом к богатой, клокочущей жизни, которая вскрылась во мне очень скоро потом.

МОЙ "ПУТЬ ПОСВЯЩЕНИЯ"

Если бы гимназиста Б. Б. попросили отчетливо указать на этапы развития, начертал бы Б. Б. —

— свои правила вылетанья из будней:

пункт первый: —

— мир — сон,

пункт второй: —

— его должно

рассеять,

пункт третий: —

— в проломах

разбитого мира есть нечто:

н и ч т о; наконец —

пункт четвертый —

— есть, — р о д и н а...

Что касается первого пункта (мир — сон), то я должен заметить, во мне он сложил мои вкусы: от Чехова — к Метерлинку, от Метерлинка — к поэзии Блока; от будней, зевоты — к вторжению в будни ничто (в рот влетела "ворона"); ничто — незнакомка; Прекрасная Дама она, или Мудрость: София¹. И не "ворона" влетела, а Веды² влетели; рой воронов — посвяtitельный образ³; да, Мудрость влетела мне в рот: а впоследствии вскрылась: словами о Мудрости.

Второй пункт: "Данный мне мир — упраздняем" — тот тезис сложил увлечение Ницше и Ибсенем.

Третий мой пункт: "Ничто — нечто": ничто есть буддизм; воплощенное в чем-то, оно — музыкальная гамма; мелодия — символ: я стал символистом.

И, наконец, пункт четвертый: "Есть родина": право рассматривать мифы и сказки как процветы жизни на линии гаммы; сказания процветают из музыки.

Правила жизни мне выросли йогой: я вырастил "детище" теоретика, символиста, сказателя: так, "Леонид Ледяной" — мною создан, как "кукла", надутая воздухом; "куклу" проткнул: "хлоп" — и лопнула.

.....

Я — таков отроком: строгий мой облик закончен уже.

Гимназистом уже проповедую я гимназистам: аскеза — обязанность; путь упражнения (опыты перемещенья сознания) — социальное дело; уж я — специалист невесомых поступков. А средство создания нового мира — искусство; и — начинаю пописывать.

Все бы сказали:

— "Он есть выразитель волны эстетизма, пришедшей в Россию из Франции".

Но —

— не книгами определяются вкусы — событием: "Упанишадами",
разорвавшими стены; нашел зерно жизни, развил пелену воспитания: зерно
же есть "Я" — дорожденное; перегородки поставлены: —

— смерть и
рождение, —
— со-

бытия с тех пор созерцаю: двойными глазами.

Двойными ушами их слушаю.

Соединение двух биографий есть символ, поставленный пред
лицом человечества. "Я" — символ вас: на меня поглядите, и мне
научитесь; все действия "Я" символичны: слагаются буквами, внятным
рассказом; и "Я" —

— мое "Я" чертит фразу за фразой...

Моя эволюция — мимикри сокровеннейших опытов переживания
сознания всех; так: я с Ницше, трагическим пессимистом, как с родиной,
встретился будучи нищеанцем до Ницше.

А трагиком стал оттого, что "событие первого мига" опять
повторилось.

Разбит пессимизм: все вскипело.

— "Я — есмь".

ГИМНАЗИЯ

Мировую пустыней стоит гимназический мир —

— классы, классы,

уроки, —

— до, ре, ми, фа, соль, —

— если влить в ряд уроков в пульс време-
ни, самое время уроков бежит музыкальной гаммой; и нотными знаками
строятся формулы алгебры: в образ из родины... Но —

— бессмыслица слов
и твердых задач превращает меня в идиота; и градом из формул меня
побивают; и осыпают десятками "Cum" (temporale, causale, inversum)*
и — до сих пор помню я:

"Panis, pascis, crinis, finis",
"Ignis, lapis, pulvis, cinis"***.

.....

Первый год гимназической жизни проходит в усилии внятно связать
это все; и часы, как бульжники, падают, падают, падают; я — побиваемый
мученик. Падаю в пересечение пустот.

* "Вместе" (временной, причинный, инверсия) (лат.).

** Хлеб, пастись, волос, конец, огонь, камень, пыль, пепел (лат.).

Непрерывные дроби: делю, и — ноль, ноль, единица, ноль, ноль, единица, ноль, ноль, единица; делю и делю; может быть, и — доделится где-нибудь; и — ноль, ноль, единица, ноль, ноль, единица; —

— делю: неприютность пустот отделяет меня от обычного мира; и время уже побежало, как гамма; и цифры — ноль, ноль, единица — ложатся, как нотные знаки; исписана ими тетрадь; и —

— что делаю? —

— получаю

дурную отметку за то, что учу математику на уроке латыни: — Ut,

— Utinam,

— Utriusque,

— Utrique*, —

— об "Ut" нельзя думать, когда объясняют Законы

Дракона: —

— на злой бесконечности ряби ("ноль, ноль, единица, ноль, ноль, единица") проносятся утки (Ut, Utinam, Utriusque, Utrique, qua, qua)**, а за утками гонится строгим законом Дракон¹.

Кавардак в голове на четвертом уроке: на пятом — я сплю иль — космически мучаюсь, превращаясь в тупое, усталое, бестолковое тело: —

— падение тел, тяготение тел, шаровую планетную форму и слепость мучений в ней "Я" пережито в гимназии, на уроках латыни: —

— домой.

.....

Возвращаюсь домой; голова моя пухнет; она — шаровая, планетная форма; и слепо в ней "Я"; потемнело на улицах; падает серый снежок; и — синее, синее; и в сини — чернеет; прокаркало где-то: ворона перелетает от крыши соседнего дома из рваных туманов: на крышу соседнего дома; торчит вдалеке каланча; дома я понимаю и Бокля и Смайльса; в гимназии — я ничего не пойму; понимание прогорает; и — дым, сплошной дым, перелетами клубов несущий все то, чем набили мне голову, — через улицу: к крыше соседнего дома — на крышу: на крыше дерутся коты...

.....

* Как, когда бы, другого, другому (лат.).

** Где, куда (лат.).

Знаю, будет не весело дома; зажегши тусклейшую лампу, — примусь за уроки: ноль, ноль, единица, Ut-Utinam-Utriusque-Utrique, законы Солона², законы Дракона, драконы закона... —

— Опять ничего не пойму, потому что понять невозможно: с пяти до шести; в шесть — обедать; с шести до восьми: наступает меня бесприютность, как память о прежнем; в стенах моей комнаты — дыры: в ничто; два часа просижу, отдаваясь летанью на звуках роля, рокочущих издали; и поднимается тот же вопрос: как же жить?

Чай. И — спать.

Засыпая, я знаю: уже в половину восьмого — разбудят меня; будет — холодно, неуютно, темно: будет — вторник (сегодня у нас понедельник, до Рождества, стало быть...): —

— Среда,
— Четверг,
— Пятница —

— по средам, четвергам и по пятницам: прохожу переулками — в классы; увижу снежок; и, быть может, — ворону; услышу грохочущий шепот шагов, пробегающий в классы.

Трамбуют мне голову "знанием": загромяхают колеса по бедным мощным мозгам; тяжесть сведений размозжила мне голову, ранцем отдавлены плечи: —

— ноль-ноль-единица,
— ноль-ноль-единица,
— ноль-ноль-единица —

хоть ноль, хоть ничто! Непрерывная дробь барабанного знания! —

— Я вот воспитанник П... заведения³, для защиты себя от бессмыслиц, грозящих мне, мозг сложил правила жизни; пункт первый: мир — сон; пункт второй: пробужденье возможно; пункт третий: оно, пробуждение, — в музыке; и, наконец, пункт четвертый: летанье на звуках — цель жизни; —

— мой облик закончен; и созревает решение: проповедовать гимназисткам А-невской⁴ гимназии — правила жизни; да, я — специалист странных дел: мне товарищи ставят на вид, что я мало себя развиваю, что Писарев, Чернышевский, Белинский... спросили однажды меня:

— "Ну, кого ты читал?"

Читал Карпентера и Смайльса; но я ответил:

— "Упанишады".
— "Кого?"
— "Шри-Шанкара-Ачария"...⁵
— "Ха-ха-ха-ха".

.....

"Тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та" било мне в уши: ворочался; детство мне спать не давало; шершавясь кустами, из окон глядели оглавы нагорий,

через которые красное око летящего поезда мчалось среди прочертней стен, подбегающих дырами, —

— "тох" — металлическим грохотом падали стены туннеля на окна, — мой спутник проснулся; протер кулаками глаза, точно я уличил его в чем-то позорном; уткнулся глазами в пустое пространство; помахивал головою, желая стряхнуть неподвижный мой взгляд, устремленный в пустое пространство; привскакивал, пробежал для чего-то в уборную; возвращаясь, зевал: и — глотал пустоту:

— "Что?"

— "Попался".

— "Вот я..."

Нагибаясь, вскинулся и — протянулся ко мне крючковатыми пальцами; тени ночные качались разлетами перепончатых крыльев; попугивал:

— "Я — птеродактиль".

— "Умею царапаться: зубьями перепончатых крыльев"...

Он — начал рассказывать: в Лондоне — вы представьте... хотели его, а — действительно: личность, которой пока он не станет касаться, — действительно: в этом вот поезде, едет в Россию.

— "А!"

— "Ну-ка?"

— "Попробуй!"

Смеясь, я ему рассказал, что везу в чемодане секретные вещи, что в Лондоне и меня — вы представьте — хотели, а — личность, которой пока я не стану касаться, — действительно: подлежала бы обыску.

— "Ну-ка".

— "Ну-ка".

Глумился я; то — он бегал в уборную, то, раззевавшись, глотал пустоту и — тянулся ко мне крючковатыми зубьями перепончатых пальцев.

И вот он, уткнувшись в угол, страдал от расстройства желудка, — в туманы и пасти глядел остеклею впадиной глаза; зевая, клонился дырою раскрытого рта; ему предложил пузырек с освежительным одеколоном, — тот самый, который он выхватил у меня при переезде в Париж, когда... Да...

.....

"Птеродактили" первого мига во мне разыгрались от действий бактерий; ее окружил фагоцитами я:

— "Ну-ка".

— "Ну-ка".

— "Попробуй!"

КАЗИМИР КУЗМИЧ

Казимир Кузмич Пепп¹ — наш учитель латыни —
— (я вновь улетучился памятью) выделяется: он вырезает кусочками мозг, набивает

в отверстия мозга булыжники и мостовую поверхность трамбует под треснувшим черепом; день гимназиста кончается звучной латынью; и катятся с треском колеса пролетки по мозговой мостовой; переключившись, едет учитель латыни по мозгу: пупыренной, точно вареная лапа цыпленка, коричневой кистью руки, —

— застучит по холодному, разгромленному

лбу: —

— "Да, латынь очень звучный предмет"...

— "Очень звучный", — смеется учитель латыни, стуча в мою голову твердой костяшкою пальца: —

— "Предмет очень звучный".

— "Бревно".

— "Голова".

— "Барабан".

Класс хохочет.

И — кажется: здесь триллионами лет надо мной совершается действие мироморного марева; и тяготеет безжалостный приговор надо мной "Казимир-Кузмича" перед классом, меня покрывающий злыми позорами:

— "Не голова, — а бревно"...

— "Барабан"...

.....

Вот мой сон того времени: —

— Денежный переулоч² кидается снежными хлопьями; вечер: зажгли фонари; подворотни скрипят; впереди — никого; вдруг — навстречу —

— из звонкой пурги выступают фигуры: раз, два, три —

— и больше —

— четыре их — пять, шесть, семь: больше; идет вереница фигурок навстречу ко мне; все — одеты в знакомую шубу; на всех — та же шапка —

— и я —

знаю: фигурочки все — Казимир-Кузмичи: —

— раз,

— два,

— три,

— пять,

— шесть,

— семь, —

— де-

вать, двадцать —

— о, сколько их, сколько их; в ночь

на меня "Казимир-Кузмичи" наступают десятками. —

— "Здравствуйте", — я говорю, —
"Казимир-Кузмичи".

И ответили:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— мимо прошли.

Я проснулся.

.....

Задумался: сон не прошел для меня; начиналась работа сознания: в снах — размножается Казимир наш Кузмич в Казимир-Кузмичей; то — позорная тайна, которую прячет он; нет у него его — "Я есмь Я": но у льва нет "Я" льва; это "Я" есть род львов; есть какое-то "Я" — льва вне тела; оно в роде; и лвовится в львах; латинист "кузмичится"; их — множества; в понедельник приходит один, а во вторник другой: —

— так во мне возникало решенье бороться с обманами "воли", нас мучащей; я превратил эту прущую слепо на нас "казимир-кузмичевскую" волю в мое представление; объективация воли — идея в Платоновом смысле³ — произведение искусства (я мыслил в то время эстетикой Шопенгауэра)⁴; и решил превратить "Кузмича" в эстетический морок: я стал делать опыты над сознанием "Я" "Казимир-Кузмича" —

— на уроках латыни глазами вперялся решительно над головой Казимир-Кузмича; и — представьте: он этого не выдерживал: припимался помаргивать он, как животное, на которое пристально смотрят, мотать головою и стряхивать взгляд. Но страннее всего, что мучитель латыни с тех пор изменился ко мне, прекративши нападки. И нет — не злословил:

— "Бревно".

— "Барабан".

— "Голова".

Но я — все-таки: закусив удила, устремлял наблюдающий взгляд в совершенно пустое пространство на три с половиной вершка от затылка его; он —

— привскакивал с кресла, перебегая от парты к окошку; и от окошка к доске; я же думал:

— "Ай, ай!"

— "Я-то нет".

— "Размножается по ночам в перелуках".

— "И — ай — кузмичится. —

вскидывал на меня изредка перепуганный взгляд и грозился коричневым пальцем, повесив огромный, вороний свой нос; но, схвативши рукою соседа, — протягивал палец — в пустое пространство: на три с половиной вершка над его головой:

— "Посмотрите".

— "Ай, ай!"

После этой бессмысленной дерзости, за которую выгоняют из класса, я взгляд опускал: только тут, увидав, что я скинул с него уличающий взгляд, как тугую узду, принимался он мстить: он обмакивал быстро перо, начинал яро шарить по бальнику; на ужимку отвечивал я, высоко вздернув брови.

— "Что?"

— "Ну-ка!"

— "Попробуй!"

А он, продолжая грозиться, перо опускал: единицы не ставил.

Сраженья выигрывал — я.

Повторялись сражения: и — состояли в нелепейших жестах и знаках, которые были совсем непонятны: мне, классу, ему. Я в себе открывал дарование: загонять в тупики Казимир-Кузмича, дарование это открылось внезапно, как средство защиты себя: —

— от чрезмерности ерунды латинства, громящей мне мозг; отвечал не попытками я в ерунде разобраться, а — вяцею ерундою, забывшей во мне, как чистейший каскад вдохновенного творчества; я вливал в вереницу уроков латыни (до, ре, ми, фа, соль) пульсы жизни; и нотными знаками строились образы Ut'ок и Cum'ов; откидывал рой обесмысленных слов Казимир-Кузмича от себя, занимаясь делением: Казимир-Кузмича, предо мною стоявшего в форменном фраке, на... миф Казимир-Кузмича, сотворяемый мной; получалось великое множество е д и н и ц, или — особей, в ноликах: и — непрерывные дробь: —.

ноль-ноль-единица,

ноль-ноль-единица —

— росли: — "к у з м и ч и л и с ь".

.....

Вот сон того времени: —

— спешно бегу по Девичьему Полю⁵ я — к дяде Ершу, проживавшему там; но читаю я надпись, — не верю глазам: "Белллиндриково Поле"⁶ — отчетлива надпись; бегу я к зеленому домику; на железной дощечке стоит: Казимир Кузмич Пепп; я — звонюсь; "Казимир-Кузмичи" принимают меня; они — в обществе странных дел личностей; представляются личности:

— "Виндалай Левулович Белорог"...

— "Род занятий?"

— "Безрог"...

— Вот подходит Огыга Пеллевич Акэ в сопровождении Дуды Львовича Ушпло; я — думаю:

— "Странные личности".

Но — доложили:

— "Окк Оккович Окк".

— "Род занятий?"

— "Миус" — и "Казимир-Кузмичи" принялись объяснять: — "миус" значит "нотариус", или, пожалуй, — "вампириус"; "архивариус" — уже не "миус"...

Ну — а "Акэ"? —

— "Тут проснулся, охваченный искренним сожалением, что проснулся, недорасслышав, что значит — "Акэ", —

— но какую же роль тут играл Казимир наш Кузмич, поселившийся в домике на "Беллиндриковом Поле"?..

.....

Весь класс, осознавший мою все растущую власть над учителем звучной латыни, избрал предводителем боя меня; Казимир Кузмич чувствовал, что весь класс, непонятно сплотившись вокруг меня, на него наступает; устроили раз мы концерт на гребенках и перьях; в другой раз — мы спрятали головы в парты при входе его; и раз — на доске написали: "Поля — Беллиндриковы"; и за эту нелепую надпись оставили всех нас: на час; так уроки латыни, во время которых недавно еще мы дрожали, под партой крестя животы, превратились в уроки веселья и смеха; и мастерство странных дел — процветало.

.....

Мы знали: когда-то учитель латыни был выгнан из класса; распространилась уверенность в нас, что побоятся себя он подвергнуть вторично скандалу; и отношения с нами не станут натягивать, как тетиву напряженного лука; стрела полетит не на нас; так уверенность крепла; а я, как знаток странных дел, за собою повел гимназистов; и мы — испровергли латинское иго: тогда латинист заключил перемирие; переговоры велись чрез меня; с непонятною мягкостью обращался ко мне он; и часто мне льстил, я-де — шельма: неглупая шельма; но подкупы эти меня оставляли холодным; на торги не шел, но —

— восстание, испровержение латинского ига, мне дорого стоило; чувствовал я в положении укротителя зверя себя; я прекрасно тогда понимал, что спокойствие наше — лишь поза спокойствия; стоило б мне, например, допустить в себе ложно построенный жест, — как опять попаду к Казимир-Кузмичу я в железное иго латыни; покроет меня он позором; коричневый палец опять застучит по холодному лбу; и — дождями сквернейших отметок покроет мой бальник, взведя подозрение: в невероятно-позорном поступке —

— в ту пору я видел гнуснейшие сны, что ко мне приходили из сумрака "Беллиндрикова Поля" какие-то незнакомцы

— знакомые Казимир-Кузмича: —

— Желтороги, Двуроги, Безроги, Огыга
Пеллевич Акэ и Окк Оккович Окк — предлагать недостойные сделки.

СОН

Сон того времени: —

— вижу —

— что я поднимаюсь по лестнице в комнату, где сохранились швейцаром гимназии инструменты, приборы, машина Атвуда¹, воздушный насос; и я знаю, что там приоткроется мне наконец сокровенная тайна Учебного Заведения нашего, или —

— мира явлений; —

— что тайна какая-то есть, это — ясно; давно убедился я в этом; давно убедился наш класс: "Казимир-Кузмичевские" странности следуют строгим законам не-вскрывшейся тайны; пробравшись в комнату, я подсматриваю сокровенную тайну: зачем "кузмичится" в великое множество особей он по ночам; и — почему, выявляя свой сущностный лик отвратительно гадкой улыбкой, зовет на простор "Беллиндрикова Поля" смешных проходимцев; и днем: из глубин на поверхности жизни, расставленной классами, он представляется преподавателем П... заведения; и — виляет хвостами висящего фрака. —

— Уж я поднимаюсь по лестнице: сердце стучит: я — вбегаю в таиную комнату; вижу: сидит надзиратель, которого мы называем Лукой Ростиславичем; белую бороду клонит к учителю математики; и — гремит глухим басом:

— "Ээ... ээ..."

— "Да, да, да..."

— "Гм".

Математик же восклицает в волнении:

— "Перенесем неизвестные знаки по левую сторону равенства, а известные, на основании тех же суждений — по правую..."

— "И..."

— "Переменим все знаки".

— "Где минусы — плюсы, где плюсы — там минусы"; чувствую: перевороты готовятся здесь, а какие — не знаю...

Лука Ростиславич, взглянув на меня, прогремел:

— "Это — дни багровов".

— "Стариковство".

— "Пришло стариковство".

Я — чувствую трепет от слов надзирателя; смысл их невнятен. Лука Ростиславич же мне начинает подмаргивать:

— "Эге, брат".

— "Эге..."

— "Гм: да, да".

Математик, склоняясь лицом, чертит знаки мне в воздухе:

— "Переменяются знаки: где минус — там плюс..."

Понял я; уравнение разрешается: "плюс" — наш Директор; но знаки меняются: "минус" — Директора нет; Попечитель Учебного Округа свергнул Директора, посадивши на место его Казимир-Кузмича: но их множество; "з а к у з м и ч и т с я" гимназия; от Белллиндрикова Поля повалит толпа Казимир-Кузмичей; и рассыплются классы; сквозь все, как сквозь окна, проступит ужасная тайна, укрытая в плотных тюках под подвалами П... заведения: нет Заведения; никогда не бывало; не будет; и стало быть: нет прежних правил; все прежние правила нами же были отвергнуты — на уроках латыни; переменяли все плюсы на минусы мы на уроках латыни, а эти уроки — уроки внушаемой жизни: внушаемой жизни нет вовсе; нет дома; Директора нет; нет родителей; минусы — плюсы; и странные игры на странных уроках латыни отныне ложатся в основу строения Вселенной; мы — боги: все это создали; мы — старики.

— "Стариковство пришло".

С этим возгласом действие сна переносится в класс...

.....

Мы сидим в ожидании урока латыни, уроки латыни отныне — сплошной кавардак; если будет латынь, кавардаки откроются; и мировые устои — растут: в нестои.

— "Ай, ай!"

— "Что мы сделали?"

Будут насильственно нас убеждать: все осталось по-старому; старого — нет: озираюсь — за окнами класса в туманной промозглости — крутятся, вертится.

Наш Ростиславич, заплакавши в бороду, нас покидает —

— ай, ай —

— ай

— что наделали мы! —

— мы — теперь "Ростиславичи"; все, что угодно, — "Мстиславичи", если хотите: и класс, как один человек, дышит грудями, осознавая свое положение в мире как высшего органа: уж "да, будет" звучит для творимой вселенной, где "плюсы" суть "минусы"; и в "да, будет" —

— как в классе мы:

класс — сотворенное нами "да будет"; зачем же сидим мы, творцы, — ужасаемся, крестим свои животы, повторяя законы спряжения: все это — игра: мы затеяли эту игру; посвященные в тайну игры, мы даем разыграться свободе игры, по ее произвольным законам, имея возможность в любую минуту пресечь это марево; но, всемогущие, благостно мы даруем свободу и мареву; в мареве возникает свободная

воля считать нас, создателей, поработанными правилом П... заведения; сообразуясь с тем правилом, марево нам представляется классом, в который...

Тут дверь отворилась, и —

— туловище с клювовидной главой "казимир-кузмичит-ся" увесистым бальником, сжатым цыплячьей лапой с бугорчатой пузырястой кожей; вспомнили: —

— сами же выбрали мы "игрунов" среди нас, заставляя пугать нас звериным обличем в игре, нами созданной. Все-таки — страшно: —

— "А — что?"

— "Как-то нас

"Существо" будет спрашивать?"

Вот — пропищало, вскричало: заклеало клетком.

Думалось:

— "Вот она, вот".

— "Литературная русская речь, на которой нам велено говорить с Казимир-Кузмичем".

Но мы сами веление это внушали ему, а теперь вот считаемся сами с велением нашим: литературная русская речь просто есть: "Кле-кле-кле".

"Существо" же вскричало:

— "Кле!"

— "Кле!"

Не понимаем: молчим.

— "Что такое?"

Вскричало:

— "Кле-кле!"

Кавардак обнаружился: рушится П... заведение. Стали багровые ужасы рушиться в бальники: сами себя обрекли на багровые ужасы.

Голос (мой собственный голос) мне шепчет:

— "Крепись".

— "Испытание".

Это и есть гибель мира; смотрю: окна класса — багровые; и — вбегает толпа восьмиклассников, всем объясняя, что — да: на огне; на Садовой открылись вулканы: пожарные части Москвы проскакали туда;

— я —

— проснулся...

В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

Сон — помнится: двойственность моего отношения к "Казимир-Кузмичу" отразил этот сон; я — грубил Кузмичу; это было в обманах действительности, заклеянной учителем математики, как дей-

ствительность, у которой нам следует переменить все обычные плюсы; она — отрицательна; —

— в смутно же чуемом мире, который раскрылся в тюках под подвалами П... заведения, хлынув огнем, — совершалось обратное: нашими играми "Казимир-Кузмичи", размножаясь, заполнили мир; смутно чуялось мне: Казимир Кузмич Пепп вел подкоп под меня; понял я: будет день; и — взлетит моя комната; стены развалятся; бреши и дыры проступят отчетливо; в дыры войдут "Казимир-Кузмичи" из подземного мира: в естественном, в до-человеческом образе — прямо к нам в классы; произойдут кавардаки, в которых ввернется все то, что развернуто миром вокруг: в нас самих; и обратно: таимое — вывернется наизнанку; и распространится, как мир вокруг меня; оттого-то, —

— чем более уступал мне гонитель латыни, тем яростней он напал на меня в моих снах; я боялся того, что глядит сквозь него, потому что я знал: то — предстанет воочию; все опрокинется —

— голова Казимир-Кузмича была странною смесью: в ней были черты откровенного ящера; было в ней что-то от птицы: не то от цыпленка, не то от орленка; соединение птицы и ящера в нем выявляло: дракона; они — "Казимир-Кузмичи" — как драконы, роились над снами моими; сквозь сон проступала в драконьих замашках старинная правда: —

— он где-то еще до сих пор жил во мне птеродактилем; я же все силился вспомнить, где именно: —

— до рождения: в первом мгновении сознания, когда я летел в пустоте: но полету предшествовал, —

— акт решения: переместиться сознанием из дорожденного мира: — в мир марева; и — перейти за черту; черта — чёрт; на пороге рождения в тело черт встретил; чёрт — образ переходящей границы: дракон; но границей было мне детское тело: я — помню, что "Я" опустилось в детское тело позднее, чем детское тело явилось на свет; опускаясь в тело, "Я" явственно ужасалось тем телом; и — мучилось в теле, как в пасти Дракона; и стало быть: тело — Дракон; Казимир Кузмич Пепп есть та клеточка тела, в которую облакалось сознание; а "Казимир-Кузмичень" (деление Казимир-Кузмичей на огромное множество) просто деление клеточек тканей: мой рост (в росте дети кричат по ночам); вероятно, что тайны моих отношений с мучителем были лишь образами происшествий, от встречи двух "Я"; одно "Я" было выводом атомов тела; пересечением устремлений всех атомов — в клеточки, клеточек — в "Я" коллектива (гимназии, где участники, гимназисты Директором выбрали Казимир-Кузмича); а другое "Я" было моим "Я" сознанием, опустившимся в мир, сотворенный мной некогда; стало быть: ужас, внушаемый этому "Я" Казимир-Кузмичем, был знанием несовершенства моих помышлений, спрядавших в разгоне времен

образ мира; и стало быть: враг, или черт — "птеродактиль" — был собственно и не образ мучителя, а — решение опуститься в мир мысли моей; враг — решение: переместиться сознанием в тело, кипящее клетками. —

— В сне все это открылось; но сна я не мог осознать: не понимал, что таинственный Казимир Кузмич Пепп — "Я", искусственно отделенное мною от "Я" сознаний духовного мира, как шлак или накипь; та накипь сложилась мне в классы гимназии, или в понятия; под классической жизнью шуршали, как мыши, мои кабардаки; то — действия физиологических отправлений моих, или — низшие мысли, отпавшие шлаками; в эти вот шлаки спускалось теперь мое "Я": их исправить, разрушить; не знал еще марева органической жизни; не понимал я, что органы тела — врата, чрез которые выгнано "Я" из духовного Рая; изгнание — действие "Я", упразднившего сети неверных посылок свершаемой мысли; теперь я занялся работою; стал исправлять происшествия собственных промахов мысли; и этой работою мне нарисован мой образ телесный; —

— да, классы — разрушатся (рушатся классы!); из-под всего обнаружится "Я", принимающее роковое решение свергнуть свою несвершенную часть в роковую и гру; дать почувствовать всю "игривость" скитаний по жизни; и после — вернуться: к себе самому; Казимир Кузмич — рок; встреча с ним — приближение издали рока; а сны — предвкушение страдания; "Казимир-Кузмичи" ныне вышли из снов и живут вокруг меня, как "шпионы"; и даже: меня собираются "Казимир-Кузмичи" обвинить в шпионаже; а "сэр", мною виденный, есть единство сознания шпионов, или низшее "Я" — страж порога, встречающий нас при попытке вернуться на родину: Рок мой ныне вплотную приблизился: —

— Да: —

— "Принимаю Его".

.....

Все прошло при моем возвращении на родину; к Христиании мчались вагоны из Бергена; мчалось сознание мое, нисходящее к року: три года назад я здесь мчался: в обратном порядке: от Христиании к Бергену (или — от марева жизни до встречи с собою самим); это "Я" посылало теперь свою низшую часть: пострадать.

.....

Да, три года назад здесь свершился со мною миг, разрывающий все; он раздался, как солнечный мир, осветляющий все; здесь кругом раздавались холмы, поднимаясь в горбы; облетала и веялась под ноги жизнь сухомыслия; высились смыслы мои в непомерный объем раздававшихся истин: до — дальних прозоров о судьбах моих; и — возвысились цели, поднятые к небу — в столетиях времени; Кто-то знакомый —

— "Я" —

— свыше глядел:

в мое сердце; — стояли сплошные гиганты камнями времени; дальний зубец, как сияющий клык, пробелел над отвесом; и — скрылся; другой; и — повсюду над твердыми толщами яснились снежные зубы: в лазури; и я, припадая к себе самому, припадал не к себе самому.

— "Ты — сошел ко мне из воздуха".

— "Ты — осветил мне".

— "Ты — шествие в горы".

— "Ты — горы"...

Теперь это "Я" посылало меня: пострадать; я — увидел высокие цели; я жил в непомерных пространствах раздавленных истин; стоял над отвесными, непреклонными склонами; "Я" — говорило мне:

— "Низойди в эти пропасти".

— "Освети себе мрак".

— "Ты — падение в пропасти".

— "Ты — сама пропасть".

.....

Я несся в обратном порядке; стучали вагоны; на остановках плаксивились просвистни ветра в горах: не шершавились красными мхами преклоны нагорий, едва зеленысь лазуреющим пролежнем; все занавесилось свыше клочкастыми тучами, через которые красное око железного поезда мчалось в серевшие серости рваных туманов холодного утра; валил сплошной дым; проступали в тумане неясные пасти ущелий; и — пропасти: волокли мое "Я" в глубину прирожденных темнот; упали узоры на жизнь, разрушая рельефы: морщились суши сознания: —

— передо мной на

диване покорно храпело болезненно тело одесского доктора, точно сухая драконья и мертвая кожа; и я узнавал — "Казимир-Кузмича"!

— "О, мой брат".

— "Я тебя узнаю".

— "О, мой зверь".

— "Я тебя принимаю: терзай мою душу".

— "Ты — я"...

.....

Христиания!

ЛЪЯН

И вот — Христиания: вот многоверстные фиорды...

Опять — среди них затерялся я, канул; окрестности стлались: вбегая от ног прямо в небо смолистыми соснами; и — зеленой растрепой елок; окрестности стлались, сбегая от ног лоболобыми толщами к живчикам струечек, лижущим каменные лбы и бросающим пятна мути — медуз! — на приподнятый берег.

Шатаясь глазами по далям, я сел в поездок; поездок меня выбросил — Льян*.

Он сидел среди камней, протянув в бирюзовое все свои красные кровли из моховых обвалин и каменных оползней; я под разлапыми соснами вновь собирал заалевшую ягоду; шишки сухие хрустели; громадный норвежец из мызы напротив переволакивал хворост, сося свою трубочку, — в мызу напротив: мычал свою песню без слов, пронося ее: в мызу напротив!

Здесь с Нелли когда-то, схватившись весело за руки, прыгали мы чрез продолблины, трещины, ямы — с лобастого камня на лоб головастого камня — к живейшим струям, ласкающим глаз вензелями своих переbleсков; под нами, кивая беззвучно, смеялись над нами же: наши же лики. Нам звук разговорчивых вод полюбился; и нам полюбился свисты синиц; и — далекие прокрасни осени (мхов и осин), и — далекие прожелтни трав, и — сырейшие прелости солнечных запахов отлагались в душе нам здоровьем и стойкостью; жмурилась Нэлли, следя за медузами и закрывая лицо такой маленькой ручкой, напоминающей стебелек от цветка о пяти лепестках; эти пальчики зацветали на солнце; на маленьком личике Нэлли играли лукавости, будто она, позабывши глубокие думы свои, здесь, под солнышком, переживала живейшую радость — о чем? ни о чем, может быть; моя Нэлли — мудреная, сложная, строгая — начинала казаться мне фейкой над водами; проходили сверху облака — белотаи.

И ничего, кроме — паруса, воздуха, овоздушенных береговых очертаний и вод, не вставало пред взорами: там уже норвежец-рыбак отправлялся на рыбную ловлю на лодочке месячной по небу; тучи, и камни, и оползни обвивались багрянцами: возводились окрестности в негасимые просветни; в воздухе сеялись светени: чем златимей казались они, тем сладимее были в нас души:

— "Голубка моя, — отчего ты — вчера?.."

Вспоминался припадок ее беспричинного плача, когда, оторвавшись от роя бумаг, на которых начертаны были сложнейшие схемы, переплетенные в образы, Нэлли, ломая хрустевшие пальчики ручек, забилась головкой о спинку огромного кресла; и — плакала: от неумения разрешить контрапункт быстрых схем в крест, увенчанный четырьмя головами животных¹ (решалась для Нэлли проблема всей жизни ее — знал я это наверное).

— "Отчего эти слезы?"

Шутливо, напав на меня десятью лепестками двух ручек, зацветших багрянцами, переживая живейшую радость (о чем?), — закрывала мне рот моя Нэлли:

— "Смотри у меня ты — молчи; о вчерашнем не смей говорить..."

— "Ну, не буду, не буду: но Бога ради, не мучай себя: две недели сидишь ты безвыходно, не отрываясь от дум... Так нельзя же..."

— "Оставь".

* Окрестность Христианин.

Наши души суть просветни: лучезарились просветни оползней, гуч, парусов, ясных воздушных, вод...

Это было когда-то...

.....

И то же все было теперь: под ногами хрустели еловые шишки; и просветни проговорили — о том, чего нет, но что было когда-то; они говорили о Нэлли; и обливали багрянцами стекла приподнятой вилочки, где проживали мы, где и теперь проживает фру Нильсен².

Товарищ, которого я здесь водил, улыбаясь широкой улыбкой, от того что мы снова на суше и что за нами не бродит шпион, непонимающим взглядом вбирал в себя все: мызы, сосны, норвежцев, зеленую кофту работницы, ракушки; и — виллу "Нильсен".

— "Смотри: вот мы тут поспорили с Нэлли. Она, накричав на меня, повернула мне спину..."

— "Ах, ах, как чудесно: какие кусточки".

— "Да не чудесно, а очень здесь грустно мне было..."

— "А воздух-то, воздух".

— "Здесь мы прочитали впервые о том, что человечество некогда образует десятую иерархию³: любви и свободы".

— "Вот как".

— "Тут же, в этой вилле, мы жили".

— "Прекрасная вилла".

— "Смотри: высоко, высоко, над верхушкой сосны нависает балкон; то — балкон нашей комнаты; я по утрам на нем сживал".

(Припоминались часы размышления: ясномыслие посетило меня; посетило и Нэлли: отсюда — писали мы доктору Штейнеру...)

.....

Там за окошком, обнявшись, стояли; и приникали к стеклу многоверстные фиорды; вперялася в нас многолетием жизнь (как нам жить).

Уже три с лишним года прошло с той поры...

И я думал: да, вот — я блуждаю, хрустя пересохшими прелыми прутьями; и со мной, бредя рядом, хрустит пересохшими прелыми прутьями брат по пути. Между этим теперешним мигом и тем (когда Нэлли, ступая легчайшими ножками, перепрыгивала через трещины камней и зацеплялась за сучья атласным своим капюшоном) — легли: дважды Берген (тот Берген и Берген вчерашний), Ставанген, Ньюкестль, Лондон, Берн, безумевший Париж, Базель, Цюрих, Лугано, Монтре, Сен-Морис, непонятная встреча в Лозанне, Лозанна, Лугано; и далее: Бруннен, Флюэзлен, Герзау, Амстэг, Гешенен, Андерматт, Тун; и — далее, далее: Штутгарт, Пфортгейм, Нюрнберг, Мюнхен, Прага, веселая Вена, Берлин, Лейпциг, Зассниц, Аркона, Норд-Чеппинг; и — далее, далее, далее: Дорнах.

То — было ли. Или то — только сон: лишь мгновение мысли, мелькнувшее в Льяне (на этой прогулке): вернуться к фру Нильсен

— вернуться бы мне; может быть, поджидает меня моя Нэлли, фру Нильсен и прочие: старый учитель и Андерсен (копенгагенец) — ужинать.

Не изменилось — ничто.

.....

Здесь — жили; под окнами, за столом, сплошь заваленным роем бумаг, мы сидели часами, а воздуха веяли; гонг ударял, призывая нас вниз; оторвавшись от дум и от книг, чтоб размяться, я схватил Нэлли в охапку, приподымал ее с кресла и — влек, предвкушая различные вкусоности: коричневатые ломти норвежского сыру и белые ломти пахучего тминного сыру; вот мы — за столом; сединистый учитель, мотающий прожелтнем уса, с непозволительно синими, как у младенца, глазами, живущий года у фру Нильсен, приветствует нас; церемонный поклон музыкантше направо, сердечный кивок адвокату (масону) налево; и вот — мы за сыром; учитель, мотающий прожелтнем уса и с индиго-синими, как у младенца, глазами, любитель лингвистики, показавши трясущимся, третьим (не указательным) пальцем на красные корни редиски, бывало, начнет:

— "Как по-русски?"

— "Редиска..."

— "Не слышу: отчетливей..."

Я прокричу ему в ухо:

— "Редиска".

— "Рэдис-ка. Рэдис?"

— "Да, да".

(То же было — вчера.)

— "А по-норвежски то

— Rädiker..."

— "Вот как!"

Мы с Нэлли делаем вид, что — в глубоком волнении мы: всюду сходственности словесных значений!

Старичок продолжает:

— "Rasin"* , по-немецки же

"Rätsel"!

— "Но то не "редиска" уже:

а "смысл".

— "Но "корень" есть

"смысл".

Уже я продолжаю:

— "Редис, радикал, руда, рдяный, rot, rouge, göd** , роза, рожай, урожай, ржа, рожь, рожа..."

Перечисление корней продолжается вплоть до кофе; уже музыкантша — за Григом⁴: учитель отрезывает — все еще! — ломти сыру; закутавшись

* Изюминка (норв.).

** Красный (нем., фр., норв.).

плотно в плащи — мы забродим у струечек (непрерывно бесились блески меж всплесками влаги).

— "Смотри", — останавливаю мою Нэлли, — в который я раз.

— "Что такое?"

— "Вода, воздух, парус".

И — дразнится Нэлли:

— "Вода, воздух, парус; еще вот — медуза; вчера, как сегодня; сегодня, как завтра".

— "Нэлли".

— "Устала от этого я..."

— "Красота-то какая!.."

— Какая-то злая она, — красота... Красота, красотой, но не эта: она — стародавняя; про себя самое — не про нас... Что в ней проку-то. Воздухи, воды, фиорды, леса, Хольмен-Колен* — какое-то древнее все это; ясности, будто ласкают, но если взглядеться, прислушаться к ласке — обман эта ласка: под нею скрываются: холод и злость; помнишь "Грушеньку" Достоевского⁵: так вот и эта природа; и эти воздушные ясности — "Грушенька"... Только отдайся им".

Тут, повернувшись спинами к озлащениям облаковой каймы, возводившим окрестности в негасимые просветни, — повернувшись спиной к живописке и к прокрасням мхов и осин, начинали скорей перепрыгивать через трещины, ямы, обмоины гололобого камня, через изрезины круглых обвалин, вступая в мир сосен, елей, треска шишек и шорохов, в сумерки грустных дремот; нам казалось, что убегала под нами вода; и казалось, соскакивали, нас обскакивая, те вон домики красными кровлями; грузный норвежец из мызы напротив опять перетаскивал хворост, сося свою трубочку, — в мызу напротив: мычал свою песню без слов, пронося ее — в мызу напротив; красноволосяя дочка, слепя раззеленою кофтою, вешала на веревке белье.

Да вот — думалось; что-то древнее повисало над прелою желтизною сырых плоскогорий; и — над дымочками; это Норвегия прибегала оттуда вот, припадая к фиордам, как зверь к водопою, поднявши на север хребты; если стать на хребты, они окажутся низом: на севере обнаружится новый хребет; дальше, дальше — сверкнут позвонки звонкозубыми льдами; миры мерзлых глетчеров чуялись Нэлли из северных дымок зеленого Льяна; их близость нам чуялась злостью, —

— свергающей бесконечности лет громадным "Скьогельтгасфоссеном"^{***}: тут начинались подъемы к Тронтгейму и к Бергену, а если идти в глубь страны, то увидишь, как там — над страной — продичал Ромсдальсгорн^{***}; Юстедальское ледяное поле, вися цепенелыми массами льда, угрожало: прирушиться — к Льяну. Там толпы

* Окрестности Христиании.

** Огромный водопад.

*** Гора.

гигантов, воздев бремена на граненые головы, приподымали на головах: миры льда: Свартизена! Все то возникало во мне: не перечил я Нэлли; и повернувшись назад — в воду, в воздухе — чувствовал: ужас; казалось: вот, вот, не успевши вскричать, — опрокинемся вниз, в бирюзовые воды; прочертятся образы нас же самих к нам оттуда; и — скажут:

— "А!"

— "Здравствуйте!"

— "Милости просим!"

— "На дно!"

— "В вечный сон..."

.....

Воспоминания охватили меня: Нэлли — не было; я смотрел, как вокруг припадала Норвегия к фиордам, отрясывая из-за северных дымок дичайшими гребнями: миры мерзловатых камней, Ськогельтгасфоссен, потопной пучиной спадая оттуда, топил мою душу:

— "А!"

— "Милости просим!"

— "Ко мне!"

Бесприютности мира меня охватили; и — Нэлли растаяла; и — до-нэллина жизнь протекла мне в обратном порядке: Ськогельтгасфоссеном.

.....

Здесь прожили мы пять недель⁶: я и Нэлли; невероятная совершилась работа; взорвался покров "биографии", некогда — здесь; после высекая "миг" Христианийского курса; и прогремел осветленный безумием: Берген.

Так думалось мне вблизи виллы фру Нильсен; не пойти ли к ней ужинать?.. нет: не раздастся приветливый гонг для меня; я — один; Нэлли — в Дорнахе; и, как бездомный скиталец, сажу под былым нашим кровом; пора — в Христианию; завтра с утра ожидают нас хлопоты: консульство, виза, билет в Хапаранду.

Вскочил и пошел к поезду, чтоб до ночи вернуться; представьте же, встретил учителя, проживавшего с нами; узнал старика я по прожелтно уса, по индиго-синим глазам, на меня устремленным (хотя он был в шляпе, а шляпа меняла его).

— "Вы?"

— "Как видите".

— "Что же вы — к нам? поселитесь у нас?"

— "Я призван".

— "В Россию?"

— "Я призван".

— "Фру Нэлли?"

— "Оставил ее..."

— "Ай-ай-ай: как же так?"

— "Да вот — "так".

Мы сердечно еще поболтали; и — после сердечно простились.

НА СЕВЕР

Уже догорал многоглазый, глазами вещающий вечер; гласили роскошные просветни воздуха мимо летающих туч, полосатящих небо; стволы необлетного христианского парка горели; и светозарили взгляд.

Мы сидели с товарищем: пал я спиною на спинку раскидистой лавки; мой друг А. М. П.¹ с упоением пил пролетающий ветер; установились — в вечеровые фантазии; были одни — ”в первый раз после Дорнаха; отдых сошел: слово легкое вновь высекалось, как искра; костер легких слов запылал, согревая нам грудь; восставало прошедшее только что: Дорнах —

— который покинули мы, но к которому мы возвращались — через Россию, обратно: стоял перед нами, как...

— да, Христиания в Дорнах меня привела; Христиания, вот, возвращала обратно; —

— и нет —

— не в Россию; мы ехали через Россию обратно; мы ехали в Дорнах; мы ехали; мы улыбались глазами друг другу: мы ехали; и — догорал многоглазый: глазами вещающий вечер:

— ”Что там?”

— ”Нэлли с Китти”².

— ”И эвритмия”.

— ”И доктор!..”

— ”Туда тебе хочется?”

— ”Хочется...”

(Китти — сестра моей Нэлли.)

— ”Скорее: послать телеграмму туда”.

— ”Беспокоются там: все-то, думают, мины...”

— ”А мины остались за нами...”

— ”Остались ли мины за нами?”

— ”Что?”

— ”В душу нацелилась мина...”

.....

— ”То было там в Лондоне?”

— ”В Лондоне я и не думал”.

— ”Я — тоже...”

— ”Нельзя было думать...”

— ”Там мысли о Дорнахе очень опасные действия: думать о Дорнахе в Лондоне — значит ходить по проспектам без ”платя”.

— ”За это — в участок...”

.....

— ”А здесь можно думать?”

— ”Здесь можно”.

Молчали: уже слепоглазый, глазами давно не вещающий вечер, вздохнув, объявил себя ночью; коснели тяжелые протемни; перешуршали листы необлетного парка у нас под ногами.

Пора уже спать: ведь от утра протянется путь наш вперед: мы поднимаемся завтра на север, к полярному кругу, к Торнео, к Финляндии: там, поглядевши лопарке в глаза, тихо ахнув от холода, спустимся мы к Петербургу, обратно: да, да, Петербург — ближе к Дорнаху; и возвращение в Дорнах, — уже приближалось.

.....
Снова я в поезде.

Север.

Все сосны, да сосны: зеленой, суровой, сурово-нахмуренной Швеции; ерзают мысли, как сыски; и ерзают — сыски: мышинные пiski кусающих глаз — из углов, из теней; из туманистых дней, странно очень; все сыски потеряли таинственность; нет вещающих смыслов; упрощено все — безнадежной тоскою зеленой, суровой, туманящей Швеции; веющей севером; будет уж холодище; мы, ахнув от холода, мы, прикоснувшись к полярному кругу, поедем — на Петербург.

"Я" мое, нет, не сошло: не сошло; я остался без "Я"; распростился с ним в Бергене; этому редкому гостю не дали "о н и" опуститься в меня; и для "н и х" потерял интерес я; остались интересы одной контрразведки, которую на меня напустили "о н и", за пустой оболочкой следили: такие же оболочки; "п и к а н т н о с т ь" — пропала; и "им" было скучно, и мне было скучно без "Я" — в этой северной, в этой нахмуренной Швеции.

Точно так же вот, в Бергене, разорвалась моя личность; одна половина упала с отчетливой быстротою э к с п р е с с а в зеленую комнату прежней арбатской квартиры, откуда когда-то меня взяла Нэлли; другая же канула: за глубину поднебесного купола: —

— за Юпитер, Сатурн,

— за Вулкан³,

— за созвездие Скорпиона. —

— Куда?

.....
Восприятия все изменились во мне; закрывалось: ш и ф р не читался; я видел пустые фантазии чьей-то судьбы, отрезавшей от Нэлли, —

— не знал, что —

— навеки!

Когда бы я знал, то вскричал бы, то выпрыгнул бы из окошка вагона: разбиться о шведские камни; а если и не разбиться, то броситься в Берген, обратно; засесть в темном трюме какого-нибудь неизвестного "у г о л ь щ и к а"; оказаться вновь в Лондоне; и пробираться — не знаю какими путями — в Швейцарию: к Нэлли; и не отдать моей Нэлли — нет, нет: никому, ни за что.

А теперь вот — без Нэлли! А Нэлли — без родины.

.....
Но я сидел совершенно спокойно в зеленой, суровой, в сурово вещающей Швеции, думая:

- "Нэлли!.."
- "Она уж проснулась..."
- "Идет к Иоаннову Зданию".
- "В мыслях же — я..."
- "Она — любит меня!"
- "Не — забудет меня..."
- "Разве то, что прошло между нами, — возможно забыть?"
- "Монреаль..."
- "Мир Сицилии..."
- "Пирамиды..."
- "Мир Духа?"

.....

О, знал ли я!..

СЫЩИКИ

Я наблюдал за суетней вокруг нас: подорожных шпионов и сыщиков; и — развлекало: по жестам, по взглядам воображать отношения их: друг ко другу и к нам; видеть: сложную сеть их игры вокруг нас, и хзаботы, вопросы, слетавшие: —

— Кто мы? Верно ли, что шпионы, иль мы чудаки; иль "не-что", не поддающееся их воззрению. —

— И — забавляло проследивать: тяжкий труд сыщиков; как одни, потрудившись, — разрешали загадку: ш п и о н ы! другие же мыслили: нет, чудаки! начинались споры; две версии переплетались; и появлялись вдруг адвокаты — от контрразведки; росли прокуроры: росли, как грибы.

Поезд несся на север.

.....

— И — да —

вот этот — вот —

— в шляпе, естественно напоминающей кепи; и — мягкий картуз: невысокий, сжимавшийся, втянутый пристально в собственный свой воротник, с бледно-белым, морщавым, брезгливым до тика лицом, бритый, с черною седоусостью, вот он, зажав саквояж, перетянутой серой перчаткой рукою, такой до нервозности щепетильный, брызгливый, — не удостоивал никакого внимания нас; он бродил вокруг нас там, на палубе парохода "Гакона VII"; нас так презирал, как, наверное, не презирал свой плевок; не собирал о нас фактов (они были собраны); он нами брезгал, глазами не встретился с нами; глаза выражали его: нет на свете нас! с Бергена до Хапаранды ни разу не выразил взглядом, что перед носом

его я прогуливаюсь — с отчетливым нетерпением, чтобы он раз хоть заметил меня; я — за ним наблюдал; было ясно: —

— он — сыщик французского Генерального Штаба; в Россию секретные кипы провозит; и, между прочим, ему поручили меня; он сидит в ресторане-вагоне с седьмыми сэрами — злой и нахмуренный, знающий лучше, в чем сила вещей; неохотно цедил очень коротко, очень брезгливо; потом —

— прикоснувшись перчаткою к шляпе, часами он длил свою думу; —

— его я видал: на бесчисленных пересадках и станциях, где он не видел меня и где все я старался себя перед ним обнаружить; не выходило; все, бывшие в поезде, знали меня, он — не знал; узнавать не хотел; незнание происходило от знания: слишком много он знал, чего я не узнал о себе; да, ему собирали годами досье обо мне: возмутительных, мною не узанных фактов; он в них погружался, проникшись ко мне отвращением: тронулся в путь он — за мной из Парижа (с досье); и — мы встретились на пароходе; мы ехали вместе; ему было ясно — я гадина; он передаст свои факты полиции: русской полиции, а прикасаться (глазами) ко мне не годится: ведь он уже приготовил свои материалы к Торнео: —

— с Торнео до Белоострова производились последние розыски русскою контрразведкой; в Торнео впускали, чтобы накрыть в Белоострове: —

— знали все мы: путешествие к Белоострову от Торнео — ловушка.

Стиль англосаксонской разведки другой: стиль игры; во главе — очень тонкие сэры, которым известно, что я неповинен; мое прегрешение — в мысли о братстве народов (а сэры мечтали в то время о войнах народов); мне кажется: тонкие сэры английской разведки питают ко мне что-то вроде симпатии — да, но считают, что болен утопией я, поручают меня поугатать ради шутки; для этого сэры снабжают м о с ь е из французской разведки досье обо мне, сочиняемое в офисах; и пышущий злобой мосье с саквояжем, как пес, начинает сердито бросаться за мною в Россию, чтобы уведомить русские власти о том, что я... Стоит послушаться сэров мне, — русские власти и этот м о с ь е будут в нужный момент остановлены.

Думал я: —

— в Лондоне я ведь поладил с достойными сэрами, так остроумно шутившими с нами; и, стало быть: —

— этот м о с ь е с саквояжем, которому неизвес-

тен союз мой
с английски-
ми сэрами,
действует
глупо: не
знает послед-
него их изве-
стия: —

— я дал

обещание сэрам: в России молчать; мне не страшны угрозы французской разведки.

Не знают французы высокого стиля; мое впечатление от француза с усами: ах, бедный, — как он ненавидит меня; проиграется он; и — останется в дураках; это белое злое лицо станет сизо-багровым, когда в Хапаранде-Торнео он выкрикнет:

— "А!"

— "Cochon!"

— "А, sale boche!"*

А его остановит жандарм:

— "Ошибаетесь: наш Леонид Ледяной, наш писатель, — вернувшийся отбывать..."

И, щелкнув шпорами, сделает — под козырек; воображаю я бешенство этой французской кикиморы.

Э! Сорвалось!

.....

Наблюдаю мосье, — подставляю ему то свой профиль, то спину; он — морщится: нос, как сморчок; отвернется, а руки дрожат; а усаые губы сжимаются в сжатое бешенство:

— "Господа!"

— "Среди нас пробирается вместе с другими — шпион, грязный бош..."

— "Погодите: приедем в Россию; и он обнаружится".

— "Приняты меры..."

— "До Белоострова потерпите".

— "Пусть едет..."

— "Там сцапают!"

Но я улыбаюсь: последних известий у этого нет: заключил я союз с теми сэрами; и — перемигиваюсь с представителем другой контрразведки, являющей связь между Россией и Англией.

Он, представитель последней разведки, есть грек Дедадопуло; рослый красавец, с огромным, изогнутым носом, изогнутым книзу; с изогнутыми усищами; —

* — "Свинья!"

— "А, паршивый бош!" (фр.)

— все Дедадопуло хитро смеется; и поднимает усы выше глаз; и опускает свой нос ниже рта. —

— Дедадопуло знает по-русски, а — говорит по-французски (с уверткой); он знает, что я тоже знаю, что он уже знает, что я... и — так далее: что, что, что, что, что, что, что; нагромождение придаточных предложений и контрапункт контрмин им изучен; пускай указали ему на меня; он не кинулся сдуру: везет документы; да, да; Дедадопуло, он — разобрался: везомые документы француза есть шутка упитанных сэров; француз же дурак; знаю я, знает он; и — стало быть: факт его, Дедадопуло, слезки за мной — только фарс; он подмигивает лукаво:

— "Комедия!"

— "Заставляют меня тут следить за писателем".

— "Глупое положение..."

— "В Белоострове вскрыется: нет шпиона..."

— "Есть русский писатель..."

— "Жандармский ротмистр звякнет шпорами..."

— "Мы же рассыплемся прахом..."

— "И — стало быть: дурака не хочу я валять; и — заранее представлюсь я: грек Дедадопуло!"

Так дружелюбными взорами мы обменивались; и мы начали со скуки разыгрывать игры; и Дедадопуло ставил вопрос (не словами, а взглядом), и приходилось его разрешать: —

— Как себя поведет некий "X", совершенно невинный, но явно заметивший, что за ним наблюдают; и далее: явно заметивший, что заметили тоже, что он все заметил, что и т. д.; и — "что-что-что" — (под-под намеки намеков и под-под-под намеки под-под намеков) — как мячики тенниса, начинали летать: в неуловимейших жестах, где, разумеется, роль шла не о шпионстве уже, а о выдержке роли, и степени усвоения нами практической психологии: в воздухе; так Дедадопуло производит мне экзамены; а я — Дедадопуло; мы не скрывали, что мы наблюдаем друг друга: не как шпионы, а как... участники представления, не нами затеянного, где-то, зачем-то; нам дали по роли.

Так стиль контрразведки английской (здесь в Швеции) явственно разнился: от поведения контрразведки французской.

А в Хапаранде дуэт двух разведок обогатился: стал т р и о...

ОТ ХАПАРАНДЫ ДО БЕЛООСТРОВА

Поездка от Хапаранды-Торнео до Белоострова утомила особенно: обилием инсценировок — всех трех разведок: английской, французской и русской.

Мне помнится: раннее утро; рассвет; переходим границу Норвегии — Швеции — по дощечке с перилами, перекинутой через ручей; там

— Финляндия; у дощечки — стоят два жандарма: две бестии, посвященные в "игры".

В тот момент, когда я стою рядом, ступая ногою на русскую почву, между жандармами поднимается словесная перебранка.

— "Приехали..."

— "Двое те?"

— "Здесь все, как надо..."

— "Приехали!..."

— "В гости?"

— "Уж подлинно, что неожиданные!..."

— "Ждем неждемся..."

— "Приехали..."

Мне представлялось: право подумать о том, кто такие, которые — "двое"...

Не "двое" ли нас?

Мы — в России: жандармы, отсталые, — сзади.

Да, позабыл я сказать: на последней, уже покидаемой станции в Швеции я обнаружил: багаж мой потерял; мне дорог он был лишь куском черепицы, норвежского камня, который из Дорнаха: — от вершины Ионанова Здания; да, я не мог передать моей родине этот кусок.

О пропаже беседовал с консулом; он ничего не мог сделать; но — неожиданно он мне сказал:

— "Присмотритесь к России: да, знаете, любопытно, вы скоро увидите сами; да, да — любопытно".

— "А что любопытно?"

Вокзал: мы проходим к осмотру. Жандармский ротмистр, очень жгучий красавец с канальскими глазками и чересчур перекрученными усами, — распоряжается: нам, пассажирам, дают отпечатанные листки, на которых отмечены — трафареты вопросов.

Кто мы? И зачем возвращаемся?

Я замечаю: листок, прелюбезно мне поданный, — красного цвета; листки для других — цвета желтого; думаю я: "А зачем мне дают этот именно красный листок?..." Но на красном билете то самое, что и на желтых билетах; пишу я ответы; жандармский ротмистр отбирает; и — ничего: никакого экзамена; обыска нет.

И — я думаю:

"Вот так гуманность: во Франции, в Англии — обыски и экзамены: здесь же — так гладко".

Окончен осмотр; вышли мы в ресторан; поезд будет нам подан через четыре часа; жду — спрашиваю я кофе.

Жандарм останавливается посередине теснейшего зала — спиною ко мне; в его пальцах — единственный красный билет, мой билет; очень тихим, заглушенным голосом, повернувшись спиною ко мне, вызывает меня; и я явственно слышу:

— А... господин Б...

Я — делаю вид, что не слышу; и думаю: вот он сейчас обернется, в лицо мне:

— "А... господин Б..."

Жандарм поворачивается — направо:

— "А... господин Б..."

Налево:

— "Сейчас повернется ко мне: и придется откликнуться".

Нет, он уходит: нарочно уходит, не вызвав меня.

Поворачиваюсь; и — вижу: у входных дверей в меня взглядом вцепился жандармский ротмистр; любопытство, задумчивая внимательность, сладострастие даже какое-то в черных глазах; он исследует впечатление от жандарма с бумажкой: психологическая реакция; думаю:

— "Тонко..."

— "Пожалуй что тоньше, чем в Англии..."

— "Черт возьми: господин офицер, вы — умнейшая bestия".

Взгляды встречаются; и — ротмистр исчезает: психологическая реакция не дала результата.

.....

Разгуливаю по платформе; кордон из солдат: вот — и там; вот — и здесь; мы — в ловушке; платформа, да зал ресторанный — единственные клочки, нам доступные; вся Россия — оцеплена; остается: ждать поезда. Вижу мосье контрразведки с жандармским ротмистром: разгуливают по саду; докладывает ротмистру о чем-то мосье: обо мне?

Ротмистр — крутит ус.

Отмечаю все это спокойно; и знаю: единственный подозрительный в поезде — я; я — спокоен; какие-то русские за спиной — говорят обо мне:

— "Ну чего они!"

— "Думают, что он немец..."

— "Да поглядите же!"

— "Русский, как есть..."

Я — повертываюсь; я — вижу: сочувственно созерцают меня: муж, жена, дети; думаю:

— "Если уже говорят обо мне пассажиры, то, значит, я — важная птица".

Конечно, я важная птица — писатель!

И вот — поезд подан: садимся: темнеет; ярчайшие, красные зори glareют нам в окна: лопарка полярного круга, наверное, смотрит на нас; тихо ахнув от холода, падаю с поездом, с севера — на Петербург.

Ночь.

И тут нет покою; откуда-то шепчутся:

— "Он написал..."

— "Интересно и своевременно..."

— "Изображеньем сектантского мира он, знаете, описал... нам Распутина".

Обо мне!

Донимает разведка (четвертая, финская!). Финн вопрошает:

— "Фи куда?"

— "Возвращаюсь в Москву..."

— "А почему фи, мосье, гавхаритье с аксеньтем..."

— "Послушайте, сами-то вы: вы — москвич?"

— "Я?" — смущается финн.

— "Ньет..."

— "Так как же вы можете знать!"

Посрамлен. Засыпаю.

И — утро: под Гельсингфорсом; а за спиной на чистейшем немецком наречии два китайца общаются с персом; перс — цюрихский универсант; и, как кажется, принц; а китайцы — но что это?

Слышу:

— "Да, да: они все там работают. Много русских немцев и всяких еще; а художественными работами заведывает В. (произносится фамилия русской антропософки — из Дорнаха)"².

Думаю:

— "Иль мерещится мне?"

Но — прислушиваюсь: китайцы беседуют с персом — о Дорнахе!..

И произносят слова:

— "Их зовут ангел я т а м и !.."

А н г е л я т а м и в Дорнахе называли сестру моей Нэлли; и — Нэлли.

Встречаюсь с глазами персидского принца; в глазах затаилось лукавство:

— "Что, брат, — удивлен?"

Не удивляюсь и не пытаюсь понять; но китайцы, осведомленные о Дорнахе, — факт!

Отвечаю на взгляд иронический перса: презрительным взглядом; устал; ах — безмерно устал; ни удивленью, ни страху нет места...

.....

Со станции — офицер (он вошел); передо мной садится; и — вваливается мужчина, приваливается к офицеру, сидящему рядом, чтобы отрезать мне выход; меж офицером и штатским — словесная перебранка.

— "О, Господи: вот так устал", — тяжело сетует штатский.

— "Все в поисках?"

— "Да — мы ловили, ловили: и — спутались..."

— "Что же, теперь есть следы?"

— "Да, как видите сами".

Да, да: офицер (я впервые теперь разглядел его форму) — жандарм: оба жмутся ко мне; отрезая дорогу бежать; офицер сидит рядом, а штатский бросает вопрос:

— "С вами... того?"

Офицер утвердительно улыбается; и рука его непроизвольно касается брюк; понимаю я: в брюках револьвер; стало быть, полагают они, что могу я бежать: они ловят меня — а сейчас пересадка; когда встанем с места, то офицер, вынув ловко из брюк револьвер, скажет просто:

— "Идемте за мною!"

Но остановка; встаю, чтобы... чтобы... встает офицер; подхвативши багаж — убегает; за ним бежит штатский.

Старательно пересаживаюсь, отыскиваю товарища (он в соседнем вагоне); пересекаю солидных военных; у них аксельбанты; и слышу:

— "Что же нам говорили?"

— "Оказывается, что не так..."

— "Нет, не те..."

— "Говорили про П..."

И произносится фамилия А. М. П..., путешествующего вместе со мною из Дорнаха.

.....

А на фоне запутанной, перепутанной, перепуганной русской разведки, нелепо вещающей, что — да, да: "мы" — есмь; тот мосье с саквояжем и Дедадопуло грек: он со мной лукавит глазами, вращает усищами:

— "Сами видите — как они перепутались..."

— "Знаю я, в Белоострове все объяснится; едете вы беспрепятственно; а вот эти — останутся; будут рыскать к Торнео и — к Белоострову..."

И — Белоостров.

Последний допрос; и — последний осмотр; никакого осмотра; и — и никакого допроса; блистательный офицер, лейб-гусар, наклонив низко голову, светски меня вопрошает:

— "Так вы — Ледяной? Леонид Ледяной?.."

И шелкает шпорами; это дает он понять, что приветствует "Л е д я н о г о..."

Я думаю:

— "Что-то думает французский мосье?"

— "Посрамлен..."

Пробегаю к вагону; я вижу, что грек Дедадопуло ласково мне улыбается — так добродушно, сочувственно:

— "Я поздравляю вас с родиной!.."

Более, знаю, не будут: о н и ? О н и — дым...

.....

Но: и мир духа, мной виденный, — там, за границу: дым; нет его; давнее старое здесь; я — на родине... Мы подъезжаем уже к Петербургу³; слезливую ночь пронизали огни Петербурга; стою, прижимаясь к окну; два китайца и перс, — наблюдают за мной: любопытные взгляды вперили в меня, переживая со мною мое возвращенье на родину.

Боже мой, — грязно, серо, суетливо, беспечно, расхлябанно, сыро; на улицах — лужи; коричневатую слякотью разливаются улицы; серенький дождичек, серенький ветер и пятна на серых, облупленных, нештукатуренных зданиях; серый шинельный поток; все — в шинелях: солдаты — солдаты, солдаты — без ружей, без выправки; спины их согнуты, груди продавлены; лица унылы и злы; глазки бегают; я вспоминал чистых "Томми" — великолепных английских солдат, ярко блещущих золотыми погонами; я вспоминал ток Парижа: —

— военные верх обличий и стран: —

— чер-
ногорцы, французы, звенящие шпорами, кэпи, железные, круглые каски, штаны (ярко-алые) с блесками позументов, мотоциклетки с вцепившимися в ручки солдатами, взрывы бензина, авто с офицерами —

— четкость, порядок, подтянутость... —

— Где это все? —

— В этом сером потоке военных не видел: я видел унылых, запачканных невоенных солдат, грязь месящих и серых на фоне сереющих стен в сером, сиверком дождичке. —

— Так поразил Петербург, где я не был уже пятилетие скоро: и поразили кондукторши переполненных старых трамваев — зеленолицые, женщины старых трамваев, к которым кидались серые кучи людей; тело, тело давило; и тело от тела отталкивалось; все тела да тела; нет, не люди глядели, а куча говядины, для чего-то зашитая в желтую кожу, одетая кое-как, в грязно-серой солдатской шинели, — глядела на кучу говядины; к у ч и г о в я д и н ы, а не солдаты, не люди, не "я" —

— вот первое впечатление от Петербурга; как все обветшало — все, все: обветшали трамваи, дома, тротуары; сошла позолота с церквей.

Боже мой, до чего суетливо: толкаются, суетятся — бегут, давят, жмут; пересекают друг другу дорогу; но цели не видишь: не знают, во имя чего суетятся: солдаты, бессмысленно прущие на трамваи и запружающие беспорядочно подступ к вокзалу; какая-то общая серость, тяжелый, недоуменный вопрос:

— "Что же дальше?"

— "Как быть?"

— "Что-то будет?" —

— Я вспомнил невольно слова того консула в Швеции, у которого был в приемной, отыскивая свой пропавший багаж:

— ”Присмотритесь к России: да, знаете, любопытно; вы скоро увидите сами; да, да, — любопытно”.

Теперь я увидел, а — что? Что все-все — развалилось; что старое рухнуло, и революция (революция ль — этот обвал?) совершилась до революции; все это знают; и больше всех полицейские; понял, что нет уж войны, потому что военного нет и помину в суевающейся серой солдатской шинели, которая, забираясь в трамвай, на подножку трамвая, с такой же шинелью бросается грозно-угрюмым и безотрадным: —

— ”Что ж?”

— ”Стало быть: нас погонят...”

— ”Сначала нас гонят на фронт, а потом гонят с фронта...”

— ”Да продались генералы...”

— ”Уж будет ужо...”

— ”Что ж, неужто, друг, будешь в своих ты стрелять???” —

— Разговоры такие я слышал в трамваях (Москвы, Петербурга); и — ужасался: при каз № пер вы й¹, которым впоследствии так ужасались в России, меня ужаснул; но написан он был еще в августе этого года: написан был в воздухе Петербурга; казалось, что некий вопрос меня жжет: —

— если бы свой вопрос мог бы обложить внятным словом, — спросил бы я: —

— ”Да, но — скажите: когда же была революция?”

Революция совершилась уже; свергнутые власти, как истуканы, сидели: они были мертвы; и — не было власти; испеленные власти от двух-трех хвостов перед булочными вдруг рассыпались в прах — через шесть только месяцев; помню я, что на пути, под Москвой к нам в вагон вдруг ворвался такой испитой, весь замусоленный офицерик туберкулезного вида с испуганно выпученными глазами и пьяный (до белой горячки); ворвался, — не зная, зачем он ворвался; и после за ним в отделение наше ворвался огромный, усатый, обветренный унтер, который схватил офицера за руки с возгласом:

— ”Вы — куда: ваше благородие, — что вы?”

Меня поразила жест солдата, схватившего офицера: я понял — уже в эту осень солдаты захватывали офицерскую власть; все, что после случилось, — не поражало меня: так я был поражен первым днем в Петербурге: шестнадцатый год, месяц август, — запомнился; в нем февральская революция явственно осуществила себя; да, февральская революция опоздала; она — сон о прошлом; когда это прошлое осуществило себя: на полях ли Галиции, при отступлении?² Может быть, осуществляло себя оно в дни, когда в Дорнахе я заболел: —

— Когда сиротливо казалось в неприбранных комнатах Дорнаха; осень хихикала в окнах; гремели ору-

дия; ночь опускалась; забарабанили капли дождя; утомленная Нэлли, забравшись с ногами в темнеющий уголок дивана, — дремала; а я ощущал себя трупом: не мог себя вынести. —

— История моих внутренних образов от Христиании через Берген, Берлин, Лейпциг, Дорнах — история упадания духа сквозь душу в непретворимое Духом, ломимое тело, которое точно рухало в эпилептических корчах; —

— не мог себя вынести; внутренне нападала война: это я ее вызывал — войною с собой самим (мы не с немцами воевали: с собой воевали; и воевали с союзниками: но этой войны, войны с Францией³, — мы не заметили в прошлых годах); —

— Помню, что я подошел к моей Нэлли: —

— "Я не могу..."

— "Успокойся..."

— "Я лучше умру" — и поток электрической силы ударил по жилам: и образ меня осенил: —

— Если Века, стоящего в мировой пустоте, вопиющего страшным проломом разъятого темени: —

— пушкой,
стреляющей в небо,
стоял Он; и Он, и Я;
Он выстрелил —
нет не пушечным;
тяжким ядром; нет,
он выстрелил —
"Я"... —

— Пять недель после этого был я, как труп; оставались лишь прежними: руки, живот, я казался себе самому животом, безответственно издернутым на ноги; прочее — грудь, горло, мозг — ощущались сплошной пустотой: этим всем я чудовищно выстрелил из разъятого темени в небо; то брэнное, что таскалось по Дорнаху, было — "оно": неживое, тупое, глухое и животастое тело.

И вот — ту картину себя самого, умножаемого в миллионах шныряющих тел, наблюдал я повсюду в шинелях: тупые, глухие и животастые, всюду таскались тела, из которых стреляли в пространство, как ядрами,

человечьими "Я"; эти "Я" вылетали из тел; и "оно" — неживое, тупое, — ходило повсюду: —

— Не выстрелила ли Россия в огромную пустоту своим "Я"? Не осталось ли после выстрела мировой войною сплошное, тупое "Оно" (не Россия)?.. —

— Все это меня поразило: так встретил меня Петербург; и первое стихотворение, мной написанное, выражало знание это:

Есть в лете что-то роковое, злое.
И в вое злой зимы.
Волнение, кипение людское,
Плененные умы.
Все грани чувств — все грани правды
стерты:
В мирах, в годах, в часах —
Одни тела — тела, тела — простерты
И — праздный прах⁴.

Помню: сидели в одном ресторане с редактором бойкой распространенной газеты, в которой писал я: редактор, которому присылал фельетоны из Дорнаха, мне говорил:

— "Что писали вы — правильно: только печатать нельзя фельетоны такие; печатать про правду — есть ложь в наше время. Ложь надо печатать; и в этом вот правда..."

Так первый урок старой, ясной практической мудрости был мне преподан редактором распространенной газеты — в те именно дни; почему-то мне вспомнился грек Дедадопуло, юрко мигавший:

— "Да, вот комедия..."

— "Заставляют меня тут следить за писателем, создавая легенду, что он есть шпион..."

— "Дурака не хочу я валять..."

Понял я, что в России изолгано все: эти "сэры" достаточно тут наштутили; и прошутили; прошученный здесь воздух прессы; прошучены души; прошучено "Я": им стреляют из пушек; "и м" нужны тела, лишь говядина красная, туши; и в регистрацию т у ш был я призван в Россию.

В грядущее проходим строй за строем...
Рабы: без чувств, без душ...
Грядущее, как прошлое, покроем
Лишь грудой "т у ш"...⁵

Мне запомнились первые дни в Петербурге; на улицах лужи; коричневой слякотью здесь заливается все под облупленным грязным и каменным боком старинного дома с кариаидой; Аполлон Аполлонович Аблеухов, весь высохший, все еще, все еще делает вид, будто бы он существует; и правит серейшим потоком унылых, запачканных, невоенных солдат; между тем назревает: идиотический сифилитик: его заместитель...

На протяжении месяцев, просыпаясь в постели в Москве (между лекций, стихов, "почитателей" и поэзо-концертов, среди толков о том, что церковный собор очень нужен, что старец Никита, священник Флоренский, артист Чеботаев, играющий Арлекина в Экстазном Театре, — явления апокалиптической важности), — думал о Дорнахе, Франции, Англии, Швеции; думал о консульстве в Берне, где я отдавал отчет о себе, заполнял все листы, подвергаясь экзамену у благороднейших сэров, шпиков и отвратительных проходимцев; просыпаясь в уютной постели в Москве, быстро вскакивал я и, бросая вопросы в московские стены, дрожал от испуга:

— "Не агент ли ты в самом деле?"

— "Живя там, в Швейцарии..."

— "Слушая пушки Эльзаса..."

— "Ты — агент!"

— "Тебе намекали на это в туманно-мрачнейшем Гавре, в туманно-мрачнейшем Лондоне..."

— "Да..."

— "Озаряя все небо летающей стаей прожекторов, — в небе искали тебя совершающим пируэты над Лондоном в "Таубе"; и под водой искали тебя метко целящим миноу в пробегающий по волнам пароходик "Такон", где, томясь, твой двойник, опершись на борт, вспоминал свою Нэлли..."

— "Ты сам в себя целил..."

— "Да, да: не преступник ли ты?"

— "Не насильник ли ты?"

— "Не летал ли над Лондоном в "Таубе" ты?"

Добродушные стены молчали; и солнечный луч пролетал на меня из окна, веселя; открывал лист газеты; в газете хвалили меня; я шел в гости; к Булгакову, к Гершензону¹, к Бердяеву, к Лосевой²; слушали: с неподдельным вниманием; шел на "поэзо-концерт" в сопровождении бубновых валетов*; священник Флоренский дарил свою проповедь, а артист Чеботаев, играющий Арлекина в Экстазном Театре, советовался со мной; мои лекции собирали людей удивительно: странно влиял я на лекциях; мне казалось — вхожу в подсознания людей, заставляя их мной выговаривать их не заветные мысли; аудитория слушала; стал я влияющим лектором.

Прошлое, мое странное прошлое (семилетие удивительных происшествий — оно было ли?): Нэлли, странствия наши, Сицилия, странный Египет, Кельн, Мюнхен, Берлин, мое увенчание тернием в Дорнахе, Штейнер, Мир Духа; и — даже: страннейшее возвращение на родину: было ли подлинно?

* Общество художников.

Может быть, я заснул: среди зеленых диванов московского кабинета; и — мне пригрезилась: Нэлли, уведшая в светлые дали меня; происшествия нашей жизни — приснившийся сон. —

— Где все вспыхнуло "Нэлли"; откуда тридцатилетие жадных исканий в московском квадрате, очерченном Пречистенкой, Арбатом, бульварами, мне показалось навсегда забытою жизнью; летела на нас стая стран; я подсматривал испытующий взгляд моей Нэлли; духовная жизнь углублялась, начертывалось грядущее; снились мне пирамиды Ливийской Пустыни; Святой Огонь — снилось — вспыхивал; и наплывало грядущее градацией галерей и музеев: суровый Грюневальд, Лука Кранах и младший Гольбейн; Рудольф Штейнер, бросающий курсы в нас, — отчего мои думы свивались спиралями —

— и просверливали мне темя: образовался пролом в голове, из которого "Я" вылетело в мир Духа, —

— пишу о священных событиях сна моего, перевернувшего там, во сне, представления о событиях прежней жизни, о том потрясении, которое потрясает меня даже здесь, когда я, отыскавшись в духовных мирах, вдруг проснулся: о "Я", моем "Я", в которое опустился —

— Мир Духа! —

— Нэлли, ласковая, любимая, надо мною склонялась повсюду: в Сицилии, в Палестине, в Норвегии, в Дорнахе, —

— с подстри-

женными кудрями,
падающими на большой
мужской лоб, перерезаемый
продольной морщиной; два глаза,
лучистых, добрых, маячили ее неук-

лонную думу; —

— в белом платье,
напоминающем ту-
нику, она — как мона-
шек; сквозная и легкая сто-
ла, желто-лимонная, перепоя-
санная серебряной цепью, бы-
вало, —

— упавши на стол, —

грудью, ручками, золотеющей веей кудрей, морща лоб, начинала она мне вычерчивать иероглифы из истин: —

— Проснулся! —

— Где Нэлли! —

— Где, где?..

.....

Я плакал во сне.
Казалось, меня ты забыла...
Проснулся, и —

— снова Москва: снова в той же зеленой комнатке я; я — семилетие спал, здесь, на зеленом диване, в квадрате, очерченном мне Арбатом, Пречистенкой, где рассеялись давно чудачки; и — болтали: года; в их открытые рты залезали бесята; страдали от этого страшными формами нервных болезней, болтая о подвиге и о таинстве опыта; —

— снова:

проснулся, от посещения чудачка, мне дымящего в нос:

— "Вы ведь, кажется, обещали к статье примечание; так вот я с корректурами..."

И чудак мне сует ту статью, от которой сбежал я шесть лет уж назад: — помню —

— с Нэлли мы возвратились из странствия; а в редакции осведомлялись о рукописи, которую восемь месяцев ранее бросил я здесь; за то время мелькнули: Италия, Африка, Палестина; хотелось что-то поведать о мире, в котором мы были; меня оборвали:

— "Да, да... Только вот... Примечание..."

Вырвался я отсюда; и —

— Брюссель, Кельн, Мюнхен, Христиания, и Берген, и Дорнах —

— опять через шесть уже лет при-

стают с тем же самым:

— "Позвольте, да я не согласен с написанным; это было написано до того, как мы с Нэлли у доктора..."

Вижу, чудак изумляется: изображается — недоумение и вопрос:

— "Что за Нэлли?"

— "Какая такая?"

— "Какой такой Доктор?"

— "И до чего это — до того?"

Озираюсь: зеленые стены, в которые я упал после странного сна; ведь о снах не беседуют. И — что делать: затеиваю с чудачком разговоры о том, о чем мы когда-то (по мнению "чудачка", это было вчера, а по-моему — в прежней жизни), — о чем мы вчера еще только что говорили:

— "Да, да..."

— "Напишу примечание..."

.....

Мир, где я жил за два месяца только, "Иоанново Здание", "Я" в нем, приемлющее невероятные вести о Дорнахе, Доктор — все сон: здесь, в Москве! —

— Не изменилось ничто; те же стены; и тот же все "Я"; Я — один; нет ни Нэлли, ни Доктора; Дорнаха — нет...

Пробежали года.

Застаю я в годах себя вспоминающим, главным образом, Нэлли; все прочее, что поразило меня, — остановилось: картиною воспоминаний, к которым возврата мне нет; доктор Штейнер, события странные, лица людей, с кем годами я жил, — все притягивалось чудесной и фантастичной картиной, как... гобелен; но мечтать о возврате картин было так же нелепо, как и пытаться войти в перспективу изящнейших фресок, пестрящих фон здания; оставалась живою лишь Нэлли; и к ней я тянулся; любил мою Нэлли неуловимо, нежной любовью; она. ее дух, диктовал мне "з а п и с - к и"; я в них погружался из воев хлеставшей зимы, когда ноги мои коченели от холода — в температуре шести только градусов, в шапке, в перчатках, обмакивая шерсть перчаток в чернило, боясь, чтобы чернило не стало бы льдом, я писал их.

Помню сидения мои по ночам, с перегорающей тусклою лампочкой в темной, разбитой, оледенелой Москве после дня перебогов от заседания в заседание, на Смоленский* (за черствой лепешкой)¹, в Пролет-Куль²; помню поиски спичек, дрянных папирос, от которых душил меня кашель; а снег — засыпал нас: он — сыпался, сыпался, вырастая огромною белой стеною, синев от сумерек и отрезая от мира: в ночные часы — вспоминалася Нэлли такую, какою узнал я ее; и — какою была она мне шесть с ней прожитых лет.

Но по мере того, как во мне воскресал ее образ, мой образ в ней — гас; говорили об этом сухие ее, лаконичные письма.

И — ночи росли вокруг меня: длилась ночь.

Посредине огромных пространств опускал мою бедную, одинокую голову, слушая, как там летали метели рыдающим гудом; нападали на окна, на крышу, на стену, дробясь белой пеной, мелькая за окнами шипами, плесками, блесками; и вновь уносились в рыдающем гуде; наметали сугроб и смерзались тяжелою, ледяною броней; ничто наступало, и ничто отступало, и ничто отступало: в ничто.

.....

Знаю: в хлопьями бьющий, холодный, голодный простор прохожу из потоков холодного ледяного простора; иду я по улице, по которой еще не ходил; да, по ней мы пошли; и — возврата не может быть.

Странное полуденное солнце вставало в груди, когда мрак от меня расстилался коперниканским пространством; и за Луную, за Солнцем, за Зодиаком, за всем, что не светит уже, — начиналась: Швейцария; и казалось, прыжок мой до Дорнаха через мировое пространство уже состояться не может никак, если б даже допрыгнул я до покинутого места, дохватившись до почвы, то — все равно: мои руки разжались бы, когда встретил бы я взгляд Нэлли, меня вопрошающей:

* Смоленский рынок в Москве.

— "Ну?"
— "Чего?"
— "Что нужно тебе..."

.....
— "Нэлли, Нэлли!.."

.....
— "Не было Нэлли, нет Нэлли: пригрезилось все".

И я шел через дни по неделям, по месяцам, через годы с неразрешенным сомнением, а в груди высекался упорный огонь; мои лекции освещали другим, а вот — чем освещали? Я нужен был многим, а чем был я нужен? Моей негасимой раной: потерю Нэлли?

.....
И вот я заканчиваю возвращение на "родину", здесь, в этом городе³.

Нэлли я видел недавно; она — изменилась; худая — и бледная.

Мы посиживали с ней в кафе; раза два говорили о прошлом, но мало: ей нет уже времени разговаривать о пустяках:

— "Прощай!"
— "В Дорнах?"
— "В Дорнах..."

И мы распрощались: для утешения и духовного назиданья меня подарила она мне два цикла, прочитанных Штейнером; циклы со мной; Нэлли — в Дорнахе.

Все?

Да... Все.

.....

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РУКОПИСИ ЛЕОНИДА ЛЕДЯНОГО, НАПИСАННОЕ ЧЬЕЙ-ТО РУКОЙ

Этот документ человеческого сознания мне кажется интересным; и с автором документа искал встречи я; раз мы встретились — где-то в кафе; аскетическим, болезненно-нервным я мыслил его; встретил лысого господина, не нервного вовсе, спокойно затрагивающего какой-то вопрос современной литературы; я пытался, как мог, подойти в разговоре с ним к теме "З а п и с о к"; но он отклонял все подходы.

— "Скажите, — спросил я его, — как пришла вам идея "З а п и с о к"? Что вас на нее натолкнуло?"

Но он, зажигая сигару, ответил с улыбкою:

— Не натолкнуло ничто: разве вы отрицаете вымысел?

Скоро беседа коснулась проблем философии, и в этой беседе он высказал очень почтенные, академичные мысли.

Представьте себе: он пил пиво — за кружкой кружку.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

"Записки Чудака" — для меня — странная книга, единственная: исключительная; теперь — ненавижу почти ее я; в ней я вижу чудовищные погрешности против стиля, архитектоники, фабулы любого художественного произведения; отвратительно-безвкусная, скучная книга, способная возбуждать гомерический хохот; о, будь только критиком я, я нашел бы предлог для издевательства над автором этого дикого, чудовищного произведения. И уже: критика упражняется в остроумии: уже один Критик, добрейший, прекраснейший человек, кипел негодованием: автор-де возомнил себя гениальным. Да, как критик господин Критик — весьма недалек, скажу более — глуп: он не понял, что здесь пишу о себе, издеваясь зло над событиями, болезненно прошумевшими над судьбою моею; пишу то не я, Андрей Белый, а — пишет Чудак, "идиот", перепутавший планы глубиннейшей внутренней жизни. В основе всех мыслей лежит мысль: каждый человек гениален в ядре "Я", живущего в нем, и — следовательно: гениален в том смысле и я, Андрей Белый, — в той мере, в какой гениален Петр Сидоров, Андрон Поликарпов; и — прочие... Лейтмотив "Чудака" — болезненная перепутанность психологии, вписывающей в брэнную и бездарную личность дары Духа "Я", над-индивидуального "Я". Возмутившийся Критик — человек недалекий как критик. Он возмущается "Чудаком"; следовательно: моя цель — в совершенстве достигнута: герой повести — психически ненормален; болезнь же, которой он болен, — свидетельствую: болезнь времени; "mania grandiosa"* больны очень многие, не подозревающие о болезни своей.

Почему же я "Чудака" своего ненавижу? Да потому, что люблю я его так же, как люблю себя; здесь свидетельствую: в "Записках" нет строчки, которую я бы не пережил сам так именно, как переживания свои изобразил. В том смысле "Записки" — единственно правдивая моя книга; она повествует о страшной болезни, которой был болен я в 1913—1916 годах. Но я, проходя чрез болезнь, из которой для многих исхода нет, — победил свою "mania", изобразив объективно ее; эта "mania" есть врата, чрез которые проходит "Я" всякого к осознанию в себе над-индивидуального "Я"; и сумасшествие — подстерегает здесь. Я прошел сквозь болезнь, где упали в безумии

* Мания величия (лат.).

Фридрих Ницше, великолепнейший Шуман и Гельдерлин. И — да: я остался здоров, сбросив шкуру с себя; и — возрождаясь к здоровью.

Вы, господин возмущившийся Критик, — человек хороший (но — "глупый" критик), своим возмущением против "mapia" выразили тот именно жест, который во мне диктовал эту "сатиру" на ощущения "самопосвящения".

"Записки Чудака" — сатира на самого, на пережитое лично. Поэтому-то ненавижу я эту "книгу", как ненавидят воспоминания о минувшей болезни. Но поскольку болезнь моя — болезнь века, болезнь, которой больны бессознательно многие, постольку же сквозь отвращение к "книге" люблю я "Записки", как правду болезни моей, от которой свободен я ныне. Критикам, пишущим "критики", надо еще прожить лет этак двести до искусов болезни моей; по отношению к ней эти "критики" — невинные молокососы.

Ну, — я сказал: полагаю, что и тут остаюсь непонятым.

Берлин, Сентябрь
1922 г.

Андрей Белый

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предисловие к неосуществленному изданию
романа "Котик Летаев"

В разговоре с известным геологом я был живо заинтересован однажды его мнением: возможно изучение наших переживаний на фоне знания нашего о древнейших фазах органической жизни, т. е. возможна *палеонтологическая психология*; помнится, в разговоре с геологом я высказал предположение: не есть ли миф о драконе — смутная родовая память о встречах с икопаемым птице-ящером (птеродактилем); эта мысль — не встретила возражения со стороны профессора геологии.

В романе Джека Лондона встречается нас та же мысль: сон о падении не есть ли вписанный в инстинкт период жизни на деревьях?¹

Психофизиологические ощущения роста, прорезывания зубов и т. п. и есть та *палеонтология*, которая введена каждому: это — детство; не каждый лишь живо помнит (у одного память короче, у другого длиннее): меня поразило факт: один эпизод моего детства, который я 20 лет считал кошмаром, оказался фактом; но восприятие факта было иное, чем сам факт; тема "К о т и к а" есть почерк: *дети иначе воспринимают факты*; они воспринимают их так, как воспринял бы их допотопный взрослый человек. Вырастая, мы это забываем; проблема умения, так сказать, вырнуть в детскую душу связана с умением раздуть в себе наемк на угаснувшую память — в картину.

Это и есть тема "Котика".

Есть ли подсознательная *память*? Наука отвечает: "Есть" (в состоянии гипноза человек воспроизводит речь на неизвестном языке, когда-то слышанную, но забытую в сознании); ребенок начинает сознавать еще в полусознательном периоде; он сознает, например, процессы роста, обмена веществ, как своего рода мифы ощущений; взрослый — не сознает; и оттого: взрослый в 80 (-ти)% забывает то, что с особенной живостью он же переживал младенцем; он забывает, например: всякую метафору он переживал, как реальность; отсюда — органический мифологизм, сон наяву, от которого позднее освобождается сознание (после 4-х лет); сперва ребенок верит в реальность метафорических мифов; потом — играет в них (период "сказки"); и потом уже: ребенок мыслит абстракциями. Эта *палеонтология* сознания впоследствии во взрослом вполне лежит уже за порогом сознания; ребенку этот порог полуоткрыт так же, как и *темь его еще не заросло*.

К стыду взрослых, они, перевлеченные кругом собственных интересов, слишком забывают детство в себе; память у них часто недопустимо укорачивается.

Вторая тема "*Котика*", обоснованная научно: порог сознания — подвижим; память — укрепляема и расширяема; забытое сознанием при упражнении с вниманием и памятью извлекаемо из-под порога сознания; художники особенно любят извлекать этот палеонтологический инвентарь; вспомните Пушкина: "*Я понять тебя хочу, темный твой язык учу*"²; знать ребенка надо; а это значит: знать генезис в нем взрослого; думать, что 3-летний думает по логике Аристотеля, — просто глупость; фактически почти каждый отец проводит эту глупость в жизнь; и, говоря "*Он упал в обморок*", не объясняет ребенку метафоры "*упал*"; ребенок же думает: обморок — нечто вроде погребя, куда падают; и миф — готов.

Природа наделила меня необыкновенно длинной памятью: я себя помню (в мигах), боюсь сказать, а — приходится: на рубеже 3-ьего года (двух лет!); и помню совсем особый мир, в котором я жил.

Я помню, например, бредовые кошмары, вызванные скарлатиной (на рубеже 3-ьего года); именно в период этой болезни — начало становления моего "*я*"; так первая глава "*Котика*" зарисовывает этот скарлатинный период; вторая — месяц следующий, т. е. выздоровление; и лишь с 3-ей главы обычное начало "*первых лет жизни*"; чем я виноват, что у меня *не короткая память*, что природа наделила меня способностью помнить трудноописуемые в слове более ранние моменты становления сознания, которые и явились своеобразным основным фоном последующих лет? Четырехлетний, я уже припоминаю себя, двухлетнего; и в этой редакции *четырёхлетнего* я, уже взрослый, имею суждение о более ранней фазе моей жизни, обычно угаснувшей (что делать, — уродство, подобное несросшемуся темени); по-моему же: лучше выступать из нормы *долгою* памяти, чем *короткостью*.

Но в моих "*субъективных*" бредах есть далеко не субъективный и наукою еще не до конца изученный материал; например: анкета кошмаров показывает: мою "*старуху*"³ знают многие дети (вероятно, — какая-нибудь физиологическая особенность, связанная с "*ростом*"); что явления "*роста*" воспринимают младенцы, что потом восприятие атрофируется, — тоже факт, а не "*мистика*": факт, вероятно, ученые нам осветят. Вообще: должен сказать, что темнота переживаний — не темнота мистики, а темнота естественного феномена: темнота эпохи становления всякого "*я*"; и — память о ней: она скорее говорит о ясности сознания взрослого, помнящего свою темноту.

Геккель⁴, перенесенный в душу, и Гегель, или история становления культурных фаз мысли, освещенный в свете Геккеля, — вот примысл к "*Котику*": рабочая гипотеза, оформляющая мне факты моей памяти. Ничего трансцендентного в "*Котике*" нет; все — имманентно, не элейцы⁵, не "*мистики*", скорей Гераклит, Аристотель, Гегель и Геккель реяли над моей мыслью, погруженной в воспоминания своего, неведомого детства, когда я стоял перед темой "*Котика*".

Считаю это нужным подчеркнуть.

Андрей Белый
1928 г. Ноябрь. Кучино.

- Арабески — Белый Андрей. Арабески. Книга статей. М.: Мусарет, 1911.
- Воспоминания — Белый Андрей. Воспоминания о Штейнере. Paris, 1982.
- Восток — Запад — Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988.
- Даль — Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1981—1982.
- Л Н — Литературное наследство. Т. 27—28. Символизм. М.: Журнально-газетное объединение, 1937.
- Материал к биографии — Белый Андрей. Материал к биографии (интимный) // Минувшее. Исторический альманах. Т. 6, 8, 9. М., 1992.
- Между двух революций — Белый Андрей. Между двух революций. М.: Художественная литература, 1990.
- Минувшее — Минувшее. Исторический альманах. М., 1992.
- На рубеже — Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М.: Художественная литература, 1989.
- Начало века — Белый Андрей. Начало века. М.: Художественная литература, 1990.
- Познание — Штейнер Рудольф. Как достигнуть познания высших миров? Ереван: Ной, 1992.
- Ракурс к дневнику — Белый Андрей. Ракурс к дневнику (январь 1899 г. — 3 июня 1930 г.). Автограф // РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100.
- РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.
- Собр. соч. — Белый Андрей. Собрание сочинений. М.: Республика; собрание не закончено.
- Штейнер — Штейнер Рудольф. Полн. собр. соч. на нем. яз., издаваемое в Дорнахе с 1956 г.; собрание не закончено.

В настоящей том Собрания сочинений Андрея Белого включены "автобиографические" романы писателя "Котик Летаев" (опубл. 1918), "Крещеный китаец" (1921) и "Записки чудака" (1922). Первые два развились из замысла "эпопеи" "Моя жизнь", которая была задумана в Швейцарии в 1915 г. и во многом обусловлена антропософскими увлечениями Белого. Сам автор подчеркивал в плане Собрания сочинений 1925 г., что "Котик Летаев" и "Преступление Николая Летаева" (первоначальное название "Крещеного китаец") — куски ненаписанной "эпопеи", которую некогда хотел назвать "Моя жизнь": "Следует <их> объединить под общим заглавием "Котик Летаев". В свою очередь, "Записки чудака", первоначально задуманные в 1918 г. как самостоятельная повесть, уже в предисловии к ним, помеченном февралем 1919 г., названы вступлением "к огромному произведению, долженствующему развиться в ряд частей или, быть может, "томов" (Записки Мечтателей. 1919. № 1. С. 11). Поэтому при печатании это "вступление" получило заглавие: "Эпопея "Я". Часть первая. Возвращение на родину".

Как это сплошь и рядом случалось с Белым, задумываемые им многотомные циклы не доводились до конца и рассыпались на отдельные произведения. И хотя три представленных здесь романа имеют разную родословную и принадлежат различным замыслам ("Моя жизнь" и "Эпопея "Я"), в сознании читателя они объединяются общностью автобиографического материала и грандиозностью творческой задачи осмысления жизни человека в космическом контексте.

При составлении комментариев были использованы комментарии А. В. Лаврова к книгам Андрея Белого "На рубеже двух столетий" (М., 1989), "Начало века" (М., 1990), "Между двух революций" (М., 1990), С. И. Пискуновой к "Воспоминаниям о Блоке" (М., 1995), С. И. Пискуновой, В. М. Пискунова к "Воспоминаниям об Андрее Белом" (М., 1995), обзор К. Бугаевой, А. Петровского (Д. Пинеса) "Литературное наследство Андрея Белого" (Литературное наследство. Т. 27—28. Символизм. М., 1937), "Хронологическая канва жизни и творчества Андрея Белого", составленная А. В. Лавровым (*Белый Андрей*. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988), а также Библиография Андрея Белого, составленная Н. Г. Захарченко и В. В. Серебряковой (Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель. М., 1979. Т. 3, ч. 1), продолженная М. А. Бениной, которая охватывает в своем библиографическом обзоре десятилетие — с 1976 г. по август 1989 г. (*Белый Андрей*. Проблемы творчества), и Г. А. Мамонтовым, хронологически продолжающим вышезачеленные обзоры (он доведен до 1993 г. и опубликован в виде компьютерного набора).

Комментарии, как и в предыдущих томах Собрания сочинений, носят по преимуществу историко-литературный и библиографический характер.

Сноски в тексте — авторские, за исключением переводов иноязычных текстов.

КОТИК ЛЕТАЕВ

Над романом "Котик Летаев" Белый работал с октября 1915 по январь 1916 г. Отдельные главы, в переработанном виде, печатались в "Биржевых ведомостях" (от 2 мая 1916 г.) и в "Русских ведомостях" (от 13 ноября, 4 и 25 декабря 1916 г.). Полностью "Котик Летаев", с подзаголовком "Первая часть романа "Моя жизнь", был напечатан в сборниках "Скифы" I (1917 г.) — гл. I—IV и II (1918 г.) — гл. V—VI. Отдельное издание романа появилось в 1922 г. в петроградском издательстве "Эпоха". Подзаголовок в нем был снят.

Существует неопубликованный переработанный вариант романа, подготовленный в 1928 г. для издательства "Никитинские субботники".

Текст печатается по: *Белый Андрей*. Котик Летаев. Пг.: Эпоха, 1922.

ПРЕДИСЛОВИЕ

¹Эпиграф — слегка измененные слова Наташи Ростовской в романе Л. Н. Толстого "Война и мир".

²Мотив стояния "в горах" ("на горах"), навеянный проблемной для Белого книгой Ф. Ницше "Так говорил Заратустра" (1883—1884), проходит через все творчество писателя. Ср. стихотворение "На горах" (1903, сб. "Золото в лазури"); ср. статью "Круговое движение" (1912): "Из синеватой дали на Базель устались великаны — Ницше странствовал по горам. Попирал их тела. Видел гнома и Саламандру. Глухонемая громада открывала певцу свои земляные дали: обрывала песню головокружением склона. А по склону ползла злая тень Заратустры..." (Труды и дни. 1912. № 4—5. С. 52).

³Тема "нисхождения" в бездну с вершины жизни здесь явно резонирует с зачином "Божественной комедии" Данте (1321), что подчеркнуто совпадением возрастов авторов (35 лет) — середина жизни (ср. у Данте в переводе М. Лозинского: "Земную жизнь пройдя до половины..." и у Белого далее: "Через тридцать пять лет уже вырвется у меня мое тело..."). Главное же сходство Белого с Данте состоит в том, что путь нисхождения символически трансформируется в путь восхождения (см. в "Эпilogе" "Котика Летаева": "...мир — лестница расширений моих; по ступеням ее я восхожу...").

ГЛАВА ПЕРВАЯ

¹Эпиграф — слегка измененная строка из стихотворения Ф. И. Тютчева "Тени сизые смешались..." (1836).

²Речь идет о первой — "тепловой" — стадии формирования Вселенной, соотносимой в антропософии с Сатурном (Сатурн, согласно теософскому и антропософскому учению, — первоначальная стадия развития мира, через которую некогда прошла Земля, будучи еще "тепловым телом"). "Протекал первый день — назывался "Сатурном", — пишет Белый в "поэме о звуке" "Глоссолалии" (Берлин, 1922. С. 39). Здесь и далее Белый использует учение Р. Штейнера о тождестве этапов становления самосознающего "я" и этапов целенаправленного становления космоса, а также этапов становления человеческой культуры. Позднее, камуфлирую антропософский каркас "Котика Летаева", Белый попытался истолковать свои младенческие "тепловые" ощущения в прозаическом, натуралистическом аспекте: "...автор зарисовывает интересный случай проблесков сознания, складывающихся в сорокаградусном жару, в момент кори; далее отчетливый момент сознания между корью и scarлатиной; далее — scarлатинный жар (в тексте повести — солнечная стадия формирования вселенной. — В. П.); и после него первый взгляд на детскую комнату уже в условиях нормальной температуры (выздоровление). Но, взяв в принципе точку зрения младенца, не ведающего, что он болен и что переживаемое им есть жар, автор пытается средствами сознания взрослого передать особенность жарового состояния младенца так, как память ему доносит о них; но все же: он лапидарно оговаривает то обстоятельство, что был болен корью и scarлатиной.

Случай этот — мой случай, и время — на рубеже третьего года; это — осень 1883 года; 27 октября нового стиля мне минуло три: заболел же я в начале октября, когда мне было всего два года; очень редкая память; и очень исключительные условия, в которых она рождалась.

Этот случай должен возбудить чисто научный и художественный интерес, ибо он не есть выдумка "декадента", а документ сознания" (На рубеже е. С. 178—179).

³Матери — мифологические существа, богини, пребывающие вне мира, пространства и времени — в изначальной пустоте, в "ничто", сотворенные в основном фантазией Гете, которий, в свою очередь, отталкивался от одного из мест "Жизнеописаний" Плутарха.

Матери символизируют "вечный смысл" бытия, который "стремится к вечной смене // От воплощения к перевоплощению" (пер. Б. Пастернака). Пребывая у священного треножника, они созерцают "сущностей чертеж". О нисхождении Фауста, ведомого Мефистофелем, в обитель Матерей повествуется в первом акте второй части "Фауста".

⁹От слова "титаны" (греч. миф.). Так именовались сыновья Урана-Неба и Геи-Земли, первые жители земли, сброшенные отцом в бездонную пропасть Тартара. Белый отождествляет их с гигантами, живущими позднее. И титаны, и гиганты преимущественно связаны с хтоническим "нижним" миром — землей, подземными или водными стихиями. С ними же связаны и змеи (не случайно у одного из гигантов, Тифона, вместо ног вились клубки змей).

¹⁰Строки из стихотворения Пушкина "Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы" (1830).

¹¹Характерной чертой египетской мифологии является обожествление животных. Со временем в образах многих богов Древнего Египта слились зооморфные и человекоподобные черты: так, бог Апис изображался в облике человека с головой быка, бог Анубис — человека с головой шакала и т. д. На стенах ходов внутри пирамид нередко изображались ритуальные шествия: жрецы, ряженные богами, ведут душу умершего в загробный мир.

¹²Имеется в виду врач-педиатр Родионов, лечивший маленького Борю: "...первый мой бред предстает в виде доктора Родионова, "бытовика", принявшего образ... Минотавра" (На рубеже с. С. 183).

¹³Архитектурный элемент: вместе с фризом и карнизом образует антаблемент — верхнюю горизонтальную часть здания, опирающуюся на колонны.

¹⁴Герой, победивший чудовищного получеловека-полубыка Минотавра.

¹⁵Площадь в районе улиц Арбат и Б. Молчановка, возникшая, по преданию, на месте Псарного, или Собачьего, двора для царской охоты. Была уничтожена в связи с прокладкой по ее территории проспекта Калинина (ныне — Новый Арбат).

¹⁶"Лев от колена Иудина" снимает в Апокалипсисе печати с Книги, в которой заключено Откровение о грядущей гибели мира.

¹⁷Ср. образ "женщины в черном" (из 2-й "симфонии") — отражающейся в зеркале родственницы "философа". "Сама Вечность в образе черной гостьи разгуливала вдоль одиноких комнат, садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах, по-вечному, по-родственному". В "Котике Летаеве" Белый возвращается к образам предшествующих произведений, выстраивая рядом с ритмами эволюции своего "я" — эволюции человечества — эволюции космоса, тождественную им систему: стадиальную картину собственного творчества.

¹⁸Анаксимандр (около 610 — после 547 до н. э.) — древнегреческий натурфилософ, исходивший в своей космологии из представления о "бесконечном объемлющем" — пространственно безграничном телесном континууме, "объемлющем" космос извне после его рождения и поглощающем его после гибели.

¹⁹Цитата из стихотворения И. И. Козлова "На погребение английского генерала сира Джона Мура" (1825).

²⁰Согласно учению древнегреческого философа Гераклита (кон. VI — нач. V в. до н. э.), мир — это "вечно живой огонь, мерно загорающийся и мерно потухающий".

ГЛАВА ВТОРАЯ

¹Эпиграф — заключительные строки стихотворения А. К. Толстого "На гребле неровной и тряской..." (1840-е гг.).

²Имеется в виду дом Н. И. Рахманова на пересечении Арбата и Денежного переулка (Арбат, 65), в котором Б. Бугаев родился и прожил первые двадцать шесть лет своей жизни (до лета 1906 г.): "...белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый круглым подобием башенки: три этажа" (Начало века. С. 112).

³Бог огня и кузнечного дела.

⁴Под этим, связанным с темой "титанности", именем изображен Александр Андреевич Тихомиров (1850—1931), ученый-зоолог, специалист в области пчеловод-

ства, многолетний ректор Московского университета, близкий знакомый Н. В. Бугаева.

⁷Так именуется в романе Иван Иванович Янжул (1846—1914) — экономист и статистик, академик Петербургской АН, многолетний сосед Бугаевых по этажу.

⁸Под этим именем выведена Мария Ивановна Лясковская (ум. 1910), вдова профессора химии Н. Э. Ляковского, крестная мать Б. Бугаева: "...зарисовывая Аполлона Аполлоновича Аблеухова, я взял моделью наверно М. И. Лясковскую: в сухости, черствости, во внешнем виде <...> Марью Ивановну чтили ужасно; пасла нас железным железом; церемониймейстер профессорской жизни; вернее: церемониймейстер целого отделения физико-математического факультета" (На а р у б е ж е. С. 109—110).

⁹Мелкое сито для просеивания муки.

¹⁰Миф об Орле — властелине Вечности и хозяине Эдема — Белый начал творить еще в 3-й "симфонии" (1905).

¹¹Антропософский термин, означающий пограничную область, где происходит столкновение бессознательного с сознательным и переработка "памяти о памяти" в образы сознания.

¹²Цитата из поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" (1820).

¹³Неологизм, образованный от слов херувимской песни "Дори носима чинми..." ("Носимый на копьях"), которая сопровождает таинство евхаристии (Святого Причастия).

¹⁴Женщина в каждом приходе, приставленная для печенья просвиры" (Д а л ь. Т. 3. С. 508).

¹⁵Троицкая церковь на Арбате впервые упоминается в документах XVI в.; в 1739—1750-е гг. была перестроена архитектором И. Ф. Мичуриным. Снесена в 30-е гг. нашего века. В настоящее время на ее месте высятся крыло высотного здания на Смоленской площади.

¹⁶Крамер Иоганн Баптист (1771—1858) — немецкий пианист, композитор и педагог. Его этюды включались в пособия для развития фортепьянной техники.

¹⁷Черни Карл (1791—1857) — австрийский пианист, педагог и композитор. Автор популярного сборника музыкальных упражнений — "Этюдов".

¹⁸Благотворительное учреждение, созданное в 1803 г. для содержания вдов, мужа которых прослужили на военной или гражданской службе не менее 10 лет. Располагалась в здании на Садово-Кудринской улице (д. 1), сооруженном в 1775 г. по проекту Н. Д. Жилярди. Ныне в здании Вдовьего дома находится Центральный институт усовершенствования врачей.

¹⁹Возможно, ошибка Белого, смешавшего орфиков — последователей орфизма, религиозно-мистического учения, возникшего в VI в. до н. э. в Аттике, с офитами — гностической сектой, возникшей в Сирии в середине II в. и связанной с теософскими сектами Египта. Особую роль в ритуалах офитов играла змея — *ophis*, отсюда и название секты. Недаром в дальнейшем у Белого говорится о "мирах изначальной змеи".

²⁰Мифические фригийские жрецы, участники экстатических ритуальных богослужений.

²¹Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, развивавший учение о воде как основе всего мироздания и жизни.

²²Эмпедокл из Акраганта (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ, сочетавший материалистическую натурфилософию с учением орфиков и пифагорейства о бессмертии души и о метемпсихозе. Согласно преданию, покончил с собой, бросившись в кратер вулкана Этна.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

¹Эпиграф — строки из стихотворения А. А. Фета "Измучен жизнью, коварством надежды..." (1864?).

²Грот Яков Карлович (1812—1893) — филолог, академик Петербургской АН. Автор трудов по скандинавскому фольклору и мифологии, по русской литературе, грамматике и лексикологии. Установил нормы русского правописания, сохранившиеся до орфографической реформы 1918 г.

³Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — филолог и искусствовед, академик Петербургской АН. Автор трудов в области славянского и русского языкознания, древнерусской литературы и фольклора, древнерусской живописи.

⁴Обращение к А. А. Тургеневой, которой адресован сборник "Королева и рыцари", составленный из стихов 1909—1915 гг.

⁵Измененные строки фетовского перевода стихотворения Гейне "Ich hab' im Fraum geweinet". У Фета:

Я плакал во сне; мне снилось,
Что ты растаешь со мной, —
И я проснулся — и долго
Катилися слезы рекой.

Я плакал во сне; мне приснилось,
Что ты меня любишь опять,
И я проснулся — и долго
Не в силах я слез был унять.

⁶Лагранж Жозеф Луи (1736—1813) — французский математик и механик. В тексте Белого имеется в виду классический трактат Лагранжа "Аналитическая механика" (1788), в котором установлены "простые" и "всеобщие" принципы механики.

⁷Жезл, брошенный — во время состязания с египетскими жрецами в чудотворстве — ветхозаветным первосвященником Аароном к ногам фараона и превратившийся в змею (Исход, 7, 10). О значении этого символа для Белого свидетельствует и тот факт, что в 1917 г. он пишет большую программную работу, давая ей название "Жезл Аарона. О слове в поэзии".

⁸Вероятно, прообразом изображаемой далее семейной драмы послужила семейная история подруги матери Белого Е. И. Гамалей (по первому мужу) — Черновой, московской красавицы. Разойдясь с мужем, она переехала в Петербург и вышла замуж за оперного певца А. Я. Чернова (в повести — тенора Огнева). "Скоро мать обрела себе подругу по балам, — вспоминал Белый, — куда естественно выпорхнула из нашей квартиры; дом подруги и увозы ею матери на балы, в театры и т. д. вызывали изредка короткие реплики отца: "Они, Шурик мой, — лоботрясы" (Н а р у б е ж е. С. 102).

⁹Из трех коллег Н. В. Бугаева по мемуарам Белого удалось идентифицировать двоих: Василисимов — профессор Московского университета, историк математики Бобынин, бывавший в доме Бугаевых; Брабаго — казанский знакомый Н. В. Бугаева Дмитрий Иванович Дебяго (1849—1918), астроном, основатель и первый директор обсерватории им. В. П. Энгельгардта около Казани (1901—1918), автор трудов по теоретической астрономии и астрометрии.

¹⁰Конгруирует (от лат. congruens — соответствующий) — совпадает, соответствует.

¹¹Поповский пассаж — словесная игра "Петровский — Поповский" восходит к 2-й "симфонии".

¹²Калигула Гай Цезарь (12—41) — римский император, требовавший, как о том пишут римские историки, чтобы ему воздавались божеские почести, и распространивший слухи о своем личном контакте с богами.

¹³Старший из титанов.

¹⁴Так Белый обозначает дом Старицкого на Арбате, расположенный напротив дома Рахманова, — "двухэтажный, оранжево-розовый, с кремом карнизных бордюров и с колониальным магазином "Выгодчиков" (Н а ч а л о в е к а. С. 117).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

¹Эпиграф — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева "О чем ты воешь, ветр ночной?.." (1830-е гг.).

²Брандмауэр — стена из огнеупорного материала, разделяющая — в противопожарных целях — смежные строения или части одного строения.

⁹Персонажи устных импровизаций Н. В. Бугаева. "Меня поражало в отце сочетание непредвзятости с резким пристрастием <...> — страсть к ясным формулировкам, уживающаяся со страстью к дичайшим гротескам, подносимым под видом сочиненного каламбура, порою развертывающегося в рассказ, как-то: "О Халдее и жене его, Халде", "О костромском мужике", "О Магди" и т. д.

Тут "чужак" в нем скликался со мной" (На рубеже. С. 54).

¹⁰Брат Н. В. Бугаева — Георгий Васильевич Бугаев — по определению Белого, "выпадыш" из профессорского быта, "опрокидыватель традиций", "чужак", отказавшийся от блестящей адвокатской карьеры: "...он — видел рубеж: видел даже он бездну, в которую должны свалиться устои <...> а не знал, куда выметнуться ему со всей жизнью" (На рубеже. С. 149). Далее изображен под именем Афанасия Васильевича Летаева.

¹¹То есть до всемирного потопа: согласно библейскому преданию (Бытие, 8), ковчег Ноя, на котором он спасался от потопа со своей семьей и разными тварями, пристал к "горам Араратским".

¹²То есть в конце Арбата. Магазин парфюмерии фирмы "Безбардис" находился в районе Арбатской площади, для маленького Котика — на краю света.

¹³Цари из династии Ахеменидов, правящей в Персии в VI—IV вв. до н. э.

¹⁴Под этим именем в романе фигурирует Максим Максимович Ковалевский (1851—1916) — социолог, историк, юрист, профессор Московского университета, долгие годы живший и преподававший в Париже, где им была создана Высшая школа социальных наук. Академик Петербургской АН (1914). Член I Государственной думы, член Государственного совета (с 1907 г.). Был шафером на свадьбе родителей Б. Бугаева, часто посещал их дом.

¹⁵Китченер Гораций Герберт (1850—1916) — английский фельдмаршал, в 1914—1916 гг. — военный министр.

¹⁶Ср. с эпизодом явления Металлического Гостя в каморку Дудкина в романе "Петербург".

¹⁷То есть в Демьянове — имении юриста В. И. Танеева в Клинском уезде Московской губернии, где Белый проводил лето в 1884—1889 и 1894 гг. "Демьяново (под Клином) — родное место: здесь вырос я" (На рубеже. С. 163).

¹⁸Имеется в виду Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900) — историк, публицист, автор трудов по истории реформ 60—70-х гг. XIX в. и по армянскому вопросу. В мемуарах Белый вспоминает: "Особенно помню премилого чернобородого горбуна в красной рубахе, являвшегося гостить, — автора "Эпохи великих реформ", Г. А. Джаншиева, приятеля дома танеевского <...> в фантазии моей, где под влиянием Андерсена и Гримма копошились всякие карлики, великаны и горбуны, Григорий Аветович сложил миф о "горбуне", которого я в детстве переживал уютно" (На рубеже. С. 165—166).

¹⁹Герой старофранцузского эпоса "Песнь о Роланде".

²⁰Ария из оперы А. Г. Рубинштейна "Нерон" (1876).

ГЛАВА ПЯТАЯ

¹С Ренессансом — эпохой Возрождения — Белый (как и наука его времени) связывал начало формирования индивидуальности, считая Ренессанс второй — после времен раннего христианства — отправной точкой становления "самосознающей души". Вместе с тем он видел в Ренессансе и зародыш трагического "грехопадения" новоевропейской личности: "...высота вознесения "я" <...> привела к ужасающему утолщению этой личности вместе с расширением "я", к утолщению аппетита личности, занявшей пожиранием себе подобных и этим сорванной с центра своего мирового стояния, как дара природы, в ужасное метание по неизвестным пустотам астрального (звездного) мира..." (Рукопись "История становления самосознающей души". С. 397).

²Эпиграф — строки из пятой главы романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

³Периоды развития итальянского искусства Возрождения (соответственно XIV и XV вв.).

⁴Дарбу Жан Гастон (1842—1917) — французский математик, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1895).

⁵Пуанкаре Жюль Анри (1854—1912) — французский математик, физик и философ, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1895).

⁶Вейерштрасс Карл Теодор Вильгельм (1815—1897) — немецкий математик, иностранный член-корреспондент (1864) и почетный член (1895) Петербургской АН.

⁷В реальности — Староносов. "Староносов был городской: стоял годы под нами, в скрещении Арбата и Денежного, — сизоносый, багровый, моржовые усы прятал в пубу; на святках ее выворачивал, вымазав сажей лицо, и плясал по всем кухням" (Начало века. С. 114).

⁸Староносову принадлежала галантерейная лавка на Арбате.

⁹Парменид (ок. 540 — ок. 470 до н. э.) — древнегреческий философ, автор философской поэмы "О природе", развивавший — в противоположность Гераклиту — учение о единстве и неподвижности бытия.

¹⁰Согласно учению древнегреческого мыслителя и математика Пифагора Самосского (VI—нач. V до н. э.), космос представляет собою ряд небесных сфер, каждая из которых обладает собственным музыкальным звуком, а расстояние между сферами соответствует гармоническим музыкальным интервалам.

¹¹Умов Николай Алексеевич (1864—1915) — выдающийся русский физик, у которого учился Белый. "Лекции Умова по механике напоминали мне космогонию; ход физической мысли делался воочию зримым; формулы вылеплялись и выгранивались как почти произведения искусства <...> — вспоминал Белый. — Огромная область физики была им высечена перед нами, как художественное произведение, единообразное по стилю; мы почти видели, как из хаоса молекулярных биений сваявалась предметность обставшей видимости" (Нарубеже. С. 82).

¹²Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918) — историк западноевропейской литературы, представитель культурно-исторической школы и сравнительно-исторического метода в литературоведении. Профессор Московского университета (1881), почетный академик Академии наук (1906).

¹³Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899) — психолог и философ, автор трудов по экспериментальной психологии. Вспоминая об отце, Белый пишет: "Считалось, что он дружит с Троицким; дружбы не было; была традиция: подчеркивать эрудицию Троицкого, подчеркивать им свое "да" английскому эмпиризму в пику "германскому идеализму" (Нарубеже. С. 173).

¹⁴Усов Сергей Алексеевич (1827—1886) — зоолог, профессор Московского университета, ближайший друг семьи Бугаевых и крестный отец будущего писателя. "...Усов был крупным центром Москвы в семидесятых и восьмидесятых годах: прекрасный ученый и эрудит, много думавший над философией зоологии, блестящий лектор, любимый студентами, он один из первых твердо водрузил знамя Дарвина в Московском университете <...> Размах фигуры этой меня поразил в детстве" (Нарубеже. С. 116—117).

¹⁵Спич (от *англ.* speech) — речь; пикули — мелкие овощи, маринованные в уксус с пряностями.

¹⁶Прототип А. П. Помпул — Екатерина Ивановна Янжул, жена И. И. Янжула (см. комментарий 5 к главе второй).

¹⁷Личинка хвостатых земноводных.

¹⁸Врач, друг Дмитрия Егоровича Егорова, деда Б. Бугаева по матери.

¹⁹Иноземцев Федор Иванович (1802—1869) — врач и общественный деятель, основатель научной школы. Развивал физиологическое направление в клинической медицине. Первым в России (1847) произвел операцию под наркозом.

²⁰Плевако Федор Никифорович (1842—1908/09) — адвокат, выступавший защитником на многих крупных политических процессах.

²¹Популярный напев — устный вариант дуэта К. П. Вильбоа — на слова стихотворения Н. М. Языкова "Пловец".

²²Город на Урале, центр торговли тканями, кожей, пушниной, где ежегодно с первой половины XVII в. по 1930 г. проводились знаменитые Ирбитские ярмарки, занимавшие по товарообороту 2-е место в Российской империи после Нижегородских.

¹Эпиграф — строки из стихотворения Вл. Соловьева "Песня офитов" (1876).

²Строки из романа А. Е. Варламова "Напоминанье".

³Под этой фамилией в повести фигурирует семья профессора Стороженко. "Дом Стороженок, — вспоминал Белый, — встает предо мной, как типичный для этого круга людей возрождения (не-"математиков"); в нем я учился разглядывать карикатурный гуманизм; и — кроме того, в нем учился играть я с детьми. Я ведь был одинок: не умел разговаривать; даже играть не умел, как другие (играл я по-своему); у Стороженок учился я играть" (На рубеже с. С. 133—134). Николай Ильич Стороженко (1836—1906) — близкий, многолетний друг отца Б. Бугаева, литературовед, автор работ по русской, украинской, западной литературам. С 1872 г. возглавлял кафедру всеобщей литературы в Московском университете, с 1894 г. — председатель "Общества любителей российской словесности". Член-корреспондент Петербургской АН (1899). Основатель научного шекспироведения в России. О жене профессора Стороженко Ольге Ивановне Белый писал в мемуарах: "...весь дом был на ней; с ней считались; высокая, очень красивая, стройная и порывистая, мне сочетаньем являлась она темпераментных увлечений со строгостью здравого смысла и бурных стремлений" (На рубеже с. С. 136). Маруся Стороженко, выведенная в повести под именем Сони Дадарченко, — первая детская любовь Б. Бугаева: "...мне было прислугою внушено, что Маруся Стороженко — моя невеста; я поверил этому: и убедил себя, что в Марусю влюблен; даже сообщил это Марусе; в этом сообщении было много наивного; а в игре в любовь этой все было легко, певуче и чисто (...) В ответ на мое заявление о том, что я Марусин жених, Маруся ответила мне, что ее жених не я, а Леда Сизов (сын В. И. Сизова, заведующего Историческим музеем).

Тем дело и ограничилось" (На рубеже с. С. 216—217).

⁴Здесь: вино для причастия.

⁵Склифосовский Николай Васильевич (1836—1904) — хирург, внесший значительный вклад в отечественную травматологию.

⁶Название подкладки и вся она в целом пронизана аллюзиями и цитатами из поэмы М. Ю. Лермонтова "Демон" (1841).

⁷Возможно, имеется в виду один из арбатских домовладельцев, Мишель Комаров, следующим образом описанный Белым: "...поджарый, стареющий, прежде гусар и тандор, похищающий женщин, жен, тоже с похищенной женою, венгеркой, склоняет колено здесь (в Троице-Арбатской церкви); после — катает венгерку, жену, в шарабане с английскою упряжью; и стоит говор: "Поехал Мишель Комаров в шарабане английском: катает венгерку, жену" (Начало века. С. 116).

⁸Распространенный в середине века магический знак — правильный шестиугольник. Служил знаком макрокосмоса, отраженного в микрокосмосе.

⁹Неточно процитированные строки из стихотворения А. С. Пушкина "Пророк" (1826).

КРЕЩЕНЬИ КИТАЕЦ

Впервые опубликовано в 1921 г. в № 4 альманаха "Записки мечтателей" под заглавием "Преступление Николая Летаева. ("Эпопея" — том первый). Крещеньи китаец. Глава первая". Публикация была сопровождена следующим предисловием от автора:

"ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

"Преступление Николая Летаева" — первый том серии томов "Эпопеи", задуманной автором; в нем изображено детство героя в том критическом пункте, где ребенок, становясь отроком, этим самым свершает первое преступление: грех первоуродный, наследственность проявляется в нем.

В изображении ребенка, конечно, я пользовался и своими детскими воспоминаниями; и отчасти пользовался в изображении родителей Котика некоторыми (весьма

немногими) штрихами, взятыми у своих родителей; но вся фабула, постановка характеров, конфигурация человеческих отношений есть плод чистой фантазии автора; и тот, кто хотел бы проводить параллель между детством автора и детством "Котика", впал бы в глубочайшее заблуждение, основанное на том, что ни одна художественная деталь, ни одно действующее лицо не бывает вымыслом из ничего, но покоится на наблюдаемом в себе и вокруг себя; искусство заключается в свободном сочетании черт, та или иная черта характера отца Котика, например, проходит сквозь ряд людей, наблюдаемых автором; обратно: характер профессора Летаева сложен автором из целой группы людей, из которых каждое лицо обладало той или иной особенностью; то же — о характере матери Котика; искать аналогии с жизнью определенных лиц в этом романе — значит не понимать заданий автора, а также заданий художественной литературы; в ней, с одной стороны, все — копия с природы; с другой — все вымысел.

В первой главе изображен фон романа — профессорская квартира эпохи Александра III. Эпоха, история в этом томе "Эпопеи" выдвинута сознательно; роман — наполовину биографический, наполовину исторический; отсюда появление на страницах романа лиц, действительно существовавших (Усов, Ковалевский, Анучин, Веселовский и др.); но автор берет их как исторические вымыслы, на правах историка-романиста (в "Князе Серебряном" Грозный ведь — полувывмысел).

Автору остается сказать лишь два слова о связи Первого тома с предисловием к "Эпопее" (т. е. серий еще не написанных томов); это предисловие само по себе представляет повесть, которую под заглавием "Записки Чудака" автор начал печатать в "Записках Мечтателей". Но печатание этого предисловия грозит затянуться на годы; между тем оно может представить собой интерес лишь для особой группы читателей, не боющихся "дебрей" отвлеченных переживаний. Автор, однако, должен сознаться, что эти "дебри" для него конкретнее предлагаемого тома; для "дебрей" нужно созреть; "Записки Чудака" — для элиты; первый том "Эпопеи" — для всех художественно развитых; "Записки Чудака" — для друзей, близких автору; не желая навязываться "близостью", автор временно "прекращает" печатание "Записок Чудака". ("Не скрою: могу... в прежнем стиле преподнести ему" — читателю — "утончения контрапунктов из образцов и красиво отделанных фраз... беби, барышню и овечку" — так писал я в "Записках Чудака"... Преподношу!) В "Записках Чудака" я писал: "Пишу, как сапожник"... И еще: "Что же это такое вы нам предлагаете? Это... какие-то не связанные кусочки воспоминаний и — перепрыги". Этой фразой автор сам наперед наметил линию критики: критика повторила мнение автора; поздравляю ее с дальновидностью: она ломилась в открытую ей гостеприимно дверь. Отвлеченность "Записок Чудака" есть отвлеченность предисловия, основная тема "Записок" в последующих томах задуманной "Эпопеи" пройдет в конкретном, "романном" виде, обросши фабулой и не представляя собой "записок". Считаю нужным это оговорить, ибо иные из читателей моих доселе смешивают "Эпопею" с "Записками", т. е. с предисловием к ней. *Андрей Белый*. 1921 года. Июль ("Записки мечтателей. Пб.: Алконост, 1921. № 4. С. 23—24).

Отдельным изданием роман впервые вышел в издательстве "Никитинские субботники" в 1927 г. Текст печатается по этому изданию.

КАБИНЕТИК

¹Имеются в виду книжные магазины Владимира Готье (Кузнецкий Мост, дом Захарьина), через него обычно выписывались французские книги, и Александра Ланга (Кузнецкий Мост, дом Гагарина), специализировавшийся на немецких книгах.

²Миттаг-Леффлер Магнус Густав (1846—1927) — шведский математик, профессор университетов в Гельсингфорсе (1877) и Стокгольме (1881). В 1882 г. основал один из крупнейших математических журналов "Acta mathematica". По его инициативе к чтению лекций в Стокгольмском университете была привлечена в 1883 г. С. В. Ковалевская.

³См. комментарий 5 к пятой главе "Котика Летаева".

⁴Клейн Феликс Христиан (1849—1925) — немецкий математик, член-корреспондент Прусской АН (1913), иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1895).

⁵Перо, пучок перьев, от *фр.* *aigrette* — султан, плюмаж.

⁶Большой круг (*фр.*), фигура в общем танце.

⁷См. комментарий 4 к пятой главе "Котика Летаева".

⁸Чебышев Пафнутий Львович (1821—1894) — профессор Петербургского университета, академик Петербургской АН (1856), основатель петербургской математической школы.

⁹См. комментарий 6 к третьей главе "Котика Летаева".

¹⁰Речь идет о Егоровой Елизавете Федоровне — бабушке Б. Бугаева с материнской стороны.

¹¹Имеется в виду Екатерина Дмитриевна Егорова, сестра А. Д. Бугаевой, тетка Белого. Жила в квартире Бугаевых с осени 1903 г., т. е. после смерти Н. В. Бугаева. "В ней — "отсутствие всякого присутствия" чего-нибудь индивидуального; она проявляет себя даже не как "тетя вообще", а как "родственница вообще", и того менее..." (Между двух революций. С. 430).

¹²Берковец — мера веса, равная 10 пудам.

¹³Ли Софус (1842—1899) — норвежский математик, профессор университета в Кристиании (1872), Лейпциге (1886—1898), иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1896), создатель классической теории непрерывных групп.

¹⁴Генриэтта Мартиновна — гувернантка Андрея Белого с осени 1885 до осени 1886 г.

¹⁵Об отношении своего отца Николая Васильевича Бугаева (1837—1903) — математика, профессора и декана физико-математического факультета Московского университета — к Иммануилу Канту (1724—1804), родоначальнику немецкой классической философии, Белый писал в книге "На рубеже двух столетий": "...будучи смолоду пропитан английским эмпиризмом, косился на линию немецкого идеализма; с уважением отозвавшись о Канте, всегда приговаривал: "Да, а пишет — туманно; писать туманно не значит: писать глубоко; вот французы и англичане пишут изцично, легко, просто не потому, что плоски, а потому, что выносили образ мысли; немцы — не выносили" (С. 63). В свою очередь, философия Канта сыграла заметную роль в становлении и развитии мирозозерцания Андрея Белого, особенно в молодые годы. Но даже и во время, близкое написанию "Крещеного китайца", он продолжает заниматься проблемами кантианства. Так, в декабре 1915 — феврале 1916 г. Белый читает для кружка русских антропософов в Дорнахе курс лекций "Кант и Штейнер в свете современных теоретико-познавательных проблем", на основании которого им в 1916 г. была написана книга "О смысле познания", вышедшая в Петрограде в 1922 г.

¹⁶Нидерландский философ-пантеист Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677), которого, по словам А. Белого, "отец изгрыз" (На рубеже С. 60), упомянут в этом ряду не в последнюю очередь из-за влияния, оказанного им на философскую систему В. Лейбница — кумира Н. В. Бугаева.

¹⁷Н. И. Бугаев относил немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716), по свидетельству его сына, к "китам, поддерживающим вселенную" (На рубеже С. 63). Ориентируясь на Лейбница и его учение о монаде, Н. Бугаев обосновывает в своей работе "Основы эволюционной монадологии" (1894) собственную теорию эволюционной монадологии, согласно которой весь мировой процесс есть постепенное целесообразное перераспределение монад.

¹⁸Жуковский Николай Егорович (1847—1921) — ученый-механик, основоположник современной аэродинамики. Близкий знакомый Н. В. Бугаева и постоянный посетитель его дома.

¹⁹И-Кинг, И-цзин ("Книга перемен") — первый из пяти классических китайских трактатов. В основе его лежат восемь гуа, т. е. сочетаний прямой линии (соответствует понятию ян — активному, положительному началу) и раздвоенной (*инь* — отрицательное, пассивное начало), изобретенных древним китайским императором Фу-си (ок. 322 г. до н. э.). Собственно составителем И-цзина китайцы считают

чжоусского Вэн-Вана (XII в. до н. э.), который из восьми гуа выработал 64 диаграммы и дал каждой из них толкование. Окончательная обработка приписывается Конфуцию. Диаграммы И-цзина имеют также астрологическое значение и отношение ко временам года, служат основой для гаданий.

ПАПОЧКА

¹Учение Конфуция (Кун-Цю, Кун-Чжун) (551—479 до н. э.) — основателя учения, в центре которого концепция идеального человека (цзюнь-цзи), благородного мужа не по происхождению, а благодаря воспитанию в себе высоких нравственных качеств и культуры. Однако Андрей Белый выражением "конфуцианская мудрость" может указывать и на все многообразие конфуцианских школ, возникших после смерти Конфуция и основывавшихся на изучении древних китайских книг.

²Риццони Александр Антонович (1836—1902) — художник, профессор Академии художеств. В воспоминаниях Андрей Белый приводит следующее признание отца: "Люблю я Риццони: вот это художник; его можно в лупу разглядывать" (На р у б е ж е. С. 53). Симпатия Н. В. Бугаева "академизму" Риццони показательна и является лишним подтверждением его любви к рационализму и неприятия иррациональности.

³В древнегреческой мифологии дочь спартанского царя Тиндарея, сестра Елены Прекрасной.

⁴См. комментарий 10 к пятой главе "Котика Летаева".

⁵Лаодцы (Лао-Цзы) — автор древнекитайского трактата "Лао-цзы" ("Дао дэ дзин") (IV—III вв. до н. э.), канонического сочинения даосизма.

⁶Антонович Владимир Бонифатьевич (1834—1908) — украинский историк, этнограф. Один из основателей украинской националистической историографии, автор трудов по украинской археологии, истории Великого княжества Литовского.

⁷Грушевский Михаил Сергеевич (1866—1934) — украинский историк, автор 10-томной "Истории Украины — Руси". Один из организаторов Центральной Рады. Для исторических концепций Антоновича и Грушевского в равной степени свойственны националистический пафос и противостояние русскому влиянию. Критика и возмущение по их поводу профессора Летаева подчеркивает "славянофильский" характер его взглядов.

⁸Букреев Владимир Яковлевич (1859—?) — математик, профессор Киевского университета.

⁹Вероятно, Кистяковские, киевские родственники Андрея Белого. Тетка писателя Варвара Васильевна Бугаева была замужем за Федором Федоровичем Кистяковским (1835—?). Ср.: "...Киев — место встречи с родными, порой неизвестными: мои 4 тети вышли здесь замуж; одна за Ф. Ф. Кистяковского (брата профессора), другая за члена суда, Жукова, третья за инспектора гимназии, Ильяшенко; четвертая за Арабажина, отца небы известного публициста (потом профессора) К. И. Арабажина (На р у б е ж е. С. 56).

¹⁰Взорное, пустое, ничтожное дело, пустословие (Д а л ь. Т. 1. С. 198).

¹¹Тем самым Антонович сравнивается с Эразмом Роттердамским (1469—1536), филологом, писателем, богословом, представителем европейского гуманизма эпохи Возрождения, автором известной сатиры "Похвала Глупости".

"ЭДАКОЕ ТАКОЕ СВОЕ"

¹Имеется в виду дом генерала И. М. Старицкого (Арбат, 58) — "двухэтажный, оранжево-розовый, с кремом карнизных бордюров" (Н а ч а л о в е к а. С. 117).

²Психа (психе, психея) — в древнегреческой мифологии олицетворение души, дыхания. Изображалась в образе бабочки или девушки.

³Вероятно, Кистяковский Игорь Александрович (1872—1940) — юрист, приват-доцент Московского университета, кадет.

⁴См. комментарий 6 ко второй главе "Котика Летаева". Ср.: "На протяжении лет двадцати пяти — приезжала два раза в год: 13-го октября, накануне рождения "крестника" — с книгой (подарок), и 6-го декабря, в день именин отца" (На р у б е ж е. С. 112).

⁸Речь идет о брате Н. В. Бугаева, московском адвокате Георгии Васильевиче Бугаеве, дяде Б. Бугаева. См.: "Мне, ребенку, мой дядя, Георгий Васильевич Бугаев, глаза открыл трезво: — Зеленый одер... пф-пф-пф! — Как можешь, Жоржик, ты личность почтенную так называть? — испугался отец; дядю мать прозвала "дядя Ерп" за колючесть" (Н а р у б е ж е. С. 109).

⁹Имеется в виду Николай Эрставич Лясковский (1816—1871) — химик, профессор Петровской академии и Московского университета.

¹⁰Магазин известного кондитера Владимира Карловича Реттере находился в доме Императорского Человеколюбивого общества (Арбат, 8).

¹¹Обувной магазин Гринблата Марка Терентьевича — дом Платонова на Арбате (Арбат, 7).

¹²Магазин и мастерская для набивки чучел А. Бланка (Арбатские ворота, 26).

¹³Имеется в виду магазин гастрономических товаров "Мора, Блинов и Барсов" на Воздвиженке, в доме Марии Францевны Арманд (Воздвиженка, 13).

БАБУШКА, ТЕТЕЧКА, ДЯДЕЧКА

¹Кретон (от *cretonne* (фр.) — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из предварительно окрашенной пряжи. Название восходит к местечку Кретон в Нормандии, месту первоначального производства этой пряжи.

²Женский плащ особого покроя.

³Старомодная шляпа со сборками; мармотка (от *marmotte* (фр.) — головная косынка, концы которой завязаны надо лбом.

⁴Помота, особенно ночная, полупночная, костолом (Д а л ь. Т. 2. С. 875).

⁵Марья Иродовиа — одна из двенадцати сестер Иродовых, коим народ дал название: лихорадка, лихоманка, лихорадка.

⁶Канаус — ткань из шелка-сырца полотняного плетения.

⁷Тарлатановая скатерть — хлопчатобумажная полупрозрачная ткань полотняного переплетения, однотонная, с тканым орнаментом в клетку (от *tarlatane* (фр.) — род кисеи.

⁸Обормотка — оборка.

⁹Ср. в воспоминаниях Андрея Белого: "...у каждого человека на письменном столе поставлено изображение кого-нибудь близкого; у тети Кати за всю жизнь я не видел такого изображения; на столе тети Кати стоял большой собственный портрет тети Кати (<...> Тетя Катя никогда никого не любила; в молодости на всякую попытку к ухаживанию она отвечала иступленным фырканьем, напоминавшим фырканье неприятной индуски..." (Между двух революций. С. 431).

¹⁰Турниор (от *tourneur* (фр.) — осанка, манера держаться) — приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней женской юбки, что помогало формировать характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела.

¹¹От фр. *basque* — широкая оборка на кофте или юбке, просторная кофта с такого рода оборкой, подкройная полочка, пришиваемая к лифу кофты, платья.

¹²Название темно-красного с синим отливом или густо-лилового цвета.

¹³Калоит — полудрагоценный камень.

¹⁴Кремовое и прюнелевое (т. е. лиловое, от *prune* (фр.) — слива) платья.

¹⁵Вирухать — говорить вздор, пустяки, врать (Д а л ь. Т. 1. С. 506).

¹⁶Мизикать — издавать слабый свет, мерцать (Д а л ь. Т. 2. С. 847).

¹⁷Николай Дмитриевич Егоров (1860—?) — брат матери Андрея Белого, "тишайший столоначальник казенной палаты" (Между двух революций. С. 40).

¹⁸В данном случае медаль за отличие по службе.

¹⁹Клекнуть — вянуть и повиснуть, сохнуть и черстветь, обветривать, дряблеть (Д а л ь. Т. 2. С. 291).

²⁰Бунить — гудеть, реветь, мычать (Д а л ь. Т. 1. С. 346).

²¹Горюн, горемыка, кому ничего не удается, кто всегда бедует и не может выбиться из бед и нищеты (Д а л ь. Т. 1. С. 347).

²²Андрей Белый, судя по всему, соединяет в одном названии два издания: "Вестник математических наук", выходивший в 1861 г. в Вильно, в котором Н. В. Бугаев опубликовал первые свои научные работы, и "Математический сборник",

издание, выпускавшееся с 1866 г. Математическим обществом при Московском университете, где были напечатаны основные математические труды Н. В. Бугаева.

²³От мозгун, мозгач — умный, смысленный человек (Д а л ь. Т. 2. С. 878).

²⁴Булгатня — суматоха, склока, тревога (Д а л ь. Т. 1. С. 343).

²⁵Бледноватый, полинялый, бесцветный (Д а л ь. Т. 1. С. 96).

²⁶Алякиш — недопеченный хлеб, полусырой, с закалом; мякиш; ком теста” (Д а л ь. Т. 1. С. 13).

²⁷”Кашлюн, кашлюха” (Д а л ь. Т. 2. С. 105).

²⁸Андрей Белый использует это слово в другом значении. Кабачить — содержать кабак (Д а л ь. Т. 2. С. 164).

²⁹”Шумно беседовать, горланить” (Д а л ь. Т. 1. С. 135).

³⁰”Звонить в колокола, трезвонить” (Д а л ь. Т. 1. С. 135).

³¹Трезвон (Д а л ь. Т. 1. С. 330).

³²”Пьяница, пропойца” (Д а л ь. Т. 1. С. 137).

РУЛАДА

¹Мужской или женский полукафтан (с короткими полами), присборенный на талии, со стоячим воротником, застегивающийся на крючки сверху до талии.

²Парки — у римлян богини судьбы (то же, что *греч.* мойры). Их представляли обычно в виде трех сестер, прядущих нить человеческой жизни.

³Бобынин Виктор Викторович (1849—1919) — историк математики, приват-доцент Московского университета, издатель журнала ”Физико-математические науки в их прошлом и настоящем” (1885—1894).

⁴Тинторетто Якопо (1518—1594) — итальянский живописец венецианской школы.

⁵Аллюзия на рассказ А. П. Чехова ”Человек в футляре” (1898).

⁶Закон основания — в формальной логике закон достаточного основания, который обычно определяется следующим образом: ”Мы все должны мыслить на достаточном основании, т. е. всякая мысль, всякое суждение должно иметь определенное логическое обоснование” (Цит. по: *Челпанов Г. И.* Учебник логики. М.: Прогресс, 1994. С. 84, репринтное воспроизведение 9-го издания. М., 1917).

⁷Модель невесты на картине К. Е. Маковского (1839—1915) ”Боярский свадебный пир XVII столетия” (1883) послужила А. Д. Бугаева.

⁸Правильно — Султанова. Леткова (в замужестве Султанова) Екатерина Павловна (1856—1937), писательница. ”Леткова-Салтанова где-то часто встречалась с родителями; и ее с матерью сажали перед Тургеневым на интимном обеде в честь него, как декорум” (Н а р у б е ж е. С. 102).

⁹Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель, романист, создатель ”русского натуралистического романа”. В своей мемуарной трилогии Андрей Белый рассказывает о спорах Н. В. Бугаева с Боборыкиным: ”Ужасны были схватки его с Боборыкиным; они кидались друг на друга, как быки...” (Н а р у б е ж е. С. 93) — и в целом весьма сочувственно отзываясь о нем, вспоминая о встречах в 900-х гг. в Москве и в 1916 г. в Лугано: ”...я повстречался с ним в годы войны в итальянской Швейцарии: в тихом Лугано; с ”коллегой” моим провели две недели, встречаясь за завтраками, на прогулках вдоль озера: он, восьмидесятилетний, на солнышке в ватном пальто, семенил в одиночестве, — чистый, надутый, исполненный тихим довольством; нагнув на лоб котелок, руку с тростью закинувши за спину, другой вращая перед подбородком, — он плыл над лазурными струями, вслух бормоча сам с собою” (Н а ч а л о в е к а. С. 238).

¹⁰Боборыкина (урожд. Зборжевская) Софья Александровна (1845—1925) — жена П. Д. Боборыкина, писательница.

¹¹”Дедушка Егоров имел уязвимую пятю: боготворил свою Звездочку (так звал мою мать); и разрешал ей все, что ей ни взбредет в голову; так стала пятилетняя Звездочка тираном в доме; дедушки боялся весь дом, а дедушка боялся Звездочки...” (Н а р у б е ж е. С. 101).

¹²Драгоценный камень. К разновидности бериллов относятся изумруды.

¹³Ария Масотты из комической оперы французского композитора Эдмона Одерана (1842—1901). В России шла чаще под названием ”Красное солнышко”.

¹⁴Зорина (Попова) Вера Васильевна (1853—1903) — актриса оперетты, выступала в опереттах "цыганского жанра", играла в театре Лентовского в 1875—1885 гг.

¹⁵Лентовский Михаил Валентинович (1843—1906) — актер, антрепренер, оперный и опереточный режиссер, крупный театральный организатор. Открыл в Москве в 1878 г. в саду "Эрмитаж" театр оперетты, в котором выступали лучшие актеры, в 1882 г. там же — "Фантастический театр" (позже — "Атеней"), в 1885 г. — театр "Скоморох". В 1898—1901 гг. работал в Московской частной опере С. И. Мамонтова.

¹⁶Скорее всего, имеется в виду Чернов (Эйнборн) Аркадий Яковлевич (1857—1904), солист Мариинского театра.

¹⁷Кондратьев Геннадий Петрович (1834—1905) — артист оперы (баритон). С 1865 г. — артист Мариинского театра, выступал в партиях Мефистофеля ("Фауст"), Ассура ("Семирамида" Россини) и др., с 1872 г. работал как оперный режиссер.

¹⁸Направник Эдуард Францевич (1839—1916) — композитор, дирижер, автор оперы "Дубровский", с 1869 г. — первый капельмейстер Мариинского театра.

¹⁹Имеется в виду Екатерина Ивановна Чернова, жена А. Я. Чернова, которой А. Д. Бугаева "гордилась за блеск и за светские связи" (Н а р у б е ж е. С. 147).

²⁰Яблочков Павел Николаевич (1847—1894) — электротехник. В 1875 г. изобрел электрическую свечу — первую модель дуговой лампы без регулятора.

²¹Императрица Мария Федоровна (1847—1928) — супруга Александра III, до брака принцесса Мария София Фредерика Дагмара, дочь датского короля Христиана IX. По ее инициативе возникли мариинские училища.

²²Мюллер Иоганн Петерсон (1866—1938) — врач-гигиенист, придумавший ежедневную 15-минутную гимнастику, чрезвычайно популярную в России на рубеже веков.

²³Шлейф, хвост (от *traîne* (*фр.*) — шлейф). Ср. у Андрея Белого: "А в дверях шуршит уж треном // Гри-де-перловым жена" ("Маскарад" (1909). С о б р. с о ч. Стихотворения и поэмы. М., 1994. С. 167).

²⁴Опопонакс — род многолетних травянистых растений, используется в парфюмерии.

²⁵Известные ювелирные магазины. Торговый дом "Фаберже и К^о" находился на Кузнецком Мосту в доме Купеческого общества (Кузнецкий Мост, 4), а магазин Дейбеля размещался в Камергерском переулке в доме Денисовой (Камергерский, 5).

²⁶Длинная женская накидка без рукавов с прорезями для рук.

²⁷Ток — женский головной убор без полей, плотно охватывающий голову. В данном случае Белый имеет в виду особый вид шляпы, передняя часть которой начинается током.

МАМОЧКА

¹Косьяковского дома — Белый имеет в виду дом Николая Ивановича Рахманова (Арбат, 65), в котором жил до лета 1906 г. Адрес дома Егоровых, где жила Александра Дмитриевна Бугаева (урожд. Егорова), — 2-й Зачатьевский переулочек, 13. 4-го Зачатьевского переулочка в Москве не было.

²См. комментарий 8 к четвертой главе "Котика Летаева".

³См. комментарий 5 ко второй главе "Котика Летаева".

⁴Рюши (*guche* (*фр.*) — полосы материи или ленты, сложенные складками, примыкающими одна к другой. Применяются для украшения платьев и женских головных уборов.

⁵Триоль (*Triole* (*нем.*) — одна из наиболее распространенных ритмических фигур; образуется при делении какой-либо длительности на три равные ритмические доли вместо двух.

⁶Слово образовано, видимо, от черне(и)чество — монашество, черничка — монашка.

МИХАЙЛЫ

¹Этой фразой Андрей Белый лишний раз подчеркивает, насколько зыбка граница между реальным Николаем Васильевичем Бугаевым и героем романа Михаилом Васильевичем Летаевым. Михайлов день приходится на 8 (21) ноября, а именины Николы Зимнего отмечаются 6 (19) декабря.

⁸Андрей Белый имеет в виду "Учение о середине" ("Чжуан-юнь"), одну из книг канонического конфуцианского четверокнижия, заключающую в себе философскую трактовку конфуцианской мысли. С этой книгой Андрей Белый был знаком по следующей публикации: "Середина и постоянство": священная книга последователей Конфуция / Перевод с китайского и примечания Д. П. Кониссии // Вопросы философии и психологии. 1895. Кн. 29 (4). С. 382—403.

⁹Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1923) — антрополог, географ, археолог. Был первым профессором антропологии и географии в Московском университете, при котором создал Антропологический музей. Автор 600 научных работ, сотрудник "Русских ведомостей" (с 1883). Впоследствии Андрей Белый учится у него в университете, пишет "дипломную" работу (по оврагам).

¹⁰См. комментарий 12 к пятой главе "Котика Летаева".

¹¹См. комментарий 14 к пятой главе "Котика Летаева".

¹²Батюшков Павел Николаевич (1864—1930) — внук К. Н. Батюшкова, теософ, один из "аргонавтов". Андрей Белый был другом с Батюшковым в 1901—1906 гг., посвятил ему стихотворение "Незнакомый друг" (Собр. с о ч. Стихотворения и поэмы. С. 57, см. также: Начало века. С. 65—71).

¹³Северцов Алексей Николаевич (1866—1936) — зоолог, основоположник эволюционной морфологии животных. Профессор, академик.

¹⁴Усов Павел Сергеевич (1867—1917) — сын С. А. Усова, профессор медицины Московского университета, кадет.

¹⁵Трот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества, членом которого состоял и Н. В. Бугаев. Основатель и редактор журнала "Вопросы философии и психологии" (с 1889).

¹⁶Имя этого персонажа напоминает "аргонавтическое" мифотворчество Андрея Белого. Ср. отпечатанную Андреем Белым визитную карточку "Виндалией Леволунович Белорог. Единорог. Беллендриковы поля, 24-й излом, № 31" (РГБ, ф. 386, карт. 79, ед. хр. 5).

АГУРО-МАЗДАО

¹Агуро-Маздао, Ахура Мазда, Ахурамазда, Ормазд — в иранской мифологии верховное божество зороастрийского и ахеменидского пантеонов. Буквальное значение — "господь премудрый". Ахурамазда изображался жрецом, чем подчеркивалась духовность его сущности и деятельности. Он творит мир усилием или посредством мысли и требует себе чисто духовного поклонения, молитвы перед священным огнем. Учение Заратустры о функциях и поступках Ахурамазды содержит новые для индоиранской традиции оттенки религиозного символизма: о личном избранничестве Заратустры, о страшном суде, вершином Ахурамаздой, о грядущей победе Ахурамазды и его приверженцев над силами зла.

²Имеется в виду дом Н. И. Стороженко: "Стороженковский дом — как мой собственный, — дом номер два: мой единственный выход: Маруся ведь, Коля и Саша за мной посылают свою няню-Катю утрами воскресными, и забирают меня на весь день к Стороженкам" (Н а р у б е ж е. С. 126).

³Кошелев Николай Андреевич (1840—?) — академик живописи, профессор. Вместе с И. Крамским и Б. Венигом участвовал в исполнении живописи в главном куполе московского храма Христа Спасителя. Самостоятельно изобразил на сводах храма четыре картины: "Господь, восседающий на престоле с книгою о четырех печатях", "И слово плоть бысть", "Семь таинств" и "Поклонение Господу 24 царей старцев", а также в тамбуре под главным куполом — "Вседержителя, окруженного святыми и ангелами".

⁴Название туземных оседлых жителей городов и селений Ферганской, Самаркандской и Сырдарьинской областей.

⁵Аляска была продана США в 1867 г. за 7,2 млн долларов.

⁶Ламздорф (Лабсдорф) Владимир Николаевич (1844—1907) — граф, русский государственный деятель, советник министерства иностранных дел, министр иностранных дел (с 1900), сторонник франко-русского сближения.

⁷Кальноки Густав (1832—1898) — австро-венгерский государственный деятель, министр иностранных дел (1881), министр императорского двора. Считалось, что политика Кальноки внушалась Бисмарком.

⁸Вздорное, ничтожное, пустое дело, слова или вещи” (Д а л ь. Т. 1. С. 81).

⁹Свинцовая гирька, кольцом надеваемая для тяжести на веретено” (Д а л ь. Т. 1. С. 180). Однако заимствованному у Даля слову Белый придает совершенно иной смысл. Лексическая форма побеждает терминологическое значение. ”Веретень” здесь означает ”суматоха”, ”круговерть”.

¹⁰Позолоченный и украшенный головной убор епископов и заслуженных священников в православной церкви, употребляемый во время богослужения.

¹¹Зороастр (*греч.*), Заратустра (*иран.*) (между X и 1-й пол. VI в. до н. э.) — пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название ”зоороастризм”.

ПАПА ДОШЕЛ ДО ГВОЗДЯ

¹Аграмант (от *фр.* agrament — украшение) — накладные узоры, сплетенные из шнура, для обшивки женских уборов, занавесок и пр.

²*Фр.* sachec — мешочек, пакетик.

³Котильон — танец. В старину котильон был схож с вальсом в быстром темпе. В 20-х гг. XIX в. в Германии котильоном называлась игра в фанты, с танцами, в конце бала. Именно этот игровой момент, когда одинаковые ”знаки” (каковым мог быть и бубенчик) находили друг друга, видимо, и имеет в виду Андрей Белый. Западный бубенчик, в отличие от русского колокольчика, запааян, поэтому издает более приглушенный звук.

⁴Циклопы — титаны, порожденные Ураном и Геей, олицетворение грозовой тучи и молнии, символическим образом которой является единый большой глаз.

⁵Закон, данный Моисею Богом на горе Синай.

⁶Хокусай Кацусика (1760—1849) — японский живописец и рисовальщик, мастер цветной ксилографии. Представитель школы Укйё-э. О его моде в России ср. ”Петербург”.

⁷Саламандра (*salamandra* (*лат.*) — земноводная ящерица, по сказкам, не горящая в огне, поэтому саламандрами зовут и сказочных духов огня.

⁸Слово образовано от глагола спинать, спихнуть, столкнуть (Д а л ь. Т. 4. С. 447).

СКИФ

¹См. комментарий 10 к главе ”Агуро-Маздао”.

²Шелковая плотная ткань, обычно с разводами.

³Мергель — горная порода из смеси глины с известью; рыхляк (Д а л ь. Т. 4. С. 290).

⁴Бабий головной убор, с рогами, род повойника (Д а л ь. Т. 2. С. 107).

ПФУКИНСТВО

¹Берендейка — ”игрушка, бирюлька, точеная или резная штучка” (Д а л ь. Т. 1. С. 83).

²”Дурачок, малоумный” (Д а л ь. Т. 2. С. 91).

³Бобыня — ”надутый, чванный, гордый, спесивый человек” (Д а л ь. Т. 2. С. 101).

⁴Горожанкин Иван Николаевич (1848—1904) — ботаник, профессор Московского университета (с 1881), основатель сравнительно-эмбриологического направления в русской ботанике.

⁵Антонов огонь — гангрена. Названа по имени св. Антония (род. ок. 251). Считалось, что молитва св. Антония помогает от этой болезни.

⁶Тем самым указывается на приближение лета, каникул. Латинское слово ”каникулы” образовано от *canis* (*лат.*) — собака, как раз потому, что это время проходит под созвездием Пса.

⁷Смирнов Алексей Алексеевич — детский врач.

⁸Имеется в виду "Магазин меховых и модных товаров С. И. Белкина" (Кузнецкий Мост, дом кн. Голицына).

⁹Распопов, "Ювелирные, золотые и серебряные изделия", Арбат, дом М. Д. Орлова (Арбат, 12).

¹⁰Бэр Карл Максимович (Карл Эрнест) (1792—1876) — знаменитый эмбриолог, собравший важнейшие данные по истории органических тел. Автор научных работ и популярных книг. Его имя носит закон, объясняющий, почему у российских рек, текущих с севера на юг, правый берег высок, а левый низок.

¹¹Генералов Иван Иринархович — купец, владелец гастрономических магазинов на Тверской улице.

¹²Привидение, двойник. "По народному поверью, во всем походит на человека, но, по безличью, носит личину, а своего лица у него нет" (Д а л ь. Т. 1. С. 80).

ВЕСНА

¹Магазин А. И. Потуловой на Арбате в доме Серебрякова (Арбат, 53).

²"Попова старинная "Виноторговля"... кофейно-кремовый домик как тортик; проезд со двора дома собственного Комарова" (Н а ч а л о в е к а. С. 120), дом Комарова — Арбат, 54.

³"...В буреньком домике, угол Никольского: "Трости, зонты" (Н а ч а л о в е к а. С. 121). Дом Бурова — Арбат, 59.

⁴Дом Нейдгарда — Арбат, 50; дом Патрикеева — Арбат, 63.

⁵Магазин колониальных товаров Выгодчикова, Арбат, дом Старицкого.

⁶Мясная лавка Василия Васильевича Коттева.

⁷Шелкобумажная ткань с крупным узором.

⁸Шелковое кружево.

⁹Итальянский народный музыкальный инструмент — глиняная или металлическая дудка, звуком напоминающая флейту.

¹⁰Роберт Шуман (1810—1856) относится к числу тех композиторов, музыку которых Андрей Белый знал с детства, в первую очередь благодаря фортепианным экзерсисам своей матери. Описывая же собственные музыкальные занятия, Андрей Белый упоминает среди прочих и выученную им фортепианную миниатюру Шумана "Варум" ("Wagum?" — "Почему?") (Н а р у б е ж е. С. 229). Впоследствии Шуман наряду с Бетховеном, Вагнером, Шубертом постоянно обсуждался в разговорах в семействе Метнеров. Произведения Шумана входили в программу концертов "Дома песни" Олениной-д'Альгейм, наконец, цикл песен Р. Шумана "Dichterliebe" ("Любовь поэта") на стихи из "Книги песен" Г. Гейне (1827) анализируется в работе Андрея Белого "Кризис культуры" (1920). В данном же случае имя Шумана выступает как знак неприятия профессором Летаевым немецкого романтизма и метафизики. Немецкая "туманная" культура ("шум") противопоставляется французской ясности. Немецкая музыка здесь сродни немецкой метафизике. Это еще одна деталь в оппозиции мать — отец (Ср.: "Слышащий вместо Шумана шум; и — насквозь музыкальное существо" — Н а р у б е ж е. С. 96).

СПУТНИК

¹Булочки в виде птичек, испеченные ко дню 40 мучеников (9 марта). Булочная Севастьянова (Савостьянова) Ивана Михайловича находилась на Арбате, 71.

²Греческий философ-киник Диоген Синопский устроил себе жилище в круглой глиняной бочке (пифосе). Такие бочки служили в Греции для хранения вина.

³"Однажды он (Диоген) закричал: "Эй, люди!" — но, когда сбежался народ, напустился на него с палкой, приговаривая: "Я звал людей, а не мерзавцев" (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 243—244); "Среди бела дня он бродил с фонарем в руках, объясняя: "Ищу человека" (Там же. С. 246—247).

⁴Фат, хлыщ.

⁵Никита Пустосвят (наст. фамилия и имя Добрынин Никита Константинович) (?—1682) — идеолог раскола, писатель. 5 июля 1682 г. возглавил раскольников на "прении о вере" в Кремле. Казнен.

⁶Бахорить — болтать, беседовать, разговаривать (Д а л ь. Т. 1. С. 140).

⁷Живот (Д а л ь. Т. 1. С. 144).

⁸Матаситься — мотаться, качаться, кривляться, прыгать на разные лады (Д а л ь. Т. 2. С. 794).

⁹Говорить вздор, нести чепуху (Д а л ь. Т. 1. С. 25).

¹⁰Перипатетики — последователи аристотелевской философии. Аристотель (384—322 до н. э.) беседовал со своими учениками прохаживаясь, отсюда и происходит это слово.

¹¹Имеется в виду вилла папы Юлия III (Джован Мария де Чокки дель Монте) (1487—1555), построенная архитектором Джакомо да Виньола (1507—1573) в 1550—1555 гг.

¹²Моро (Сфорца Лодовико, прозв. Моро — Мавр) (1451—1508) — фактический правитель Милана, был женат на Беатриче д'Эсте (1475—1497).

¹³Д'Эсте — правящий род в Ферраре и Модене.

¹⁴Валле Пьетро делла (1586—1652) — итальянский путешественник. В 1614 г. он предпринял путешествие на Восток, посетил Турцию, Египет, Аравию, Персию, провел в странствиях 11 лет и составил подробное описание своего путешествия, вышедшее в 1650 г. в Риме.

¹⁵Поджио (Жан Франческо Поджио Браччолини) (1380—1459) — итальянский писатель, гуманист.

¹⁶Борджиа Цезаре (Цезарь) (1475—1507) — политический и военный деятель, герцог Валентино, правитель Романьи. "XVI век в Италии — время великих злодеяний... Цезаря Борджиа иногда называют человеком политической идеи, но не правильное ли назвать его человеком политической страсти? Время Борджиа было временем, когда раскрылись все возможности, жившие в человеческой душе, в том числе и возможности преступления. Силы казались тогда столько, что она была через край. Умноженная жизнь была так богата, что ее хватало даже на злодеяние" (Муратов П. П. Образы Италии. М.: Республика, 1994. С. 139. Впервые книга вышла в 1911—1912 гг. в Москве в издательстве "Научное слово").

¹⁷В "Северной симфонии (1-й героической) Андрея Белого" "козлородый рыцарь" "водил проклятый хоровод и плясал с козлом в ночных чащах. И этот танец был козловак..." (С о б р. с о ч. Стихотворения и поэмы. С. 49).

¹⁸Пептон — продукт распада белков под воздействием ферментов желудочного сока при пищеварении.

¹⁹Голос, который Сократ, по преданию, слышал и советами которого руководствовался в критические моменты.

²⁰Имеется в виду статья Н. В. Бугаева "Основные начала эволюционной монадологии", напечатанная в журнале "Вопросы философии и психологии" (1894. Кн. 17. С. 26—44), который редактировал Н. Я. Грот. Структура труда Н. В. Бугаева, написанного в виде 184 тезисов, повторяет знаменитую работу Лейбница "Монадология" (1714), в которой изложено учение о монаде, простейшем элементе, неделимой части бытия, проявляющей себя во внешних физических действиях.

²¹То есть темно-красного цвета.

²²В народе день 4 июля.

²³Ср.: "С четырех лет мне внушили весьма серьезно, что чертей, колдуний и прочей нечисти нет, да и не может быть; что же касается бога, то — бог, так сказать, есть источник эволюционного совершенства; в чем это абстрактное и туманное совершенство, мне не было ясно; выражение "бог, так сказать" я запомнил; вся суть в этом; имя бога отцовского — "так сказать"; или — "так сказать: совершенство" (Н а р у б е ж е. С. 190—191).

²⁴Ироничное обыгрывание евангельского "Царствия Небесного".

²⁵Китайский атлас.

²⁶Сократ был приговорен судом Афин к смерти, и через несколько дней в тюрьме он выпил цикуту. "Перед этим он произнес много прекрасных и благородных рассуждений (которые Платон приводит в "Федоне"), а по мнению некоторых, сочинил и пеан, который начинается так: Слава тебе, Аполлон Делиец с сестрой Артемидой!" (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 117).

²⁷Праздник Сошествия Святого Духа, на другой день Пятидесятницы, т. е. Троицы.

²⁸В древнеримской мифологии боги — покровители домашнего очага.

²⁹Прибор, служащий для скопления электричества, изобретенный голландским физиком Мушенброком в 1745 г. Впервые испытал на себе разряд "банки" лейденский гражданин Кунеус — отсюда название прибора.

³⁰Элохим, Элогим — одно из наименований Бога в еврейской Библии, где оно упоминается вместе с другими — Ягве, Адонаи и др. По своей этимологии это — форма множественного числа слова "Элоах" или "Эл", общего названия для божества у всех семитских народов. Слово встречается уже в первой главе Библии, где говорится о сотворении мира. Множественное число здесь может указывать, что Бог творил мир вместе с другими духами. Слово "элогимы" Андрей Белый может употреблять и в несколько ином смысле. Ср. комментарий Андрея Белого в его статье "Эмблематика смысла": "По учению Гермеса-Тота, Слово создало мир; Мысль и Слово создают всемогущество; из него исходят семь духов, проявляющихся в семи сферах, в этих сферах проявляются все существа вселенной; проявления семи духов в семи сферах образуют судьбу: эти сферы суть концентрические круги по отношению к Божественной мысли; как видно, здесь в основе астрологии уже ложится учение о Логосе; человек создан по образу и подобию Бога; после смерти его душа поднимается по семи кругам; вместе с тем уже в самом человеке заложены семь ступеней развития; астрология здесь неотделима от антропологии; макрокосм переходит в микрокосм; каждый человек (Адам земной) есть в некотором смысле Адам-Кадмон (Космос); семь духов-покровителей суть семь Элогимов каббалы, семь архангелов Апокалипсиса, семь ангелов халдеев (Габриэль, Рафаэль, Анаэль, Михаэль, Самаэль, Захарияэль, Орифиэль)" (цит. по: *Белый Андрей. Символизм как миропонимание*. М., 1994. С. 82).

³¹Делянов Иван Давыдович — граф (1818—1897), с 1882 г. — министр народного просвещения. Ввел ряд запретов в системе образования, в том числе новый университетский устав (1884), лишивший университеты прежней автономии, закрыл Высшие женские курсы (1886).

³²См. комментарий 30.

³³Имеется в виду видение пророка Иезекииля, которым открывается одноименная книга в составе пророческих книг Библии. Иезекиилю явились четыре таинственных животных, каждое из которых имело четыре лица — человека, льва, телца и орла. Возле каждого из них пророк увидел колеса с "высокими и страшными" ободьями, полными глаз, устроенные как "колесо в колесе" и двигающиеся вместе с животными во все стороны. Над головами животных было "подобие свода, как вид изумительного кристалла", откуда раздавался голос; над сводом было подобие престола, на котором пророк узрел сияющее радужным огнем подобие человека (Иез. 2, 1—5). Таинственные "многоочистые" колеса (*офаним*) в позднейших традициях превращаются в особый разряд ангелов. Астрологическая традиция усматривает в видении Иезекииля символ небесного свода со знаками зодиака, представленными четырьмя животными, звездами — очами и ходящим по нему огнем — Солнцем.

³⁴Героиня одноименной оперы (1853) Д. Верди.

³⁵Павлова Мария Васильевна (1854—1938) — палеонтолог, жена А. П. Павлова (1854—1929), геолога, профессора Московского университета.

³⁶Отец — первый мне встретившийся идеологический спутник, поведший меня по годам: к рубежу столетий; позднее мне связался со сказкою Андерсона; и сказка та — "Спутник" (На рубеже С. 65). Герой сказки Х. К. Андерсена "Спутник" ("Дорожный товарищ") обретает чудесного помощника. Это — бедный умерший человек, за погребение которого герой отдал когда-то свои деньги.

³⁷Отец писателя Николай Васильевич Бугаев умер в 1903 г., т. е. к моменту написания "Крещеного китайца" с того времени прошло 18 лет.

³⁸Один из патриархов, родоначальник евреев, избранник Яхве, заключивший с ним Завет (договор). Знаком Завета должно служить обрезание всех младенцев мужского пола.

³⁹Содом — один из пяти городов в цветущей долине Сиддим, где по причине плодородия сиддимской земли поселился Лот. Жители Содомы — хананеи — отличались крайним развращением нравов, чем навлекли на себя гнев Бога. Содом был сожжен павшим с неба огнем и провалился в бездну (Быт. 19, 1—29).

⁴⁰Гора и пустыня в Каменистой Аравии, куда пришли израильтяне в третий месяц по выходе своем из Египта и где Моисею были даны Богом десять заповедей.

⁴¹Пока Моисей пребывал в многодневной беседе с Яхве, народ Израиля, только что заключивший Завет, потребовал зримого и вещественного бога, изготовил золотого тельца, в честь которого тотчас же начались празднества (Исх. 32, 1—6).

⁴²Две каменные плиты, на которых было выбито десятиисловие, или десять заповедей. Первые скрижали, принесенные Моисеем с Синая, были разбиты им в приступе гнева при виде культа золотого тельца (Исх. 32, 19); пришлось изготовить новые, которые хранились сначала во "святом святых" скинии (место общественного богослужения евреев, походный храм, построенный по образцу, показанному Богом Моисею на горе Синай), а затем храма иерусалимского, в Ковчеге Завета.

⁴³Лот — племянник Авраама, живший в Содоме. Он принял ангелов, шедших узнать, действительно ли так грешны содомляне, и истребить город. Сodomляне окружили дом Лота и требовали выдать им пришельцев, чтобы "познать их" (Быт. 19, 7—8), но были поражены слепотой. Бог обрушил огонь на Содом и Гоморру и вывел Лота с семьей из города, запретив им оглядываться. Жена его нарушила запрет и была обращена в соляной столп.

⁴⁴В Библии — Соленое море или Озеро пустыни, у греков — Асфальтовое море, у арабов — Бар Лут (Лотово море) — внутреннее соленое озеро в юго-восточной части Палестины. По библейским сказаниям, на месте Мертвого моря находилась плодородная долина Сиддим с городами Содомом и Гоморрой.

⁴⁵Ксантиппа — жена Сократа, известная своей сварливостью.

⁴⁶Октавиан, получивший от сената титул Августа (умер в 14 г.). В Вифлееме во дни кесаря Августа родился Иисус Христос. Впрочем, Андрей Белый может иметь в виду (учитывая, что август — титул римских императоров) и кесаря Тиберия (14—37), пасынка Августа и его преемника, в правление которого Христос претерпел крестную смерть.

⁴⁷Пилат Понтий, или Понтийский — римский прокуратор (правитель), управлявший Палестиной как частью римской провинции Сирии. Он был преемником Валерия Грата и 6-м прокуратором Иудеи во время жизни Иисуса Христа. Ко времени его прокураторства (26—36) относятся главные евангельские события. С согласия Понтия Пилата был казнен Иисус Христос.

⁴⁸Красные ливни — т. е. огонь, обрушенный Богом на Содом и Гоморру.

OM

¹В этой главе нашли отражение мысли А. Белого, изложенные в его книге "Глоссолалия. Поэма о звуке" (Берлин: Эпоха, 1922), см.: "М" — мистический, кровный, плотной, но жидкий звук жизни во влаге: в нем тайна животности. "Am-am-am" — на ассирийском суть звуки глубоких знаний; "Om" — звук медитации; тайна Троицы Индии (Вишну, Брами и Шива) — в умении произносить этот звук открывалось: дыхание, выдыхание и задержка воздушной струи — в соединении с этим звуком; "а" или "о" перед "m" показывает, что плоть нам стегнулась в душе; звуки "am" есть любовь: она — "m" внутри "а"; звуки "ma" — звуки — "а" внутри "m"; это — "тама", носящая новую душу (дитя) внутри плоти (mammalia) <...>. Сочетание "am" с звуком действия "ar" есть "amare"; то — значит, что действия "а" над животностью "m" проникают душевностью..." (Г л о с с о л а л и я. С. 83—84).

²Рафаил (помощь, исцеление Божие) (Тов. 3, 16; V, 4 и др.) — спутник, под именем Азарии сопровождавший Товию во время путешествия его в Раги Мидийские для получения денег, отданных некогда ему Товитом на сохранение (Тов. 4, 1—20), и оказавший при этом ему много милостей. Это был ангел, посланный к ним от Бога, но Товит и Товия не знали его. По окончании путешествия Азария сказал Товиту: "Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых, и восходят пред славу Святого" (Тов. 12, 15). Апокрифическая книга Еноха (40, 9) признает Рафаила вторым в ряду архангелов (после Михаила). Вместе с Гавриилом он наказывает ангелов-повстанцев Шемихазая и Азазеля. Он научает Ноя распознавать целебные травы, передает Адаму книги тайных знаний. Каббалистическая традиция ставит Рафаила во главе одной из высших ангельских иерархий — *офаним* (евр. "колеса").

³Семиречье (Джетысу) (от казах. жети — семь и су — вода) — юго-восточная часть Казахстана, расположенная между озерами Балхаш на севере, Сасыколь и Алаколь на северо-востоке, хребтом Джунгарский Алатау на юго-востоке, хребтами Северного Тянь-Шаня на юге. Название происходит от семи главных рек: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепса, Баскан, Сарканд.

⁴Породообразующий минерал группы плагиоклазов. Содержится в основных магматических породах.

⁵Один из трех высших богов индийского пантеона, бог-творец, создатель вселенной, ее олицетворение и душа.

⁶Махабхарата ("Сказание о великих бхарта") — древнеиндийский эпос, сложившийся на основе устных сказаний и легенд, его истоки восходят к II половине II тысячелетия до н. э. Неоднократно дополнялся и перерабатывался. Полагают, что наиболее серьезная редакция относится к IV в. до н. э. В центре повествования — битва двух народов за Хастинапuru (Дели).

⁷Имеется в виду библейская "неопалимая купина" терновый куст близ горы Хорив, в котором Бог явился Моисею, призывая его к избавлению народа израильского от египетского рабства. Моисей видел, что куст горит и не сгорает (Исх. 3:2). У отцов Церкви и в церковных песнях видению этому придается таинственное значение: горящая, но не сгорающая купина — это Матерь Божия, пребывающая нетленной и по воплощении и рождении от Нее Сына Божия.

⁸Астральное тело — одно из основных понятий в оккультных учениях, в теософии и антропософии в частности. Объяснение этой категории, наряду с другими важнейшими терминами оккультных учений, Андрей Белый дал в своей работе "Эмблематика смысла": "...физическое тело состоит из физического тела в нашем смысле <...> + еще эфирный двойник; эфирный двойник как бы проникает физическое тело; то, что мы называем призраком, есть в сущности эфирный двойник <...> эфирный двойник есть звено, соединяющее грубо физические элементы материи с элементами чувственного (или астрального) мира <...>. Окончательный разрыв между видимым телом и эфирным двойником наступает со смертью; после смерти эфирный двойник разрушается <...>. Соответственно стадии чувственного мира и человек имеет форму проявления в этом мире — так называемое астральное тело; человек в мире чувств проникает в астральный мир..." (цит. по: *Белый Андрей*. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 86).

⁹Дикий — двусвечник, который используют во время церковной службы. Андрей Белый разлагает это слово на два — *дий* (от греч. *dios*) — бог, которое является вариантом формы *див*, и от него производит прилагательное *дивный*; и *кир*, что означает господин по-гречески.

¹⁰Или сахиб — в литературных произведениях из жизни индусов — почтительное название европейца, хозяина-господина.

¹¹В 587 г. до н. э. вавилонский царь Навуходоносор взял Иерусалим, разрушил город и храм, взял в плен царя и переселил большую часть иудейского народа в Вавилонию. Это было начало великого вавилонского пленения.

¹²Дед-Мороз (от нем. *Knecht Ruprecht*) — приносящий подарки детям в день Рождества.

¹³Название весьма любимой в древности материи (судя по всему, шелковой), которая была предметом роскоши, составной частью царского и императорского костюмов, принадлежностью религиозных обрядов. Виссон часто упоминается в Библии. Из него были сделаны разные матерчатые принадлежности скинии, а также одежды первосвященника и священников. Виссон обыкновенно белый, но иногда окрашивался в пурпур.

¹⁴Енох — потомок Сифа, сын Иаред и отец Мафусаила, 7-й патриарх, начиная от Адама, по библейскому выражению, "ходивший пред Богом" и взятый Богом на небо (Быт. 5, 21—24). Енох в позднейшей мистической традиции рассматривается как основатель письменности и астрологии, образец аскетического уединения для общения с Богом.

¹⁵Мафусаил — один из патриархов, праотцов человечества (Быт. 5, 21—27), прославился своим долголетием: он прожил 969 лет. Рассказывается, что Мафусаил сражался со злыми духами, народная этимология его имени — "умервляющий мечом".

¹⁶Мелхиседек — библейская личность, о которой говорится в книге Бытия. Он называется царем Салимским и вместе с тем "священником Бога Всевышнего". Христос называется священником по чину Мелхиседекову (Евр. 7, 17).

¹⁷В христианской церкви ларец (или помещение в храме) для хранения мощей святых.

¹⁸Библейский эпизод, рассказывающий, что Бог явился Аврааму в виде трех странников у дубрава Мамре. Он обещает Аврааму сына от Сарры, что вызывает у престарелой Сарры недоумение. От Авраама странники идут осуществлять кару над нечестивыми городами Содомом и Гоморрой (Быт. 18, 1—16). У Авраама от Сарры рождается сын Исаак. Испытывая Авраама, Яхве приказывает ему принести Исаака в жертву на горе в "земле Мориа". Когда связанный Исаак уже лежит на жертвеннике, а над ним занесен нож отца, явление ангела Яхве останавливает жертвоприношение, а в жертву идет баран, запутавшийся рогами в ветвях поблизости от жертвенника (Быт. 22, 9—13).

¹⁹Алтабаз (алтабас) — персидская парча, богато украшенная и орнаментированная. Использовалась в основном для одеяний высоких духовных лиц и царственных особ. Андрей Белый использует это слово и в значении "драгоценный, царственный наряд".

²⁰Народное название яблока "Апорт".

КРАСНЫЙ АНИС

¹Дадон — неуклюжий, нескладный, несуразный (Д а л ь. Т. 1. С. 414).

²Куролесить — дуришь, строить шалости, проказить; вести себя странно, как не в своем уме (Д а л ь. Т. 2. С. 223). Слово происходит от *греч.* *Kurie eleison!* — Господи, помилуй! (в католических церковных песнопениях).

³Речь идет о доме Военного ведомства (Пречистенка, 7).

⁴Имеется в виду Александро-Мариинский Кавалерственной Дамы Чертовой институт (Пречистенка, 19). Институт имел целью воспитание и образование дочерей офицеров и врачей Московского военного округа и принадлежал к числу закрытых учебных заведений Ведомства императрицы Марии.

⁵Имеется в виду дом Военного ведомства на Остоженке (Остоженка, 10) и окружной интендант генерал-лейтенант барон Оттон Карлович Кистер.

⁶Слово образовано от каталажний — шумный, буйный, беспокойный (Д а л ь. Т. 2. С. 238).

⁷Катапцы — валенки (Д а л ь. Т. 2. С. 241). Как часто бывает у Андрея Белого, он использует лексическую форму, пренебрегая конкретным значением.

⁸Тот, кто таранит, бойкий и резкий говорун, болтун (Д а л ь. Т. 4. С. 725).

⁹"Се, человек" — "Тогда вышел Иисус в терновом венце и багрянице. И сказал им *Пилат*: се, Человек!" (Иоанн. 19, 5).

¹⁰Касторовый колпак — шапка из меха речного бобра (*лат.* *castor fiber*).

¹¹Пещера. В вертепе, согласно Евангелию, родился Христос.

¹²После рождения Иисуса Христа Иосифу было сказано оставить Вифлеем и бежать в Египет. Ирод же послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме от двух лет и младше (Матф. 2, 16).

¹³"Дороносимыми чинми" (ангелы, несущие хоругви) — слова из второй части Херувимской песни, канон литургии Иоанна Златоуста.

¹⁴Иудейский первосвященник, выступавший за казнь Христа.

¹⁵"Да минует Меня чаша сия" — слова из молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду (Матф. 26, 39).

¹⁶Бархат.

¹⁷Шпат — название различных минералов из породы силикатов.

¹⁸Мягкий волнистый камень тальковой породы, вид асбеста, горного или каменного льна.

¹⁹Область в Южной Палестине. В 587—86 г. до н. э. Иудейское царство было завоевано вавилонским царем Навуходоносором II и превращено в провинцию Иудея. В 63 г. до н. э. был установлен римский протекторат и введено прокураторское управление.

²⁰Галилея — часть Палестины, обнимавшая плоскогорье между Иорданом и Средиземным морем с включением северных склонов долины Эздрилонской. Здесь,

в отличие от Иудеи, почти не были вытеснены туземцы, которые массой своей влияли на евреев, захвативших эту страну, и делали из Галилеи языческую страну. В 47 г. до н. э. Антипатр, назначенный правителем Иудеи, власть над Галилеей поручил своему сыну Ироду, впоследствии царю. По смерти его тетрархом Галилеи становится Ирод Антипа и пребывает в этой должности до 39 г. н. э.

²¹Тивериадское озеро или Галилейское море. Здесь Христос говорил из лодки людям, собравшимся на берегу, укротил бурю, ходил по водам.

²²Ковчег, в котором носят запасные Святые дары.

²³См. комментарий 22 к главе "Спутник".

²⁴В образе Касьяна-распятого выведен сам Владимир Иванович Танеев (1840—1921) — юрист, философ, владелец имения Демьяново. Сравни характеристику Танеева в воспоминаниях: "Его постоянную поговоркою <...> было упоминание всем и каждому, как некое memento mori: — Это будет тогда, когда мужики придут рубить головы нам <...> По его мнению: давно пора рубить голову; туда и дорога нам; это мнение его распространялось на весь круг друзей и знакомых: удивительно, что у них головы на плечах; еще сто лет тому назад следовало бы начать головурубку; и как жаль, что Робеспьер — не дорубил" (На рубеже. С. 153—154).

²⁵Аркебуза — первое появившееся ручное огнестрельное оружие. Аркебузировать — расстреливать.

²⁶Даниил — еврейский праведник и пророк-мудрец, деяния и видения которого описаны в библейской книге "Книга пророка Даниила". Даниил был уведен из Иерусалима царем Навуходоносором в плен, брошен в львиную пещеру, но чудом спасен. Андрей Белый также намекает на эпизод из "Книги пророка Даниила" о трех отроках (Седрах, Мисах, Авденаго), брошенных Навуходоносором в печь и оставшихся невредимыми (Дан. 3).

²⁷Елань — обширная прогалина, полевая равнина, возвышенная голая и открытая равнина; ржавец — ржавос болото, железистый ручеек из ржавого болота.

²⁸Это слово Андрей Белый образует от Назарета, небольшого города Галилеи, в котором провел свое детство Иисус Христос.

²⁹Слово образовано от слова "калич" — калека (Даль. Т. 2. С. 190).

³⁰Ржаной хлеб.

³¹Теплая шапочка с круглым верхом, без ушей.

³²Илья — библейский пророк (3-я и 4-я книги Царств), одаренный почти божественной властью чудотворец, предсказывающий будущее от имени Бога. Был вознесен Яхве на небо (4 Царств. 2, 11—12).

ЗАПИСКИ ЧУДАКА

Белый работал над "Записками чудака" — произведением, в некоторых своих главах примыкающим к "Котику Летаеву" и "Крещеному китайцу" и выветвившимся из общего с ними замысла "Моей жизни", — в январе — апреле, октябре — ноябре 1918 г., т. е. в промежутке между написанием "Котика Летаева" и "Крещеного китайца". В предисловии к "Запискам", датированном февралем 1919 г., было сказано, что они — "вступление к громадному произведению, долженствующему развиваться в ряд частей или, может быть, томов" (Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 11). Отсюда — многостажное название произведения, появившегося в первых трех номерах "Записок мечтателей" за 1919 г.: "Я". Эпопея. Том первый. "Записки чудака". Часть первая "Возвращение на родину". Работа над "Записками чудака" была надолго прервана, и только в Берлине в 1921 г. Белый завершает подготовку полного книжного издания, которое было осуществлено издательством "Геликон" в 1922 г. Оно вышло под заглавием "Записки чудака" без упоминания об огромном эпическом замысле. В нашем Собрании сочинений "Записки чудака" публикуются по этому "геликоновскому" изданию.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

¹Согласно "духовной науке" (антропософии), Высшее "Я" человека имеет свою личину, своего двойника. Именно эту личину, этого двойника своего Высшего Я, Белый и называет Леонидом Ледяным. В 10-й лекции Р. Штейнера "Духовная

наука как познание основополагающих импульсов социального образования” (1920) дана подсказка “говорящей” фамилии беловского героя: “Мир, в котором мы живем между рождением и смертью, постоянно имеет возможность разлетаться во все стороны. Это мир, в котором существуют только силы столкновения. А тот мир, который расположен за покровом чувств, он удерживает наш мир от разлетания <...> Этот центростремительный мир, если его рассмотреть с той стороны Порога духовного мира, — холодный, ледяной. Он в некотором смысле весь соткан из полных мудрости мыслей, но холоден, жесток и вызывает озноб. И этот холодный, застывший мир удерживает от разлетания другой мир. Кто вступает в сферу за Порогом, тот ощущает этот озноб, это холодное сжатие. Без этого оледенения, без этого чувства, что ты застываешь, нельзя вначале почувствовать себя со своим “Я” и астральным телом по ту сторону Порога <...> Но зачем же человек входит в эту область? Он вносит в этот мир центростремительных мировых сил то, что живет в его внутреннем мире, т. е. душевное тепло. Человек его вносит в эту холодную область. Он — согреватель этой области, и это прежде всего относится к его космической задаче” (Ш т е й н е р. Т. 199).

НА ХОЛМЕ

¹В связи с призывом на военную службу Белый в середине августа 1916 г. выезжает из Дорнаха на родину.

²В образе Нэлли выведена первая жена Белого Анна Алексеевна Тургенева (1890—1966).

³Греческая и римская одежда типа туники.

⁴Переводная картинка (*ut.*).

⁵Автором проекта и внутреннего оформления здания антропософского храма-театра Гетеанум в Дорнахе был Р. Штейнер, создавший план Гетеанума как отдельно стоящей двухкупольной постройки на бетонном основании. В одной из своих статей в журнале “Гетеанум” за 1921 г., посвященной архитектуре этого здания, Штейнер писал, что он руководствовался стилем, который от симметрии, повторяющегося ритма и тому подобных традиционных архитектурных приемов переходит к формам органической жизни. В формах здания должны были воплощаться гетевские идеи органической природы, что и обусловило название здания — Гетеанум. В воспоминаниях Маргариты Волошиной (М. В. Сабашиковой) “Зеленая змея” (М., 1993), в “Воспоминаниях о Штейнере” Белого читатель найдет подробный рассказ о строительстве и строителях Гетеанума. Об эзотерике здания см.: Сергей О. Прокофьев “Двенадцать Священных Ночей и Духовные Иерархии” (Ереван, 1993).

⁶“...В Христианин, — вспоминал Белый свое норвежскую поездку осенью 1913 г., — я продолжаю жить исключительно одним: надвигается II пришествие Христа; ко второму пришествию надо себя готовить; мы вступаем в полосу гигантских кризисов; Европа несется в пропасть; все, что не озарено Христовым ведением, будет разрушено; люди и не подозревают, какое варварство, какое одичание нас ждет” (М а т е р и а л к б и о г р а ф и и. Ср. идущую ниже главу “Льян”).

⁷Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт-символист, теоретик и историк культуры, переводчик и драматург. Знакомство Белого и Вяч. Иванова состоялось в апреле 1904 г. и вскоре перешло в тесную дружбу, омрачаемую, как это всегда случалось с Белым, бурными ссорами и полемикой. О характере их отношений см.: Nivat G. Prospero et Ariel, *Esquisses des rapports d'Andrej Belyj et Vjačeslav Ivanov.* — Cahiers du monde russe et soviétique. N. 25. 1984.

⁸Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — религиозный философ, богослов, критик, публицист. См. о нем в кн. Н а ч а л о в е к а, гл. “Религиозные философы”.

⁹Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ, публицист, критик. Автор статьи о “Петербурге” Белого “Астральный роман” (Биржевые ведомости. 1916 (утр. выпуск). 1 июля).

¹⁰Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, переводчик, критик. Белый познакомился с Бальмонтом в 1903 г., а его стихами увлекся, будучи еще студентом. Сборник стихов Бальмонта “Будем как солнце” вдохновил Белого на его первый поэтический сборник “Золото в лазури”, открывающийся стихотворным циклом “Бальмонту”.

¹¹Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — прозаик, философ, публицист, одна из центральных фигур первого поколения русских символистов. Восторженное, хотя и не лишённое иронического подтрунивания, отношение молодого Белого к Мережковскому, с которым он познакомился в 1901 г., позднее сменилось более сложным, отмеченным внутренней полемикой со многими идеями Мережковского. Однако образ "чуткого уловителя великого зова" навсегда остался в сознании Белого. "К далям прошлого обернулся потом Мережковский, и заяснели приближающиеся дали, — писал Белый в критическом очерке "Мережковский" (1908). — Старые образы как-то по-новому заговорили с нами, и мы причастились причащением жизни неведомой <...> Кто-то стоял и звал нас из прошлого, но и будущее донесло к нам голос" (Арабески. С. 417—418). Мережковскому посвящен поэтический цикл Белого "Вечный зов", включенный в сборник "Золото в лазури". Об отношении Белого к Мережковскому см. ряд глав ("Мережковский и Брюсов", "Встреча с Мережковским и Зинаидой Гиппиус", "Профессора, декаденты", "Я полонен", "Хмурые люди", "Из тени в тень" и др.) книги *Начало века*.

¹²Штейнер Рудольф (1861—1925) — немецкий философ, основоположник антропософии, основатель и руководитель Антропософского общества. См. о нем: *Белый Андрей*. Воспоминания о Штейнере; *Белый Андрей*. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. М., 1917; *Abendroth W. R. Steiner und die neutique Welt*. München, 1969.

КОМНАТА

¹Комплекс пластических упражнений, разработанных Р. Штейнером и ставящих своей целью выразить индивидуальное восприятие звуковых и словесных форм. Владение языком эвритмии должно было способствовать как физическому, так и духовному совершенствованию личности.

²Административная область на юге Италии. Центр — Неаполь.

³Осенью 1915 г. Белый с А. Тургеневой путешествуют из Дорнаха по Швейцарии, посещая ряд городов, в том числе Лугано.

⁴Личность не установлена.

⁵Герой швейцарской народной легенды XIV в. — меткий стрелок из лука, принужденный габсбургским чиновником сбить стрелой яблоко с головы своего маленького сына. Выдержав это испытание, Тель убивает чиновника, что послужило сигналом к народному восстанию против Габсбургов.

⁶Моргенштерн Кристиан (1871—1914) — немецкий поэт-антропософ, один из ближайших сподвижников Р. Штейнера. Его знакомство с Белым произошло в декабре 1913 г. на лекции Штейнера (см.: *Лавров А. В. Андрей Белый и Кристиан Моргенштерн // Сравнительное изучение литератур*. М., 1976).

⁷Скорее всего, речь идет о Михаэле Бауэре (1871—1929) — одном из первых учеников Штейнера и самых активных деятелей антропософского движения, авторе религиозно-философских и педагогических сочинений. Белый посвятил ему стихотворение "Речь твоя — пророческие взрывы" (поэтическая книга "Королева и рыцари". Пб., 1919). Ср.: "...с 1915 года я удостоился счастья ближе узнать Михаила Бауэра, бывать у него и пользоваться его советами <...> беседы с ним, его умудренное бездонно-глубокое слово, поднесенное [мне] иной раз под формой грубоватого народного афоризма с "солью и перцем", но сквозящего внутренним теплом и добротой <...> незаменимо; то, что я получил от Бауэра, доктор сам мне не мог бы дать: я разумею — "тональность", совершенно индивидуальную, "бауэровскую" (В о с п о м и н а н и я. С. 159).

⁸Имеется в виду Антропософское общество, основанное Р. Штейнером в 1913 г.

⁹Экхарт Иоганн (ок. 1260—1327) — немецкий мыслитель, представитель философской мистики позднего средневековья, приближающейся к пантеизму. От Экхарта берет свое начало немецкий мистицизм народно-еретического толка, подготовлявший протестантизм.

БЕРН

¹Столица Швейцарии (с 1848 г.), административный центр кантона Берн на реке Ааре. Основан в 1191 г.

²Имеется в виду Александр Михайлович Поццо (1882—1941) — юрист, редактор символистского журнала "Северное сияние". Муж Н. А. Тургеневой (сестры Аси Тургеневой), с которым Белый возвращался из Дорнаха в Россию. Участник строительства первого Гетеанума.

³Бес, вызванный Мефистофелем в конце второй части гетевского "Фауста", чтобы погубить Фауста.

⁴Приверженец учения, признающего существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных лишь для "посвященных", которые прошли специальную подготовку.

⁵Все пассажи этой повести об управлении Генерально-Астрального Штаба, о шпионах-окультистах, выслеживающих в астрале всех, у кого раскрывается Высшее Я, об их пособниках и марионетках в политике, в "штемпелеванной культуре", во всех сферах жизни общества имеют корни не только в болезненном состоянии Белого, как принято считать, но и раскрывают действительное (согласно антропософскому учению) положение дел в мире. В циклах лекций 1917 г. "Исторические рассмотрения" и "Индивидуальные духовные существа и их действия в душе человека" Штейнер утверждал по этому поводу: "Определенные оккультные общества <...> хотят материализм некоторым образом сверхматериализовать...

Представьте себе, человек целиком и полностью не только в отношении мировоззрения, но и в отношении всех ощущений, чувств, является материалистом; и таких людей на Западе огромное число. Человек тогда стремится повлиять на материальный мир, не только пока он пребывает в физическом теле, но и за порогом смерти <...>. В наше время есть люди, чья тяга к материи столь велика, что они стремятся к учреждениям, через которые они из-за порога смерти могли бы попечительствовать над учреждением материального мира. И такие инструменты, через которые человек материальное господство обеспечивает себе и по ту сторону смерти, имеются, это есть именно места определенного рода церемониальной магии... Человек, стоящий в кругу определенного церемониально-магического общества, обеспечивает себе за порогом смерти некоего рода ариманическое бессмертие.

Такие общества многочисленны, и люди с определенными степенями в таких обществах знают: через такое общество я буду в состоянии те силы, что должны иссякнуть со смертью, сделать в определенной мере бессмертными, и они будут действовать после моей смерти. И можно сказать, что имеются общества, которые спиритуально оккультно мыслят себя "страховыми обществами" по обеспечению ариманического бессмертия <...> Так что эти братства готовят клиентуру из душ умерших, которые остаются в сфере Земли. <...> Действия этих братств ни в коем случае не безобидны; по их мнению, люди должны и дальше шествовать в направлении материализма, верить, что хотя духовные силы и существуют, но они представляют собой не что иное, как определенные силы природы" (Т. 174, лекция 21. Т. 178, лекция 7).

⁶Порывы, желания, стремления — это обозначения для вещественного в мире душ. Это вещественное назовем "астральным", — писал Р. Штейнер в сочинении "Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека" (Ереван, 1990. С. 71).

⁷Гюйсманс Шарль Мари Жорж (1848—1907) — французский писатель, способствовавший переходу европейской литературы рубежа веков от натурализма к декадансу.

⁸Стриндберг Август Юхан (1849—1912) — шведский прозаик и драматург, стихийное начало и глубокий мистицизм творчества которого оказали заметное воздействие на русских символистов.

⁹См. комментарий 9 к четвертой главе "Котика Летаева".

"ОНИ"

¹Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — богослов, философ, историк, математик, инженер, поэт. См. о нем главу "Аяксы" в Начале века. Отношения Белого и Флоренского отражены в их переписке, опубликованной в сборнике "Контекст". 1991. М., 1991.

²Название столицы Норвегии до 1924 г.

³Назван по имени популярнейшего короля Норвегии Хокона (у Белого: Гакона) VII (1873—1957).

⁴Азеф Евно Фишелевич (1869—1918) — провокатор, с 1892 г. секретный сотрудник департамента полиции. Один из организаторов партии эсеров, руководитель ряда террористических актов. Имя его как предателя приобретает нарицательное значение. Комментаторы романа Белого "Петербург" (Л., 1981. С. 657) высказывают обоснованное предположение, что в своей характеристике внутреннего мира героя этого романа Липпанченко Белый опирался на суждения Р. Штейнера об Азефе, приведенные в воспоминаниях Маргариты Волошиной "Зеленая змея": "Посмотрите на это лицо, на этот лоб (<...> он не способен мыслить. Посмотрите на нижнюю часть лица: она показывает непреодолимую бычью силу действия — без участия собственной воли. Он должен наперекор всем препятствиям выполнить действие, которое хочет другой. Поэтому он и является людям таким бесстрашным. Но он только выполнял то, чего хотела полиция, или то, чего хотели революционеры; и он был искренен, когда плакал об их гибели" (*Волошина Маргарита (М. В. Сабашникова)*). Зеленая змея. История одной жизни. М., 1993. С. 183).

⁵Согласно антропософским представлениям, основанным на идее тождества человека-микрокосмоса и мира-макрокосмоса, в бытии присутствует несколько планов: физический, душевный, духовный, которым соответствуют тело физическое, тело астральное (сфера страстей) и тело ментальное (сфера сознания), образующие в совокупности своей состав человека.

⁶Последователи культа сатаны, распространившиеся в декадентских кругах Европы и Америки во второй половине XIX в. Сатанисты поклонялись Люциферу как порождению света и считали себя последователями тамплиеров, практиковали черную магию. Их ритуалы, получившие художественное отражение в романе Ш. Гюисманса "Там, внизу" (1891), носили необузданно-чувственный характер.

⁷Участники объединения московских художников (1910—1916), обращавшиеся к живописно-пластическим исканиям в духе творчества П. Сезанна, фовизма и кубизма, а также к приемам русского лубка и народной игрушки. Участники "Бубнового валага" (П. Кончаловский, А. Куприн, А. Лентулов, И. Машков, Р. Фальк) решали проблемы построения формы цветом, выявления материальности природы.

⁸Дэстре, мадам — дочь гравера Данса, учителя А. Тургенева.

⁹Де-Гру — личность не установлена.

НЭЛЛИ

¹Согласно учению Аристотеля, изложенному в его трактате "О душе", основные силы души можно охарактеризовать как сообразующиеся с разумом и не сообразующиеся с ним. Главные проявления разумной души — умственная деятельность, неразумной — стремление, желание. Между двумя крайними душами — разумной и неразумной — помещается третья, их уравнивающая, — способность ощущения.

²Фолькхельт Йоханнес (1848—1930) — немецкий философ-неокантианец, психолог и эстетик.

³Ласк Эмиль (1875—1915) — немецкий философ-неокантианец баденской школы, представитель так называемого телеологического критицизма. Учение об объективном идеальном бытии связывал с теорией ценностей.

⁴Речь идет о книге "Великое искусство" (1275) каталонского схоласта, теолога, писателя Раймунда Луллия (ок. 1235 — ок. 1315). См. запись Белого в январе 1916 г.: "...раза три в неделю уезжаю в университетскую библиотеку в Базель, где усиленно работаю над литературой о Раймонде Луллии; читаю французскую монографию о нем (забыл автора), читаю "Ars brevis" Раймонда, перехожу к "Ars Magna", но — запутываюсь и читаю комментарии к Раймонду Джордано Бруно" (Пакурск д не в ни ку. Л. 77 об.).

⁵Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ, богослов и поэт. Рационалистическая направленность его идей ("понимаю, чтобы верить") вызвала протест ортодоксальных церковных кругов. Трагическая история любви Абеляра к Элоизе, которая закончилась уходом их в монастырь, описана в автобиографической "Истории моих бедствий" (1132—1136).

⁶Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства. Философия, согласно Риккерту, — это наука

о ценностях, которые образуют "совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта" (Риккерт Г. О понятии философии // Голос. 1910. № 1. С. 33). Работа Г. Риккерта, оказавшая особое воздействие на Белого, — "Der Gegenstand der Erkenntnis", изданная в 1892 г. Белый позднее вспоминал об октябре 1904 г.: "...в конце месяца натякаюсь на книгу Риккерта "О предмете познания". И с этого момента скрупулезно, по страничкам, штудирую эту книгу (и ноябрь, и декабрь); так постепенно неокантианские проблемы начинают вьедаться в меня" (Ракурс к дневнику. Л. 24 об.).

⁷Правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равнобедренные треугольники, равные по высоте. В средние века — распространенный магический знак.

⁸Отъезд Белого и А. Тургеневой в Бельгию датируется серединой марта 1912 г.

МОСКВА

¹Пребывание Белого и А. Тургеневой в Сицилии датируется второй половиной декабря 1910 — началом января 1911 г. Сицилианские, как и позднейшие тунисские, впечатления запечатлены в книге Белого "Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис" (М.; Берлин, 1922).

²Речь идет о Монреальском соборе (1174—1189) — памятнике нормано-сицилийского стиля, знаменитом своими мозаиками. Монреаль — городок в 5 км от главного города Сицилии — Палермо, куда Белый с А. Тургеневой переселились не позднее 24 декабря 1910 г.

³Пребывание в Тунисе: 5 января — 8 марта 1911 г.

⁴Византийский монастырь в 15 км к западу от Константинополя на берегу Мраморного моря. В Константинополе Белый и А. Тургенева находились с 1 по 3 мая 1911 г. по пути из Африки на родину.

⁵Египет: 8 марта — 8 апреля 1911 г. О посещении Египта и Палестины см.: Белый А. Африканский дневник // Российский Архив. Т. 1. М., 1991.

⁶Династии наивысшего подъема Древнего царства, датируемые XXVIII—XXVI вв. до н. э.

⁷Имеется в виду пирамида фараона V династии Пепи I, расположенная в деревне Саккара близ Мемфиса.

⁸Гробница вельможи Ти относится к середине III тысячелетия до н. э.; стены ее покрыты рельефными композициями, изображающими различные сцены из жизни вельможи, фигуры птиц и животных.

⁹Место погребения священных быков (двадцать четыре гранитных и базальтовых саркофага, открытые в 1850—1851 гг.).

¹⁰Масперо Гастон Камиль Шарль (1846—1916) — французский египтолог. Руководил археологическими раскопками в Египте, исследовал тексты на внутренних стенах пирамид. Основал в Каире Институт восточной археологии.

¹¹См. комментарий 20 ко второй главе "Котика Летаева".

¹²Группа английских художников и писателей XIX в., избравшая своим идеалом "наивное" искусство средних веков и раннего Возрождения (до Рафаэля), которое романтически противопоставлялось прозе буржуазного мира. Члены "Братства префаэлитов" (1848—1853) — Д. Г. Россетти, Х. Хант, Дж. Э. Миллес — соединяли скрупулезную передачу природы с вычурной символикой. Позднее стремились возродить средневековое ручное ремесло.

¹³Осмотр Великого Сфинкса впервые произошел 15 марта 1911 г. Под впечатлением увиденного было отправлено письмо матери: "Пишу тебе, потрясенный Сфинксом. Такого живого, исполненного значением взгляда я еще не видел нигде, никогда (<...> На голубом небе, прямо из звезд в пустыню летит взор чудовищного Сфинкса; и он — не то ангел, не то зверь, не то прекрасная женщина" (РГАЛ И. Ф. 53, оп. 1, ед. кр. 359).

¹⁴Описание Гроба Господня см. в письме Белого к А. С. Петровскому от 1 апреля 1911 г. (Восток — Запад. С. 172—174).

¹⁵Мифический родоначальник евреев Авраам должен был принести своего сына Исаака в жертву Богу, но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом (Бытие, 22, 9—14).

¹⁶Омар I (ок. 591—644) — второй халиф (с 634 г.) в Арабском халифате, один из ближайших сподвижников Мухаммеда. При нем арабские войска одержали значи-

тельные победы над византийцами и Сассанидами и завоевали многие территории в Азии и Африке. Ввел мусульманское летосчисление по хиджре. Убит рабом-персом. Мечеть его имени — в Медине.

¹⁷Возвращение Белого и А. Тургенева в Москву — середина сентября 1911 г.

ЛЬЯН

¹В городе Льян (близ Христиании, как тогда называлась столица Норвегии) А. Белый и А. Тургенева слушали курс лекций Штейнера "Пятое Евангелие" во второй половине сентября — начале октября 1913 г. Здесь было принято окончательное решение связать свою судьбу с антропософией.

²Грюневальд (прав. Нитхард) Матис (между 1470 и 1475—1528) — немецкий живописец эпохи Возрождения.

³Кранах Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график.

⁴Дюрер Альбрехт (1471—1528) — немецкий живописец и график. Основатель искусства немецкого Возрождения.

⁵Хольбейн (Гольбейн) Ханс Младший (1497—1543) — немецкий живописец и график эпохи Возрождения.

⁶"Бхагаватгита" (Высокая Гита) — памятник религиозно-философской мысли Древней Индии (I тыс. до н. э.), часть VI книги "Махабхараты". Философская основа индуизма.

⁷Сопшемся на определение эфирного тела, данное Р. Штейнером: "В каждом растении, в каждом животном человек ощущает кроме физического облика еще его духовный, исполненный жизни облик. Чтобы как-нибудь осознать его, пусть этот духовный облик называется эфирным телом или жизненным телом <...>

Жизненное тело есть сущность, которая каждое мгновение в течение жизни охраняет от распада физического тело. Для того чтобы увидеть это жизненное тело, чтобы воспринять его у другого существа, необходимо иметь пробужденное духовное око" (Штейнер Р. Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека. Ереван, 1990. С. 27, 29).

⁸В западноевропейских средневековых легендах — таинственный сосуд, ради приближения к которому и приобщения его благим действиям рыцари совершали свои подвиги. Обычно считалось, что это чаша с кровью Иисуса Христа. Грааль — символ исцеляющей, созидающей силы христианского воскресения. Мотив Грааля получает первоначальную разработку в рыцарских романах конца XII в. Вольфрама фон Эшенбаха, Кретьана де Труа, Робера де Борона, вдохновляет позднее творчество Рихарда Вагнера и др.

⁹Беме Якоб (1575—1624) — немецкий натурфилософ и мистик, сочинения которого написаны поэтическим языком. Знак, описанный Белым, можно увидеть в книге Беме "Аврора, или Утренняя заря в восхождении", переведенной на русский язык в 1914 г. близким другом Белого А. Петровским: Аврора, или утренняя заря, — символ рождения Высшего Я, одухотворения, воспаряющегося над "низшим бытием".

¹⁰Совокупность созвездий, расположенных вдоль эклиптики — большого круга небесной сферы, по которому Солнце совершает свой видимый путь в течение года.

¹¹Имеется в виду Штейнер-Сиверс Мария Яковлевна (1867—1948) — жена Р. Штейнера. Одна из основателей и деятельных членов Антропософского общества.

¹²Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский поэт и драматург. Упоминание о нем обусловлено тем, что разговор М. Сиверс и А. Белого происходит в декорациях "ибсеновских" мест.

¹³В июне — июле 1901 г. в имении отца Серебряный Колодезь (Строгальская волость Ефремовского уезда Тульской губернии) Белый наблюдал и "изучал" закаты. Впоследствии он отмечал, что этот год был для него "годом максимального мистического напряжения".

ПАМИР: КРЫША МИРА

¹Пережив в юности увлечение философией Артура Шопенгауэра, автора знаменитого труда "Мир как воля и представление" (1844), — "Шопенгауэр <...> мне был ножом, отрезающим от марева благополучий конца века" (На рубеже С. 188),

Белый со временем его преодолевает, связывая пессимизм Шопенгауэра с декадентством, которому противоплагается символизм как миросозерцание трагически-оптимистическое.

²Имеются в виду четыре "симфонии" Белого: "Северная симфония (1-я, героическая)" (1904), "Симфония (2-я, драматическая)" (1902), "Возврат (III симфония)" (1905), "Кубок метелей. Четвертая симфония" (1908).

³Имеется в виду вторая книга стихов "Пепел" (1909).

⁴Имение "Серебряный Колодезь", купленное отцом писателя Н. В. Бугаевым в 1898 г., было продано после его смерти в 1908 г.

⁵Речь идет о романе "Серебряный голубь", вышедшем отдельным книжным изданием в 1910 г.

⁶Первая книга статей А. Белого (М., 1910).

⁷Упомянув имя Заратустры — легендарного основателя одной из древнейших восточных религий — зороастризма (VII в. до н. э.), ставшего героем книги Ф. Ницше "Так говорил Заратустра", Белый напоминает о собственном увлечении ницшеанством: "С осени 1899 года я живу Ницше; он есть мой отдых, мои интимные минуты, когда я, отстранив учебники и отстранив философии, всецело отдаюсь его интимным проблемам, его фразе, его стилю, его слогу" (На рубе же с. С. 434).

⁸В статье "Враг с Востока" (1891) Вл. Соловьев провидит опасность особого рода: "...на нас надвигается Средняя Азия стихийною силою своей пустыни, дышит на нас иссушающими восточными ветрами, которые, не встречая никакого препятствия в вырубленных лесах, доносят вихри песку до самого Киева" (Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 480).

⁹Аллюзия на сочинение немецкого философа — левого гегельянца, теоретика анархизма Макса Штирнера "Единственный и его собственность" (1844), в котором доказывается, что единственной реальностью является индивид, Я, и что ценность всего определяется соответствием его интересам.

¹⁰Неточная цитата из стихотворения "Вечный зов" (1903).

¹¹"Се человек!" (лат.). Слова Понтия Пилата о Христе: "Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!" (Иоанн. 19, 5). Эти слова дали название и во многом определили содержание последнего сочинения Ф. Ницше "Ессе Номо. Как становятся самим собой" (1888).

¹²"Тот, чья сущность стала разумом" (санскр.), т. е. тот, кому требуется всего еще одно воплощение (инкарнация), чтобы стать совершенным и достигнуть нирваны.

¹³Неттесгеймский Агриппа (1486—1535) — деятель немецкого Возрождения, ревнитель "тайного знания", оккультист, якобы предсказавший вступление человечества с 1900 г. в новую эру. Главное сочинение "De occulta philosophia" (1510).

ВОСХОД ЗАРИ НЕВОСШЕДШЕГО СОЛНЦА

¹Имеется в виду лекция Р. Штейнера "Христос и XX век", прочитанная 25 января 1912 г.

²Слова Иисуса Христа ученикам во время прощальной беседы на Тайной Вечере: "Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас" (Иоанн. 16, 22).

³Речь идет о цикле из 6 лекций Р. Штейнера "Христос и духовный мир (Из поисков Святого Грааля)", прочитанном в Лейпциге в декабре 1913 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ДНЕВНИКА

¹"С 1888 г. у Ницше наступает помрачение ума, все больше его малым "я" овладевает сам Ариман (Сатана), под воздействием которого он и пишет свою последнюю книгу" (Steiner R. Esoterische Betrachtungen Karmischer Zusammenhänge. Bd. III. Dornach, 1975. S. 175).

ЛЕОНИД ЛЕДЯНОЙ

¹Аллюзия на сказку Х.-К. Андерсена "Тень" (1847).

ДВА "Я"

¹Рыцарь "Круглого стола" короля Артура, история которого рассказана в целом ряде мистических легенд XII—XV вв. ("Парсефаль" Кретьена де Труа, "Парцифаль" Вольфрама фон Эшенбаха и др.). Попадая в замок Грааля Монсальват, Парсифаль видит там истекающего кровью короля Амфортаса и сам Грааль. Но Парсифаль, проявивший равнодушие к хранителю Грааля Амфортасу, изгнан из замка и снова обрел Грааль только после многолетних поисков, перенесенных страданий и тяжелых испытаний. Судьба Парсифаля — символ жизненного пути подвижников средневековья, искавших служения идеалам духовного рыцарства.

²Согласно антропософскому учению, душа человека на пути от смерти к новому рождению проходит весь мир планет — от Луны до Сатурна, впитывая в себя характерные качества каждой из них. Так происходит строительство нашего "звездного", астрального тела.

³Символ романтического идеала, введенный в литературный оборот немецких романтиков Новалисом в его романе "Генрих фон Офтердинген" (работа прервана в 1801 г. в связи со смертью автора).

⁴Должностное лицо в духовном ордене, ступенью ниже великого магистра.

ИОАННОВО ЗДАНИЕ

¹Центром всего здания Гетеанума должна была стать скульптурная группа, вырезанная Штейнером из дерева. Она представляла собою три мировые силы, действующие, согласно антропософскому миропредставлению, в космосе и человеке: Люцифера, стремящегося превратить человека в пылкое, своенравное, чувственное существо, Аримана, стремящегося сделать его душевно законным, холодным, рассудочным, Христа, уравнивающего крайности и выражающего собою воплощенную Любовь. Эта скульптурная группа предназначалась для установки в центре сцены, на которой разыгрывались бы мистериальные представления. Во время пожара, уничтожившего в 1922 г. здание первого Гетеанума, скульптурная группа еще находилась в мастерской Штейнера, благодаря чему и сохранилась. В настоящее время она установлена во втором Гетеануме.

²Одно из обозначений Бога в ветхозаветной мифологии, несущее в себе память о древнем многобожии еврейских племен. В антропософии — Духи Формы, т. е. духи четвертой снизу Иерархии. См. цикл лекций Штейнера 1909 г. "Духовные Иерархии и их отражение в физическом мире" (т. 110).

³Речь идет о Наталье Алексеевне Поццо (урожд. Тургеневой, 1886—1942) — старшей сестре жены Белого. Она была замужем за часто упоминаемым в книге Александром Михайловичем Поццо.

ХРАМ СЛАВЫ

¹Весной 1898 г., будучи гимназистом седьмого класса, Белый составляет план и делает первые наброски мистерии-драмы "Антихрист". Она осталась незавершенной, но в 1900 г. писатель перерабатывает один из фрагментов "Антихриста" и под названием "Пришедший" публикует его в 1903 г. в третьем альманахе "Северных цветов".

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

¹Соловьев Михаил Сергеевич (1862—1903) — педагог, переводчик, издатель сочинений своего брата философа Вл. Соловьева, отец ближайшего друга юности Белого Сергея Соловьева. Познакомившись с Соловьевым в конце 1895 г., Белый стал завсегдатаем их дома, испытал огромное идейное и культурное влияние этой семьи. О взаимоотношениях с Соловьевыми рассказано на страницах книг На рубеже и Начало века.

²"Краткая повесть об Антихристе" входит в состав одного из последних произведений Вл. Соловьева "Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории" (1900).

³Соловьева (урожд. Ковалевская) Ольга Михайловна (1855—1903) — художница, переводчица. Жена М. С. Соловьева, мать Сергея Соловьева.

⁴Имеется в виду Московское Антропософское общество, основанное в 1917 г. супругами Григоровыми и закрытое в 1923 г. См.: *Жемчужникова М. Н.* Воспоминания о Московском Антропософском обществе (М и н у ш е е. Т. 6).

⁵Перальтэ Лоугс — французская художница, принимавшая участие в росписи куполов первого Гетеанума.

⁶Неточное цитирование строк собственного стихотворения "Вечный зов" (1903).

⁷"Камень основы" (нем.) — Белый имеет в виду краеугольный камень первого Гетеанума, мистерия закладки которого совершалась 20 сентября 1913 г. В речи на закладке камня Штейнер сказал: "...этот Камень должен означать познание, любовь и сильную волю <...> этот Камень должен быть также камнем преткновения и озлобления для большого числа врагов <...> Натуры, подобные жабам, придут со всех сторон, и для них будет это здание камнем преткновения и озлобления" (цит. по кн.: *Прокофьев С. О.* Рудольф Штейнер и краеугольные мистерии нашего времени. Ереван, 1992. С. 111).

⁸Трубецкой Сергей Николаевич, князь (1862—1905) — религиозный философ, публицист, деятель либерального направления. Первый выборный ректор Московского университета; последователь и близкий друг Вл. Соловьева. В сентябре — декабре 1904 г., будучи студентом историко-филологического факультета, Белый работал в семинаре Трубецкого.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА!

¹Усыпальница фараона IV династии (27 тыс. лет до н. э.) Хеопса (Хуфу) — самая высокая в Египте (высота 146,6 м). Белый совершил восхождение на нее во время той же поездки в Гизу, которой датирован и осмотр Сфинкса.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

¹Имеется в виду И. Энглерт — руководитель инженерно-строительных работ Гетеанума. Белый вспоминает: "М. В. Волошина стала сильно дружить с инженером Энглертом, познакомила меня с ним, и с той поры начинаются наши частые встречи и разговоры с Энглертом; он оказался замечательно умным, весьма начитанным человеком: прекрасный математик, талантливый инженер, астроном, астролог, глубокий знаток исторической мистики, он быстро выдвинулся в ряду строителей <...> и, в сущности говоря, один руководил всеми инженерными и строительными работами" (М и н у ш е е. Т. 6. С. 385).

ДО ГРАНИЦЫ

¹Сверток (*фр.*).

²Отъезд А. Белого в Россию датируется серединой августа 1916 г.

³Большой Пес — созвездие Южного полушария, в котором находится Сириус, самая яркая звезда на небе.

⁴О шествии Святого Духа на Белого см. "Материал к биографии" (М и н у ш е е. Т. 6. С. 364).

⁵Имеется в виду изложенная в сочинении "Учение о свете" (1910) и других работах Гете по оптике 1796—1810 гг. теория, противостоящая господствующей до нее ньютоновской теории света и рассматривающая, в рамках гетеевского учения о природе, свет и формирование цвета на основе особенностей строения человеческого глаза. Будучи символистски переосмысленной, эта теория сыграла значительную роль в становлении и развитии мирозозердания Белого (см. его статью "Священные цвета" (1903), а также книгу "Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности").

⁶Архаические доолимпийские божества в греческой мифологии; изображаются в виде крылатых полуженщин-полуптиц отвратительного вида. В мифах они представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ.

⁷Важнейшее понятие философии свободы Р. Штейнера: "Конкретные представления человек производит из суммы своих идей прежде всего посредством фантазии. Следовательно, то, в чем нуждается свободный дух, чтобы осуществить свои идеи, чтобы проявить себя, — это моральная фантазия. Она — источник деятельности свободного духа" (*Штейнер Р. Философия свободы*. Ереван, 1993. С. 165).

⁸См. статью А. Белого "Священные цвета" (Арабески). В свою очередь, "моральное чтение" восходит к гетевскому "учению о цвете", проинтерпретированному в кн.: *Лихтенштадт В. О. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания*. Пб., 1920. Гл. "Чувственно-нравственное действие цвета".

РУБИКОН ПЕРЕИДЕН

¹Согласно антропософскому учению, первое из трех испытаний, которые предстоит пройти оккультному ученику на пути посвящения. Оно состоит в том, что перед оккультным учеником как бы спорадически все твердое, все ставшее, все материальное, все то, в реальность чего он слепо верил, на чем привык строить свою жизнь. Все здание чувственной мысли спорадически и превращается в пепел. Испытуемый же оказывается в чистом огне становления (см.: *Штейнер Р. Как достигнуть познания высших миров?* Ереван, 1992. С. 52—53).

ВО ФРАНЦИИ

¹Словосочетание, связанное с названием горы Фавор, часто упоминаемой в Ветхом Завете. Именно с этой горой христианское предание связывало знаменитый эпизод — Преображение, о котором повествуют Евангелия от Матфея (17) и от Луки (9): Иисус призывал своих ближайших учеников на гору, где его осиял свет с небес и он предстал перед будущими апостолами в своем истинном божественном облике.

²В антропософии отчетливы отзвуки древних аполлонических мистерий, основанных на вере в силу духовно-морального воздействия Аполлона, который пронизывает всю землю. В "Материале к биографии (интимном)", в записи за декабрь 1913 г., А. Белый следующим образом характеризовал действие Аполлонова света: "30 декабря доктор читал ту лекцию курса (имеется в виду лекция Р. Штейнера "Рождественское настроение. Новалис как вестник духовного Христианства", прочитанная им 29.XII.1912 г. в Кельне. — Г. П., В. П.), где говорится об Аполлоновом свете; во время слов д-ра о свете со мной произошло странное явление; вдруг в зале перед моими глазами, вернее, из моих глаз вспыхнул свет, в свете которого вся зала померкла, исчезла из глаз; мне показалось, что сорвался не то мой череп, не то потолок зала и открылось непосредственно царство Духа: это было, как если бы произошло Сошествие Св. Духа; все было — свет, только свет; и этот свет — трепетал; скоро проступили из света: свет люстр, мне показавшийся темным, контуры сидящих, доктор, стены; д-р кончил; когда я двинулся с места, я почувствовал как бы продолжение моей головы над своей головою метра на 1¹/₂; и я чуть не упал в эпилепсию: я схватился рукою за Асю; и на несколько секунд замер; когда я вторично двинулся, то явление исчезло; это явление даже не удивило меня; оно было лишь отражение моего приподнятого состояния; я ходил в Духе: был в Духе; и мне казалось: иные из членов О-ва тоже были в Духе. Духовные миры как бы опустились на нас; и из лекционного зала сопровождали нас в наши комнаты; весь день и всю ночь длились для меня духовные озарения" (М и у в ш е. Т. 6. С. 364).

³Имеется в виду "милетская" школа досократиков и ее последователей — ранних греческих философов VI в. до н. э., работавших в ионийских городах Малой Азии и утверждавших эмпиризм, сенсуализм, интерес к конкретному многообразию чувственного мира. (Сохранившиеся тексты собраны в сочинении немецкого филолога С. Дильса "Фрагменты досократиков". Берлин, 1903.)

ЗА ГРАНИЦЕЙ СОЗНАНИЯ

¹В греческой мифологии — один из кентавров, известный своим коварством, благодаря которому ему удалось отомстить умертвившему его Гераклу.

²Ирония Белого основана на том, что мистический знак треугольника, являвшийся у средневековых оккультистов символом Св. Грааля, был превращен в торговую марку галошной фирмы. Ср. его статью: "Штемпелеванная калоша" (Арабески).

³Перевернутая (опрокинутая) пентаграмма в противоположность обычной, являющей собою в оккультном знании символ "духовной формы" человеческой фигуры, являлась символом зла и изображалась обычно в виде козлиной головы.

⁴Звезда Соломона (гексаграмма) служила в оккультном знании знаком совокупной силы, общинности. Изображалась в виде треугольника, направленного вершиной вниз (символ божеской благодати, нисходящей к человеку), который пересекается с треугольником, направленным вершиной вверх (символ человека, устремленного к Богу).

⁵Речь идет о встрече Белого с А. Тургеневой, состоявшейся в конце ноября 1921 г. в Берлине. В письме Р. В. Иванову-Разумнику от 1 марта 1927 г. Белый писал: "...я сторонник "семизма" в моей жизни, т. е. схемы семилетий <...> Из диалектики числа "7" я в других случаях выстроил себе схему; и она соответствует многому".

В этом же письме Белый отмечает, что "сознание; самостоятельность; сознательная игра в жизнь" начинается для него с первого года 2-го семилетия, т. е. с 1888 г. Теперь вспомним, что "Записки чудака" Белый закапчивает в 1921 г. Таким образом, можно предположить, что слова "переживаю я пятую жизнь в этой жизни" относятся к *пятому семилетию* после 1887 г. (начиная с 1888 г. — первого года его сознательной жизни), т. е. к семилетию 16—22 гг., и тогда это замечание Белого обретает более конкретный смысл.

КЕМ Я БЫЛ?

¹В книге Белого "Глоссолалия" читаем: "...да, верили греки, что где-то в Индии, в даялах, блистает *"златая земля"*; и золотую ту землю назвали: Зофейрой, Офейрой. Да, знаю:

— Офейра — сияние, сказка лучей, то — Эфирия; но эфир охлаждается воздухом; он — Аир.

В древней-древней Аэрии, в Аэре, жили когда-то и мы — звуко-люди; и были там звуками выдыхаемых светов: звуки светов в нас глухо живут; иногда выражаем мы их звукословием, *глоссолалией*" (*Белый Андрей*. Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин, 1922. С. 68). Уместно напомнить, что в 1921 г. в Москве вышла книга путевых заметок Белого "Офейра".

ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛЕКЦИЙ

¹Речь идет о мудрецах-звездочетах, узнавших, согласно евангельскому преданию, по явлению чудесной Вифлеемской звезды о рождении "царя иудеев" и пришедших поклониться Младенцу Иисусу.

МИСТЕРИЯ

¹Скорее всего, имеется в виду Моргенштерн (см. о нем комментарий б к главе "Комната").

²Речь идет о Софии Штинде (1853—1915) — директоре немецкой секции Антропософского общества, "пастыре добром" движения, по словам Белого. В письме Иванову-Разумнику от 20 ноября 1915 г. он сообщил: "...пришло известие, что скончалась одна из руководителей нашего общества: Штинде. И вот, после кончины ее, я могу сказать, что у меня было отношение к ней, ну как... к Льву Толстому, как... к старцу; она вся была типом "святой христианской угодницы" (РГАЛИ. Ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 6).

³Имеется в виду Михаил Бауэр. См. о нем комментарий 7 к главе "Комната". В период общения с Бауэром Белый пишет стихотворение "Михаилу Бауэру" ("Речь твоя — пророческие взрывы") (1915).

⁴Речь идет о фигурах эвритмии.

⁵Понятия "самосознающая душа", "самосознающее "Я" получили следующее объяснение в неопубликованном сочинении Белого "История становления самосознающей души": "Эта сила соосознания и организации многих и разных живущих в нас сознаний. И это новое "со", волевое и творческое, и есть само-самосознание наше (<...> Самосознание есть внесение творческой воли в сознание и в познание". Именно в таком самосознании, согласно антропософскому миропредставлению, может раскрыться в человеке, вступить в него его Высшее Я, где, по словам апостола Павла, "уже не я живу, но живет во мне Христос" (Послание к Галатам. 2, 20).

⁶У Р. Штейнера есть такое объяснение оккультным письмам: "Если же, выдержав испытание огнем, посвященный захочет продолжить путь духовного ученичества, то теперь ему открывается определенная система писем, употребительных в духовном обучении. В этих письменах и раскрываются подлинные тайноведческие учения. Ибо действительно "сокровенное" (оккультное) в вещах не может быть непосредственно высказано словами обыкновенного языка или начертано обычными системами писем (<...> Знаки тайного письма не вымышлены произвольно, но соответствуют силам, действующим в мире. Посредством этих знаков научаются языку вещей (<...> Ему открывается, что все предшествующее было как бы изучением азбуки. Только теперь начинает он читать в высшем мире" (Познание. С. 53).

ВОЙНА

¹Имеется в виду характерное для греческой культуры эллинизма (III — I вв. до н. э.), главным центром которой была Александрия (Египетская), тяготение к культурному синтезу.

БОЛЕЗНЬ

¹Скорее всего, имеется в виду Якоб Бернулли (1654—1705) — наиболее известный представитель семьи швейцарских ученых-математиков Бернулли.

²Название пригорода и площади города Базель.

В ВАГОНЕ

¹В июне 1912 г. Белый с А. Тургеневой совершил поездку во Францию, где они жили в доме тетки А. Тургеневой — певицы М. А. Олениной-д'Альгейм в Буа-ле-Руа (под Парижем, вблизи Фонтенбло). Здесь Белый работал над романом "Петербург".

ГАВР

¹Грей Эдуард, виконт (1862—1933) — министр иностранных дел Великобритании в 1905—1916 гг., заключивший в 1907 г. соглашение с Россией, которое способствовало оформлению Антанты.

²Ллойд Джордж Дэвид (1863—1945) — один из крупнейших лидеров Либеральной партии Великобритании. В 1905—1915 гг. занимал ряд министерских постов. В 1916—1922 гг. — премьер-министр.

³Пуанкаре Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920 гг. Премьер-министр в 1912—1913, 1922—1924 и 1926—1929 гг.

⁴Клемансо Жорж (1841—1929) — премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг., проводивший откровенную шовинистическую и националистическую политику. Стремился к установлению военно-политической гегемонии Франции в Европе.

⁵Первая строфа стихотворения "Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный..." (1912).

¹Первая строфа стихотворения "Есть игра: осторожно войти..." (1913).

²Из стихотворения "Было то в темных Карпатах..." (1913).

³Неточно процитированная вторая строфа стихотворения "Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный..."

⁴Вильсон Томас Вудро (1856—1924) — 28-й президент США (1913—1921). Инициатор вступления США в первую мировую войну. В январе 1918 г. выдвинул программу мира, так называемые "четырнадцать пунктов".

МАРКОЙ ВЫШЕ

¹Имеется в виду атомистическая (корпускулярная) гипотеза строения вещества, сформулированная И. Ньютоном в его центральном труде "Математические начала натуральной философии" (1687).

ТОМ II

ЛОНДОН

¹Усыпальница английских королей, государственных деятелей и знаменитых людей, прославивших Англию.

²Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — лидер Либеральной партии с 1868 г. Премьер-министр Великобритании в течение ряда лет (с перерывами) от 1868 до 1894 г.

³Главные английские политические партии. Тори возникла в начале 80-х гг. XVII в., выражала интересы земельной аристократии и высшего духовенства англиканской церкви. На ее основе в середине XIX в. сложилась Консервативная партия. Виги возникли одновременно с тори в начале 80-х гг. XVII в. как партия крупной торговой и финансовой буржуазии. В середине XIX в. на основе ее сформировалась Либеральная партия.

⁴Круглая площадь с радиальными улицами в центре Лондона.

⁵Имеется в виду колонна, установленная на Трафальгарской площади в честь английского флотоводца Горацио Нельсона (1758—1805), одержавшего победу над французским флотом Наполеона при Трафальгаре.

⁶Расхожее наименование английского солдата.

⁷ Учреждение, в котором в годы первой мировой войны оформлялись визы и пропуска для иностранцев.

⁸Чемберлен Хаустон Стюарт (1885—1937) — философ-неокантианец и социолог; приверженец расовой теории, оказавший воздействие на национал-социалистическую идеологию Германии.

ФАНТАСМАГОРИЯ

¹Речь идет об "эффekte Томсона", получившем название по имени английского физика Уильяма Томсона (1824—1907), лорда Кельвина. Суть этого эффекта: выделение и поглощение теплоты в проводнике с током, вдоль которого существует перепад температур.

²Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925) — историк, представитель либерально-буржуазной историографии, академик Российской АН. В 1902—1908 гг. и с 1911 г. — в Великобритании. Автор трудов по аграрной истории средневековой Англии.

³Миллюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства. После Октябрьской революции — эмигрант.

⁴Аллюзия на роман Ч. Диккенса "Лавка древностей" (1841).

⁵Речь идет о Вудро Вильсоне.

⁶Субстанция, обладающая, с точки зрения средневековых алхимиков, способностью преобразования простых металлов в чистое золото. Мистический философский камень, о котором речь идет у Белого, символизирует преображение низшей, животной природы человека в высшую и божественную.

⁷Имеется в виду собор Святого Павла, построенный в 1675—1710 гг. архитектором Кристофером Реном.

⁸Кант Иммануил (1724—1804) разработал в своем раннем труде "Всеобщая естественная история и теория неба" (1755) "небулярную" космогоническую гипотезу об образовании планетной системы из первоначальной туманности, т. е. из облака диффузного вещества. Французский математик и астроном Пьер Симон Лаплас (1749—1827), независимо от Канта, развил аналогичные идеи в труде "Изложение системы мира" (1796), дав новой гипотезе образования звезд и планетных систем математическое обоснование.

ЛОНДОНСКАЯ НЕДЕЛЯ

¹Белый находился в Лондоне с 20 по 25 августа 1916 г.

²Редко применяемая единица времени, равная $\frac{1}{60}$ секунды.

³Единица объема, применяемая в США, Великобритании и других странах (от *лат.* quarta — четверть).

⁴Литургическая чаша на высокой ножке, часто из драгоценных металлов или поделочных камней, для освящения вина и принятия причастия.

⁵Пароходов (*англ.*).

⁶Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ, экономист, психолог и общественный деятель. Основатель английской позитивизма. В "Системе логики" (1843) разработал индуктивную логику, которую трактовал как общую методологию наук.

⁷Карпентер Вильям Бенджамин (1813—1885) — английский естествоиспытатель. Главное сочинение, на которое ссылается Белый, — "Принципы человеческой физиологии" (1881).

⁸Планк Макс (1858—1947) — немецкий физик, основоположник квантовой теории. Труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Благодаря трудам Планка, как считает Белый, было окончательно перечеркнуто учение о гипотетическом эфире, на которое опирались ученые XVIII—XIX вв.

⁹Гамильтон Уильям Роуан (1805—1865) — ирландский математик. Дал точное формальное изложение теории комплексных чисел, сформулировал общий принцип наименьшего действия.

¹⁰Уэвел Вильям (1794—1866) — английский философ, стремившийся синтезировать позитивизм и платонизм. Главный труд — "История индуктивных наук" (1847).

¹¹Локк Джон (1632—1704) — английский философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины либерализма. В "Опыте о человеческом разуме" (1690) разработал эмпирическую теорию познания.

¹²Речь идет о Гайд-парке — одном из самых красивых в Лондоне, традиционном месте политических митингов и демонстраций.

¹³Лодж Томас (1558—1625) — английский драматург, поэт, романист, критик и переводчик. Его сочинение "В защиту поэзии, музыки и драмы" датируется 1592 г.

¹⁴Максвелл Джеймс Клерк (1831—1879) — английский физик, создатель классической электродинамики, один из основателей статистической физики.

¹⁵Максвелл установил статистическое распределение по скоростям молекул системы в состоянии термодинамического равновесия. Гипотетическая сила, способная осуществлять подобное распределение, была названа "демоном Максвелла".

¹⁶Аллежуа на изречение французского философа, математика, физика и физиолога Рене Декарта: "Я мыслю, следовательно, я существую".

¹⁷Понятие философии одного из зачинателей русского символизма, Н. Минского (1855—1937), изложенное в его философско-публицистическом трактате "При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни" (1890). В этом трактате подвергнуты критике все категории человеческого сознания и нравственности, которые объявлены "несуществующими", а основой было провозглашено "абсолютное небытие" ("эон").

¹⁸Термин древнегреческой философии, означающий вечность, время как некую целостную замкнутую структуру. В учении гностиков, оказавших воздействие

на теософию и антропософию, утверждается идея иерархического множества зонов как посредников между непостижимым и изначальным верховным Богом и материальным миром: 30 зонов составляют выраженную полноту бытия — Плерому, которую венчает тридцатый зон — София.

НА СЕВЕРНОМ МОРЕ

¹Бьюкенен Джордж Уильям (1854—1924) — английский дипломат. В 1910—1918 гг. — посол Великобритании в России.

²Неточно процитированные строки из стихотворения "Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный..."

³Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, земский деятель, крупный помещик, депутат I Государственной думы, председатель Всероссийского земского Союза. В марте—июле 1917 г. — глава Временного правительства. Эмигрант.

У КРУТЫХ БЕРЕГОВ ПОГИБАЕТ КОРАБЛЬ

¹В оккультной физиологии Юпитер характеризуется как "великий мировой скульптор": "Он пластицирует вокруг скелета полумягкие формы в плавной красоте. Эти созданные Юпитером формы являются выражением человека как одушевленного существа <...> Юпитер в своей пластической деятельности подходит к завершению в человеке мускулов. Затем эта деятельность переходит в химию и в движении преодолевает пластическое окаменение. В исполненной мудрости химической деятельности мускулы, стремящиеся к движению, присасываются к печени, где находит свое завершение деятельность Юпитера. Тем самым печень становится органом Юпитера" (*Левихуз Бернард*, Человек на пороге. Калуга, 1993. С. 128, 132).

²Термин, заимствованный из санскрита. В антропософской интерпретации он означает этически ориентированный, "сердечный" разум, который противопоставит новоевропейскому рассудку.

³Река в Восточном Средиземноморье, впадающая в Мертвое море, в которой, по библейскому преданию, был крещен Христос.

⁴Речь идет об эпизоде чудесного воскрешения Христом Лазаря — брата Марии и Марфы (Иоанн. 2, 41—44).

⁵Имеется в виду то обстоятельство, что 8 — 10 октября 1913 г. Белый с А. Тургеневой побывали в Берлине по пути из России, а 27 августа 1916 г. Белый посетил этот город, возвращаясь в Россию.

⁶В 1805—1918 гг. немецкое королевство со столицей в Штутгарте. В настоящее время — часть земли Баден-Вюртемберг (ФРГ). Белый с А. Тургеневой побывали в Штутгарте 3—6 марта 1914 г. на лекциях Штейнера.

ЭТО — СМЕРТЬ

¹Позже в "Материале к биографии" Белый еще раз подчеркнет важность своих переживаний в связи с этой сценой: "Образ Фауста не раз мною ассоциировался с собою <...> Я, как и Фауст, — павший мудрец; Лемуры и Мефистофель меня окружили; но ведь есть ангелы, вынесшие душу Фауста, и есть Патер Серафикус, окруженный чистыми младенцами <...> Самая постановка в теме спасения Фауста связалась с ситуацией того, что разыгрывалось в душе моей; как, я не понял: мир Черной мистерии, разыгрывающийся во мне, и постановка мистерии спасения Фауста <...> — одно и то же; подлинное хождение души по мьгарствам здесь и отражение этого на сцене, как спасение из мьгарств, есть единственная спасительная соломинка, за которую оставалось схватиться; и я — схватился" (М и у в ш е е. Т. 9. С. 425).

²Описание состояния сознания во время выхода "Я" из астрального тела, а также после смерти см.: Штейнер Р. Очерк тайноведения. С. 54—89, 269—271; Штейнер Р. Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначения человека. Ереван, 1990. С. 77—87, 94—106.

БИОГРАФИЯ

¹Принятая в йоге система умственных, психических, физических действий, цель которой — приведение психики человека в состояние углубленности и сосредоточенности; сопровождается телесной расслабленностью, отсутствием эмоциональных проявлений, отрешенностью от внешних объектов, т. е. в конечном счете приближением к состоянию блаженства — нирване.

МИГ

¹Издательство, существовавшее в Москве в 1900—1916 гг., принадлежало С. А. Полякову, где главную роль играл В. Я. Брюсов. Впервые в России широко издавало западноевропейскую литературу, книги русских символистов. Выпускало также журнал "Весы", альманах "Северные цветы" и специальную искусствоведческую литературу. Для оформления книг привлекались художники "Мира искусств".

²Московское символистское издательство (1910—1917), организованное Э. К. Метнером при ближайшем участии А. Белого и Вяч. Иванова. Призвано было объединить "младших" символистов в противовес "старшим", группировавшимся вокруг "Скорпиона". Кроме книг выпускало журнал "Труды и дни", международный ежегодник по вопросам культуры "Логос".

³Издательство, основанное в Москве в 1910 г. А. М. Кожеваткиным. Выпускало в основном художественную литературу, преимущественно отечественную поэзию, а также переводы произведений зарубежных авторов.

⁴Петербургское издательство (1906—1922), основанное З. Н. Гржебиным и С. Ю. Коппельманом. Наряду с книгами издавало одноименные альманахи, в которых публиковались писатели как реалистического, так и символистского направлений.

⁵Издательство символистов, существовавшее в Москве в 1903—1914 гг. Владелец и главный редактор — присяжный поверенный и поэт С. А. Соколов (псевд. — С. Кречетов). С издательством была связана группа "младших" символистов, членом кружка "аргонавтов". Издавало по преимуществу поэтов нового направления.

⁶Балтрушайтис Юргис (Георгий) Казимирович (1873—1944) — поэт-символист и переводчик, классик литовской литературы. В 1921—1939 гг. был полномочным представителем Литвы в СССР.

⁷Одна из декоративных форм кроны дерева. В искусстве — орнаментальный мотив (стилизованный веерообразный лист).

ГДЕ "Я"?

¹Об испытаниях и опасностях на пути становления Высшего Я см. во вступительной статье к тому.

ПЕРЕД БЕРГЕНОМ

¹Сад на склоне Елеонской горы близ Иерусалима, где Христос останавливался с учениками и где он скорбел перед взятием его под стражу.

²В июле 1915 г. русскими войсками была оставлена Варшава, а в августе, после немецкого наступления на Виленском направлении, — Брест.

³Имеется в виду принадлежность к ганзейскому торговому и политическому союзу северонемецких городов во главе с Любеком, оформившемуся в XIV в. и просуществовавшему до 1699 г. Ему принадлежала торговая гегемония в Северной Европе.

⁴Об отношении Белого к Ибсену см. его статьи "Ибсен и Достоевский" (1905), "Генрик Ибсен" (1906), "Кризис сознания и Генрик Ибсен" (1910).

⁵В духовных стихах "голубиной книги", издавна живущей в народе, говорится, что после смерти Адама у его погребения выросло кипарисовое дерево. Из него в дальнейшем был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа. У основания этого дерева и была обнаружена Книга, заключающая в себе все тайны Вселенной.

ТРИ ГОДА НАЗАД

¹Речь идет о Высшем Я Белого.

²Имеется в виду Мария Яковлевна Штейнер-Сиверс-фон (1876—1948) — антропософка, жена Р. Штейнера. См. о ней в книге А. Белого "Воспоминания о Р. Штейнере" (Париж, 1982).

БЕРГЕН

¹Иеремия — второй из так называемых больших пророков, предсказавший падение Иерусалима и разрушение Храма. В Ветхий Завет входят "Книга пророка Иеремии", "Плач Иеремии", "Послание Иеремии".

²Представитель финского полукошачьего племени, живущего на северной окраине Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия) и занимающегося оленеводством, рыбным и пушным промыслами.

³Гамсун Кнут (1859—1952) — классик норвежской и мировой литературы XX в.

⁴Личность не установлена.

ПЛОЩАДЬ

¹Во 2-й лекции цикла "Восток в свете Запада" (1909) Р. Штейнера читаем: "После того, как человек пережил встречу со Стражем Порога, он восходит к переживанию существ т. наз. элементарного мира, т. е. существ огня, воздуха, воды, земли. Проходя этот уровень духовного мира, ученик на определенной ступени посвящения восходит к творящим существам. За существами элементарного духовного мира ясновидящий видит высокий духовный мир: духовное Солнце. Для обычного человека есть высшая точка ночной темноты — полночь. Ясновидящий видит в этой точке творящих солнечных духов II Иерархии, он видит полуночное Солнце. Это внутреннее состояние. Не следует его понимать как совпадение с обычной временной полночью" (т. 113). Согласно духовной науке человек после смерти, поднимаясь в своем духе к этим существам II Иерархии (к духовному Солнцу), принимает там решение, связанное с его новым воплощением, и начинает его осуществлять, т. е. строить свои тела (астральное и эфирное) по определенным законам.

²Одноклеточные организмы, или особые клетки, способные к захвату и поглощению живых клеток и неживых частиц.

³Бесцветные клетки крови человека и животных (белые кровяные клетки), способные к активному амёбовидному движению. В организме поглощают бактерии и отмершие клетки, вырабатывают антитела.

СУМАСШЕДШИЙ

¹Гетеборг (у Белого — Гетенборг) — город и порт в Швеции при впадении реки Гета-Эльв в залив Каттегат. Белый с А. Тургеневой совершили поездку в Швецию из Швейцарии 10—18 июля 1914 г. на курс лекций Р. Штейнера.

²Мальме — город и порт в Швеции у пролива Эресунн.

³Герой средневековых сказаний Агасфер, осужденный Богом на вечную жизнь и безостановочное скитальчество за то, что он не дал Христу отдохнуть по пути на Голгофу. В литературе к легенде об Агасфере обращались многие авторы: И.-В. Гете, немецкие поэты-романтики К.-Ф. Шубарт и Н. Ленау, французский романист Э. Сю и др.

БИОГРАФИЯ

¹Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт, эссеист, теоретик символизма.

²Одноактная пьеса М. Метерлинка (1890).

³Имеется в виду глава "Самый тихий час" из 2-й части книги Ф. Ницше "Так говорил Заратустра" (1883—1885).

⁴Пограничный пункт между Норвегией и Швецией. См. ниже гл. "От Хапаранды до Белоострова".

⁵Философские фрагменты древнейших индийских текстов — Вед (сер. II — сер. I тысячелетия до н. э.). Главный источник религиозно-философской системы веданты. Еще будучи студентом, Белый читал "Отрывки из Упанишад" в журнале "Вопросы философии и психологии", которые произвели на него огромное впечатление и оказали серьезное влияние.

⁶Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк и философ-позитивист, представитель географической школы в социологии. Основной труд — "История цивилизации в Англии" (1857—1861).

⁷Смайльс Сэмюэль (1812—1904) — английский моралист.

ШОПЕНГАУЭР

¹Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-иррационалист, представитель волюнтаризма, творчеством которого Белый увлекся с гимназических лет. "От Упанишад к Шопенгауэру — отрезок пути от 1896 к весне 1897" (Почему я стал символистом. С. 428).

²Наиболее распространенное индийское религиозно-философское течение. Основное сочинение — "Веданта-Сутра" (или "Брахма-Сутра"), приписываемое мудрецу Бадараяне (IV—III вв. до н. э.). Согласно этому учению, высшая реальность и причина всего сущего — вечный несотворенный брахман (духовное начало, безличный абсолюте), а цель бытия — "освобождение", достижение изначального тождества индивидуального и духовного.

³Центральное понятие буддизма: психологическое состояние полноты внутреннего бытия, отсутствие желаний, достижение совершенной удовлетворенности и самодостаточности, абсолютной отрешенности от внешнего мира как конечной цели человеческих стремлений.

⁴См. оценку Белым поэзии и философии А. Фета: "Эстетизм как созерцание, как форма освобождения от воли был следствием философии умирающего столетия и оттого звучал Фет, этот выразитель настроения Веданты в русской природе" (Собр. соч. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 206).

МОЙ ПУТЬ ПОСВЯЩЕНИЯ

¹Основное понятие-мифологема в философии Вл. Соловьева: верховная ипостась, просветляющая Душу мира. Учение о Софии и Душе мира наиболее полно развито в кн. Вл. Соловьева "Россия и вселенская церковь" (1889). Эта мифологема, равно как и "софианские" стихи Вл. Соловьева, сыграла очень существенную роль в культуре русского "серебряного века" (наряду со стихами сборника "Золото в лазури" и "Симфониями" Белого упомянем "Стихи о Прекрасной Даме" А. Блока, "Столп и утверждение истины" П. Флоренского, где высказано предположение, что в идее библейской Софии содержится предпосылка евангельской девы Марии и т. д.). Мифологема "София" привлекает широкое внимание и современных исследователей: см. статьи С. Аверинцева "София" в "Философской энциклопедии" (М., 1970. Т. 5) и "К уяснению смысла надписи конной центральной апсиды Софии Киевской" в сб. "Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси" (М., 1972), В. Н. Топорова "Еще раз о др.-греч. София, происхождение слова и его внутренний смысл" в сб. "Структура текста" (М., 1980).

²Памятники древнеиндийской литературы (кон. II — нач. I тысячелетия до н. э.) на древнеиндийском (ведийском) языке. Ведическую литературу составляют сборники гимнов и жертвенных формул, теологические трактаты.

³См. у Штейнера в цикле лекций "Человек в свете оккультизма, теософии, философии": "Говорим ли мы о восточных дохристианских Мистериях или о западных — определенные ступени у них одни и те же. Поэтому для всех Мистерий некоторые выражения имеют один смысл, выражения, которые примерно можно описать следующим образом: вначале душа, желающая достичь какой-либо ступени посвящения, приблизиться к сущности Мистерии, должна пережить то, что можно

назвать "соприкосновением с переживанием смерти". Второе, что душа должна затем пережить, есть "прохождение через элементарный мир". Третье в египетских и других Мистериях называлось "созерцанием полнотного Солнца", затем следовала "встреча с низшими и высшими богами".

"Ворон" — было первой ступенью посвящения. Учеников посредством особенных мистериальных культов, через сильно действующие символы и художественно-драматические представления учили познавать, что думают умершие. Ученик получал от умерших известный род памяти и способность развивать эту память. "Ворону" вменялось в обязанность рассматривать современность открытыми ясными глазами, знакомиться с человеческими потребностями и явлениями природы. Задача "ворона" состояла в том, чтобы вживаться в различные обстоятельства внешнего мира, пытаться много пережить, сострадать и сородоваться с событиями современности. Опыт, полученный вовне, он затем воспроизводил в Мистериях, вносил в Мистерии, благодаря чему он становился известным для умерших, для тех, кто искал действительности. Посвящаемые первой ступени особенно подходили для этого, в то время как стоящие на более высоких ступенях это уже утрачивали. (Умерший Барбаросса обучался в горé воронами; Карл Великий в Зальцбурге окружен воронами — в этих преданиях содержатся отголоски Мистерий Митры.) (Ш т е й н е р . Т. 137.)

ГИМНАЗИЯ

¹Драконт (Дракон) (VII в. до н. э.) — афинский архонт (высшее должностное лицо в греческих полисах). Составил в 621 г. до н. э. свод законов, отличавшихся крайней жестокостью (отсюда выражение "драконовские меры").

²Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский архонт, провел реформы, способствовавшие ускорению ликвидации пережитков родового строя. Античные предания причисляют Солона к семи греческим мудрецам.

³С сентября 1891 по май 1899 г. А. Белый — ученик частной гимназии Л. И. Поливанова (угол Пречистенки и Малого Левшинского пер., дом Платова), по общему признанию, лучшей в Москве. О гимназических годах Белого см. главу "Годы гимназии" (Н а р у б е ж е).

⁴Имеется в виду женская гимназия С.А. Арсеньевой (Пречистенка, дом Перфильевой).

⁵Шанкарагарья (Шанкара; у Белого — Шри-Шанкара — Ачария) (предположительно 788—820) — религиозный философ средневековой Индии, реформатор индуизма; синтезировал все предшествующие ортодоксальные (т. е. признающие авторитет вед) системы. С его взглядами Белый был знаком по главам книги Веры Джонстон "Шри-Шанкара-Ачария, мудрец индийский", опубликованной в журнале "Вопросы философии и психологии", 1897, кн. 36 (1).

КАЗИМИР КУЗМИЧ

¹Фамилия учителя латыни была использована Белым для создания фантастического образа Пеппа Пепповича Пеппо в романе "Петербург" (1914).

²Переулок, получивший свое название в XVII в. Здесь возникла слобода денежных мастеров-граверов государева Монетного двора.

³Согласно учению Платона, идеи — вечные и неизменные умопостигаемые прообразы вещей, всего преходящего и изменчивого бытия. Любовь к идее (Эрос) — побудительная причина духовного восхождения.

⁴Согласно эстетике Шопенгауэра "освобождение" от мира достигается путем бескорыстного эстетического созерцания.

⁵Названо во имя Новодевичьего монастыря — район в Москве между Хамовниками, Усачевкой и Лужниками. Сакральное место для Белого, отец которого и многие из ближайших друзей были похоронены на Новодевичьем кладбище (сейчас там и его могила). Впечатления, связанные с посещением этих мест, многократно описаны в поэзии и прозе Белого.

⁶О пристрастии молодого Белого к бытовому и творческому обыгрыванию фантастических персонажей засвидетельствовано в "Дневнике" В. Я. Брюсова за

1903 г.: "Бугаев заходил ко мне несколько раз. Мы много говорили. Конечно, о Христе, христовом чувстве <...> Потом о кентаврах, силенах, о их бытии. Рассказывал, как ходил искать кентавров за Девичий монастырь, по ту сторону Москвы-реки. Как единорог ходил по его комнате <...> Потом А. Белый разослал знакомым карточки (визитные), будто бы он от единорогов, силенов etc <...> Сам Белый смутился и стал уверять, что это "шутка". Но прежде для него это было не шуткой, а желанием создать "атмосферу" — делать все так, как если бы эти единороги существовали" (*Брюсов В. Я. Дневник. М., 1927. С. 134*). Эта атмосфера наиболее полно воссоздана в цикле "Образы", входящем в первый поэтический сборник А. Белого "Золото в лазури".

СОН

¹Прибор для изучения и демонстрации падения тел, изобретенный в 1784 г. английским физиком Джорджем Атвудом.

ЛЬЯН

¹Речь идет о четырех "животных" из ветхозаветного видения Иезекииля (Иезекииль, 1 и 10).

²Личности не установлены.

³В христианской эзотерике (у Дионисия Ареопагита) известны девять Духовно-Божественных иерархий, идущих сверху вниз, от Троицы до ангелов. В цикле лекций Р. Штейнера "Духовные Иерархии и их отражение в физическом мире" (1909) читаем: "Человек — это десятый член Иерархии, конечно, подлежащий развитию, но все же принадлежащий к духовным Иерархиям" (т. 110).

⁴Григ Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор, дирижер, пианист. Его музыка, навеянная образами северной природы, легендами и сказаниями Норвегии, во многом обусловила колорит 1-й "Северной симфонии" Белого.

⁵Героиня романа "Братья Карамазовы" (1879—1880).

⁶Белый с А. Тургеневой пробыли в Льяне с 13 сентября до начала октября 1913 г.

НА СЕВЕР

¹Имеется в виду Александр Михайлович Поццо.

²Речь идет о Натальи Алексеевне Тургеневой, сестре Аси Тургеневой, жене А. М. Поццо.

³Последняя, согласно оккультной науке, стадия формирования Вселенной. См. комментарий 2 к первой главе "Котика Летасва".

ОТ ХАПАРАНДЫ ДО БЕЛООСТРОВА

¹Ср. высказывание Белого о романе "Серебряный голубь" (1910) и его герое Кудярове: "...более всего интересовали меня пмоговидные метаморфозы хлыстовства; я услышал распутинский дух до появления на арене Распутина; я его фантазировал в фигуре своего столяра" (Между двух революций. С. 315).

²Имеется в виду Волопина (Сабашникова) Маргарита Васильевна (1882—1973) — художница, первая жена М. Волошина. Одна из первых русских, принимавшая активное участие в художественных опытах оформления Гетеанума. Автор книги воспоминаний "Зеленая змея. История одной жизни" (М., 1993).

³Возращение Белого в Петербург датируется 3 сентября 1916 г.

РОДИНА

¹Имеется в виду Приказ № 1 от 1(14) марта 1917 г., изданный Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов по гарнизону Петроградского военного округа. Он предписывал во всех воинских частях создать органы солдатского

самоуправления — комитеты из нижних чинов и политически подчинить воинские части Совету депутатов и вновь избранным Комитетам. Распоряжения, исходившие от правительства, подлежали исполнению только в тех случаях, если они не противоречили приказам и постановлениям Совета. Под влиянием Приказа № 1 началось фактическое разложение русской армии.

²В мае—июне 1915 г. австро-германские войска, развивая наступление, вынудили русскую армию оставить Галицию.

³Согласно антропософии, если люди или народы воюют между собой на физическом плане, то на духовном они — союзники и развивают тягу друг к другу; и, наоборот, если они союзники на физическом плане, то на духовном между ними идет война. Из этого окультизного факта следует, что борьба и противостояние способствуют эволюционному развитию только в духовном плане.

⁴Две первые строфы стихотворения "Развалы" (октябрь 1916).

⁵Продолжение цитирования того же стихотворения.

В МОСКВЕ

¹Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк русской литературы и общественной мысли, публицист, философ, переводчик; вдохновитель сборника "Вехи" (см. гл. "Михаил Осипович Гершензон" в Начале века).

²Посева Евдокия Ивановна — вдова фабриканта, держательница московского литературного салона.

ГОДА

¹Свою жизнь в России эпохи военного коммунизма Белый описал в отчаянном двадцатистраничном письме А. Тургеновой, когда ему пришлось ждать в октябре—ноябре 1921 г. в Ковно германской визы. Письмо не было отправлено, и в 1923 г. Белый, уезжая на родину, вместе с другими бумагами оставил его у В. Ходасевича. Оно было напечатано с большими сокращениями после смерти А. Белого в "Современных записках" (1934. № 55): "До Рождества 1918 года я 1) читал курс лекций, вел семинарий, разрабатывал программу театрального Университета, отсиживал по 6 заседаний в день, писал "Записки Чудака", читал лекции в нетопленном помещении "Антр. об-ва", посещал заседания Об-ва; — а с января 1919 года я все бросил <...> лег под шубу и пролежал в полной прострации до весны, когда оттепель немного согрела мою душу и тело <...> И не нам, старикам, вынесшим на плечах 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 годы, рассказать о России. И хочется говорить: "Да, вот — когда я лежал 2 1/2 месяца во впаках, то мне <...> — 2 недели лечился от экземы, которая началась от вшей" и т. д. Или начнешь говорить: "Когда у меня за тонкой перегородкой кричал дни и ночи тифозный" <...> "Да, жил и ходил читать лекции, готовился к лекциям под крик этот! <...> В комнате стояла температура не ниже -8° мороза, но и не выше 7° тепла. Москва была темна; по ночам растаскивали деревянные особняки <...> Я жил в это время вот как <...> — у меня в комнате в углу была свалена гряда моих рукописей, которыми 5 месяцев подтапливали печку; всюду были навалены груды <...> "старья", и моя комната напоминала комнату старьевщика; среди мусора и хлама, при температуре в 6—4°, в зимних перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до колен ногами, просиживал я при тускнейшем свете перегоревшей лампочки или готовя материал для лекции следующего дня, или разрабатывая мне порученный проект в Т. О. (Театральн. отдел), или пишучи "Записки Чудака", в изнеможении бросаюсь в постель часу в 4-ом ночи; от чего просыпался я не в 8 <...>, а в 10 и никто мне не оставлял горячей воды, так без чаю подчас, дрожа от холода, я вставал и в 11 бежал с Садовой к Кремлю (где было Т. О.), попадая с Заседания на Заседание <...> в 3 1/2 от Кремля по отвратительной скользкой мостовой, в чужой шубе, душившей грудь и горло, я тащился к Девичьему Полю, чтобы пообедать (обед лучше "советского", ибо кормился в частном доме, у друзей Васильевых). После обеда надо было "переть" с Дев. Поля на Смоленский Рынок, чтобы к ужину запастись "гнилыми лепешечками" <...> Оттуда, со Смоленского Рынка, тащился часов в 5—6 домой, чтобы в 7 уже бежать обратно по

Поварской в Пролет. Культе, где учил молодых поэтов ценить поэзию Пушкина, увлекаясь их увлечением поэзией, и уже оттуда, часов в 11, брел домой, в абсолютной тьме, спотыкаясь о невозможные ухабы и почти плача оттого, что чай, который мне оставили, опять простыл, что ждет холод, от которого хочется кричать”.

²В конце 1918 — начале 1919 г. Белый работал в Московском Пролеткульте (литературная студия, беседы-семинары, курс лекций “Ритмика”).

³Имеется в виду Берлин, куда в ноябре 1921 г. приехал Белый. Здесь произошло окончательное объяснение с А. Тургеневой, не оставившее никаких надежд на возобновление прежних отношений. Здесь же, в Берлине, Белый заканчивает “Записки чудака”.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предисловие к неосуществленному изданию романа “Котик Летаев”

Новое издание “Котика Летаева” предполагалось осуществить в 1928 г. в московском кооперативном издательстве “Никитинские субботники”, в котором за год до этого был опубликован роман “Крещеный китаец”. Обе книги планировалось напечатать вместе в виде романной дилогии, но издание не состоялось. Публикуемое авторское предисловие к “Котику Летаеву” предназначалось для этого неосуществившегося издания. Ставя в нем ударение на естественно-научных понятиях, предлагая во многом “позитивистскую” трактовку романа, Белый стремился отвести от себя многочисленные упреки в мистицизме, пытался найти общий язык с читателями и критикой того времени.

Предисловие хранится в архиве Андрея Белого в РГАЛИ (ф. 53, оп. 1, ед. хр. 21, л. 22—23). Впервые оно было опубликовано в “Новом журнале” (Нью-Йорк, 1970. Кн. 101), но с разночтениями по сравнению с оригиналом. Адекватный оригиналу текст предисловия опубликован А. В. Лавровым в журнале “Русская литература” (1988. № 1).

¹Имеется в виду роман Джека Лондона “Смирительная рубашка (Страшник по звездам)” (1915).

²Заключительные строки “Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы” (1830) Пушкина в редакции В. А. Жуковского. Последний стих в пушкинских автографах: “Смысла я в тебе ищу...”

³См. в главе первой (“Бредовый лабиринт”) “Котика Летаева”.

⁴Геккель Эрнст (1834—1919) — немецкий биолог-эволюционист, представитель естественно-научного материализма, сторонник и пропагандист учения Ч. Дарвина. Автор известных книг “Общая морфология организма” (1866), “Мировые загадки” (1899) и др., в которых составлено первое “родословное древо” животного мира. Белый, высоко ценивший Геккеля, называл его “гениальным художником” (очерк “Дом-музей М. А. Волошина” (1933) — “Звезда”, 1977, № 5).

⁵Представители элейской школы древнегреческой философии VI—V вв. до н. э. Основатель — Ксенофонт Колофанский, главные представители — Парменид и Зенон из Элеи (отсюда название), Мелисс Самосский. Впервые в истории философии выдвинули идею единого бытия, непрерывного, неизменного, присутствующего в любом мельчайшем элементе действительности.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. М. Пискунов, Н. Д. Александров, Г. Ф. Пархоменко</i> "СТАНОВЛЕНИЕ САМОСОЗНАЮЩЕЙ ДУШИ"	5	Перед отъездом	329
КОТИК ЛЕТАЕВ		До границы	331
Предисловие	24	Рубикон перейден!	336
Глава первая	27	Во Франции	341
Глава вторая	48	Платформа	346
Глава третья	62	За границей сознания	347
Глава четвертая	79	Кем я был?	352
Глава пятая	98	Переживания лекций	356
Глава шестая	119	Мистерия	357
Эпилог	154	Война	360
КРЕЩЕНЬИЙ КИТАЕЦ		Болезнь	362
<i>Кабинетик</i>	158	В вагоне	365
<i>Папочка</i>	166	Париж	369
<i>"Эдакое такое свое"</i>	175	Гавр	370
<i>Бабушка, тетечка, дядечка</i>	187	Маркой выше	374
<i>Рулада</i>	196	Том второй	378
<i>Мамочка</i>	208	Лондон	—
<i>Михайлы</i>	215	Фантасмагория	383
<i>Агуро-Маздао</i>	222	Лондонская неделя	389
<i>Папа дошел до звезд</i>	229	На Северном море	402
<i>Скиф</i>	236	У крутых берегов погибает корабль	407
<i>Пфуканство</i>	238	Это — смерть	413
<i>Весна</i>	252	Биография	417
<i>Спутник</i>	257	Миг	424
<i>Ом</i>	268	Где "Я"?	428
<i>Красный анис</i>	272	Перед Бергеном	431
ЗАПИСКИ ЧУДАКА		Три года назад	433
Вместо предисловия	280	Берген	435
Том первый	281	Площадь	439
На холме	—	Сумасшедший	444
Комната	283	Снова в поезде	446
Берн	286	Биография	447
"Они"	289	Шопенгауэр	450
Нэлли	291	Мой "Путь посвящения"	453
Москва	293	Гимназия	454
Льян	295	Казимир Кузмич	457
Памир: крыша света	298	Сон	462
Восходы зари нвсощедшего солнца	302	В обратном порядке	464
Писатель и человек	304	Льян	467
Назначение этого дневника	305	На север	473
Устои	306	Сыщики	475
Леонид Ледяной	307	От Хапаранды до Белоострова	478
Два "Я"	311	Родина	483
Снова в Дорнахе	314	В Москве	487
Иоанново Здание	315	Года	490
Храм Славы	319	Послесловие к рукописи Леонида	
Владимир Соловьев	320	Ледяного, написанное чьей-то рукой	492
Последняя прогулка!	326	Послесловие	493
		Приложение. Предисловие к несуществленному изданию романа "Котик Летаев"	495
		СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В КОММЕНТАРИЯХ	497
		КОММЕНТАРИИ	498

Андрей Белый

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

КОТИК ЛЕТАЕВ. КРЕЩЕННЫЙ КИТАЕЦ. ЗАПИСКИ ЧУДАКА

Заведующий редакцией *А. В. Никольский*
Редактор *С. А. Николаева*
Художественный редактор *О. Н. Зайцева*
Технический редактор *Т. А. Новикова*

ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 02.09.97. Подписано в печать 14.10.97. Формат 60 × 84^{1/16}.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Бодони". Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,62.
Уч.-изд. л. 36,58. Тираж 5000 экз. Заказ № 2659.

Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.

Российский государственный информационно-издательский Центр "Республика"
Комитета Российской Федерации по печати.

Издательство "Республика".
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма "Красный пролетарий".
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.





A.T.T. 97r.

